

ПОРТРЕТ

Женская библиотека



СЕВЕРО-ЗАПАД®

МАРИЯ СТУАРТ



МЯСЯ
СТЮЛТ

Женская одежда

серия
«ПОРТРЕТ»





МАРИЯ СТУОЛТ



Санкт-Петербург
«Северо-Запад»
1993



ББК 84.4
М 26

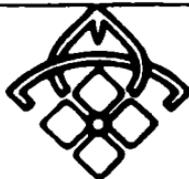
*Перепечатка отдельных глав
и всего произведения в целом — запрещена.
Всякое коммерческое использование данного произведения
возможно исключительно с ведома издателя.*

ISBN 5-8352-0163-X

- © Л. М. Цывьян, перевод романа
А. Дюма, 1992.
- © «Северо-Запад», оформление, 1993.
- © ~~Северо-Запад~~ Зарегистрированная
торговая марка. Охраняется законом.

АЛЕКСАНДР ДЮМА

МАРИЯ СТЮАРТ



Иоистине, есть имена роковые для королей; во Франции это имя Генрих. Генриха I отравили, Генрих II погиб на турнире, Генрих III и Генрих IV¹ были убиты. Что же касается Генриха V², к которому судьба была так жестока в прошлом, то один Бог знает, что она ему сулит в будущем.

В Шотландии же это фамилия Стюарт.

Роберт I³, основатель династии, скончался в двадцать восемь лет от упадка сил. Роберт II⁴, самый счастливый представитель рода, вынужден был провести часть жизни не только в уединении, но и в темноте по причине воспаления глаз, которые стали у него красные как кровь. Роберт III умер от скорби, вызванной смертью одного из своих сыновей и пленением другого. Иакова I в Пертском аббатстве черных монахов заколол кинжалом Грэхем. Иаков II погиб при осаде Роксборо от взрыва пушки.

¹ *Генрих I* — король Франции в 1031—1060 гг., супруг Анны, дочери Ярослава Великого (Мудрого). *Генрих II* (1519—1559) — король Франции с 1547 г. *Генрих III* (1551—1589) — последний представитель династии Валуа, король Франции с 1574 г., был убит членом Католической лиги монахом Жаком Клеманом. *Генрих IV* (1553—1610) — стал королем Франции в 1589 г., убит фанатиком-католиком Равальком.

² *Генрих V* (1820—1883) — так роялисты именовали внука Карла X герцога Бордосского, жившего после революции 1830 г. в изгнании.

³ *Роберт I Брюс* (1274—1329) — шотландский король с 1306 г., добился от Англии признания независимости Шотландии. Дюма ошибается и насчет продолжительности его жизни, и насчет принадлежности к династии Стюартов.

⁴ Дюма перечисляет шотландских королей из династии Стюартов. *Роберт II* (1316—1390) — первый король этой династии с 1370 г. *Роберт III* — король в 1390—1406 гг. Его старший сын Дэвид умер в тюрьме, куда он сам заключил его, а второй сын Иаков попал в плен к англичанам.

Иаков III был убит неизвестным на мельнице, где он прятался после сражения при Баннокберне. Иаков IV, пораженный двумя стрелами и ударом алебарды, пал вместе со многими своими дворянами на поле битвы при Флоддене, Иаков V умер от скорби, после того как потерял своих сыновей, и от раскаяния, оттого что велел казнить лорда Гамильтона. Сын злодейски убитого отца, Иаков VI¹, которому было суждено возложить себе на голову короны Шотландии и Англии, прожил унылую, полную страхов жизнь, отмеченную в самом начале казнью его матери Марии Стюарт, а после смерти казнью сына Карла I. Карл II² часть жизни провел в изгнании. В изгнании умер Иаков II³. Кавалер Сент-Джордж, после того как был провозглашен королем Шотландии под именем Иаков VIII и Англии под именем Иаков III⁴, был вынужден бежать, не получив даже возможности придать своему оружию хотя бы блеск поражения. Его сын Чарлз Эдуард⁵, преследуемый после отчаянного похода на Дерби и разгрома при Кулло-

Иаков I (1394—1437) — сын Роберта III, взшел на престол в 1424 г. после освобождения из английского плена, погиб в результате заговора шотландского дворянства. *Иаков II* — король в 1437—1460 г. *Иаков III* (1451—1488) — наследовал Иакову II, погиб при бегстве после поражения, нанесенного ему мятежными лордами. *Иаков IV* (1472—1513) — погиб в сражении с английскими войсками. В 1503 г. женился на Маргарите, дочери английского короля Генриха VII Тюдора, что дало его потомкам возможность впоследствии претендовать на английский престол. *Иаков V* (1512—1542) — отец Марии Стюарт; в конце жизни сошел с ума.

¹ *Иаков VI* (1566—1625) — сын Марии Стюарт и Генриха Дарнли, в 1567 г. провозглашен королем Шотландии, в 1603 г. после смерти королевы Елизаветы стал королем Англии под именем Иакова I. Его сын Карл I (1600—1649) в ходе Английской революции был низложен и казнен.

² *Карл II* (1630—1685) — сын Карла I, в 1660 г. после смерти Кромвеля был приглашен на английский престол.

³ *Иаков II* (1633—1701) — второй сын Карла I, стал королем после смерти брата, пытался восстановить абсолютизм, в 1689 г. был низложен в результате «Славной революции», передавшей престол Вильгельму Оранскому. Бежал во Францию, неоднократно пытался вернуть престол.

⁴ *Иаков III* (1668—1766) — сын Иакова II, в 1716 г. с помощью Людовика XIV высадился в Шотландии, но потерпел поражение и вновь бежал во Францию, в 1744 г. отказался от притязаний на английский престол в пользу сына.

⁵ *Чарлз Эдуард*, «Претендент» (1720—1788) — сын Иакова III, в 1745 г. высадился в Шотландии, был поддержан вождями шотландских кланов, но потерпел поражение. Конец жизни провел в Италии под именем графа Олбени.

дене, скитался по горам, скрывался среди скал, переплывал реки, наконец, полуголый, добрался вплавь до французского корабля и отправился умирать во Флоренцию, поскольку ни один европейский двор не пожелал признать его прав на престол. Его брат Генри Бенедикт, последний представитель Стюартов, жил на пенсию в три тысячи фунтов стерлингов, которую ему выплачивал Георг III, и скончался в полном забвении, завещав Ганноверскому дому все коронные драгоценности, что Иаков II увез с собою, бежав на континент, и тем самым дав хоть и запоздалое, но зато окончательное подтверждение законности династии, сменившей ту, к которой он принадлежал.

Первенство в несчастьях среди представителей этого несчастного рода принадлежит Марии Стюарт. Брантом¹ сказал о ней: «У всякого, кто захочет написать об этой прославленной шотландской королеве, будут два обширнейших сюжета: один — о ее жизни, второй — о смерти». Познакомился с нею Брантом при самых печальных для нее обстоятельствах: она покидала Францию, отплывая в Шотландию.

Произошло это 9 августа 1561 г. Девятнадцатилетняя вдовствующая королева Франции и королева Шотландии Мария Стюарт, потерявшая в один год мать и супруга, прибыла в сопровождении своих дядьев-кардиналов де Гиза и Лотарингского, а также герцога д'Омаля и г-на де Немура в Кале, где ее ждали, чтобы перевезти в Шотландию, две галеры — одна под командованием г-на де Мевийона, а вторая под командованием капитана Альбиза. В этом городе она провела шесть дней. Наконец 15 числа того же месяца после скорбного прощания она, сопутствуемая гг. д'Омалем, д'Эльбефом и де Данвилем, а также множеством дворян, среди которых были Брантом и Шатлар, вошла на галеру г-на де Мевийона, получившего немедля приказ выйти в открытое море, что и было сделано с помощью весел, поскольку ветер был слишком слаб, чтобы воспользоваться парусами.

Мария Стюарт в ту пору была в расцвете красоты, казавшейся еще блистательней благодаря трауриному наряду, красоты столь чудесной, что очарования ее не избегнул никто, кого она хотела покорить, и для всех она оказыва-

¹ Брантом, Пьер де Бурдейль, аббат и сеньор де (1560—1628) — французский писатель, мемуарист.

лась роковой. Примерно в то время получила известность песня о ней, справедливость которой не осмеливались оспаривать даже соперницы Марии Стюарт. Сочинил ее, как говорили, г-н де Мезон-Флер, благородный рыцарь, искусный в обращении как с пером, так и оружием. Вот она, эта песня:

Прекрасные черты
Вуалью белой скрыты;
Подобье красоты
Богини Афродиты,
Стрелу она несет,
Что ей вручил Эрот.
Жестокий Купидон
Порхает с нею рядом,
Девиз подьемлет он
Над траурным нарядом,
И сей гласит девиз:
«Умря иль покорись».

Да, в этот миг Мария Стюарт в белых траурных одеждах¹ была прекрасна, как никогда, по щекам ее струились безмолвные слезы; стоя на юте, она, охваченная безмерной скорбью, оттого что вынуждена расстаться с Францией, махала платком, прощаясь с теми, кто испытывали не меньшую скорбь, оттого что остаются. Наконец через полчаса галера покинула порт и вышла в открытое море.

И вдруг она услышала за спиной испуганные крики судно, плывущее на всех парусах, по недосмотру лоцмана налетело на подводную скалу, получило пробойну и, содрогнувшись и застонав, подобно раненому человеку, стало тонуть под душераздирающие вопли команды. Испуганная, побледневшая Мария застыла на месте, не в силах промолвить ни слова, и смотрела, как судно погружается в воду, а несчастная команда карабкается на ванты и реи в надежде на несколько минут отсрочить смерть. Вскоре и судно, и мачты, и реи исчезли в пучине океана, лишь видны были отдельные черные точки на воде, но и они поочередно пропадали, и вот уже волна набегала за волной, а очевидцы этой чудовищной трагедии, видя океан безлюдным и спокойным, словно ничего не произошло, мысленно задавали себе вопрос, не было ли все это видением, появившимся и тут же исчезнувшим.

¹ Для членов французского королевского дома белый цвет был цветом траура

— Увы! — воскликнула Мария Стюарт, рухнув в кресло и вцепившись обеими руками в кормовые поручни. — Какое мрачное предзнаменование для столь грустного плавания!

Затем, обратив к уже удаляющемуся порту глаза, которые от ужаса на миг высохли, а теперь вновь наполнились слезами, она прошептала:

— Прощай, Франция! Прощай!

Почти пять часов она просидела, плача и шепча:

— Прощай, Франция! Прощай, Франция!

Уже спускалась темнота, но она все продолжала сетовать; однако берега больше не было видно, к тому же ее пригласили ужинать, поэтому она встала, промолвив:

— Вот теперь, милая Франция, я бесповоротно утратила тебя: ревнивая ночь укрыла мой траур своим трауром, опустив черную вуаль перед моими очами. Прощай же навсегда, любимая Франция, мне более не свидеться с тобой.

После этого она прошла в каюту, заметив, что являет собой полную противоположность Дидоне¹: та после отплытия Энея не сводила глаз с моря, а она не в силах оторвать взор от земли. Свита окружила ее, пытаясь развлечь и утешить. Однако Мария Стюарт оставалась все так же печальна, почти не отвечала собеседникам, почти ничего не ела, так как ее душили слезы; она приказала поставить себе постель в кормовой каюте, велела позвать рулевого и приказала немедля разбудить ее, если на рассвете еще будет виден французский берег. И ей повезло: ночью ветер стих, и утром галера была еще в виду Франции.

То была великая радость для Марин Стюарт: разбуженная рулевым, который не забыл про приказ, она вскочила, велела открыть иллюминатор и еще раз увидела столь дорогой для нее берег. Но в пять утра ветер посвежел, галера стремительно начала удаляться, и вскоре земля исчезла из виду. Мария Стюарт, смертельно побледнев, опустилась на постель, вновь прошептала:

— Прощай, Франция, я больше тебя не увижу.

Да, во Франции, о разлуке с которой она так сожалела, прошли ее лучшие годы. Мария Стюарт родилась, когда

¹ Дидона (миф.) — основательница и царица Карфагена; в поэме Вергилия «Энеида» она стала возлюбленной предводителя спасшихся троянцев Энея, а когда тот покинул ее, не вынесла разлуки и покончила с собой, взойдя на костер.

только-только начинались религиозные смуты; ее колыбель стояла рядом с ложем умирающего отца; траур укрывал всю ее жизнь от рождения до смерти, и тот период, что она пробыла во Франции, был подобен лучу солнца посреди ночи. Клевета преследовала ее с колыбели; слухи, что она урод и не жилец на свете, распространились настолько широко, что однажды ее мать Мария де Гиз, дабы опровергнуть эту ложь, вынуждена была распеленать ее и голенькую показать английскому послу, который прибыл от имени Генриха VIII просить руки Марии Стюарт для пятилетнего в ту пору принца Уэльского. В девять месяцев Мария Стюарт была коронована кардиналом Битоном, архиепископом Сент-Эндрю, и тотчас мать, опасаясь коварства английского короля, увозит ее в замок Стерлинг. А через два года, решив, что эта крепость все-таки не дает достаточных гарантий безопасности, перевозит ее на остров посреди озера Ментис; монастырь, стоящий на нем, единственное здание в округе, становится убежищем королевь-младенца и еще четырех девочек, родившихся в один с нею год и носящих, как и она, сладостное имя, анаграммой которого является слово «любить»¹. Они должны будут оставаться с нею и в добрую, и в лихую годину и их станут называть «Марии королевы». Это Мария Ливингстон, Мария Флеминг, Мария Сетон и Мария Битон. Она остается в монастыре до тех пор, пока парламент, одоббивший ее брак с дофином Франции, сыном Генриха II, не прикажет перевезти ее в замок Дамбартон и ждать там отъезда во Францию. Туда по поручению Генриха II за нею прибывает г-н де Брезе. Ее переправляют на французские галеры, стоящие на якоре в устье Клайда, и вот, ускользнув от погони английского флота, 15 августа 1548 г., спустя год после смерти Франциска I, Мария Стюарт прибывает в Брест. Кроме четырех Марий королевы, вместе с нею приплывают во Францию три ее сводных брата, а среди них приор Сент-Эндрю Джеймс Стюарт, который впоследствии отречется от католической веры, станет под именем графа Мерри регентом королевства и сыграет столь роковую роль в ее жизни. Из Бреста Мария отправляется в Сен-Жермен-ан-Лэ, где только что взошедший на трон Генрих II осыпает ее милостями и помещает в монастырь, в котором воспитываются наследницы самых благородных

¹ Во французском языке слово «любить» — *aimer* является анаграммой имени «Мария» — *Marie*.

родов Франции. И там раскрываются способности Марии Стюарт. Рожденная с сердцем женщины и мужским умом, Мария не только проявляет талант в изящных искусствах, составляющих образование будущей королевы, но и постигает позитивные науки, сравнявшись в знаниях с учеными докторами. Уже в четырнадцать лет она в зале Лувра перед Генрихом II, Екатериной Медичи и придворными произносит по-латыни речь собственного сочинения, в которой утверждает необходимость просвещения для женщин, говоря, что в равной мере несправедливо и тиранически было бы как лишать цветок его аромата, так и мешать юным девицам добиваться внутреннего совершенства. Можно представить, как воспринимали при самом просвещенном и ученом дворе Европы будущую королеву, высказывающую подобные взгляды. На рубеже клонящейся к упадку литературы Рабле и Маро¹ и восходящей к апогею литературы Ронсара и Монтеня² Мария стала королевой поэзии и, право, была бы стократ счастливей, если бы ей не пришлось носить иной короны, кроме той, что ежедневно возлагали на ее голову Ронсар, Дю Белле, Мезон-Флер и Брантом. Но судьба ее была предрешена.

В череде празднеств, какими пытались воскресить умирающую рыцарственность, состоялся роковой турнир, на котором Генрих II, сражавшийся без забрала, был поражен обломком копья и до срока упокоился рядом со своими предками-королями; Мария Стюарт взошла на французский престол, облачившись в траур по Генриху, затем сменила его на траур по матери, а после траура по матери надела траур по супругу Франциску II.

Эту потерю она восприняла как женщина и как поэт, сердце ее исходило горестными слезами и гармоническими жалобами. Вот какое стихотворение сложила она тогда:

Уныла песнь моя,
Полна жестокой муки.
Надела траур я
С возлюбленным в разлуке,
И мне во цвете лет
Погаснул жизни свет.

¹ *Рабле*, Франсуа (1494—1553) — французский писатель, автор «Гаргантюа и Пантагрюэля». *Маро*, Клеман (1496—1544) — французский поэт.

² *Ронсар*, Пьер де (1524—1585) — ведущий поэт французского Возрождения, глава поэтической группы «Плеяда», в которую входил Жоахен Дю Белле (1522—1560). *Монтень*, Мишель де (1533—1592) — французский философ-гуманист, главный труд «Опыты».

Ужель кто б мог сказать,
Что нет страшной удела,
И как мне не рыдать
Без меры, без предела,
Когда любимый мой
Под гробовой плитой?

Среди весны своей
И младости в расцвете
Не знать мне светлых дней,
Быть всех грустней на свете,
Ни счастья не видеть,
Ни радости не ждать.

Ни в чем отрады нет,
И полнит все тоскою;
Дневной померкнул свет,
Стал черной тьмой ночью;
От худшей из потерь
Весь мир постыл теперь.

А он стоит в очах,
Передо мной витая,
И в жалобных слезах
Фляжку я влетаю,
Любимого цветок,
В свой траурный веноч.

Мне не дает беда
Ни отдыха, ни срока,
И всюду и всегда
Страдаю я жестоко;
Бегу в тоске своей
Туда, где нет людей.

И все ж, куда б ни шла,
Пускай заря блистает,
Иль всходит ночи мгла
И день уныло тает,
Я мыслю об одном —
Всегда грущу о нем.

И если в небеса
Я взгляд свой обращаю,
Тотчас его глаза
Средь облаков встречаю;
Взгляну в пучину вод —
Их взор меня зовет.

А коль на ложе вдруг
Забудусь на мгновенье,
Его я чую рук
Тотчас прикосновенье;
В покое и в труде
Со мною он везде.

Нет в мире никого,
Чтоб сердце покориться
И позабыть его
Решилось согласиться,
Кто был бы так же мил,
Такою ж страсть внушил.

Умолкни, песнь моя,
На ноте сей надрывной,
Тебя сложила я
С любовью неизбывной:
Пусть нет его, она
По-прежнему сильна.

«В ту пору, — пишет Брантом, — она являла для взора прекраснейшее зрелище; белизна ее лика соперничала с белизной укрывавшей его вуали, но все же искусственный покров терпел поражение и меркнул перед белоснежностью лица. С того момента, как она овдовела, — продолжает он, — я всегда видел ее бледной, а я имел честь лицезреть ее и во Франции, и в Шотландии, куда ей пришлось через полтора года уехать, несмотря на великую скорбь и вдовство, дабы умиротворить свое королевство, разделившееся из-за религиозных раздоров. Увы, у нее к тому не было ни охоты, ни готовности; я не раз слышал от нее об этом, и она боялась этого отъезда пуще смерти; стократ сильнее она желала бы остаться вдовствующей королевой во Франции и удовольствоваться своими вдовыми владениями в Турени и Пуату, нежели отправиться править своей дикой страной, но господа ее дядья, во всяком случае некоторые, если не все, весьма советовали ей это сделать и даже настаивали, дабы впоследствии раскаиваться в совершенной ими ошибке».

Мария, как мы видели, подчинилась и начала плавание при таких предзнаменованиях, что, когда земля скрылась из виду, ей показалось, будто она умирает. И в этот миг в ее поэтической душе родились знаменитые строки:

О Франция, приют мой милый,
Родимый край,
Навек прощай!
Ты с детских лет меня вскормила,
И вот — расстанемся сейчас.

Корабль, что разлучает нас,
Не всю меня везет с собой:
Ведь я в тебе любовь покину,
Души оставлю половину,
Чтоб вспоминать тебя — второй.

Во Франции Мария оставила вторую половину себя — покойного супруга, юного короля Франциска II, унесшего с собой в могилу ее счастье.

У Марии была еще надежда, что при виде английского флота ее маленькая эскадра вынуждена будет вернуться назад, однако предназначенная ей судьба должна была исполниться. Небывалый для этой поры года туман укрыл весь пролив и позволил им ускользнуть от англичан. Туман был такой густой, что с кормы не было видно мачты. Он висел все воскресенье, то есть весь следующий день после отплытия, и рассеялся лишь в восемь утра в понедельник. Их маленькая эскадра, все это время плывшая вслепую, оказалась вблизи рифов, так что продержись туман еще несколько минут, галера, вне всяких сомнений, налетела бы на них и погибла, как то судно, что затонуло третьего дня у входа в порт. Но туман растаял, лоцман, узнавший берега Шотландии, искусно провел корабли через рифы, и 20 августа они причалили в Лите, где ничего не было готово для встречи королевы. Тем не менее, едва она сошла на берег, городские власти собрались и вышли приветствовать ее. Тем временем поспешно собрали несколько жалких кляч с дряхлой, завязанной узлами сбруей, чтобы доставить королеву в Эдинбург. При виде их Мария не смогла удержать слез, вспомнив великолепных скакунов и чудесных иноходцев, на которых во Франции разъезжали придворные кавалеры и дамы. С первой же минуты Шотландия предстала перед ней во всей своей нищете, а завтра она явит ей свою свирепость.

Проведя в замке Холируд ночь, «среди которой, — как пишет Брантом, — сотен шесть городских голодранцев явились и устроили, не давая ей спать, душераздирающую серенаду на дрянных скрипках и маленьких ребеках»¹, Мария Стюарт пожелала отслушать мессу. К несчастью, население Эдинбурга почти целиком принадлежало к реформатской религии; разъяренные тем, что королева начинает с демонстрации своей приверженности к папизму, добрые эдинбуржцы, вооружаясь ножами, камнями и пал-

¹ Старинный музыкальный инструмент, род трехструнной скрипки, на которой играли лукообразным смычком.

ками, ворвались в церковь, намереваясь убить несчастного священника, духовника Марии Стюарт. Он бежал из алтаря под защиту королевы, а брат Марии, приор Сент-Эндрю, бывший в соответствии с нравами той эпохи в гораздо большей степени воином, нежели священнослужителем, выхватил шпагу и, бросившись между королевой и народом, объявил, что собственной рукой прикончит первого, кто сделает еще хотя бы шаг. Его решимость, подкрепленная надменным и величественным видом королевы, охладила рвение новообращенных реформатов.

Как мы уже упоминали, Мария Стюарт возвратилась в Шотландию в разгар первых религиозных войн. Ревностная католичка, как и вся ее родня со стороны матери, она внушала кальвинистам самые серьезные опасения: распространился слух, будто бы высадиться она должна была не в Лите, куда приплыла только из-за тумана, а в Абердине. Там, дескать, ее должен был встретить граф Хантли, один из лордов, оставшихся верными католической вере, самый близкий и самый могущественный после семейства Гамильтонов королевский свойственник. Вместе с ним и с двадцатью тысячами воинов с Севера она, якобы, собиралась пойти на Эдинбург и восстановить католичество во всей Шотландии. Позднейшие события не замедлили доказать, что обвинение это было ложным.

Мария, как мы уже говорили, очень любила приора Сент-Эндрю, сына Иакова V и благородной наследницы графов Мар, бывшей в молодости поразительно красивой, однако, несмотря на всем известную любовь Иакова V к ней и на сына, который был плодом этой любви, она вышла замуж за лорда Дугласа из Лохливена и родила ему двух сыновей, старшего Уильяма и младшего Джорджа, являвшихся таким образом единоутробными братьями регента. Сразу же по возвращении в Шотландию Мария пожаловала Джеймсу Стюарту титул графа Мар, принадлежавший его предкам по материнской линии, а поскольку титул графа Мерри оставался свободным после смерти славного Томаса Рэндолфа, она по сестринской любви присоединила этот титул к другим, которые уже носил регент.

Но тут дело оказалось и сложнее и труднее; не такой характер был у новоиспеченного графа Мерри и не такой он был человек, чтобы удовлетвориться титулом без земель; земли же эти, перешедшие к короне, после того как пресекалась мужская ветвь прежних графов Мерри, мало-помалу были захвачены могущественными соседями, среди которых был и граф Хантли, которого мы только что

упоминали; справедливо решив, что ее указы натолкнутся с его стороны на определенное сопротивление, королева под предлогом посещения своих северных владений выступила в поход во главе небольшой армии, которой командовал граф Мар, он же граф Мерри.

Граф Хантли был не настолько глуп, чтобы поверить мнимому предлогу этой экспедиции, тем паче что его сын Джон Гордон за какие-то злоупотребления властью недавно был осужден на тюремное заключение. Тем не менее он выказал королеве все возможные знаки повиновения, отправил навстречу ей посланцев с приглашением посетить его замок и выехал следом за ними, чтобы самолично повторить приглашение. К несчастью, когда он ехал к королеве, комендант Инвернесса, его человек, отказался впустить Марию в этот замок, хотя он считался королевским. Правда, Мерри, считавший, что с такого рода мятежниками нельзя церемониться, уже приказал отрубить коменданту голову как государственному преступнику.

Это новое проявление твердости уверило Хантли, что молодая королева не намерена оставлять лордам ту почти неограниченную власть, которую они перехватили у ее отца; поэтому Хантли, хотя он и встретил самый благожелательный прием, едва узнав, что его сын бежал из тюрьмы и встал во главе своих вассалов, испугался, как бы его не сочли сообщником в этом мятеже, что, очевидно, так и было, и в ту же ночь тайно покинул королевский лагерь, чтобы принять командование над своими воинами, решив, поскольку с королевой было всего тысяч семь-восемь солдат, рискнуть и дать ей сражение; однако он объявил, как в свое время это сделал Баклю при попытке вырвать Иакова V из рук Дугласа, что возмутился он вовсе не против королевы, но против регента, который совершенно не дает ей воли и извращает все ее благие начинания.

Мерри, понимавший, что зачастую спокойствие всего царствования зависит от твердости, проявленной в его начале, тотчас же созвал всех лордов Севера, чьи земли граничили с его владениями, чтобы выступить против Хантли; на зов откликнулись все, потому что род Гордонов стал слишком могуществен и каждый опасался, как бы он не стал еще сильнее; однако было очевидно, что лорды, ненавидя вассала, отнюдь не питали большой любви к государыне и что в большинстве своем они прибыли на зов, не приняв окончательного решения, и собирались действовать в зависимости от обстоятельств.

Оба войска сошлись у Абердина; Мерри расположил отряды, пришедшие с ним из Эдинбурга, в которых он был уверен, на вершине холма, а на склоне поставил в несколько рядов своих северных союзников; Хантли решительно атаковал своих соседей-горцев, и после недолгого сопротивления те в беспорядке отступили. Тотчас же воины Хантли бросили копья, выхватили мечи и с кликами «Гордон! Гордон!» бросились их преследовать, решив, что уже выиграли битву, но вдруг столкнулись с армией Мерри, стоявшей подобно стене, тем паче что благодаря длинным копьям она имела неоспоримое преимущество над противниками, вооруженными лишь клейморами.¹ Настал черед отступать воннам Гордона; видя это, северные кланы остановились, сплотились и вновь ринулись в сражение, причем каждый воин, чтобы отличать своих от чужих, воткнул в шапку ветку вереска. Эта неожиданная атака решила судьбу битвы; горцы скатились с холма, подобно потоку, сметая на своем пути всех, кто пытался им оказать сопротивление. Мерри, видя, что настал момент превратить поражение в разгром, ударил всей своей конницей; толстяк Хантли, бывший в тяжелых доспехах, упал и был раздавлен копытами коней; Джон Гордон бежал, но был взят в плен, а через три дня обезглавлен в Абердине; его младшего брата, который был слишком молод, чтобы разделить с ним его судьбу, бросили в тюрьму, а спустя три года, когда ему исполнилось шестнадцать лет, казнили.

Мария участвовала в битве, а присутствие духа и храбрость, какие она при этом выказала, произвели огромное впечатление на ее диких защитников; на всем обратном пути они только и говорили, что, дескать, она заявила, что хотела бы быть мужчиной, дни проводить на коне, ночи в шатре, тело прикрывать кольчугой, а голову шлемом, носить в руке щит, а на боку меч.

Мария вступила в Эдинбург, встреченная всеобщим ликованием, так как этот поход против католика графа Хантли пользовался поддержкой эдинбургцев, не имевших ни малейшего представления о подлинных причинах, по которым он был предпринят. Они были реформатами, граф — папистом, то есть в любом случае врагом; вот и все, что они думали. Кроме того, шотландцы и вслух, в частности, при приветственных кликах, и в письменных прошениях выражали пожелание, чтобы их королева, не

¹ *Клеймор* — шотландский палаш

имевшая ребенка от Франциска II, вторично вышла замуж; Мария согласилась и, следуя благоразумным рекомендациям приближенных, решила посоветоваться относительно своего брака с Елизаветой, чьей наследницей она как внучка Генриха VII стала бы, если бы королева Англии умерла, не оставив потомства; к сожалению, она не всегда действовала столь осмотрительно, потому что после смерти Марии Тюдор¹, которую прозвали Марией Кровавой, предъявила претензии на трон Генриха VIII, основываясь на незаконности рождения Елизаветы², приняла вместе с дофином титул королей Шотландии, Англии и Ирландии, велела выбить монеты с этим новым титулом и отчеканить на своей посуде английский герб.

Елизавета была на девять лет старше Марии Стюарт, к тому времени ей не исполнилось еще и тридцати, так что она была ее соперницей не только как королева, но и как женщина. Если говорить об образовании, Елизавета без труда могла выдержать сравнение с Марией Стюарт, поскольку, не обладая способностью пленять мыслью, отличалась основательностью суждений; сведущая в политике, философии, истории, риторике, поэзии и музыке, она, кроме родного английского, великолепно говорила и писала на греческом, латыни, французском, итальянском и испанском, так что в этом смысле превосходила Марию, но та была куда красивей и стократ привлекательней. Елизавета, правда, обладала величественной и приятной внешностью, у нее были живые, блестящие глаза, поразительно белая кожа, но зато рыжие волосы, большие ноги³ и крупные руки, тогда как, напротив, Мария с ее прекрасными пепельными⁴ волосами, бровями, в упрек которым единствен-

¹ *Мария Тюдор* (1516—1558) — дочь Генриха VIII, королева Англии с 1553 г. Восстановила католическую религию в стране, жестоко преследовала протестантов, за что прозвана Кровавой.

² *Елизавета I* (1533—1603) — дочь Генриха VIII и Анны Болейн, с которой король развелся перед рождением Елизаветы, что и дало основание считать ее незаконнорожденной.

³ Елизавета подарила пару своих туфель Оксфордскому университету; судя по их размеру, нога у нее была, как у мужчины среднего роста (*примеч. автора*).

⁴ Многие историки утверждают, будто у Марии Стюарт были черные волосы, но Брантом, который видел ее, поскольку, как мы уже упоминали, сопровождал ее в Шотландию, пишет, что они были пепельными. «Прозвнеся это, он (палач) с презрением обнажил ей голову, дабы все узрели ее седые волосы, которые она при жизни, когда они были пепельными и красивыми, не боялась ни показывать, ни прилюдно чесать и заплетать» (*примеч. автора*).

но можно было поставить лишь столь правильную округлую форму, что многие считали, будто они подведены кисточкой, глазами, из которых неизменно лился пламенный поток, носом поистине греческой формы, со столь алыми и изящными устами, что, казалось, будто подобно цветку, который открывается лишь для того, чтобы источать благоухание, они должны открываться только для произнесения сладостных слов, с белой шеей, изысканной, как у лебедя, мраморными руками, станом богини и детской ножкой являла собой настолько совершенное единство, что самый привередливый по части формы скульптор не сумел бы найти в нем никакого изъяна.

И это было подлинное и величайшее преступление Марии Стюарт: будь в ее лице или сложении какое-либо несовершенство, она не умерла бы на эшафоте.

Красота Марии стала для Елизаветы, которая никогда ее не видела и могла о ней судить только по рассказам, величайшим поводом беспокойства и ревности, каковую она даже не пыталась скрывать и постоянно выдавала расспросами и раздражением. Однажды она дружески беседовала с Джеймсом Мелвилем о деле, которое его привело к ее двору, то есть о просьбе Марии Стюарт к Елизавете оказать ей покровительство в выборе супруга; свой выбор, как казалось поначалу, английская королева остановила на графе Лестере¹, и, беседуя, провела шотландского посла к себе в рабочий кабинет, где показала ему множество портретов с именами, написанными ее собственной рукой; первым в ряду был портрет графа Лестера. Так как Елизавета назвала его в качестве претендента на руку Марии Стюарт, Мелвил попросил у нее этот портрет, чтобы показать своей государыне, но Елизавета отказала, заявив, что он у нее единственный. Мелвил на это с улыбкой заметил, что, имея оригинал, она вполне может обойтись без копии, однако Елизавета ни за что не желала лишиться портрета. Когда этот небольшой спор закончился, она показала Мелвилу портрет Марии Стюарт, нежно поцеловала его и заявила, что безумно хотела бы увидеть его государыню.

— Это легко сделать, ваше величество, — ответил Мелвил, — Притворитесь, будто вы заболели и не выходите

¹ Роберт Дадли, граф Лестер (1531—1588) — фаворит Елизаветы. Предложение его в мужья Марии Стюарт было изощренным оскорблением.

из своих покоев, а сами поезжайте инкогнито в Шотландию, как это сделала Иаков Пятый, когда отправился во Францию, желая увидеть Мадлен де Валуа, на которой впоследствии женился.

— Увы, — вздохнула Елизавета, — я была бы рада, да только это не так просто, как вам представляется. Тем не менее передайте вашей королеве, что я нежно люблю ее и желала бы, чтобы мы стали большими друзьями, чем были до сих пор.

После этого она тут же свернула на тему, которую, как было видно, уже давно хотела затронуть.

— Скажите, Мелвил, — спросила она, — моя сестра и впрямь так красива, как говорят?

— Да, она весьма красива, — отвечал Мелвил, — но я не могу дать вашему величеству представления об ее красоте, поскольку мне не с чем ее сравнить.

— Я предоставлю вам возможность сравнения, — заметила королева. — Скажите, она красивей меня?

— Вы, ваше величество, — вывернулся Мелвил, — прекрасней всех в Англии, а Мария Стюарт прекрасней всех в Шотландии.

— И все-таки кто из нас красивей? — не отступала королева, не вполне удовлетворенная этим ловким, дипломатичным ответом.

— Вынужден признать, ваше величество, моя государыня, — сказал Мелвил.

— В таком случае она безмерно красива, — кисло заметила Елизавета. — Но зато я выше ее ростом. А скажите, каковы ее любимые развлечения?

— Охота, ваше величество, — ответила Мелвил, — верховая езда, музицирование на лютне и клавесине.

— И что, она искусна в игре на клавесине? — осведомилась Елизавета.

— Для королевы, ваше величество, весьма искусна.

На этом беседа завершилась, но поскольку Елизавета была превосходной музыкантшей, она велела мнлорду Хьюсдену ввести к ней Мелвила, когда она будет сидеть за клавесином, чтобы он смог послушать ее игру, причем не подозревая, что она играет для него. И вот в тот же день Хьюсден в точном соответствии с инструкциями королевы провел посла на галерею, отделенную от покоя Елизаветы одним только занавесом, и, когда поднял его, Мелвил мог в свое удовольствие слушать королеву, которая

не обернулась, пока не закончила музыкальную пьесу, сыгранную, надо сказать, с большим талантом. Заметив Мелвила, она притворилась разгневанной и даже хотела поколотить его, однако гнев ее стал понемногу утихать от комплиментов посла и совершенно прекратился, когда он признал, что Мария Стюарт уступает ей в игре на клавесине. Но этим дело не кончилось. Гордая своим успехом, Елизавета пожелала, чтобы Мелвил увидел, как она танцует. Она даже на два дня задержала вручение ему своего послания к Марии Стюарт, чтобы он смог присутствовать на балу, который она давала. В послании этом, как мы уже упоминали, высказывалось пожелание, чтобы шотландская королева вышла замуж за графа Лестера, но это предложение не могло быть принято всерьез. Лестер, не отличавшийся ко всему прочему особыми достоинствами, был слишком низкого происхождения, чтобы претендовать на руку женщины из древнего королевского рода, и Мария ответила, что такой супруг ей не подходит.

В это время при шотландском дворе произошла странная и трагическая история.

В свите французских вельмож, сопровождавших Марию Стюарт, был, как мы уже говорили, молодой дворянин Шатлар, истинный представитель дворянства той эпохи, племянник Баяра¹ по женской линии, поэт и рыцарь, талантливый и отважный; он служил маршалу Данвилю и был приближен к нему. Благодаря своему высокому положению Шатлар, пока Мария пребывала во Франции, всячески выказывал ей знаки внимания, и она не видела ничего худого в его стихотворных изъяснениях чувств, бывших, кстати сказать, общепринятыми в ту эпоху, тем паче, что каждый день они со всех сторон сыпались на нее, словно из рога изобилия, и рассматривала их просто как галантные поэтические декларации. Но когда влюбленность Шатлара в Марию Стюарт достигла апогея, она, как нам уже известно, вынуждена была покинуть Францию. Маршал Данвиль, который не подозревал о страсти Шатлара и, ободренный добрым отношением к нему Марии Стюарт, решил вступить в ряды соискателей, желающих наследовать Франциску II в качестве супруга Марии, по-

¹ *Баяр*, Пьер Терайль, сеньер де (1473—1524) — французский военачальник, сподвижник Карла VIII, Людовика XII и Франциска I, прозванный за храбрость, верность и благородство «рыцарем без страха и упрека»

следовал за несчастной изгнанницей в Шотландию; не думая найти в Шатларе соперника, он открылся ему в своих чувствах, а когда вынужден был возвратиться во Францию, оставил юного поэта при шотландской королеве, доверив ему защищать интересы его любви. Положение доверенного лица еще более приблизило Шатлара к Марии, а поскольку он был поэтом, она относилась к нему как к брату, и это вдохновило его дерзнуть добиться иного звания. И вот однажды вечером он прокрался в спальню Марии Стюарт и спрятался под кроватью, но, когда королева начала раздеваться, комнатная собачка принялась так отчаянно лаять, что на ее лай прибежали камеристки и обнаружили спрятавшегося Шатлара.

Женщина легко прощает преступление, оправданием которому служит любовь; Мария Стюарт была прежде всего женщиной, а уж потом королевой, а она простила поэта.

Но подобная снисходительность лишь усилила самонадеянность Шатлара; выговор, сделанный королевой, он отнес на присутствие камеристок, решив, что, если бы она была одна, прощение было бы гораздо более полным, и через три недели возобновил попытку. Но на сей раз Шатлара обнаружили в шкафу, когда королева уже легла в постель, и отдали в руки стражи.

Время для подобной проделки было выбрано крайне неудачно: королева собиралась замуж, и если бы Шатлар был прощен, скандал стал бы губительным для ее репутации. За дело взялся Мерри; поняв, что только публичный процесс может спасти честь его сестры, он с такой энергией провел его, что Шатлар, обвиненный в оскорблении величества, был приговорен к смертной казни. Мария неоднократно ходатайствовала перед Мерри о высылке Шатлара во Францию, но регент объяснил ей, какими ужасными будут последствия, если она воспользуется своим правом помилования, так что королеве пришлось отказаться от вмешательства в дела правосудия и утвердить смертный приговор.

Войдя на эшафот, который был возведен перед королевским дворцом, Шатлар, отказавшийся от помощи священника, стал декламировать «Оду к смерти» своего друга Ронсара и делал это с явным наслаждением, а дочитав ее, повернулся к окнам королевы и в последний раз крикнул:

— Прощай, самая прекрасная и самая жестокая в мире королева!

После этого он положил голову на плаху, не выказав ни малейшего раскаяния, не издав ни единой жалобы. Смерть его крайне удручила Марию, хотя она не смела открыто скорбеть о нем.

Тем временем разошелся слух, что королева Шотландии согласна вновь выйти замуж, и сразу же появилось множество претендентов, принадлежащих к первым королевским домам Европы; среди них были эрцгерцог Карл, третий сын императора Германии; наследный принц Испании дон Карлос, тот самый, который был впоследствии казнен по приказу своего отца Филиппа II; герцог Анжуйский, будущий французский король Генрих III. Но выйти за иностранного принца означало бы отказаться от своих прав на английскую корону. Поэтому Мария Стюарт отвергла иноземных женихов и, поставив себе это в заслугу перед Елизаветой, остановила свой выбор на родственнике английской королевы Генри Стюарте, лорде Дарнли, сыне графа Леннокса.

Елизавета, не имевшая благовидного предлога воспротивиться этому браку, так как королева Шотландии выбрала себе в мужа не только англичанина, но и ее родственника, дала графу Ленноксу и его сыну дозволение отправиться в Эдинбург, предполагая, если дело примет серьезный оборот, тотчас отозвать их назад; этому повелению они не посмели бы не подчиниться, поскольку все их владения находились в Англии.

Дарнли было восемнадцать лет; он был красив, прекрасно сложен, изящен, умел изъясняться на том обворожительном языке, который был принят среди молодых вельмож при французском и английском дворах и которого Мария не слышала с тех пор, как произошло ее изгнание в Шотландию; она прельстилась видимостью, не заметив, что под блестящей внешностью Дарнли скрывается полнейшая ничтожность, сомнительная храбрость, непостоянный и грубый характер. Следует сказать, что для успеха этого брака много постарался человек, чье влияние было столь же своеобразно, как своеобразно было его возвышение, благодаря которому он приобрел такое влияние. Мы имеем в виду Давиде Риццио.

Давиде Риццио, сыгравший столь огромную роль в жизни Марии Стюарт, чье странное и беспричинное благоволение к нему дало ее врагам сильное оружие против нее, был сыном многодетного музыканта из Турина, кото-

рый, увидев явную склонность своего отпрыска к музыке, обучил его начальным основам этого искусства. В пятнадцать лет Давиде пешком отправился в Ниццу, где герцог Савойский взял его ко двору; там он поступил на службу к герцогу Морето, и тот, когда несколько лет спустя его назначили послом в Шотландию, уезжая, взял Риццио с собой. У молодого человека был прекрасный голос, он исполнял на виоле и ребеке песни, музыку и слова к которым сочинял сам, и посол рассказал о нем Марии; она пожелала увидеть его. Самоуверенный Риццио увидел в этом желании королевы средство возвыситься, поспешил исполнить приказ, спел несколько песен и понравился ей. Она попросила его у Морето, не придав этому особого значения, как если бы попросила уступить ей породистую собаку или выученного сокола. Морето отдал его, обрадовавшись возможности сделать ей любезность, но как только Риццио перешел на службу к Марии Стюарт, она обнаружила, что музыка отнюдь не самый главный из его талантов, он обладал, если не глубокими, то во всяком случае разносторонними знаниями, гибким умом, живым воображением, приятными манерами и в то же время смелостью и изворотливостью. Он напоминал королеве тех итальянских артистов, которых она видела при французском дворе, говорил с нею на языке Маро и Ронсара, чьи лучшие стихи знал наизусть, и этого было более чем достаточно, чтобы снискать ее благоволение. Очень скоро он стал ее фаворитом, а когда через некоторое время освободилось место секретаря, ведающего перепиской с Францией, Риццио тут же получил его.

Дарнли, желавший любой ценой стать супругом Марии Стюарт, привлек Риццио на свою сторону, не ведая, что вовсе не нуждается в его поддержке: Мария, с первого взгляда влюбившись в Дарнли и опасаясь новых интриг со стороны Елизаветы, постаралась, насколько это допускали приличия, ускорить заключение брака, события развивались с поразительной быстротой, и ко всеобщему ликования и с одобрения знати, за исключением незначительного меньшинства, возглавляемого Мерри, 29 июля 1565 г. при самых счастливых предзнаменованиях произошло венчание. За два дня до него Дарнли и его отец граф Леннокс получили повеление возвратиться в Лондон, и так как они не подчинились, через неделю после свадьбы графиня Леннокс, единственный член их семьи, оставшийся в

пределах досягаемости Елизаветы, была арестована и заключена в Тауэр. Таким образом, несмотря на всю скрытность, Елизавета, поддавшись первому приступу гнева, который ей всегда было очень трудно сдержать, выдала свою злопамятность и враждебность.

И все-таки Елизавета была не из тех женщин, кто удовлетворяется мелкой и бесполезной мстостью; вскоре она освободила графиню Леннокс и обратила взор на Мерри, самого недовольного из всех лордов, противостоящих Марии Стюарт, так как после этого брака он утратил свое влияние на нее. Елизавете не составило большого труда подстрекнуть его к возмущению. Потерпев неудачу в первой же попытке подчинить себе Дарнли, он столкнулся с герцогом Чателротом, Пленкэрном, Аргайлом и Ротсом; собрав, сколько смогли, стбронников, они подняли открытый мятеж против королевы. То было первое явное проявление враждебности, ставшей впоследствии роковой для Марии Стюарт.

Королева воззвала к дворянству, которое немедленно откликнулось и сплотилось вокруг нее, так что к концу месяца у нее было самое лучшее войско, какое когда-либо собирал король Шотландии. Во главе этого великолепного ополчения встал Дарнли; он ехал в золоченых доспехах на прекрасном коне, рядом с ним в амазонке, с пистолетами в седельных кобурах скакала королева, решившая, чтобы не разлучаться ни на минуту, проделать вместе с ним всю кампанию. Молодые, красивые, они выступили из Эдинбурга под приветственные клики народа и армии.

Мерри и его сторонники не пытались даже оказать сопротивления, и вся кампания прошла в маршах и контр-маршах, столь стремительных и сложных, что в народе этот мятеж прозвали *Run about Raid*, что можно перевести как игра в салки. Мерри с мятежниками бежал в Англию, где Елизавета для вида сурово отчитала их за дерзость и безрассудство, а тайно приказала предоставлять им любую потребную поддержку.

Мария возвратилась в Эдинбург, обрадованная успехом второй проведенной ею кампании, не подозревая, что то был последний подарок судьбы и что на этом ее краткое счастье кончилось. Вскоре она убедилась, что, предавшись Дарнли, она обрела не галантного и ласкового мужа, как надеялась, а властного и грубого тирана; не считая более необходимым притворяться перед женой, он показал себя

таким, каким был на самом деле, то есть вместилищем постыдных пороков, из которых пьянство и кутежи были не самыми худшими. Вскоре между венценосными супругами начался серьезный разлад.

Женившись на Марии, Дарнли не стал королем; он был всего лишь супругом королевы. Чтобы он получил власть, хотя бы равную власти регента, Мария должна была дать согласие на предоставление ему так называемой короны соправителя, которую носил во время своего недолгого царствования Франциск II¹, однако у нее из-за разладившихся взаимоотношений не было ни малейшего желания дарить Дарнли эту корону. Как он ни настаивал, какие ни придумывал предлоги, она решительно и безоговорочно отказывала. Дарнли, пораженный необъяснимой силой воли юной королевы, которая была так влюблена в него, что возвысила до себя, решил, что источник этого упорства не в ней, и стал выискивать в ее окружении тайного влиятельного советчика, вдохновляющего ее. Его подозрения пали на Риццио.

Какова бы ни была причина влияния Риццио (на этот счет не могут сказать ничего определенного самые прозорливые историки), имел ли он над нею власть как любовник, давал ли советы как министр, единственной его целью было споспособствовать вящей славе своей королевы. Поднявшись из самых низов, он хотел доказать, что достоин такого возвышения, и, будучи всем обязан Марии, старался своей преданностью отблагодарить ее и уплатить долг. Дарнли не ошибся: именно Риццио, отчаявшись обладать каким-либо весом при этом брачном союзе, который, как он и предвидел, оказался несчастливым, посоветовал Марии не отдавать даже малой доли власти тому, кто, получив ее самое, и так имеет больше, чем заслуживает.

Дарнли, как все слабохарактерные и необузданные люди, не верил в упорство и волю другого, ежели эта воля не подкрепляется посторонним влиянием. Поэтому он решил, что, если избавится от Риццио, у него не будет никаких препятствий к получению короны соправителя, которой он страстно домогался. А поскольку Риццио, достигшего столь высокого положения только благодаря собственным достоинствам, ненавидело все дворянство, Дарнли не составило большого труда устроить заговор, и

¹ Как король Шотландии в качестве супруга Марии.

Джеймс Дуглас Мортон, государственный канцлер, согласился встать во главе его.

Вот уже во второй раз с начала этого повествования мы упоминаем фамилию Дуглас, которая так часто повторяется в истории Шотландии. Старшая ветвь этого рода, звавшаяся Черные Дугласы, к тому времени уже пресеклась; осталась только младшая — Рыжие Дугласы. То был древний, благородный и могущественный род, представители которого, когда угасла мужская линия наследников Роберта Брюса, оспаривали корону у первого Стюарта, а впоследствии всегда находились вблизи трона — иногда как его опора, иногда как противники, ревнуя ко всем другим сильным домам, так как любое чужое величие затеняло их, а особенно к Гамильтонам, которые были если уж не равными им, то во всяком случае самыми могущественными после них.

В продолжение всего царствования Иакова V, ненавидевшего Дугласов, они не только лишились своего влияния, но и были изгнаны в Англию. Причиной ненависти послужило то, что Дугласы захватили опеку над малолетним монархом и держали его в плену до пятнадцати лет. С помощью пажа Иаков V бежал из Фолкленда и добрался до Стерлинга, комендант которого был его сторонником. Прибыв в этот замок, он сразу же объявил, что всякий Дуглас, который приблизится к нему на расстояние двенадцати миль, будет считаться государственным изменником. Мало этого, он добился от парламента постановления, которое обвиняло Дугласов в злоупотреблении властью и приговаривало к изгнанию; до конца жизни этого короля они пребывали в опале и возвратились в страну только после его смерти. Но хотя они снова были приближены к престолу и занимали благодаря влиянию Мерри, который, как мы помним, со стороны матери тоже происходил из Дугласов, самые высокие должности, они не простили дочери ненависти, какую питал к ним отец.

Вот почему Джеймс Дуглас, который был государственным канцлером и по своему положению обязан был следить за исполнением закона, встал во главе заговора, имевшего целью преступить все божеские и человеческие законы.

Первой мыслью Дугласа было поступить с Риццио, как некогда поступили с фаворитами Иакова III на Лодерском мосту: наскоро провести некое подобие суда и тут же повесить. Но такая расправа не устраивала мстительную

натуру Дарнли: в лице Риццио он хотел покарать королеву и настаивал, чтобы его прикончили в ее присутствии.

К Дугласу присоединился лорд Рутвен, ленивый и распутный сибарит; он поклялся всего себя отдать этому предприятию и, если будет нужно, даже надеть панцирь и взяться за оружие, после чего стал вербовать сообщников.

Разумеется, заговор невозможно плести в полной тайне, чтобы о нем не просочились какие-то сведения, и Риццио неоднократно получал предостережения, но пренебрег ими. Среди прочих сэр Джеймс Мелвил испробовал самые разные способы, пытаясь дать Риццио понять, какие опасности подстерегают иноземца, пользующегося полнейшим доверием монарха, при столь диком и завистливом дворе, как шотландский; Риццио выслушивал эти намеки с видом человека, не собирающегося принимать их к сведению, и сэр Джеймс, посчитавший, что сделал все, дабы совесть его была чиста, более не стал докучать ему предостережениями.

Затем французский священник, слышавший искусным астрологом, добился, чтобы Риццио принял его, и предупредил, что звезды предвещают ему смертельную опасность, особенно же он должен остерегаться некоего бастарда. Риццио ответил, что заранее, как только государыня почтила его своим доверием, готов был заплатить жизнью за достигнутое им положение, но вообще-то он заметил, что шотландцы скоры на угрозы, но медлительны в исполнении их; ну, а что касается бастарда, каковым, несомненно является граф Мерри, то уж он постарается, дабы тот не проник в Шотландию достаточно глубоко, чтобы иметь возможность дотянуться до него своей шпагой, разве что она окажется длиннее от Дамфриса до Эдинбурга; этим самым он давал понять, что, пока он жив, Мерри будет оставаться в изгнании в Англии, так как Дамфрис был одной из пограничных крепостей.

Заговор тем временем развивался своим чередом, и Дуглас и Рутвен, собрав сообщников, послали за Дарнли, чтобы скрепить подписями договор. В качестве цены за кровавую службу, которую они сослужат королю, заговорщики потребовали добиться прощения Мерри и всем лордам, замешанным вместе с ним в «игре в салки». Дарнли согласился на все их требования, и к Мерри был послан гонец, чтобы оповестить его о затеваемом деле и предупредить, что он должен быть готов вернуться в Шотлан-

дию при получении первой же вести. Затем, когда с этим вопросом было покончено, Дарнли дали подписать грамоту, в которой он признавал, что является вдохновителем и главою заговора. Главными участниками заговора были граф Мортон, граф Рутвен, Джордж Дуглас, побочный сын Ангуса, то есть бастард, а также Линдли и Эндрю Кэррю. Остальное составляли солдаты, умевшие только убивать и не слишком даже понимавшие, в чем дело. Дарнли взялся назначить срок.

Через день после подписания соглашения Дарнли, которому сообщили, что королева находится наедине с Риццио, решил убедиться, до какой степени доходит ее благосклонность к своему министру. Он хотел войти в ее покои через потайную дверь, от которой у него был ключ, но хотя ключ поворачивался в замке, дверь не открывалась. Тогда Дарнли стал колотить в нее и звать Марию, однако презрение ее к нему было столь велико, что она его даже не впустила в опочивальню, хотя, если и предположить, что она была наедине с Риццио, у нее было бы вполне достаточно времени, чтобы выпроводить его. Доведенный этим происшествием до крайности, Дарнли созвал Мортонна, Рутвена, Леннокса, Линдли и бастарда Дугласа и назначил убийство Риццио на послезавтра.

Только они успели обсудить все подробности и распределить, кто какую роль будет исполнять в кровавой трагедии, как дверь неожиданно распахнулась и на пороге появилась Мария Стюарт

— Милорды, — объявила она, — вы совершенно зря проводите секретные совещания. Я осведомлена о ваших кознях и, с Божьей помощью, вскоре применю свои средства

С этими словами, прежде чем заговорщики успели прийти в себя, она закрыла дверь и исчезла, словно мимолетный, но ничего хорошего не предвещающий призрак. Все стояли, онемев. Мортон первым обрел дар слова.

— Милорды, — сказал он, — мы играем в смертельную игру, и выиграет в ней не самый ловкий или самый сильный, но самый быстрый. Если мы не погубим этого человека, то погибнем сами. Его необходимо поразить не послезавтра, а сегодня же вечером.

Предложение поначалу встретили с энтузиазмом все, включая и Рутвена: он бледен, у него горячка, вызванная болезнью, являющейся последствием разврата, но он обе-

щает быть в первых рядах. Но была причина, заставившая не согласиться с предложением Мортонa и все-таки назначить убийство на послезавтра: по общему мнению, потребуется не меньше дня, чтобы собрать рядовых участников заговора, число которых составляет около полутораста.

В день, назначенный для убийства, а это была суббота 9 марта 1566 г., Мария Стюарт, унаследовавшая от своего отца Иакова V нелюбовь к этикету и стремление к свободе, пригласила к себе на ужин шестерых человек, среди которых был и Риццио. Дарнли, как только узнал об этом, предупредил своих сообщников и объявил, что сам проведет их во дворец между шестью и семью вечера. Те ответили, что они будут готовы

Утро того дня было хмурое и ветреное, каким всегда бывает в Шотландии начало весны; к вечеру ветер усилился и повалил снег. Мария закрылась с Риццио, и Дарнли, неоднократно подходивший к потайной двери, слышал музыку и голос фаворита, исполнявшего те сладостные напевы, которые дожили до наших дней и которые эдинбургцы и посейчас еще приписывают ему. Эти мелодии были для Марии напоминанием о жизни во Франции, куда артисты, прибывшие в свите Екатерины Медичи, привезли отзвуки Италии, но у Дарнли они вызывали только злобу, и всякий раз, уходя, он еще больше укреплялся в принятом решении.

В назначенный час заговорщики, еще днем получившие пароль, постучались в ворота замка и были тут же беспрепятственно впущены, тем паче что сам Дарнли, закутанный в широкий плащ, встретил их и провел через потайной ход. Полторы сотни воинов бесшумно прокрались во внутренний двор, где им велели укрыться под навесами, во-первых, чтобы оберечь их от холода, а во-вторых, чтобы они не выделялись на снегу, покрывавшем землю. В этот двор выходило ярко освещенное окно кабинета королевы; по первому сигналу, поданному из него, воины должны были высадить двери и прийти на помощь руководителям заговора.

Отдав распоряжения, Дарнли провел Мортонa, Рутвена, Леннокса, Линдсея, Эндрю Кэрю и бастарда Дугласа в комнату, смежную с кабинетом королевы и отделенную от нее только висящим на двери занавесом. Из нее можно было слышать все, что говорят в кабинете, и в один миг оказаться среди сотрапезников.

Дарнли оставил заговорщиков в этой комнате, велел им молчать и ворваться в кабинет, когда он крикнет: «Дуглас, ко мне!» Затем он вернулся по коридору к потайной двери, чтобы королева, увидев его входящим к ней обычным путем, не встревожилась и не заподозрила ничего худого в этом неожиданном визите.

Мария ужинала вместе со своими шестью гостями, и Риццио сидел, как сообщают де Ту и Мелвил, по правую руку от нее, меж тем как Кэмпден утверждает, будто он ел, стоя у буфета. Шел веселый, непринужденный разговор, естественный, когда сидишь за роскошным столом, в тепле, укрытый от непогоды, а за окном снег липнет к стеклам и в трубах завывает ветер. И вдруг Мария, удивленная внезапной тишиной, сменившей жизнерадостную, оживленную беседу, которую вели ее гости в продолжение всего ужина, и догадавшаяся по направлению их взглядов, что причина их тревоги находится у нее за спиной, обернулась и увидела Дарнли; он стоял, опершись на спинку ее кресла. Королева вздрогнула: хотя на губах ее мужа играла улыбка, но стоило ему взглянуть на Риццио, эта улыбка менялась и делалась столь странной, что становилось ясно: сейчас произойдет нечто ужасное. И в тот же миг она услышала в соседней комнате тяжелые медлительные шаги, приближающиеся к кабинету; занавес откинулся, и на пороге появился бледный, как привидение, лорд Рутвен в доспехах, тяжесть которых он едва нес на себе; вытащив меч, он молча оперся на него. Королева решила, что у него горячка.

— Что вам угодно, милорд? — удивилась она. — Почему вы вошли во дворец так вооруженным?

— Спросите об этом у короля, ваше величество, — глухо произнес Рутвен. — Он вам ответит.

— Объясните же, милорд, — обратилась королева к Дарнли. — Что означает это полное забвение приличий?

— Это означает, ваше величество, что этот человек, — и Дарнли указал пальцем на Риццио, — сей же миг выйдет отсюда.

— Он — мой слуга, милорд, — встав, надменно произнесла Мария, — а значит, приказания получает только от меня.

— Ко мне, Дуглас! — крикнул Дарнли.

Заговорщики, знавшие непостоянство характера Дарнли и опасавшиеся, что он не решится подать сигнал и позвать

их, уже сгрудились позади Рутвена; стоило прозвучать призыву, они с такой стремительностью ринулись в кабинет, что опрокинули стол. Давиде Риццио, поняв, что они пришли за его головой, упал на колени, прячась за королевой, и вцепился в подол ее платья, крича по-итальянски: «Giustizia! Giustizia!»¹ Королеву с ее решительным характером не испугало это вторжение, она величественно встала перед Риццио, загородив его. Однако она ошибалась, рассчитывая на почтение своей знати, привыкшей в течение пяти веков сражаться с собственными королями. Эндрю Кэрю приставил ей к груди кинжал и пригрозил убить, ежели она и дальше будет защищать того, чья смерть уже предрешена. И тут Дарнли, невзирая на то, что королева была беременна, схватил ее и оттащил от Риццио, который, бледный и дрожащий, продолжал все так же стоять на коленях, а Дуглас, подтверждая предсказание астролога, посоветовавшего Риццио опасаться некоего бастарда, вырвал из ножен короля кинжал и вонзил его в грудь итальянца. Тот рухнул на пол, раненый, но еще живой. Мортон взял его за ноги и поволок из кабинета в соседнюю комнату, оставляя на полу длинный кровавый след, который еще и ныне показывают в замке; там все набросились на Риццио, словно собаки на добычу, ожесточенно нанося ему удары кинжалами: на его труп насчитали пятьдесят шесть ран. Все это время Дарнли продолжал держать королеву, которая, надеясь, что Риццио еще жив, кричала и просила пощадить его. Наконец появился Рутвен, еще сильнее побледневший, и на вопрос Дарнли, покончили ли с Риццио, утвердительно кивнул головой. Еще не вполне выздоровев, он чувствовал страшную слабость и опустился в кресло, хотя королева, которую наконец-то отпустил Дарнли, продолжала стоять. Такого Мария Стюарт не могла стерпеть.

— Милорд! — воскликнула она. — Вы осмелились сесть при мне! Как прикажете понимать подобную наглость?

— Ваше величество, — объяснил Рутвен, — мое поведение объясняется не наглостью, а слабостью: дабы послужить вашему супругу, мне пришлось предпринять усилия, превышающие те, что позволяют мои врачи.

После этого он повернулся к слуге и бросил:

¹ Справедливости! Справедливости! (ит.)

— Подай-ка мне бокал, — и прежде чем вложить в ножны свой окровавленный кинжал, показал его Дарнли, промолвив: — А вот доказательство, что я заслужил глоток вина.

Слуга исполнил приказ, и Рутвен осушил бокал с полнейшей безмятежностью, словно только что совершил некий невинный поступок.

— Милорд! — сказала королева, подойдя к Рутвену. — Возможно, несмотря на пламенное мое желание, мне никогда не удастся поквитаться с вами за то, что вы содеяли, поскольку я женщина, но тот, кого я ношу здесь, — и она величественным жестом прикоснулась к своему животу, — чью жизнь вы обязаны чтить, раз уж не можете чтить мое величество, однажды отомстит за все оскорбления, нанесенные мне.

Произнеся это, она с гордым и угрожающим видом удалилась через потайную дверь и закрыла ее за собой.

В этот миг в комнате королевы послышался грохот. Хантли, Атол и Босуэл, который, как мы увидим, будет играть крайне важную роль в продолжении нашей истории, вместе ужинали в дворцовой передней и вдруг услышали крики и звон оружия; они тотчас же бросились на шум; Атол, бежавший первым, споткнулся о труп, валявшийся на площадке, и они, не зная, что это труп Риццио и что какие-то злоумышленники покушаются на жизнь короля и королевы, выхватили шпаги и кинулись штурмовать двери, которые охранял Мортон. Дарнли, сообразив, что может сейчас произойти, выскочил вместе с Рутвеном из кабинета и обратился к прибежавшим дворянам:

— Милорды, нам с королевой ничто не угрожает, а то, что здесь произошло, сделано по нашему приказу. Посему удалитесь. Все, что необходимо, вы узнаете в свое время. Ну, а что до этого, — промолвил он, приподняв мертвую голову Риццио за волосы, меж тем как бастард Дуглас держал факел, освещая лицо убитого, чтобы его можно было узнать, — то сами видите, кто он. Вряд ли стоит из-за него ввязываться в скверную историю.

Действительно, едва Хантли, Атол и Босуэл узнали музыканта, они тут же вложили шпаги в ножны и ушли.

Марня Стюарт, удалившись, думала только о мести. Но она понимала, что не может разом отомстить и мужу, и его сообщникам, и потому применила все чары души и красоты, чтобы оторвать короля от них. Это оказалось

совсем нетрудно: когда звериная ярость, нередко заводившая Дарнли за всякие границы, утихла, он сам ужаснулся содеянному преступлению, и пока остальные заговорщики, соединившись с Мерри, обсуждали, как предоставить супругу королевы вождеденную корону соправителя, Дарнли, столь же легкомысленный, сколь и неистовый, столь же малодушный, сколь и жестокий, подписывал с Марией в той же самой комнате, где на полу еще не высохла кровь убитого, новый договор, по которому обязывался предать своих сообщников. Спустя три дня после описанного нами события убийцы были потрясены поразительной новостью: Дарнли и Мария, сопровождаемые лордом Сейтоном, бежали из дворца Холируд. А еще через три дня выходит воззвание, подписанное Марией Стюарт в Данбаре, в котором она от своего имени и от имени короля призывает к себе всех дворян и баронов Шотландии, включая и тех, кто был замешан в «игре в салки», причем не только дарует им полное и всецелое прощение, но и возвращает свою милость. Тем самым она отделяла дело Мерри от дела Мортон и остальных убийц, которые, видя, что Шотландия стала для них небезопасна, в свой черед бежали в Англию, где всякий враг королевы мог быть уверен, что найдет добрый прием, невзирая на видимость самых наилучших отношений между Марией и Елизаветой. Что же касается Босуэла, намеревавшегося воспрепятствовать убийству, он был назначен лордом-хранителем всех рубежей королевства.

К несчастью, Мария, которая всегда была более женщина, нежели королева, в отличие от Елизаветы, бывшей прежде всего королевой, а уж потом женщиной, первым делом приказала перезахоронить Риццио; он был наскоро зарыт возле церкви, что находилась ближе всего к Холируду, она же повелела перенести его прах в усыпальницу шотландских королей, и этим актом, этими почестями, воздаваемыми мертвому, нанесла своей чести урон куда больший, чем милостями, которыми осыпала его при жизни.

Столь откровенная демонстрация отношения Марии к убитому привела, разумеется, к новым ссорам с Дарнли, и ссоры эти обостряло еще и то, что примирение супругов, как можно понять, было притворным, по крайней мере, со стороны королевы; понимая, что беременность дает ей огромное преимущество, она отбросила всякую сдержан-

ность, оставила Дарнли и переселилась из Данбара в Эдинбургский замок, где 19 июня 1566 г., то есть через три месяца после убийства Риццио, родила сына, который впоследствии стал королем Иаковом VI.

Разрешившись от бремени, Мария призвала Джеймса Мелвила, своего дипломатического агента у Елизаветы, и велела отвезти эту весть английской королеве, а также попросить ее стать крестной матерью царственного младенца. Прибыв в Лондон, Мелвил тотчас же отправился во дворец, но при дворе был бал, потому он не смог увидеть королеву и ограничился тем, что сообщил министру Сесилу¹ причину своего приезда и попросил исхлопотать для него аудиенцию на завтра. Елизавета как раз танцевала в кадрили, когда Сесил, приблизясь к ней, шепнул:

— Королева Мария Шотландская родила сына.

От этих слов Елизавета страшно побледнела и обвела зал помутившимся взглядом: казалось, сознание вот-вот покинет ее; она вцепилась в кресло, однако, чувствуя, что ноги ее не держат, села, откинулась головой на спинку и погрузилась в горестные раздумья. Одна из придворных дам, крайне обеспокоенная ее видом, прорвала круг, образовавшийся около королевы, и встревоженно спросила, какие печальные мысли овладели ее величеством.

— Ах, миледи, — порывисто воскликнула Елизавета, — неужто вы не знаете, что Мария Стюарт родила сына? А я, я — бесплодный пень, что умрет, не дав побега!

И все же Елизавета была слишком хорошим политиком, чтобы позволить себе, несмотря на легкость, с какой она поддавалась первому душевному движению, осрамиться продолжительным проявлением отчаяния. Бал продолжился, прерванная кадриль возобновилась и была станцована.

На следующий день Мелвил получил аудиенцию. Елизавета великолепно приняла его, заверила, что новость, которую он привез, доставила ей живейшее удовольствие и, мало того, исцелила от болезни, уже две недели ей докучавшей. Мелвил отвечал, что его государыня поспешила поделиться с английской королевой своей радостью, так как она знает, что у нее нет лучшего друга, но добавил, что эта радость едва не стоила Марии жизни: роды были чрезвычайно тяжелые. Когда он в третий раз заговорил о

¹ Сесил, Уильям (1520—1598) — один из сподвижников Елизаветы, с 1558 г. бессменный государственный секретарь.

тяжести родов, имея в виду усилить отвращение королевы Англии к замужеству, та заметила ему:

— Успокойтесь, Мелвил, и перестаньте упирать на это: я никогда не выйду замуж. Мое королевство заменяет мне мужа, а мои подданные — детей. А когда я умру, я хочу, чтобы на моей могиле была выбита следующая надпись: «Здесь покоится Елизавета. Она царствовала столько-то лет и умерла девственницей».

Мелвил воспользовался возможностью, чтобы напомнить Елизавете о высказанном ею года три-четыре назад желании увидеть Марию Стюарт, но Елизавета ответила, что кроме дел по управлению королевством, которые требуют ее присутствия в столице, она после всего, что слышала о красоте соперницы, не склонна подвергать свою гордость подобному испытанию. Поэтому она послала на крестины своего представителя графа Бедфорда, который с огромной свитой прибыл в замок Стерлинг, где новорожденный принц был с великой пышностью крещен и наречен именем Карл Иаков.

Все обратили внимание на то, что Дарнли не было на этой церемонии и что его отсутствие шокировало посланца английской королевы. Зато Джеймс Хепберн граф Босуэл стоял в первом ряду.

С того вечера, когда Босуэл прибежал на крики Марии, чтобы помешать убийству Риццио, он весьма продвинулся в милостях королевы, сторону которой открыто держал, в отличие от двух своих товарищей, которые принадлежали к партии короля и Мерри. Босуэлу в ту пору было уже тридцать пять лет, он был главой сильного рода Хепбернов, пользующегося большим влиянием в Восточном Лотиане и графстве Берик; в остальном, человек он был порывистый, грубый, склонный ко всевозможным порокам, способный на все ради удовлетворения своего тщеславия, чего он, впрочем, даже не пытался скрывать. В юности слыл храбрцом, но уже давно у него не было серьезного повода обнажить меч.

Если влияние Риццио подорвало власть короля, то с появлением Босуэла Дарнли совершенно лишился ее. Знать, следуя примеру фаворита, уже не вставала при появлении Дарнли и мало-помалу даже перестала относиться к нему как к равному; его свита сократилась, у него отняли серебряную посуду, а немногие оставшиеся при нем слуги не скрывали своего неудовольствия, вынуждая его задабривать их и покупать их услуги. Что же до

королевы, то она даже не давала себе труда скрывать свое отвращение к нему, нарочито его избегала, и дело дошло до того, что однажды, когда она прибыла с Босуэлом в Олуэй и к ним там присоединился Дарнли, Мария тотчас же уехала оттуда; тем не менее король все это терпеливо сносил, пока новая безрассудная выходка Марии не привела наконец к ужасной катастрофе, которую, впрочем, многие, с тех пор как королева вступила в связь с Босуэлом, давно уже предвидели.

В конце октября 1566 г. королева присутствовала на заседании суда в Джедборо, и тут ей сообщили, что Босуэл пытался захватить разбойника по имени Джон Эллиот из Парка и был при этом тяжело ранен в руку; Мария, только что приехавшая, тут же прервала заседание, перенесла его на завтра, приказала оседлать себе коня и поскакала в замок Эрмитаж, где жил Босуэл, причем весь путь, все двадцать миль проделала, не слезая с седла, а дорога проходила по лесам и болотам, и нужно было переправляться через реки; пробыв наедине с Босуэлом несколько часов, она в столь же стремительном темпе возвратилась в Джедборо, куда прибыла глубокой ночью.

Хотя эта выходка наделала много шума, который особо подогревали враги королевы, принадлежавшие в большинстве своем к протестантской религии, Дарнли узнал о ней только спустя два месяца, то есть когда окончательно выздоровевший Босуэл вернулся вместе с Марией Стюарт в Эдинбург.

Дарнли решил, что более нельзя терпеть подобные унижения. Но после того как он предал своих сообщников, в целой Шотландии не нашлось бы ни одного дворянина, который согласился бы ради него извлечь шпагу из ножен, и тогда Дарнли задумал отправиться к своему отцу графу Ленноксу, надеясь, что благодаря его влиянию ему удастся объединить вокруг себя всех недовольных, которых, с тех пор как Босуэл вошел в фавор, набралось немалое число. К несчастью, опрометчивый и болтливый Дарнли сообщил об этом плане нескольким слугам, которые тут же оповестили Босуэла о намерениях своего господина. Внешне Босуэл ничем не препятствовал Дарнли, однако едва тот отъехал на милю от Эдинбурга, как стал ощущать мучительные боли; тем не менее он продолжил путешествие и совершенно больной прибыл в Глазго. К нему тотчас привели знаменитого врача Джеймса Эйбренетса, который, обнаружив, что тело короля покрыто гнойниками, объявил

безо всяких колебаний, что тот отравлен. Между тем многие, и в том числе Вальтер Скотт, утверждают, что у него была просто-напросто оспа.

Как бы то ни было, королева, узнав об опасности, грозящей супругу, казалось, забыла о своей неприязни к нему и, невзирая на риск заразиться, отправилась к Дарнли в Глазго, предварительно послав туда своего врача. Правда, если верить нижеприведенным письмам, которые написаны Марией Стюарт в Глазго и, как утверждают ее обвинители, адресованы Босуэлу, она прекрасно знала, чем болен ее муж, чтобы не опасаться заражения. Поскольку письма эти мало кому известны и представляются нам весьма любопытными, мы воспроизводим их; позже мы объясним, как они попали в руки мятежных лордов, а от тех перешли к Елизавете, которая, получив их, радостно воскликнула: «Будь я проклята, но наконец-то ее жизнь и судьба у меня в руках!»

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

«Когда я уехала оттуда, где оставила свое сердце, то была в таком состоянии, что являла собой тело без души, и весь обед никому словечка не молвила, и никто не осмеливался приблизиться ко мне, потому что было очевидно: добром для него это не кончится. Граф Леннокс, когда я подъехала к городу на расстояние двух миль, выслал мне навстречу одного из своих дворян, дабы приветствовать меня от его имени и принести извинения, что он не приехал самолично; надобно сказать, впрочем, что после выговора, который я сделала Каннингему, граф не решается показываться мне на глаза. Дворянин этот просил меня, якобы по собственному почину, вникнуть в поведение его господина, дабы установить, обоснованны ли мои подозрения. На это я ему ответила, что страх — болезнь неизлечимая, что граф Леннокс не беспокоился бы так, будь его совесть чиста, и что это было справедливое возмездие за письмо, которое он мне написал.

Никто из горожан не сделал мне визита, и это заставляет меня думать, что все они держат руку графа и его сына; впрочем, о том они весьма ясно и определенно высказываются. Король вчера присылал к Джоашену и спрашивал, почему я не поселилась с ним, и добавил, что мое присутствие скорее бы исцелило его, а у меня интересовался, с какой целью я приехала, не

для того ли, чтобы помириться с ним; спрашивал, здесь ли Вы, не расширила ли я штаты своего двора, взяла ли Париса и Гилберта в секретари и не изменила ли решения спровадить Джозефа. Не знаю, откуда у него такие верные сведения. Ему известно все, вплоть даже до свадьбы Себастьяна. Я попросила у него объяснений по поводу одного из его писем, в котором он жалуется на жестокость некоторых особ. Он ответил мне, что был уязвлен, но мое присутствие принесло ему такое счастье, что он боялся даже умереть от его переизбытка. Несколько раз он упрекнул меня, так как счел меня рассеянной; я покинула его, дабы пойти отужинать, он умолял меня вернуться, и я вернулась после ужина. Он рассказал мне про свою болезнь и сообщил, что уже собирался составить духовную и все отказать мне, добавив, что я в некоторой степени была причиной его болезни и свой недуг он приписывает моему охлаждению к нему.

— Вы спрашиваете меня, — продолжал он, — кто те люди, на коих я жалуясь. На вас, жестокая, на вас, которую я так и не смог смягчить ни слезами, ни раскаянием. Я знаю, что оскорбил вас, но не в том, в чем вы меня упрекаете; я ведь оскорбил и некоторых ваших подданных, но за это вы меня простили. Я молод, и вы говорите, что я вечно совершаю одни и те же проступки. Но разве молодой человек, подобный мне, не имеющий опыта, не может получить его, научиться держать свои обещания, раскаяться, наконец, и со временем исправиться? Если вы согласитесь еще раз простить меня, клянусь никогда более не оскорблять вас. Жить вместе как муж и жена, иметь общий стол и общее ложе, — вот единственная милость, которой я прошу у вас, и ежели вы останетесь непреклонны, я никогда не оправлюсь от недуга. Умоляю, скажите, что вы решили. Только Богу одному ведомо, как я страдаю, а все потому, что думаю лишь о вас, ибо люблю и обожаю вас одну. Если я вас иногда и оскорблял, то виной тому вы сами, потому как ежели меня кто-то обижал и я мог пожаловаться на него вам, то никому другому свои скорби мне не было нужды доверять, но когда мы в ссоре, я принужден таить их в себе, и оттого становлюсь как бешеный.

Потом он весьма настаивал, чтобы я осталась жить у него в доме, но я отказалась и ответила, что ему нужно выздороветь и что в Глазго ему не слишком удобно, тогда он мне сказал, что знает про носилки, которые я приказала привезти для него и что предпочитает уехать со мной. Мне кажется, он думает, будто я намерена заключить его в тюрьму; я же сообщила ему, что прикажу перевезти его в Крейгмиллер, где у него будут врачи, и что я буду рядом с ним и у нас будет возможность видеть моего сына. Он ответил, что готов поехать, куда я скажу, лишь бы только я согласилась исполнить то, что он просит. Впрочем, он не желает никого видеть.

Он наговорил мне много приятного, такого, что я не могу Вам повторить, но чем Вы были весьма удивлены, не желал отпустить меня и хотел, чтобы я была с ним всю ночь. Я делала вид, что всему верю, и изображала, будто действительно заинтересована в нем. Впрочем, никогда еще я не видела его таким ничтожным и смиренным, и если бы не знала, сколь скоро его сердце на излияния и сколь мое сердце непроницаемо для любых стрел, кроме той, которой поразили его Вы, то, думаю, легко могла бы смягчиться его словами; но пусть это Вас не тревожит, я скорей умру, нежели откажусь от того, что пообещала Вам. Вы же подумайте, как держаться с теми коварными, что приложат все усилия, дабы отдалить Вас от меня; уверена, все эти люди сделаны из того же теста; а у этого вечно глаза на мокром месте, он заискивает перед всеми от самых великих до самых малых, желая склонить их на свою сторону и заставить пожалеть его. У его отца сегодня шла кровь носом и горлом; судите сами, что значат подобные симптомы; я его еще пока не видела, потому как он не выходит из дому. Король требует, чтобы я собственноручно кормила его, а иначе отказывается есть, но хоть я и исполняю это его желание, пусть это Вас не вводит в заблуждение, как не заблуждаюсь на этот счет и я. Мы с Вами оба связаны с ненавистными нам людьми¹; так пусть же ад разорвет эти узы, а небо соединит нас новыми, чудесными, сделав нас самыми

¹ Марья имеет в виду жену Босуэла, урожденную Хантли, с которой он после смерти короля развелся, чтобы жениться на королеве (примеч. автора)

любящими и самыми верными супругами, которые когда-либо существовали на свете; такой мой символ веры, в которой я желаю умереть.

Простите мне мой почерк; хотелось бы, чтобы Вы разобрали хотя бы половину из того, что я написала, но тут ничего поделаться я не могу. Мне приходится писать наспех, пока все спят, но успокойтесь: от своей бессонницы я получаю безмерное наслаждение, поскольку не могу спать, как остальные, если не засыпаю так, как хочу, то есть в Ваших объятиях.

А сейчас я ложусь в постель, письмо закончу завтра; мне еще столько нужно Вам сообщить, а уже поздняя ночь; судите сами, как я устала. Я пишу Вам, беседую с Вами, но приходится заканчивать...

И все же не могу остановиться и не заполнить наскоро оставшуюся бумагу. Будь проклят безмозглый мальчишка, так терзающий меня! Не будь его, я могла бы поговорить с Вами о вещах, стократ более приятных, он очень мало изменился, и при всем при том изменился весьма изрядно. Кстати, он меня почти уморил своим зловонным дыханием, но оно у него теперь еще зловонней, чем у Вашего кузена; можете поверить, что это еще одна причина для меня не приближаться к нему; я держусь от него как можно дальше и сижу на стуле в ногах его кровати.

Посмотрим, не забыла ли я чего.

Посланец, отправленный его отцом навстречу мне;

Расспросы насчет Джоашена;

Насчет штата моего двора;

О людях из моей свиты;

Причина моего приезда;

Джозеф;

Разговор между им и мною;

Его желание улестить меня и его раскаяние;

Объяснение насчет его письма;

Льюингстон.

Ах, про это-то я забыла. Вчера за ужином Льюингстон тихонько сказал де Пер, чтобы она выпила за здоровье того, кого я прекрасно знаю, и попросила меня оказать честь присоединиться к этому тосту. А после ужина, когда у камина я оперлась на его руку, сказал мне:

— Не правда ли, это весьма приятные визиты для тех, кто их делает, и тех, кто их принимает. И все же, сколь бы ни были рады они вашему приезду, подозреваю, что радость их куда меньше огорчения, которое вы причинили тому, кого оставили сейчас в одиночестве и кто не будет счастлив, пока не увидит вас вновь.

Я спросила, кого он имеет в виду. Он же, пожав мне руку, ответил: — Одного из тех, кто не сопровождает вас. Вам будет нетрудно догадаться, кого из них я имею в виду.

До двух часов я работала над браслетом; в него я вложила ключик, привязанный двумя шнурками; браслет вышел не настолько хорош, как мне хотелось бы, но у меня не было время сделать лучше; при первой возможности я сделаю Вам другой, красивее этого. Смотрите, чтобы никто его у Вас не увидел: я делала его при всех, и вдруг кто-нибудь ненароком его опознает.

Все время я невольно возвращаюсь мыслями к страшному покушению, на котором Вы настаиваете. Вы принуждаете меня скрывать свои чувства, а главное принуждаете к предательству, от которого меня бросает в дрожь; поверьте, я предпочла бы лучше умереть, чем совершить такое, потому что от этого сердце у меня кровью изойдет. Он отказывается ехать со мной, если я не пообещаю ему иметь с ним, как прежде, общий стол и общее ложе и не покидать его так часто. Если я соглашусь, то он говорит, что сделает все, что я пожелаю, и поедет со мной куда угодно; тем не менее он попросил меня отсрочить мой отъезд на два дня. Я притворилась, будто согласна на все его условия, но велела ему никому не рассказывать про наше примирение, якобы из опасения, как бы оно не вызвало неудовольствия у некоторых лордов. Короче, я увезу его, куда захочу... Увы, я никого никогда не обманывала, но чего не сделаешь, чтобы угодить Вам. Приказывайте, я исполню все, и пусть будет, что будет. Но посмотрите, нельзя ли придумать какое-нибудь тайное средство под видом лекарства. В Крейгмиллере он должен будет очищаться и принимать ванны, так что несколько дней не будет выходить. Всякий раз когда я его вижу, он очень обеспокоен, но тем не менее верит всему, что я ему говорю; правда, в своей доверии ко мне до откровенности он не доходит. Если хотите, я все ему открою; мне

страшно неприятно обманывать человека, который мне доверяется. Впрочем, все будет так, как Вы захотите, только не презирайте меня за это. Вы мне дали такой совет, а сама я в своей мести никогда бы не зашла столь далеко. Иногда он попадает мне в больное место и весьма чувствительно задел меня, когда заявил, что ему прекрасно известны все его преступления, но ежедневно совершаются куда более тяжкие и виновники пытаются их скрыть, но безуспешно, потому что любое преступление, какое бы оно ни было, маленькое или большое, становится известно людям и оказывается предметом их разговоров. А как-то, говоря о г-же де Рер, он сказал: «Желаю, чтобы ее услуги пошли вам на пользу». Он заверил меня, что многие, и он сам в том числе, считают, что я была невольна в своих действиях и именно поэтому отвергла условия, которые он мне предложил. Наконец, совершенно очевидно, что он весьма обеспокоен по известной Вам причине и даже подозревает, что на жизнь его покушаются. Всякий раз, когда разговор переходит на Вас, Летигона или моего брата, он впадает в отчаяние. Впрочем, об отсутствующих он не говорит ни плохо, ни хорошо, а просто избегает этих разговоров. Отец его все так же сидит дома, я его еще не видела. Гамильтоны здесь в огромном количестве и сопровождают меня повсюду; все же его друзья сопровождают меня каждый раз, когда я еду повидаться с ним. Он просил меня быть у него завтра, когда он проснется. Остальное Вам расскажет мой гонец.

Сожгите мое письмо, его опасно хранить. К тому же оно и не стоит того, поскольку в нем сплошь черные мысли.

И не сердитесь, что я так невесела и встревожена; отныне, чтобы угодить Вам, я переступаю через честь, угрызения совести и опасности. Не истолковывайте дурно то, что я Вам тут написала, и не слушайте коварные нашептывания брата и жены; это все хитроумная ложь, и Вы должны понимать, что вся она направлена во вред самой верной и самой нежной возлюбленной, какая когда-либо существовала. Главное, не позволяйте этой женщине смягчить Вас: ее притворные слезы ничто в сравнении с подлинными, которые проливаю я, и с теми муками, что я терплю в своей любви и верности, ради того чтобы занять ее место; только ради этого я предаю, наперекор себе, всех, кто мог бы

помешать моей любви. Господь будет милостив ко мне и ниспошлет Вам все блага, каких Вам желает смиренная и любящая подруга, ожидающая вскорости от Вас иной награды. Уже очень поздно, но когда я пишу Вам, мне всегда страшно жаль откладывать перо, и все-таки я закончу его лишь тогда, когда смогу поцеловать Вам руки. Простите, что оно так скверно написано: но, может быть, я это делала нарочно, чтобы заставить Вас несколько раз перечитать его. Я наспех переписала то, что было у меня в записных книжках, и бумага у меня кончается. Помните же о нежной подруге и чаще пишите ей; любите меня столь же нежно, сколько я люблю Вас, и не забывайте

О словах г-жи де Пер;
Об англичанах;
О его матери;
О графе Аргайле;
О графе Босуэле;
О приюте в Эдинбурге».

ПИСЬМО ВТОРОЕ

«Похоже, за время разлуки Вы забыли меня, хотя при отъезде обещали самым подробным образом оповещать обо всем, что происходит нового. Надежда получить от Вас весточку наполняет меня почти такой же радостью, как если бы мне сказали, что Вы приезжаете, но Вы все отодвигаете свой приезд на гораздо поздний срок, чем обещали мне. Ну, а я, хоть Вы мне не пишете, продолжаю играть свою роль. В понедельник я перевезу его в Крейгмиллер, и там он пробудет всю среду. А я в этот день поеду в Эдинбург, чтобы мне пустили кровь, если только Вы не распорядитесь иначе. Он куда веселей, чем обычно, и чувствует себя много лучше, чем прежде. Передо мной он всячески разливается, дабы уверить, будто любит меня, оказывает тысячи знаков внимания, угадывает все мои желания; мне это до того приятно, что стоит мне прийти к нему, как у меня снова начинается колотье в боку; вот до чего мне тягостно его общество. Если Парис привезет мне все, что я просила, я очень скоро вылечусь. Ежели Вы еще не вернетесь, когда я буду в известном Вам месте, напишите, ради Бога, и сообщите, что Вы хотите, чтобы я сделала, потому как если Вы с осторожностью не по-

ведете дела, я предвижу, что все бремя падет на меня; основательно все обдумайте и взвесьте. Отправляю вам это письмо с Бентоном, который поедет в день, назначенный Балфуру. Мне остается лишь просить Вас оповещать меня о Вашем путешествии.

Глазго, в субботу утром».

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

«Я задержалась в известном Вам месте дольше, чем предполагала, но сделала это, чтобы вытянуть из него одну вещь, о которой Вам расскажет доставивший эти подарки; появился прекрасный повод продвинуть наши планы, я пообещала ему привести завтра известное Вам лицо. Позаботьтесь об остальном, если мое предложение Вам нравится. Увы, мне так не хватает наших переговоров, но Вы ведь запретили мне Вам писать и слать гонцов. Впрочем, я вовсе не имею намерения задеть Вас; если бы Вы знали, какие меня мучают страхи, Вы не были бы так недоверчивы и подозрительны. Но для меня и они благо, потому как я убеждена, что их причина — любовь, единственное, что я чту из всего сущего под небом.

Мои чувства и благодеяния для меня верная порука этой любви и порука за Ваше сердце, но, умоляю, объяснитесь и откройте мне свою душу; иначе по причине моей несчастной звезды и влияния светил, благоприятных для женщин, не столь верных и нежных, я начну опасаться, уж не оказался ли я вытесненной из Вашего сердца, как некогда Медея из сердца Ясона; нет, я вовсе не хочу сравнить Вас со столь несчастным любовником, как Ясон, а себя уподобить чудовищу, каким была Медея, хотя Вы имеете на меня достаточно влияния, чтобы я стала сходна с нею всякий раз, когда того требует наша любовь и когда мне нужно сохранить Ваше сердце, которое принадлежит мне и только мне, ибо я считаю принадлежащим мне то, что я приобрела нежной и верной любовью, какой я пылаю к Вам, любовью, что сейчас еще пламенней, чем когда-либо, и которая кончится только с моей жизнью; эта любовь заставила меня презреть опасности и угрызения совести, что станут ее печальными последствиями. А в уплату за эту жертву, я прошу у Вас одной-единственной мило-

сти: чтобы Вы вспомнили про одно местечко неподалеку отсюда; я не требую, чтобы Вы завтра же исполнили свое обещание, но хочу видеть Вас, дабы рассеять Ваши подозрения. Я молю у Бога только одного: чтобы он научил Вас читать в моем сердце, которое принадлежит не столько мне, сколько Вам, и чтобы он уберез Вас от всяких бед, по крайней мере, пока я живу; жизнь моя дорога мне, лишь пока она дорога Вам и пока я Вам нравлюсь. Мне пора отправляться в постель; прощайте и пришлите мне завтра утром весточку, ибо мне не будет покоя, покуда я не получу ее. Подобная птице, вылетевшей из клетки, или горлице, потерявшей своего дружочка, я буду оплакивать нашу разлуку, как бы кратка она ни была. Это письмо стократ счастливей меня: оно уже вечером будет там, где мне быть нельзя, если только гонец не застанет Вас, чего я боюсь, спящим. Я не решилась писать его при Джозефе, Себастьяне и Джошуа: начала, но пришлось отложить»

Ежели признать эти письма подлинными, из них следует одно: Мария испытывала к Босуэлу безумную страсть, которая у женщин тем сильнее, чем трудней понять, что же могло ее внушить; Босуэл был не молод, отнюдь не красавец, и тем не менее Мария ради него пожертвовала молодым супругом, который считался одним из самых красивых мужчин своего времени. Это смахивало на колдовство.

Таким образом Дарнли, единственное препятствие для соединения влюбленных, уже давно был приговорен, если не Марией, то во всяком случае Босуэлом, а поскольку благодаря крепости организма он победил яд, нашли другой способ избавиться от него.

Королева, как она сообщила в письме Босуэлу, отказалась взять с собою Дарнли и одна вернулась в Эдинбург. Прибыв туда, она приказала перенести короля в носилках, но не в Стерлинг или Холируд, а определила ему место-пребыванием аббатство в предместье. Узнав про это распоряжение, король попытался протестовать, но так как никакой возможности сопротивляться у него не было, покорился, хотя и жаловался на уединенность назначенного ему жилья; королева же отвечала, что не может принять его ни в Холируде, ни в Стерлинге, поскольку боится, что

его болезнь заразна и может передаться сыну; Дарнли ничего не оставалось, как смириться.

Аббатство и впрямь было уединенное, и его местоположение отнюдь не развеяло страхов короля: оно соседствовало с двумя разрушенными церквями и двумя кладбищами, а единственный дом, стоящий на расстоянии полета стрелы из арбалета, принадлежал Гамильтонам, а поскольку они были смертельными врагами Дарнли, это отнюдь не придало ему спокойствия; дальше к северу находилось несколько жалких домишек, которые назывались Воровская слободка. Обходя свою новую обитель, Дарнли обнаружил в стенах два пролома, достаточно больших, чтобы сквозь них мог пролезть человек; он потребовал заложить эти дыры, так как через них может проникнуть любой злоумышленник, ему пообещали прислать каменщиков, однако не прислали, и проломы остались, как были.

На следующий день после приезда в Керкфилд король заметил в соседнем доме, который он считал пустым, свет, утром поинтересовался у Александра Дархема, кто там живет, и услышал, что архиепископ Сент-Эндрю по неизвестной причине оставил свой эдинбургский дворец и вчера поселился здесь; это известие еще более усилило тревогу короля: архиепископ не скрывал своей враждебности к нему.

Король, которого постепенно покинули все слуги, жил на втором этаже этого уединенного дома с единственным лакеем, уже упомянутым нами Александром Дархемом. Дарнли питал к нему особое расположение, а кроме того, он, как мы уже говорили, все время боялся покушения на свою жизнь, и потому велел Дархему перенести свою постель к нему в комнату, так что спали они вместе.

В ночь на восьмое февраля Дарнли разбудил слугу: ему показалось, что внизу кто-то ходит; Дархем встал, взял шпагу, свечку и спустился на первый этаж, но через минуту поднялся и, хотя Дарнли был уверен, что не ошибся, объявил, что никого внизу не видел.

Первая половина следующего дня прошла без всяких происшествий. Королева женила одного из своих слуг по имени Себастьян; то был овернец, которого она привезла из Франции и к которому весьма благоволила. Но так как король пожаловался, что уже два дня не видел ее, она около шести вечера покинула свадьбу и, сопровождаемая графинями Аргайл и Хантли, поехала навестить его. Пока

она пребывала у короля, Дархем, убирая свою постель, уронил огонь в соломенный тюфяк; тот загорелся, занялся волосяной матрас, и Дархем, боясь, как бы огонь не перекинулся на мебель, выбросил их, горящие, в окно, и таким образом остался без постели; он попросил у Дарнли разрешения поехать ночевать в город, однако король, помня свои ночные страхи и несколько удивленный той быстротой, с какой Дархем выкинул свою постель попросил его остаться, пообещав ему один из своих матрасов, и даже предложил разделить с ним ложе. Но несмотря на это предложение, Дархем стоял на своем, утверждая, что скверно себя чувствует и ему надо бы показаться врачу. Королева встала на его сторону и пообещала Дарнли прислать другого лакея, чтобы тот провел с ним ночь. Дарнли пришлось уступить; он только попросил Марию, чтобы она обязательно кого-нибудь прислала, и отпустил Дархема. Тут вошел Парис, которого королева упоминала в своих письмах; это был молодой француз, уже несколько лет живший в Шотландии; сначала он был на службе у Босуэла, потом у Сейтона, а теперь королева взяла его к себе. Увидев его, королева поднялась и, когда Дарнли стал ее упрашивать еще немного побыть с ним, ответила:

— Нет, милорд, никак невозможно. Я уехала со свадьбы Себастьяна, чтобы навестить вас, и теперь мне нужно возвращаться: я обещала прийти под маской к нему на бал.

Король не посмел настаивать и только снова повторил просьбу прислать к нему слугу; Мария вновь пообещала и уехала вместе со всею свитой. Что же касается Дархема, то он ушел, как только получил разрешение.

Было девять вечера. Оставшись один, Дарнли старательно запер изнутри все двери и лег, готовый встать и открыть слуге, присланному провести с ним ночь. Но едва он улегся в постель, как опять раздался тот же шум, что он слышал вчера; страх обострил слух Дарнли, и очень скоро он пришел к убеждению, что внизу ходят несколько человек. Звать на помощь было бессмысленно, убежать — опасно, и королю оставалось только ждать своей участи. Он еще раз убедился, что все двери крепко заперты, положил у изголовья шпагу, погасил лампаду из страха, что она выдаст его, и молча стал ждать, когда же прибудет слуга, однако часы уходили, а тот все не появлялся.

В час ночи Босуэл после довольно долгого разговора с королевой, при котором присутствовал капитан королевской гвардии, пошел к себе переодеться; через несколько минут он вышел, закутанный в широкий плащ немецкого гусара, миновал караульное помещение и приказал открыть ворота. Выехав из замка, он поскакал в сторону Керкфилда и там через пролом проник в сад; едва он сделал несколько шагов, к нему подошел Джеймс Балфур, комендант замка.

— Ну, как дела? — осведомился Босуэл.

— Все готово, — отвечал Балфур, — мы ждем вас, чтобы поджечь фитиль.

— Прекрасно, — бросил Босуэл, — но прежде я хотел бы увериться, что он у себя.

Босуэл открыл отмычкой дверь дома, впотьмах поднялся по лестнице и приник ухом к двери комнаты Дарнли. Король же, когда шум внизу прекратился, уснул, однако сон его был тревожен, о чем свидетельствовало прерывистое дыхание. Но Босуэлу было безразлично, каким сном спит король, — ему было важно убедиться, у себя ли он в комнате. Убедившись, Босуэл тихо спустился вниз, взял у одного из сообщников фонарь и прошел в нижнее помещение посмотреть, все ли подготовлено, как надо; это помещение было заполиено бочонками с порохом, и подведенный к ним фитиль ждал только искры, чтобы донести огонь до пока еще дремлющего вулкана. Босуэл, Балфур, Дэвид, Чемберс и еще трое их сообщников отступили в глубь сада, оставив одного, чтобы он поджег фитиль. Через несколько секунд и он присоединился к ним.

Несколько минут все они простояли в тревожном ожидании, безмолвно поглядывая друг на друга и словно ужасаясь самих себя; наконец, видя, что взрыва нет, обеспокоенный Босуэл стал упрекать подрывщика, что тот, должно быть, со страху плохо сделал свое дело. Подрывщик принялся уверять, что все в порядке, но поскольку Босуэл хотел пойти в дом и убедиться в этом, объявил, что сам пойдет и поглядит, как обстоят дела. Он добежал до дома, заглянул в подвальное окно и увидел тлеющий фитиль. Через секунду он уже мчался к Босуэлу, делая на бегу знаки, что все хорошо; в этот миг раздался чудовищный взрыв, дом разлетелся на куски, город и залив озарился светом, что был ярче дневного, затем вновь все окутала темнота, а тишина нарушалась лишь падением камней и балок, сыпавшихся на землю, подобно градинам в бурю

Назавтра в соседнем саду обнаружили тело короля; от огня его уберег матрас, на котором он спал; очевидно, Дарнли, терзаемый страхом, прилег на кровать, как был: в халате и домашних туфлях; его так и нашли, правда, без туфель, они валялись в нескольких шагах от него, и это позволило предположить, что убийцы сперва удушили его, а потом перетасили в сад. И все-таки правдоподобней всего версия, что убийцы положились на порох, средство вполне эффективное, и не стали предпринимать еще какие-либо дополнительные действия.

Была ли королева сообщницей убийства? О том знали только она, Босуэл и Бог. Но в любом случае ее поведение, как всегда неразумное, придало обвинению, которое выдвинули против нее враги, если уж не прочность, то, по крайней мере, видимость правдоподобия. Едва узнав о том, что произошло, она приказала доставить тело к ней и несколько секунд рассматривала его, лежащее на скамье, скорей с любопытством, чем со скорбью; в тот же вечер набальзамированные останки короля безо всякой торжественности были погребены рядом с Риццио.

По церемониалу шотландского королевского дома вдовы королей должны сорок дней провести безвыходно в комнате с плотно занавешенными окнами, в которые не проникает дневной свет; Мария велела открыть окна на двенадцатый день, а на пятнадцатый отправилась вместе с Босуэлом в Сейтон, загородный дом в четырех милях от столицы, куда к ней приехал посол Франции Дюкро, своими укорами вынудивший ее возвратиться в столицу; на сей раз на улицах не слышалось радостных кликов, которыми обычно приветствовали ее приезд; королеву встретили ледяным молчанием, а какая-то женщина крикнула из толпы:

— Господь да поступит с ней, как она того заслуживает!

Имена убийц вовсе не были тайной для народа. Босуэл принес портному великолепный наряд, который был велик для него, и велел перешить его по своему росту. Портной узнал наряд, принадлежавший королю, и заметил:

— Все правильно. По обычаю, палач получает одежду казненного.

Тем временем граф Леннокс, поддерживаемый глухим недовольством народа, громогласно потребовал судебного расследования обстоятельств смерти сына и объявил, что выступит обвинителем его убийц. Королеве, чтобы успокоить расшумевшегося отца и народное возмущение, при-

шлось повелеть графу Аргайлу, верховному судье королевства, начать следствие; в тот же день, когда был отдан этот приказ, по всему Эдинбургу были развешаны объявления, в которых королева обещала две тысячи фунтов стерлингов всякому, кто сообщит сведения об убийцах короля. Назавтра всюду, где висели эти объявления, были вывешены подметные листки, гласящие:

«Поскольку было объявлено, что тот, кто укажет убийц короля, получит две тысячи фунтов стерлингов, я, проводший основательные разыскания, объявляю, что убийство короля совершили граф Босуэл, Джеймс Балфур, священник Флитц, Дэвид, Чемберс, Блейкместер, Джин Спенс и сама королева».

Листки были сорваны, но, как обычно это бывает, их уже успели прочитать все жители города.

Граф Леннокс обвинял Босуэла, и глас народа вторил этому обвинению с такой яростью, что Мария была вынуждена поставить его перед судом, однако были приняты все меры, чтобы не дать обвинителю возможности восторжествовать над обвиняемым. 28 марта граф Леннокс получил уведомление, что суд назначается на 12 апреля; ему были даны две недели на сбор доказательств против самого могущественного в Шотландии человека, и Леннокс, сочтя, что этот процесс не более чем издевательство, не явился на него. Босуэл же, напротив, пришел на суд в сопровождении пяти тысяч членов своего клана и двухсот отборных фузилеров, которые встали на страже у дверей, как только он вошел; таким образом Босуэл предстал скорее как король, намеревающийся растоптать закон, нежели как обвиняемый, вынужденный подчиниться ему. Естественно, произошло то, что и должно было произойти: суд объявил Босуэла невиновным в преступлении, которое, как знали все, в том числе и судьи, он совершил.

В день оправдания Босуэл велел объявить:

«Хотя я вполне очищен от ложного обвинения в убийстве короля, тем не менее дабы совершенно подтвердить свою невиновность, я готов сразиться с любым, кто осмелится утверждать, будто я убил короля».

На другой день обнаружили следующий ответ:

«Я принимаю вызов, если ты выберешь для поединка нейтральное место».

Только-только был вынесен оправдательный приговор, а уже пошли слухи про брак королевы с графом Босуэлом. Отношения любовников ни для кого не были тайной, и потому, несмотря на всю чудовищность и безумство этого брака, никто не усомнился в правдивости слухов. Все покорились Босуэлу, кто из страха, кто из честолюбия, и лишь два человека осмелились воспротивиться этому союзу; то были лорд Херрис и Джеймс Мелвил.

Мария была в Стерлинге, когда лорд Херрис, воспользовавшись временным отсутствием Босуэла, бросился к ее ногам, умоляя не губить свою честь замужеством с убийцей ее супруга, ибо это лишь убедит тех, кто еще сомневается, что она является соучастницей преступления. Однако королева, вместо того чтобы поблагодарить Херриса за такую преданность ей, сделала вид, будто изумлена его дерзостью, и, презрительным жестом велев ему подняться, холодно заявила, что в отношении Босуэла сердце ее безмолвствует и ежели когда-нибудь она решится вновь выйти замуж, хотя это крайне маловероятно, то не забудет ни о своем долге перед народом, ни о долге перед собой.

Мелвила однако не обескуражила такая реакция королевы; он изобразил дело так, будто получил из Англии письмо от своего друга Томаса Бишопа. Это письмо Мелвил показал королеве, но та уже с первых строк распознала стиль своего посла, а главное, его привязанность к ней, и, подав его присутствовавшему при этом лорду Лидингтону, заметила:

— Весьма примечательное письмо. Прочтите-ка его. Уловка в духе Мелвила.

Лидингтон стал читать письмо, но, не дойдя и до середины, взял Мелвила под руку, отвел его к окну и сказал:

— Мой дорогой Мелвил, вы определенно сошли с ума, именно сейчас передав это письмо королеве. Ведь как только граф Босуэл узнает о нем, а ждать этого недолго, он велит вас прикончить. Надо отдать должное, вы поступили как порядочный человек, но при дворе лучше действовать хитростью. Мой вам совет: уезжайте отсюда как можно скорей.

Мелвил не заставил повторять совет и неделю отсутствовал. Лидингтон не ошибся: едва Босуэл вернулся к королеве, как тотчас же обо всем узнал. Он разразился

проклятиями против Мелвила, велел его повсюду искать, но не нашел.

И все-таки эти, пусть даже робкие попытки сопротивления, встревожили Босуэла, и он, уверенный в любви Марии, решил ускорить события. И вот спустя несколько дней после описанных нами сцен, когда королева возвращалась из Стерлинга в Эдинбург, на Кремонтском мосту неожиданно появляется Босуэл с тысячей всадников, обзоруживает графа Хантли, Лидингтона и Мелвила, вернувшегося к своей повелительнице, хватая лошадь королевы за узду и делает вид, будто вынуждает ее изменить путь и последовать с ним в Данбар; королева подчиняется насилью безо всякого сопротивления, что не вяжется с ее характером.

На следующий день графы Хантли, Лидингтон, Мелвил и вся их свита были освобождены; через десять дней Босуэл и королева в полном согласии возвращаются вместе в Эдинбург.

Через день после возвращения Босуэл устраивает в таверне пир для своих сторонников — лордов. После окончания его на пиршественном столе среди недопитых бокалов и опрокинутых бутылок Линдси, Ривен, Мортон, Мейтленд и еще десятка полтора лордов подписывают акт, в котором объявляют, что, по чести и совести, не только считают Босуэла невиновным, но еще и предлагают его королеве как самого подходящего супруга. Акт этот завершается весьма примечательно:

«После всего случившегося королева не может поступить иначе, ибо граф похитил ее и делил с нею ложе».

Тем не менее для этого брака существуют пока что два препятствия: во-первых, Босуэл был уже трижды женат, и все три жены его живы; во-вторых, похищение королевы, то есть насилие, совершенное над нею, вполне может послужить предлогом для того, чтобы счесть союз, который она заключит с ним, недействительным. Сначала взялись за устранение первого препятствия, как наиболее трудного.

Две первых жены Босуэла были низкого происхождения, так что о них не особенно беспокоились. Но вот третья была дочерью графа Хантли, того самого, что погиб под копытами коней, и сестрой Гордона, которому отрубили голову. К счастью для Босуэла, жена из-за его распутства желала развода в не меньшей степени, чем он. Не составило никакого труда уговорить ее подать жалобу на мужа

с обвинением его в супружеской неверности. Босуэл признался, что имел преступные отношения с родственницей своей жены, и архиепископ Сент-Эндрю, тот самый, что поселился по соседству с уединенным домом в Керкфилде, чтобы присутствовать при убийстве Дарнли, вынес решение о расторжении брачных уз. Весь бракоразводный процесс — возбуждение, расследование обстоятельств и вынесение приговора — занял всего десять дней.

Что же до второго препятствия, то есть насилия, совершенного над королевой, устранить его взялась сама Мария Стюарт: она объявила в суде, что не только прощает Босуэлу его поведение по отношению к ней, но, считая его добрым и верным подданным, намерена немедленно возвысить его и докажет это новыми милостями. И действительно, через несколько дней она сделала его герцогом Оркнейским, а пятнадцатого числа того же месяца, то есть меньше чем через четыре месяца после смерти Дарнли, Мария, некогда испрашивавшая позволения на брак с принцем-католиком, своим троюродным родственником, е легкостью, смахивающей на безумие, выходит замуж за Босуэла, который перешел в протестанство и, не говоря уже о разводе, был многоженцем, ибо теперь у него оказалось четыре живых жены, включая королеву.

Обряд бракосочетания выглядел крайне печально, как и положено торжеству, происходящему при столь кровавых предзнаменованиях. На нем присутствовали лишь Мортон, Мейтленд да еще несколько приспешников Босуэла. Посол Франции, хоть он и был ставленником Гизов, к роду которых через свою мать принадлежала королева, отказался участвовать в нем.

Заблуждения Марии длились недолго; едва Босуэл обрел над ней супружескую власть, она увидела, какого получила мужа и повелителя. Грубый, жестокий, необузданный, он, казалось, был избран провидением для отмщения ей за грехи, совершенные по его наущению или при его участии. Вскоре его распутство дошло до такой степени, что однажды, не в силах более терпеть, Мария выхватила кинжал у Эйрескайна, который присутствовал вместе с Мелвиллом при одной из подобных сцен, и хотела вонзить его себе в грудь, крича, что лучше умереть, чем выносить такую жизнь. И тем не менее — необъяснимая вещь — несмотря на неизменную грубость, Мария, забыв-

шая, что она женщина и королева, всегда первая возвращалась к Босуэлу, нежная и покорная как дитя.

Однако эти публичные сцены дали знати, искавшей только случая, повод для мятежа. Граф Мар, воспитатель юного принца, Аргайл, Глэнкэрн, Линдли, Бойд и даже Мортон и Мейтленд, вечные сообщники Босуэла, поднялись, чтобы, как заявили они, отомстить за смерть короля и вырвать его сына из рук того, кто убил отца и держит в плену мать. Мерри же во время последних событий совершенно ушел в тень: когда был убит король, он пребывал в графстве Файф, а за три дня до суда над Босуэлом испросил и получил у сестры разрешение совершить путешествие на материк.

Мятеж был столь стремителен, столь внезапен, что возмутившиеся лорды, собиравшиеся захватить Марию и Босуэла врасплох, думали разом добиться успеха. Король и королева сидели за столом у лорда Бортуика, принимавшего их у себя, как вдруг им донесли, что замок окружает большой вооруженный отряд. Супруги не сомневались, что причина в них, а поскольку никакой возможности оказать сопротивление не было, Босуэл переоделся конюхом, Мария — пажом, они вскочили на коней и, пока мятежники входили в одни ворота, ускользнули через другие. Беглецы прискакали в Данбар.

Там они созвали всех друзей Босуэла и заставили их подписать нечто вроде договора о союзе для защиты королевы и ее супруга. Тем временем прибыл из Франции Мерри, и Босуэл представил ему, как и другим, договор, но Мерри отказался ставить под ним подпись, заявив, что для него оскорбление, ежели кто-то считает, будто необходима какая-то подписанная грамота, когда речь идет о защите его сестры и королевы. Отказ вызвал размолвку между ним и Босуэлом, и Мерри, верный своей системе нейтралитета, удалился к себе в графство, предоставив событиям катиться к гибельному концу.

Мятежники же, потерпевшие неудачу в Бортуике, не чувствовали себя достаточно сильными, чтобы напасть на Данбар, и потому пошли на Эдинбург, где столкнулись с человеком, в котором Босуэл был совершенно уверен. Им был Джеймс Балфур, комендант цитадели, тот самый, что руководил закладкой мины, взорвавшей Дарнли, и с кем Босуэл встретился в Керкфилде в саду. Балфур не только сдал мятежникам эдинбургскую цитадель, но еще и вручил

им небольшой серебряный ларец с вензелем в виде буквы Ф, увенчанной короной, что указывало на то, что когда-то он принадлежал Франциску II; действительно, то был подарок Марии от ее первого мужа, подарок, который она передарила Босуэлу. Балфур заверил, что в ларце находятся бесценнейшие документы, которые в нынешних обстоятельствах могут оказаться весьма полезны врагам Марии Стюарт. Мятежные лорды вскрыли ларец и обнаружили в нем три то ли подлинных, то ли поддельных письма, уже приведенных нами, брачный контракт Марии и Босуэла и с дюжину стихотворений, написанных рукой королевы. Как и сказал Балфур, то было для врагов Марии драгоценное, неоценимое приобретение, стоящее стократ больше, чем победа, ибо с победой они получали жизнь королевы, тогда как предательство Балфура отдало в их руки ее честь.

За это время Босуэл собрал войско и счел, что готов дать сражение; он выступил в поход, не дожидаясь Гамильтонов, созывавших своих вассалов, и вот 15 июня 1567 г. сошлись обе враждующие стороны. Мария, которая хотела попытаться избежать кровопролития, послала к мятежным лордам французского посла, дабы тот призвал их сложить оружие, но те ответили, что «королева заблуждается, считая их бунтовщиками, ибо выступили они не против нее, а против Босуэла». После такого ответа друзья королевы сделали все, чтобы прервать переговоры и начать битву, но было уже поздно: солдаты, понимавшие, что им предстоит защищать не правое дело и сражаться ради женского каприза, а не за благо своей страны, стали кричать, что «ежели Босуэлу охота, пусть сам за себя дерется». И тогда тщеславный и хвастливый Босуэл приказал объявить, что готов доказать свою невиновность с оружием в руках против любого, кто осмелится утверждать, будто он совершил преступление. Тотчас все дворяне противоположной стороны приняли вызов, но было решено уступить честь поединка самым доблестным, и выйти против Босуэла должны были поочередно Керколди Грейнджский, Мерри из Тьюлибардина и Линдси Байрский. Но то ли Босуэлу недоставало отваги, то ли в момент опасности он сам не верил в правоту своего дела, во всяком случае, он выдвинул столь нелепые предлоги, чтобы уклониться от поединка, что даже королева почувствовала себя пристыженной, а самые верные его друзья стали роптать.

И тогда Мария, увидев, сколь неблагоприятно для них настроение их войска, решила не рисковать и не вступать в бой. Она послала герольда к Керколди, который командовал передовым охранением, и, когда тот без всяких опасений поехал на встречу с королевой, Босуэл, разъяренный собственной трусостью, приказал солдату выстрелить в него, но на сей раз вмешалась Мария и под страхом смерти запретила любые проявления насилия. Когда же королевскому войску стал известен бесчестный приказ Босуэла, в нем поднялся такой ропот, что стало ясно: дело графа проиграно.

Так думала и королева; в результате ее переговоров с лордом Керколди было решено, что она отступает к Босуэлу и переходит в лагерь его противников при условии, что они сложат перед ней оружие и с королевскими почестями проводят ее в Эдинбург. Керколди Грейнджский отправился сообщить условия дворянству и пообещал завтра вернуться с положительным ответом.

Однако когда пришло время расставаться с Босуэлом, Мария, вновь испытав прилив роковой любви, которую она так и не сумела преодолеть, выказала безмерное слабодушие: в присутствии множества людей расплакалась навзрыд и хотела передать Керколди, что прекращает всякие переговоры, но Босуэл, смекнув, что в лагере безопасность ему больше не гарантируется, настоял, чтобы дела шли своим чередом, вскочил на коня и, оставив заплаканную Марию, умчался во весь опор; остановился он лишь в Данбаре.

Назавтра в назначенный час трубачи, выступавшие перед лордом Керколди, возвестили его прибытие, Мария Стюарт тотчас села на коня и выехала ему навстречу, а когда он спешил, чтобы приветствовать ее, молвила:

— Милорд, предаюсь вам на условиях, которые вы предложили мне от имени дворянства, и вот вам моя рука в знак совершенного доверия.

Керколди преклонил колени и почтительно поцеловал королеву руку, затем, поднявшись, взял ее лошадь за уздечку и повел в стан бывших мятежников.

Находившаяся там знать и дворянство встретили ее с изъявлениями таких знаков почтения, что больших она и желать не могла, но вот солдаты и простой народ повели себя совершенно по-другому. Едва королева подъехала ко второй линии встречающих, которую как раз они и состав-

ляли, поднялся громкий ропот и даже слышались многочисленные крики: «На костер прелюбодейку! Сжечь мужеубийцу!»

Мария тем не менее достаточно стоически вынесла эти оскорбления, однако ей предстояло куда более тяжкое испытание. Вдруг она увидела, как на ее пути взметнулась хоругвь, на которой справа был изображен лежащий в саду убитый король, а слева юный принц Иаков, стоящий на коленях с молитвенно сложенными руками и очами, возведенными к небу, а над этим изображением девиз: «Боже, осуди и покарай!» Мария резко остановила коня и повернула назад, но едва проехала несколько шагов, как вновь дорогу ей преградила обличающая хоругвь. Она встречала королеву всюду, куда бы та ни свернула. В продолжение двух часов перед ее глазами было изображение трупа короля, взывающего к отмщению, и ее сына, молящего Бога покарать убийц. Наконец, не в силах более видеть это, она издала крик и, лишившись чувств, упала бы с лошади, если бы ее не подхватили.

Вечером, когда, все так же предшествуемая безжалостной хоругвью, Мария Стюарт въезжала в Эдинбург, выглядела она скорее пленницей, чем королевой: за весь день у нее не было ни секунды, чтобы заняться своим туалетом, растрепанные волосы в беспорядке свисали ей на плечи, лицо было бледно и хранило следы слез, а платье покрыто пылью и грязью. И пока она ехала по городу, ее преследовали гиканье черни и проклятия толпы. Наконец, полумертвая от усталости, сломленная отчаянием, поникшая от стыда головой, она вступила в дом лорда-градоначальника, и почти тотчас же на прилегающей площади сошлись чуть ли не все эдинбургцы, что-то крича, и порой эти крики звучали крайне угрожающе. Мария пыталась подойти к окну в надежде, что один ее вид — прежде она неоднократно испытала это средство — усмирит толпу, но всякий раз видела, что между нею и народом находится, словно кровавый занавес, та самая хоругвь, ужасающее истолкование чувств людей, собравшихся на площади.

Однако эта ненависть была направлена скорее против Босуэла, чем против нее; это Босуэла преследовали через вдову Дарнли. Босуэлу бросались проклятия — Босуэл был убийцей, Босуэл был прелюбодеем, Босуэл был трусом, а Мария — всего лишь слабая и влюбленная женщина,

которая в тот вечер дала новое подтверждение своего безумия.

И то сказать, едва настала темнота, разошлась толпа и стало более или менее тихо, Мария перестала тревожиться о себе и вспомнила про Босуэла, которого она вынуждена была оставить и который превратился теперь в беглеца, в изгнанника, меж тем как она была уверена, что возвратила себе королевский сан и власть. С вечной верой женщины в любовь, которой она всегда мерит чувства другого, Мария полагала, что для Босуэла самое большое горе — не утрата богатства и власти, а потеря ее. И она написала ему длинное письмо, в котором, полностью забыв о себе, обещала, с самыми пылкими изъявлениями любви, не оставить его и призвать к себе, как только раздоры между лордами-мятежниками позволят ей вернуть власть; закончив письмо, она позвала солдата, вручила ему кошелек, полный золота, и велела отвезти письмо в Данбар, где должен находиться Босуэл, а ежели он уже оттуда уехал, следовать за ним, пока не удастся его нагнать.

Сделав это, она легла и спокойно уснула, так как верила, что своим письмом облегчает страдания, стократ превосходящие ее горе.

Утром королева проснулась, оттого что в ее спальню вошел вооруженный человек. Одновременно удивленная и ужаснувшаяся подобным забвением приличий, не сулившим ей ничего хорошего, Мария раздвинула занавеси кровати и обнаружила, что перед нею лорд Линдси Байрский; то был один из самых старых и самых преданных ее друзей, и потому она, пытаясь придать тону уверенность, осведомилась, что ему угодно здесь в такой час.

— Ваше величество, вам знакомо это? — суровым голосом спросил лорд Линдси, показывая королеве то самое письмо Босуэлу, которое она написала ночью и которое солдат, вместо того чтобы отвезти адресату, передал мятежным лордам.

— Разумеется, милорд, — отвечала Мария. — Видимо, надо понимать, что я стала пленницей, раз мои письма перехватываются? А может быть, жене нельзя написать своему мужу?

— Если муж — изменник, ваше величество, — отрезал Линдси, — женщине нельзя писать ему, разве что она является его сообщницей в измене, что, впрочем, как мне

кажется, вполне подтверждает данное вами обещание призвать обратно этого злодея.

— Милорд! — возмущенно прервала его Мария. — Вы, кажется, забыли, что разговариваете со своей королевой?

— Было время, ваше величество, когда я говорил с вами сладким голосом, преклонив колени, хотя не в характере добрых шотландцев подражать вашим французским придворным, но вот уже некоторое время из-за своей переменчивости в любви вы так часто заставляли нас надевать латы и выступать в походы, что голоса у нас охрипли от ледяного ночного ветра, а колени в стальных наколенниках разучились сгибаться, и потому вам придется принимать меня таким, каков я теперь, и запомнить, что отныне ради блага Шотландии вы не вольны в выборе фаворитов.

Мария Стюарт смертельно побледнела от подобной непочтительности, к которой она еще не имела возможности привыкнуть, но, усилием воли подавив гнев, поинтересовалась:

— В таком случае, милорд, чтобы подготовиться принимать вас таким, каков вы есть, мне надо хотя бы знать, в каком качестве вы пришли ко мне. Письмо, которое вы держите, заставляет меня думать, что как шпион, но та легкость, с какой вы вошли ко мне, даже не испросив позволения, наводит меня на мысль, что как тюремщик. Так сообразовите же сказать, каким из этих двух имен я должна вас называть.

— Ни тем и ни другим, ваше величество, так как я являюсь всего-навсего вашим сопровождающим, командиром эскорта, который отвезет вас в замок Лохливен, вашу будущую резиденцию. И еще, я вас доставлю туда и буду вынужден немедля покинуть, чтобы поехать помочь лордам-союзникам избрать правителя королевства.

— Так значит, — промолвила Мария, — я предалась лорду Грейнджскому как пленница, а не как королева. Мне-то казалось, мы договаривались по-другому, но я рада знать, сколько времени нужно благородным шотландцам, чтобы изменить договору, который они поклялись блюсти.

— Ваше величество забыли, что договор был заключен при одном условии, — возразил Линдси

— При каком же? — спросила Мария.

— Что вы навсегда расстанетесь с убийцей своего мужа, но вот доказательство, — и Линдси протянул письмо, — что вы изменили своему обещанию прежде нас

— На какой же час назначен отъезд? — поинтересовалась Мария, которую этот спор начал уже утомлять.

— На одиннадцать, ваше величество.

— Ну что ж, милорд, я больше не хочу задерживать вашу светлость, но, уйдя отсюда, благоволите прислать кого-нибудь, кто поможет мне одеться, если только я не принуждена теперь прислуживать себе сама.

Произнеся эти слова, Мария велела Линдси выйти столь властным жестом, что тот, несмотря на желание ответить ей, только молча отвесил поклон и удалился. Почти сразу же вошла Мэри Сейтон.

Королева была готова к назначенному часу; в Эдинбурге на ее долю выпало столько мук, что покидала она этот город без всякого сожаления. Впрочем, то ли желая уберечь королеву от вчерашних унижений, то ли стараясь скрыть ее отъезд от немногих оставшихся у нее сторонников, лорды приготовили для нее носилки. Мария покорно уселась в них и через два часа прибыла в Даддингтон, где ее ждало небольшое судно, которое, как только она вступила на палубу, тотчас подняло паруса: на рассвете следующего дня она сошла с него на противоположном берегу залива Ферт-оф-Форт в графстве Файф.

В замке Розайт Мария задержалась ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы позавтракать, и тотчас же пустилась в путь, поскольку лорд Линдси объявил ей, что хочет сегодня же к вечеру прибыть к месту назначения. И действительно, когда солнце садилось, Мария увидела позлащенные последними его лучами высокие башни замка Лохливен, который стоит на острове посреди озера, носящего то же название.

Разумеется, в замке уже ждали царственную узницу, потому что оруженосец лорда, как только они подъехали к берегу, развернул знамя, которое до того он держал в чехле, и стал им размахивать над головой, а сам Линдси затрубил в небольшой охотничий рог, висевший у него на поясе. Тотчас же от замка отчалила лодка с четырьмя гребцами и вскоре подплыла к берегу; Мария молча вошла в нее и села на корме, а лорд Линдси и его оруженосец стояли напротив, но, поскольку ни у королевы, ни у ее провожатого не было ни малейшей охоты разговаривать, у нее оказалось достаточно времени, чтобы рассмотреть свое будущее жилище.

Само расположение делало замок, а вернее сказать, крепость Лохливен, достаточно мрачным местом, а его архитектура, особенно в тот час, когда он предстал взору королевы, придавала ему еще больше угрюмости. То было, насколько позволял судить поднимающийся над озером туман, одно из тех массивных сооружений XII в., которые построены так прочно, что кажутся каменными доспехами великана; по мере приближения к замку Мария начала различать контуры двух круглых угловых башен, придававших ему суровый вид государственной тюрьмы; купа старых деревьев, окруженных высокой оградой, а вернее, крепостной стеной, возвышалась над ее северным фасадом и казалась вытесанной из камня, завершая ансамбль этой унылой обители, меж тем как взор, оторвавшись от нее и переходя от островка к островку, на западе, севере и востоке терялся среди бескрайней равнины Кинросс, а на юге наталкивался на кружевные вершины гор Бен-Ломонда, отроги которых цепью холмов подступали к берегу озера.

В воротах замка Марию ждали три человека: леди Дуглас, ее сын Уильям Дуглас и двенадцатилетний мальчик по прозвищу малыш Дуглас, который не был ни сыном, ни братом обитателей замка, а всего-навсего дальним родственником. Приветствия, какими обменялись королева и хозяева были, как можно понять, весьма краткими, после чего Марию проводили в ее покои, которые располагались на втором этаже окнами на озеро, и вскоре оставили с Мэри Сейтон, единственной из четырех Марий, кому позволили сопровождать ее.

И тем не менее, несмотря на всю скоротечность встречи и краткость и осмотрительность слов, которыми обменялись королева и ее тюремщики, у Марии было вполне достаточно времени при том, что она знала и прежде, чтобы составить достаточно полное представление о новых людях, вмешавшихся в ее жизнь.

Леди Лохливен, жене лорда Дугласа, о котором мы уже сказали несколько слов в начале нашего повествования, было между пятьюдесятью пятью и шестьюдесятью, и в молодости она была достаточно красива, чтобы привлечь к себе взор короля Иакова V, от которого у нее был сын, тот самый Мерри, что уже весьма часто появлялся в этой истории; хоть он и был незаконнорожденным, все к нему относились как к брату королевы. Было такое время, правда

недолгое, когда нынешняя леди Лохливен надеялась стать супругой короля, ибо он очень любил ее, и этот брак был вполне возможен, потому что фамилия Мар, из которой она происходила, принадлежала к самым древним и самым благородным в Шотландии. Но, к сожалению, до Иакова дошли то ли клевета, то ли злые сплетни, распространявшиеся среди молодых людей, что, дескать, у прекрасной фаворитки короля есть, кроме него, еще один возлюбленный, которого она избрала, надо полагать, из чистого любопытства среди простонародья. И будто бы этот то ли Портерфелд, то ли Портерфилд является настоящим отцом младенца, который уже получил имя Джеймс Стюарт и был отдан королем, признавшим его своим сыном, на воспитание в монастырь Сент-Эндрю. Эти слухи, неизвестно, достоверные или лживые, удержали Иакова V в тот миг, когда он, благодарный той, что подарила ему сына, был готов возвысить ее до сана королевы; поэтому вместо того чтобы самому жениться, он предложил ей выбрать себе мужа среди придворных вельмож; ее выбор пал на лорда Уильяма Дугласа, а поскольку она была очень красива да к тому же и король благословлял этот брак, избранник не стал противиться. И все-таки, невзирая на покровительство, которое Иаков V оказывал ей до самой своей смерти, леди Дуглас никогда не забывала, что ей недоставало совсем немногого, чтобы стать королевой, и ненавидела ту, кто, по ее мнению, узурпировала этот высокий сан, естественно перенеся враждебность, которую она питала к матери, на Марию, что стало очевидно во время краткого обмена приветствиями. Впрочем, состарившись, леди Дуглас, то ли раскаиваясь в былых прегрешениях, то ли из лицемерия, стала ревнительницей добродетели и пуританкой, соединив природную крутость характера с суровостью новой религии, в которую она перешла.

Уильяму Дугласу, старшему сыну лорда Лохливена, являвшемуся по матери сводным братом Мерри, было лет тридцать пять-тридцать шесть; то был человек атлетического сложения с жесткими и резкими чертами лица; рыжий, как все представители младшей ветви этого рода, и унаследовавший от предков ненависть, которую Дугласы уже больше века питали к Стюартам и которая проявлялась в их участии во многих заговорах, мятежах и убийствах. В зависимости от благосклонности или враждебности судьбы к Мерри Уильям Дуглас явственно ощущал, падает или

нет на него свет звезды брата, и, понимая, что живет как бы заемной жизнью, был душой и телом предан тому, от кого зависело его величие или унижение. Поэтому падение Марии, неизбежно приводящее к возвышению Мерри, крайне радовало его, и лорды не могли сделать лучшего выбора, доверив сторожить королеву-узницу инстинктивной злобе леди Дуглас и расчетливой ненависти ее сына.

Что же касается малыша Дугласа, он был двенадцатилетний мальчик, осиротевший несколько месяцев назад, которого Лохлилены взяли к себе, принуждая всевозможными строгостями оплачивать получаемый им хлеб. В результате этого в мальчике, гордом и злопамятном, как все Дугласы, и к тому же понимающем, что хотя он и беден, но по происхождению ничуть не ниже своих надменных родичей, первоначальная благодарность мало-помалу сменилась жестокой и глубокой ненавистью. Есть такая поговорка, что у Дугласов возраст любви проходит, но возраст ненависти — никогда. И вот, сознавая свое бессилие и отчужденность, мальчик совершенно не по-детски замкнулся в себе и, внешне приниженный и покорный, нетерпеливо ждал, когда вырастет и сможет покинуть Лохлинен, а вероятно, даже и отомстить за унижительное покровительство, которое оказывали ему хозяева замка. Впрочем, это чувство распространялось не на всех членов семейства: насколько глубоко он ненавидел в душе Уильяма и его мать, настолько же сильно любил Джорджа, младшего сына леди Лохлинен, о котором мы еще не сказали ни слова, потому что он находился в отлучке, когда в замок прибыла королева, и у нас не было случая представить его.

Джордж, которому в то время шел двадцать шестой год, был вторым сыном лорда Лохлинена, но по странной случайности — а бурная молодость его матери могла навести сэра Уильяма на мысль, что это не случайность, — у него отсутствовали все фамильные внешние черты, характерные для Дугласов. У них были круглые румяные лица, большие уши и рыжие волосы, а беднягу Джорджа природа, напротив, одарила бледным лицом, голубыми глазами и черными волосами, что стало с самого появления его на свет причиной полного равнодушия к нему отца и ненависти старшего брата. Что же до матери, то она либо впрямь чистосердечно, как и лорд Уильям, удивлялась таким несходством младшего сына с породой Дугласов,

либо, зная подлинную причину, в душе корила себя, но в любом случае никогда, по крайней мере явно, не выказывала к нему пылкой любви; в результате Джордж, с малых лет преследуемый непостижимым для него роком, рос, словно одичавшее дерево, крепкое и полное жизненных соков, но лишенное ухода и никем не замечаемое. Лет с пятнадцати все свыклись с его беспричинными долгими отлучками, хотя это вполне объяснимо всеобщим к нему безразличием; лишь иногда он появлялся в замке, подобный перелетным птицам, которые всегда возвращаются на одно и то же место, недолго отдыхают, а затем вновь снимаются, и никто не знает, куда они направляют свой полет.

Одинаковое чувство обездоленности соединило малыша Дугласа и Джорджа: Джордж, видя, как все измываются над мальчиком, исполнился к нему сочувствия, и малыш Дуглас, ощутив, что в здешней атмосфере равнодушия есть человек, который любит его, всем сердцем потянулся к Джорджу. И вот каково было следствие этой мужской, мужественной любви: однажды мальчик совершил какой-то проступок, и Уильям замахнулся на него арапником, намереваясь ударить; Джордж, сидевший в печальной задумчивости на камне, вскочил, вырвал из рук брата арапник и отбросил его. В ту же секунду Уильям Дуглас схватился за шпагу, Джордж тоже, и братья, уже лет двадцать питавшие, словно закоренелые враги, ненависть друг к другу, сошлись бы в смертельном поединке, если бы малыш Дуглас не поднял арапник и, упав на колени, не протянул его Уильяму со словами:

— Кузен, ударь, я это заслужил.

Этот поступок мальчика заставил братьев, чуть было не совершивших страшнейшее преступление, одуматься; они вложили шпаги в ножны и молча разошлись в разные стороны. Но с той поры дружба между Джорджем и малышом Дугласом еще более усилилась, а у мальчика она превратилась в преклонение.

Возможно, мы слишком долго задерживаемся на этих обстоятельствах, но читатель, без сомнения, простит нас, когда чуть позже увидит, какие они имели последствия.

Вот в какое семейство, если не считать Джорджа, которого, как мы отметили, не было при прибытии королевы, попала Мария Стюарт, скатившись с вершины власти до положения узницы, поскольку уже на следующий день

увидела, что именно в таком положении она и будет жить в замке Лохливен. Ранним утром леди Дуглас явилась к ней и с важным видом и неприязнью, плохо скрытой под личиной почтительной безучастности, пригласила следовать за собой, дабы ознакомиться с той частью крепости, что была отведена в личное пользование Марии. Леди Дуглас провела королеву через три комнаты, одна из которых предназначалась ей под спальню, вторая под гостиную, а третья под переднюю; затем они спустились по винтовой лестнице в большой зал замка — другого выхода из апартаментов королевы не было — и, пройдя через него, вышли в крепостной сад, вершины деревьев которого Мария, подплывая сюда, уже видела над высокими стенами; то был небольшой прямоугольный участок с цветочными клумбами и фонтаном в центре. Пройти в него можно было через низкую дверцу; подобная же дверца была в противоположной стене, и выходила она к озеру, но как и все двери замка, ключи от которых либо висели на поясе Уильяма Дугласа, либо лежали у него под подушкой, она днем и ночью охранялась часовым. Таковы нынче были владения той, кому совсем недавно принадлежали дворцы, равнины и горы всего королевства.

Вернувшись в покои, Мария увидела приготовленный завтрак и Уильяма Дугласа, стоящего возле стола: он явился, чтобы исполнять при королеве обязанности столтника и отведывать подаваемую ей пищу. Невзирая на всю ненависть к Марии Стюарт, Дугласы восприняли бы любое несчастье, произошедшее с узницей во время пребывания в их доме, как несмываемое пятно на своей чести, и, хотя сама она никаких опасений на сей счет не испытывала, Уильям Дуглас, будучи владельцем замка, пожелал не только прислуживать королеве за столом, но и пробовать в ее присутствии и прежде нее всякое подаваемое ей блюдо, а также воду и вино. Такая предосторожность больше огорчила Марию, чем успокоила, так как ей стало ясно, что столь строгое следование этикету лишит ее трапезы всякой интимности. Однако же продиктовано это было самыми благородными намерениями, и нельзя было ставить их в вину хозяевам, так что Марии пришлось смириться с присутствием Дугласа, как бы тягостно оно ни было для нее; единственно, с этого дня она сократила время своих трапез, и самый долгий ее обед в Лохлиvene продолжался не более четверти часа.

Через день после приезда Мария нашла у себя под тарелкой адресованное ей письмо, положенное туда Дугласом. Мария узнала почерк Мерри и поначалу обрадовалась: если у нее и осталась какая-то надежда, то лишь на брата, к которому она всегда была исключительно благоклонна, сделала его из приора Сент-Эндрю графом и пожаловала превосходные земли, составлявшие большую часть бывшего графства Мерри, а потом простила или сделала вид, будто простила, причастность к убийству Риццио. Каково же было ее изумление, когда, вскрыв письмо, она обнаружила в нем язвительные обличения ее поступков, увещевания покаяться и многократно повторенные утверждения, что никогда она из заточения не выйдет. Завершал же Мерри письмо извещением, что, несмотря на свою неприязнь к общественным делам, он вынужден был согласиться стать регентом, но не столько ради блага родины, сколько ради сестры, ибо это был единственный способ воспрепятствовать позорному суду, которому дворянство хотело предать ее как главную виновницу или, по меньшей мере, главную сообщницу убийства Дарли. Поэтому она должна воспринимать заточение как великое благо и быть признательной небу за такое смягчение кары, которая ждала бы ее, если бы он, Мерри, за нее не вступился.

Письмо поразило Марию, подобно удару грома, но, не желая доставить врагам радость лицезрением своих страданий, она постаралась не выказать их и, оборотясь к Уильяму Дугласу, молвила:

— Милорд, это письмо содержит новости, которые вы, надо думать, уже знаете, поскольку написавший его является в равной мере и моим, и вашим братом, хотя нас с ним родили разные матери, и я полагаю, что он не стал бы писать сестре, не написав одновременно и брату. Впрочем, как любящий сын, он, должно быть, оповестил и свою мать о скорых почестях, которые ждут ее.

— Да, ваше величество, — подтвердил Уильям, — мы еще вчера узнали, что ради блага Шотландии мой брат стал регентом, а так как он в одинаковой степени любит свою мать и предан своей отчизне, то надеемся, что вскорости он возместит то зло, какое всевозможные фавориты причинили обоим — и его матери, и его отчизне.

— Вы поступаете как любящий сын и учтивый хозяин, не углубляясь в историю Шотландии, чтобы не заставлять

дочь краснеть за ошибки отца, — отвечала Мария Стюарт. — А то ведь до меня доходили слухи, будто зло, на которое жалуется ваша светлость, имеет началом куда более давние времена, чем те, к каким вы изволили его приписать. У короля Иакова Пятого тоже были фавориты и даже фаворитки. Правда, поговаривают, что одни отплатили неблагодарностью за его дружество, а другие за его любовь. Коль вы, милорд, не знаете о том, то на этот счет вас мог бы просветить, если только он еще жив, некий Портефелд или Портефилд, не могу сказать точно, я плохо запоминаю и произношу имена черни. Впрочем, ваша достойная матушка сможет дать вам более подробные сведения о нем.

Уильям Дуглас побагровел от ярости, а Мария Стюарт встала, ушла к себе в спальню и закрыла дверь на ключ.

До конца дня Мария не выходила из своих покоев; она стояла у окна, наслаждаясь открывающимся перед ней великолепным видом — широкой равниной и деревней Кинросс; но стоило ей отвести взгляд от этого простора и взглянуть на стены замка, как у нее тотчас вновь сжималось сердце, потому что со всех сторон они были окружены глубокими водами озера, на пустынной глади которого далеко покачивалась одинокая лодка; в ней сидел малыш Дуглас и рыбачил. На несколько секунд взор Марии машинально задержался на мальчике, которого она заметила еще в день приезда сюда, как вдруг со стороны деревни раздался звук рога. Тут же малыш Дуглас собрал удочки и поплыл туда, откуда донесся сигнал, гребя с силой и ловкостью, какую трудно было ожидать от ребенка его возраста. Мария продолжала без особого интереса наблюдать, как его лодка устремляется к дальнему берегу озера и кажется все меньше и меньше. Но вскоре она вновь поплыла к замку, и Мария обнаружила, что в ней сидит еще один человек, который сам взялся за весла, отчего лодка, можно сказать, летела по спокойной озерной глади, оставляя за собой след, сверкающий в закатных лучах солнца. Через некоторое время она приблизилась настолько, что Мария сумела различить гребца: то был молодой человек лет двадцати пяти с черными волосами, одетый в полукафтан зеленого сукна; на голове у него была шапочка, какую носят горцы, украшенная орлиным пером. Когда же она оказалась совсем близко и стала разворачиваться кормой к окну, малыш Дуглас, опиравшийся на плечо гребца,

что-то сказал ему, и тот обернулся и бросил взгляд на окошко; Мария тотчас же отпрянула, не желая быть предметом праздного любопытства, но не настолько быстро, чтобы не увидеть красивое, бледное лицо незнакомца, и когда снова выглянула, лодка уже исчезла за углом замка.

Узница стала мучительно вспоминать: ей казалось, что лицо это ей знакомо, оно уже где-то мелькало перед ней, но как ни напрягала она память, так и не припомнила, когда и где она могла видеть этого молодого человека; в конце концов королева сочла, что лицо это — игра ее воображения, либо ее подвело отдаленное сходство юноши с кем-то знакомым.

И все-таки мысли о только что виденной картине не оставляли Марию; у нее перед глазами все стояла лодка с молодым человеком и мальчиком, которая плыла по озеру, приближаясь к замку, словно для того, чтобы принести ей помощь. И хотя эти мысли узницы ни на чем не основывались, ночью, впервые после прибытия в замок Лохливен, она спала спокойным сном.

Проснувшись утром, Мария сразу же подбежала к окну: погода стояла прекрасная, и все — небо, вода, земля, — казалось, улыбалось ей. Тем не менее, сама не зная почему, она решила до завтрака не спускаться в сад; когда же отворилась дверь, она порывисто обернулась к ней, но это опять явился Уильям Дуглас, дабы исполнить свои обязанности стольника и отведавателя пищи.

Завтрак был недолг и прошел в молчании; как только Дуглас удалился, Мария тоже спустилась вниз и, проходя через двор, увидела двух оседланных коней, из чего заключила, что из замка уезжает кто-то из его обитателей в сопровождении оруженосца. Может быть, тот самый черноволосый юноша? Но спрашивать Мария и не решилась, и не хотела. Она продолжила свой путь, вошла в сад и быстро обвела его взглядом: там не было ни души.

Мария начала прогулку, но вдруг прервала ее и поднялась к себе в спальню; проходя через двор, она обнаружила, что коней в нем уже нет. Войдя к себе, Мария подошла к окну в надежде, что найдет подтверждение или опровержение своих предположений. Действительно, она увидела удаляющуюся лодку, а в ней коней, а также Уильяма Дугласа и его слугу.

Мария наблюдала за лодкой, пока та не пристала к берегу. Путешественники вышли, вывели коней и ускакали

по той же дороге, по какой привезли сюда королеву; по тому, как оседланы были кони, по переметным сумам, Мария поняла, что Уильям Дуглас отправился в Эдинбург. Что же до лодки, то, как только пассажиры высадились из нее, она возвратилась в замок.

И тут Мэри Сейтон доложила королеве, что леди Дуглас просит принять ее.

То была вторая встреча двух женщин, леди Дуглас, давно уже глухо ненавидящей королеву, и королевы, относящейся к ней с презрительным безразличием; Мария знаком остановила Мэри Сейтон и, повинувшись безотчетному порыву кокетства, заставляющего женщин, в каком бы положении они ни находились, стараться выглядеть красивыми, особенно перед другими женщинами, подошла к небольшому зеркалу в тяжелой готической раме, висящему на стене, чтобы поправить прическу и разгладить кружевной воротник; затем, сев в самой выигрышной позе в высокое кресло, единственное в салоне, она с улыбкой велела Мэри Сейтон впустить леди Дуглас.

Мария не обманулась в своих ожиданиях: несмотря на ненависть к дочери Иакова V и на сознание, что она здесь хозяйка, леди Дуглас не сумела скрыть изумление, какое произвела на нее поразительная красота королевы; она надеялась увидеть раздавленную горем, бледную от тревожений и утратившую надменность узницу, а перед ней сидела спокойная, красивая и высокомерная, как прежде, монархиня. От Марии Стюарт не укрылось произведенное ею впечатление, и она промолвила с насмешливой улыбкой, обращенной как к стоящей за ее креслом Мэри Сейтон, так и к неожиданной гостье:

— Мы счастливы тем, что будем иметь возможность насладиться обществом нашей добрейшей хозяйки, и заранее благодарим ее за то, что она благоволила следовать бесполезному в нынешних обстоятельствах этикету и велела доложить о себе, хотя вполне могла бы этого не делать, так как располагает ключами от наших апартаментов.

— Ежели своим присутствием я докучаю вашему величеству, — отвечала леди Лохливен, — то мне это вдвойне огорчительно, поскольку обстоятельства вынуждают меня делать это по меньшей мере дважды в день, во всяком случае все то время, пока будет отсутствовать мой сын, которого регент призвал в Эдинбург. А то, что я попросила доложить о себе вашему величеству, так сделала я это,

отнюдь не следуя бесполезному придворному этикету, а из уважения, какое леди Лохливен обязана выказывать всякому, кто пользуется гостеприимством в ее замке.

— Наша добрейшая хозяйка неверно истолковала нас, — с преувеличенной доброжелательностью заметила Мария, — и регент может засвидетельствовать, что нам всегда доставляло удовольствие приближать к себе лиц, которые могут нам напомнить, пусть даже косвенно, нашего возлюбленного отца Иакова Пятого. Так что леди Дуглас совершенно напрасно восприняла в обидном для себя смысле наше удивление ее приходом. К тому же гостеприимство, которое она с такой готовностью нам предоставила, не сулит, невзирая на всю ее добрую волю, избытка развлечений, и поэтому мы не намерены отказываться от тех, что могут нам дать ее визиты.

— К сожалению, ваше величество, — заявила леди Лохливен, которой королева так и не предложила сесть, — невзирая на удовольствие, какое я могла бы получить от подобных визитов, я вынуждена буду отказаться от них, за исключением тех часов, что я уже назвала. Сейчас я уже слишком стара, чтобы выносить усталость, и всегда была слишком горда, чтобы терпеть насмешки.

— Послушайте, Сейтон, — воскликнула Мария, как бы отвечая собственным мыслям, — ведь мы же не подумали, что леди Лохливен, получившая право сидеть в присутствии монарха еще при дворе короля, моего отца, должна сохранить за собой это право и в тюрьме его дочери-королевы. Сейтон, подайте же ей табурет, чтобы нам не лишиться из-за своей забывчивости общества нашей любезнейшей хозяйки. Ну, а если, миледи, табурет вас не устраивает, садитесь в это кресло, — встав и указав на свое кресло, предложила Мария леди Лохливен, готовой уже ретироваться. — Вы будете не первой из вашего семейства, кто уже занял мое место.

Леди Лохливен, надо полагать, собиралась дать язвительный ответ на этот намек на узурпатора Мерри, но тут в дверь без стука вошел тот самый черноволосый молодой человек и, даже не поклонившись Марии, приблизился к леди Лохливен.

— Миледи, — произнес он, склонясь в поклоне перед нею, — лодка, отвозившая моего брата, только что вернулась, и один из гребцов должен срочно передать вам

наставление, которое лорд Уильям запомнил сделать вам лично.

После чего он столь же почтительно поклонился старой даме и вышел, даже не взглянув на королеву, которая, уязвленная такой дерзостью, повернулась к Мэри Сейтон и с обычной своей невозмутимостью сказала:

— Сейтон, кажется, нам рассказывали об оскорбительных для нашей достойной хозяйки слухах, касающихся какого-то младенца с бледным лицом и черными волосами? Если этот младенец, как я догадываюсь, превратился в молодого человека, который только что вышел отсюда, то я готова засвидетельствовать каждому сомневающемуся, что он истинный Дуглас, и доказывает это если уж не храбростью, ибо у меня не было возможности убедиться в ней, то в любом случае наглостью, свидетельство каковой он нам сейчас явил. Пойдемте, душечка, — продолжала королева, опершись на руку Мэри Сейтон, — не то наша гостеприимная хозяйка может счесть, что из учтивости она должна составлять нам общество, меж тем как нам известно, что ее нетерпеливо ждут в другом месте.

С этими словами Мария ушла к себе в спальню, а старая леди, еще не успевшая прийти в себя от ливня насмешек, которыми осыпала ее королева, удалилась, бормоча:

— Да, да, он Дуглас, и с Божьей помощью, я надеюсь, он это еще докажет.

У королевы хватило сил сдерживаться в присутствии врага, но едва она осталась одна, как тут же рухнула в кресло и, будучи уверена в единственном свидетеле своей слабости Мэри Сейтон, залилась слезами. Но ее можно понять: только что она была жестоко уязвлена; до сих пор еще ни один мужчина не приближался к ней, не выказав должных знаков почтения, и неважно, к чему они относились — к ее королевскому сану или красоте ее лица. А этот, на которого она, неизвестно почему, возлагала невольные надежды, оскорбил ее вдвойне — и как королеву, и как женщину. Поэтому Мария оставалась у себя до вечера.

Когда подошла пора обеда, леди Лохливен, как она и предупреждала, вступила в королевские покои, одетая в парадное платье и предшествуемая четырьмя слугами, несущими блюда, которые предназначались узнице на обед; следом за нею шествовал старый управитель замка с золотой цепью на шее и жезлом слоновой кости в руке, которые

он доставал из сундука только в дни торжественных церемоний. Слуги поставили блюда на стол и в молчании ожидали, когда королева соблаговолит выйти; наконец дверь отворилась, но вместо королевы появилась Мэри Сейтон

— Миледи, — объявила она, — ее величество весь день чувствовала себя нездоровой и ничего не будет есть, так что вам нет нужды задерживаться и ждать ее.

— Позвольте мне надеяться, — отвечала леди Лохливен, — что ее величество изменит свое решение. Но в любом случае я исполню свой долг.

После этих слов один из слуг поднес леди Лохливен на серебряной тарелке хлеб и соль, а управитель, который в отсутствие Уильяма Дугласа исполнял обязанности столтника, подал на серебряной же тарелке по кусочку от каждого принесенного блюда. Когда эта церемония была завершена, леди Лохливен осведомилась:

— Итак, ее величество сегодня не выйдет?

— Таково решение ее величества, — ответила Мэри Сейтон.

— В таком случае наше присутствие здесь бесполезно, — заметила старая леди, — но тем не менее стол накрыт, и если ее величеству что-либо потребуется, ей достаточно позвать.

После этого леди Лохливен столь же чопорно и торжественно удалилась, сопутствуемая четырьмя слугами и стариком-управителем.

Как и предвидела леди Лохливен, королева, уступая уговорам Мэри Сейтон, около восьми вечера, вышла из спальни и села за стол; при этой трапезе ей прислуживала единственная оставшаяся при ней статс-дама; немножко поев, Мария Стюарт встала и подошла к окну.

Стоял один из тех великолепных летних вечеров, когда кажется, будто ликует вся природа; небо было усеяно звездами, которые отражались в воде, и среди этих отражений, словно самая яркая звезда, горел огонь в светце, установленном на корме лодки; он освещал Джорджа Дугласа и малыша Дугласа, которые лучили рыбу. Как ни хотелось королеве в этот вечер подышать свежим воздухом, вид молодого человека, который днем столь грубо оскорбил ее, произвел на нее такое впечатление, что она тотчас захлопнула окошко, ушла к себе в спальню, легла и вместе с подругой своего заточения прочла вслух несколько мо-

лить. Однако она была настолько возбуждена, что не смогла заснуть, и через некоторое время встала, накинула халат и подошла опять к окну — лодки уже не было.

Часть ночи Мария сидела, блуждая взором то в безмерности небес, то в глубине вод, и хотя мучительные мысли не отпускали ее, все же и свежий ночной воздух, и эта безмолвная, тихая ночь принесли ей огромное физическое облегчение, так что утром, встав с постели, она почувствовала себя спокойней и умиротворенней. К сожалению, вид леди Лохливен, явившейся к завтраку, дабы исполнить свои обязанности, вновь вызвал у нее раздражение. Возможно, все прошло бы мирно, если бы леди Лохливен, попробовав все блюда, принесенные на завтрак, удалилась, а не осталась стоять возле буфета; однако ее намерение оставаться, пока будет длиться завтрак, которое, вероятней всего, было продиктовано почтением к королеве, Марией Стюарт было воспринято как несносная тирания.

— Душенька, — обратилась она к Мэри Сейтон, — ты, кажется, забыла: вчера наша любезнейшая хозяйка жаловалась, что она устает, когда стоит. Предложи ей одии из двух табуретов, что составляют нашу королевскую меблировку, но смотри, чтобы это был не тот, у которого сломана ножка.

— В том, что обстановка замка Лохливен в таком скверном состоянии, — заметила старая леди, — виноваты короли Шотландии: в течение последнего столетия бедным Дугласам так мало перепало от милостей их государей, что они просто были не в состоянии поддержать былой свой блеск хотя бы на уровне иных особ из просто-народья, например, некоего музыканта, который, как поговаривают, в месяц тратил сумму, равную их годовому доходу.

— Тот, кто умеет брать сам, не нуждается в том, чтобы ему подавали, — ответила королева. — Дугласы, как мне кажется, ничего не потеряли, оттого что им пришлось подождать, теперь даже младшие сыновья из этого благородного рода могут быть уверены, что их ждут самые блистательные партии. Жаль, правда, что наша сестра королева Англии, как утверждают, дала обет сохранить девственность.

— Или что королева Шотландии, — вступила леди Лохливен, — не стала в третий раз вдовою. Впрочем, — заметила она, делая вид, будто собирается уходить, — я

говорю это не в укор вашему величеству. Католики считают брак таинством и потому стараются причаститься к этому таинству как можно чаще.

— И в этом их отличие от кальвинистов, — бросила Мария, — поскольку последние, не почитая его столь высоко, полагают, будто в иных обстоятельствах могут обойтись и без него.

После этой безжалостной насмешки леди Лохливен сделала шаг в сторону Марии Стюарт, сжимая в руке нож, которым она только что отрезала кусок мяса, поданного на пробу, но королева поднялась ей навстречу с таким спокойствием и таким величием, что старая леди то ли под влиянием невольного почтения, то ли устыдившись своего гнева, выпустила нож, который упал на пол, и, не найдя слов, чтобы достойно ответить и выразить бушевающие ее чувства, жестом приказала слугам следовать за ней, после чего с надменным видом, принять который помогла ей клокочущая в душе ярость, выплыла из комнаты.

Едва леди Лохливен покинула поле боя, королева вновь села за стол и, веселая и довольная одержанной победой, откушала с аппетитом, какого у нее не было с той поры, как она стала узницей, меж тем как Мэри Сейтон вполголоса сетовала, правда, в самых почтительных выражениях на полученный ее повелительницей от небес дар язвительного ответа, который наряду с красотой был одной из причин всех постигших ее несчастий; королева же, смеясь над этими замечаниями, говорила, что ей крайне любопытно увидеть, какое лицо будет у их хозяйки во время обеда.

После завтрака королева спустилась в сад; удовлетворенная гордость в какой-то мере вернула ей веселое расположение духа, так что, проходя через парадный зал и увидев на стуле кем-то забытую мандолину, она велела Мэри Сейтон взять ее, сказав, что хочет посмотреть, не разучилась ли играть на ней. Королева была одной из лучших музыкантов того времени и, как свидетельствует Брантом, великолепно играла на лютне и виоле д'амур, инструменте, очень похожем на мандолину. Мэри Сейтон исполнила приказ.

Войдя в сад, королева села в самом тенистом месте и, настроив инструмент, стала извлекать из него веселые, живые звуки, но постепенно мандолина стала звучать все печальнее, а лицо Марии приняло выражение глубокой грусти. Мэри Сейтон с тревогой поглядывала на нее, и

хотя она давно уже привыкла к внезапным переменам настроения своей повелительницы, но все же решилась поинтересоваться, отчего вдруг затуманилось лицо королевы, однако в этот миг Мария повела на мандолине мелодию и тихо, как бы самой себе, запела песню:

Леса, ущелья, горы,
Лука и брег ручья,
Долина, по которой
В слезах блуждаю я,
Сейчас, смирив рыдания,
Вам сделаю признание —
Хочу пропеть
Про страшные страдания,
Что должен я терпеть.

Но кто постигнуть может
Мой безответный стон?
И кто, кто мне поможет,
Чтобы умолкнул он?
Не лес ли это мрачный?
Иль тот цветок невзрачный?
Иль ты, родник,
В своей воде прозрачной
Мой отразивший лик?

Увы, но эту рану
Ничем не исцелить,
И на нее не стану
Молить бальзам пролечь.
Спою я про кручину,
От коей вскоре сгину,
Тебе, мой друг,
В ком вижу я причину
Монх безмерных мук.

Бессмертная богиня,
Услышь мой скорбный стон,
Твоею властью ныне
Навек я покорен.
И коль по воле рока
Погибну я до срока,
То потому,
Что ты была жестока.
К страданию моему.

От скорби безотрадной
Жизнь из меня уйдет:
Вот так от жара холодный
Истает лед.
Как быть с такой напастью?

Но этот жар, что страстью
Палит меня,
Не разожжет, к несчастью,
В твоей душе огня.

Но скалы и утесы,
Деревья и цветы
Мои узрели слезы,
Повинна в конх ты,
И все они в печали
Моей тоске внимали,
Лишь ты одна
Воздушна, как из стали,
И столь же холодна.

Но коль тебе приятно,
Что стражду безотрадно,
То я готов
Страдать страшной стократно
Еще хоть сто веков!

Последний стих королева пропела так тихо, словно у нее иссякли силы; мандолина выпала у нее из рук и упала бы наземь, если бы Мэри Сейтон не бросилась на колени и не подхватила ее. Несколько секунд Мэри не поднималась, молча глядя на свою повелительницу, которая все больше и больше погружалась в печальные мысли.

— Эти стихи навевают на ваше величество грустные воспоминания? — нерешительно спросила она.

— Да, — вздохнула королева. — Я вспомнила несчастного, который сочинил их.

— Не будет ли с моей стороны нескромностью поинтересоваться у вашего величества, кто их автор? — продолжала Мэри Сейтон.

— Увы, то был благородный, мужественный и красивый молодой человек с верным сердцем и пылким умом, который, если бы тогда я защитила его, сейчас защищал бы меня, но его смелость я восприняла как безрассудство, а его ошибку как преступление. Но что ты хочешь, я не любила его. Бедный Шатлар, я была слишком жестока к нему.

— Но ведь это не вы преследовали его, а ваш брат, и оудили его тоже не вы, а судьи.

— Да, я знаю, это еще одна жертва Мерри, и, надо думать, поэтому я и вспомнила сейчас про него. Но, Мэри, я ведь могла помиловать его, но не посмела. Я позволила отправить на эшафот человека, единственное преступление которого состояло в том, что он слишком любил меня, а

теперь жалуясь и удивляюсь, почему все меня покинули. Знаешь, душенька, меня вот что ужасает: с той поры, как я пала, мне все время кажется, что я не только заслужила свою судьбу, но и что Господь недостаточно сурово покарал меня.

— Господи, да что за мысли приходят вашему величеству! — воскликнула Мэри. — Вот видите, к чему привели вас эти стихи, случайно всплывшие в памяти. И это сегодня, когда к вам начало возвращаться веселое расположение духа.

— О нет, — глубоко вздохнув и покачав головой, промолвила королева, — за шесть лет не наберется и десяти дней, когда бы я мысленно не повторяла эти стихи, и лишь сегодня впервые я позволила себе произнести их вслух. Он ведь тоже был французом, Мэри. Они изгнали, бросили в тюрьму или казнили всех, кто прибыл вместе со мною из Франции. Помнишь тот корабль, который утонул, когда мы выходили из гавани Кале? Я тогда воскликнула, что это дурное предзнаменование, а вы все стали меня разубеждать. Ну что, кто был прав — вы или я?

Скорбь королевы была столь сильна, что дать облегчение тут могли только слезы; потому Мэри, поняв, что любые утешения будут не только тщетны, но и некстати, решила никак не противодействовать настроению своей государыни и дать ей излить свои чувства; королева начала всхлипывать, потом разрыдалась, но от слез ей стало легче; постепенно она вновь овладела собой, кризис прошел, и после него она, как обычно, исполнилась твердости и решительности, так что, когда она поднялась в свои покои, на ее лице невозможно было заметить и следов недавнего волнения.

Приближался час обеда, и Мэри, видевшая, с каким нетерпением королева ждала завтрака, чтобы насладиться своей победой над леди Лохливен, заметила, что обеда она ждет с беспокойством; уже сама мысль о необходимости встретиться с этой женщиной, чью гордыню приходится укрощать высокомерной язвительностью, казалась после недавних душевных страданий невыносимой для Марии Стюарт. Поэтому она, как и вчера, решила не выходить к обеду; когда же оказалось, что на сей раз прислуживать ей за столом и отведывать пищу, дабы она могла есть, не опасаясь, будет не леди Лохливен, а Джордж Дуглас, которого его мать, раздраженная утренней беседой, послала вместо себя, Мария обрадовалась, что приняла такое решение. Так что когда Мэри Сейтон сообщила ей, что

черноволосый Дуглас пересекает двор, чтобы подняться к ней, Мария внутренне поздравила себя с тем, что решила не выходить к обеду; ведь этот молодой человек своим дерзким поведением нанес ей в сердце куда более жестокую рану, чем все оскорбительные речи его матушки. Поэтому королева была несколько удивлена, когда Мэри Сейтон вернулась к ней в спальню и сказала, что Джордж Дуглас, отослав предварительно слуг, попросил о чести побеседовать с королевой по весьма важному делу. Мария Стюарт поначалу отказалась говорить с ним, но Мэри сообщила, что поведение и манеры молодого человека на этот раз резко отличаются от того, что они видели два дня назад, и поэтому ей кажется, что ее величество совершит ошибку, не удовлетворив его просьбу. Королева вышла с надменным и величественным видом, который она умела принимать, в соседнюю комнату и, пренебрежительно смеясь Джорджа Дугласа взглядом, стала ждать, что он ей намерен сказать.

Мэри Сейтон не ошиблась: перед королевой был совсем другой человек; насколько в прошлый раз он был пренебрежителен и груб, настолько же сегодня почтителен и робок. Он приблизился к королеве, но, увидев позади нее Мэри Сейтон, промолвил:

— Я хотел бы поговорить с вашим величеством наедине. Буду ли я удостоен подобной милости?

— Сударь, Мэри Сейтон для меня не посторонний человек, она — моя сестра, подруга, а главное, разделяет со мной заточение.

— Все эти титулы лишь увеличивают мое преклонение перед ней, и тем не менее, ваше величество, то, что я должен вам сообщить, не предназначено ни для чьих ушей, кроме ваших. А поскольку возможность, подобная этой, может не повториться, заклинаю вас всем, что вам дорого в мире, позволить мне поговорить с вами с глазу на глаз.

Тон Джорджа был настолько почтителен, в голосе его звучала такая мольба, что Мария Стюарт повернулась к Мэри Сейтон и дружески сказала ей:

— Ладно, душенька, пройди в спальню. Но можешь быть спокойна: все, что я услышу, станет известно тебе. Ступай.

Мэри Сейтон ушла. Королева с улыбкой проводила ее взглядом, а когда дверь за нею закрылась, обратилась к Джорджу Дугласу:

— Ну вот, сударь, мы и одни. Говорите.

Однако Джордж, приблизившись к королеве, опустился на одно колено и молча протянул ей лист бумаги, который был спрятан у него на груди. Мария с удивлением взяла его, развернула, еще раз глянула на Дугласа, который все так же стоял, преклонив колено, и стала читать:

«Мы, графы, лорды и бароны, узнав, что наша королева содержится в заключении в Лохлиvene и ее верные подданные не имеют к ней доступа, и считая, что наш долг — позаботиться о ее безопасности, обещаем и клянемся использовать все разумные средства, имеющиеся в нашем распоряжении, дабы вернуть ей свободу на условиях, совместимых с честью ее величества, благом королевства и безопасностью тех, кто содержит ее в заточении, ежели они согласятся освободить ее; если же они откажутся, мы заявляем, что намерены посвятить себя и своих детей, наших друзей, наших домочадцев, наших вассалов, наше добро, наши тела и жизни, дабы вернуть королеве свободу, обеспечить безопасность наследнику и покарать убийц покойного короля. А ежели мы по этой причине подвергнемся нападению; будь то все вместе или по отдельности, обещаем защищаться и помогать друг другу, а на нарушившего это обещание падет бесчестье, и он будет рассматриваться как клятвопреступник. Да поможет нам Бог.

Собственноручно подписано нами в Данбартоне:

Сент-Эндрю, Аргайл, Хантли, Арброут, Галлоуэй, Росс, Флеминг, Херрис, Скерлинг, Килуиннинг, Уилт, Гамильтон и Сен-Клер, шевалье».

— А Сейтон, — вскричала королева. — Я не вижу подписи моего верного Сейтона!

Дуглас, все так же преклонив колено, достал еще одно послание и с той же почтительностью подал его королеве. В нем было всего несколько слов:

«Доверьтесь Джорджу Дугласу. В целом королевстве у вашего величества нет более преданного друга.

Сейтон».

Прочтя это, Мария взглянула на Дугласа с одним ей свойственным выражением глаз и, протянув ему руку в знак того, что он может встать, промолвила со вздохом, в котором, скорее, звучала радость, чем грусть:

— Ах, теперь я вижу, что Бог, несмотря на мои преступления, еще не оставил меня. Но как понять, что вы, обитатель этого замка, Дуглас.. Нет, это просто невероятно.

— Ваше величество, — поклонился Дуглас, — семь лет назад во Франции я впервые увидел вас, и вот уже семь лет, как я вас люблю.

Мария невольно вздрогнула, но Дуглас поднял руку и с такой грустью покачал головой, что королева поняла: она может выслушать молодого человека.

— Успокойтесь, ваше величество, — продолжал Джордж, — я никогда бы не сделал вам этого признания, если бы мне не нужно было объяснить мое поведение и заставить вас довериться мне. Да, уже семь лет я люблю вас, но люблю, как любят недостижимую звезду, как мадонну, на которую можно только молиться. Уже семь лет я повсюду следую за вами, но вы ни разу не заметили меня, и я ни разу не промолвил ни слова, не сделал ничего, чтобы привлечь к себе ваш взор. Когда вы возвращались в Шотландию, я плыл на галере шевалье де Мевийона; когда вы сражались с Хантли, я был среди воинов регента; я был в эскорте, сопровождавшем вас, когда вы отправились в Глазго повидаться с заболевшим королем; в Эдинбург я прибыл через час, после того как вас увезли в Лохливен. И тут мне впервые подумалось: вот оно, мое предназначение, и, значит, моя любовь, которую до сей поры я почитал преступной, напротив, угодна Господу. Я узнал, что лорды съехались в Дамбартон, и помчался туда. Я поклялся своим именем, своей честью, своей жизнью и добился, что они, поскольку я имею доступ в эту крепость, доверили мне доставить вам этот договор, который они только что подписали. А теперь, ваше величество, забудьте все, что я вам говорил, кроме заверений в моей преданности и почтительности, забудьте, что я рядом с вами: я привык быть незримым, но если вам понадобится моя жизнь, сделайте только знак, ибо она уже семь лет принадлежит вам.

— Увы, — произнесла Мария, — сегодня утром я горевала, оттого что меня уже никто не любит, а на самом деле мне следовало бы горевать, оттого что меня еще любят. И хоть я еще так молода, обернитесь назад, Дуглас, и сочтите могилы, которые я уже оставила на своем пути. Франциск Второй, Шатлар, Риццио, Дарнли... О, чтобы сейчас связать свою судьбу с моей, нужна великая любовь,

нужны героизм и самопожертвование, тем паче, что эта любовь, и вы сами это сказали, Дуглас, может оказаться вознагражденной. Вы это понимаете?

— Ах, ваше величество, — отвечал Дуглас, — да разве же не награда для меня каждый день видеть вас, лелеять надежду, что, возможно, мне удастся вернуть вам свободу, а если не удастся, быть уверенным, что я умру на глазах у вас?

— Несчастный юноша! — тихо вздохнула Мария, возведя глаза к небу и словно заранее читая там, какая судьба ждет ее нового защитника.

— Напротив, счастливый Дуглас! — вскричал Джордж, схватив руку Марии, целуя ее, но в поцелуе этом было гораздо больше почтительности, чем страсти. — Да, счастливый Дуглас! Ведь я уже получил больше, чем смел надеяться: вы вздохнули обо мне.

— И что же вы решили вместе с моими друзьями? — поинтересовалась королева, поднимая Дугласа, который до сих пор оставался коленопреклоненным.

— Пока еще ничего, — отвечал Дуглас, — мы лишь едва-едва успели с вами повидаться. Ваш побег без меня невозможен, но и с моей помощью устроить его будет безмерно трудно. Ваше величество видели, что мне пришлось публично пренебречь приличиями, чтобы моя мать сочла, что я достоин счастья лицезреть вас. Если когда-либо доверие матери и брата дойдет до такой степени, что мне вручат ключи от замка, вы спасены. Так что пусть ваше величество не удивляется: при посторонних я буду для вашего величества Дугласом, то есть недругом, и пока жизни вашего величества угрожает опасность, не произнесу ни одного слова, не сделаю ни одного жеста, что могли бы обнаружить верность, в которой я вам поклялся. И знайте, ваше величество: нахожусь ли я у вас на глазах или отсутствую, действую или отдыхаю, молчу или говорю, все будет видимостью и притворством, кроме моей преданности вам. И еще, ваше величество, каждый вечер глядите в ту сторону, — и Джордж Дуглас, подойдя к окну, указал королеве на домик, стоящий на холме Кинросс. — И если вы там увидите свет, это будет значить, что ваши друзья помнят о вас и не следует терять надежды.

— Благодарю, Дуглас, благодарю, — промолвила королева. — Как прекрасно хоть изредка встретить сердце, подобное вашему! О, благодарю вас!

— А теперь, — заключил молодой человек, — мне пора покинуть ваше величество. Оставаться дольше означало бы возбудить подозрения. А достаточно малейшего подозрения против меня, и — прошу ваше величество запомнить это — свет в том окне, являющийся вашим единственным маяком, погаснет, и все поглотит мрак.

С этими словами Дуглас с еще большим почтением, чем прежде, отвесил поклон и удалился, оставив Марию, исполненную надежды, а еще более гордости: ведь сегодня почести воздавались ей не как королеве, а как женщине.

Как королева и обещала, Мэри Сейтон стало известно все, даже о любви Джорджа Дугласа, и обе они с нетерпением ждали вечера, чтобы проверить, загорится ли на горизонте обещанная звезда; их надежда не была обманута: в назначенный час маяк вспыхнул, и королева вздрогнула от радости; Мэри Сейтон не могла увести ее от окна: королева не отрывала глаз от домика на холме Кинросс. Наконец, уступив просьбам Мэри, она легла в постель, но среди ночи дважды вставала и бесшумно подходила к окну; огонь на холме продолжал гореть и погас только на рассвете вместе со своими сестрами, небесными светилами.

На следующий день во время завтрака Джордж Дуглас объявил королеве, что вечером вернется его брат Уильям, а сам он завтра утром должен покинуть Лохливен, чтобы встретиться с лордами, подписавшими договор, которые после этого тотчас же разъедутся по графствам собирать свои войска. Королева сможет совершить успешный побег лишь тогда, когда будет уверена, что вокруг нее соберется армия, достаточно сильная, чтобы дать сражение; что же до него, Джорджа Дугласа, то в замке привыкли к его внезапным исчезновениям и неожиданным возвращениям, и можно не бояться, что его отсутствие возбудит хоть малейшие подозрения.

Все произошло так, как сказал Джордж: вечером звук рога оповестил о прибытии Уильяма Дугласа; он приехал с лордом Рутвенем, сыном убийцы Риццио, изгнанного из страны вместе с Мортонем после этого убийства; старый лорд умер в Англии от болезни, мучавшей его в день чудовищного преступления, в котором он принимал, как мы имели возможность убедиться, самое деятельное уча-

стие. Молодой Рутвен опередил на один день лорда Линдси Байрского и сэра Роберта Мелвила, брата Джеймса Мелвила, посла Марии Стюарт при Елизавете; им троим была поручена регентом деликатная миссия к королеве.

На другой день все пошло по-прежнему, и Уильям Дуглас возвратился к своим обязанностям стольника. За завтраком Марии не было сообщено ни об отъезде Джорджа, ни о прибытии Рутвена. Встав из-за стола, она подошла к окну, и почти в тот же миг услышала с берега рог и увидела там небольшую группу всадников, ожидающих лодку, которая должна перевезти тех из них, кому это положено, в замок.

Расстояние было слишком велико, чтобы Мария сумела различить, кто же приехал сделать ей визит, но по тому, что их явно ждали в крепости, было очевидно: приехавшие не принадлежат к друзьям королевы. Поэтому обеспокоенная Мария ни на миг не выпускала из виду лодку, поплывшую за ними. В лодку сели только двое, и она тотчас же пустилась в обратный путь к замку.

По мере ее приближения недобрые предчувствия Марии сменились неподдельным страхом: в одном из прибывших она узнала лорда Линдси Байрского, того самого, кто неделю назад доставил ее в эту тюрьму. Да, то был он, как обычно, в стальном шлеме без забрала, благодаря чему и было видно его суровое лицо, привычное выражать сильные страсти, и длинную, по грудь, черную бороду, в которой серебрились несколько седых волосков; на нем была, словно он собрался на битву, заслуженная кираса, некогда полированная и украшенная богатой позолотой, но оттого что ей часто приходилось бывать и под дождем, и в тумане, теперь кое-где на ней появилась ржавчина; за спиной же у него висел, наподобие колчана, меч, такой тяжелый, что рубить им можно было только двумя руками, и такой длинный, что рукоять его находилась на уровне левого плеча, а острие на уровне правой шпоры; одним словом, лорд Линдси был воин, отважный до безрассудства, но и грубый до дерзости, не признающий ничего, кроме права и силы, и всегда готовый прибегнуть к последней, если он считал, что имеет на это право.

Королева была так занята лордом Линдси, что лишь в последний миг перевела взгляд на его спутника и узнала Роберта Мелвила; это ее несколько утешило, так как она знала: в нем, что бы ни случилось, она найдет, по крайней

мере, симпатию, если не явную, то хотя бы тайную. Кстати, его наряд, в определенной мере характеризующий сэра Мелвила так же, как характеризовал лорда Линдси его облик, являл собой полную противоположность воинственному виду последнего; он состоял из полукафтана черного бархата, шапочки горца с черным пером, приколотым к ней золотой пряжкой; единственным его наступательным и оборонительным оружием был короткий меч, который он носил скорее для того, чтобы обозначить свой сан, чем для нападения и защиты, ну, а его черты и манеры находились в полном соответствии с его мирной внешностью. Бледное лицо, говорившее одновременно и о хитрости, и об уме, живой мягкий взгляд, вкрадчивый голос, тщедушная и слегка согбенная фигура, но согбенная более по привычке, нежели бременем годов, так как в ту пору ему было лет сорок пять, свидетельствовали о незлобивом и покладистом нраве.

И все же присутствие этого мирного человека, казалось, назначенного следить за демоном войны, не смогло окончательно успокоить королеву, и, как только лодка, направляясь к пристани, расположенной у главных ворот замка, скрылась за башней, Мария Стюарт велела Мэри спуститься вниз и попытаться разведать, зачем лорд Линдси прибыл в Лохливен, поскольку знала, что при всей силе своего характера ей необходимо иметь представление о причине его приезда, какова бы та ни была, хотя бы за несколько минут до встречи, чтобы придать лицу спокойствие и величественность, воздействие которых она уже неоднократно испытывала на своих врагах.

Оставшись одна, Мария обратила взор на домик на вершине Кинросского холма, но расстояние было слишком велико, чтобы она смогла что-либо в нем увидеть, да к тому же ставни дома весь день оставались закрытыми и, похоже, открыться должны были только ночью, подобно тому как тучи, весь день затягивающие небо, наконец чуть расходятся, чтобы затерянный в море пловец смог увидеть спасительную звезду. Но королева, даже зная об этом, стояла у окна, не отводя взгляда от домика, и только Мэри Сейтон отвлекла ее от безмолвного созерцания.

— Ну, что там, душечка? — обернувшись, поинтересовалась Мария.

— Ваше величество не ошиблись, — сообщила Мэри, — это действительно сэр Роберт Мелвил и лорд Лин-

дси. Но вчера вместе с сэром Уильямом Дугласом сюда прибыл третий посланец, и я боюсь, что вашему величеству имя его еще ненавистней любого из двух только названных мною имен.

— Ты неправа, Мэри, — заметила королева, — ни имя Мелвила, ни имя Линдси мне ничуть не ненавистны; напротив, имя Мелвил в нынешних моих обстоятельствах одно из тех, что, скорей, ласкают мой слух; что же касается лорда Линдси, то у него благородное имя, которое всегда носили, это надо признать, люди грубые и дикие, но тем не менее не способные на измену. Ну, а теперь скажи мне, Мэри, имя третьего. Ты же видишь, я подготовилась и спокойна.

— Увы, ваше величество, — промолвила Мэри, — как бы вы ни были спокойны, как бы ни подготовились, соберите все свои силы и не только для того, чтобы услышать от меня это имя, но чтобы через несколько минут встретиться с тем, кто его носит, ибо это лорд Рутвен.

Мэри Сейтон была права: это имя произвело чудовищное действие на королеву; едва оно прозвучало, Мария Стюарт издала крик и, побледнев, словно вот-вот лишится чувств, ухватилась за подоконник. Мэри Сейтон, напуганная впечатлением, которое оказало на королеву это роковое имя, бросилась к ней, чтобы поддержать, но та, протянув к ней одну руку, а вторую приложив к сердцу, промолвила:

— Ничего, ничего, через секунду я приду в себя. Да, Мэри, ты верно сказала, это — роковое имя, и оно пробудило во мне одно из самых кровавых моих воспоминаний. Требования, которые предъявят мне эти люди, будут ужасны. Но неважно, скоро я буду готова принять посланцев моего брата, поскольку, вне всяких сомнений, это он прислал их. А ты, душечка, постарайся не дать им войти сюда, так как мне потребуется несколько секунд, чтобы собраться с силами. Ты же знаешь меня, долго это не продлится.

С этими словами королева скрылась за дверью спальни.

Мэри Сейтон не могла не восхититься силой характера, благодаря которой Мария Стюарт, женщина в полном смысле этого слова, в момент опасности превращалась в мужчину. Она подошла к двери, намереваясь запереть ее на деревянный засов, который вставлялся в два кольца, но его, оказывается, унесли, и закрыться изнутри не было

никакой возможности. Через несколько секунд она услышала, что по лестнице поднимаются, и по тяжелому гулкому шагу догадалась, что один из идущих сюда — лорд Линдси; она оглянулась, ища взглядом, чем бы заменить засов, но ничего подходящего не найдя поблизости, просунула руку в кольца, решив, что скорее даст ее сломать, чем позволит, чтобы к ее госпоже вошли, прежде чем она будет готова. Шаги остановились на площадке, в дверь несколько раз ударили кулаком и грубый голос крикнул:

— Эй, открывайте дверь! Немедля откройте!

— А по какому праву, — спросила Мэри Сейтон, — у меня дерзко требуют открыть дверь покоев королевы Шотландии?

— По праву посланца регента входить его именем всюду. Я — лорд Линдси и прибыл говорить с леди Марией Стюарт.

— Сан посланца, — отвечала Мэри Сейтон, — не освобождает от обязанности доложить о своем прибытии женщине, а уж тем более королеве, а ежели этот посланец — лорд Линдси, как он сам об этом объявил, то он подождет, как подождет бы всякий благородный шотландец, когда у его государыни будет время принять его.

— Во имя святого Андрея откройте, не то я выломаю дверь, — закричал Линдси.

— Умоляю вас, милорд, не делайте этого, — прозвучал второй голос, и Мэри узнала Мелвила. — Давайте подождем лорда Рутвена.

— Клянусь душой, я ни секунды больше не намерен ждать! — вскричал Линдси, дергая дверь, однако, видя, что она не открывается, обратился к управителю: — Послушай, мерзавец, ты же уверял, что засов убран.

— Да, его унесли, — подтвердил тот.

— Тогда чем же эта дура заперла дверь? — осведомился Линдси.

— Своей рукой, которую я продела в кольца, как это сделала для спасения короля Иакова Первого представительница рода Дугласов в те времена, когда Дугласы были черноволосыми, а не рыжими и верными слугами короля, а не изменниками.

— Если ты так хорошо знаешь историю, — прорычал разъяренный лорд Линдси, — то должна помнить, что это слабая преграда не удержала Грэхема и что рука Кэтрин

Дуглас была сломана, как ветка ивы, а Иаков Первый убит, словно пес.

— Но и вы, милорд, — отвечала бесстрашная девушка, — должны помнить старинную балладу, которую поют еще и сейчас:

Будь проклят, Роберт Грэхем,
Убийца короля!
Да проклянет злодея
Шотландская земля!

— Мэри! — крикнула королева, слышавшая их пререкания из спальни, — Мэри, я приказываю вам сейчас же открыть дверь! Сейчас же!

Мэри исполнила приказ, и лорд Линдси ворвался в комнату, а за ним, опустив голову, намеренно медленно вошел Мелвил. Дойдя до середины комнаты, лорд Линдси остановился и огляделся.

— Где она? — спросил он. — Мало того что нас заставили ждать за дверью, так теперь еще заставят ждать здесь? Она что, не понимает, что значат эти запоры и эти стены, и до сих пор воображает себя королевой?

— Успокойтесь, милорд, — шепнул сэр Роберт, — вы же видите, что лорд Рутвен еще не пришел, а поскольку действовать без него мы не можем, давайте подождем.

— Ждите, если вам угодно, — зарычал Линдси, — а я ждать не намерен и разыщу ее, где бы она ни была!

Он уже направился к опочивальне Марии Стюарт, но в этот миг она сама отворила дверь и появилась на пороге, всем видом показывая, что ничуть не взволнована ни самим визитом, ни дерзостью посетителя, и до того прекрасная и исполненная величия, что все, включая лорда Линдси, умолкли, увидев ее, и, словно понуждаемые некоей внешней силой, склонились в почтительном поклоне.

— Боюсь, милорд, что я заставила вас ждать, — промолвила королева, ответив лишь легким наклоном головы на приветствия посланцев регента, — но женщины предпочитают принимать даже врагов лишь после того, как проведут несколько минут за туалетом. Мужчины, правда, менее привержены к подобному церемониалу, — заметила она, скользнув красноречивым взглядом по ржавой кирасе и грязному, дырявому камзолу лорда Линдси. — Здравствуйте, Мелвил, — продолжила она, не обращая внимания на извинения, которые бормотал Линдси, — рада вас

видеть в моей тюрьме, как рада была вам у себя во дворце, потому что верю, что и там, и здесь вы остаетесь верны мне.

Затем она снова повернулась к Линдси, который бросал нетерпеливые взгляды на дверь, ожидая, когда же появится Рутвен.

— Я вижу, вы, милорд, пришли сюда с верным товарищем, — заметила Мария, указав на меч за спиной у Линдси, — хотя он несколько тяжеловат. Уж не ожидали ли вы, что встретите здесь врагов, против которых сможете употребить его? А ежели нет, являться в таком виде перед женщиной — довольно странная манера. Впрочем, это не имеет значения, я ведь, как вам известно, слишком Стюарт, чтобы меня можно было напугать видом меча, даже обнаженного.

— Он здесь весьма к месту, миледи, — объявил Линдси и, сняв меч из-за спины, поставил его перед собой и оперся локтем на перекрестье эфеса, — ибо он давно свел знакомство с вашей фамилией.

— Ваши предки, милорд, были достаточно отважны и верны нам, чтобы я посмела усомниться в ваших словах. Да, такой превосходный меч, надо думать, неплохо служил им.

— Да, миледи, неплохо, но только такую службу короли не прощают. Тот, кто велел его выковать, звался Арчибалд Первоначинатель, и он был вооружен этим мечом в тот день, когда, оправдывая свое прозвище, явился в шатер вашего предка Иакова Третьего, дабы арестовать его презренных фаворитов Кокрана, Хаммела, Ленарда и Торпикена, которых он приказал своим воинам повесить на Лодерском мосту на недоузздах. Этим же мечом он зарубил в честном поединке Спенса из Килспинди, который оскорбил его в присутствии короля Иакова Четвертого, понадеявшись на защиту своего государя, однако единственной защитой, на какую мог надеяться обидчик, оказался его щит, но этим мечом он был разрублен пополам. После смерти своего хозяина, случившейся спустя два года после поражения при Флоддене, во время которого полегли два его сына и две сотни воинов из клана Дугласов, меч перешел в руки графа Ангуса, и тот извлек его из ножен, когда изгонял из Эдинбурга Гамильтонов, причем столь стремительно и превосходно, что дело это получило название «подметание улиц». И наконец, ваш батюшка Иаков

Пятый видел его блеск во время битвы на мосту через Твид, когда подстрекаемый вашим батюшкой Баклю захотел вырвать его из-под опеки Дугласов; там, на поле сражения, полегли восемьдесят воинов из клана Скоттов.

— Но почему же, — удивилась королева, — этот меч после таких подвигов не остался как память о победах в роду Дугласов? Надо полагать, у графа Ангуса была важная причина, ежели он решился передать вам этот новейший Калибурн¹.

— Да, миледи, это была важная причина, — подтвердил Линдси, не обращая внимания на умоляющие знаки, которые ему делал Мелвил, — и у нее хотя бы то преимущество над прочими, что преставилась она совсем недавно, и вы еще не успели о ней забыть. А было это, миледи, десять дней назад на поле битвы в Карбери-Хил, когда бесчестный Босуэл имел дерзость вызвать на поединок каждого, кто осмелится утверждать, будто он виновен в смерти короля, вашего супруга. И я тогда заявил — третьим по счету, — что он убийца. А поскольку он отказался биться с двумя другими под предлогом, что они всего лишь бароны, я, граф и лорд, готов был выйти с ним на поединок. И вот для того боя не на жизнь, а на смерть благородный граф Мортон отдал мне этот добрый меч. Так что, окажись Босуэл чуть самонадеянней или не так труслив, псы и стервятники уже давно насытились бы мясом, потому что этим добрым клинком я разрубил бы его на куски.

Мэри Сейтон и Роберт Мелвил испуганно переглянулись: события эти происходили совсем недавно и память о них, если можно так выразиться, еще кровоточила в сердце королевы, однако Мария Стюарт с потрясающей невозмутимостью и презрительной улыбкой на устах бросила:

— Милорд, легко повергать противника, когда он не вышел на бой, и все же поверьте, если бы я унаследовала меч Стюартов, как унаследовала их скипетр, этот ваш клинок, какой бы длины он ни был, показался бы вам слишком коротким. Но оставим это, милорд. Поскольку вы здесь для того, чтобы рассказать нам про то, что вы собираетесь совершить, а не про то, что вы совершили, я

¹ Одно из имен волшебного меча легендарного короля Артура.

позволю себе вернуть вас к делам более насущным, так как полагаю, что вы взяли на себя труд приехать сюда отнюдь не затем, чтобы приписать новую главу к испанским похвальбам господина де Брантома¹.

— Вы совершенно правы, миледи, — отвечал побагровевший от гнева Линдси, — и вы уже узнали бы цель нашей миссии, если бы лорд Рутвен не заставлял себя ждать. Впрочем, — добавил он, успокоившись, — ждать вам придется недолго: он уже идет.

Действительно, на лестнице послышались шаги, и при их звуках королева, с поразительным спокойствием воспринимавшая оскорбления Линдсея, залилась такой бледностью, что Мелвил, который не спускал с нее глаз, протянул руку к креслу, очевидно, намереваясь пододвинуть его и предложить ей сесть, однако она знаком дала понять, что не нуждается в помощи, и с деланным спокойствием обратила взгляд на дверь. Лорд Рутвен вошел в комнату. Впервые после убийства Ришио королева увидела сына его убийцы.

Лорд Рутвен был одновременно и воином, и государственным мужем, и в тот день его наряд указывал на обе стороны его деятельности; он был одет в полукафтан из буйволовой кожи, украшенный шитьем и достаточно изящный, чтобы в нем можно было показаться и при дворе, но в случае необходимости на него можно было надеть кирасу и идти в сражение; как и отец, он был страшно бледен; как и отцу, ему суждено было умереть молодым, а лицо его в еще большей степени, чем лицо отца, было отмечено зловещей печалью, по которой вешуны распознают тех, кого ждет насильственная смерть.

В лорде Рутвене сочеталось изысканное достоинство придворного с непреклонным характером государственного деятеля; полный решимости добиться от Марии Стюарт — и если нужно будет, даже силой, — согласия на все требования регента, он, войдя, приветствовал королеву холодным, но почтительным поклоном, на который она ответила реверансом. После этого управитель придвинул кресло к массивному столу, на котором уже было приготовлено все необходимое для письма, и по знаку обоих

¹ Имеется в виду сочинение Пьера де Брантома «Похвальбы и божба испанцев», что, вероятно, представляет собой анахронизм: написано это сочинение после 1574 г., опубликовано в 1666 г.

лордов удалился, оставив королеву и ее подругу наедине с тремя посланцами. Королева, понимая, что стол и кресло приготовлены для нее, села и первой прервала молчание, казавшееся стократ более тягостным, чем любые слова

— Итак, милорды, вы видите, я жду, — промолвила она. — Неужели весть, которую вы должны мне сообщить, настолько ужасна, что два таких прославленных воина, как лорд Линдси и лорд Рутвен, не решаются огласить ее?

— Ваше величество, — отвечал лорд Рутвен, — я принадлежу к роду, и вам это известно, который не колеблется, когда нужно исполнить долг. Впрочем, мы надеемся, что пребывание в заточении подготовило вас к тому, чтобы выслушать послание, которое мы должны передать вам от имени тайного совета.

— Тайного совета! — возмутилась королева. — А по какому праву созданный мною тайный совет действует без меня? Впрочем, неважно, я готова выслушать вас и уже догадываюсь, что меня будут умолять о милосердии к людям, которые захватили власть, полученную мною от Бога.

— Ваше величество, — сказал лорд Рутвен, которому, похоже, была поручена трудная обязанность говорить с королевой, меж тем как Линдси молчал и лишь возбужденно сжимал и разжимал кулак на рукояти своего длинного меча, — мне крайне неприятно, что я вынужден рассеять ваши заблуждения на сей счет. Я прибыл сюда отнюдь не для того, чтобы молить вас о милосердии, а напротив, предложить вам от имени тайного совета прощение.

— Прощение мне, милорд? — вскричала королева. — Подданные предлагают прощение своей государыне! О, это до того ново и необычно, что изумление мое превосходит негодование и потому, вместо того чтобы повелеть вам умолкнуть, как я, наверное, и должна была сделать, я умоляю вас продолжать.

— И я тем охотней подчиняюсь вам, миледи, — произнес, ничуть не смутясь, лорд Рутвен, — что прощение вам предлагается на определенных условиях, каковы приведены в этих актах, предназначенных установить в государстве спокойствие, жестоко подорванное многими вашими винами, и вины придется эти искупить.

— А будет ли мне дозволено, милорд, прочесть эти акты, или я должна, доверяясь тем, кто мне их привез, подписать их с закрытыми глазами?

— Нет, миледи, — отвечал лорд Рутвен, — тайный совет, напротив того, желает, чтобы вы ознакомились с ними, так как вы должны подписать их по собственной воле и без принуждения.

— Тогда прочтите их, милорд, поскольку мне кажется, что в ваши весьма необычные обязанности входит и оглашение их.

Лорд Рутвен развернул одну из двух грамот, что он держал в руке, и совершенно бесстрастным голосом начал читать:

«С малых лет унаследовавшая корону Шотландии и призванная править королевством, я со всем тщанием занималась управлением государством, но сие было столь тягостно и трудно, что ныне я не нахожу в себе ни достаточной решимости, ни достаточных сил, чтобы и далее нести бремя государственных забот; вследствие чего и поскольку нам Божьей милостью дарован сын, мы пожелали при жизни передать ему корону, каковая принадлежит ему по праву рождения, и посему порешили отречься и отныне отрекаемся свободно и по собственной воле в его пользу от всех наших прав на корону и правление Шотландией и желаем, чтобы он немедленно взошел на трон, как если бы он был призван на него вследствие нашей естественной кончины, а не по нашему волеизъявлению; дабы настоящее наше отречение прозвучало во всей полноте и со всею торжественностью и никто не смог бы ссылаться на его незнание, мы повелеваем нашим любезным и преданным родичам лордам Линдси Байрскому и Уильяму Рутвену предстать вместо нас перед дворянством и горожанами Шотландии, каковых поручаем им собрать в Стерлинге, и от нашего имени отречься публично и торжественно от всех наших прав на корону и правление Шотландией.

Подписано по нашему собственному желанию и как изъявление нашей последней королевской воли в нашем замке Лохливен июня... года тысяча пятьсот шестьдесят седьмого.»

— Число еще не проставленно, — объяснил лорд Рутвен.

Несколько секунд все молчали, наконец Рутвен осведомился:

— Вы все слышали, ваше величество?

— Да, — отвечала Мария Стюарт, — я слышала мятежные слова, которые не в силах была понять, и думала, что мой слух, пытающийся уже некоторое время привыкнуть к странным речам, обманывает меня, и эти мои мысли не делали вам чести, милорд Уильям Рутвен и милорд Линдси Байрский.

— Ваше величество, — прервал ее Линдси, которому надоело молчать, — наша честь — не предмет заботы женщины, не сумевшей соблюсти свою.

— Милорд! — воскликнул Мелвил.

— Не мешайте ему, Роберт, пусть говорит, — остановила его королева. — Наша совесть защищена броней, не менее закаленной, чем та, в которую столь предусмотрительно облачился милорд Линдси, хотя к стыду правосудия сейчас мы лишены своего меча. Продолжайте, милорд, — обратилась она к лорду Рутвену. — И это все, чего от меня требуют мои поданные? Число и подпись? О, это такой пустяк! А вторая грамота, которую вы держите, блюдя последовательность, вероятно, содержит просьбу, удовлетворить которую будет трудней, нежели передать годовалому младенцу корону, принадлежащую мне по праву рождения, и выпустить скипетр, дабы взять вместо него веретено.

— Эта вторая грамота, — объявил Рутвен, несколько не обескураженный насмешливо-язвительным тоном королевы, — акт, которым ваше величество утверждает решение тайного совета назначить вашего возлюбленного брата графа Мерри регентом королевства.

— Да неужели? — усмехнулась Мария. — Тайному совету необходимо, чтобы я утвердила столь пустячный акт? А моему возлюбленному брату он нужен, чтобы без угрызений совести носить новый титул, который я присоединю к уже дарованным ему мною титулам графа Мар и графа Мерри? О, все это так трогательно и в этом столько почтения ко мне, что у меня просто нет никаких оснований жаловаться. Милорды, — встав и резко сменив тон, промолвила королева, — возвращайтесь к пославшим вас сюда и передайте им, что на подобные просьбы Марии Стюарт нечего ответить.

— Одумайтесь, миледи, — произнес Рутвен, — ведь я же вас предупредил, что лишь на этих условиях вам будет даровано прощение.

— А что будет, если я отвергну столь великодушное прощение? — поинтересовалась Мария.

— Я не могу предреши́ть приговор, но вашему величеству слишком хорошо известны законы, а главное, история Англии и Шотландии, чтобы знать, что убийство и прелюбодеяние — это такие преступления, за которые поплатилась жизнью не одна королева.

— Но на каких доказательствах основаны подобные обвинения, милорд? Прошу прощения за мою настойчивость, отнимающую у вас драгоценное время, но я как-никак тоже заинтересованная сторона и потому позволю себе задать этот вопрос.

— А доказательство, миледи, всего одно, я это признаю, — отвечал лорд Рутвен, — но зато неопровержимое: поспешный брак вдовы убитого с главарем убийц и письма, которые мы получили от Джеймса Балфура и которые свидетельствуют, что сердца преступников соединились в прелюбодейственной страсти еще до того, как им было разрешено соединить окровавленные руки.

— Милорд! — воскликнула королева. — Вы, кажется, забыли про пир, заданный в таверне «Лондон» тем самым Босуэлом тем самым лордам, которые объявляют его ныне прелюбодеем и преступником; вы забыли, что после того пир на том же столе, где стояли яства и вина, было подписано прощение к той самой женщине, которую вы сейчас обвиняете в преступной поспешности нового брака, сбросить до срока вдовий траур и облачиться в подвенечный наряд? И ежели вы, милорды, об этом забыли, что не делает чести ни вашему здравому смыслу, ни вашей памяти, мне придется предъявить вам грамоту, ибо я сберегла ее, и, возможно, хорошенько поискав, мы найдем среди подписавших ее имена Лнидси Байрского и Уильяма Рутвена. О благородный лорд Херрис! — вскричала Мария. — О верный Джеймс Мелвил! Вы одни были правы, когда, упав мне в ноги, умоляли не заключать этот брак, бывший, как я сейчас убеждаюсь, всего лишь ловушкой, подстроенной несведущей женщине коварными советниками и вероломными вельможами.

— Ваше величество, — промолвил лорд Рутвен, начавший уже, невзирая на свою ледяную бесстрастность, терять терпение, меж тем как Лнидси уже давно весьма шумно проявлял недвусмысленные признаки возмущения, — эти споры только отдаляют нас от цели, и потому прошу вас

вернуться к ней. Скажите, согласны ли вы, если мы гарантируем вам жизнь и честь, отречься от шотландской короны?

— И какова же гарантия, что вы сдержите свои обещания?

— Наше слово, миледи, — надменно ответил лорд Рутвен.

— Ваше слово, милорд, слишком недостоверный залог, чтобы я могла его принять, памятуя, как скоро вы забыли про свои подписи. А нет ли у вас еще какой-нибудь безделицы впридачу, чтобы я могла быть спокойной, что, в крайнем случае, у меня останется хотя бы она?

— Довольно, Рутвен, довольно! — закричал Линдси. — Разве вы не видите, что вот уже целый час эта женщина отвечает на все ваши предложения оскорблениями?

— Да, идемте, — ответил Рутвен. — Только предупреждаю: в тот день, когда порвется волосок, удерживающий меч над вашей головой, пеняйте за это лишь на себя.

— Милорды! — воскликнул Мелвил. — Заклинаю вас небом, наберитесь немножко терпения и извините ту, что, привыкнув повелевать, сегодня вынуждена подчиняться.

— Ну что ж, — бросил ему Линдси, — оставайтесь с ней и попробуйте своим льстивым красноречием добиться от нее того, в чем она отказывает нам, когда мы предъявляем требования напрямую и откровенно. Через четверть часа мы вернемся, и к этому времени должен быть готов ответ.

Оба лорда вышли, оставив Мелвила с королевой, и пока они спускались, можно было сосчитать все ступени лестницы, о которые ударялся длинный меч Линдси.

Едва оставшись с королевой наедине, Мелвил бросился к ее ногам и заговорил:

— Ваше величество, вы только что упомянули, что лорд Херрис и мой брат давали вам совет и вы раскаиваетесь, что не последовали ему. Прислушайтесь же к новому моему совету, ибо он важнее прежнего, и если вы его не выслушаете, то будете раскаиваться во стократ большим отчаянием. Ведь вы не знаете, что может произойти, не знаете, на что способен ваш брат.

— Ну, по-моему, — заметила королева, — сейчас он мне преподал на сей счет изрядный урок. Да и что он может мне сделать сверх того, что уже сделал? Устроить публичный процесс? Так только этого я и прошу. Пусть

мне позволят самой защищаться на этом процессе, и посмотрим, найдутся ли судьи, которые посмеют меня осудить.

— Но именно на это они и не пойдут, ваше величество. Для этого надо быть безумцами, если принять во внимание, что они содержат вас в уединенном замке под охраной ваших врагов, имея единственным свидетелем Бога, который карает за преступление, но никогда не предотвращает его. Вспомните, ваше величество, слова Макиавелли: «Могила короля всегда поблизости от его тюрьмы». А ведь вы принадлежите к роду, в котором умирают молодыми и почти всегда насильственной смертью: двое из ваших предков погибли от стали, а один от яда.

— О, если смерть будет скорой и легкой, я приму ее как воздаяние за свои грехи. Я ведь горжусь, когда думаю о своих свершениях, но смиренна, когда сужу себя. Нет, меня несправедливо обвиняют в сообщничестве в убийстве Дарнли, но было бы справедливо осудить меня за брак с Босуэлом.

— Время уходит, ваше величество! — воскликнул Мелвил, глянув на стоящие на столе песочные часы. — Сейчас они вернуться, вот-вот будут здесь, и на сей раз вам придется дать ответ. Ваше величество, попытайтесь хотя бы извлечь из своего положения все возможные выгоды. Вы здесь одна, без друзей, без охраны, без власти. Отречение, подписанное в подобных обстоятельствах, ваш народ никогда не сочтет за выражение вашей свободной воли и поймет, что у вас его вырвали силой, и если понадобится, если настанет день, когда можно будет опротестовать отречение, о, тогда у вас будут два свидетеля произведенного над вами насилия, и одним будет Мэри Сейтон, а другим, — понизив голос и испуганно оглядываясь, закончил он, — будет Роберт Мелвил.

Едва он произнес это, как на лестнице вновь раздались шаги: оба лорда возвращались, не дождавшись, когда истекут пятнадцать минут; через несколько секунд дверь распахнулась, и в ней появился Рутвен, а за его плечами маячило лицо Линдси.

— Мы вернулись. Что решило ваше величество? Мы ждем ответа, — сказал Рутвен.

— Да, — подтвердил Линдси, отталкивая Рутвена, который загородил ему проход, и устремляясь к столу, —

ждем ответа, ясного, четкого, определенного и без всяких уверток.

— Вы крайне настойчивы, милорд, — бросила королева. — Вряд ли вы решились бы требовать чего-либо от меня, будь я на берегу озера, свободная и окруженная верной охраной, но в этих стенах, за решетками, в этой крепости я отвечаю вам, что подпишу все, что угодно, и охотней, чем вы думаете. Короче, вам нужна подпись, и вы ее получите. Мелвил, подайте мне перо.

— Надеюсь однако, — задал вопрос лорд Рутвен, — что: ваше величество не намерены впоследствии ссылаться на нынешнее свое положение, дабы опротестовать подпись?

Королева уже склонилась над столом, уже подносила перо к бумаге, и тут прозвучал вопрос Рутвена. Она тотчас же надменно выпрямилась и бросила перо.

— Милорд, — объявила она, — недавно вы от меня потребовали безусловного отречения, и я готова его подписать. Но если к отречению прибавлена приписка, что я отрекаюсь по собственному побуждению, не считая себя достойной трона Шотландии, то я ничего не подпишу даже за три соединенные короны, которые у меня поочередно похитили.

— Остерегитесь, миледи! — вскричал в ярости Линдси, схватив ее за запястье и изо всех сил сжимая его рукой в латной рукавице. — Остерегитесь, ибо наше терпение уже исчерпано, и как бы мы не решились разбить то, что не желает гнуться!

Королева продолжала стоять, и, хотя краска гнева разлилась, словно пламя, по ее лицу, она не произнесла ни слова, не попыталась вырвать руку и лишь с безмерным презрением смотрела в глаза грубияна-барона, и тот, устыдившись, что поддался вспышке ярости, отпустил королеву и попятился назад. Тогда она приподняла рукав платья, и, демонстрируя опечатавшийся у нее на коже синий след стальной рукавицы лорда Линдси, молвила:

— Именно этого я и ждала, милорды послы, и теперь ничто не помешает мне поставить подпись. Да, я отрекаюсь от престола и короны Шотландии по собственной воле, и вот доказательство, что никто не принуждал меня к этому.

Королева взяла перо и стремительно подписала оба акта, подала их лорду Рутвену, с достоинством поклонилась послам и неторопливо удалилась к себе в спальню, сопро-

вождаемая Мэри Сейтон. Рутвен проводил ее взглядом и, когда она исчезла за дверью, пробормотал:

— Ладно, главное, она подписала, и хотя способ, который вы использовали, Линдси, нечасто применяется в дипломатии, он тем не менее оказался действенным.

— Бросьте шутить, Рутвен, — прервал его Линдси, — она — благороднейшее существо, и если бы я осмелился, то бросился бы к ее ногам и умолил простить меня.

— Еще не поздно, — усмехнулся Рутвен, — в нынешних обстоятельствах она не будет к вам сурова. Может быть, она решила прибегнуть к Божьему суду¹, и тогда такой боец, как вы, мог бы весьма решительно изменить все дело.

— Бросьте шутить, Рутвен, — еще раз повторил, но уже с гневной ноткой в голосе Линдси. — Будь я столь же уверен в ее невиновности, как уверен в ее преступлении, заверяю вас, никто, даже регент, не посмел бы коснуться и волоска на ее голове.

— Черт подери, милорд, — отвечал Рутвен, — а я и не знал, что на вас так действует сладкий голос и глаза, полные слез. Вам ведь известна история про копые Ахилла, ржавчина с которого исцеляла раны, нанесенные его же острием, так что последуйте его примеру.

— Довольно, Рутвен, довольно, — остановил его Линдси. — Вы напоминаете мне миланские стальные латы, которые блестят в три раза ярче, чем железный доспех, сделанный в Глазго, но которые и в три раза прочней. Мы хорошо знаем друг друга, так что давайте прекратим насмешки и угрозы.

И Линдси первым вышел из комнаты, а за ним последовали Рутвен и Мелвил; первый шел, высоко подняв голову, с нарочитым вызывающе-равнодушным видом, а второй — печальный, опустив глаза и даже не пытаясь скрыть тягостное впечатление, какое произвели на него эти события.

Королева же вышла из спальни только вечером и сразу направилась к окну, что выходило на озеро; в обычное время в домике на вершине Кинросского холма загорелся свет, ставший теперь для нее единственной надеждой: весь

¹ *Божий суд* — в средние века испытание, с помощью которого определялась истина. Здесь имеется в виду поединок, один из участников которого представляет защиту, а второй обвинение. Победа одного из них в поединке доказывала виновность либо невиновность обвиняемого.

этот долгий месяц единственной радостью для нее было смотреть, как горит он, верный и постоянный.

Она уже отчаялась вновь увидеть Джорджа Дугласа, но однажды утром отворила окно и вскрикнула. Мэри Сейтон бросилась к ней, и королева, не в силах произнести ни слова, показала на челнок, стоящий на якоре посреди озера: в нем сидели малыш Дуглас с Джорджем и предавались своему излюбленному развлечению — ловили рыбу. Молодой человек вернулся еще вчера, но поскольку в замке все привыкли к его неожиданным возвращениям, караульный даже не затрубил в рог, и потому королева не знала, что ее друг опять рядом с нею.

Тем не менее еще три дня королева видела Джорджа Дугласа только там, где заметила в первый раз, то есть посреди озера, но надо сказать, что молодой человек с утра до ночи сидел в челноке, откуда мог видеть окна Марии Стюарт, а иногда и ее самое — когда она прижималась лицом к оконным решеткам. Но вот утром четвертого дня королева была разбужена громким лаем собак и звуками рогов; она подбежала к окну — ведь для узницы все является событием — и увидела, как отчаливает Уильям Дуглас вместе со сворой и псарями. Он решил оставить на день свои обязанности тюремщика, чтобы предаться удовольствию, более соответствующему его сану и происхождению, — поохотиться на лесистых склонах гор, что спускаются к озеру.

Королева затрепетала от радости: она надеялась, что уязвленная леди Лохливен не захочет встречаться с ней и Джордж заменит брата. Так оно и вышло. Когда настало время завтрака, на лестнице послышались шаги; дверь распахнулась, и вошел Джордж Дуглас, а за ним слуги, несущие блюда. Джордж едва поклонился ей, но поскольку он уже предупредил, чтобы королева ничему не удивлялась, она с презрительным видом кивнула в ответ на его поклон. Исполнив свои обязанности, слуги, как обычно, удалились.

— Наконец-то вы вернулись, — промолвила королева.

Джордж приложил палец к губам и подошел к двери, чтобы убедиться, не подслушивает ли за нею кто-нибудь из слуг. Убедившись, что там никого нет, он вернулся и склонился в почтительном поклоне.

— Да, ваше величество, вернулся и, хвала небесам, принес добрые вести.

— Рассказывайте же скорей! — воскликнула королева. — Ведь жизнь в этом замке — подлинный ад. Вы, наверное, знаете, что они приезжали и заставили меня подписать отречение?

— Да, ваше величество, — отвечал Дуглас, — но мы также знаем, что только насильем можно было вырвать у вас подпись, и наша преданность вашему величеству лишь возросла, если такое возможно.

— Но что вам удалось сделать?

— Сейтоны и Гамильтоны, которые, как вашему величеству известно, являются самыми верными вашими слугами, — Мария с улыбкой повернулась к Мэри Сейтон и сжала ей руку, — уже собрали свои дружины и по первому сигналу готовы выступить, но поскольку их объединенных сил все равно недостаточно, чтобы дать сражение, мы направимся напрямик в Дамбартон, комендант которого — наш союзник. Положение и стены этой крепости позволяют нам продержаться против всей армии регента, пока все, кто остался вам верен, не придут на соединение с нами.

— Так, — произнесла королева, — мне ясно, что мы будем делать, когда выйдем отсюда, но как нам отсюда выйти?

— А вот тут вашему величеству придется призвать на помощь все свое мужество, доказательства которого вы неоднократно давали.

— Если речь идет только о мужестве и хладнокровии, — заметила королева, — то можете быть спокойны: и того, и другого у меня в достатке.

— Вот напильник, — сказал Джордж, вручая инструмент Мэри Сейтон, словно он считал, что королева не должна даже касаться его, — а вечером я принесу вашему величеству веревки, чтобы сделать лестницу. Окно это расположено на высоте не более двадцати футов, вы перепилите один из прутьев решетки; я заранее поднимусь к вам по лестнице, чтобы проверить, выдержит ли она вас. Я подкупил одного из солдат гарнизона, он откроет калитку, которую охраняет, и вы свободны.

— И когда же это произойдет? — спросила королева.

— Надо дожидаться, — ответил Дуглас, — во-первых, когда в Кинроссе у нас будет эскорт, достаточный, чтобы обеспечить безопасность вашего величества, а во-вторых, когда настанет черед Томаса Уордена нести ночную стражу

у дальней двери, до которой мы сможем добраться незамеченными.

— А как вы об этом узнаете? Вы останетесь в замке?

— Увы, нет, ваше величество, — сказал Джордж. — В замке я буду для вас бесполезен и даже опасен, но зато вне его смогу оказать вам действительную помощь.

— Как же вы узнаете, что пришел черед Томаса Уордена?

— Флюгер на северной башне будет направлен не по ветру, как должно было бы быть, а закреплен против ветра.

— А как же предупредят меня?

— На этот счет все предусмотрено. Огонь, который каждую ночь горит в домике на Кинросском холме, говорит вам, что друзья рядом, и когда вы захотите узнать, близок ли или, напротив, отодвигается час вашего освобождения, поставьте лампу на это окошко. В тот же миг огонь там исчезнет, а вы приложите руку к груди и считайте удары сердца: если прежде чем огонь там появится снова, вы насчитаете двадцать ударов, это означает, что ничего еще не решено; если только десять, значит, побег близок; если вы успеете сосчитать только до пяти, побег назначен на следующую ночь, но ежели огонь не поставят вновь на окно, знайте, — в эту ночь вы бежите. Сигналом вам послужит трижды повторенный крик совы в замке. Когда услышите его, бросайте веревочную лестницу в окно.

— О Дуглас, — воскликнула королева, — только вы могли так все придумать и устроить! Благодарю вас, благодарю!

И она протянула ему руку для поцелуя.

Яркий румянец залил щеки молодого человека, но в тот же миг он овладел собой, опустил на одно колено и, укрыв в душе любовь, в которой он всего лишь раз признался королеве и о которой обещал больше никогда ей не говорить, принял протянутую ему руку и поцеловал с такой почтительностью, что никто бы не увидел в этом поцелуе ничего, кроме свидетельства безграничной преданности.

Затем, отвесив глубокий поклон, он удалился, поскольку слишком долгое пребывание у королевы могло бы возбудить подозрения.

Когда наступил обед, Дуглас, как и обещал, принес моток веревок. Их оказалось недостаточно; в тот же вечер Мэри Сейтон опустила веревку из окна, и Джордж при-

вязал к ней еще один моток; об этом они заранее договорились, и проделано это было без всяких помех через час после возвращения охотников.

Наутро Джордж покинул замок.

Королева и Мэри Сейтон, не теряя времени, начали плести веревочную лестницу, и на третий день она уже была готова. В тот же вечер Мария, исполненная нетерпения и, пожалуй, скорей желая убедиться в неусыпности своих сторонников, чем узнать, скоро ли освобождение, поставила на окно лампу; в тот же миг, как и обещал Джордж Дуглас, огонь в домике на Кинросском холме исчез; королева приложила руку к сердцу и насчитала двадцать ударов, после чего свет снова появился; итак, все наготове, но срок еще не установлен.

В течение недели каждый вечер королева ставила на окно лампу и каждый раз насчитывала двадцать ударов сердца, но наконец в первый день следующей недели насчитала только десять ударов, на одиннадцатом свет снова появился.

Королева не поверила себе, решила, что ошиблась; она убрала лампу, а минут через пятнадцать вновь поставила ее на окно; незримый наблюдатель понял, что у него требуют подтверждения вести и убрал огонь. Мария принялась считать удары сердца, и хотя сейчас оно билось куда стремительней, на двенадцатом ударе на горизонте вновь загорелась звезда; никаких сомнений не оставалось: для побега все готово.

Ночью Мария не могла уснуть и готова была расплакаться от переполняющего ее чувства благодарности друзьям. Настало утро, и королева несколько раз переспрашивала Мэри Сейтон, действительно ли был обнадеживающий ответ, не приснился ли он ей. При каждом шуме она вздрагивала, ей чудилось, что план, от которого зависит ее свобода, раскрыт, а за завтраком и обедом она не осмеливалась поднять глаза на Уильяма Дугласа из страха прочесть на его лице, что все рухнуло.

Вечером королева вновь задала лампой вопрос, и ответ был тот же самый; ничего не изменилось, и маяк все так же сулил надежду.

В течение пяти дней он продолжал отвечать, что срок побега близок, но вечером шестого дня, едва королева досчитала до пяти, огонь появился снова. Королева ухва-

тилась за Мэри Сейтон: от радости и испуга она едва не лишилась чувств. Побег назначен на следующую ночь.

Королева повторила светом вопрос и получила тот же самый ответ; сомнений больше не было, все готово, и узницу вдруг охватил такой страх, что, если бы Мэри Сейтон вовремя не пододвинула стул, она упала бы в обморок; однако через несколько секунд она, как обычно, овладела собой и почувствовала себя сильной и решительной, как никогда.

До полуночи королева простояла у окна, не отрывая глаз от благословенного светоча; в конце концов, Мэри Сейтон заставила ее лечь и предложила, если ей не хочется спать, почитать стихи Ронсара или несколько глав из «Моря историй»¹. Однако Мария не хотела слушать ничего светского и попросила читать ей часослов, отвечая на каждую молитву так, как если бы она присутствовала на мессе, которую служит католический священник; к рассвету ее сморил сон, а изнемогавшая от усталости Мэри Сейтон заснула прямо в кресле, стоящем у изголовья королевской кровати.

Проснулась Мэри оттого, что кто-то дотронулся до ее плеча: то была королева, уже успевшая встать.

— Ты только посмотри, душечка, какой дивный день посылает нам Господь. Природа словно ожила. О, до чего же я буду счастлива, ощутив себя свободной среди этих долин и гор! Нет, право, небеса на нашей стороне.

— А я, ваше величество, предпочла бы погоду похуже, — ответила Мэри Сейтон, — и ночь потемней. Поверьте, сегодня нам будет способствовать не свет, а мрак.

— Знаешь, — сказала королева, — мы проверим, действительно ли Бог за нас. Если погода останется такой же, что ж, тогда ты права, и он нас покинул, но если небо затянется тучами — знаешь, душенька, что это будет значить? Это будет явное свидетельство того, что он покровительствует нам.

Мэри Сейтон с улыбкой кивнула в знак того, что она согласна с суеверными предположениями королевы, после чего та, будучи не в силах сидеть сложа руки, собрала оставшиеся у нее немногочисленные драгоценности и сложила их в шкатулку, подготовила к ночи черное платье,

¹ Сборник беллетризованных хроник испанского писателя Фернана Переса де Гусмана (ок. 1375-1378—1460), написанный в 1460 и опубликованный в 1512 г.

чтобы как можно меньше выделяться в темноте, наконец, покончив со всеми приготовлениями, уселась у окна, поглядывая то на озеро, то на, как всегда, безмолвный и словно необитаемый дом на Кинросском холме.

Настал час завтрака; королева была так счастлива, что встретила Уильяма Дугласа куда благожелательней, чем всегда, и пока длилась трапеза, с трудом удерживала себя, чтобы не вскочить, но Уильям Дуглас удачился, похоже, так и не заметив ее возбуждения.

Едва он вышел, Мария кинулась к окну: ей хотелось вдохнуть свежего воздуха, а кроме того, ее взгляд манили широкие просторы, которые скоро откроются перед ней; она подумала, что, вырвавшись на свободу, никогда не войдет ни в один дворец, а будет скитаться среди этих просторов. Но вскоре радость куда-то испарилась, и она почувствовала, как у нее тревожно сжимается сердце. Она поделилась тревогой с Мэри Сейтон, и девушка успокоила ее, но скорей из чувства долга, чем от убежденности.

Как ни медленно ползли часы, но время все-таки шло; после полудня по лазурному небу проплыли несколько облаков, и королева радостно показала на них своей подруге по заточению; Мэри Сейтон захлопала в ладоши, нет, не потому что исполнялось предчувствие Марии Стюарт — просто, чем темнее будет ночь, тем легче осуществить побег. Пока узницы следили за облаками, настала пора обеда — целых полчаса скованности и притворства, тем более тягостного, что Уильям Дуглас, видимо, в благодарность за утреннюю приветливость счел себя обязанным произнести несколько ничего не значащих любезностей, что вынудило королеву принять в разговоре чуть более живое участие, чем позволяло ее тревожное настроение; впрочем, Уильям Дуглас, кажется, не заметил, как и за завтраком, некоторой ее рассеянности.

Он вышел, и королева вновь бросилась к окну: час назад она видела несколько кудрявых облачков, а сейчас они затянули все небо, и оно уже было не лазоревым, а свинцовым. Итак, предчувствие королевы исполнилось. А дом на холме, еще видимый в сумерках, казался все таким же необитаемым.

Стало темно, и в домике, как обычно, загорелся огонь; королева поставила на окошко лампу, и огонь исчез. Мария напрасно ждала его появления, и это означало, что побег состоится ночью. Пробило восемь, потом девять, потом

десять. В десять сменилась стража; Мария Стюарт слышала, как под ее окном прошел караул, как удалялись и затихали его шаги; примерно с полчаса было тихо, и вдруг трижды прокричала сова. То был сигнал, о котором говорил Джордж Дуглас, сигнал, что настал решающий миг.

Как всегда в подобных обстоятельствах, королева вмиг обрела силы; знаком велел Мэри Сейтон убрать решетку и привязать веревочную лестницу, сама она задула свет, прошла в спальню и в темноте на ощупь стала искать шкатулку с немногими оставшимися драгоценностями; когда же она вернулась, в комнате уже был Джордж Дуглас.

— Все идет прекрасно, ваше величество, — сказал он. — Ваши друзья ждут вас на берегу озера, Томас Уорден стоит на карауле у двери, и Бог послал нам темную ночь.

Королева молча протянула ему руку; Джордж преклонил колено и склонился к ней, но когда коснулся губами, обнаружил, что рука Марии дрожит и холодна.

— Ваше величество, — умоляюще произнес он, — закливаю вас, соберите все свое мужество, не позволяйте, чтобы вами овладела слабость.

— Матерь Божья, заступница униженных, помоги нам, — прошептала королева.

— Лучше мысленно обратитесь к своим царственным предкам, — посоветовал ей Джордж. — Сейчас вам необходимо не христианское смирение, но сила и решительность королевы.

— О Дуглас! — с тоской воскликнула Мария. — Ворожей предсказал мне, что я умру насильственной смертью в тюрьме. Неужели настал час, когда исполнится это предсказание?

— Быть может, — ответил Дуглас. — Но лучше погибнуть королевой, чем жить в этом замке оклеветанной узницей.

— Вы правы, Джордж. Простите мне это чисто женское проявление слабодушия, — промолвила королева и после секундной паузы решительно произнесла: — Идемте!

Джордж подошел к окну, проверил, прочно ли привязана лестница, залез на подоконник и, держась одной рукой за стержень решетки, протянул вторую королеве; она, столь же отважная, сколь недавно была боязлива, встала на табурет и уже поставила одну ногу на подоконник, как вдруг у подножья башни раздался крик:

— Кто идет?

Королева тотчас отпрянула — и инстинктивно, и потому что Джордж оттолкнул ее; сам же он свесился из окна, чтобы посмотреть, откуда исходит этот возглас, повторившийся второй и третий раз; дважды он оставался безответным, но после третьего ему ответил грохот и вспышка выстрела; тотчас же часовой на башне затрубил в рог, а другой зазвонил в колокол, и по всему замку послышались крики:

— К оружию! К оружию! Измена!

— Точно, измена! — воскликнул Джордж Дуглас, спрыгнув в комнату. — Презренный Уорден предал нас. Но не отчаивайтесь, ваше величество, — обратился он к неподвижно застывшей, точно статуя, королеве, — что бы ни случилось, в замке у вас остается еще один друг, малыш Дуглас.

Только он произнес это, дверь распахнулась, и в комнату ворвались Уильям Дуглас, леди Лохливен, слуги с факелами и вооруженные воины.

— Ну, теперь вы мне верите, матушка? — воскликнул Уильям Дуглас и указал на брата, прикрывающего своим телом Марию Стюарт. — Смотрите!

Старая леди от возмущения не могла произнести ни слова. Наконец, обретя дар речи, она вскричала:

— Отвечайте, Джордж Дуглас, и немедля смойте обвинение, что бременем лежит на вашей чести. Скажите всего-навсего: «Дуглас всегда верен своему долгу», — этого мне будет достаточно.

— Да, матушка, Дуглас... — подхватил Уильям. — Но этот-то не Дуглас.

— Господи, ниспошли мне на старости сил, — воскликнула леди Лохливен, — чтобы перенести горе, что причинил мне один сын, и оскорбление, какое нанес другой! О женщина, рожденная под роковою звездой, — обратилась она к Марии Стюарт, — когда же ты перестанешь быть в руках дьявола орудием пагубы и смерти всякого, кто приблизится к тебе? О древний замок Лохливен, будь проклят тот час, когда эта колдунья переступила твой порог!

— Не смейте так говорить, матушка! — крикнул ей Джордж. — Напротив, да будет благословен тот миг, доказавший, что если есть Дугласы, не помнящие своего долга перед государем, то существуют и другие, которые никогда его не забывали!

— Ах, Дуглас, Дуглас, — пробормотала Мария. — Разве не я сказала вам эти слова?

— А вы помните, что я вам ответил на это, ваше величество? — спросил Джордж. — Что умереть за ваше величество — почетный долг каждого подданного, преданного вам.

— Так умри же! — вскричал Уильям Дуглас и с поднятой шпагой бросился на брата, но тот, стремительно отскочив назад, тоже обнажил шпагу и приготовился защищаться. Но в этот миг между братьями встала Мария Стюарт.

— Лорд Дуглас, ни шагу дальше! — приказала она, — Джордж, вложите шпагу в ножны, а если вы намерены воспользоваться ею этим вечером, то разрешаю вам применить ее только для того, чтобы выйти отсюда, и против всех, кроме вашего брата. Помните, мне еще нужна ваша жизнь, берегите ее.

— Моя жизнь, рука и честь принадлежат вам, ваше величество, и раз вы мне приказали, я сохраню ее для вас.

С этими словами он ринулся к двери с такой яростью и решительностью, что никто не осмелился задержать его.

— Назад! — кричал он слугам, загораживающим выход. — Прочь с дороги молодого Дугласа, или горе вам!

— Задержите его! — закричал Уильям. — Взять его живым или мертвым! Застрелите его! Убейте, как пса!

Несколько солдат, не смея ослушаться Уильяма, неспешно побежали вдогонку за Джорджем. Раздались несколько выстрелов, потом чей-то голос прокричал, что Джордж Дуглас прыгнул в озеро.

— Сбежал! — воскликнул Уильям.

Мария Стюарт с облегчением вздохнула, а старая леди Лохливен воздела руки к небу.

— Что ж, — пробормотал Уильям, — благодарите небо за то, что вашему сыну удалось сбежать. Бегство его покроет позором наш дом, потому что теперь все станут считать нас сообщниками предателя.

— Сжальтесь надо мною, Уильям, — ломая руки, простонала леди Лохливен, — сжальтесь над своей старухой-матерью! Или вы не видите, что я умираю?

И она начала оседать, но управитель и один из слуг подхватили ее.

— Мне кажется, милорд, — заявила Мэри Сейтон, — что сейчас ваша матушка нуждается в заботах не меньше,

чем ее величество в отдыхе. Не полагаете ли вы, что вам пора удалиться отсюда?

— Ну да, чтобы дать вам возможность сплести новую паутину и поймать в нее какую-нибудь новую муху? — язвительно усмехнулся Уильям Дуглас. — Ладно, продолжайте, но только теперь вы убедитесь, что провести Уильяма Дугласа не так-то просто. Делайте свое дело, а я буду делать свое.

Он повернулся к слугам и приказал:

— Пошли отсюда, и вы, матушка, тоже идите.

Комната опустела, причем Уильям Дуглас вышел последним, поддерживая леди Лохливен, и королева услышала, как со скрежетом запираются двери ее покоев.

Как только Мария осталась одна, уверенная, что никто ее не видит и не слышит, силы оставили ее, и, рухнув в кресло, она разразилась рыданиями.

Королеве понадобилось все ее мужество, чтобы сдерживаться, и это мужество ей придавало присутствие врагов, но едва они ушли, ее положение предстало перед нею во всей своей безысходности. Она лишена трона, заключена в этом замке-тюрьме, и единственный ее друг, единственная и последняя ниточка, связывающая ее прошлые надежды с надеждами на будущее, — мальчик, которого она даже толком не видела. Что осталось Марии Стюарт от двух ее корон, от власти в двух королевствах? Имя, и только. Имя, которое, будь она на свободе, привело бы в движение всю Шотландию, но теперь оно понемногу изгладится из сердец ее сторонников, и забвение, возможно, уже при ее жизни, укроет его, словно гробовым саваном. Подобная мысль была невыносима для столь возвышенной души, какая была у Марии Стюарт, и для всего ее существа, подобного цветку, которому, чтобы жить, необходимы, прежде всего, воздух, свет и солнце.

К счастью, с нею была самая любимая из четырех Марий, самая верная, всегда старающаяся поддержать ее и утешить, но на сей раз это было нелегко: королева позволяла Мэри говорить все, что угодно, отвечая на ее слова лишь всхлипываниями и слезами. И вдруг, случайно взглянув в окно, к которому она пододвинула кресло королевы, Мэри воскликнула:

— Свет, ваше величество, свет!

Она схватила Марию за руку, подтащила к окну и указала на огонек, символ надежды, горящий среди ночи

на вершине холма Кинросс. Ошибиться было невозможно, потому что на небе не было ни единой звезды.

— Благодарю тебя, Господи! — упав на колени и благодарно воздев руки к небу, промолвила королева. — Дуглас спасся, и мои друзья бодрствуют.

После жаркой молитвы, несколько вернувшей ей силы, королева прошла в спальню и, раздираемая противоречивыми чувствами, уснула беспокойным сном, а неутомимая Мэри Сейтон оберегала его до утра.

Уильям Дуглас объявил королеве: с этого дня она становится настоящей узницей и спускаться в сад ей дозволяется только под присмотром двух стражей; это развлечение при таких стеснениях стало для нее совершенно невыносимым, превратилось в пытку, и она предпочла отказаться от него. Закрывшись в своих покоях, Мария находила даже какое-то горькое и горделивое удовлетворение в чрезмерности своих невзгод.

Через неделю после рассказанных нами событий королева и Мэри Сейтон сидели вечером за столом и вышивали; замковый колокол пробил девять, и вдруг брошенный со двора камень, пролетев между прутьями решетки, разбил стекло и упал на пол комнаты. Королева сочла, что это либо случайность, либо намеренное оскорбление, но Мэри Сейтон, взглянув на камень, обнаружила, что он завернут в лист бумаги, и подняла его. Оказывается, это было письмо Джорджа Дугласа, и в нем он писал:

«Ваше величество повелели мне жить, я исполнил Ваше повеление, и по свету на Кинросском холме Ваше величество может убедиться, что ее друзья на посту. Однако, чтобы не возбуждать подозрений, воины, собранные в ту роковую ночь, с рассветом разошлись и сойдутся вновь, только когда появится возможность для новой попытки. Увы, предпринять эту попытку сейчас, когда тюремщики настороже, значило бы погубить Ваше величество. Дайте же им, Ваше величество, принять все меры предосторожности и успокоиться в уверенности, будто ничто им не грозит, а мы тем временем будем самоотверженно продолжать наш труд.

Спокойствие и мужество!»

— О, что за верное и отважное сердце! — воскликнула Мария. — В несчастье он стократ преданней, чем другие в дни успехов! Да, я наберусь мужества, и пока будет

гореть этот огонек, меня не оставит надежда на освобождение.

С получением этого письма, к королеве вернулось былое мужество; у нее появилась возможность общаться с Джорджем через малыша Дугласа, поскольку, вне всякого сомнения, это он бросил камень в окно. Она тут же написала Джорджу ответное письмо, в котором благодарила всех лордов, своих сторонников, и умоляла их во имя данной ими клятвы не охладеть в своей верности, обещая с терпением и мужеством, о каком они просят ее, ждать результатов их стараний.

Королева не ошиблась: на завтра, когда она стояла у окошка, малыш Дуглас пришел к подножию башни; ни разу даже не взглянув на окно, он уселся прямо под ним и стал плести силки для ловли птиц. Королева проверила, не видит ли кто ее, и, убедившись, что во дворе пусто, бросила вниз камень, который был завернут в письме. Поначалу она перепугалась, уж не совершила ли непоправимую ошибку, потому что малыш Дуглас даже не обернулся на шум и лишь через несколько секунд, в течение которых сердце королевы сжималось от непередаваемого страха, равнодушно, как бы что-то ища, протянул руку, взял камень, неторопливо, не поднимая головы и не подавая никаких знаков той, что бросила его, сунул письмо в карман, после чего с полнейшим спокойствием продолжал заниматься силками. Это хладнокровие, невероятное для мальчика таких лет, убедили королеву, что она может вполне положиться на малыша Дугласа.

С этого дня к королеве вернулась надежда, однако проходили дни, недели, месяцы, а в ее положении ничто не менялось. Настала зима; долины и горы покрыл снег и по озеру, имея узница возможность выйти за ворота, она могла бы пешком дойти до берега, однако за все это время не было ни одного письма с утешительными вестями, что сторонники продолжают труды ради ее освобождения, и только каждую ночь неизменный огонек давал ей знак, что верный друг бодрствует.

Но вот природа начала просыпаться ото сна, подобного смерти, робкие лучи солнца стали прорываться сквозь тучи, укрывающие сумрачное небо Шотландии, снег стаял, озеро освободилось от ледяного покрова, раскрывались первые почки, появилась первая зелень, вся природа выходила из тюремного оцепенения, радуясь наступлению весны, и

только Мария с горькой скорбью видела, что одна она осуждена на вечную зиму.

Наконец однажды вечером ей показалось, что с огоньком происходит что-то непонятное: он как бы колеблется; она столько раз вопрошала эту мерцающую звездочку и столько раз отсчитывала по своему сердцу двадцать ударов, что уже давно во избежание разочарований перестала задавать неизменный вопрос, но сейчас решила сделать еще одну попытку и почти без всякой надежды поставила на окно лампу и тут же убрала ее; тотчас же огонек на Кинросском холме исчез и появился только при одиннадцатом ударе сердца. И тотчас же по какому-то странному совпадению в комнату через окно влетел камень и упал к ногам Мэри Сейтон. Как и в прошлый раз, он был завернут в письмо Джорджа. Королева взяла его из рук Мэри, развернула и прочла:

«Срок близится, Ваши сторонники соединились. Соберите все свое мужество.

Завтра в одиннадцать вечера опустите из окна веревку и поднимите груз, который будет привязан к ней».

В покоях королевы остался большой кусок веревки, из которой сделали лестницу, унесенную стражами после неудачного побега; на следующий день в назначенный час узницы оставили лампу в спальне, чтобы не выдать себя светом, и Мэри Сейтон спустила из окна веревку. Через несколько секунд она почувствовала, что к ней что-то привязали, стала тянуть вверх и подняла большой узел, но протащить его в окно не удавалось, так как мешала решетка. На помощь к ней пришла королева, узел развязали, и находящиеся в нем предметы легко пролезли между прутьями. Узницы перенесли их в спальню, заперлись изнутри и стали рассматривать. То были два полных комплекта мужской одежды, какую носили слуги в доме Дугласов. Королева была в полном недоумении, но тут обнаружила приколотое к вороту одного полукафтана письмо. Она нетерпеливо развернула его и стала читать:

«Только отвага поможет Вашему величеству вновь обрести свободу. Прочтите это письмо и в точности следуйте содержащимся в нем инструкциям, если Ваше величество соизволит их принять.

Ключи от замка весь день висят на поясе управителя; после сигнала к гашению огня он, обойдя все посты и убедившись, что все ворота заперты, передает ключи Уильяму Дугласу, который, пока бодрствует, носит их на перевязи шпаги, а когда ложится спать, кладет себе под изголовье. Уже пять месяцев малыш Дуглас, давно присматривавшийся, как работает в кузнице замковый оружейник, занят изготовлѐнием поддельных ключей, похожих на подлинные, чтобы при подмене их Уильям Дуглас не сразу обнаружил обман. Вчера малыш Дуглас сделал последний ключ.

При первой же благоприятной возможности, о какой Ааше величество узнает, подавая ежевечерние сигналы светом, и к каковой Вашему величеству надо быть готовой, малыш Дуглас подменит настоящие ключи поддельными, войдет в покои Вашего величества, причем Вашему величеству, равно как и мисс Мэри Сейтон, надо быть уже одетыми в мужские костюмы, и проведет путем, наиболее безопасным и благоприятным для побега к лодке, которая уже будет ждать Ваше величество.

Начиная с сегодняшнего дня каждый вечер Вашему величеству и мисс Мэри Сейтон следует облачаться в мужские костюмы и не снимать их с девяти вечера до полуночи, дабы свыкнуться с ними. Помимо того, может случиться, что у малыша Дугласа не будет времени предупредить и он придет внезапно, а надо, чтобы ваше величество и мисс Мэри Сейтон были готовы к побегу.

Одежда должна быть впору Вашему величеству и мисс Сейтон, поскольку мерку снимали с мисс Мэри Флеминг и мисс Мэри Ливингстон, так как они подходящего роста.

Нет смысла советовать Вашему величеству призвать в нынешних крайних обстоятельствах на помощь все Ваше хладнокровие и мужество, каковые Ваше величество неоднократно проявляли в иных условиях».

Обе узницы были ошеломлены дерзостью предложенного плана, и поначалу вид у них был подавленный, так как они не верили в его осуществимость. Тем не менее они переоделись, во-первых, исполняя совет Джорджа, а во-вторых, чтобы посмотреть, действительно ли впору им эта одежда.

Каждый вечер королева, исполняя указание Джорджа, подавала ему светом вопрошающий сигнал, и так продолжалось целый месяц; каждый вечер, хотя световой ответ никаких перемен не сулил, они с Мэри Сейтон надевали, как было уговорено, мужские костюмы и в конце концов свыклись с ними не меньше, чем с платьем, приличествующим их полу.

Второго мая 1568 г. королеву разбудил звук рога; встревоженная, желая узнать, что он предвещает, она накинула халат и подбежала к окну, где к ней тотчас же присоединилась Мэри Сейтон. На берегу стояла с развернутым знаменем Дугласов довольно большая группа всадников, и к ним из замка наперегонки неслись три лодки.

Все это весьма обеспокоило королеву: в нынешних обстоятельствах любые, самые ничтожные перемены в замке наполняли ее страхом, так как могли разрушить все планы. Страх ее еще больше усилился, когда лодки подплыли ближе: в самой большой королева увидела лорда Дугласа, мужа леди Лохливен и отца Уильяма и Джорджа. Старый воин, охранявший границы на севере, решил навестить свое родовое гнездо, в котором не был уже года три.

Для замка Лохливен то было великое событие. Через несколько минут после прибытия лодок Мария Стюарт услышала шаги на лестнице; вошел старик-управитель и объявил королеве о приезде своего господина, а поскольку приезд хозяина — это праздник для всех обитателей замка, он передал ей приглашение на пир в ознаменование этого замечательного события, но королева, то ли послушавшись предчувствия, то ли из неприязни отказалась принять в нем участие.

Весь день то бил колокол, то трубил рог; лорд Дуглас, как и подобает подлинному феодальному сеньеру, путешествовал со свитой, по численности не уступающей монаршей. Всюду взгляд наталкивался на незнакомых воинов и слуг, они так и сновали под окнами королевы; правда, и слуги, и конюхи носили одежду в точности такую же, что была послана королеве и Мэри Сейтон.

Мария с тревогой ждала ночи. Вчера она подавала знак лампой, и в ответ огонь появился на одиннадцатом ударе сердца, что означало близость побега, но сегодня она опасалась, что приезд лорда Дугласа все спутает и сигнал оповестит ее, что все откладывается. Потому едва на

Кинросском холме зажегся огонь, Мария Стюарт поставила на окошко лампу и с непередаваемым страхом начала считать удары сердца. Страх ее перешел все пределы, когда в счете она перешла за пятнадцать. Она прекратила считать и машинально бросила взгляд туда, где должен был снова появиться огонек. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что он не появляется и что даже через полчаса окно все так же остается темным. Королева повторила сигнал, но не получила никакого ответа. Итак, побег назначен на эту ночь.

Королева и Мэри Сейтон до такой степени не ожидали этого, что даже, вопреки обыкновению, не надели мужское платье. Они стремглав бросились в спальню, заперли дверь и спешно стали переодеваться. Только-только они закончили, послышался скрежет ключа, поворачивающегося в замке. Мэри мгновенно задула лампу. Послышались шаги у дверей. Женщины прижались друг к другу, ноги у обеих стали ватными. Кто-то скребся в дверь. Королева спросила, кто там, и услышала голос малыша Дугласа, который произнес две первых строчки старинной баллады:

Дуглас, Дуглас,
Любящий и верный.

Мария тотчас же открыла: это был пароль, о котором они условились с Джорджем Дугласом.

У мальчика не было фонаря. Он протянул руку и нашел ладонь королевы; при свете звезд Мария Стюарт увидела, как он опускается на одно колено, и тотчас же почувствовала прикосновение его губ к пальцам.

— Ваше величество готовы следовать за мной? — поднявшись, спросил он полушепотом.

— Да, мой мальчик, — ответила королева. — Но неужели все произойдет сегодня ночью?

— С позволения вашего величества, да.

— Значит, все подготовлено?

— Все.

— И что нужно делать?

— Следовать за мной.

— О Господи, смилуйся над нами! — воскликнула Мария Стюарт и стала тихо молиться, а Мэри в это время пошла взять шкатулку с драгоценностями. Закончив молиться, королева сказала:

— Я готова. А ты, душечка?

— Я тоже, — ответила Мэри Сейтон.

— Тогда идемте, — сказал малыш Дуглас.

Узницы последовали за мальчиком. Королева шла первой, а Мэри Сейтон за ней. Юный проводник старательно запер дверь, чтобы стража, если она придет проверять, не заподозрила ничего худого. После этого они начали спускаться по винтовой лестнице. Но не дошли они и до половины ее, как услышали шум, доносящийся из пиршественного зала: взрывы хохота, неясные голоса и звон бокалов. Королева положила руку на плечо малыша Дугласа и со страхом в голосе спросила:

— Куда ты ведешь нас?

— Из замка, — отвечал он.

— Но нам же придется пройти через парадный зал!

— Разумеется, и Джордж это предусмотрел. На вашем величестве одежда, какую носят слуги, так что никто не обратит на вас внимания.

— О Боже! — прошептала королева, опершись о стену.

— Смелей, ваше величество, не то мы погибли, — тихо бросила ей Мэри Сейтон.

— Ты права, — ответила королева. — Идем.

И они, предводительствуемые малышом Дугласом, продолжили спуск.

У подножья лестницы он остановился и подал королеве кувшин с вином.

— Ваше величество, — сказал он, — поставьте кувшин на правое плечо. Он скроет ваше лицо, и притом если вы будете что-то нести, то вызовете меньше подозрений. А вы, мисс Мэри, дайте мне вашу шкатулку, а сами возьмите на голову корзину с хлебами. Вот теперь хорошо. Ну как, вы чувствуете в себе силы?

— Да, — ответила королева.

— Да, — ответила Мэри Сейтон.

— Тогда следуйте за мной.

Через несколько секунд мальчик и беглянки были в передней, сообщающейся с парадным залом. Множество слуг занимались там своими делами, и ни один не обратил на них внимания, что несколько приободрило королеву. Да и пути назад уже не было: малыш Дуглас вошел в зал.

Пирующие сидели по обе стороны длинного стола, причем каждый занимал место, соответствующее его положению, и уже приступили к десерту, то есть к самой приятной части трапезы. Впрочем, зал был так огромен, что, хотя его освещали множество свечей и ламп, простран-

ство вдоль стен, где сновали десятка два слуг, тонуло в спасительном полумраке. Королева и Мэри Сейтон вмешались в толпу прислуги, слишком занятой своими обязанностями, чтобы обращать внимание на других, и решительно, не останавливаясь и не оглядываясь, пересекли зал и оказались в вестибюле. Королева поставила на пол кувшин, Мэри Сейтон корзину, и вслед за мальчиком они прошли по коридору, ведущему во двор. По двору как раз проходил патруль, но и он не обратил на них внимания.

Мальчик повел женщин к саду. Там им пришлось пережить несколько секунд страха, пока малыш Дуглас подбирал ключ, которым открывается дверь. Наконец ключ повернулся в замке, дверь распахнулась, и королева с Мэри Сейтон устремились в сад. Дверь мальчик запер.

Немножко пройдя, малыш Дуглас дал знак остановиться, положил на землю шкатулку и ключи, сложил рупором ладони у рта и трижды прокричал совой, причем никому и в голову не могло бы прийти, что этот крик издал человек, а не птица. Затем, взяв ключи и шкатулку, он на цыпочках пошел вперед, напряженно прислушиваясь. Дойдя до стены, он вновь остановился: после нескольких секунд тревожного ожидания прозвучал стон, а затем звук, похожий на звук падающего тела. А еще через несколько секунд, как бы отвечая крику совы, ухнул филин.

— Готово, — спокойно бросил малыш Дуглас. — Идемте.

— Что готово? — спросила королева. — И что это за стон раздался?

— У калитки, что выходит на озеро, стоял часовой, — сообщил мальчик, — но больше уже не стоит.

Королева почувствовала, как в жилах у нее застыла кровь, а на лбу выступил холодный пот. Она все поняла: какой-то бедняга из-за нее лишился жизни. Она пошатнулась и, чувствуя, как силы покидают ее, ухватилась за Мэри Сейтон. Дуглас подбирал ключ, и, слава Богу, второй из испробованных подошел к замку.

— Где королева? — раздался тихий голос человека, ожидавшего по ту сторону стены.

— Со мной, — ответил мальчик.

Джордж Дуглас, а это был он, проскользнул в сад, взял за руки королеву и Мэри Сейтон и вывел их из крепости. Пройдя через калитку, Мария Стюарт не смогла удержаться и осмотрелась вокруг: ей показалось, что у подножья

стены валяется какое-то бесформенное тело, и она содрогнулась.

— Не сожалейте о нем, — шепнул Джордж Дуглас, — его настигла небесная кара. Это тот самый бесчестный Уорден, что предал нас.

— Увы, — шепнула в ответ королева, — как ни велика была его вина, все равно он умер из-за меня.

— Когда речь идет о спасении вашего величества, стоит ли скорбеть из-за нескольких капель крови предателя? Но, тс-с! Сюда, Уильям, сюда. Пойдем вдоль стены, ее тень укроет нас. Лодка шагах в двадцати отсюда. Еще минута, и мы спасены.

Джордж еще быстрее повлек за собой обеих женщин, и вот они добрались до берега. Там ждала небольшая лодка, и четверо гребцов, лежавших на дне ее, увидев их приближение, поднялись, а один выскочил на сушу и подтянул за цепь лодку, чтобы королева и Мэри Сейтон могли войти в нее. Джордж усадил их на корме, мальчику велел сесть за руль, а сам оттолкнул лодку, и она заскользила по озеру.

— Вот теперь, — сказал он, — мы действительно спасены. Им легче будет поймать морскую ласточку в проливе Солуэй, чем догнать нас. Налегайте, ребята, на весла, неважно, что нас услышат: главное, подальше отплыть.

— Кто идет? — раздался крик со стены замка.

— Гребите! Гребите! — приказал Дуглас, садясь перед королевой.

— Лодка! Лодка! — крикнул тот же голос. — Эй, на лодке, суши весла!

Однако, видя, что лодка продолжает удаляться, часовой закричал:

— Измена! К оружию!

В тот же миг озеро осветила вспышка, раздался гром выстрела, и мимо просвистела пуля; королева приглушенно вскрикнула, хотя ей не угрожала никакая опасность: Джордж, как мы уже сказали, сидел перед нею и прикрывал ее своим телом.

Колокол забил тревогу, и было видно, как в комнатах замка, словно безумные, заметались огни.

— Налегай, ребята! — приказал Дуглас. — Гребите так, словно ваша жизнь зависит от каждого взмаха весла. Сейчас за нами вышлют погоню.

— Это им будет не так просто, как ты думаешь, Джордж, — заметил малыш Дуглас. — Я ведь запер за

собой все двери, а пока они оставшимися у них ключами откроют их, пройдет немало времени. Ну, а эти, — показал он похищенные ключи, — я дарю здешнему водяному Келпи и жалую его привратником замка Лохливен.

Как бы в ответ на шутку Уильяма прозвучал выстрел крепостной пушки, но так как было слишком темно, чтобы точно прицелиться, да и расстояние между крепостью и беглецами было изрядным, ядро проскакало по воде шагах в двадцати от лодки, а над озером пронеслись раскаты эха. Дуглас выхватил из-за пояса пистолет и, предупредив женщин, чтобы они не перепугались, выстрелил в воздух, но то была не бессмысленная бравада в ответ на обстрел из крепости, а сигнал отряду преданных друзей, что ждали на берегу королеву. Тотчас же, хотя ввиду близости деревни Кинросс это грозило опасностью, с берега донеслись радостные клики, и Уильям, повернув руль, направил лодку к тому месту, откуда они раздались. Джордж Дуглас подал руку королеве, и она, легко выпрыгнув на берег, упала на колени и вознесла молитву, благодаря Бога за счастливое освобождение.

Поднявшись, королева увидела, что ее окружали самые верные ее слуги: Гамильтон, Херрис, и Сейтон, отец Мэри. Счастливая Мария Стюарт простерла к ним руки, прерывающимся голосом стала благодарить их, и этот голос лучше всяких цветистых фраз доказал ее радость и признательность. Вдруг, обернувшись, она обнаружила печально стоящего в отдалении Джорджа Дугласа, бросилась к нему, взяла его за руку, подозвала малыша Уильяма, и, представляя их лордам, объявила:

— Милорды, вот мои освободители, люди, благодарность моя к которым, пока я жива, ничем не сможет быть возмещена.

— Ваше величество, — ответил ей Дуглас, — каждый из нас делал то, что должен был делать, и ежели кто-то рисковал больше других, то в этом его счастье. Но если мне будет дозволено высказать свое мнение, я скажу, что ваше величество не должно терять время на бесполезные речи.

— Дуглас прав, — подтвердил лорд Сейтон. — По коням!

Тотчас четыре гонца поскакали в четыре разные стороны, дабы оповестить друзей королевы, что ей удалось бежать, а к Марии Стюарт подвели коня, она села в седло,

и маленький отряд, состоящий едва из двух десятков человек, огибая деревню Кинросс, где стрельба, поднятая на острове, несомненно, вызвала тревогу, во весь опор помчался к замку Сейтона, в котором уже собрался гарнизон, вполне достаточный, чтобы защитить королеву.

Королева скакала всю ночь, и рядом с нею скакали — по одну сторону Джордж Дуглас, а по другую лорд Сейтон; на рассвете отряд остановился у ворот замка Уэст-Ниддри, принадлежавшего, как мы уже говорили, лорду Сейтону и расположенного в Западном Лотиане. Дуглас соскочил с коня, чтобы предложить руку Марии Стюарт, но лорд Сейтон объявил, что это привилегия хозяина дома. Королева взглядом утешила Дугласа и вступила в крепость.

— После такой усталости и стольких волнений, выпавших на долю вашего величества со вчерашнего утра, ваше величество нуждается в отдыхе, — сказал лорд Сейтон, проводив королеву в приготовленную для нее комнату, которая уже девять месяцев ждала ее. — Спокойно спите, ваше величество, и ни о чем не тревожьтесь. Если услышите шум, это значит прибыли друзья, которых мы ждем. Ну, а что касается врагов, вашему величеству нечего бояться: здесь замок Сейтон.

Королева вновь поблагодарила своих освободителей, в последний раз протянула Дугласу руку для поцелуя, поцеловала в лоб Уильяма и пожаловала его в свои пажы, после чего, следуя совету лорда Сейтона, прошла в спальню, куда Мэри не допустила служанок, объявив о своем исключительном праве оказать королеве услуги, бывшие ее обязанностью во время одиннадцатимесячного заточения в замке Лохливен.

Открыв глаза, Мария Стюарт поначалу решила, что ей снится один из тех снов, особенно мучительных для узников, оттого что, проснувшись, они вновь видят запертые двери и окна с решетками. И потому, не доверяя свидетельству чувств, королева, полуодетая, подбежала к окну. Двор был полон воинов, но эти воины были ее сторонники, съехавшиеся сюда при вести о ее побеге; она увидела знамена своих верных друзей — Сейтонов, Арброутов, Херрисов и Гамильтонов; едва она показалась в окне, все знамена склонились перед ней, и раздались крики: «Да здравствует Мария Шотландская! Да здравствует наша королева!» Не обращая внимания на неполноту туалета, прекрасная и целомудренная, охваченная волнением и

радостью, она ответила поклоном, и глаза ее наполнились слезами, однако на сей раз то были слезы радости. Вдруг королева спохватилась, что она не одета, и, залившись краской смущения, попятилась от окна.

И тут она ужаснулась — по причине весьма основательной для женщины: из замка Лохливен она бежала в костюме слуги дома Дугласов, и у неё не было ни времени, ни возможности захватить что-нибудь из женского платья. Не может же она и дальше ходить в мужском наряде. Она поделилась своей тревогой с Мэри Сейтон, но та вместо ответа распахнула шкафы, стоявшие в спальне королевы. В них были не только платья, сшитые по мерке, снятой с Мэри Флеминг, но и все прочие необходимые предметы женского туалета. Королева была в восторге.

— Я знала, душенька, — промолвила она, осматривая платья, ткани для которых были выбраны с самым отменным вкусом, — что твой отец — храбрый и доблестный рыцарь, но не могла даже предположить, что он так разбирается в нарядах. Мы назначим его хранителем нашего гардероба.

— Увы, ваше величество, вы заблуждаетесь, — с улыбкой отвечала Мэри Сейтон. — Мой отец приказал начищать до блеска все латы, наточить все мечи, развернуть все имеющиеся в замке знамена, он готов умереть за ваше величество, но ему и в голову не пришло бы предложить что-нибудь, кроме крыши над головой да своего плаща, чтобы уберечь вас от холода. Нет, это Дуглас все предусмотрел и подготовил — все вплоть до вашей любимой кобылы Розабеллы, которая с нетерпением ожидает в конюшне, когда, сев на нее, ваше величество совершит торжественный въезд в Эдинбург.

— Но как ему удалось ее заполучить? — удивилась Мария Стюарт. — Я-то думала, что при разделе моего нмущества Розабелла досталась красавице Элис, любимой султанше моего брата.

— Да, так оно и было, — подтвердила Мэри Сейтон. — И зная цену Розабеллы, ее держали за тысячей замков и запоров под присмотром целой армии конюхов, но Дуглас способен совершать чудеса, и, как я вам сказала, Розабелла ждет ваше величество.

— О благородный Дуглас! — со слезами на глазах прошептала королева и, словно разговаривая сама с собой, промолвила: — Таковую верность мы ничем не сможем

вознаградить. Другие будут счастливы, получив почести, должности, деньги, но для Дугласа все это ничего не значит.

— Полно, ваше величество, полно, — остановила ее Мэри Сейтон, — Бог платит долги королей, он и вознаградит Дугласа. А ваше величество ждут к завтраку. Надеюсь, ваше величество. — улыбнувшись, добавила она, — не сделает моему отцу афронта, какой вы вчера сделали лорду Дугласу, отказавшись прийти на пир в честь его приезда?

— И правильно, полагаю, сделала, — заметила Мария. — Но ты права, душенька, хватит грустных мыслей. Вот станем снова королевой, и тогда подумаем, что можно сделать для Дугласа.

Королева оделась и сошла вниз. Как сообщила Мэри Сейтон, все самые могущественные лорды, ее сторонники, уже собрались в замке и ждали в парадном зале. Ее появление было встречено восторженными кликами, и она села за стол, имея по правую руку лорда Сейтона, а по левую Дугласа; за креслом у нее стоял малыш Уильям, приступивший с этого дня к исполнению своих обязанностей пажа.

Утром следующего дня королеву разбудили звуки труб и рогов: вчера было договорено, что сегодня все отправятся к Гамильтонам, где будут ждать прибытия новых подкреплений. Королева надела изящную амазонку и вскоре верхом на Розабелле выехала к своим защитникам. Зазвучали радостные возгласы, все восхищались ее красотой, грацией и отвагой. Мария Стюарт снова стала собой и ощущала, что к ней вернулась та волшебная власть, которой она покоряла всех, кто оказывался рядом с ней. Все вокруг были счастливы, но самым счастливым был, пожалуй, Уильям, у которого впервые в жизни появился такой красивый наряд и такая великолепная лошадь.

В Гамильтоне, куда королева прибыла в тот же вечер, ее ожидали около трех тысяч человек, а за ночь ее армия увеличилась до шести тысяч. В среду 2 мая она была узницей, ее единственным другом в тюрьме был мальчик, единственным средством сообщения со своими сторонниками — мерцающий, зыбкий свет лампы, и вот спустя три дня, в субботу, она была не только свободна, но и стояла во главе могущественной конфедерации, в которую входили владетели девяти графств, восемь лордов, девять епи-

скопов, множество баронов и дворян, славящихся храбростью в целой Шотландии.

Наиболее благоразумные из окружения королевы советовали запереться в крепости Дамбартон, считавшейся неприступной, и дать время всем сторонникам, как бы далеко они ни были рассеяны, соединиться с основными силами; командовать походом было доверено Аргайлу, и 11 мая королева выступила во главе десятитысячной армии.

Мерри пребывал в Глазго, когда пришла весть о бегстве королевы; город был хорошо укреплен, он решил держаться в нем и призвал к себе самых храбрых и самых верных своих сторонников. Керколди Грейнджский, Мортон Линдси Байрский, лорд Лохливен и Уильям Дуглас поспешили на его зов, и у них собралось шесть тысяч самого лучшего войска в королевстве; Рутвен же тем временем вел рекрутский набор к графствам Бервик и Ангус и должен был вскоре присоединиться к ним.

На рассвете 13 мая Мортон занял деревню Ленгсайд, через которую королеве нужно было пройти, чтобы попасть в Дамбартон. Известие о том, что деревня занята, королева получила, когда обе армии были в шести милях друг от друга. Первым побуждением Марии было попытаться уклониться от сражения; ей вспомнилась битва при Карберри-Хилл, в результате которой она была разлучена с Босуэлом и увезена в Эдинбург; она высказала это свое мнение, и его поддержал Джордж Дуглас, который в черном панцире без герба неизменно ехал рядом с королевой.

— Уклониться от сражения! — возмутился лорд Сейтон, не смея возразить королеве и обращаясь к Дугласу, словно предложение высказал он. — Возможно, нам и следовало бы так поступить, будь нас один против десяти, но сейчас, когда на двух неприятелей приходится трое наших воинов, мы этого ни за что не станем делать. Вы, мой юный друг, — с некоторым презрением продолжал он, — высказываете весьма странные предложения, видимо, забыв, что вы из Дугласов и разговариваете с Сейтоном.

— Милорд, — спокойно отвечал Джордж, — если бы речь шла только о жизни Сейтонов или Дугласов, можете быть уверены, я с не меньшей решительностью, чем вы, готов был бы вступить в бой, будь то один против десяти или трое против двоих, но сейчас мы отвечаем за жизнь, которая для Шотландии стократ ценней, чем жизнь всех

Дугласов и Сейтонов вместе взятых. Так что мое мнение — уклониться от битвы.

— Сражаться! Сражаться! — закричали остальные лорды.

— Вы слышите, ваше величество? — обратился лорд Сейтон к Марии Стюарт. — Мне кажется, противиться столь единодушному мнению было бы опасно. В Шотландии есть поговорка: самое благоразумное — это храбрость.

— Но разве вы не слышали, что регент занял выгодную позицию? — осведомилась королева.

— Борзая гонит зайца и по холмам, и по равнине. И где бы он ни был, мы затравим его, — ответил Сейтон.

— Что ж, пусть будет, по-вашему, милорды. Пусть никто не скажет, что Мария Стюарт заставила вложить в ножны мечи, которые были обнажены, чтобы защитить ее.

Затем она обратилась к Дугласу:

— Джордж, отберите двадцать человек для моей охраны и примите над ними команду. Вы останетесь при мне.

Джордж поклонился, выбрал два десятка самых храбрых воинов, окружил ими королеву, а сам занял место во главе их, после чего армии был отдан приказ двигаться дальше. Через два часа авангард увидел неприятеля и остановился, вскоре к нему подтянулось остальное войско.

Воины королевы выстроились в линию, параллельную городу Глазго, а холмы, возвышающиеся перед ними, были заняты неприятельской армией, над которой, как и над армией Марии Стюарт, развевались знамена Шотландского королевства. По другую сторону, на противоположном склоне, находилась деревня Ленгсайд, окруженная огороженными выгонами и садами. Дорога, ведущая к ней и следующая всем неровностям рельефа, в одном месте так сужалась, что там с трудом могли пройти бок о бок два человека, затем чуть дальше она спускалась в овраг, за которым разделялась на две: одна поднималась к Ленгсайду, а вторая вела в Глазго.

Оглядев местность, граф Аргайл мгновенно понял, сколь важно занять деревню, и приказал лорду Сейтону скакать в карьер и взять ее прежде неприятеля, который, несомненно, сделал тот же вывод, что и командующий армией королевы, так как с той стороны тоже был направлен к деревне большой отряд кавалерии.

Лорд Сейтон собрал тотчас своих воинов, но пока они выстраивались вокруг его знамени, лорд Арброут выхватил меч и подскакал к графу Аргайлу.

— Милорд, — объявил он, — вы нанесли мне обиду, поручив лорду Сейтону занять деревню. Эта честь принадлежит мне как командующему авангардом. Я требую, чтобы вы сообразовали возвратить мне эту мою привилегию.

— Я получил приказ занять ее, и я ее займу! — заявил Сейтон.

— Вполне возможно, но только после меня! — ответил лорд Арброут.

— Нет, прежде вас и прежде всех Гамильтонов, сколько бы их ни было на свете! — воскликнул Сейтон и пустил коня в галоп, устремляясь к теснине, где сужалась дорога. — Сент-Беннет, и вперед!

— За мной, мои воины! — вскричал лорд Арброут, скача туда же. — Бог и королева!

Оба отряда в беспорядке понеслись и столкнулись в теснине, где, как мы упомянули, едва могли пройти бок о бок два человека. Произошла чудовищная давка, и битва началась со схватки между друзьями, которые должны были объединиться против общего врага. Наконец оба отряда, оставив несколько трупов, задавленных, а может быть и погибших от рук товарищей по оружию, пробились сквозь теснину и в беспорядке скатились в овраг. Но в этой схватке Сейтон и Арброут потеряли драгоценное время, и отряд, направленный Мерри, вошел в деревню прежде них, так что теперь ее нужно было не занять, а отбить.

Аргайл, все больше понимая важность деревни и видя, что именно за нее пойдет главное сражение, тотчас же направился туда с основными силами армии, оставив в резерве две тысячи человек и велел им ждать сигнала, когда вступить в бой. Но то ли командующий резервом не понял приказа, то ли ему захотелось отличиться перед королевой, во всяком случае, едва корпус Аргайла скрылся в овраге, поблизости от которого уже шел бой между Керколди Грейнджским и Мортонем, с одной стороны, и Арброутом и Сейтоном, с другой, он, не слушая криков Марии Стюарт, вместе со всеми своими людьми во весь опор помчался туда, и королева осталась лишь с двумя десятками отобранных Дугласом телохранителей. Джордж тяжело вздохнул.

— Увы, — промолвила королева, слышавшая его вздох, — я не воин, но мне кажется, мы скверно начали сражение.

— Чего вы хотите? — ответил Дуглас. — У нас у всех, от первых до последних, кружится голова, и все наши люди ведут себя сегодня, как безумцы или как дети.

— Победа! Победа! — закричала королева. — Враги бьют отступление. Я вижу знамена Сейтона и Арброута, развевающиеся в деревне. О мои отважные лорды! — и она захлопала в ладоши. — Победа!

Но она умолкла, увидев, как выдвигается неприятельский отряд, чтобы ударить во фланг победителям.

— Это ничего, — успокоил ее Дуглас. — У них там только кавалерия, так что особенно опасаться нечего, и к тому же граф Аргайл подоспеет вовремя, чтобы поддержать наших.

— Джордж! — обратился к нему Уильям.

— Да?

— Ты видишь?

Мальчик показал на скачущий неприятельский отряд.

— Что?

— За спиной у каждого всадника сидит аркебузир, так что отряд вдвое больше чем кажется.

— Клянусь душой, ты прав. У тебя зоркие глаза. Эй, кто-нибудь! Скачите во весь опор к графу Аргайлу и предупредите его!

— Я! Я! — закричал Уильям. — Я первый их заметил и имею право сам доставить донесение!

— Ладно, мой мальчик, скачи, — приказал ему Дуглас, — и да хранит тебя Бог.

Уильям умчался с быстротой молнии, не слыша или делая вид, что не слышит, как его зовет королева. Он проскакал через сужение дороги и скрылся в язине как раз тогда, когда Аргайл вышел из нее и пришел на помощь Сейтону и Арброуту. А в это время неприятельские пехотинцы соскочили с коней, выстроились и пошли краем оврага по тропкам, недоступным для кавалерии.

— Уильям прискачет слишком поздно! — воскликнул Джордж. — Но даже если он будет там вовремя, его сообщение ничего не изменит. О безрассудные, вот так мы всегда и проигрываем сражения!

— Что, сражение проиграно? — побледнев, осведомилась Мария.

— Нет, ваше величество! Хвала Богу, пока еще нет! — успокоил ее Дуглас. — Но мы поторопились ввязаться, и начало не слишком благоприятно для нас.

— А Уильям? — спросила Мария Стюарт.

— Сейчас он принимает первый свой бой. Если я не ошибаюсь, он должен быть как раз там, где аркебузиры ведут беглый огонь.

— Бедный мальчик! — воскликнула королева. — Если с ним что-нибудь случится, я никогда не утешусь.

— Увы, ваше величество, — промолвил Джордж, — боюсь, как бы первая его битва не оказалась и последней. Мне кажется, вон там скачет его конь без седока.

— О Боже, Боже! — со слезами на глазах воздела руки королева. — Неужто правда, что я несу гибель всем, кто приблизится ко мне?

Джордж не ошибся: это действительно была лошадь малыша Дугласа, она вернулась без всадника и вся покрытая кровью.

— Ваше величество, — обратился Джордж к королеве, — у нас тут не самая удачная позиция. Давайте поднимемся на холм, где расположен замок Крокстон, оттуда нам будет видно все поле сражения.

— Нет, только не туда! Только не туда! — с ужасом вскричала королева. — В этом замке я провела первые дни после свадьбы с Дарнли, он принесет мне несчастье.

— Хорошо, тогда к тем тиссам, — указал Джордж на возвышенность, расположенную рядом с первой. — Главное, не упустить ни одной подробности битвы. Вполне возможно, судьба вашего величества будет зависеть от одного ошибочного маневра или от одной потерянной минуты.

— Что ж, ведите меня, — согласилась королева, — отсюда я ничего не вижу. Каждый выстрел этих ужасных пушек отзывается у меня в сердце.

Но хотя возвышенность была расположена весьма удобно и с ее вершины открывался вид на все поле сражения, залпы артиллерии и огонь аркебуз покрыли его таким дымом, что невозможно было ничего различить, кроме перемешавшихся людских масс. Около часу длилось ожесточенное сражение, и вот наконец по краям этого покрытого туманом моря показались первые разбегающиеся во все стороны воины, которых преследовали победители. Однако на таком большом расстоянии невозможно было

определить, кто выиграл и кто проиграл сражение, и знамена ничего не могли прояснить: над обеими армиями развевались знамена Шотландского королевства.

В это время с холмов Глазго стали спускаться остатки резерва армии Мерри; они мчались во весь опор, спеша вступить в бой, но целью этого маневра могла быть как попытка прийти на помощь побежденным, так и стремление завершить разгром противника. Однако вскорости все сомнения рассеялись: резерв принялся преследовать отступающих, что привело к еще большему смятению в их рядах. Итак, армия королевы потерпела поражение. И тут из оврага выскочили несколько всадников и, нахлестывая коней, помчались к холму, где стояла королева. Дуглас понял, что это враги.

— Спасайтесь, ваше величество! — воскликнул он. — Бегите, не теряя ни секунды, потому что за этими следуют другие. Скачите к дороге, а я задержу их тут. А вы, — обратился он к телохранителям, — полягте все до единого, но не позволяйте пленить вашу государыню.

— Джордж! Джордж! — кричала королева, не трогаясь с места. Но Джордж уже мчался со всей стремительностью, на какую был способен его конь, и с быстротой молнии доскакал до теснины, опередив врагов. Там он остановился, опустил копьё и приготовился сразиться с пятью неприятелями.

Королева не желала уезжать; словно окаменев, она стояла, не сводя глаз со схватки, разыгравшейся не более чем в пятистах шагах от нее. Вдруг, внимательней присмотревшись к врагам, она увидела на щите одного из них герб Дугласов — пылающее сердце. Поникнув головой, она горестно простонала:

— Дуглас против Дугласа! Брат против брата! Только этого последнего удара мне не доставало.

— Ваше величество! — кричали ей телохранители. — Нельзя терять ни секунды! Молодой владетель Дуглас не сможет долго продержаться против пятерых. Бежим! Бежим!

Двое из них схватили королевскую лошадь под уздцы и пустились галопом, и в этот момент Джордж, поразивший двоих врагов и ранивший третьего, рухнул наземь: острие копья вошло ему в сердце. Увидев, что он упал, королева испустила душераздирающий вопль и, словно он один останавливал ее, словно после его смерти ничто

больше ее здесь не удерживало, хлестнула Розабеллу плетью; кони у всего отряда были превосходные, и вскоре они были далеко от поля сражения.

Корблева проскакала без отдыха шестьдесят миль, не переставая лить слезы и вздыхать; миновав графства Ренфру и Эр, она достигла Дандреннанского аббатства и, уверенная, что, на худой конец, в ближайшее время опасность ей не грозит, приказала сделать привал. У ворот монастыря ее почтительно встретил настоятель.

— Отец мой, я несу вам горе и гибель, — обратилась к нему королева, соскочив с лошади.

— С радостью принимаю их, — ответил настоятель, — ибо они сопряжены с исполнением моего долга.

Королева передала узду Розабеллы одному из телохранителей, и, опираясь на Мэри Сейтон, ни на минуту не покидавшую ее, и на присоединившегося к ней по дороге лорда Херриса, вошла в монастырь.

Лорд Херрис не стал скрывать от Марии Стюарт, в каком она оказалась положении: сражение проиграно, и рухнули, по крайней мере сейчас, все надежды вернуть себе шотландский трон. Теперь у королевы только три возможности: бежать либо во Францию, либо в Испанию, либо в Англию; по совету лорда Херриса, что, впрочем, совпадало и с ее желанием, она выбрала Англию и в ту же ночь написала Елизавете послание в прозе и стихах:

«Возлюбленная сестра!

Я неоднократно просила Вас принять мой беспокойный корабль на время бури в Вашей гавани. Если на сей раз я найду там порт спасения, то навсегда брошу в нем якорь; в противном случае моя ладья, хранимая Богом, достаточно хорошо проконопачена и просмолена и готова помужествовать в плавании со всеми бурями; я всегда действовала в согласии с Вами, да и сейчас действую так же; не истолкуйте дурно мои слова, я так пишу отнюдь не из недоверия к Вам, как могло бы показаться: я всецело полагаюсь на Вашу дружбу».

К письму был приложен следующий сонет:

Томлюсь и льшусь я думою одной,
Она несет то скорбь, то утешенье,
Даря то надежду, то сомненье,
И от моей души бежит покой.

Сестра моя, коль вслед за сей мольбой
Услышу я упрек иль возраженье
И на приезд не дашь ты разрешенья.
Исполнюсь я горчайшею тоской.

Моя ладья стоит в открытом море;
Хоть вижу, порт спасенья недалек,
Но я страшусь: примчится вал девятый;

Не ты виной, что я в глубоком горе:
Я просто знаю, как ревнивый рок
Умеет рвать крепчайшие канаты.

Получив это послание, Елизавета возликовала: уже восемь лет она со все возрастающей ненавистью следила за Марией Стюарт, как следит волчица за ланью, и вот наконец лань решилась искать убежища в логове волчицы; Елизавета никогда не смела надеяться на такое; она тотчас отослала камберлендскому шерифу приказ сообщить Марии Стюарт, что королева Англии готова принять ее. Утром на берегу моря протрубил рог: к королеве Мария Стюарт прибыл посланец Елизаветы.

Приближенные умоляют беглянку не слишком доверяться своей сопернице в могуществе, славе и красоте, но свергнутая королева полна веры в ту, кого зовет возлюбленной сестрой; она надеется, что при дворе Елизаветы обретет свободу, не будет знать забот и займет место, достойное ее сана и перенесенных ею невзгод; невзирая на все доводы, она упорно стоит на своем. И в наши дни мы видели, как подобное же затмение постигло другого царственного беглеца, который, подобно Марии Стюарт, доверился благородству своего врага Англии и, подобно Марии Стюарт, был жестоко наказан за свою доверчивость: смертоносный климат острова Св. Елены стал для него тем же, чем для шотландской королевы эшафот в Фогерингейском замке.

И Мария Стюарт пустилась в путь со своей крошечной свитой. На берегу залива Солуэй ее встречал английский пограничник; то был дворянин по фамилии Лотер, и принял он королеву с величайшим почтением, однако объявил, что может позволить сопровождать ее только трем женщинам; Мэри Сейтон тотчас же заявила о своей привилегии следовать за королевой. Мария Стюарт сжала ей руку и сказала:

— Душенька, ты уже достаточно со мной настрадалась. Может, стоит уступить черед другой?

Но Мэри вцепилась ей в руку и, не в силах промолвить ни слова, замотала головой в знак того, что ничто в мире не сможет разлучить ее с королевой.

Все спутники королевы вновь принялись уговаривать ее отказаться от своего гибельного решения, а поскольку она уже стояла на сходнях, ведущих в лодку, настоятель Дандреннанской обители, оказавший ей столь опасное и столь трогательное гостеприимство, зашел по колено в воду и попытался удержать ее, но все было тщетно: королева стояла на своем. К ней подошел Лотер и сказал:

— Ваше величество, еще раз примите мои сожаления, что я не могу предоставить сердечный прием в Англии всем, кто желал бы вас сопровождать, но наша государыня дала совершенно ясные указания, и наш долг исполнять их. Дозволено ли мне будет заметить вашему величеству, что прилив благоприятствует плаванию?

— Ясные указания? — вскричал настоятель. — Вы слышали, ваше величество! Опомнитесь! Вы погибнете, если покинете этот берег! Назад, ваше величество, пока еще есть время! Заклинаю вас небом, вернитесь! Ко мне, господа рыцари, ко мне! — закричал он лорду Херрису и другим дворянам, сопутствовавшим Марии Стюарт. — Не дайте вашей королеве оставить вас! И хотя вам придется бороться и с ней, и с англичанами, удержите ее, господа! Во имя неба, удержите ее!

— Что означает это буйство, отец мой? — возмутился пограничник. — Я прибыл сюда по нарочитой просьбе вашей королевы, она вольна вернуться к вам, и прибегать для этого к силе вовсе нет нужды. — И, обратившись к королеве, он спросил: — Ваше величество, по собственной ли непринужденной воле вы соглашаетесь следовать со мной в Англию? Умоляю вас ответить, ибо из соображений чести мне важно, чтобы все слышали, что вы без принуждения следуете за мной.

— Сударь, — обратилась к нему Мария Стюарт, — прошу у вас прощения от имени этого достойного служителя Бога и его королевы за все обидное, что он мог вам сказать. Я по собственной воле покидаю Шотландию и поручаю себя вашему попечению, зная, что буду вольна либо остаться в Англии у моей сестры-королевы, либо вернуться во Францию к моим достойным родственникам.

Затем она обратилась к настоятелю со словами:

— Благословите меня, отец мой, и да хранит вас Господь!

— Увы, — пробормотал аббат, — то не мы, дочь моя, нуждаемся в Господнем покровительстве, а вы. Да отведет благословение ничтожного священнослужителя от вашей царственной головы те беды, что я предвижу. Ступайте, и да будет с вами то, что судил вам Господь в своей мудрости и милосердии.

Королева подала руку шерифу, и тот проводил ее в лодку, затем туда прошли Мэри Сейтон и еще две женщины. Тотчас были подняты паруса, и маленькое суденышко, отчалив от берега Гэллоуэя, устремилось к Камберленду. И пока оно было видно, все провожавшие королеву, стояли на берегу и махали ей руками, а она махала им с кормы носовым платком. Наконец лодка исчезла из виду, и оставшиеся не смогли сдержать слез. У них были на то основания, и предчувствия дандреннанского настоятеля оправдалось: все они видели Марию Стюарт в последний раз.

На английском берегу королеву Шотландии встретили посланцы Елизаветы и от имени своей государыни выразили сожаление, что та не смогла самолично встретить свою сестру и оказать ей сердечный прием. Но прежде необходимо, объявили они, чтобы шотландская королева доказала свою непричастность к смерти Дарнли, семейство которого, будучи подданными королевы Англии, имеет право на ее покровительство и правосудие.

Мария Стюарт оказалась настолько слепа, что не увидела ловушки и выразила готовность доказать свою невиновность к удовлетворению сестрицы Елизаветы, но как только у той в руках оказалось письменное согласие Марии, она тут же из арбитра превратилась в судью и, назначив комиссию для выслушивания сторон, потребовала, чтобы Мерри явился и выступил обвинителем своей сестры. Мерри, знавший тайные намерения Елизаветы в отношении соперницы, не колебался ни секунды. Он прибыл в Англию и привез с собой шкатулку, содержащую три уже представленных нами письма, стихи и некоторые другие документы, доказывавшие, что королева не только была любовницей Босуэла при жизни Дарнли, но и знала о готовящемся убийстве своего супруга. Лорд Херрис и епископ Росский, бывшие защитниками Марии Стюарт,

утверждали, что письма эти подложные, почерк в них подделан, и требовали, чтобы эксперты сличили его и установили, так это или нет, но добиться своего не смогли; спор этот продолжается до сих пор, и сейчас еще ни историки, ни ученые не могут сказать ничего определенного на этот счет.

После пятимесячного следствия английская королева дала знать сторонам, что в процессе расследования не удалось обнаружить ничего порочащего честь ни обвиняемого, ни обвиняемой, посему все остается в прежнем положении до той поры, пока одна из сторон не сможет представить новые доказательства.

После столь странного решения Елизавета должна была бы отослать регента в Шотландию и дать Марии Стюарт возможность уехать, куда ей хочется. Но вместо этого она велела перевезти пленницу из замка Болтон в Карлайлский замок, со стены которого несчастной Марии Стюарт были видны синеватые горы родной Шотландии.

Одним из судей, назначенных для расследования дела Марии Стюарт, был Томас Хауард, герцог Норфолк. То ли уверившись в невинности Марии Стюарт, то ли подстрекаемый честолюбием и намереваясь, как впоследствии было сказано в приговоре, жениться на ней, обручить свою дочь с малолетним королем и стать регентом Шотландии, он задумал освободить королеву из тюрьмы. Многие представители знатнейшего английского дворянства, в том числе графы Уэстморленд и Нортумберленд, вступили в заговор и обязались всемерно поддерживать его. Однако их планы стали известны регенту, и тот выдал их Елизавете, которая приказала арестовать Норфолка. Уэстморленд и Нортумберленд, вовремя предупрежденные, перешли границу и укрылись в окраинных районах Шотландского королевства, держащих сторону королевы Марии. Уэстморленд добрался до Фландрии, где и умер в изгнании, а Нортумберленд был выдан Мерри и заключен в замке Лохливен, где его стерегли куда бдительней, чем перед тем королеву. Норфолк же был казнен. Из этого можно заключить, что звезда Марии Стюарт ничуть не утратила своего губительного воздействия.

Тем временем регент, осыпанный дарами Елизаветы и, в сущности, добившийся от нее того, чего хотел, поскольку Мария продолжала оставаться узницей, вернулся в Эдин-

бург и сразу же занялся тем, что рассеял остатки сторонников низложенной королевы; когда же за Нортумберлендом замкнулись ворота замка Лохливен, он от имени малолетнего короля Иакова VI начал преследовать всех тех, кто поддерживал его мать, главным образом Гамильтонов, бывших со времени *выметания улиц Эдинбурга* смертельными врагами Дугласов; шесть главнейших представителей этого рода были приговорены к смертной казни, которую им заменили вечным изгнанием лишь по настоянию Джона Нокса¹, чье влияние в Шотландии было настолько велико, что даже Мерри не решился отказать ему в помиловании приговоренных.

Одним из помилованных был некий Гамильтон из Босуэлоу, человек, словно бы вышедший из прошлого Шотландии, дикий и мстительный, как лорды времен Иакова I. Он бежал в горы и нашел там убежище, но вдруг ему стало известно, что Мерри, исполняя приговор о конфискации имущества изгнанных, отдал его владения одному из своих фаворитов; при этом его больную, лежащую в постели жену без всякой жалости выгнали из дома, не позволив ей даже взять теплую одежду, хотя стояли холода. Несчастливая женщина, не имеющая ни крова, ни одежды, ни хлеба, сошла с ума и некоторое время бродила в окрестностях, возбуждая жалость и страх, так как все боялись, помогая ей, навлечь гнев властей. В конце концов она умерла от голода и холода у дверей дома, из которого ее выгнали.

Узнав об этом, Босуэлоу, несмотря на свой свирепый характер, не впал в ярость; он лишь жутко улыбнулся и бросил:

— Ну что ж, я отомщу.

На следующий день Босуэлоу, переодетый, спустился с гор на равнину, имея на руках от архиепископа Сент-Эндрю, который, как мы помним, до последнего поддерживал Марию Стюарт, приказ открыть ему дом, принадлежавший этому прелату в городе Линлитгоу. У этого дома, стоящего на главной улице, был деревянный балкон, который выходил на площадь, а одна из дверей вела в поля. Босуэлоу ночью проник в дом, расположился на втором этаже,

¹ Нокс, Джон (1505?—1572) — кальвинистский священник, основатель шотландской пресвитерианской церкви, враг Марии Стюарт.

затянул стены черным сукном, чтобы тень не выдала его присутствия, настелил на полу тюфяки, чтобы внизу не слышно было, как он ходит, привязал в саду оседланного коня, срезал верхнюю часть калитки, чтобы конь мог перемахнуть через нее на скаку, и, вооружившись аркебузой, засел в комнате.

Все эти приготовления производились, как можно догадаться, потому, что на следующий день Мерри должен был проехать через Линлитгоу. И все же, какой бы тайной они ни были сокрыты, они чуть было не оказались бесполезными, так как друзья регента предупредили его, что ему небезопасно ехать через город, почти целиком принадлежащий Гамильтонам, и посоветовали изменить маршрут. Но Мерри был не трус и не привык отступать даже перед подлинными опасностями, а эту он почитал вымышленной и, посмеявшись над ней, не счел нужным менять свои планы, решив ехать через город. Путь его пролегал по улице, на которую выходил балкон дома, принадлежащего архиепископу Сент-Эндрю; он выехал на нее, и хотя друзья настаивали, чтобы он проскакал по ней как можно быстрее и чтобы стража расчищала ему путь в толпе, продвигаться ему пришлось шагом, так как собралось множество народу посмотреть на него. Напротив балкона, словно случай играл на руку убийце, толпа была настолько плотная, что Мерри пришлось на миг остановиться, и эта остановка дала возможность Босуэлоу как следует прицелиться. Он положил аркебузу на перила балкона, прицелился и хладнокровно выстрелил. Босуэлоу забил в аркебузу такой заряд, что пуля, пройдя через грудь регента, на излете ударила лошадь одного из сопровождающих его дворян. Мерри упал, прошептав:

— Боже! Я умираю.

Поскольку все видели, из какого окна был произведен выстрел, люди из свиты регента тотчас бросились к парадной двери дома, выходящей на улицу, выломали ее, но успели лишь увидеть, как конь Босуэлоу перемахнул через садовую калитку. Они тут же вскочили на лошадей, оставленных на улице, и бросились в погоню. У Босуэлоу был добрый конь и некоторое преимущество перед преследователями, однако четверо из них оказались отличными наездниками и начали настигать его, целясь из пистолетов. Босуэлоу, видя, что хлыста и шпор уже недостаточно,

выхватил кинжал и воспользовался им как стрелом. Конь, получив укол кинжалом, обрел новые силы и перелетел через овраг шириной восемнадцать футов, положив между своим хозяином и преследователями непреодолимую преграду.

Убийца бежал во Францию, где нашел убежище и покровительство у Гизов. Совершенное им дерзкое покушение стяжало ему славу, и за несколько дней до Варфоломеевской ночи он получил предложение убить адмирала Колиньи¹. Однако Босуэлоу с негодованием отверг его, заявив, что он не наемный убийца, он отомстил за свои обиды, а ежели кто-то обижен на Колиньи, то пусть придет к нему, расспросит, как он действовал, и действует тем же манером.

В ночь после покушения Мерри скончался, оставив регентство графу Ленноксу, отцу Дарнли. Елизавета, узнав о смерти Мерри, воскликнула, что она потеряла лучшего друга.

А пока в Шотландии происходили эти события, Мария Стюарт продолжала оставаться узницей, несмотря на настоятельные и непрекращающиеся протесты французских королей Карла IX и Генриха III. Правда, напуганная попыткой освободить Марию, Елизавета велела перевезти ее в Шеффилдский замок, вокруг которого непрестанно ходили караулы.

Шли дни, месяцы, годы, и несчастную Марию Стюарт, которая с таким нетерпением переносила одиннадцатимесячное заключение в замке Лохливен, уже в течение шестнадцати лет перевозили, невзирая на ее собственные протесты и протесты послов Франции и Испании, из тюрьмы в тюрьму и наконец поместили в замок Татбери под надзор сэра Эймиаса Полета, ее последнего тюремщика; там ей отвели под жилье две низкие сырые комнаты, и та малость сил, что еще у нее оставалась, иссякала так стремительно, что бывали дни, когда она из-за боли в ногах не могла ступить и шагу. Бывшая государыней в двух королевствах, лежавшая после рождения в позолоченной колыбели и даже в детстве носившая только шелк и бархат,

¹ *Колиньи*, Гаспар де Шатийон (1519—1582) — французский военачальник, глава гугенотов. Накануне Варфоломеевской ночи сторонники Гизов совершили на него покушение, он был ранен, а в Варфоломеевскую ночь его прикончили.

она была унижена до такой степени, что вынуждена была выпрашивать у своего тюремщика не столь жесткую кровать и одеяла потеплее. Просьба эта рассматривалась как важное государственное дело и стала предметом долгих, почти месячных препирательств, после чего узнице наконец выдали просимое. И все-таки недуги, холод и всевозможные лишения слишком медленно воздействовали на здоровый и крепкий организм Марии. Сэру Полету попытались намекнуть, что он оказал бы великую услугу королеве Англии, если бы сумел сократить дни той, которая мысленно уже давно была приговорена своей соперницей, но не спешила умереть. Однако сэр Эймиас Полет, как ни груб и суров он был по отношению к Марии Стюарт, объявил, что, пока он при узнице, она может не опасаться ни яда, поскольку он пробует все подаваемые ей кушанья, ни кинжала, так как он никому не позволит приблизиться к ней. Действительно, убийцы, подсланные Лестером, тем самым, что некогда претендовал на руку прекрасной Марии Стюарт, были изгнаны из замка его суровым стражем тотчас же, как только он узнал, с какими намерениями они прибыли. Словом, Елизавете оставалось только запастись терпением, удовлетворяясь возможностью мучить ту, кого она не смела прикончить, и ждать нового повода поставить ее перед судом. Несчастливая звезда Марии Стюарт в конце концов предоставила Елизавете этот так долго запаздывавший повод.

Бабингтон, молодой дворянин-католик, последняя поросль давнего рыцарства, которое в ту эпоху уже начало угасать, воодушевленный тем, что папа Пий V¹ отлучил Елизавету от церкви, отказав ей на земле в правах на свое королевство, а на небесах в спасении, задумал освободить Марию: с этого момента он рассматривал ее не просто как политическую узницу, но как мученицу за веру. А в 1585 г. Елизавета издала закон, гласивший, что всякий, кто посягнет на ее персону, будет рассматриваться лицом или действующим в пользу лица, предъявляющего свои права на корону Англии; в этом случае назначается комиссия из двадцати пяти членов, которой поручается в обход любых судов проверить все имеющиеся улики и вынести приговор

¹ Пий V (Микеле Гислери) (1504—1572) — римский папа с 1565 г., вел энергичную борьбу против Реформации, в 1570 г. отлучил Елизавету от церкви.

обвиняемым, кем бы они ни были. Не обескураженный примером предшественников, Бабингтон объединил вокруг себя несколько своих друзей, тоже ревностных католиков, став во главе заговора, целью которого было убийство Елизаветы и возведение на английский престол Марии Стюарт. Но его планы стали известны Уолсингему¹; он позволил заговорщикам действовать, но так, чтобы их действия не представляли опасности, а накануне дня, назначенного для убийства королевы, приказал их арестовать.

Елизавете этот безрассудный и безнадежный заговор доставил огромную радость, так как в соответствии с текстом закона он позволил ей наконец-то стать владычицей жизни соперницы. Сэру Эймиасу Полету немедленно было велено арестовать все бумаги узницы, а ее самое перевести в замок Фотерингей. Тюремщик, притворившись, будто ослабляет свою обычную суровость, предложил Марии Стюарт верховую прогулку под предлогом, что ей следовало бы подышать свежим воздухом. Несчастливая узница, в течение трех лет видевшая окрестности лишь сквозь тюремные решетки, с радостью согласилась и выехала из Татбери на лошади, у которой для вящей безопасности были спутаны передние ноги; при этом ее сопровождали два стражника. Стражники отконвоировали Марию в замок Фотерингей, назначенный ей отныне для пребывания; там для нее были уже приготовлены покои, стены и потолок в которых были затянуты черным сукном, так что она заживо вступила в собственную могилу. А Бабингтон и его сообщники уже были казнены.

В это же время арестовали обоих секретарей Марии Стюарт, Керла и Ноу, и изъяли у них все бумаги, каковые тотчас же были пересланы Елизавете, и та повелела сорока членам комиссии собраться и без промедления провести суд над шотландской королевой. Они съехались в Фотерингей 14 октября 1586 г., а на следующий день собрались в парадном зале замка и приступили к следствию.

Поначалу Мария Стюарт отказалась предстать перед ними, заявив, что не признает членов комиссии своими судьями, так как они не являются шотландскими пэрами, и равно не признает английские законы, которые никогда

¹. Уолсингем, Френсис (1530—1590) — государственный секретарь и министр полиции в царствовании Елизаветы. Существует мнение, что весь заговор Бабингтона был хитроумной провокацией Уолсингема.

ее не защищали, а, напротив, позволяли совершать над нею насилие. Но, видя, что процесс тем не менее продолжается, на нем заслушивается и принимается любая клевета и некому ее опровергнуть, Мария решила предстать перед комиссией.

Мы приведем два допроса Марии Стюарт в том виде, в каком они были направлены г-ном де Бельевром г-ну де Вильруа¹. Г-н де Бельевр стал, как мы впоследствии увидим, чрезвычайным посланником короля Генриха III к Елизавете.

«Названная дама села в конце упомянутого стола, а вышеперечисленные члены комиссии уселись вокруг него.

Королева Шотландии начала свою речь нижеследующими словами:

— Я не признаю ни одного из вас, ~~собранных~~ здесь, равным мне и моим судьей и не признаю за вами права допрашивать меня в отношении каких бы то ни было обвинений. То, что я сейчас делаю и говорю, я говорю по собственной непринужденной воле, беря Бога в свидетели, что я невиновна и на моей совести нет ничего из того, что мне пытаются здесь вменить клеветническими измышлениями. Я — суверенная государыня, рождена королевой и не подчиняюсь никому, кроме Господа, которому только и обязана отчетом в своих деяниях. Посему я еще раз заявляю протест, дабы появление перед вами не принесло ущерба ни мне, ни другим королям, государям и владетелям, моим союзникам, ни моему сыну, и требую, чтобы мой протест был записан и внесен в акты.

После чего канцлер, являющийся одним из членов комиссии, взял слово и опротестовал заявленный протест; затем он велел зачитать королеве Шотландии, на каком основании действует комиссия, образованная в соответствии с уложениями и законом королевства.

На что Мария Стюарт ответила, что она еще раз заявляет протест и что вышеназванные уложения и законы не имеют силы по отношению к ней, поскольку оные уложения и законы писаны не для особ ее сана.

На что канцлер заявил, что комиссия будет вести процесс против нее, даже если она откажется отвечать, и

¹ *Бельевр*, Помпонн де (1529—1607) — президент парижского парламента. *Вильруа*, Никола де (1542—1617) — государственный секретарь в царствование Карла IX и Генриха III.

объявил, что все будет происходить в соответствии с процедурой, ввиду того что она вдвойне виновата перед законом: заговорщики действовали не только в ее пользу, но и с ее согласия, на что вышеназванная королева Шотландии ответила, что ничего про это не знала.

Тогда ей были зачитаны письма, в которых утверждает-ся, что она писала Бабингтону и получала от него ответы.

Мария Стюарт заявила, что никогда не видела Бабингтона, никогда не имела с ним сношений и ни разу в жизни не получала от него ни единого письма и что она уверена: никто в целом свете не сможет доказать, будто она когда-либо хоть в чем-нибудь действовала во вред или против названной королевы Англии; притом, находясь под столь строгой охраной, под какой находится она, лишенная возможности сношений с кем бы то ни было, разделенная со своими близкими, окруженная врагами и, наконец, не имеющая возможности с кем-либо посоветоваться, она не могла ни принимать участия, ни содействовать деяниям, в каковых ее обвиняют; впрочем, множество людей, кото-рых она не знает, писали ей, и она получала множество писем, даже не ведая, от кого они приходят.

Тогда ей прочли признание Бабингтона, но она сказала, что не знает, что он хотел этим сказать, а также, что ежели Бабингтон и его сообщники утверждали подобное, то, значит, они люди подлые, скверные и клеветники.

— Предъявите мне, — добавила она, — письмо, напи-санное моей рукой и с моей подписью, раз вы утверждаете, будто я писала Бабингтону, а не поддельные копии, напо-добие этих, ибо вы можете изготовить их, сколько вам заблагорассудится.

Тогда ей предъявили письмо, написанное, как сказали, Бабингтоном. Она глянула на него и объявила:

— Мне незнакомо это письмо.

После чего ей показали ее ответ, но она опять сказала:

— И это письмо мне незнакомо. Если вы предъявите мне мое собственное письмо с моею подписью, содержащее все то, что вы мне тут говорите, я признаюсь во всем, но до сих пор, повторяю, вы не представили мне ничего достоверного, кроме списков, которые вы можете сочинять и множить, сколько вашей душе пожелается.

После чего она поднялась и со слезами на глазах произнесла:

— Ежели я когда-либо соглашалась на подобные козни, имеющие целью смерть моей сестры, то пусть Господь не даст мне ни милости, ни пощады. Да, признаю, я писала многим и умоляла их поспособствовать моему освобождению из гнусных узилищ, где я, государыня, плененная и подвергающаяся дурному обращению, томлюсь в течение девятнадцати лет и семи месяцев, но мне никогда и в голову не приходило ничего подобного в отношении королевы, а уж тем более я ничего такого не писала и не желала. И еще признаю, что воспользовалась ради освобождения помощью нескольких ныне замученных католиков, но если бы я могла и еще сейчас имела возможность своею собственной кровью избавить их и спасти от мук, то сделала бы все, что в моих силах, дабы воспрепятствовать их гибели.

Затем, обратясь к государственному секретарю Уолсингему, она сказала:

— Впрочем, милорд, едва увидев вас здесь, я сразу поняла, откуда направлен удар. Вы всегда были злейшим врагом и моим, и моего сына и всегда всех настраивали против меня, действуя мне во вред.

Услыхав таковое обвинение, Уолсингем встал и объявил:

— Миледи, удостоверяю перед Богом, которого беру в свидетели, что вы заблуждаетесь. Я никогда не предпринимал против вас ничего, что было бы недостойно порядочного человека, будь то частное или должностное лицо.

Это все, что было сказано и сделано на том судебном разбирательстве, которое было прервано до следующего дня, когда королева вынуждена была вновь предстать перед членами комиссии.

Усевшись в помянутом зале в конце стола, за которым сидели вышеназванные члены комиссии, она в полный голос объявила:

— Вам, милорды и джентльмены, не может быть неизвестно, что я — суверенная королева, помазанница Божия, и ни под каким видом не могу и не должна быть призвана на ваши заседания и судима вашим судом по законам и уложениям, каковые вы мне предъявляете, ибо я — монархиня, я свободна и не подвластна никакому другому монарху, равно как он не подвластен мне, и на все ваши обвинения меня в действиях против моей сестры я стану отвечать, если вы позволите, лишь в присутствии своего

защитника. Ежели вы поступите иначе, делайте, как вам угодно, а я, отвергая ваш суд, вновь заявляю протест и взываю к Господу, единственному истинному и праведному судье, и к королям и государям, моим союзникам и сторонникам.

Настоящий протест был, как она потребовала от членов комиссии, тут же внесен в протокол.

Затем ей сказали, что она, кроме того, писала многие письма государям христианского мира против королевы и Английского королевства.

— Но это же совсем другое дело, — отвечала Мария Стюарт, — и я вовсе этого не отрицаю, и будь у меня сейчас такая возможность, я делала бы то же самое, дабы вернуть себе свободу, ибо не найдется в мире ни мужчины, ни женщины более низкого состояния, нежели я, которые не поступили бы точно так же и не прибегли бы к помощи и поддержке своих друзей, дабы выйти из столь сурового узилища, в каком пребываю я. Вы ставите мне в вину письма Бабингтона. Что ж, я не отрицаю, он мне писал, и я ему отвечала, но ежели вы сыщете в обоих ответах хотя бы одно слово против королевы, тогда судите меня. Я ответила человеку, который написал, что вернет мне свободу, и я согласилась на его предложение лишь при условии, что он сможет это сделать, не скомпрометировав ни себя, ни меня, только и всего.

Что же касается моих секретарей, — добавила королева, — то их устами говорили не они, но попытки, а относительно признаний Бабингтона и его сообщников, о них и говорить нечего, поскольку теперь, когда они мертвы, вы можете утверждать все, что вам придет в голову, и верить чему угодно.

После чего королева отказалась отвечать на дальнейшие вопросы, если при ней не будет ее защитника, и, еще раз повторив протест, удалилась в свои покои, однако следствие, как и пригрозил ей канцлер, было продолжено, не смотря на ее отсутствие».

Тем временем г-н де Шатонеф, французский посол в Лондоне, наблюдал за событиями вблизи и не заблуждался насчет того, как они будут развиваться; поэтому при первых же дошедших до него слухах о суде над Марией Стюарт он написал королю Генриху VIII, чтобы тот вступился

за узницу. Генрих III тотчас же направил к Елизавете чрезвычайное посольство во главе с г-ном де Бельевром; тогда же, узнав, что сын Марии Иаков VI, весьма мало обеспокоенный судьбой матери, ответил французскому послу Курселю, беседовавшему с ним о ней: «Я ничего не могу сделать. Пусть расхлебывает кашу, которую сама заварила», — написал Курселю следующее письмо, в котором требовал, чтобы тот склонил юного короля поддерживать демарши, предпринимаемые Францией:

«21 ноября 1586 г.

Курсель, я получил Ваше письмо от 4 октября, из которого узнал о Вашем с королем Шотландии разговоре, в коем Вы засвидетельствовали мои самые лучшие чувства к нему, на что он ответил, что желал бы всецело заслужить их; но я предпочел бы узнать из этого письма, что он более привязан к королеве, своей матери, и у него в достатке сердца и воли, дабы оказать ей помощь в том печальном положении, в каком она ныне пребывает, и полагаю, что заключение, в котором она противозаконно содержится уже более восемнадцати лет, могло бы склонить его прислушаться ко многим предложениям, каковыя ему делались, дабы добиться ее освобождения, ибо свободы естественно жаждут все люди, тем паче те, кто рожден быть государем и повелевать другими, отчего, оказавшись узниками, они не столь терпеливо сносят страдания. Следует также полагать, что ежели моя возлюбленная сестра королева Англии последует совету тех, кто хочет, чтобы она пролила кровь королевы Марии, это обернется для него величайшим бесчестьем, поскольку все сочтут, что он отказался ходатайствовать за собственную мать перед вышепомянутой королевой Англии, какового ходатайства, быть может, оказалось бы достаточно, дабы смягчить ее, если бы он пожелал заступиться за мать столь же решительно и настоятельно, как того требует от него природный долг. Притом ему следовало бы опасаться, как бы после смерти матери не настал его черед и над ним не решили бы учинить какого-либо насилия, дабы облечь наследование английского престола тем, кто способен занять оный после вышепомянутой королевы Елизаветы, и не токмо лишит названного короля Шотландии права претендовать на англий-

скую корону, но даже поставить под сомнение его право на собственную. Я не знаю, в каком состоянии будут дела моей невестки, когда Вы получите это письмо, но говорю Вам, что желаю в любом случае, чтобы Вы укоризнами и всеми другими мерами, какие возможно использовать в данном случае, побудили названного короля Шотландии встать на защиту и оказать покровительство своей матери, а также подтвердили ему от моего имени, что таковые его действия будут весьма одобрены всеми королями и суверенными государствами и чтобы он был уверен, что ежели таковых действий он не предпримет, от этого ему будет великое порицание и, возможно, значительный ущерб в собственном королевстве. В заключение, касательно моих собственных дел узнайте, что ее величество королева-мать готовится вскоре встретиться с королем Наваррским и провести с ним переговоры о прекращении смуты в нашем королевстве, в результате каковых переговоров, ежели он идет на них с такими же добрыми чувствами, какие к нему питаю я, мои подданные, надеюсь, получат некоторую передышку после великих тягот и бед, что причинила им война. Молю, Курсель, Господа, дабы он не оставил Вас своим святым покровительством.

В Сен-Жермен-ан-Лэ, 21 дня ноября месяца 1586 г.

Генрих».

Письмо это наконец вынудило Иакова VI предпринять некоторые шаги в пользу своей матери: он направил к королеве Елизавете Грея, Роберта Мелвила и Куита. Но хотя до Лондона путь от Эдинбурга куда короче, чем от Парижа, французские послы опередили шотландских.

27 ноября г-н де Бельевр прибыл в Кале, где его встретил нарочный г-на де Шатонефа, который от имени последнего просил не терять ни секунды и даже предусмотрительно зафрахтовал судно, уже стоящее наготове в порту. Но как ни спешили члены посольства начать свою благородную деятельность, им пришлось ждать попутного ветра, который позволил выйти в море лишь в пятницу двадцать восьмого числа в полночь; пристав в девять утра следующего дня в Дувре, они были так измучены морской болезнью, что им пришлось целый день провести в этом городе, чтобы прийти в себя; только в воскресенье тридцатого г-н де Бельевр смог отправиться в Лондон в карете,

которую прислал ему г-н де Шатонеф, а дворяне его свиты сопровождали его на почтовых лошадях; торопясь наверстать упущенное время, они остановились отдохнуть в пути всего на несколько часов и въехали в Лондон в понедельник первого декабря в полдень. Г-н де Бельевр тотчас же послал г-на де Вилье, одного из дворян своей свиты, к английской королеве, двор которой находился в это время в Ричмонде. Приговор Марии Стюарт был тайно вынесен уже шесть дней назад и передан в парламент, который обсуждал его при открытых дверях.

Прибытие в это время французского посольства было для Елизаветы более чем некстати; посему, чтобы выиграть время, она отказалась принять г-на де Вилье, велев передать ему, что завтра он узнает причину отказа. Действительно, на следующий день в Лондоне распространились слухи, что французское посольство якобы привезло заразу и двое дворян из его состава умерли в Кале от чумы; поэтому королева при всем желании сделать приятное Генриху III не смеет подвергнуть опасности свою драгоценную жизнь, приняв его послов. Узнав эту новость, г-н де Бельевр был крайне удивлен, заявил, что королева введена в заблуждение лживыми донесениями, и настоятельно потребовал принять его. Тем не менее проволочки тянулись еще шесть дней, но так как послы пригрозили, что больше ждать не станут и отбудут, Елизавета, которую беспокоила Испания, решила, все взвесив, не ссориться с Францией и утром седьмого декабря велела передать г-ну де Бельевру, что вечером готова принять его и дворян его свиты в Ричмондском дворце.

В назначенный час французские послы прибыли во дворец и были проведены к королеве, которая сидела на троне в окружении высших сановников своего королевства. Посол г-н де Шатонеф и чрезвычайный посол г-н де Бельевр, передав королеве приветствие от короля Франции, приступили к протесту, который им было поручено сделать. Елизавета отвечала им на французском, мало того, на самом лучшем французском, на каком говорили в ту эпоху; выйдя из себя, она указала послам своего брата Генриха, что шотландская королева всегда всеми способами преследовала ее и уже в третий раз покусилась на ее жизнь, что она, Елизавета, слишком долго с безмерным терпением все это сносила, но последний заговор уязвил ее до глубины души; это событие, грустно добавила она, заставило ее

испустить больше вздохов и пролить больше слез, чем утрата всех ее родственников, тем паче что королева Шотландий является ее ближайшей родственницей и состоит в свойстве с королем Франции; поскольку гг. де Шатонеф и де Бельевр в своем протесте привели множество примеров из истории, она, отвечая им на это, приняла обычный для нее высокомерно-наставительный тон и заявила, что за свою жизнь прочла множество книг, стократ больше, чем любая другая особа ее пола и сана, но ни в одной из них не встретила ни единого примера действий, какие задумывались против нее да притом еще родственницей, так что ее брат король не может и не должен поддерживать эту ее родственницу в дурных умыслах, напротив, его долг ускорить воздаяние ей справедливой кары; затем королева, сменив надменность на любезность и благожелательно улыбаясь, обратилась лично к г-ну де Бельевру и сказала, что весьма сожалеет, что он не послан к ней по более приятному делу, и что через несколько дней она даст ответ королю Генриху, своему брату, о здоровье которого она чрезвычайно беспокоится, равно как о здоровье королевы-матери, которая, должно быть, весьма утомилась после трудов, предпринятых ею для установления мира в королевстве ее сына; после этого королева Елизавета, не желая больше ничего слушать, удалилась в свои покои.

Послы вернулись в Лондон, где и ждали обещанного ответа, но тот все никак не приходил, меж тем как до них тайне дошли сведения о смертном приговоре, вынесенном королеве Марии, что вынудило их вновь отправиться в Ричмонд, чтобы сделать королеве Англии новое представление. После двух или трех безрезультатных поездок 15 декабря им все же была дана вторая аудиенция.

Королева не отрицала, что приговор вынесен, а поскольку легко можно было догадаться, что в данных обстоятельствах она не подумает воспользоваться своим правом помилования, г-н де Бельевр, полагая, что сделать больше ничего нельзя, попросил охранный лист, дабы он мог вернуться к своему государю. Елизавета пообещала выдать его дня через два-три.

Во вторник же 17 декабря парламент и представители высшей знати королевства были созваны в Вестминстерский дворец и там при всеобщем внимании собравшимся был объявлен и зачитан смертный приговор, вынесенный

Марии Стюарт; затем этот приговор с великой торжественностью и пышностью был возглашен на всех площадях и перекрестках Лондона, а оттуда разошелся по всему королевству; после объявления приговора в течение двадцати четырех часов звонили в колокола, и был отдан строжайший приказ каждому обывателю зажечь перед домом праздничные огни, наподобие того как это делают во Франции накануне дня св. Иоанна Крестителя.

И тогда под звон колоколов и при сиянии праздничных огней г-н де Бельевр, дабы никто не мог его ни в чем упрекнуть, предпринял последнюю попытку и написал королеве Елизавете следующее письмо:

«Ваше величество!

Мы вчера покинули Ваше величество и ожидали, как нам соблаговолила пообещать Ваше величество, через несколько дней получить Ваш ответ на переданную нами просьбу нашего государя касательно его невестки и союзницы королевы Шотландии, но поскольку сегодня утром мы узнали, что приговор, вынесенный названной королеве был объявлен в городе Лондоне, хотя мы ожидали совершенно иного, исходя из вашего милосердия и Ваших дружеских чувств к названному королю, Вашему брату, мы, дабы не пренебречь ничем, что почитаем своим долгом, и полагая, что тем самым исполняем пожелание короля, нашего государя, сочли необходимым написать Вашему величеству настоящее письмо, в котором вновь почтительнейше умоляем не отказать в настоятельнейшей и чувствительнейшей просьбе его величества соблаговолить сохранить жизнь названной королевы Шотландии, отчего наш государь и король получит величайшую радость, какую только сможет доставить ему Ваше величество; если же с названной королевой обойдутся со всей суровостью, это, напротив, доставит ему огромное неудовольствие и уязвит его до глубины души; поскольку названный король, наш государь, посылая нас к Вашему величеству, никоим образом не предполагал возможности, что решение о таковой казни будет принято столь скоро, мы почтительнейше умоляем Ваше величество, прежде чем будет дан делу дальнейший ход, дать нам некоторое время, дабы мы смогли оповестить короля, нашего государя, о положении названной королевы Шотландии, с тем чтобы Ваше

величество перед принятием окончательного решения узнали, что его христианнейшему величеству благоугодно Вам высказать и в чем предостеречь касательно самого крупного дела, которое на нашей памяти было вынесено на рассмотрение людского суда. Г-н де Сен-Сир, который доставит настоящее письмо Вашему величеству, привезет нам милостивый Ваш ответ, если Вашему величеству будет угодно его дать.

Лондон, 16 дня декабря месяца 1586 г.

*Де Бельевр,
де л'Обенин Шатонеф.*

В тот же день г-н де Сен-Сир и другие французские дворяне поехали в Ричмонд вручить это письмо, но Елизавета не пожелала их принять, сославшись на нездоровье, так что они были вынуждены оставить письмо государственному секретарю Уолсингему, который обещал завтра же прислать ответ королевы.

Но, невзирая на обещание, французским послам пришлось ждать два дня, и лишь вечером второго дня к г-ну де Бельевру в Лондон явились два английских дворянина и устно, не представив никакого письма, подтверждающего то, что им было велено передать, объявили от имени королевы, что, отвечая на написанное ей письмо и полагая правомерным желание получить для приговоренной отсрочку, в течение которой послы намерены узнать решение короля Франции, ее величество сооблаговолила дать согласие на отсрочку в двенадцать дней. Поскольку это было последнее слово Елизаветы и не имело смысла терять время, добиваясь чего-то большего, к его величеству королю Франции тотчас же был послан г-н де Жанлис; он должен был вручить Генриху III весьма обстоятельный доклад гг. де Шатонефа и де Бельевра, а кроме того, рассказать все, что он слышал и узнал по делу королевы Марии за то время, пока пребывал в Англии.

Генрих III сейчас же ответил письмом, содержащим новые инструкции гг. де Шатонефу и де Бельевру, но как ни торопился г-н де Жанлис, в Лондон он прибыл лишь на четырнадцатый день, то есть через сорок восемь часов после истечения данной отсрочки; приговор, однако, еще не был приведен в исполнение, и гг. де Бельевр и де Шатонеф немедленно отправились в расположенный в

одном лье от Лондона Гринвичский замок, где королева Елизавета праздновала Рождество, и испросили аудиенции, на которой они смогли бы передать ее величеству ответ Генриха III; несколько дней им отказывали, но поскольку они не отступались и непрестанно возобновляли просьбу об аудиенции, шестого января послов наконец вызвали к королеве.

С соблюдением всех требований этикета той эпохи их провели в зал для приемов, где сидела Елизавета; приблизившись, они приветствовали ее, после чего г-н де Бельевр почтительно, но в то же время решительно принялся излагать представление своего государя. Елизавета, ерзая на троне, с нетерпеливым видом слушала его, наконец, не в силах больше сдерживаться, она, побагровев от негодования, вскочила и воскликнула:

— Господин де Бельевр, да неужто мой брат король поручил вам говорить со мной в таких выражениях?

— Да, ваше величество, — с поклоном ответил г-н де Бельевр, — я получил от него особое послание.

— И оно подписано им собственноручно? — продолжала Елизавета.

— Да, ваше величество, — с неизменным спокойствием отвечал посол, — и мой государь король, ваш брат, в письме, подписанном собственной его рукой, поручил мне сделать вашему величеству представления, каковые я только что и изложил.

— Прекрасно! — перестав уже совершенно сдерживаться, воскликнула Елизавета. — Я прошу у вас копию этого письма, заверенную вашей собственноручной подписью, и запомните: вы ответите за каждое слово, которое вы изымете из него или добавите.

— Ваше величество, — заметил г-н де Бельевр, — подделывать письма и грамоты не в обычае французских королей и их посланников. Завтра утром вы получите требуемые вашим величеством копии, и я честью своей ручаюсь за их подлинность.

— Довольно, сударь, довольно! — вскричала королева и, знаком приказав всем находившимся в зале удалиться, почти час пробыла наедине с гг. де Шатонефом и де Бельевром. Никто не знает, что происходило во время этой беседы, кроме того, что королева пообещала направить к королю Франции своего посла, который, как заверила она, прибудет в Париж если не раньше, то в любом случае

одновременно с г-ном де Бельвром и передаст Генриху III окончательное решение по делу королевы Шотландии; после этого Елизавета покинула французских послов, дав понять, что все их дальнейшие попытки увидеться с нею останутся безответны.

Тринадцатого января послы получили свои паспорта, им также сообщили, что в Дувре их ожидает корабль, представленный им королевой.

А в день их отъезда случилось весьма странное происшествие: некий дворянин по фамилии Стаффорд, брат посла Елизаветы при короле Франции, явился к г-ну де Траппу, служащему канцелярии французского посольства, и сказал, что знает одного человека, сидящего в долговой тюрьме, у которого есть к нему сообщение первостепенной важности и крайней срочности, касающееся услуги королю Франции в связи с делом королевы Марии Шотландской. Хотя г-н де Трапп с самого начала заподозрил неладное, он тем не менее не пожелал дать повода для упрёков в нерадивости в столь важном деле, ежели его подозрения оказались бы ложными. Он отправился с г-ном Стаффордом в тюрьму, где встретился с человеком, который хотел говорить с ним. Тот сообщил ему, что сидит в долговой тюрьме за долг всего лишь в сто двадцать эю, но его желание выйти на свободу столь велико, что ежели г-н де Шатонеф согласится заплатить за него эту сумму, он обязуется избавить королеву Шотландии от грозившей ей опасности, заколов кинжалом королеву Елизавету; поняв, что французского посла хотят заманить в ловушку, г-н де Трапп крайне возмутился подобным предложением и объявил, что г-н де Шатонеф счел бы недопустимым любое предприятие, цель которого хоть в какой-то степени поставить под угрозу жизнь королевы Елизаветы или спокойствие в ее государстве; затем, не желая ничего более слушать, он отправился к г-ну де Шатонефу и обо всем рассказал ему; г-н де Шатонеф, мгновенно догадавшийся о подоплеке этого предложения, объявил г-ну Стаффорду, что его поражает, как он, дворянин, осмелился вовлекать другого дворянина в подобные изменнические действия, и предложил ему немедленно покинуть посольство, попросив никогда более не переступать его порога.

Г-н Стаффорд удалился, всем своим видом изображая, что он пропал, и стал умолять г-на де Траппа, чтобы ему позволили уплыть во Францию вместе с ним и другими

французскими послами. Г-н де Трапп немедленно сообщил его просьбу г-ну де Шатонефу, и посол велел передать Стаффорду, что запрещает ему не только появляться здесь, но и любые сношения с кем бы то ни было из посольства, из чего тот должен был заключить, что в просьбе ему отказано; еще посол велел сказать ему, что если бы он не питал такого уважения к его брату графу Стаффорду, своему коллеге по дипломатическому поприщу, то сию же секунду донес бы королеве Елизавете о его измене. В тот же день Стаффорд был взят под стражу.

После этих переговоров г-н де Трапп отправился в дорогу, чтобы присоединиться к своим попутчикам, выехавшим на несколько часов раньше него, но по прибытии в Дувр был тоже арестован и препровожден в тюрьму в Лондон. В тот же день ему учинили допрос, и г-н де Трапп чистосердечно рассказал обо всем, что было, в подтверждение правоты своих слов сославшись на г-на де Шатонефа.

Назавтра состоялся второй допрос, и каково же было изумление де Тракпа, когда он попросил материалы предыдущего, и ему были представлены, по обыкновению английского правосудия, лишь поддельные копии, в которых содержались признания, компрометирующие и его самого, и г-на де Шатонефа; он возмутился, заявил протест, отказался отвечать и что-либо еще подписывать, и тогда его препроводили в Тауэр под усиленной охраной, имея в виду тем самым создать видимость тяжести предъявленных ему обвинений.

На следующий день королева вызвала к себе г-на де Шатонефа и свела с ним на очную ставку Стаффорда, который бесстыдно утверждал, что сговаривался о заговоре с г-ном де Траппом и неким арестантом из долговой тюрьмы; целью заговора было ни больше, ни меньше как покушение на жизнь королевы. Г-н де Шатонеф с негодованием отверг все эти утверждения, но у королевы имелись слишком веские основания не верить даже самому очевидному. Она объявила г-ну де Шатонефу, что только посольское звание мешает ей арестовать его, подобно его сообщнику де Траппу, а также что, направляя немедля, как она и обещала, посла к Генриху III, она велит ему не только объяснить французскому королю причины недавно вынесенного приговора и его скорого приведения в исполнение, но и обвинить г-на де Шатонефа в участии в заговоре, уже одно раскрытие которого смогло убедить ее согласиться

на казнь шотландской королевы, поскольку на опыте доказало, что до той поры, пока живет эта ее противница, собственная ее жизнь ежечасно находится под угрозой.

В тот же день Елизавета поспешила распространить не только в Лондоне, но и по всей Англии известие, что она избежала нового покушения; поэтому, когда через два дня после отъезда французских послов прибыли посланцы Шотландии, которые, как мы видим, не слишком-то торопились, Елизавета ответила им, что они явились в крайне неудачный момент, так как она только что получила новое подтверждение того, что, пока жива Мария Стюарт, ее жизнь, жизнь английской королевы, находится в опасности. Роберт Мелвил хотел ответить ей, но Елизавета гневно объявила ему, что это именно он дал королю Шотландии зловредный совет вступить за свою мать и если бы у нее был такой советник, как он, она приказала бы отрубить ему голову. На что Мелвил сказал:

— Даже с риском для жизни я никогда не откажусь дать своему государю добрый совет. А отсечения головы, напротив, достоин тот, кто посоветовал бы сыну не препятствовать убийству матери.

Выслушав это, Елизавета велела послам удалиться и объявила, что вскоре сообщит им свой ответ.

Прошло четыре дня, а поскольку ответа так и не было, послы попросили прощальной аудиенции у той, к кому приехали, дабы узнать ее окончательное решение; королева согласилась принять их, и аудиенция прошла точно так же, как данная г-ну де Бельевру, — в упреках и жалобах. Наконец Елизавета поинтересовалась, а чем они могут гарантировать ее безопасность и жизнь, если она согласится помиловать королеву Шотландии. Послы ответили, что они уполномочены своим королем и всей знатью его королевства на то, чтобы убедить Марию Стюарт отказаться от всех прав на корону Англии в пользу своего сына и просить быть порукою этого обязательства короля Франции, а также всех государей и владетелей, ее родичей и друзей.

После этих слов Елизавета, совершенно не владея собой, что с ней случалось крайне редко, вскричала:

— Да что вы такое говорите, Мелвил? Ведь это же значит подарить моему врагу, имеющему право на одну корону, право на обе!

— Выходит, ваше величество считает моего повелителя своим врагом? — осведомился Мелвил. — А он пребывает в счастливом заблуждении, полагая себя вашим союзником.

— Нет, нет, — покраснев, спохватилась Елизавета, — я оговорилась. И если вы, господа, сумеете все уладить, то я, чтобы доказать, что считаю короля Иакова Шестого своим добрым и верным союзником, вполне склонна проявить милосердие. Так что старайтесь, а я буду стараться со своей стороны.

С этими словами она удалилась, и послы также отправились к себе, успокоенные блеснувшим им лучиком надежды.

В тот же вечер г-ну Грею, главе посольства, нанес якобы личный визит некий придворный и в беседе с ним сказал, «что будет крайне трудно сочетать безопасность королевы Елизаветы и сохранение жизни узницы; кроме того, ежели королева Шотландии будет помнлована и когда-нибудь она или ее сын взойдут на английский престол, это поставит под угрозу жизнь членов комиссии, голосовавших за смертный приговор; по его мнению, есть лишь один способ все уладить: король Шотландии должен отказаться от своих претензий на английское королевство, а иначе Елизавете просто-напросто опасно сохранять жизнь шотландской королеве». Г-н Грей, пристально глянув на гостя, поинтересовался, не его ли государыня поручила ему высказать эти соображения. Однако придворный заявил, что сам дошел до этого и высказывает эти мысли как собственное мнение.

Приняв в последний раз шотландских послов, королева объявила, «что после долгих раздумий она не нашла способа сохранить жизнь королеве Шотландии и обеспечить при этом собственную безопасность, а посему не может помиловать ее».

На такое заявление г-н Грей ответил, «что в таком случае, раз дело принимает подобный оборот, они имеют повеление своего государя заявить ей от имени короля Иакова, что все, что было совершено с его матерью, не имеет законной силы, понеже у королевы Елизаветы нет права судить королеву, такую же, как она, равную ей по сану и по рождению; вследствие всего вышесказанного они предупреждают, что сразу же по их возвращении, как только их государь будет осведомлен, чем завершилось их посольство, он соберет сословия и направит посланников ко всем христианским государям, дабы обсудить с ними,

что они могут предпринять, дабы отомстить за ту, кого не сумели спасти».

Елизавета вновь вышла из себя и сказала, что не верит, будто их король поручил им говорить с нею подобным образом, но послы ответили, что готовы вручить ей это заявление в письменном виде, скрепленное их подписями; тогда Елизавета объявила, что направит посланника к своему доброму и верному союзнику королю Шотландии, дабы все это уладить с ним. Но послы сообщили ей, что их государь не примет никого до их возвращения. После этого Елизавета попросила их не уезжать в ближайшее время, поскольку она еще не приняла окончательного решения.

Вечером после этой аудиенции г-на Грея навестил лорд Хингли и, увидев у него превосходные пистолеты, привезенные из Италии, весьма их хвалил; сразу же после его отъезда г-н Грей попросил родственника лорда Хингли отвезти ему эти пистолеты в подарок. Молодой человек, крайне обрадованный столь приятным поручением, решил исполнить его в тот же вечер и отправился во дворец королевы, где жил его родственник, дабы вручить ему подарок. Однако едва он успел войти, как его задержали, обыскали и нашли при нем подаренные пистолеты. И хотя пистолеты не были даже заряжены, молодого человека подвергли аресту, правда, в Тауэр не отправили, а содержали под охраной в его собственной комнате.

На другой день разошелся слух, что шотландские послы тоже хотели убить королеву и что у убийцы были обнаружены пистолеты, которые ему вручил собственноручно Грей.

Этого оказалось вполне достаточно, чтобы у послых открылись глаза. Убедившись, что они ничего не в силах сделать для несчастной Марии Стюарт, послы оставили ее на произвол судьбы и уже на следующий день отбыли в Шотландию.

Как только они уехали, Елизавета послала своего секретаря Дейвисона к сэру Эймиасу Полету. Дейвисону было поручено вновь прощупать тюремщика в отношении судьбы узницы; королеву пугала необходимость публичной казни, и она вновь вернулась к давним замыслам насчет отравления или убийства Марии Стюарт, однако сэр Эймиас Полет заявил, что не впустит к Марии никого, кроме палача, но и тот должен будет представить приказ об исполнении

приговора, составленный по всем правилам. Дейвисон доложил его ответ Елизавете, и та, слушая его, неоднократно топала ногой, а когда он договорил, воскликнула, не в силах сдержаться:

— Проклятие! Этот щепетильный болван только и знает, что кричит без передышки о своей верности, но не желает доказать ее!

Елизавете пришлось решаться; она истребовала у Дейвисона приказ об исполнении приговора, а когда тот принес его, то, позабыв, что ее мать-королева кончила свою жизнь на эшафоте, с полнейшим бесстрашием поставила свою подпись, велела приложить большую государственную печать и со смехом сказала:

— Ступайте, объявите Уолсингему, что с королевой Марией покончено. Только сделайте это осторожно, а то он болен, и я боюсь, как бы он не умер от удивления.

Шутка была тем более жестокой, что Уолсингем, как всем было известно, являлся самым непримиримым врагом шотландской королевы.

Вечером того же дня, то есть в субботу четырнадцатого, был вызван во дворец родственник Уолсингема сэр Бил. Королева вручила ему смертный приговор и вместе с ним адресованное графам Шрусбери, Кенту и Ратленду, а также другим знатым дворянам, живущим в окрестностях Фотерингея, повеление присутствовать при смертной казни. Бил взял с собою лондонского палача, которого Елизавета ради такого экстраординарного случая велела одеть в черный бархат, и отбыл через два часа после получения приговора.

Мария Стюарт уже два месяца знала про приговор, вынесенный ей членами комиссии. В тот самый день, когда он был объявлен, ей сообщил о нем ее духовник, которому один-единственный раз позволили повидаться с нею. Мария воспользовалась этим визитом, чтобы передать со священником три письма, которые она тогда же и написала: одно, адресованное папе Сиксту V, второе — дону Бернардино Мендосе¹ и третье — герцогу де Гизу²

Вот это письмо:

¹ Мендоса, Бернардино (1541—1604) — испанский дипломат, в 1580-х гг. посол Испании в Англии.

² Гиз, Генрих герцог де (1550—1588) — глава Католической лиги во Франции, стремившейся низложить Генриха III, один из организаторов Варфоломеевской ночи.

«4 декабря 1586 г.

Любезный мой кузен, который мне дороже всех на свете, я говорю Вам «прощайте», ибо я готовлюсь принять смерть по приговору несправедного суда, и при том смерть, которой, слава Богу, не умирал никто из нашего рода, ни одна королева, тем паче моего сана и происхождения. И все же восславьте Господа, дорогой мой кузен, поскольку, живя узницей, я была бесполезна для дела Бога и его церкви, меж тем как моя смерть, напротив, докажет мою твердость в вере и готовность принять мученичество ради поддержания и восстановления католической церкви на этом злосчастном острове. Хотя палач никогда доселе не обогрел руки нашей кровью, не почитайте, мой друг, мою смерть позорной, ибо приговор еретиков, не имеющих никакого права судить меня, королеву, пойдет перед судом Божиим на пользу детям его церкви. Впрочем, согласись я на то, что мне предлагают, чаша сия миновала бы меня. Все из нашего дома преследовалась этой сектой, и доказательство тому Ваш славный отец¹, заступничество которого я надеюсь обрести милосердие праведного Судии. Я оставляю на Вас моих несчастных слуг, уплату моих долгов и прошу служить ежегодную панихиду по мне, но не из Ваших средств, а обратитесь с прошением об указе на сей счет, какой Вы истребуете, когда услышите про мои намерения относительно моих несчастных и верных слуг, которые станут свидетелями моей последней трагедии. Да ниспосллет Господь благоденствие Вам, Вашей жене, детям, братьям и родичам, а прежде всего, нашему главе, моему брату и кузену, и всем его родственникам. Благословение Божие и мое, которое я дала бы своим детям, да снизойдет на Ваших, хотя я все-таки поручаю Божьему попечению и собственному сыну при всей его неблагодарности и заблуждениях. Вы получите от меня кольца, которые будут напоминать Вам, чтобы Вы молились за душу вашей несчастной кузины, не имеющей ничьей помощи и совета, если не считать Бога, который дает мне силу и муже-

¹ Франсуа де Гиз (1519—1563) — французский полководец, в начале религиозных войн командовал католическими войсками, был убит дворянином-гугенотом, подосланным, как утверждали католики, адмиралом Колинни.

ство противостать стае завывающих волков, окруживших меня. Да будет славен Господь.

С полным доверием отнеситесь ко всему, что сообщит Вам человек, который передаст от меня кольцо с рубином, ибо заверяю, что он скажет, как я и велела ему, чистую правду, особенно что касается моих несчастных слуг и доли каждого. Рекомендую Вам этого человека как совершенно честного и порядочного, поместите его в каком-нибудь хорошем месте. Прошу Вас, не нужно, чтобы знали, что он говорил с Вами наедине, поскольку зависть может повредить ему. За два с лишним года я много выстрадала и даже не могу дать Вам об этом представления. Да славится Господь во всем, и да ниспошлет он Вам благодать быть стойким в службе его церкви, пока Вы живы, и да никогда не лишится этой чести наш род: пусть все мы, мужчины и женщины, будем готовы пролить нашу кровь в войне за веру, отметя в сторону все мирские побуждения. Что касается меня, я считаю, что и по матери, и по отцу рождена, дабы отдать свою жизнь за веру, и не намерена отступиться от нее. Иисус, распятый за нас, и все святые мученики делают нас своим заступничеством достойными добровольной жертвы, которую мы приносим своей плотью ради ее славы!

В Фотерингее, в четверг 24 ноября.

Думая унизить меня, сорвали балдахин с моими гербами над креслом, а потом мой страж пришел ко мне и предложил написать их королеве, говоря, что, мол, это было сделано не по ее приказу, а по решению некоторых членов совета. Вместо моих отсутствующих гербов на том балдахине я указала им на крест нашего Спасителя. Можете себе представить нашу беседу, после нее они стали куда смирней.

Ваша любящая кузина и совершенный друг
Мария R.¹ Шотландии, D.² Франции».

С того дня, когда Марии Стюарт стал известен приговор, вынесенный ей членами комиссии, у нее не осталось никаких надежд: зная, что сохранить ей жизнь может только помилование Елизаветы, она была уверена, что

¹ Regina (лат.) — королева

² Dovaiteiu (франц.) — вдовствующая королева.

судьба ее окончательно решена, и все мысли ее были направлены к тому, чтобы приготовиться достойно встретить смерть. Из-за холода и сырости в тюрьме часто бывали периоды, когда она не могла двинуть ни рукой, ни ногой, и потому ее терзал страх, как бы подобное не случилось, когда за нею придут: тогда она не сможет, как рассчитывала, твердым шагом взойти на эшафот. В субботу 14 февраля она призвала к себе своего врача Бургуэна и сказала, что у нее предчувствие, что смерть ее близка, и наде бы попытаться предотвратить наступление болей, не дающих ей двигаться. Врач ответил, что лучше всего было бы очиститься свежесобранными травами.

— Подите, — сказала королева, — к сэру Эймиасу Полету и попросите его от моего имени позволить вам поискать их в окрестностях.

Бургуэн отправился к сэру Полету, у которого у самого был ишиас, и потому он, как никто другой, должен был бы понимать, сколь спешно нужны королеве просимые ее лекарства. Однако получить разрешение оказалось не так то просто. Сэр Эймиас заявил, что не может ничего позволить, не посоветовавшись со своим сотоварищем Друри, а пока что он велит принести бумагу и чернила, дабы Бургуэн написал список потребных трав, а он распорядится собрать и доставить их сюда. Бургуэн ответил, что он недостаточно хорошо знает английский, а деревенские аптекари — недостаточно хорошо латынь, и потому он не станет рисковать жизнью королевы из-за ошибки, которую может допустить то ли он, то ли местный аптекарь. В конце концов после долгих колебаний Полет разрешил Бургуэну вместе с аптекарем Горжоном выйти на сбор трав, и на следующий день королева начала лечение.

Предчувствие не обмануло Марию Стюарт: во вторник 17 февраля около двух часов дня граф Кент, граф Шрусбери и Бил велели передать королеве, что желают поговорить с ней. Королева ответила, что она больна и лежит, но если они собираются сказать ей нечто важное, то пусть немножко подождут, и она встанет. Они ответили, что они должны сделать сообщение, не терпящее отлагательств, и просят ее подготовиться к их визиту; поэтому королева тотчас же встала, надела халат и уселась за столик, за которым привыкла проводить большую часть дня.

И вот вошли оба графа в сопровождении Била, Эймиаса Полета и Драджена Друри. За ними, привлеченные любо-

пытством и страхом, появились самые приближенные и любимые слуги Марии Стюарт. Из женщин то были м-ль Рене де Роали, Джилл Мобрей, Энн Кеннеди, Элспет Керл, Мари Паже и Сьюзен Керкеди. Из мужчин — Доминик Бургуэн, врач королевы, Пьер Горжон, аптекарь, Жак Жерве, хирург, Аннибал Стъарт, лакей, Дидье Сифлар, эконом, Жан Лоде, хлебник и Мартен Юэ, повар.

Лорд Шрусбери, вошедший в комнату королевы, впрочем, как и все остальные, с непокрытой головой, обратился к ней по-английски:

— Миледи, моя августейшая повелительница королева Англии прислала меня вместе с присутствующими здесь графом Кентом и сэром Билом известить вас, что после достойно произведенного дознания по деянию, в коем вы были обвинены и признаны виновной, о чем уже сообщил вашей милости лорд Беркхерст, и после отсрочки исполнения приговора ее величество не может более противиться настояниям своих подданных, которые, полные великой любви к ней и страха за ее жизнь, требуют приведения приговора в исполнение. Посему мы прибыли к вам, миледи, дабы исполнить порученное нам, и почтительнейше просим вас соблагovolить выслушать то, что мы зачитаем.

— Читайте, милорд, я слушаю вас, — с величайшим спокойствием произнесла Мария Стюарт.

После чего сэр Роберт Бил развернул указ, написанный на пергаменте и скрепленный большой печатью из желтого воска, и стал читать его:

«Елизавета, Божьей милостью королева Англии, Франции и Ирландии и проч., нашим любезным и верным кузенам Джорджу графу Шрусбери, великому маршалу Англии, Генри графу Кенту, Генри графу Дерби, Джорджу графу Камберленду, Генри графу Пемброку шлет привет!»

Исходя из приговора, вынесенного нами и другими членами нашего совета, дворянами и судьями, бывшей королеве Шотландии по имени Мария, дочери и наследнице короля Шотландии Иакова Пятого, именуемой обычно королевой Шотландии и вдовствующей королевой

¹ Графы Камберленд, Дерби и Пемброк ослушались приказа королевы и не присутствовали ни при чтении приговора, ни при казни (примеч. автора).

Франции, каковой приговор все общины нашего королевства, собравшиеся в нашем последнем парламенте, не токмо обсудили, но по зрелом обсуждении признали справедливым и разумным; исходя также из настоятельных просьб и ходатайств наших подданных, умоляющих и настаивающих обнародовать вышеупомянутый приговор названной особе и привести его в исполнение, ибо они почитают его в полной мере заслуженным, добавляя притом, что содержание оной в заключении каждодневно будет представлять несомненную и явную опасность не только для нашей жизни, но и для них самих, их потомства и общественного порядка в королевстве, равно имея в виду как дело Евангелия и истинной христианской религии, так и мир и покой в государстве; однако мы отсрочивали публичное оповещение названного приговора и до сего часа воздерживались издать повеление об его исполнении; тем не менее для всецелова удовлетворения помянутых ходатайств, производимых общинами нашего парламента, от которого мы каждодневно слышим, что все наши верноподданные, начиная от дворянства вплоть до людей низкого звания, в полном согласии с самыми мудрыми, знатными и благочестивыми и с верноподданной и чувствительной любовью к нам в заботе о нашей жизни, равно как в опасении, как бы не было разрушено нынешнее благословенное и счастливое состояние нашего королевства, ежели мы уклонимся от исполнения приговора, принимают и желают исполнения оного, и хотя всеобщие и непрестанные ходатайства, просьбы, советы и пожелания противоречат в подобных случаях нашей естественной склонности, мы, убежденные настоятельностью их непрестанных прошений, имеющих целью безопасность нашей особы, а равно и общественный порядок в нашем королевстве, наконец согласились и смирились со свершением правосудия и казнью оной и, принимая во внимание особое доверие, каковое мы питаем к вашей верности и преданности, а равно зная вашу любовь и привязанность в отношении нас и ваши заслуги в обеспечении безопасности нашей особы и нашей родины, в коей вы являетесь знатнейшими и первейшими людьми, призываем вас и повелеваем во исполнение оного приговора отправиться в замок Фотерингей, где под охраной нашего любезного и верного слуги и советника сэра Эймиаса Полета

находится бывшая королева Шотландии, взять на себя бремя и произвести под вашим наблюдением казнь над ее особой в вашем собственном присутствии, а также в присутствии всех тех служителей правосудия, которым вы прикажете быть там, пребывая в ожидании, что названная казнь будет произведена тем способом и в той форме, а также в то время и в том месте и в присутствии тех лиц, которые вы пятеро, четверо, трое либо двое по вашему собственному усмотрению сочтете необходимыми, вне зависимости от любых законов, установлений и указов, противоречащих настоящему повелению, скрепленному нашей большой печатью королевства Англии, каковое послужит каждому из вас, а равно всем, кто будет присутствовать или по вашему приказанию иметь какое-либо касательство к вышеназванной казни, полным и достаточным оправданием на все времена.

Учинено и дано в нашем доме в Гринвиче первого дня февраля месяца (10 февраля нового стиля) на двадцать пятом году нашего царствования».

Мария с величайшим спокойствием и непоколебимым достоинством слушала чтение, а когда оно было завершено, осенив себя знаком креста, промолвила:

— Да будет благословенна любая весть, ниспосланная Господом! Благодарю тебя, Боже, за то что ты кладешь конец злоключениям, которые я терпела на твоих глазах больше девятнадцати лет.

— Миледи, — обратился к ней граф Кент, — не держите на нас зла за вашу смерть: она необходима для спокойствия государства и успехов новой религии.

— Значит, — радостно воскликнула Мария, — мне посчастливится умереть за веру моих отцов, и Господь Бог удостоит меня приобщиться к славе мучеников! Благодарю тебя, Боже, — молитвенно сложив руки, продолжала она уже не столь экзальтированно, но с благочестивым смирением, — благодарю за то, что ты благоволил даровать мне конец, какого я не заслуживаю. Господи, ведь это же доказательство, что ты любишь меня, и подтверждение, что принимаешь меня в число своих слуг. Ведь хотя мне сообщили про этот приговор, я из-за того как со мной обходились девятнадцать лет, боялась, что буду лишена столь счастливого конца, что ваша королева не осмелится

поднять руку на меня, такую же королеву милостью Божией, как он, дочь короля, как она, помазанницу Божию, как она, близкую ее родственницу, внучку короля Генриха Седьмого, и к тому же имевшую честь быть королевой Франции и являющуюся вдовствующей королевой этой страны. И этот мой страх был тем более велик и оправдан, что я, — тут она положила руку на Новый Завет, лежащий рядом на столике, — никогда — клянусь в том на этой святой книге — не замышляла, никого не подстрекала и даже не желала смерти моей сестре, королеве Англии.

— Миледи, — подойдя к столу и указывая на Новый Завет, промолвил граф Кент, — эта книга, на которой вы клянетесь, не настоящая, потому что это папистская версия, и посему вашу клятву должно считать не более достоверной, чем книга, на которой она принесена.

— Милорд, — отвечала королева, — возможно, то, что вы говорите, верно для вас, но не для меня, поскольку я знаю, что эта книга — точное и подлинное изложение слов нашего Спасителя, сделанное весьма ученым и почтенным доктором и одобренное церковью.

— Ваша милость, — возразил граф Кент, — закоснела в том, что узнала и чему научилась в юности, и никогда не интересовалась, что хорошо, а что плохо. Неудивительно, что вы упорствуете в своих заблуждениях, ведь вы никогда не имели возможности послушать человека, который помог бы вам познать истину. А поскольку у вашей милости осталось всего несколько часов жизни и нельзя терять ни минуты, мы, с позволения вашей милости, пришлем к вам декана из Питерборо, человека величайшей учености в вопросах религии, который словом своим приготовит вас к спасению, которому вы, к величайшему нашему сожалению и к прискорбию нашей августейшей государыни, препятствуете приверженностью к папистским безрассудствам, мерзостям и простительным только малым детям глупостям, из-за которых католики расходятся со святым словом Божиим и познанием истины.

— Вы заблуждаетесь, милорд, — мягко заметила королева, — полагая, будто я бездумно росла в вере своих отцов и не занималась самым серьезнейшим образом столь важной проблемой, каковой является религия. Напротив, я в своей жизни встречалась со сведущими и учеными людьми, которые научили меня всему, чему следовало научиться, и я многое почерпывала из чтения их книг, пока

меня не лишили возможности внимать их слову. Присутствующий здесь граф Шрусбери подтвердит вам, что после прибытия в Англию я во время поста думала над этими проблемами и слушала ваших учнейших богословов, но их слова нисколько не задели моей души. Так что совершенно бессмысленно, милорд, — улыбнулась она, — присылать к такой закоснелой особе, как я, декана из Питерборо, сколь бы знающ он ни был. Единственное, что я попрошу взамен него, милорд, и за что буду вам благодарна превыше всех мер, — пришлите ко мне моего духовника, которого вы держите здесь взаперти, чтобы он дал мне утешение и приуготовил меня к смерти, а в случае его отсутствия любого другого католического священнослужителя, кем бы он ни был, пусть даже бедным деревенским священником, ибо Господу это неважно, и он требует от него не учености, но веры.

— Сожалею, ваша милость, — объявил граф Кент, — но вынужден отказать в этой вашей просьбе, ибо исполнить ее означало бы поступить противу нашей религии и совести, и посему мы вновь предлагаем вам почтенного декана из Питерборо, убежденные, что он даст вашей милости утешение куда успешнее и принесет пользы куда больше, чем любой епископ, священник или викарий католического исповедания.

— Благодарю, милорд, — еще раз отказалась королева, — но мне не о чем с ним говорить, а так как совесть моя чиста и я не совершала преступления, за которое меня казнят, то с Божьей помощью мученичество заменит мне исповедь. А теперь, милорд, я напомню вам ваши недавние слова, что мне осталось мало жить, и эти немногие часы мне будет куда полезнее провести в молитве и благоговейном самоуглублении, а не в пустых препирательствах.

С этими словами она поднялась, кивнула графам, сэру Билу, Эймиасу и Друри и величественным жестом показала им, что желает остаться одна, но когда они уже уходили, вдруг вспомнила:

— Кстати, милорды, к какому времени я должна приготовиться умереть?

— Завтра к восьми утра, миледи, — запинаясь, ответил граф Шрусбери.

— Прекрасно, — бросила Мария. — А не можете ли вы мне сообщить от имени моей сестры Елизаветы, ответ на письмо, которое я написала ей около месяца назад?

— Простите миледи, а о чем было письмо? — осведомился граф Кент.

— О моих похоронах, милорд. Я просила, чтобы меня погребли во Франции в кафедральном соборе Реймса рядом с моей блаженной памяти матерью-королевой.

— Это никак невозможно, миледи, — отвечал граф Кент, — но вам не стоит беспокоиться обо всем этом: королева, моя августейшая повелительница, предусмотрит и устроит все должным образом. У вашей милости есть еще какие-нибудь просьбы к нам?

— Еще я хотела бы знать, — продолжала королева, — будет ли дозволено моим слугам вернуться в свои страны с тем немногим, что я смогу им дать. Признаться, это и вправду очень мало за их долгую службу мне и долгое заключение, которое они претерпели из-за меня.

— У нас нет никаких полномочий отвечать на этот вопрос, миледи, — сказал граф Кент, — но думаем, что и здесь, как во всем прочем, будут отданы распоряжения сделать все в соответствии с вашим волеизъявлением. У вашей милости есть к нам еще вопросы?

— Нет, милорд, — ответила королева и вновь кивнула. — Вы можете удалиться.

— Минуточку, милорды! Минуточку! — вскричал старик-врач, выскочив из ряда слуг и бросившись на колени перед графами.

— А вам что угодно? — осведомился граф Шрусбери.

— Сказать вам, милорды, — отвечал со слезами на глазах Бургуэн, — что время, которое вы отвели ее величеству для столь важного дела, каким является прощание с жизнью, совершенно недостаточно. Вспомните, милорды, какой сан имела и какое место занимала среди монархов на земле та, кого вы приговорили к смерти, и подумайте, можно ли и пристойно ли относиться к ней как к обычной приговоренной из простого народа. Сделайте это, милорды, если не ради этой благородной королевы, то хотя бы ради нас, ее несчастных слуг, которые так долго имели честь быть рядом с ней, и потому мы не можем и не готовы так скоро с ней расстаться. И потом, милорды, даме ее положения и сана необходимо некоторое время, чтобы отдать последние распоряжения относительно своих дел. Боже, что станет с нею и со всеми нами, если перед смертью наша госпожа не будет иметь времени распорядиться своим наследством, произвести расчет, привести в

порядок свои бумаги и грамоты? Она должна вознаградить нас за службу и распорядиться насчет панихид. И теперь ей придется заняться либо тем, либо другим. Но мы знаем, милорды, что она станет заниматься лишь нами, и таким образом, пренебрежет собственным спасением. Милорды, дайте ей несколько дней сроку! Наша госпожа слишком горда, чтобы просить вас об этой милости, и потому я прошу об этом от имени всех нас и умоляю не отказать несчастным слугам в просьбе, которую ваша августейшая королева несомненно удовлетворила бы, если бы мы имели счастье припасть к ее стопам.

— Миледи, вы действительно еще не написали духовной? — спросил сэр Роберт Бил.

— Нет, сударь, — ответила королева.

— В таком случае, милорды, — обратился он к графам, — может быть, и впрямь стоит дать отсрочку на день или на два?

— Невозможно, сударь, — решительно произнес граф Шрусбери, — день и час установлены, и мы не можем сдвинуть этот срок ни на минуту.

— Довольно, Бургуэн, довольно, — промолвила королева. — Приказываю вам встать.

Бургуэн встал, а граф Шрусбери, повернувшись к сэру Эймиасу Полету, который стоял позади него, сказал:

— Сэр Эймиас, мы оставляем на вас эту женщину. Возьмите ее на свое попечение и держите под строгой охраной до нашего возвращения.

После этого он удалился, и с ним вместе ушли граф Кент, сэр Роберт Бил, Эймиас Полет и Друри, королева же осталась со своими слугами.

Она обернулась к служанкам, и лицо у нее было такое безмятежное, словно то, что сейчас происходило тут, не имело большого значения.

— Ну, что, Энн, — обратилась она к Кеннеди, — разве я не предсказывала вам, разве не была уверена, что в глубине души им безумно хочется это сделать? Во всех их действиях я видела цель, которую они себе поставили, и прекрасно знала, что я слишком большая помеха для их ложной религии, чтобы меня можно было оставить в живых. А сейчас, — продолжала она, — давайте поскорей поужинаем, чтобы у меня осталось время.

Но, видя, что слуги, вместо того чтобы готовить ужин, все так же стоят, плача и причитая, сказала с грустной улыбкой:

— Дети мои, нет никакой причины для слез, напротив, если вы меня любите, вы должны радоваться, что Господь позволяет мне умереть за его дело, избавляя от мук, какие я терпела целых девятнадцать лет. И я благодарю его, что он велит мне отдать жизнь во славу его религии и его церкви. Так что успокойтесь, мужчины пусть займутся приготовлением ужина, а мы, женщины, пока помолимся.

Мужчины, утирая слезы, вышли, а королева и женщины опустили на колени. Было прочитано много молитв, после чего Мария Стюарт поднялась и велела принести все оставшиеся у нее деньги. Пересчитав, она разделила их на части и положила в кошельки, и в каждый вложила записку с собственноручно написанным именем того, кому этот кошелек предназначается.

К тому времени был накрыт ужин, и королева вместе с женщинами, как было заведено у нее, села за стол, а остальные слуги либо стояли вокруг, либо занимались своими делами; за столом ей прислуживал врач — так повелось с той поры, как она осталась без своего дворецкого. Поела она ни больше и ни меньше, чем обычно, и в продолжение всего ужина говорила о графе Кенте и как он выдал себя в вопросе веры, упорно настаивая на том, чтобы прислать ей англиканского священника.

— К счастью, — добавила она, смеясь, — чтобы заставить меня отступить, им нужно было бы найти человека поизворотливей.

А Бургуэн стоял позади нее и плакал: он думал о том, что это ее последний ужин, что вот она ест, разговаривает, смеется, а завтра в это время будет холодным, бесчувственным трупом.

В конце ужина королева попросила прийти всех слуг и, прежде чем встать из-за стола, налила себе бокал вина, поднялась, выпила за их здоровье и спросила, не хотят ли они выпить за нее. Она велела принести всем бокалы, все опустили на колени и, как повествуется в сообщении о последних часах и казни Марии Стюарт, откуда мы почерпнули эти сведения, попросили, мешая слезы с вином, прощения за все вины, какие у них могут быть перед ней. Королева простила их и попросила простить равно и ее, не держать зла на ее раздражительность и понять, что

причиной этого было пребывание в заключении. Потом она имела с ними долгий разговор, во время которого говорила им об их долге перед Богом, призвала стойко держаться католической веры, а после ее смерти жить друг с другом в мире и согласии, позабыв все мелкие раздоры и споры, которые случались у них в прошлом.

Закончив разговор, королева хотела спуститься в гардеробную посмотреть, какие платья и украшения она может раздать, но Бургуэн заметил, что лучше, пожалуй, было бы принести все эти вещи сюда, причем исходя из двух соображений: во-первых, она не так устанет, а во-вторых, их не увидят англичане. Это второе соображение убедило королеву, и, пока слуги ужинали, она распорядилась принести сперва все платья в приемную и, взяв у хранителя гардероба опись, стала писать на полях возле названия каждой вещи, кому она предназначается. По мере того как она писала, каждый, получивший подарок, брал его и откладывал в сторону. Что же касается вещей слишком личных, чтобы их можно было вот так раздарить, королева приказала их продать, а вырученными деньгами оплатить переезд слуг к себе на родину, поскольку она знала, что это потребует таких расходов, каких никто из них не мог себе позволить. Дойдя до конца описи, королева поставила под ней подпись и передала хранителю гардеробной, дабы она служила ему в качестве расписки.

Покончив с этим делом, Мария перешла к себе в спальню, куда ей принесли ее кольца, драгоценности и наиболее дорогие предметы утвари; она перебрала их все вплоть до самых малоценных и распределила таким образом, что каждый, включая и присутствующих и отсутствующих, что-то получил. Кроме того, она вручила самым верным слугам драгоценности, предназначенные для передачи королю и королеве Францин, а также королеве-матери, своему сыну королю Иакову VI, герцогам де Гизу и Лотарингскому, не упустив ни одного из своих коронованных и высокопоставленных родственников. И еще она решила, чтобы каждый оставил себе те вещи, которые были на его попечении по роду службы: отдам белье той, которая занималась им, все шелковые вещи той, что их сохраняла, серебряную посуду буфетчику, распорядившись подобным образом и со всем прочим. Когда же у нее попросили дарственные, она ответила:

— Это ни к чему. Вы обязаны давать отчет только мне, а завтра его вам будет давать некому.

Но когда они заметили, что король, ее сын, может потребовать эти вещи у них, она признала их правоту и дала каждому просимую дарственную.

Поскольку у Марии не осталось ни малейшей надежды на посещение ее исповедника, она написала ему следующее письмо:

«Меня терзали весь день из-за моей религии и уламывали принять утешение от еретика; от Бургуэна и других Вы узнаете, что все их слова и уговоры оказались тщетными, я твердо объявила, в какой вере желаю умереть. Я попросила позволить Вас принять у меня исповедь и дать причастие, в чем мне безжалостно отказали, равно как отказали перевезти мое тело во Францию и возможности сделать по своей воле завещание, так что я теперь могу писать только через них и по благоусмотрению их повелительницы. Не имея возможности свидеться с Вами, я исповедуюсь Вам во всех моих грехах совокупно, как исповедывалась в каждом по отдельности, и именем Бога заклинаю Вас молиться и бодрствовать этой ночью вместе со мной ради искупления моих грехов и прислать мне свое отпущение и прощение за все обиды, какие я Вам причинила. Я попытаюсь встретиться с Вами в их присутствии, как они позволили мне свидеться с моим дворецким, и ежели мне будет дано разрешение на это, то при всех коленапреклоненно попрошу Вашего благословения. Пришлите мне самые лучшие молитвы, какие Вы знаете, на эту ночь и на завтрашнее утро. Время бежит, и я не могу долго писать, но будьте спокойны: я походатайствовала о покровительстве Вам, как, впрочем, и всем остальным моим слугам, а главное, Вы получите все свои бенефиции. Прощайте, писать больше нету времени. Напишите и пришлите мне все самое лучшее, что сможете найти, из молитв и поучений для спасения моей души. Посылаю Вам свое последнее колечко».

Завершив письмо, королева тотчас же принялась за завещание и написала его одним духом, можно сказать, не отрывая пера от бумаги; оно заняло два больших листа и состояло из множества статей, в которых никто не был

забыт, ни присутствующие, ни отсутствующие; скрупулезно и справедливо она разделила между ними то небольшое, что имела, больше, впрочем, думая о нуждах оделяемых, чем о заслугах на службе. Распорядителями завещания она выбрала своего двоюродного брата герцога де Гиза, архиепископа Глазго, своего посла, епископа Росского, ведавшего у нее раздачей подаваний, и г-на де Рюиссо, своего канцлера, и все четверо были достойны возложенной на них обязанности — первый по причине своего влияния, епископы за благочестие и совестливость, а последний благодаря умению вести дела.

После завещания она написала письмо королю Франции:

«Государь, мой деверь!

Попав попущением Божиим и, думаю, за свои грехи во власть королевы, моей кузины, я претерпевала в течение почти двадцати лет притеснения, но наконец приговорена к смерти ею и ее общинами; попросив назад свои бумаги, изъятые ею, я не смогла получить ничего, что мне было нужно, и не получила даже возможности свободно написать свою последнюю волю, а также разрешения, чтобы после смерти мое тело было перевезено, что является самым моим пламенным желанием, в Ваше королевство, где я имела честь быть королевой, будучи Вашей сестрой и союзницей. Сегодня после обеда мне без малейшего почтения объявили приговор, и завтра в восемь утра меня казнят, словно обычную преступницу. У меня нет времени написать Вам подробный отчет о том, что я, хвала Господу, презрела смерть, заявила, что неповинна ни в каком преступлении, за которое меня можно было бы судить, если бы я являлась ее подданной, каковой я никогда не была. Впрочем, подлинными причинами этого смертного приговора являются моя приверженность к католической религии и мои права на английскую корону, и тем не менее мне не хотят позволить сказать, что я умираю за веру, поскольку моя вера губительна для их веры, и это столь же истинно, как и то, что они разделили меня с моим духовником, который, хотя и является узником в этом же замке, не может прийти ко мне, чтобы исповедать меня и дать святое причастие; напротив того, они упорно настаивали, чтобы я получила утешение от их проповедника,

которого они нарочно для этого привезли. Тот, кто доставит Вам это мое письмо, и остальные мои слуги, являющиеся, по большей части, Вашими подданными, поведают Вам, как я приняла смерть. Теперь мне остается умолять Вас, как христианнейшего короля, как моего деверя, как моего давнего союзника, от которого я часто имела честь получать заверения в дружбе ко мне, дать доказательство этой дружбы и в своей добродетельности и милосердности помочь мне в том, без чего, ежели Вы не окажете мне помощь, совесть моя не будет чиста, а именно вознаградить моих добрых безутешных слуг, заплатив им за службу, а также заказать молебны за королеву, которая носила титул христианнейшей и которая, лишенная всех своих владений, умирает католичкой. Что касается моего сына, поручаю его Вам лишь в той мере, в какой он будет того заслуживать, поскольку тут я ни за что ручаться не могу, но вот слуг своих поручаю Вам, молитвенно сложив руки. Я взяла на себя смелость послать Вам два редких камня, способствующих здоровью, и желаю, чтобы оно у Вас было крепким и нерушимым, а жизнь долгой; примите их как доказательство самых добрых чувств, какие питает к Вам ваша любящая невестка, готовящаяся принять смерть.

В памятной записке я рекомендую Вам своих слуг и прошу Вас распорядиться, чтобы мне выплатили часть того, что Вы мне должны, дабы использовать эти деньги ради спасения моей души; заклинаю Вас именем Христа, которого завтра перед смертью я буду молить, дабы Вы сделали вклад на ежегодные панихиды по мне и раздачу милостыни.

В среду в 2 часа пополночи.

Ваша любящая сестра
Мария, R.♦

С завещания, писем и рекомендации королева велела сделать копии, которые тут же скрепила подписью, с тем чтобы если одни попадут в руки англичан, то другие дошли бы до адресата. Бургуэн заметил ей, что она совершенно зря так торопилась закончить их, так как, вполне возможно, часа через два-три она припомнит, что позабыла туда что-то включить. Но королева не придавала значения его замечанию, заверив, что ничего не забыла, а ежели и

забыла, то сейчас у нее осталось время только для молитвы и на то, чтобы подумать о душе. Она заперла все бумаги в ящик бюро, ключ от которого отдала Бургуэну, велела принести воды для ножной ванны, принимала ее минут десять, после чего легла в постель, но все обратили внимание, что она не спит и либо тихо молится, либо пребывает в размышлениях.

Обыкновенно после молитвы королеве читали житие какого-нибудь святого или святой, и она решила не нарушать обычай и после долгих колебаний для этого последнего раза попросила прочитать про самого великого грешника из них, именуемого святым разбойником¹, смиренно промолвив:

— Каким бы великим грешником он ни был, все равно он менее грешен, чем я, и я хочу молить его в память о страстях Христовых смиростивиться надо мной в час моей смерти, как смиростивился над ним наш Спаситель.

Когда чтение было закончено, она велела принести все свои платки и самый красивый, из тонкого батиста с золотой каймой, выбрала, чтобы ей завтра завязали им глаза.

На рассвете, вспомнив, что жить ей осталось не больше двух часов, она встала и начала одеваться, но вскоре к ней в спальню вошел Бургуэн, который, опасаясь, как бы отсутствующие слуги не стали роптать на королеву, если вдруг они окажутся недовольны завещанием, и не обвинили находившихся в замке, что те уменьшили их долю в свою пользу, упросил Марию Стюарт всех собрать и прочесть вслух завещание, что она сочла весьма разумным и дала на это согласие.

Собрались все слуги, и королева прочла завещание, объявив, что это ее последняя нерушимая воля, написанная и подписанная ею собственноручно, и она просит всех присутствующих способствовать всеми имеющимися у них средствами исполнению ее без каких-либо упущений и изменений; ей это было обещано, и она вручила завещание Бургуэну, наказав отдать его герцогу де Гизу, которого она выбрала главным исполнителем, а также передала все наиболее важные бумаги и письма к королю; после этого она велела принести шкатулку с кошельками, о которых мы упоминали выше, открывала их один за другим и,

¹ Имеется в виду тот из двух распятых вместе с Христом разбойников, который перед смертью уверовал. Евангелие, Лука, 23, 40—43.

прочитав на вложенной туда записке, кому он предназначен, вручала этому человеку, причем никто из получавших заранее не знал, сколько там денег. Сумма подарка менялась от двадцати до трехсот экю. К этим деньгам она прибавила семьсот фунтов для раздачи бедным: в Англии двести фунтов и пятьсот во Франции; кроме того, каждому из своей свиты она дала по два нобиля для раздачи милостыни по собственному усмотрению и, наконец, вручила пятьсот экю Бургуэну, чтобы он разделил их между всеми, когда настанет пора разъезжаться; таким образом были одарены деньгами двадцать семь человек.

Все это королева проделала с величайшим спокойствием и безмятежностью, никто не заметил никаких перемен в ее лице; впечатление было такое, словно она готовилась всего-навсего к путешествию или перемене жилья; затем Мария отпустила слуг и продолжила одевание, выбрав все самое лучшее и самое изысканное из своего гардероба.

Покончив с туалетом, королева прошла в переднюю, где стоял алтарь, у которого ее духовник, пока его не отделили от нее, служил мессу; окруженная слугами, она преклонила колени на ступенях алтаря и стала читать молитвы причастного канона, а потом вынула из золотого ларчика облатку, освященную папой Пием V, которую она хранила, чтобы причаститься ею перед смертью, попросила Бургуэна принять ее у него и заменить, поскольку он является самым старым из всех, священника: ведь старость священна; вот так она приняла святое причастие, несмотря на все старания не дать ей получить его.

Когда этот обряд был завершен, Бургуэн сказал королеве, что она забыла упомянуть в завещании трех человек, а именно м-ль Борегар, м-ль де Монбрен и духовника. Королева весьма удивилась своей непроизвольной забывчивости и, взяв завещание, на полях написала распоряжение относительно названных лиц, после чего вновь опустилась на колени и погрузилась в молитву, но очень скоро у нее заболели ноги, и она встала; Бургуэн принес ей немного хлеба и вина, она поела и выпила, а, покончив с едой, протянула ему, как было у нее заведено, руку и поблагодарила за то, что он прислуживал ей при последней трапезе. Потом она опять преклонила колени и стала молиться.

¹ Название старинной английской золотой монеты.

Молитва длилась недолго: раздался стук в дверь; королева поняла, что за нею пришли, но поскольку она еще не кончила молитву, то попросила пришедших немножко подождать: через несколько минут она будет готова. Но графы Кент и Шрусбери, вспомнив, как она противилась и не желала предстать перед комиссией и обвинителями, приказали войти в переднюю, где они ожидали, несколькими вооруженным стражникам, чтобы в случае необходимости можно было применить силу, то есть если бы она сама отказалась добровольно выйти, либо слуги стали защищать ее. Некоторые утверждают, будто лорды ворвались к ней в спальню, но это неправда. Они переступили порог ее спальни всего один раз, когда — и мы об этом рассказывали — пришли сообщить ей приговор.

Тем не менее они подождали несколько минут, как просила королева, а около восьми постучались снова, причем в этом им помогала и стража, но, к их удивлению, им тут же открыли, и они увидели, что королева стоит на коленях и молится; сэр Томас Эндру, бывший тогда шерифом графства Нортгемптон, вошел, держа в руке белый жезл, торжественно проследовал мимо коленопреклоненных и погруженных в молитву слуг и остановился позади королевы; он подождал несколько секунд, но поскольку Мария Стюарт, похоже, не видела его, объявил:

— Миледи, лорды прислали меня за вами.

Услышав эти слова, королева обернулась, прервала молитву и поднялась с колен.

— Идемте, — сказала она.

Бургуэн снял висевшее над алтарем распятие черного дерева с изваянием из слоновой кости Христом и спросил:

— Ваше величество, не угодно ли будет вам взять с собою этот крест?

— Спасибо, что напомнили, — ответила королева, — я как раз хотела взять его с собой, но забыла.

Она вручила распятие Аннибалу Стьюарту, своему лакею, чтобы тот подал ей его, когда она попросит, и, опираясь, так как у нее страшно болели ноги, на руку Бургуэна, направилась к выходу. Однако у дверей Бургуэн внезапно остановился и сказал:

— Вашему величеству известно, как мы все любим ее, и если бы ваше величество приказала нам умереть за нее, мы, не раздумывая, исполнили бы приказ, но я не в силах провожать ваше величество дальше. К тому же нельзя,

чтобы все выглядело так, будто мы, которые обязаны защищать ваше величество до последней капли крови, предали вас и выдали этим подлым англичанам.

— Вы правы, Бургуэн, — согласилась королева, — притом в вашем возрасте и при вашей любви ко мне смотреть, как меня казнят, будет слишком тяжело для вас, и я хочу избавить вас от этого. Сэр, — обратилась она к шерифу, — позовите кого-нибудь, чтобы я могла на него опереться. Вы же видите, я не могу идти.

Шериф поклонился и дал знак двум стражникам, которых он укрыл за дверью на тот случай, если королева окажет сопротивление и придется применять силу, приблизиться и помочь королеве. После этого Мария Стюарт продолжила путь, предшествуемая и сопровождаемая рыдающими слугами. Но стража у вторых дверей остановила их, объявив, что далее им идти запрещено. Этот несправедливый запрет вызвал возмущение слуг; они кричали стражникам, что девятнадцать лет разделяют заключение с королевой и всюду сопровождали ее, что бесчеловечно лишать их госпожу в минуту смерти их помощи, а этот приказ, вне всяких сомнений, отдан только потому, что над нею хотят совершить какую-то гнусную жестокость и не желают, чтобы они были тому свидетелями. Возглавлявший слуг Бургуэн, видя, что ни угрозами, ни мольбами добиться ничего не удастся, попросил позволения поговорить с лордами, но ему отказали в этом; слуги попытались прорваться силой, стражники стали их отгонять, нанося удары прикладами аркебуз, и тогда заговорила королева.

— Стыдно вам, — сказала она, — запрещать моим слугам проводить меня. Я начинаю верить, как и они, что вы задумали не просто казнить меня, но что у вас есть еще какие-то злые умыслы.

— Миледи, — объявил шериф, — вас могут проводить четверо ваших слуг, которых вы сами укажете, но не больше. Когда вы спуститесь вниз, за ними придут, и они присоединятся к вам.

— Как! — вскричала королева. — В этот час меня могут проводить всего четверо слуг?

— Так распорядились лорды, миледи, — объяснил шериф, — и я, к величайшему моему сожалению, ничего не могу сделать.

Королева приняла от Аннибала Стюарта распятие, в другую руку взяла молитвенник и платок и обратилась к слугам:

— Дети мои, к нашим страданиям добавляется еще одно. Воспримем же его по-христиански и принесем Господу и эту новую жертву.

После этих слов со всех сторон послышались всхлипывания и рыдания; слуги упали на колени; одни из них в отчаянии катались по земле и рвали на себе волосы, а другие целовали королеве руки, колени и даже край ее платья, просили прощение за все, в чем она могла бы их упрекнуть, именуя ее своей матерью. Но, сочтя, видимо, что сцена слишком затянулась, шериф сделал знак, солдаты затолкали слуг в комнату и заперли за ними двери.

На верхней площадке лестницы королеву ожидал Эндрю Мелвил, ее дворецкий, с которым ее уже давно разлучили; он получил дозволение в последний раз свидеться с нею перед казнью. Королева, ускорив шаг, приблизилась к нему и опустилась перед ним на колени, желая получить благословение, каковое он со слезами на глазах и дал ей

— Мелвил, — сказала королева, не поднимаясь с колен и впервые в жизни обращаясь к нему на «ты», — ты был добрым слугой мне, будь таким же добрым слугой и моему сыну. Сразу же после моей смерти отправляйся к нему и во всех подробностях расскажи о ней. Передай, что я желаю ему всяческого благоденствия и молю Бога, чтобы тот ниспослал на него Духа Святого

— Ваше величество, это самое печальное поручение, какое только может быть дано человеку, но я в точности исполню его.

— Мелвил, что ты говоришь! — воскликнула королева. — Да может ли быть лучше весть, чем та, которую ты принесешь, — что я избавилась от всех земных скорбей? Скажи ему, что он должен радоваться, так как невзгодам Марии Стюарт настал конец, скажи, что я умерла католичкой, твердой в своей религии, шотландкой и француженкой и что я простила тех, кто послал меня на смерть. Скажи, что я всегда желала объединения Англии и Шотландии, а в конце скажи, что я не совершила ничего, что могло бы нанести ущерб королевству и пойти во вред ему как королю и суверенному государю. А теперь, прощай, мой добрый Мелвил, до встречи на небесах.

После чего, опершись на руку старика, лицо которого было залито слезами, она сошла по лестнице; внизу ее ожидали оба графа, сэр Генри Толбет, сын графа Шрусбери, сэр Эймиас Полет, сэр Драджен Друри, сэр Роберт Бил и множество местных дворян; подойдя к ним, королева без высокомерия, но и без униженности посетовала, что ее слугам запрещено сопровождать ее, и попросила дать им такое разрешение. Лорды отошли и стали совещаться, и через некоторое время граф Кент сообщил королеве, что число слуг увеличено до шести, и осведомился, кого бы она хотела назвать. Из мужчин королева назвала Бургуэна, Горжона, Жерве и Дидье, а из женщин Энн Кеннеди и Элспет Керл, которых всегда отличала среди прочих, хотя последняя и была дочерью предавшего ее секретаря. Но возникло новое затруднение: графы заявили, что разрешение не распространяется на женщин, так как женщины не привыкли присутствовать при подобных зрелищах, в таких случаях они обыкновенно возбуждают сумятицу воплями и причитаниями, а когда падает голова, они рвутся на эшафот, чтобы омочить свои платки в крови, что совершенно недопустимо.

— Милорды, — заявила королева, — я отвечаю за своих слуг и обещаю, что они воздержатся от действий, которых опасаются ваши милости. Ах, несчастные! Они были бы так счастливы, если бы смогли попроситься со мной. Я уверена, что ваша повелительница, будучи девственницей и королевой, должна понимать, что такое честь женщины, и не давала вам столь строгих указаний, чтобы вы не посмели исполнить эту мою совершенно незначительную просьбу. И притом, — заметила она, — должно бы иметь в виду и мой сан, ведь как-никак я — кузина вашей королевы, внучка Генриха Седьмого, вдовствующая королева Франции и помазанная королева Шотландии.

Лорды снова отошли в сторону и после недолгого совещания разрешили королеве то, что она просила. Два стражника тут же отправились за названными ею слугами.

Королева же, поддерживаемая двумя дворянами из службы сэра Эймиаса Полета, вступила в большой зал; впереди нее шествовал шериф, за нею следовали графы и дворяне, а Эндрю Мелвил нес ее шлейф. Ее наряд, который она выбирала, как мы упоминали, с величайшей заботливостью, состоял из чепца тончайшего батиста, отделанного кружевами, с кружевной же вуалью, откинутой назад и

ниспадающей чуть ли не до земли; черного плаща из тисненого атласа на подкладке из черной же тафты, отделанного спереди собольим мехом, с длинным шлейфом и длинными, до пола, рукавами; у него были черные пуговицы из агата в форме желудей в обрамлении из жемчужин, и стоячий, по итальянской моде, воротник; платье было из черного узорчатого атласа, а под него она надела зашнуровывающийся сзади корсет пунцового шелка, отделанный бархатом того же цвета; на груди у нее висел на цепочке из сандалового дерева золотой крест, а с пояса свисали две нитки четок; в таком виде она вступила в зал, где был воздвигнут эшафот.

Он представлял собой дощатый помост высотой примерно в два фута, а в ширину и в длину около двенадцати; по всем четырем сторонам эшафот был огорожен барьером и покрыт черным сукном; на нем находились небольшая скамья, подушка, чтобы преклонить колени, и плаха, также покрытая черным сукном. Когда, поднявшись по двум ступенькам, королева взошла на него, к ней приблизился палач, опустился на одно колено и попросил прощения за то, что вынужден исполнить свои обязанности; при этом он прятал за спиной топор, но так неловко, что Мария Стюарт увидела его и воскликнула:

— Ах! Я предпочла бы, чтобы голову мне отрубили мечом, как во Франции!

— Не моя вина, что последнее желание вашего величества не может быть исполнено, — ответил ей палач. — Меня не предупредили, и я не взял с собой меч, а здесь сумел найти только топор, так что придется воспользоваться им. Но это не помешает вашему величеству простить меня?

— Прощаю вас, друг мой, — сказала Мария Стюарт, — и в доказательство, вот вам моя рука, можете поцеловать ее.

Приложившись к ее руке, палач поднялся и придвинул скамейку. Мария села, по левую ее руку встали граф Кент и граф Шрусбери, перед ней шериф и палач, Эймиас Полет позади, а за барьерами вокруг эшафота теснились дворяне и рыцари числом не менее двухсот пятидесяти; Роберт Бил во второй раз огласил приговор, едва он начал его читать, в зал вошли шестеро слуг Марии Стюарт; мужчины встали на скамью возле стены, а женщины опустились на колени рядом с нею; вместе со слугами в зал проскользнул ма-

ленький спаниель, любимая собачка королевы, и, чтобы его не прогнали, лег у ног хозяйки.

Королева слушала не слишком внимательно, словно ее занимали другие мысли; лицо при этом у нее было довольно спокойное и даже радостное, как будто ей читают указ о помиловании, а не смертный приговор; закончив, Бил громко крикнул: «Боже, храни королеву Елизавету!» — но крик его никто не подхватил, а Мария Стюарт осенила себя знаком креста, встала, причем лицо ее ничуть не переменялось и казалось даже прекрасней, чем обычно, и молвила:

— Милорды, я по рождению королева, суверенная государыня, и на меня не распространяются ваши законы, притом я ближайшая родственница королевы Англии и ее законная наследница. Я долго была узницей в этой стране и претерпела множество невзгод и зол, которых никто не имел права мне причинять, а сейчас в довершение всех моих бед я утрачу жизнь. Что ж, милорды, будьте свидетелями, что я умираю католичкой и благодарю Бога за то, что он позволил мне погибнуть за его святую веру. И еще заявляю — сегодня, как и всегда, публично, равно как и с глазу на глаз, — что никогда не вступала в заговоры, не замышляла и не желала смерти королевы и не участвовала ни в чем, что было бы направлено против ее особы. Напротив, я всегда любила ее и предлагала ей приемлемые и разумные условия, дабы прекратить смятение в королевстве и освободить меня из заключения, но ни разу, и вам, милорды, прекрасно это известно, не была удостоена чести получить от нее ответ. Наконец мои враги добились своей цели, каковая состоит в том, чтобы убить меня. Тем не менее я прощаю их, как прощаю всех, кто когда-либо злоумышлял против меня. После моей смерти станет известно, кто все это задумал и кто исполнял. Я же умираю, никого не обвиняя из боязни, как бы Господь не услышал меня и не отмстил.

То ли опасаясь, что эта речь королевы расположит собравшихся в ее пользу, то ли сочтя, что казнь слишком затягивается, на помост взошел декан из Питерборо и, опершись на барьер, обратился к Марии Стюарт:

— Миледи, моя августейшая повелительница прислала меня к вам...

Но едва он заговорил, Мария повернулась к нему и бросила:

— Сударь, нам не о чем с вами говорить. Я не желаю слушать вас и прошу удалиться.

— Миледи, — не отступался декан, несмотря на столь ясно и решительно высказанное нежелание иметь с ним дело, — у вас осталось так мало времени. Перемените же решение, отрекитесь от своих заблуждений и перенесите все упования только на Иисуса Христа, дабы он даровал вам спасение.

— Все ваши слова бесполезны, и вы ничего не добьетесь, — отвечала королева. — Прошу вас, замолчите и дайте мне спокойно умереть.

Видя, что декан не унимается, она пересела на скамье, повернувшись к нему спиной; он же, обойдя вокруг, снова встал перед нею, однако как только он заговорил, она снова пересела и опять оказалась к нему спиной. Тогда в разговор вступил граф Шрусбери.

— Миледи, — сказал он, — я поистине в отчаянии, что вы столь закоренели в папистских безумствах. Позвольте хотя бы нам помолиться за вас.

— Коль вы хотите помолиться за меня, милорд, — отвечала королева, — то я могу лишь поблагодарить вас за столь добрые намерения, однако присоединиться к вашим молитвам не могу: мы ведь разной веры.

Тогда граф позвал к себе декана, и, пока сидящая на скамье королева молилась шепотом, он, опустившись на колени на ступеньке, ведущей на эшафот, принялся во весь голос читать молитвы, которые повторяли все собравшиеся, кроме слуг Марии Стюарт, молившихся вместе с нею. Через некоторое время королева, держащая в одной руке распятие, а в другой молитвенник и имеющая на груди изображение *Agnus Dei*¹, встала со скамьи, опустилась на колени и, перейдя с латыни на английский, чтобы все могли ее понять, стала молиться за удрученную церковь Христову, за прекращение преследований католиков и за счастливое царствование своего сына; затем она с пламенной верой возгласила, что надеется на вечное спасение заступничеством Иисуса Христа, у подножия креста которого она прольет свою кровь.

¹ Агнец Божий (*лат.*) — освященное изображение агнца (ягненка), символ Христа.

Этого граф Кент не смог уже вынести и вмешался без всякого почтения к святости момента:

— Миледи, храните Иисуса Христа в сердце и отриньте все папистские глупости и бредни.

Но она, не слушая его, продолжала молить святых заступиться за нее перед Господом, после чего, поцеловав распятие, воскликнула:

— Господи, Господи! Прими меня в свои объятия, что ты раскрыл на кресте, и отпусти мне все мои грехи!

Когда же она вновь села на скамью, граф Кент осведомился, не желает ли она сделать какое-либо признание; она ответила, что ни в чем не повинна и потому признаться в чем-либо означало бы оболгать себя.

— В таком случае, миледи, приготовьтесь, — сказал граф.

К королеве подошел палач, чтобы раздеть ее, но она встала и сказала ему:

— Друг мой, позвольте, я это сделаю сама, я лучше вас знаю, как это сделать, тем паче что я не привыкла, чтобы меня раздевали перед таким скоплением народа да еще при помощи таких горничных.

Она позвала помочь ей Энн Кеннеди и Элспет Керл и начала вытаскивать булавки из чепца; женщины, пришедшие оказать последнюю услугу своей госпоже, не удержались и зарыдали, и тогда она обратилась к ним по-французски:

— Не плачьте, я ведь поручилась за вас.

Сказав это, она осенила обеих знаком креста, поцеловала в лоб и попросила молиться за нее.

Королева, начав сама раздеваться, как она привыкла делать перед отходом ко сну, первым делом сняла золотой крест и хотела отдать его Энн, сказав палачу:

— Мой друг, я знаю: все, что на мне, принадлежит вам, но этот крест вам ни к чему, позвольте мне подарить его мадемуазель, а она заплатит вам двойную цену за него.

Но палач, даже не дав ей договорить, вырвал у нее крест, заявив:

— По закону он мой.

Королева, ничуть не опешив от подобной грубости, продолжала снимать с себя одежды, пока не осталась в корсете и нижней юбке.

После этого она вновь села на скамью, и Энн Кеннеди, достав из кармана батистовый платок с отделкой золотым шитьем, выбранный накануне королевой, завязала ей глаза, что весьма удивило графов, лордов и дворян, поскольку в Англии это было не принято; думая, что ей отрубят голову на французский манер, Мария Стюарт села на скамейку, выпрямилась и вытянула шею, чтобы палачу было удобней, но тот, растерявшись, стоял с топором в руках и не знал, что делать; наконец его подручный взял королеву за голову и начал ее тянуть на себя, вынудив опуститься на колени. Мария, догадавшись, чего от нее хотят, нащупала плаху и положила на нее голову, а под подбородок подложила обе руки, из которых не выпускала молитвенник и распятие, чтобы иметь возможность молиться до самого последнего мгновения, однако подручный палача вытащил оттуда ее руки, опасаясь, как бы их не отрубили вместе с головой. Когда королева произнесла «*In manus tuas, Domine*», палач поднял топор, а был это обычный топор, каким пользуются дровосеки, и нанес удар, но он пришелся выше, по черепу, и, хотя был так силен, что молитвенник и распятие выпали из рук Марии, но голову не отделил. Однако удар оглушил королеву, и это дало палачу возможность повторить его, но и на этот раз ему не удалось отрубить голову. Только с третьей попытки он сумел перерубить шею.

Палач поднял отрубленную голову и, показывая ее присутствующим, произнес:

— Боже, храни королеву Елизавету!

— И да погибнут так же все враги ее величества! — вторя ему, крикнул декан из Питерборо.

— Аминь! — заключил граф Кент, но ничей голос не присоединился к нему: все находившиеся в зале плакали.

И вдруг в руках у палача остался только парик, и все увидели, что волосы у королевы коротко острижены и седые, как у семидесятилетней старухи, а лицо ее так изменила агония, что оно стало совершенно неузнаваемым. У всех исторгся вопль, ибо им явилось ужасное зрелище: глаза королевы оставались открыты, а губы шевелились, словно она пыталась что-то сказать, и это судорожное

¹ В руки твои, Господи (лат.).

движение губ отрубленной головы не прекращалось еще с четверть часа.

Слуги Марии Стюарт устремились к эшафоту и подняли драгоценные реликвии — распятие и молитвенник. Энн Кеннеди, вспомнила про спаниеля, который прижимался к ногам своей хозяйки, и стала осматриваться, нища его, но тщетно. Собачка исчезла.

Подручный палача, который в это время снимал с ног королевы подвязки голубого атласа с серебряным шитьем, обнаружил спрятавшегося под юбку спаниеля и вытащил его. Но едва подручный отпустил песика, как тот лег между шеей и отрубленной головой, которую палач положил рядом с телом. Песик перепачкался в крови, скулил, лаял, но Энн взяла его на руки, так как был отдан приказ всем покинуть зал. Бургуэн и Жерве задержались и попросили у сэра Эймиаса Полета позволения взять сердце Марии Стюарт, чтобы отвезти его, как они ей обещали, во Францию, однако им было весьма грубо отказано, а стражники вытолкали их из зала; в нем за закрытыми дверями остались только труп и палач.

Брантом рассказывает, что там было учинено чудовищное, гнусное злодеяние!

Спустя два часа после казни труп и голова были перенесены в тот самый зал, где Мария Стюарт предстала перед комиссией, положены на стол, за которым заседали судьи, и накрыты черным сукном; там они оставались до трех часов пополудни, когда явился стэндфортский врач Уотер и хирург из деревни Фотерингей, чтобы произвести вскрытие и бальзамирование тела; операция производилась в присутствии Эймиаса Полета и солдат, так что всякий, кто хотел, мог бесстыдно разглядывать покойную; правда, цель, поставленная этой гнусной демонстрацией, не была достигнута: был пущен слух, будто ноги у королевы распухли от водянки, однако все присутствовавшие на вскрытии вынуждены были признать, что никогда не видели такого прекрасного, здорового и прямо-таки по-девически цветущего тела, как тело Марии Стюарт, казненной после девятнадцати лет страданий и заключения.

При вскрытии было засвидетельствовано, что селезенка ничуть не увеличена и только кровеносные сосуды на ней несколько бледнее, на легком имеются желтоватые участки, а объем мозга примерно на одну шестую превышает сред-

ние размеры этого органа у женщин того же возраста; все эти признаки предвещали долгие годы той, чья жизнь была так жестоко оборвана.

Все эти сведения были занесены в протокол, после чего тело кое-как набальзамировали, положили в свинцовый гроб, который поместили в деревянный, и оставили стоять на столе до первого августа, то есть почти на полгода, запретив приближаться к нему кому бы то ни было; более того, когда англичане обнаружили, что слуги Марии Стюарт, продолжавшие оставаться в заключении, ходят смотреть на него через замочную скважину, они заткнули скважину, так что несчастные лишились возможности взглянуть на гроб, скрывающий останки их горячо любимой госпожи.

Через час после казни Марии Стюарт Генри Толбет поскакал в Лондон, дабы вручить Елизавете донесение о смерти ее соперницы. Однако Елизавета, верная своему характеру, пробежав первые строчки и изобразив скорбь и негодование, вскричала, что ее повеление неверно истолковали и слишком поторопились, а виноват в этом государственный секретарь Дейвисон, которому она вручила указ, чтобы он хранил его, пока она не примет окончательное решение, а вовсе не для того, чтобы отослать его немедленно в Фотерингей. В результате Дейвисон был отправлен в Тауэр и присужден к штрафу в десять тысяч фунтов за то, что обманул доверие королевы. Тем не менее, невзирая на такую скорбь, был наложен запрет на выход кораблей из всех портов королевства, чтобы известие о смерти Марии Стюарт пришло в Европу, особенно во Францию, не само по себе, а было доставлено красноречивыми послами, которые представят ее казнь не в столь невыигрышном для Елизаветы свете. Одновременно с вестью о казни возобновились бесстыдные народные торжества, подобные тем, что происходили, когда был объявлен приговор. Весь Лондон был в огнях иллюминации, они горели у каждой двери, общее воодушевление было столь велико, что толпа ворвалась во французское посольство и забрала там дрова, чтобы поддержать огонь угасающих костров.

Удрученный этим событием, г-н де Шатонеф сидел безвыездно в посольстве, однако спустя две недели получил приглашение Елизаветы встретиться в загородном доме

архиепископа Кентерберийского. Г-н де Шатонеф отправился туда с твердым решением не говорить ни слова о происшедшем, однако, едва завидев его, Елизавета, одетая в черное, встала, подошла к нему, наговорила кучу учтивостей и объявила, что готова предоставить все силы королевства Генриху III, чтобы помочь ему победить Лигу. Шатонеф выслушал эти предложения с холодным и непроницаемым видом, не промолвив, как он решил, ни слова о событии, заставившем и королеву, и его надеть траур. Но она взяла его за руку, отвела в сторону и с глубоким вздохом промолвила:

— Ах, сударь, с тех пор как мы с вами не виделись, со мной случилось самое страшное несчастье, какое только можно себе вообразить. Я имею в виду смерть моей возлюбленной сестры королевы Шотландии, в которой, клянусь Господом Богом, душой и вечным спасением, я совершенно неповинна. Да, верно, я подписала указ, но члены моего совета слишком поторопились, и я до сих пор не могу прийти в себя от этого. Клянусь Богом, не прослужи они мне так долго, я велела бы всех их обезглавить. Пусть я женщина, милорд, но в этом женском теле бьется сердце мужчины.

Шатонеф молча поклонился, однако его письмо Генриху III и ответ короля свидетельствуют, что ни тот, ни другой ни на миг не обманулись словами этого Тиберия¹ в юбке.

Между тем слуги Марии Стюарт продолжали оставаться, как мы уже упоминали, узниками, а царственные останки ожидали в большом зале погребения. Елизавета утверждала, что эта отсрочка необходима, чтобы устроить ее сестре Марии торжественное и пышное погребение, но на самом-то деле королева просто-напросто не осмеливалась сблизать во времени тайное, бесчестное убийство и публичные, королевские похороны. Ну, а к тому же нужно было, чтобы версия, выгодная Елизавете, разошлась и распространилась, обогнав правду, которую расскажут слуги Марии Стюарт: ведь английская королева надеялась, что люди, получив и составив определенное мнение о смерти шотландской королевы, по причине инертности поленятся его менять. Так что, лишь после того как

¹ *Тиберий Клавдий Нерон* (41 г. до н. э. — 37 г. н. э.) — римский император с 14 г. н. э., правление которого отличалось поправанием законов, жестокостями, убийствами и казнями.

стражники отчаялись в не меньшей степени, чем узники, Елизавета, получив протокол, утверждающий, что скверно набальзамированное тело нельзя больше держать без погребения, распорядилась о похоронах.

И вот после первого августа в замок Фотерингей прибыли портные с черным сукном и шелком, чтобы за счет королевы Елизаветы шить слугам Марии траурные наряды. Но слуги отказались от их услуг, поскольку, не надеясь на щедрость английской королевы, сшили траурную одежду за собственные деньги сразу же после смерти своей госпожи; тем не менее портные так споро принялись за работу, что к седьмому августа все было готово.

На следующий день около восьми вечера у ворот замка Фотерингей остановился катафалк, запряженный четверкой лошадей с траурными султанами и накрытыми попонами черного бархата; сам катафалк был также обтянут черным бархатом и, кроме того, украшен небольшими выпелами, на которых были вышиты герб Шотландии, принадлежащий Марии Стюарт, и герб Арагона, принадлежащий Дарнли. За катафалком ехал церемониймейстер со свитой из двадцати конных дворян, сопровождаемых слугами и лакеями; спешившись, церемониймейстер во главе свиты проследовал в зал, где стоял гроб, каковой был поднят и перенесен на катафалк с наивозможнейшим почтением; все провожавшие его обнажили головы и сохраняли глубокое молчание.

Это событие произвело большое смятение среди узников; они принялись совещаться, не стоит ли им испросить позволения сопровождать тело их госпожи, ибо нельзя и не должно, чтобы его увезли без них, но когда они решили идти за позволением к церемониймейстеру, он сам вошел в комнату, где они собрались, и объявил им, что его августейшая государыня королева Англии поручила ему похоронить шотландскую королеву со всей возможной пышностью; желая исполнить как должно столь почетное поручение, он уже в значительной мере подготовил все необходимое для похоронной церемонии, каковая имеет быть десятого августа, то есть послезавтра, но поскольку свинцовый гроб, в котором покоится тело, слишком тяжел, лучше перевезти его заранее, этой ночью, и опустить в уже готовую могилу, а не дожидаться дня похорон, так что оснований для беспокойства никаких нет: перевозка гроба и опускание его в могилу — всего лишь подготови-

тельные церемонии; впрочем, ежели кто-то из них желает сопровождать останки, чтобы проследить, как с ними поступят, он волен это сделать, а остальные придут уже на само торжественное погребение; королева Елизавета высказала пожелание, чтобы все люди Марии Стюарт от первого до последнего приняли участие в похоронной процессии. Сообщение это успокоило узников, и они отрядили сопровождать останки своей госпожи Бургуэна, Жерве и с ними еще шестерых — Эндрю Мелвила, Стюарта, Горжона, Хаурта, Лоде и Никола Деламара.

В десять вечера они отправились в путь, идя за катафалком; впереди ехал церемониймейстер, сопровождаемый пешими слугами, которые несли факелы, чтобы освещать дорогу, а сзади двадцать дворян со своими людьми. В два часа пополудни процессия прибыла в Питерборо, где находится великолепная церковь, построенная одним из королей саксов, в которой слева от хоров погребена королева Екатерина Арагонская, супруга Генриха VIII; над этой гробницей возносится балдахин с ее гербом.

К их прибытию вся церковь была уже затянута черным, на хорах тоже был воздвигнут шатер, наподобие того, что устраивается во Франции над катафалком, но с одним-единственным отличием — вокруг не было горящих свечей. Шатер был из черного бархата и покрыт гербами Шотландии и Арагона, которые повторялись и на вымпелах. Под шатром был выставлен гроб, но без останков, обитый черным бархатом с серебряными узорами, на нем лежала черная же бархатная подушка, а на ней королевская корона.

По правую руку от шатра, напротив гробницы Екатерины Арагонской была подготовлена могила для Марии Шотландской, выложенная кирпичом, которую впоследствии должны были закрыть мраморной плитой или поставить на ней надгробие из мрамора; у дверей церкви гроб с останками встречал епископ Питерборо в облачении, но без митры, епископского посоха и не в ризе; с ним были его декан и еще несколько священников. Гроб внесли в церковь без песнопений и молитв и в полном молчании опустили в могилу. Как только это было сделано, к работе приступили каменщики, перекрыв могилу на уровне пола и оставив лишь отверстие размером примерно полтора на полтора фута, в которое можно было увидеть, что находится внутри, и бросать в нее, как это принято при погребении

королей, сломленные жезлы сановников, а также знамена и стяги с гербами усопшего. По окончании этой ночной церемонии Мелвил, Бургуэн и остальные посланцы были отведены в епископство, где должны были собраться особы, которым было указано участвовать в погребальной процессии; число их доходило до трехсот пятидесяти, и все они, кроме слуг Марии Стюарт, были выбраны среди представителей власти, дворянства и англиканского духовенства.

В четверг 9 августа стали обтягивать стены трапезной дорогими тканями, причем делалось это в присутствии Мелвила, Бургуэна и остальных с единственной целью, чтобы они впоследствии засвидетельствовали, сколь пышные похороны устроила королева Елизавета. Легко понять, что несчастные узники весьма холодно воспринимали всю эту роскошь, сколь велика она ни была.

В пятницу 10 августа все назначенные особы собрались в епископстве Питерборо, выстроились в указанном порядке и направились в церковь, которая находилась неподалеку. Прибыв туда, они встали на хорах, опять же как им было указано, и началась заупокойная служба; пелась она на английском и велась по протестантскому обряду. Как только прозвучали первые слова панихиды, Бургуэн, видя, что служат ее не католические священники, вышел из церкви, объявив о своем нежелании присутствовать при подобном святотатстве, и за ним последовали все слуги Марии Стюарт, как мужчины, так и женщины, кроме Мелвила и Барб Мобрей, которые считали, что, на каком бы языке ни молились, молитва все равно будет услышана Богом. Их уход вызвал изрядное недовольство, тем не менее епископ произнес проповедь.

После проповеди церемониймейстер вышел к Бургуэну и его друзьям, которые прогуливались во дворе, сказал, что сейчас будет вынос святых даров, и пригласил их присутствовать при этом, на что они ответили, что являются католиками и не могут принимать участие в возложении жертвы на алтарь, который не признают. Церемониймейстер удалился, весьма раздосадованный таким их упорством, но пресуществление святых даров прошло своим чередом, как и проповедь. Тогда он предпринял последнюю попытку и послал к ним человека сообщить, что служба завершена и они могут вернуться, так как сейчас будет производиться погребальная церемония по королевскому чину, которая не имеет никакого отношения ни к одной

из религий; на сей раз слуги согласились возвратиться, но когда они вошли в церковь, жезлы были преломлены, знамена опущены в могилу, а каменщики уже заделывали отверстие, через которое их туда бросали.

В том же порядке, в каком и пришла, процессия вернулась в епископство, где были приготовлены пышные поминки. Как ни странно, Елизавета, казнив Марию Стюарт как преступницу, после смерти стала относиться к ней как к королеве, а кроме того, хотела пышностью поминок воздать честь и должное слугам покойной, о которых она так долго забывала. Но те, естественно, не пошли ей навстречу, не выглядели ни восхищенными всей этой роскошью, ни обрадованными богатыми яствами; напротив, они слезами смачивали хлеб и разбавляли вино, лишь так отвечая и на причиненные им страдания, и на воздаваемые ныне почести. Как только поминки кончились, слуги покинули Питерборо и вернулись в Фотерингей, где им сообщили, что они наконец свободны и могут уезжать, куда угодно. Они не заставили повторять это сообщение дважды, поскольку жили в постоянном страхе, уверенные, что жизнь их находится под угрозой, доколе они остаются в Англии. Собрав вещи, 13 августа 1587 г. они вышли из замка Фотерингей.

Бургуэн шел последним; перейдя через подъемный мост, он обернулся, глянул на стены, в которых было совершено цареубийство, простер к ним руки и, не в силах простить Елизавете, невзирая на то, что он христианин, даже не столько собственные страдания, а муки, что претерпела его госпожа, громко и угрожающе произнес стих царя Давида:

«Да делается между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.»

Проклятие старика было услышано, и неумолимая история взяла на себя труд покарать Елизавету.

Мы рассказывали, что, когда топор палача обрушился на голову Марии Стюарт, из рук у нее выпали распятие и молитвенник. И еще мы добавили, что обе реликвии были подобраны женщинами из ее свиты. Что случилось с распятием, нам неизвестно, но молитвенник находится в королевской библиотеке, где его могут увидеть все, кто

¹ Пс. 78, 10.

интересуется подобными историческими реликвиями; два свидетельства, написанные на форзаце книги, удостоверяют ее подлинность.

ПЕРВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

«Мы, нижеподписавшийся старший викарий обители строгого устава Ключийской конгрегации, удостоверяем, что настоящая книга получена конгрегацией от блаженной памяти донна Мишеля Найдена, монаха, принявшего постриг в вышеуказанной обители и почившего 28 марта 1723 г. в нашей коллегии Св. Марциала в Авиньоне в возрасте восьмидесяти лет, из коих тридцать он пробыл среди нас, ведя крайне благочестивую жизнь; по национальности он был немец и долгое время служил офицером в армии.

Вступив в Ключийскую конгрегацию и отрекшись от всех земных благ и почестей, он оставил себе с соизволения вышестоящих лишь одну эту книгу, о которой ему было известно, что она до последнего дня жизни принадлежала Марии Стюарт, королеве Шотландии и Англии. Перед смертью и разлукой с братией он пожелал, чтобы она была обязательно вручена нам и послал ее по почте под печатями.

Получив ее, мы попросили г-на аббата Биньона, государственного советника и королевского библиотекаря, благосклонно принять этот драгоценный памятник благочестия королевы Англии и немецкого офицера, принадлежащего к тому же вероисповеданию, что она и мы.

*Подпись: брат Жерар Понс,
старший викарий-генерал».*

ВТОРОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

«Мы, Жан Поль Биньон, королевский библиотекарь, весьма рады доказать наше рвение, передав настоящий манускрипт в библиотеку его величества.

8 июля 1724 г.

Подпись: Жан Поль Биньон».

Манускрипт этот, на котором остановился последний взгляд королевы Шотландии, представляет собой том в одну двенадцатую, написан готическим шрифтом и содержит

молитвы на латыни; он украшен позолоченными миниатюрами на религиозные темы, представляющими эпизоды из Священной истории либо из житий святых и мучеников. Каждая страница обрамлена арабесками в виде сплетающихся гирлянд из цветов и плодов, среди которых выделяются гротескные фигурки людей и животных.

Что до переплета, к настоящему времени, а может уже и давно, протершегося до уточных нитей, то он обтянут черным бархатом; каждая крышка посередине украшена цветком аютиных глазок из эмали, заключенным в серебряную оправу и окруженным венком, к которому от углов крышки идут по диагонали витые алые шнуры с кистями по концам.

СТЕФАН ЦВЕЙГ

МАРИЯ СТЮАРТ



ВСТУПЛЕНИЕ

Если ясное и очевидное само себя объясняет, то загадка будит творческую мысль. Вот почему исторические образы и события, окутанные таинственной дымкой, ждут от нас все нового осмысления и поэтического истолкования. Классическим, коронным примером того неистощимого очарования загадочности, какое исходит порой от исторической проблемы, должна по праву считаться жизненная трагедия Марии Стюарт. Пожалуй, ни одна другая женщина в истории не вызвала к жизни такую богатую литературу — драмы, романы, биографии, дискуссии. Уже три с лишним столетия неустанно волнует она писателей, привлекает ученых, и образ ее и поныне с неослабевающей силой тревожит нас, добиваясь все нового воплощения. Ибо по природе своей все запутанное тяготеет к ясности, а все темное — к свету.

Но изображения и истолкования жизненной загадки Марии Стюарт столь же противоречивы, сколь многозначительны: вряд ли найдется женщина, которую рисовали бы так по-разному — то убийцей, то неумелой интриганкой, то святой. Однако разноречивость ее образа, как ни странно, вызвана не скудностью дошедших сведений, а их смущающим изобилием. Сохранившиеся протоколы, акты, письма и сообщения исчисляются тысячами — ведь каждый год, вот уже триста с лишним лет, все новые люди, обуянные новым рвением, судят ее, решая, виновна она или невиновна. Но чем внимательнее изучаешь источники, тем с большей грустью убеждаешься в сомнительности всякого исторического свидетельства вообще (стало быть, и изображения). Ибо ни древность документа, ни тщатель-

но удостоверенная его архивная подлинность и рука писавшего еще не гарантируют ни надежности, ни человеческой его правдивости. На примере Марии Стюарт, пожалуй, особенно видно, с какими чудовищными расхождениями попадает одно и то же событие в анналы очевидцев. Каждому документально подтвержденному «да» здесь противостоит документально подтвержденное «нет», каждому обвинению — извинение. Правда так густо пересыпана ложью, а факты — выдумкой, что можно, в сущности, обосновать любую точку зрения: если вам угодно доказать, что Мария Стюарт была причастна к убийству мужа, к вашим услугам десятки свидетельских показаний, а если вы склонны отстаивать противное, за показаниями опять-таки дело не станет; краски для любого ее портрета всегда смешиваются наперед. Когда же в сумятицу дошедших до нас преданий вторгается еще и политическое пристрастие или национальный патриотизм, искажения принимают и вовсе злостный характер. Такова уж природа человека, что, оказавшись перед двумя людьми, двумя идеями, двумя мировоззрениями, спорящими — быть или не быть, он не может устоять от соблазна примкнуть к той или другой стороне, признать одну правой, а другую неправой, обвинить одну и воздать честь другой. Если же, как в данном случае, и сами авторы в большинстве своем принадлежат к одному из борющихся лагерей, религий или мировоззрений, то однобокость их взглядов заранее предугазана; в общем и целом авторы-протестанты возлагали всю вину на Марию Стюарт, а католики — на Елизавету. Англичане чуть не всегда изображали ее убийцею, а шотландцы — безвинной жертвою подлой клеветы. Особенно много споров вокруг «писем из ларца»: если одни клятвенно защищают их подлинность, то другие клятвенно ее опровергают. Словом, все до мелочей подцвечено здесь партийным пристрастием. Быть может, поэтому неангличанин и нешотландец, свободный от такой кровной зависимости и заинтересованности, более способен судить здесь объективно и непредвзято; быть может, как художнику, охваченному хоть и горячим, но все же не партийно-пристрастным интересом, ему скорее дано приблизиться к этой трагедии.

Конечно, и с его стороны было бы непозволительной смелостью утверждать, будто он знает правду обо всех обстоятельствах жизни Марии Стюарт. Единственно для него достижимое — это некий максимум вероятия, и даже

то, что он по всему своему разумению и всей совести считает объективностью, неизменно будет носить черты субъективности. Поскольку источники загрязнены, приходится ему в мутных струях искать свою правду. И так как сообщения современников противоречивы, он вынужден на этом процессе в каждой мелочи выбирать между свидетелями обвинения и свидетелями защиты. Но, как бы ни осторожен был его выбор, в иных случаях он поступит всего честней, снабдив свое суждение вопросительным знаком и признав, что тот или другой эпизод в жизни Марии Стюарт остался темным, непроницаемым для истины и таким, должно быть, останется навсегда.

Исходя из этого, автор представленного здесь опыта положил себе за правило не обращаться к показаниям, исторгнутым пыткой и другими средствами запугивания и насилия: тот, кому дорога правда, не станет полагаться на вынужденные показания как на нечто полноценное, заслуживающее доверия. Точно так же и донесения шпионов и послов (в те времена понятия почти равнозначные) принимаются здесь в расчет лишь с величайшим отбором и каждый отдельный документ берется под сомнение; если же автор держится взгляда, что сонеты, а также большая часть писем из ларца достоверны, то пришел он к этому, тщательно взвесив все обстоятельства, а также основываясь на мотивах внутреннего характера. Повсюду, где в архивных документах сталкиваются два противоречивых утверждения, автор проверял и то и другое, возводя каждое к его истокам и политическим мотивам, и если бывал вынужден сделать между ними выбор, всегда сообразовался с тем, насколько данный единичный поступок психологически созвучен всему характеру в целом, что и было для него конечным мерилom.

Ибо сам по себе характер Марии Стюарт не представляет загадки, он противоречив лишь во внешнем своем развитии, внутренне же однолинеен и ясен от начала до конца. Мария Стюарт принадлежит к тому крайне редкому, волнующему типу женщин, чья способность к бурным переживаниям как бы затиснута в ограниченный срок, к женщинам, которые знают лишь мгновенный пышный расцвет и расточают себя не постепенно, а словно стгорая в тесном накаленном горниле единой страсти. До двадцати трех лет чувства ее все еще лежат гладкой заводью, да и потом, начиная с двадцати пяти, ни разу не всколыхнутся

они бурно, и только в течение короткого двухлетия клочок разбушевавшаяся стихия — так обычная, будничная судьба превращается в трагедию наподобие «Орестей». Лишь за это двухлетие предстает перед нами Мария Стюарт поистине трагичной фигурой, только под этим давлением неудержимо поднимается она над собой, разрушая в неистовом порыве свою жизнь и в то же время сохраняя ее для вечности. Только благодаря страсти, уничтожившей ее как человека, имя ее еще и сегодня живет в стихах и спорах.

Этой необычной уплотненностью всей внутренней жизни, сведенной к единому взрывчатому мгновению, пред-указаны форма и ритм всякого жизнеописания Марии Стюарт; дело художника — воспроизвести эту круто взлетевшую и так же внезапно ниспадающую кривую во всем ее неповторимом своеобразии. А потому да не сочтут произволом, что таким обширным временем протяжения, как первые двадцать три года жизни Марии Стюарт, а также последующие без малого двадцать лет ее заточения, отдано здесь столько же места, сколько двум годам ее трагической страсти. В жизни человека внешнее и внутреннее время лишь условно совпадают; единственно полнота переживаний служит мерилom душе; по-своему, не как равнодушный календарь, отсчитывает она изнутри череду уходящих часов. В опьянении чувством, блаженно свободная от пут и оплодотворенная судьбой, она может в кратчайший срок узнать жизнь во всей полноте, чтобы потом, в своей отрешенности от страсти, снова впасть в пустоту бесконечных лет, скользящих теней, глухого Ничто. Вот почему в прожитой жизни идут в счет лишь напряженные, волнующие мгновения, вот почему единственно в них и через них поддается она верному описанию. Лишь когда в человеке разыграют все душевные силы, он истинно жив для себя и для других; только когда его душа раскалена и пылает, становится он зримым образом.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ¹

<i>Первое место действия</i>	<i>Шотландия 1542—1548</i>
<i>Второе место действия</i>	<i>Франция 1548—1561</i>
<i>Третье место действия</i>	<i>Шотландия 1561—1568</i>
<i>Четвертое место действия</i>	<i>Англия 1568—1587</i>

ШОТЛАНДИЯ

Иаков V (1512—1542), отец Марии Стюарт.

Мария де Гиз Лотарингская (1515—1560), его супруга, мать Марии Стюарт.

Мария Стюарт (1542—1587).

Джеймс Стюарт, граф Меррейский (1533—1570), внебрачный сын Иакова V и Маргариты Дуглас, дочери лорда Эрскина, сводный брат Марии Стюарт, регент Шотландии до и после правления Марии Стюарт.

Генрих Дарнлей (Стюарт) (1546—1567), правнук Генриха VII по своей матери, леди Ленокс, племяннице Генриха VIII. Второй супруг Марии Стюарт, возведенный ею на шотландский престол.

¹ Издательство «Северо-Запад» сочло возможным сохранить в обоих романах, вошедших в данную книгу, варианты написания личных имен, предложенные переводчиками. (Примеч. ред.)

Иаков VI (1566—1625) — сын Марии Стюарт и Генриха Дарнлея. После смерти Марии Стюарт (1587) — полноправный шотландский король, после смерти Елизаветы (1603) — английский король Иаков I.

Джеймс Хепберн, граф Босуэлский (1536—1578), позднее герцог Оркнейский, третий супруг Марии Стюарт.

Уильям Мэйтленд Летингтонский, государственный канцлер Марии Стюарт.

Джеймс Мелвил, дипломатический агент Марии Стюарт.

Джеймс Дуглас, граф Мортонский, после убийства Меррея — регент Шотландии, казнен в 1581 году.

Мэтью Стюарт, граф Леноксский, отец Генриха Дарнлея; обвинял Марию Стюарт в убийстве своего сына.

Аргайл

Аран

Мортон Дуглас

Эрскин

Гордон

Гаррис

Хантлей

Керколди

Грейнджский

Линдсей

Мар

Рутвен

Лорды, выступающие то как сторонники, то как противники Марии Стюарт; участники бесчисленных заговоров и междоусобиц, они почти все кончают жизнь на эшафоте.

Мэри Битон

Мэри Флеминг

Мэри Ливингстон

Мэри Сетон

Четыре Марии, сверстницы и подруги Марии Стюарт.

Джон Нокс (1505—1572), проповедник реформатской церкви, главный противник Марии Стюарт.

Давид Риччо, музыкант, секретарь Марии Стюарт, убит в 1566 году.

Пьер де Шателляр, французский поэт при дворе Марии Стюарт, казнен в 1563 году.

Джордж Бьюкенен, гуманист, воспитатель Иакова VI, автор наиболее злобных пасквилей на Марию Стюарт.

ФРАНЦИЯ

Генрих II (1518—1559), с 1547 года французский король.
Екатерина Медичи (1519—1589), его супруга.

Франциск II (1544—1560), его старший сын, первый супруг Марии Стюарт.

Карл IX (1550—1574), младший брат Франциска II, после его смерти король Франции.

Кардинал Лотарингский

Клод де Гиз

Франсуа де Гиз

Анри де Гиз

} из дома Гизов.

Ронсар

Дю Белле

Брантом

} авторы, прославлявшие Марию Стюарт в своих творениях.

АНГЛИЯ

Генрих VII (1457—1509), с 1485 года английский король, дед Елизаветы, прадед Марии Стюарт и Дарнлея.

Генрих VIII (1491—1547), его сын, правил с 1509 года.

Анна Болейн (1507—1536), вторая супруга Генриха VIII, обвиненная в нарушении супружеской верности и казненная.

Мария I (1516—1558), дочь Генриха VIII от брака с Екатериной Арагонской, со смертью Эдуарда VI (1553) — английская королева.

Елизавета (1533—1603), дочь Генриха VIII и Анны Болейн, при жизни отца считалась незаконнорожденной; после смерти своей сводной сестры Марии (1558) взошла на английский престол.

Эдуард VI (1537—1553), сын Генриха VIII от третьего брака с Джоанной Сеймур, ребенком обручен с Марией Стюарт, с 1547 года — король.

Иаков I, сын Марии Стюарт, преемник Елизаветы.

Уильям Сесил, лорд Берли (1520—1598), всемогущий государственный канцлер Елизаветы.

Сэр Франциск Уолсингем, государственный секретарь и министр полиции.

Уильям Девисон, второй секретарь.

Роберт Дадлей, граф Лестерский (1532—1588), фаворит Елизаветы, предложенный ею в супруги Марии Стюарт.

Томас Хоуард, герцог Норфолкский, первый дворянин королевства, претендовал на руку Марии Стюарт.

Толбот, граф Шрусберийский, по поручению Елизаветы был стражем Марии Стюарт в течение пятнадцати лет.

Эмиас Паулет, последний тюремщик Марии Стюарт.

Палач города Лондона.

ГЛАВА I

Королева-дитя

1542—1548

Марии Стюарт не исполнилось и недели, когда она стала королевой Шотландской; так с первых же дней заявляет о себе изначальный закон ее жизни — слишком рано, еще не умея радоваться, приемлет она щедрые дары фортуны. В сумрачный декабрьский день 1542 года, увидевший ее рождение в замке Линлитгау, отец ее, Иаков V, лежит в соседнем Фокленде на одре смерти; ему всего лишь тридцать один год, а силы его уже надорваны, истощены властью и борьбой. Истинный храбрец и рыцарь, жизнелюбец по натуре, он страстно почитал искусство и женщин и был любим народом. Нередко, одетый простолюдином, посещал он сельские праздники, танцевал и шутил с крестьянами, и отчизна долго хранила в памяти сложенные им песни и баллады. Но злосчастный наследник злосчастливого рода, он жил в смутное время в непокорной стране, и это решило его участь. Крутой, неистовый сосед Генрих VIII побуждает его насадить у себя реформацию, но Иаков V остается верен католицизму, и этим разладом пользуется шотландская знать, вечно впутывающая веселого, миролюбивого короля в волнения и войны. Уже за четыре года до смерти, когда он искал руки Марии де Гиз, Иаков V хорошо понимал, что значит быть королем наперекор строптивым и хищным кланам. «Madame, — писал он ей с трогательной искренностью, — мне всего лишь двадцать семь лет, а жизнь уже тяготит меня, равно как и моя корона... Осиротев в раннем детстве, я был пленником честолюбивой знати; могущественный род Дугласов держал меня в неволе, и я ненавижу это имя и самую память о нем. Арчибалд,

граф Энгасский, Джордж, его брат, и все их изгнанные родичи постоянно восстанавливают против нас английского короля, и нет у меня в стране дворянина, которого он не совратил бы бесчестными посулами и не подкупил золотом. Никогда я не могу быть уверен в своей безопасности, а равно и в том, что моя воля и справедливые законы выполняются. Все это страшит меня, Madame, и от вас жду я поддержки и совета. Без всяких средств, прибавляясь лишь помощью французского короля да нещедрыми подавляниями моего богатого духовенства, пытаюсь я украшать свои замки, подновлять крепости и строить корабли. Но мои бароны видят в короле, который хочет на деле быть королем, ненавистного соперника. Боюсь, что, невзирая на преданность моего народа, мне не одолеть баронов. Я не отступил бы ни перед чем, чтобы продолжить моей стране путь к справедливости и миру, и думаю, что преуспел бы, когда бы не было у моей знати могущественного союзника. Английский король неустанно разжигает меж нами вражду, а ереси, насаждаемые им в моем государстве, поражают все сословия вплоть до духовенства и простонародья. Единственной силою, на которую я и мои предки искони могли опереться, были горожане и церковь, и я спрашиваю себя: долго ли еще они будут нам опорой?»

Поистине это письмо Кассандры, все его зловещие предсказания сбываются, да и многие еще более тяжкие бедствия обрушиваются на короля. Оба сына, подаренные ему Марией де Гиз, умирают в колыбели, и у Иакова V в его лучшей поре все еще нет наследника короны, которая год от года все более тяготит его. В конце концов непокорные бароны втравливают его в войну с значительно сильнейшей Англией, чтобы в критическую минуту предательски покинуть. У Солвейского залива Шотландия узнала не только горечь, но и позор поражения. Войско, покинутое вождями кланов, трусливо разбежалось, почти не оказав сопротивления, а его король, мужественный рыцарь, в этот тяжкий час сражается не с вторгшимся врагом, а со смертью. В Фокленде лежит он, измученный лихорадкой, утомленный постылой жизнью и бессмысленной борьбой.

В тот хмурый зимний день девятого декабря 1542 года, когда за окнами стоял непроницаемый туман, в ворота замка Фокленд постучал гонец. Он принес измученному, угасающему королю весть о том, что у него родилась дочь, наследница. Но в опустелой душе Иакова V нет места

радости и надежде. Почему не сын, не наследник?.. Обреченный смерти, видит он повсюду лишь несчастье, крушение и безысходное зло. «Женщина принесла нам корону, с женщиной мы ее утратим», — произносит он покорно. Это мрачное пророчество было его последним словом. С глубоким вздохом повернулся он к стене и больше ни на что не отзывался. Спустя несколько дней его предали земле, и Мария Стюарт, еще не научившись видеть мир, стала королевой.

Однако быть из рода Стюартов и притом шотландской королевой — значит нести на себе двойное проклятие, ибо ни одному из Стюартов не выпало на этом престоле счастливо и долго царствовать. Двое королей — Иаков I и Иаков III — были умерщвлены, двое — Иаков II и Иаков IV — пали на поле брани, а двум их потомкам — этой еще несмышленной крошке и ее кровному внуку Карлу I — судьба уготовила еще более страшную участь — эшафот. Никому из этого рода Атреева не было дано достичь преклонных лет, никому не благоприятствовали судьбы и звезды. Вечно воюют они с врагами внешними, врагами внутренними и с самими собой, вечно окружены смутой и носят смуту в себе. Их страна так же не знает мира, как не знают его они сами. Меньше всего могут они положиться на тех своих подданных, кто должен быть опорой трона — на своих лордов и баронов, на все это мрачное и суровое, дикое и необузданное, жадное и воинственное, упрямое и непреклонное племя рыцарей, — «un pays barbare et une gent brutelle»¹, как жалуется Ронсар, поэт, заброшенный в эту туманную страну. Чувствуя себя в своих поместьях и замках маленькими королями, лорды и бароны гонят, точно скот, подвластных им пахарей и пастухов в свои нескончаемые драки и разбойничьи набеги. Неограниченные властители кланов, они не знают иной утехы, кроме войны; их стихия — раздоры, их побуждение — зависть, все их помыслы — о власти. «Золото и корысть — единственные сирены, чьих песен заслушиваются шотландские лорды, — пишет французский посол. — Учить их, что такое долг перед государями, честь, справедливость, благородные поступки, — значит лишь вызвать у них насмешку». Драчливые и хищные, как итальянские

¹ Варварская страна и жестокое племя (франц.).

кондотьеры, но еще более необузданные и неотесанные в проявлении своих страстей, все эти древние могущественные кланы — Гордоны, Гамильтоны, Араны, Мэйтленды, Крофорды, Линдсеи, Леноксы и Аргайлы — вечно грызутся между собой из-за первенства. Они то ополчаются друг на друга в бесконечных усобицах, то клятвенно скрепляют в торжественных «бондах»¹ свои недолговечные союзы, сговариваясь против кого-то третьего, вечно сбиваются в шайки и клики, но ничем не связаны меж собой и, будучи все родственниками и свойственниками, на деле — завистливые и непримиримые враги. В душе это по-прежнему язычники и варвары, как бы они себя ни именовали, протестантами или католиками, смотря по тому, что им выгоднее, — все те же правнуки Макбета и Макдуфа, кровавые таны, так блистательно запечатленные Шекспиром.

Только в одном случае объединяется эта неукротимая завистливая свора — в борьбе против своего общего государя, короля, ибо всем им одинаково несносно послушание и незнакома верность. И если эта «кучка негодяев» — «*parcel of rascals*», как заклеил их шотландец из шотландцев Бёрнс, — и терпит некое подобие власти над своими замками и прочим достоянием, то лишь из ревности клана к клану. Гордоны потому оставляют корону Стюартам, что боятся, как бы она не досталась Гамильтонам, а Гамильтоны — лишь из ревности к Гордонам. Но горе шотландскому королю, вздумай он в своей пылкой, юношеской самонадеянности противостоять алчности лордов! Весь этот враждующий между собой сброд тотчас же по-братски сплотится, чтобы свергнуть своего государя; и коль не сладится у них дело мечом, то к их услугам надежный кинжал убийцы.

Трагическая, раздираемая бурными страстями, сумрачная и романтическая, как баллада, эта маленькая, обособленная, омытая морями страна на северных подступах Европы — к тому же еще и нищая, ибо ее истощают нескончаемые войны. Несколько городов — впрочем, какие же это города, просто сбившиеся под защиту крепости лачуги — не могут разбогатеть или даже достичь благосостояния. Их вечно грабят и жгут. Замки же аристократов, сумрачные и величавые развалины которых высятся и по

¹ Договорах (англ.).

сей день, ничем не напоминают настоящих замков, кичащихся своим великолепием и придворным блеском; эти неприступные крепости предназначались для обороны, а не для мирного гостеприимства. Между немногочисленными разветвленными аристократическими родами и их крепостными отсутствовала столь необходимая государству плодотворная сила деятельного среднего сословия. Единственная густонаселенная область между реками Твид и Ферт лежит слишком близко к английской границе, и набеги то и дело разоряют и опустошают ее. На севере можно часами бродить вокруг одиноких озер, по пустынным пастбищам или дремучим лесам, не встречая ни селения, ни замка, ни города. Деревни здесь не лепятся друг к другу, как в перенаселенных краях Европы; здесь нет широких дорог, несущих в страну торговлю и деловое оживление, и с пестрящих вымпелами рейдов не отплывают, как в Голландии, Испании и Англии, корабли, отправляясь в далекие океаны за золотом и пряностями; население еле-еле кормится, пробавляясь овцеводством, рыбной ловлей и охотой, как в дедовские времена; по своим обычаям и законам, по благосостоянию и культуре Шотландия той поры не меньше чем на столетие отстала от Англии и Европы. В то время как повсеместно в портовых городах возникают банки и биржи, здесь, словно в библейские дни, богатство измеряется количеством земли и овец. Все достояние Иакова V, отца Марии Стюарт, составляют десять тысяч овец. У него нет ни сокровищ короны, ни армии, ни лейб-гвардии для утверждения своей власти, ибо он не может их содержать, а парламент, где все решают лорды, никогда не предоставит королю действительных средств власти. Все, что есть у короля, помимо средств на голое пропитание, дарят ему богатые союзники — Франция и папа; каждый ковер, каждый гобелен, каждый подсвечник в его покоях и замках достался ему ценой унижения.

Вечная нищета, подобно гнойной язве, истощает политические силы Шотландии, прекрасной, благородной страны. Нужда и алчность ее королей, солдат и лордов делают ее игрушкой в руках иноземных властителей. Кто борется против короля и за протестантизм, тому платит Лондон; кто борется за католицизм и Стюартов, тому платят Париж, Мадрид и Рим; иностранные державы охотно покупают шотландскую кровь. Спор о первенстве двух великих наций все еще не решен, поэтому Шотландия — ближайшая соседка Англии — незаменимый партнер

Франции в игре. Каждый раз, как английские войска вторгаются в Нормандию, Франция нацеливает этот кинжал в спину Англии и воинственные скотты немедленно переходят the border¹, угрожая своим auld enimies² Но и в мирное время шотландцы — вечная угроза Англии. Поэтому укрепление военных сил Шотландии — первейшая забота французской политики; Англия же, срамливая лордов и разжигая в стране мятежи, стремится подорвать эти силы. Так несчастная страна становится кровавым полем столетней войны, и только трагическая судьба еще несмышленого младенца окончательно решит этот спор

Какой великолепный драматический символ: борьба начинается уже у колыбели Марии Стюарт! Младенец еще не говорит, не думает, не чувствует, он едва шевелит ручонками на своей подушечке, а политика уже крепко держит его нерасцветшее тельце, его невинную душу. Таков злой рок Марии Стюарт: вечно втянута она в эти расчеты, в эту азартную игру. Никогда не сможет она беззаботно отдаться влечениям своей натуры, постоянно ее впутывают в политические интриги, делают объектом дипломатических уловок, игрушкой чужих интересов, всегда она лишь королева или претендентка на престол, союзница или враг. Не успел гонец доставить в Лондон обе вести, что Иаков V скончался и что у него родилась дочь наследная принцесса и королева Шотландии, как Генрих VIII Английский решает заручиться этой драгоценной невестой для своего сына Эдуарда, — еще не сложившимся телом, еще дремлющей душой распоряжаются, как товаром. Но политика не считается с чувствами, она принимает в расчет только короны, страны и права преемства. Единичный человек для нее не существует, он ничего не значит по сравнению с мнимыми и реальными целями всемирной игры. Правда, в этом конкретном случае намерение Генриха VIII обручить престолонаследницу Шотландии с престолонаследником Англии разумно и даже гуманно. Непрерывная война между двумя братскими странами давно утратила всякий смысл. Перед народами Англии и Шотландии, живущими на одном острове, под защитой и угрозой одного моря, родственными по расе и условиям

¹ Границу (англ.).

² Заклятым врагам (англ.).

жизни, несомненно, стоит одна задача: объединиться. Природа вполне ясно явила на этот раз свою волю. И только раздоры обеих династий, Тюдоров и Стюартов, препятствуют выполнению задачи. Если бы удалось благодаря этому браку превратить спор в союз, общие потомки Стюартов и Тюдоров стали бы одновременно править Англией, Шотландией и Ирландией и объединенная Великобритания могла бы отдать свои силы более сложной борьбе: войне за мировое первенство.

Но такова ирония судьбы: едва лишь в политике в виде исключения блеснет ясная и разумная идея, как ее искажают неумным исполнением. Сначала все идет как по маслу: сговорчивые лорды, которым хорошо заплачено, голосуют за брачный договор. Однако умудренный опытом Генрих VIII не удовлетворяется клочком пергамента. Ему слишком хорошо знакомы лицемерие и алчность этих благородных господ, он понимает, что на них нельзя положиться и что за большую сумму они тут же не премянут запродать малютку-королеву французскому дофину. А потому Генрих VIII требует от шотландских посредников в качестве первейшего условия немедленной выдачи ребенка. Но если Тюдоры не верят Стюартам, то Стюарты платят им тою же монетой; особенно противится договору королева-мать Воспитанная в строгом католицизме, дочь Гизов не хочет отдать свое дитя вероотступникам и еретикам, а кроме того, не требуется большой проницательности, чтобы обнаружить в договоре опасную ловушку. Особым, секретным пунктом посредники обязались в случае преждевременной смерти малолетней королевы содействовать тому, чтобы «вся полнота власти и управление королевством» перешли к Генриху VIII. Тут есть над чем задуматься! Человек, который уже двух жен отправил на эшафот, на все способен: в своем нетерпении овладеть заманчивым наследством он еще, пожалуй, постарается, чтобы ребенок умер поскорей — и не своею смертью; поэтому заботливая мать отклоняет требование о выдаче малютки Лондону. Сватовство чуть не приводит к войне. Генрих VIII посылает войска, чтобы овладеть драгоценным залогом, и отданный им по армии приказ красноречиво говорит об откровенной бесчеловечности века: «Его Величество повелевает все предать огню и мечу. Спалите Эдинбург дотла и сравняйте с землей, как только вынесете и разграбите все, что возможно. Разграбьте Холируд и столько городов и сел вокруг Эдинбурга, сколько возможно; отдайте на поток и разграб-

ление Лейт и другие города, а там, где встретите сопротивление, без жалости уничтожайте мужчин, женщин и детей».

Как гунны, вторглись вооруженные орды Генриха VIII в Шотландию. Но мать и дитя вовремя укрылись в укрепленном замке Стирлинг, и Генриху пришлось удовольствоваться договором, по которому Шотландия обязалась выдать Марию Стюарт Англии (вечно ее продают и покупают, как товар!) в день, когда ей исполнится десять лет.

Казалось бы, все уладилось к общему удовольствию. Но политика была во все времена наукой парадоксов. Ей чужды простые, разумные и естественные решения: создавать трудности — ее страсть, сеять вражду — ее стихия. Вскоре католическая партия пускается в интриги, выясняя исподтишка, не выгоднее ли сбуть дитя — оно еще только лепечет и улыбается — французскому дофину, а уж после смерти Генриха VIII никто и вовсе не думает о выполнении договора. Но теперь выдачи малютки-невесты от имени малолетнего короля Эдуарда требует английский регент Соммерсет, и, так как Шотландия противится, он опять посылает войска, ибо с лордами можно говорить на одном только языке — языке силы. Десятого сентября 1547 года в битве — вернее, бойне — при Пинки шотландская армия была разбита наголову, более десяти тысяч трупов усеяли поле брани. Марии Стюарт не исполнилось и пяти лет, а из-за нее уже проливаются реки крови.

Перед английским войском лежит беззащитная Шотландия. Но в разграбленной стране нечего взять; Тюдоров же интересуется единственным сокровище — ребенок, олицетворяющий корону и преемство трона. Однако, к великому огорчению английских соглядатаев, Мария Стюарт неожиданно и бесследно исчезла из замка Стирлинг; даже наиболее приближенные лица не знают, куда спрятала ее королева-мать. Новое, надежное убежище выбрали превосходно: ночью преданные слуги в полной тайне отвозят ребенка в монастырь Инчмэхом, укрытый на небольшом островке среди озера Ментит — «dans les pays des sauvages»¹, как сообщает французский посол. Ни одна тропка не ведет в эти заповедные места; драгоценный груз доставляют в лодке на остров и там поручают заботам благочестивых иноков, никогда не покидающих свою обитель. Здесь, в надежном убежище, вдали от беспокойного,

¹ В краю дикарей (франц.).

взбаламученного мира, живет, ничего не ведая, невинное дитя, меж тем как дипломатия, раскинув свои сети над морями и землями, усердно занимается ее судьбой. Ибо теперь на арену, угрожая, выступает Франция, чтобы воспрепятствовать Англии полностью подчинить себе Шотландию. Генрих II, сын Франциска I, посылает в Шотландию сильную эскадру, и генерал-лейтенант французского вспомогательного корпуса просит от его имени руки Марии Стюарт для малолетнего дофина Франциска. Политический ветер, резко и порывисто задувший из-за пролива, круто повернул судьбу ребенка: вместо того чтобы сделаться английской королевой, маленькая дочь Стюартов внезапно предназначается в королевы Франции. Едва лишь новое и более выгодное соглашение заключено, как седьмого августа драгоценный объект сделки, девочку Марию Стюарт пяти лет восьми месяцев от роду, сдают на корабль и отсылают во Францию, запродав другому, столь же незнакомому супругу. Вновь — и не в последний раз — чужая воля определяет и меняет ее судьбу.

Неведение — великое преимущество детства. Что знает трехлетнее, четырехлетнее, пятилетнее дитя о войне и мире, о битвах и договорах? Что ему Франция или Англия, Эдуард или Франциск, что ему неистовое безумие, охватившее мир? Длинноногая девочка с развевающимися белокурыми локонами бегает и резвится в темных и светлых покоях замка вместе с четырьмя своими сверстницами-подружками. Ибо ей — чудесная идея в столь варварский век — отобрали среди лучших семейств Шотландии четырех подруг, ее однолеток: Мэри Флеминг, Мэри Битон, Мэри Ливингстон, Мэри Сетон. Дети, как и она, они сегодня весело играют с малюткой-королевой, завтра они разделят ее одиночество на чужбине, чтобы чужбина не казалась ей такой чужой, позднее сделаются ее придворными дамами и однажды, в особенно задушевную минуту, поклянутся выйти замуж не раньше, чем их госпожа изберет себе супруга. И если три из них покинут королеву в несчастье, то одна последует за ней и в изгнание и пребудет верна до ее смертного часа; так отблеск блаженного детства озарит и последние, страшные минуты ее земного бытия. Пока же пять девочек весело играют изо дня в день, то в замке Холируд, то в замке Стирлинг, не задумываясь о таких вещах, как королевское величие с его

гордыней и опасностями. Но как-то вечером маленькую Марию поднимают с постели, в сумраке ночи на озере ждет лодка, чтобы отвезти ее на тихий, благодостный остров, — Инчмэхом зовут его, что значит «мирная обитель». Какие-то незнакомые люди, одетые не так, как все, в черных широких развевающихся рясах, приветствуют ее. Добрые и кроткие, они чудесно поют в высоком зале с цветными окнами, и девочка быстро привыкает к ним. Но вскоре ее опять увозят вечером (и не однажды придется Марии Стюарт бежать под покровом ночи — от одной судьбы к другой); и вот она на высоком корабле со скрипящими мачтами, с белыми парусами; кругом чужие солдаты и бородатые матросы. Но маленькая Мария не боится. Все они добры и ласковы с ней; семнадцатилетний сводный брат Джеймс, один из многочисленных бастардов Иакова V, рожденных до его брака, гладит ее пушистые белокурые волосы, да и четыре Марии, ее любимые подружки, тоже с нею. Пять девочек, радуясь новым впечатлениям, как радуются дети всякой перемене, резвятся между пушками французского военного судна и закованными в латы моряками. А высоко на марсе стоит матрос и опасливо вглядывается вдаль: он знает, по проливу курсирует английский флот в надежде захватить невесту английского короля, пока она не стала невестой французского дофина. Но ребенок видит только то, что рядом и что ему ново; он видит — море синее, люди добрые, и корабль, фыркающая, как исполинский зверь, прокладывает себе в волнах дорогу.

Тринадцатого августа галеон входит в Росков, небольшой портовый город близ Бреста. Шлюпки пристали к берегу, и, по-детски радуясь чудесному приключению, беспечная, шаловливая шестилетняя королева Шотландии спрыгнула на французскую землю. На этом кончается ее детство; начинается пора обязанностей и испытаний.

ГЛАВА II

Юность во Франции

1548—1559

Французский двор — великий знаток благородных обычаев, ему до тонкости известны правила загадочной науки, именуемой этикетом. Кто-кто, а Генрих II Валуа доподлинно знает, какими почестями должно встречать нареченную

дофина. Еще до ее прибытия подписывает он указ о том, чтобы маленькую королеву Шотландскую — *la reinette* — приветствовали на ее пути по всем градам и весям так почтительно, как если бы то была его родная дочь. Уже в Нанте Марию Стюарт ждут восхитительные знаки внимания. Мало того, что на всех площадях воздвигнуты колоннады с классическими эмблемами, со статуями языческих богинь, нимф и сирен, и придворной свите для пушего веселья не жалеют бочонков отменного вина, и щедро палят из пушек, и жгут фейерверки: впереди малютки-королевы выступает крошечное войско — сто пятьдесят мальчиков в белоснежной одежде, с трубами и барабанами, с миниатюрными пиками и алебардами, своего рода почетный эскорт. И так из города в город, нескончаемой вереницей празднеств следует она до Сен-Жерменского дворца. Здесь шестилетняя девочка впервые встречает своего нареченного, которому не исполнилось еще и пяти лет, и хилый, бледный, рахитичный мальчик — ему на роду написана болезнь и ранняя могила, ибо в жилах у него течет отравленная кровь, — смущенно и робко приветствует свою «невесту». Тем радушнее принимают ее остальные члены королевской фамилии, очарованные ее детской прелестью, а восхищенный Генрих II называет ее в письме «*la plus parfait enfant que je vus jamés*»¹.

Французский двор в эти годы — один из самых блестящих и пышных в мире. Только что миновало мрачное средневековье, и последние романтические отблески умирающего рыцарства еще лежат на поколении переходной эпохи. По-прежнему сила и храбрость проявляют себя в стародавних суровых и мужественных потехах — охоте, игрищах, турнирах, приключениях, войне, но в высших кругах общества уже одерживает верх духовное начало; гуманизм, вслед за монастырями и университетами, завоевывает королевские замки. Из Италии во Францию проникает в победном шествии излюбленный папством культ пышности и блеска, характерное для Ренессанса тяготение к духовно-чувственным наслаждениям, увлечение изящными искусствами: в это историческое мгновение здесь возникает новый идеал, единственное в своем роде слияние силы и красоты, беспечности и отваги — высокое искусство презирать смерть и в то же время страстно любить

¹ Самый прелестный ребенок, какого мне довелось видеть (франц.).

жизнь. Естественнее и свободнее, чем где бы то ни было, сочетаются во французском характере горячий темперамент с беззаботной легкостью, галльская *chevalerie*¹ чудесно объединяется с классической культурой Ренессанса. От дворянина, наравне с умением, облачившись в тяжелые доспехи, стремительно атаковать противника на турнире, требуется и безукоризненное выполнение замысловатых танцевальных фигур; он должен быть посвящен как в суровую науку войны, так и в изысканные законы придворной куртуазии; одна и та же рука должна разить тяжелым двуручным мечом, чувствительно играть на лютне и писать сонеты даме сердца. Сочетать в себе полярные противоположности — силу и нежность, суровость и изысканность, быть равно оснащенным для боя и духовного поединка — вот идеал того времени. Днем король и его дворяне на взмыленных скакунах носятся в погоне за оленями и вепрями и скрещивают мечи и копья на турнирах, а вечерами кавалеры и знатные дамы собираются в заново отстроенных с небывалым великолепием дворцах — Лувре, Сен-Жермене, Блуа и Амбуазе — для изящных развлечений. При дворе читают стихи, поют мадригалы, музицируют, возрождают в маскарадах дух античности. Обилие красивых, нарядных женщин, творения таких поэтов и художников, как Ронсар, Дю Белле и Клуэ, сообщают двору еще невиданный блеск и жизнерадостность, расточительно проявляющиеся во всех формах искусства и жизни. Как и вся Европа накануне злосчастных религиозных войн, Франция той поры стоит перед великим расцветом культуры.

Тот, кому предстоит жить при таком дворе, а тем более царить в нем, должен отвечать этим новым культурным запросам. Он должен стремиться овладеть всеми искусствами и знаниями, совершенствуя свой ум, равно как и свое тело. Навсегда послужит к чести гуманизма, что от тех, кто готовил себя к власти, он требовал знакомства со всеми видами искусств. Пожалуй, никогда еще не уделялось такое внимание безукоризненному воспитанию не только мужчин высшего сословия, но и женщин — этим открывалась новая эра. Как и Мария Английская и Елизавета, изучает Мария Стюарт классические языки — греческий и латынь, а также современные — итальянский,

¹ Рыцарство (франц.).

английский, испанский. Благодаря острому, живому уму и унаследованному предрасположению ко всему изящному, одаренной девочке все дается шутя. Уже тринадцати лет, изучив латынь по «Беседам» Эразма, она в Лувре перед всем двором произносит речь собственного сочинения, и ее дядя, кардинал Лотарингский, с гордостью сообщает матери, Марии де Гиз: «Душевное величие, красота и мудрость Вашей дочери столь возросли и возрастают с каждым днем, что она уже сейчас владеет в совершенстве всеми славными и благородными науками, и ни одна из дочерей дворянского или иного сословия в нашем королевстве не может с ней сравниться. Я счастлив сообщить Вам, что король очень к ней привязан, иногда он более чем по часу беседует с ней одной, а она так умеет занять его разумными и здравыми речами, что впору и двадцатипятилетней!» И в самом деле, умственно Мария Стюарт развилась необычайно рано. Она в короткое время настолько овладела французским, что пробует свои силы и в стихах, достойно отвечая на хвалебные оды таких поэтов, как Ронсар и Дю Белле; и не только в придворной игре «на случай» тешит она муз, нет, в самые горькие свои минуты юная королева, полюбившая поэзию и полюбившая поэтам, изливает чувства в стихах. Впрочем, тонкий вкус проявляется у нее и в других искусствах: она очаровательно поет, аккомпанируя себе на лютне, покоряет всех танцами, ее вышивки говорят не только об умении, но и одаренности, она и одевается с отменным вкусом, без той помпезной роскоши, какую шеголяет Елизавета, красующаяся в своих широчайших робах: Мария Стюарт одинаково мила и естественна и в пестрой шотландской юбочке и в торжественном одеянии. Такт и чувство прекрасного у нее природные, а свою величественную, ничуть не театральную осанку — источник поэтического очарования, прославившего ее в веках, — дочь Стюартов сохранит и в самые тяжкие свои минуты, как драгоценное наследие королевской крови и княжеского воспитания. Но и в телесных упражнениях — неутомимая наездница, страстная охотница, искусный игрок в мяч — она едва ли уступает самым закаленным атлетам этого рыцарственного двора, ее высокое стройное тело юницы, при всей своей грации, не знает истощения и усталости; вряд ли рыцарско-романтический идеал женщины французского ренессанса нашел себе более совершенное воплощение, чем в этой жизнерадостной и пылкой принцессе.

Но не только музы — и боги благословили ее колыбель. Душевные совершенства сочетаются у Марии Стюарт с необычайным телесным очарованием. Едва ребенок стал девушкой, женщиной, как поэты спешат наперебой воспеть ее красоту. «На пятнадцатом году красота ее воссияла, как свет яркого дня», — возглашает Брантом, и еще более пламенно — Дю Белле:

En vōtre esprit le ciel s'est surmonté
Nature et art ont en vōrte beauté
Mis tout le beau dont la beauté s'assemble.

Чтобы как в зеркале, обворожая нас¹,
Явить нам в женщине величие богини,
Жар сердца, блеск ума, вкус, прелесть форм и линий,
Вас людям небеса послали в добрый час.

Природа, захотев очаровать наш глаз
И лучшее затмить, что видел мир донны,
Так много совершенств собрав в одной картине,
Все мастерство свое вложила щедро в вас.

Творя ваш светлый дух, бог превзошел себя.
Искусства к вам пришли, гармонию любя,
Ваш облик завершить, прекрасный от природы,

И музой дар певца мне дан лишь для того,
Чтоб сразу в вас одной, на то не тратя годы,
Воспел я небеса, природу, мастерство.

Лопе де Вега восторженно слагает ей гимны: «Звезды даровали ее глазам свой нежнейший блеск, а ланитам — краски, придающие ей столь удивительную прелесть»; Ронсар после смерти Франциска вручает его брату Карлу IX следующие строки, исполненные почти завистливого восхищения:

Avoir joui d'une telle beauté
Sein contre sein, valoit ta royauté.

Кто грудь ее ласкал, забыв на ложе сон,
За эту красоту отдаст, не дрогнув, трон.

Дю Белле как бы суммирует все похвалы, расточаемые Марии Стюарт во многих описаниях и стихах, восторженно восклицая:

¹ Мы приводим этот сонет полностью. (Прим. ред.)

Contentez vous mes yeux,
Vous ne verrez jamais une chose pareille.

Глядите на нее, мои глаза, —
Нет больше в мире красоты подобной.

Но ведь поэты — заведомые льстецы, а особенно придворные пииты, когда они берутся прославить свою властительницу; с тем большим интересом вглядываемся мы в ее портреты той поры, зная, что залогом их достоверности служит мастерская кисть Клуэ, и хоть не испытываем разочарования, однако не разделяем и чрезмерных восторгов. Перед нами не блистательная, а скорее пикантная красота: нежный милый овал, которому чуть заостренный нос придает легкую неправильность, порой сообщающую женскому лицу какое-то особое очарование. Мягкие темные глаза с поволокой загадочно мерцают, бесстрастные губы затаили еще неведомую тайну; надо сознаться, что природа не пожалела для этой принцессы поистине драгоценнейших своих материалов, — дав ей изумительно белую с матовым отливом кожу, густые пепельные волосы, прихотливо перевитые жемчужными нитями, длинные тонкие белоснежные пальцы, стройный гибкий стан, «dont le corsage laissait entrevoir la neige de sa poitrine et dont le collet releve droit decouvrait le pur modele de ses epaules»¹.

В этом лице не найдешь изъяна, но именно холодная безупречная красота лишает его всякой характерности. Глядя на портрет этой прелестной девушки, вы ничего не узнаете о ней, да и сама она ничего толком о себе не знает. В ее лице еще не видна женщина — приветливо и ласково глядит на вас хорошенькая кроткая институтка.

Об этой незрелости, этой душевной спячке свидетельствуют, несмотря на велеречивое захваливание, и устные отзывы. Превозносятся изысканные манеры, блестящее воспитание, примерное усердие и светский такт Марии Стюарт, все они характеризуют ее лишь как первую ученицу. Мы знаем, что она прилежно учится и любезна в разговоре, что она почтительна и набожна и отличается во всех искусствах и играх, не выказывая особого расположения к чему-либо определенному, что она усердно и послушно овладевает учебной программой, предписанной невесте короля. Но все восхищаются лишь ее безличными, светскими

¹ «...корсаж приоткрывает ее белоснежную грудь, а высокий стоячий ворот подчеркивает безупречные линии плеч» (франц.).

качествами; о человеке, о характере никто ничего не сообщает, и это показывает, что все своеобразное, существенное, в ней скрыто от постороннего глаза — просто потому, что душа еще не расцвела. И еще долгие годы блестящее воспитание и светский лоск принцессы будут скрывать силу страсти, на какую окажется способна женщина, когда все существо ее раскроется, всколыхнувшись до заветных глубин. От ее чистого лба веет холодом; приветливо и нежно улыбается рот; грезят и ищут темные глаза, устремленные пока лишь во внешний мир, еще не заглянувшие в собственную душу; никто не знает — Мария Стюарт сама не знает о наследии в своей крови и кроющихся в нем опасностях. Только страсти дано сорвать покров с женской души, только через любовь и страдание вырастает женщина в полный свой рост

Многообещающее развитие девочки, в которой видна уже будущая королева, приводит к тому, что со свадьбой торопятся, назначая ее раньше срока; даже и тут стрелки на часах жизни Марии Стюарт бегут быстрее, чем у ее сверстниц. Нареченному едва минуло четырнадцать лет, к тому же бледный, тщедушный мальчик слаб здоровьем, но политика в данном случае нетерпеливее природы, она не хочет и не может ждать. Французский двор потому так подозрительно и спешит с завершением брачной сделки, что ему хорошо известна слабость и пагубная болезненность принца, о которой докладывают перепуганные врачи. Для Валуа главное — обеспечить себе шотландскую корону; вот почему обоих детей с такой поспешностью тащат к алтарю. По брачному договору, составленному вместе с посланцем шотландского парламента, дофин получает the patriomonial crown, корону соправителя Шотландии; но одновременно Гизы, родственники Марии Стюарт, втихомолку вымогают у пятнадцатилетней Марии, которая не ведает, что творит, и другой документ, неизвестный шотландскому парламенту; Мария Стюарт обязуется в нем на случай преждевременной смерти или за отсутствием наследников отписать свою страну по духовной, словно это ее вотчина, а также и свое наследственное право на английский и ирландский престол французской короне.

Разумеется, этот акт — недаром его подписали с такой секретностью — недобросовестный маневр. Мария Стюарт не вправе произвольно менять условия преемства, завещать свое отечество чужеземной династии, как плащ или другое

личное имущество; но дядя понуждают эту беспечную руку подписать его. Трагический символ: первая подпись, выведенная Марией Стюарт под политическим документом, становится вместе с тем и первой ложью этой глубоко искренней, доверчивой, кристально чистой натуры. Чтобы стать королевой и пребыть королевой, ей уже нельзя будет держаться правды: человек, который закабалится политике, больше себе не принадлежит и подчиняется иным законам, чем священные законы сердца.

Эти тайные махинации скрыты от мира великолепным зрелищем свадебных торжеств. Уже свыше двухсот лет ни один французский дофин не сочетался браком у себя на родине, и двор Валуа считает долгом потешить свой избалованный народ неслыханно пышным празднеством. У Екатерины из дома Медичи сохранились в памяти картины торжественных шествий Ренессанса, которые устраивались в Италии по эскизам известных художников: затмить эти красочные воспоминания детства торжественной свадьбой своего отпрыска — для нее дело чести. В этот день, двадцать четвертого апреля 1558 года, праздничный Париж становится столицей мира. Перед Нотр-Дам воздвигается открытый павильон с балдахином из голубого кипрского шелка, затканного голубыми лилиями, к нему ведет такой же расшитый лилиями ковер. Музыканты в красной и желтой одежде, играя на различных инструментах, выступают впереди процессии, за ними под ликование восторженных толп следует, сверкая драгоценными уборами, королевский кортеж. Венчание совершается на глазах у всего народа, тысячи, десятки тысяч взоров устремлены на невесту бледного, чахлого мальчика, изнемогающего под тяжестью своего великолепия. Придворные пииты, конечно, и на сей раз не упускают случая в восторженных хвалах воспеть красоту невесты. «Она предстала перед нами, — высокопарно повествует Брантом, обычно охотнее рассказывающий свои галантные анекдоты, — во сто крат прекраснее, чем небесная богиня», — и возможно, что в зените счастья эта страстная, честолюбивая женщина действительно излучала особое обаяние. В тот час юная, цветущая девушка, со счастливой улыбкой кивавшая во все стороны, вкушала, быть может, величайшее торжество своей жизни. Бок о бок с первым принцем Европы, в сопровождении блестящей свиты проезжает Мария Стюарт

по улицам, до самых крыш гремящим восторженными кликами, — никогда больше подобный прибой роскоши, восторга и ликования не будет кипеть у ее ног. Вечером во Дворце юстиции устраивается открытый банкет, и восторженные толпы парижан теснятся вокруг, пожирая глазами юную деву, принесшую Франции вторую корону. Знаменательный день завершается балом, для которого художники не пожалели хитроумных выдумок. Шесть раззолоченных кораблей с парусами из серебряной парчи, управляемые невидимыми машинистами, словно покачиваясь на бурных волнах, втекают в зал. В каждом сидит разодетый в золото, скрывшийся под узорчатой маскою принц и изящным жестом приглашает к себе одну из дам королевской фамилии: Екатерину Медичи — королеву, Марию Стюарт — наследницу престола, королеву Наваррскую и принцесс Елизавету, Маргариту и Клод. Это представление должно символизировать счастливое плавание по волнам жизни, полной роскоши и блеска. Но человеку не дано управлять судьбой, и жизненный корабль Марии Стюарт после этого единственного беззаботного дня поплывет к иным, более опасным берегам.

Первая опасность подкралась неожиданно. Мария Стюарт — давно уже коронованная владычица Шотландии, к тому же *le Roi Dauphin*, французский наследник, возвел ее в сан своей супруги, и, значит, над ее головой незримо сверкает вторая, еще более драгоценная корона. Но тут судьба шлет ей пагубное искушение, поманив еще и третьей короной, и Мария Стюарт с детской непосредственностью, в ослеплении, не получив вовремя мудрого совета, потянулась за ней, прельщенная ее коварным блеском. В тот самый 1558 год, когда она стала супругой французского наследника, скончалась Мария, королева Английская, и на престол вступила ее сводная сестра Елизавета. Но действительно ли Елизавета законная наследница престола? У женолюбивого Генриха VIII — Синей бороды — было трое детей: сын Эдуард и две дочери, Мария — от брака с Екатериной Арагонской и Елизавета — от брака с Анной Болейн. После скоропостижной смерти Эдуарда Мария, как старшая и рожденная в бесспорно законном браке, стала наследницей престола. Но она умирает бездетной; является ли теперь наследницей Елизавета? Да,

утверждают юристы английской короны, ибо епископ скрепил брак Генриха VIII и Анны Болейн, а папа признал его. Нет, утверждают юристы французской короны, ибо Генрих VIII впоследствии объявил свой брак с Анной Болейн недействительным, Елизавету — особым парламентским указом — незаконнорожденной. Если это так, а на том стоит весь католический мир, то, как бастард, Елизавета не может взойти на английский престол, и притязать на него вправе не кто иной, как правнучка Генриха VII — Мария Стюарт.

Итак, шестнадцатилетней неопытной девочке выпало принять решение всемирно-исторической важности. Перед Марией Стюарт два пути. Она может проявить уступчивость и, действуя политично, признать свою кузину Елизавету правомочной королевой Англии, отказавшись от собственных притязаний, ибо защитить их можно лишь с оружием в руках. Или же может смело и решительно обвинить Елизавету в захвате короны и призвать к оружию шотландскую и французскую армии для свержения узурпаторши. Роковым образом Мария Стюарт и ее советчики избирают третий, самый пагубный в политике, средний путь. Вместо сильного, решительного удара французский двор лишь хвастливо замахивается на Елизавету: по приказу Генриха II дофин и его супруга вносят в свой герб английскую корону, а Мария Стюарт официально и в документах титулуется «*Regina Franciae, Scotiae, Angliae et Hiberniae*»¹.

Таким образом, притязание заявлено, но никто его не защищает. С Елизаветой не воюют, ее лишь дразнят. Вместо решительных действий огнем и мечом — бессильный жест: перед Елизаветой потрясают размалеванной деревяшкой и исписанным клочком бумаги; в результате создается нелепое положение: Мария Стюарт и претендует на английский престол, и не претендует. О ее притязаниях то молчат, то вдруг вытаскивают их на свет. Так, на требование Елизаветы воротить ей по договору Кале Генрих II отвечает: «В таком случае Кале следует передать супруге дофина, королеве Шотландской, которую все мы почитаем законной королевой Англии». Однако тот же Генрих II и пальцем не пошевелил, чтобы защитить притязания своей невестки; он и сейчас продолжает вести переговоры с так

¹ Королева Французская, Шотландская, Английская и Ирландская (лат.).

называемой узурпаторшей, как с равноправной монархиней.

Своим нелепым ребяческим жестом, своим тщеславно намалеванным гербом Мария Стюарт так ничего и не добилась, а погубила все. У каждого в жизни бывают ошибки, которые никогда и ничем не исправишь. Так случилось и с Марией Стюарт: политическая бестактность, совершенная в отрочестве, и скорее из упрямства и тщеславия, чем по обдуманному решению, приводит ее к гибели, ибо, нанеся подобное оскорбление могущественнейшей женщине Европы, она в ней наживает непримиримого врага. Истинная властительница может многое стерпеть и простить, но только не сомнение в своем праве на власть. Естественно, что с этой минуты Елизавета рассматривает Марию Стюарт как опаснейшую соперницу, как тень за своим тронem. Отныне, что бы ни говорили и ни писали друг другу обе королевы, все будет притворством и ложью, попыткой замаскировать вражду; но эту трещину ничем уже не закроешь. В политике, как и в жизни, полумеры и виляние причиняют больше вреда, нежели энергичные и решительные действия. Всего лишь символически вписанная в герб Марии Стюарт английская корона стоила больше крови, чем пролилось бы в настоящей войне ради настоящей короны. Открытая борьба раз и навсегда внесла бы в дело полную ясность, тогда как подспудная, лукавая борьба постоянно возобновляется, отравляя обеим женщинам жизнь и власть.

Роковой герб с английскими регалиями фигурирует также на турнире по случаю мира, заключенного в Като-Камбрези: в июле 1559 года его горделиво несут перед le Roi Dauphen и la Reine Dauphine для общего обозрения. Рыцарственный король Генрих II не упускает случая преломить копьe pour l'amour des dames¹, и каждый понимает, какую даму он имеет в виду — красавицу Диану де Пуатье, горделиво взирающую из ложи на своего царственного возлюбленного. Но безобидная игра внезапно обращается в нечто крайне серьезное. Этому поединку суждено решить судьбу истории. Капитан шотландской лейб-гвардии Монтгомери, чье копьe уже расколослось, так неловко хватил

¹ Ради любви прекрасных дам (франц.).

древком своего противника — короля, что ранил его в глаз, и король за смертью упал с коня. Рану поначалу считают неопасной, но король так и не приходит в себя; охваченные ужасом, стоят члены королевской семьи у ложа умирающего. Несколько дней могучий организм храброго Валуа борется со смертью, и только десятого июля сердце его перестало биться.

Французский двор и в минуту глубокой скорби чтит обычай, как своего высшего властелина. Когда королевская фамилия покинула замок, Екатерина Медичи, супруга Генриха II, вдруг замедлила у порога: с этого часа, сделавшего ее вдовой, первое место при дворе принадлежит женщине, которую этот же час возвел на трон Франции. Трепетным шагом, смущенная и растерянная, переступает Мария Стюарт порог — супруга нового короля Франции проходит мимо вчерашней королевы. Этим шагом семнадцатилетняя юница опередила всех своих сверстниц, достигнув высшей степени власти.

ГЛАВА III

Вдовствующая королева и все же королева

С июля 1560 по август 1561 года

Ничто так не повернуло линию жизни Марии Стюарт в сторону трагического, как та коварная легкость, с какою судьба вознесла ее на вершину земной власти. Ее стремительное восхождение напоминает взлет ракеты: шести дней — королева Шотландская, шести лет — нареченная одного из могущественнейших принцев Европы, семнадцати — королева Французская, она уже в зените власти, когда ее душевная жизнь еще в сущности и не начиналась. Кажется, будто все сыплется на нее из неисчерпаемого рога изобилия, ничто не приобретено собственными силами, не завоевано собственной энергией; здесь нет ни трудов, ни заслуг, а только наследие, дар, благодать. Как во сне, где все проносится в летучей многоцветной дымке, видит она себя то в подвенечных, то в коронационных одеждах, и, раньше чем этот преждевременный расцвет может быть воспринят прозревшими чувствами, весна отцвела, развеялась, миновала, и королева просыпается разочарованная, растерянная, обманутая, ограбленная. В возрасте, когда другие лишь начинают желать, надеяться,

стремиться, она уже прошла через все зоны триумфа, так и не успев насладиться им душевно. Но в этой скороспелости судьбы кроется, как в зерне, и тайна гложущего ее беспокойства, ее неудовлетворенности: кто так рано был первым в стране, первым в мире, не примирится с ничтожной долей. Только слабые натуры покоряются и забывают, сильные же мнутся и вызывают на неравный бой всемогущую судьбу.

И в самом деле: промелькнет, как сон, короткая пора ее правления во Франции, как быстрый, беспокойный, тягостный и тревожный сон. Реймский собор, где архиепископ венчает на царство бледного больного мальчика и где прелестная юная королева, украшенная всеми драгоценностями короны, сияет среди придворных, как грациозная, стройная полурасцветшая лилия, дарит ей один лишь сверкающий миг, в остальном летописцы не сообщают ни о каких праздниках и увеселениях. Судьба не дала Марии Стюарт времени создать грезившийся ей двор, где процветала бы поэзия и все искусства трубадуров, ни живописцам времени запечатлеть на полотне монарха и его прелестную супругу в царственных одеждах, ни летописцам — обрисовать ее характер, ни народу — познакомиться со своими властителями, а тем более их полюбить; словно две торпливые тени, гонимые суровым ветром, проносятся эти детские фигуры в длинной веренице французских королей.

Ибо Франциск II болен и с самого рождения обречен ранней смерти, как меченное лесником дерево в лесу Робко смотрят усталые, с тяжелыми веками, словно испуганно открывшиеся во сне глаза на бледном одутловатом лице мальчика, чей внезапно начавшийся и потому неестественно быстрый рост еще больше подрывает его силы. Постоянно кружат над ним врачи и настойчиво советуют беречь себя. Но в душе этого полурепенка живет мальчишески честолюбивое стремление ни в чем не отставать от стройной, крепкой своей подруги, страстно приверженной охоте и спорту. Чтобы казаться здоровым и мужественным, он принуждает себя к бешеной скачке и непосильным физическим упражнениям; но природу не обманешь. Его отравленная, неизлечимо вялая кровь — проклятое наследие Франциска I — словно нехотя течет по жилам; подверженный приступам лихорадки, он осужден в ненастную

погоду томиться в четырех стенах, изнывая от страха, нетерпения и усталости, вечно окруженный заботой бесчисленных врачей. Такой незадачливый король внушает придворным скорее жалость, чем уважение, в народе же, напротив, ползут зловещие слухи, будто он болен проказой и, чтобы исцелиться, купается в крови свежесрезанных младенцев; мрачно, исподлобья глядят крестьяне на хилого заморыша, с безжизненной миной проезжающего мимо них на рослом скакуне; что же до придворных, то, опережая события, они предпочитают толпиться вокруг королевы-матери Екатерины Медичи и престолонаследника Карла. Слабыми, безжизненными руками трудно удерживать бразды правления; время от времени мальчик выводит корявым, нетвердым почерком свою подпись «François» под указами и актами, на деле же правят Гизы, родичи Марии Стюарт, а он только борется за то, чтобы сохранить в себе колеблющееся пламенишко жизни.

Счастливым супружеством — если это было супружеством — подобное вынужденное затворничество и вечные страхи и заботы не назовешь. Но ничто не говорит и о том, что эти, в сущности, дети не ладили меж собой; даже злоязычный двор, давший Брантому материал для его «*Vie des dames galantes*»¹, не находит оснований обвинить или заподозрить Марию Стюарт в чем-либо предосудительном; еще задолго до того, как соображения государственной пользы соединили их перед алтарем, Франциск и Мария Стюарт были товарищами детских игр, и вряд ли в отношениях юной четы эротическое играло заметную роль; пройдут годы, прежде чем в Марии Стюарт вспыхнет способность к самозабвенной любви, и уж во всяком случае, не Франциску, изнуренному лихорадкой юнцу, дано было пробудить эту сдержанную, замкнутую натуру. Конечно, Мария Стюарт с ее добрым, жалостливым сердцем и мягким, незлобивым характером заботливо ходила за больным супругом; ведь не только чувство, но и разум подсказывал ей, что блеск и величие ее власти зависят от дыхания и пульса бедного хилого мальчика и что, оберегая его жизнь, она защищает и свое счастье. В сущности, время недолгой поры их правления не давало простора для безмятежного счастья; в стране назревает восстание гугенотов, и после Амбуазского мятежа, грозившего опасностью самой

¹ «Жизнь легкомысленных дам» (франц.).

королевской чете, Мария Стюарт платит печальную дань обязанностям правительницы. Она должна присутствовать на казни мятежников, видеть — и это впечатление глубоко западает ей в душу, чтобы, возможно, вспыхнуть, точно в магическом зеркале, в ее собственный час, — как живого человека со связанными руками толкают на колени перед плахой и как размахнувшийся топор с тупым гудящим скрежетанием вонзается в затылок и голова, обливаясь кровью, катится на песок, — зрелище достаточно страшное, чтобы погасить в ее памяти сверкающее зрелище венчания в Реймском соборе. А затем одна недобрая весть опережает другую: ее мать, Мария де Гиз, правящая вместо нее в Шотландии, умирает в июне 1560 года, оставив страну в жестоком религиозном брожении и распри, между тем как на границе кипит война и англичане проникли далеко в глубь страны. И вот уже Мария Стюарт вынуждена облачиться в траурные одежды, она, бредившая, как девочка, праздничными нарядами. Столь любимая ею музыка должна замолкнуть, танец — замереть. И снова костлявою рукою стучится смерть в сердце и в дверь: Франциск II все более слабеет, отравленная кровь беспокойно бьется в виски и звенит в ушах. Он уже не в силах ходить и сидеть в седле, в постели переносят его с места на место. Наконец воспаление прорывается в ухо гноем, все искусство врачей не в силах ему помочь, и 6 декабря 1560 года злосчастный мальчик упокоился.

Трагическим символом повторяется между обеими женщинами — Екатериной Медичи и Марией Стюарт — сцена у одра смерти. Не успел Франциск II испустить последний вздох, как Мария Стюарт, утратившая французский престол, уступает в дверях дорогу Екатерине Медичи — молодая вдовствующая королева уступает дорогу старшей. Она уже не первая дама королевства, а вторая, как и раньше; только год прошел, и сон уже рассеялся; Мария Стюарт больше не французская королева, а единственно то, чем она была с первой минуты жизни и пребудет до последней: королева Шотландская.

Сорок дней длится по французскому придворному этикету первый, глубокий траур для вдовствующей королевы. Во время этого сурового затворничества ей не дозволено ни на минуту покидать свои покои; в течение первых двух

недель никто, кроме нового короля и его ближайших родственников, не должен навещать ее в искусственном склепе — затененной комнате, освещенной слабым мерцанием свечей. Пусть женщины простонародья одеваются во все черное — неизменный цвет траура, в отличие от них ей одной подобает le deuil blanc — белый траур. В белоснежном чепце, обрамляющем бледное лицо, в белом парчовом платье, белых башмаках и чулках и только в черном флере поверх этого призрачного сияния — такой выступает Мария Стюарт в те дни, такой предстает на знаменитом холсте Жане и такой же рисует ее Ронсар в своем стихотворении:

Un cresse long, subtil et délié
 Ply contre ply, retors et replié
 Habit de deuil, vous sert de couverture,
 Depuis le chef jusques à la ceinture,
 Qui s'enfle ainsi qu'un voile quand le vent
 Souffle la barque et la cingle en avant.
 De tel habit vous étiez accoutrée
 Partant, hélas! de la belle contrée
 Dont aviez eu le sceptre dans la main,
 Lorsque, pensive et baignant votre sein
 Du beau cristal de vos larmes coulées
 Triste marchiez par les longues allés
 Du grand jardin de ce royal château
 Qui prend son nom de la beauté des eaux.

В прозрачный креп одеты были вы,
 На бедра ниспадавший с головы
 В обдуманном и строгом беспорядке.
 Весь перевит, искусно собран в складки,
 Вдувался он, как парус в бурный час,
 Покровом скорби облекая вас.
 В такой одежде вы двору предстали,
 Когда свой трон и царство покидали,
 И слезы орошали вашу грудь,
 Когда, пускаясь в незнакомый путь,
 На все глядели вы печальным взглядом,
 В последний раз любуясь дивным садом
 Того дворца, чье прозвище идет
 От синевы кругом журчащих вод

В самом деле, прелесть и обаяние юной женщины нигде не выступают так убедительно, как на портрете Жане созерцательное выражение придает ее взору необычнк ясность, а однотонная, ничем не нарушаемая белизна платья подчеркивает мраморную бледность лица. в этой скорбной одежде ее царственное благородство проступает

гораздо отчетливее, чем на ранних портретах, показывающих ее во всем блеске и великолепии высокого сана, осыпанную камнями и украшенную всеми регалиями власти.

Благородная меланхолия звучит в строках, которые сама она посвящает памяти умершего супруга в виде надгробного плача, — строках, достойных пера ее маэстро и учителя Ронсара. Даже написанная не рукой королевы, эта кроткая нения трогала бы нас своей неподдельной искренностью. Ибо осиротевшая подруга говорит здесь не о страстной любви — никогда Мария Стюарт не лгала в поэзии, как лгала в политике, — а лишь о чувстве утраты и одиночества:

Sans cesse mon coeur sent
Le regret d'un absent
Si parfois vers les cieux
Viens à dresser ma veue
Le doux trait de ses yeux
Je vois dans une nue;
Soudain je vois dans l'eau
Comme dans un tombeau
Si je suis en repos
Sommillant sur ma couche,
Je le sens qu'il me touche:
En labeur, en recoy
Toujours est près de moy.

Как тяжело ночью, днем —
Всегда грустить о нем!
Когда на небеса
Кидаю взгляд порою,
Из туч его глаза
Сияют предо мною.
Гляжу в глубокий пруд —
Онн туда зовут.
Одна в ночи тоскую,
Я ощущаю вдруг
Прикосновение рук,
И трепет поцелуя.
Во сне ля, наяву —
Я только им живу.

Печаль Марии Стюарт об ушедшем Франциске II, несомненно, нечто большее, чем поэтическая условность, в ней чувствуется подлинная, искренняя боль. Ведь она утратила в нем не только доброго, покладистого товарища, не только нежного друга, но также и свое положение в Европе; свое могущество, свою безопасность. Вскоре девочка-вдова почувствует, какая разница, быть ли первой при

дворе, королевой, или же отойти на второе место, стать нахлебницей у нового короля. Трудность ее положения усугубляется враждой, которую питает к ней Екатерина Медичи, ее свекровь, ныне снова первая дама французского двора; по-видимому, Мария Стюарт смертельно обидела чванливую, коварную дочь Медичи, как-то пренебрежительно отозвавшись о происхождении этой «купеческой дочки», не сравнимом с ее собственным, наследственным королевским достоинством. Подобные бестактные выходы — шальная, неукротимая девчонка не раз позволит себе то же самое и в отношении Елизаветы — способны посеять между женщинами больше недобрых чувств, чем открытое оскорбление. И едва лишь Екатерина Медичи, двадцать долгих лет обуздывавшая свое честолюбие — сначала ради Дианы Пуатье, а потом ради Марии Стюарт, — едва лишь она становится правительницей, как с вызывающей властью дает почувствовать свою ненависть обоим павшим богиням.

Однако никогда Мария Стюарт — и тут ясно выступает на свет самая яркая черта ее характера: неукротимая, непреклонная, чисто мужская гордость, — никогда она не останется там, где чувствует себя лишь второй, никогда ее гордое, горячее сердце не удовлетворится скромной долей и половинным рангом. Лучше ничто, лучше смерть. На мгновение ей приходит мысль удалиться в монастырь, отказаться от своего высокого сана, раз самый высокий сан в этой стране ей более недоступен. Но слишком велик еще соблазн жизни; отречься навсегда от ее усад значило бы для восемнадцатилетней попать свою природу. А кроме того, не ушла еще возможность возместить утерянную корону другой, не менее драгоценной. Испанский король поручает своему послу сватать ее за дону Карлоса, будущего властителя двух миров; австрийский двор присылает к ней тайных посредников; короли шведский и датский предлагают руку и престол. К тому же есть у нее и своя наследственная корона, да и ее притязание на вторую, английскую, корону покамест еще в полной силе. Неисчислимы возможности по-прежнему ждут юную вдовствующую королеву, эту женщину, едва достигшую полного расцвета. Правда, теперь дары уже не валятся на нее с неба и не преподносятся ей на блюде благосклонной судьбой, их приходится с великим искусством и терпением отвоевывать у сильных противников. Но с таким мужест-

вом, с такой красотой, с такой юной душой в горячем, цветущем теле можно рисковать и самой высшей ставкой. Исполненная решимости, приступает Мария Стюарт к битве за свое наследие.

Разумеется, прощание с Францией нелегко ей дается. Двенадцать лет прожила она при этом княжеском дворе, и прекрасная, изобильная, богатая чувственными радостями страна для нее в большей мере родина, чем Шотландия ее канувшего детства. Здесь ее опекают родичи по материнской линии, здесь стоят замки, где она была счастлива, здесь творят поэты, что славят и понимают ее, здесь вся легкая рыцарская прелесть жизни, столь близкая ее душе. С месяца на месяц откладывает она возвращение в родное королевство, хотя там давно ее ждут. Она навещает родственников в Жуанвилле и Нанси, присутствует на коронационных торжествах своего десятилетнего шурина Карла IX в Реймсе; словно охваченная таинственным предчувствием, ищет она все новых поводов, чтобы отложить отъезд. Кажется, будто она ждет какого-то внезапного поворота судьбы, который избавил бы ее от возвращения на родину.

Ибо, каким бы новичком в заботах правления ни была эта восемнадцатилетняя королева, одно ей хорошо известно, что в Шотландии ее ждут тяжелые испытания. После смерти ее матери, управлявшей вместо нее страной в качестве регентши, протестантские лорды, ее злейшие противники, взяли верх, и теперь они едва скрывают свое нежелание призвать в страну ревностную католичку, приверженную ненавистной мессе. Открыто заявляют они — английский посол с восторгом доносит об этом в Лондон, — что «лучше-де задержать приезд королевы еще на несколько месяцев и что, кабы не долг послушания, они и вовсе рады бы никогда ее больше не видеть». Втайне они уже давно ведут нечестную игру: так, они предлагали английской королеве в мужья ближайшего претендента на престол, протестанта графа Аранского, чтобы незаконно подкинуть Елизавете корону, по праву принадлежащую Марии Стюарт. Столько же мало может она верить и сводному брату, Джеймсу Стюарту, графу Меррею, по поручению шотландского парламента приезжающему к ней во Францию: слишком он в хороших отношениях с Елизаветой. Уж не на платной ли он у нее службе? Только неотложное ее возвращение может своевременно подавить эти темные и глухие интриги; только опираясь на наслед-

ственную отвагу, отвагу королей-Стюартов, может она утвердить свою власть. Итак, не рискуя потерять в один год вслед за первой еще и вторую корону, томимая мрачными предчувствиями, с тяжелой душой решается Мария Стюарт следовать зову, который исходит не от чистого сердца и которому сама она верит лишь наполовину.

Но еще до возвращения в свое королевство Марии Стюарт дают почувствовать, что Шотландия граничит с Англией и что правит там не она, а другая королева. Елизавета не видит ни малейшей причины и не чувствует никакой склонности в чем-либо идти навстречу своей сопернице и наследнице престола, да и английский государственный секретарь Сесил с нескрываемым цинизмом поддерживает каждый враждебный ее маневр: «Чем дольше дела шотландской королевы останутся неустроенными, тем лучше для Вашего Величества». Вся беда в том, что нелепые, бутафорские притязания Марии Стюарт на английский престол — предмет их распри — все еще не сняты с повестки дня. Правда, между шотландскими и английскими депутатами заключен в Эдинбурге договор, по которому первые от имени Марии Стюарт обязались признать Елизавету «for all times coming», то есть навсегда, правомочной английской королевой. Но, когда договор был доставлен во Францию, Мария Стюарт и ее супруг Франциск II уклонились от дачи своей подписи; никогда у Марии Стюарт не поднимется рука подписать что-либо подобное, никогда она, выставившая на своем знамени притязание на английский престол и гордо парадировавшая этим знаменем, никогда она его не опустит. Она, пожалуй, готова из политических соображений отложить свое требование до лучших времен, но ни за что открыто и честно не откажется от наследия предков.

Но такой двойной игры в этом вопросе Елизавета не потерпит. Представители шотландской королевы подписали от ее имени Эдинбургский договор, пусть же и она скрепит его своей подписью. Признанием *sub rosa*, негласным обещанием Елизавета не удовлетворится, для нее, как протестантки и правительницы страны, на добрую половину оставшейся верной католицизму, католическая претендентка означает не только угрозу ее власти, но и самой ее жизни. Пока эта контркоролева не откажется со всей

прямотой от своих притязаний, Елизавета не будет чувствовать себя настоящей королевой.

В этом спорном вопросе Елизавета, конечно, абсолютно права; но она тут же ставит свою правоту под сомнение, когда столь серьезный политический конфликт стремится решить мелкими, нечестными средствами. Неизменно в политической борьбе наблюдается у женщин опасное свойство действовать булавочными уколами, разжигать распрю личной злобой; так и на сей раз дальновидная правительница впадает в неизбежную ошибку всех женщин-политиков. Мария Стюарт официально испросила для поездки в Шотландию так называемый *safe conduct* — транзитную визу, как сказали бы мы сейчас: с ее стороны это было скорее актом лояльности, данью чисто формальной, официозной вежливости, поскольку прямой путь в Шотландию морем ей не закрыт; предполагая ехать через Англию, она как бы молчаливо давала противнице возможность для дружеских переговоров. Елизавета, однако, тотчас же ухватилась за случай нанести противнице булавочный укол. На учтивость она отвечает сугубой неучтивостью, заявляя, что до тех пор не даст Марии Стюарт *safe conduct*, пока та не подпишет Эдинбургский договор. Желая ранить королеву, она наносит оскорбление женщине; вместо внушительного жеста открытой военной угрозы избирает бессильный и злобный жест личного оскорбления.

Итак, завеса, скрывающая тайный конфликт между обеими женщинами, сорвана, с пылающими гневом глазами стала гордость против гордости. Сгоряча призывает к себе Мария Стюарт английского посланника и негодуяще набрасывается на него. «Я в крайней досаде на себя, — говорит она ему; — надо же мне было так забытья — просить вашу повелительницу об услуге, в которой я, в сущности, не нуждаюсь. Мне так же мало потребно ее разрешение для поездки, как и ей — мое, куда б она ни вознамерилась ехать. Ничто не мешает мне вернуться в мое королевство и без ее охранной грамоты и соизволения; покойный король пытался перехватить меня по дороге сюда, в эту страну, однако это не помешало мне, как вы знаете, благополучно доехать, и точно так же найдутся у меня и теперь средства и пути для возвращения, стоит лишь мне обратиться к друзьям... Вы говорите, что дружба между вашей королевой и мною как нельзя более желательна и полезна нам обоим. Но у меня теперь есть основание

полагать, что ваша королева держится иного мнения, иначе она не отнеслась бы к моей просьбе столь недружественно. Похоже, что дружба моих непокорных подданных ей во сто крат милее моей, их повелительницы, равного с нею сана, пусть и уступающей ей в мудрости и опыте, однако все же ближайшей родственницы ее и соседки... Я же ищу одной только дружбы, я не тревожу мира в ее государстве, не вступаю в переговоры с ее подданными, хотя известно мне, что среди них немало нашлось бы таких, кто с радостью откликнулся бы на любое мое предложение».

Внушительная угроза — более внушительная, чем мудрая. Мария Стюарт еще не успела ступить на берег Шотландии, а уже выдает свое тайное намерение в случае надобности перенести борьбу с Елизаветой на английскую землю. Посол учтиво виляет: все эти недоразумения, говорит он, проистекают оттого, что Мария Стюарт включила английский государственный герб в свой собственный. Мария Стюарт тотчас же отводит этот упрек: «В то время, господин посол, я находилась под влиянием короля Генриха, моего свекра, а также моего царственного господина и супруга, я только выполняла их пожелания и приказы. После же их смерти я, как вам известно, воздерживалась носить титул и герб английской королевы. Хотя, к слову сказать, я не вижу ничего оскорбительного для моей августейшей кузины в том, что я, будучи такой же королевой, как она, ношу английский герб; ведь носят же его другие лица, и куда с меньшим правом, чем я. Не станете же вы отрицать, что одна из моих бабок была сестрой ее августейшего родителя, и к тому же старшей сестрой».

Опять под личиной дружбы блеснуло зловещее напоминание: подчеркивая свое происхождение по старшей линии, Мария Стюарт вновь утверждает свои преемственные права. И когда посол настоятельно просит ее для разрешения этого недружественного инцидента подписать в согласии с данным ей словом Эдинбургский договор, Мария Стюарт, как всегда, чуть речь пойдет об этом щекотливом пункте, находит тысячу причин, чтобы отложить дело в долгий ящик: нет, она ничего не может предпринять, не посоветовавшись с шотландским парламентом; но точно так же и посол избегает каких-либо обещаний от имени Елизаветы. Едва лишь переговоры доходят до некоей критической точки, едва лишь одна из королев должна безусловно и непреложно поступиться своим правом, как неизменно

начинаются увертки и обманы. Каждая придерживает свой козырь; так игра затягивается до бесконечности, клонясь к трагической развязке. Резко обрывает Мария Стюарт переговоры насчет охранной грамоты — вы словно слышите скрежещущий звук разрываемой ткани: «Когда б мои приготовления не подвинулись так далеко, быть может, недружественное поведение вашей августейшей госпожи и помешало б моей поездке. Однако теперь я полна решимости отважиться на задуманное, к чему бы это ни привело. Уповаю, что ветер будет благоприятный и нам не придется приставать к английскому берегу. Если же это случится, ваша августейшая госпожа заполучит меня в свои руки. Пусть тогда делает со мной, что хочет, и если она столь жестокосерда, что жаждет моей смерти, пусть принесет меня в жертву своему произволу. Быть может, такой выход для меня и лучше, чем это земное странствие. Да сбудется же и здесь воля господня!»

И снова в ее словах прорывается все тот же опасный, самонадеянный, решительный тон. Скорее мягкая, беспечная и легкомысленная по натуре, более склонная искать утех жизни, чем борьбы, Мария Стюарт становится тверже стали, упрямой и смелой, чуть дело коснется ее чести, ее королевских прав. Лучше погибнуть, чем склонить выю, лучше королевская блажь, чем малодушная слабость. В тревоге доносит посол в Лондон о своей неудаче, и Елизавета, как более мудрая и гибкая правительница, тотчас же идет на уступки. Выправляется охранная грамота и отсылается в Кале. Однако она приходит с двухдневным опозданием. Мария Стюарт тем временем отважилась пуститься в дорогу, хоть в Ламанше ей угрожает встреча с английскими каперами: лучше смело и независимо избрать опасный путь, чем ценою унижения — безопасный. Елизавета упустила единственную представившуюся ей возможность миром разрешить конфликт, обзаведя благодарностью ту, кого она страшится как соперницы. Но политика и разум редко следуют одним путем: быть может, именно такими упущенными возможностями и определяется драматическое развитие истории.

Словно обманчивое сияние вечернего солнца, одевающее ландшафт в пурпур и золото, предстает перед Марией Стюарт в этом последнем спектакле, данном в ее честь,

вся пышность и великолепие французского церемониала. Ибо не одинокой и всемирно оставленной придется той, что царственной невестой ступила на эту землю, покинуть места своего бывшего владычества; да будет ведомо всем, что не бедной, сирой вдовой, не слабой, беспомощной женщиной возвращается на родину шотландская королева, но что меч и честь Франции на страже ее судьбы. От Сен-Жерменского дворца и до самого Кале провожает ее блестящая кавалькада. На конях под богатыми чепраками, щеголяя расточительной роскошью французского Ренессанса, бряцая оружием, в золоченых доспехах с богатой инкрустацией, провожает вдовствующую королеву, весь цвет французской нации — впереди в парадной карете трое ее дядей — герцог де Гиз и кардиналы Лотарингский и Гиз. Марию Стюарт окружают четыре верные Марии, знатные дамы, служанки, пажи, поэты и музыканты; следом за пестрым поездом везут тяжелые сундуки с драгоценной утварью и в закрытом ковчежце — сокровища короны. Королевой, во всем блеске и славе, среди почестей и поклонения, такой же, какой она прибыла сюда, покидает Мария Стюарт отчизну своего сердца. Отлетела только радость, когда-то сиявшая в глазах ребенка. Проводы — это всегда лишь закатное сияние, последняя вспышка света на пороге ночи.

Большая часть королевского поезда остается в Кале. Дворяне возвращаются домой. Завтра им предстоит в Лувре служить другой королеве, ведь царедворцу важен высокий сан, а не человек, его носящий. Все они забудут Марию Стюарт; едва лишь ветер надует паруса галеонов, от нее отвернутся сердцем все те, кто сейчас, воздев восторженные очи и пав на колени, клянется ей в вечной преданности и на расстоянии. Проводы для этих всадников — всего лишь пышная церемония, подобная коронации или погребению. Искреннюю печаль, неподдельное горе ощущают при отъезде Марии Стюарт одни только поэты, чьей более чуткой душе дан вещий дар предвидеть и пророчить. Они знают, что с отъездом этой молодой женщины, грезившей о дворе — прибежище радости и красоты, музы покинут Францию; наступает темная пора как для них, так и для других французов — пора политической борьбы, бесконечных свар, склок и распрей, пора гугенотских восстаний, Варфоломеевской ночи, фанатиков, изуверов и зилотов. Уходит все рыцарское и романтическое, все свет-

лое и беспечно прекрасное — вместе с этим юным видением уходит и расцвет искусств. Созвездие «Плеяды», поэтический семисвечник, скоро померкнет в омраченных небесах войны. С Марией Стюарт, печалуются поэты, отлетают столь любезные нам радости духа:

Ce jour le même voile emporta loin de France
Les Muses, qui songoient y faire demeurence.

В тот день корабль унес от наших берегов
Всех муз, во Франция нашедших верный кров.

И снова Ронсар, чье сердце молодеет при виде юности и красоты, в своей элегии «Au départ»¹ прославляет очарование Марии Стюарт, словно хочет удержать в стихах то, что навек утрачено для его восхищенных взоров, и в искренней своей скорби создает поистине красноречивую жалобу:

Comment pourroient chanter les bouches les poètes,
Quand, par votre départ les Muses sont muettes?
Tout ce qui est de beau ne se garde longtemps
Les roses et les lys ne règnent qu'un printemps.
Ainsi votre beauté seulement apparue
Quinze ans en notre France, est soudain disparue,
Comme on voit d'un éclair s'évanouir le trait,
Et d'elle n'a laissé sinon le regret,
Sinon le déplaisir qui me remet sans cesse
Au coeur le souvenir d'une telle princesse.

Как может петь поэт, когда, полны печали,
Узнав про ваш отъезд, и музы замолчали?
Всему прекрасному приходит свой черед.
Весна умчится прочь, и лилия умрет.
Так ваша красота во Францию блистала
Всего пятнадцать лет, и вдруг ее не стало.
Подобно молнии, исчезнувшей из глаз,
Лишь сожаление напечатлевшей в нас,
Лишь неизбежный след, чтоб в этой жизни брэнной
Я верность сохранил принцессе несравненной.

Двор, знать и благородное рыцарство забудет отсутствующую, одни лишь поэты по-прежнему останутся верны своей королеве; ибо в глазах поэтов несчастье — это истинное благородство, и та, чью гордую красоту они воспели, станет им вдвое дороже в своей печали. Верные провожатые, восславят они ее жизнь и смерть. Когда человек возвышенной души проживает свою жизнь до

¹ На прощание (франц.).

конца уподобив ее стихам, драме или балладе, всегда найдутся поэты, которые все снова и снова станут воссоздавать ее для новой жизни.

В Кале в гавани уже дожидается великолепно разукрашенный, сверкающий свежей белизной галеон; на этом адмиральском судне, на котором вместе с шотландским развеивается и французский королевский штандарт, сопровождают Марию Стюарт ее вельможные дяди, избранные царедворцы и четыре Марии, верные подруги ее детских игр; два других корабля его эскортируют. Галеон еще не выбрался из внутренней гавани, еще не поставлены паруса, а первый же взгляд, обращенный Марией Стюарт в неведомую морскую даль, натывается на зловещее знамение: только что введенный в гавань баркас терпит крушение у прибрежных скал, его пассажирам грозит смерть в волнах. Итак, первая картина, которую видит Мария Стюарт, оставляя Францию, чтобы принять бразды правления, становится мрачным символом: плохо управляемый корабль погружается в бездну вод.

Внушает ли ей это знамение безотчетный трепет, гнетет ли ее тоска об утраченной отчизне или предчувствие, что прошлому нет возврата, но Мария Стюарт не в силах отвести затуманенных глаз от земли, где она была так молода и наивна, а следовательно, и счастлива. Проникновенно описывает Брантом захватывающую грусть этого прощания: «Как только судно вывели из гавани, поднялся ветер и матросы развернули паруса. Сложив обе руки на корме у руля, она громко зарыдала, обращая взоры к тому месту на берегу, откуда мы отчалили, и повторяя все тот же грустный возглас: „Прощай, Франция!“ — пока над нами не сгустилась тьма. Когда ей предложили сойти в каюту, чтобы отдохнуть, она решительно отказалась. Ей приготовили постель на фордеке. Отходя ко сну, она строго наказала помощнику рулевого, чтобы, как только рассветет, если французский берег будет еще в виду, он тотчас же ее разбудил, хотя бы ему пришлось кричать над самым ее ухом. И судьба благословила ее горячее желание. Ибо ветер вскоре улегся, пришлось идти на веслах и за ночь судно ушло недалеко. При восходе солнца вдаль все еще виднелся французский берег. Как только рулевой выполнил ее просьбу, она вскочила с ложа и не отрываясь глядела вдаль, без конца повторяя все те же слова: „Прощай, Франция! Франция, прощай! Я чувствую, что больше тебя не увижу!“»

ГЛАВА IV

Возвращение в Шотландию

Август 1561 года

Густой туман — редкое явление поздним летом у этих северных берегов — окутывает все кругом, когда Мария Стюарт 19 марта 1561 года высаживается в Лейте. Но как же отличается ее прибытие в Шотландию от расставания с *la douce France*¹. Там с нею в торжественных проводах прощался весь цвет французской знати; князья и графы, поэты и музыканты соперничали в изъявлении преданности и подобострастной почтительности. Здесь же никто ее не ждет; и только когда суда пристают к берегу, собирается изумленная толпа — несколько рыбаков в своем неуклюжем рабочем одеянии, кучка слоняющихся без дела солдат, какие-то лавочники да крестьяне, пригнавшие в город на продажу свой скот. Скорее робко, чем восторженно, следят они, как богато разодетые, именитые дамы и кавалеры высаживаются на берег. Угрюмая встреча, мрачная и суровая, как душа этой северной страны! С первого же часа Мария Стюарт стесненной душой познает ужасающую бедность своей родины: за пятидневный переезд по морю она удалилась вспять на целое столетие — из обширной, богатой, благоденствующей, расточительной, унявающейся своей культурой страны попала в тесный, темный, трагический мир. Десятки раз спаленный дотла и разграбленный англичанами и местными повстанцами город не имеет не только дворца, но даже господского дома, где ее могли бы достойно приютить; и королева вынуждена заночевать у простого купца, чтобы обрести крышу над головой.

Первым впечатлениям присуща особая власть, неизгладимо запечатлеваются они в душе. Должно быть, молодая женщина не отдает себе отчета, что за неизъяснимая грусть сковала ей сердце, когда после тринадцатилетнего отсутствия она, как чужая, снова ступила на родную землю. Тоска ли это об утраченном доме, бессознательное стремление к той полной теплы и сладости жизни, которую научилась она любить на французской земле; давит ли ее это чужое серое небо или предчувствие грядущих бед? Кто знает — но только, оставшись одна, она, по словам Брантома, разразилась неутешными слезами. Не так, как Вильгельм

¹ Милой Францией (*франц.*)

Завоеватель, не с гордой самонадеянностью властителя ступила она уверенной и твердой стопой на британский берег, нет, первое ее ощущение — растерянность, недоброе предчувствие и страх перед событиями, таящимися во мгле.

На следующий день прискакал уведомленный о ее приезде регент, ее сводный брат Джеймс Стюарт, более известный как граф Меррей; он прибыл с несколькими дворянами, чтобы, спасая положение, хотя бы с какой-то видимостью почета проводить королеву в уже недалекий Эдинбург. Но парадного шествия не получилось. Англичане под неуклюжим предлогом, будто они отправляются на поиски пиратов, задержали корабль с ее лошадьми; здесь же, в захолустном городке, удается найти только одного пристойного коня в более или менее сносной сбруе, которого и подводят королеве, женщинам же и дворянам из ее свиты приходится довольствоваться простыми деревенскими клячами, набранными по окрестным конюшням и стойлам. Со слезами глядит Мария Стюарт на это зрелище, и снова ей приходит на ум, сколь много утратила она со смертью своего супруга и какая это скромная доля — оказаться всего лишь королевой Шотландской, после того как ты была королевой Франции. Гордость не позволяет ей явиться своим подданным с таким жалким обозом, и вместо *joyeuse entrée*¹ по улицам Эдинбурга она сворачивает со своей свитой в замок Холируд, стоящий за городскими стенами. Дом, построенный ее отцом, тонет в вечерней мгле, выделяются только круглые башни и зубчатая линия крепостных стен; строгие очертания фасада, сложенного из массивного камня, производят при первом взгляде почти величественное впечатление.

Но с какой ледяной будничностью встречают свою хозяйку, избалованную французской роскошью, эти пустынные, угрюмые покои! Ни гобеленов, ни праздничного сияния свечей, которые, отражаясь в венецианских зеркалах, отбрасывают свет от стены к стене, ни дорогих драпировок, ни мерцания золота и серебра. Здесь годами не держали двора, в покинутых люках давно заглох беззаботный смех, никакая королевская рука после кончины

¹ Ликующего шествия (франц.).

ее отца не подновляла и не украшала этот дом; отовсюду ввалившимися очами глядит нищета, извечное проклятие ее королевства.

Однако едва в Эдинбурге услышали, что королева прибыла в Холируд, как все жители, несмотря на поздний час, высыпали из домов и потянулись за городские ворота ее приветствовать. Не удивительно, что на вкус изысканных, изнеженных французских придворных эта встреча показалась грубоватой и неуклюжей: ведь у эдинбургских обывателей нет своих *musiciens de la cour*¹, чтобы позабавить ученицу Ронсара сладостными мадригалами и искусно положенными на музыку канцонами. Только по стародавнему обычаю могут они восславить свою королеву. Натаскав хворосту и дров — единственное, чем богата эта негостеприимная страна, — они раскладывают на площадях костры, свои излюбленные *bonfires*, и жгут их до глубокой ночи. Толпами собираются они у ее окон и на волынках, дудках и других нескладных инструментах исполняют нечто, что на их языке зовется музыкой, изошренному же слуху гостей представляется какой-то адской какофонией; грубыми мужскими голосами распевают они псалмы — единственное, чем, при всем своем радушии, они могут приветствовать гостей, так как мирские песни строго-настрого заказаны им кальвинистскими пастырями. Но Мария Стюарт рада сердечному приему, во всяком случае, она смеется и благосклонно приветствует свой народ. Так, по крайней мере в первые часы прибытия, между государыней и ее подданными воцаряется единомыслие, какого здесь не знавали уже десятилетиями.

В том, что политически нескущенную правительницу ждуг огромные трудности, отдавали себе отчет и сама королева и ее советники. Пророческими оказались слова умнейшего из шотландских вельмож Мэйтленда Летингтонского, писавшего по поводу приезда Марии Стюарт, что он послужит причиною многих удивительных трагедий («it could not fail to raise wonderful tragedies»). Даже энергичный, рещительный мужчина, правящий железной рукой, не мог бы надолго умиротворить эту страну, а тем более девятнадцатилетняя, несведущая в делах правления жен-

¹ Придворных музыкантов (франц.).

щина, ставшая чужой в собственной стране! Нищий край; развращенная знать, радующаяся любому поводу для смуты и войны; бесчисленные неурядливые кланы, только и ждущие случая превратить свои усобицы и распри в гражданскую войну; католическое и протестантское духовенство, яростно оспаривающее друг у друга первенство; опасная и зоркая соседка, искусно разжигая всякую искру недовольства в открытый мятеж, и ко всему этому враждебные происки мировых держав, бесстыдно втравливающих Шотландию в свою кровавую игру, — таково положение, которое застает в стране Мария Стюарт.

В ту минуту, когда она появляется в Шотландии, борьба достигла высшего накала. Вместо полных сундуков ей досталось от матери пагубное наследие (поистине *damnosa hereditas*) — религиозная вражда, свирепствующая в этом краю с особенной силою. За те годы, что она, баловница счастья, беспечно жила во Франции, реформации удалось победоносным маршем войти в Шотландию. Через дома и усадьбы, через города и веси, через родство и свойство пролегла чудовищная трещина: дворяне — одни католики, другие протестанты; города прилежат новой вере, деревни — старой; клан восстал против клана, род против рода; вражда между обоими лагерями постоянно разжигается священниками и поддерживается происками иноземных государств. Особенную опасность для Марии Стюарт представляет то, что наиболее могущественная и влиятельная часть ее дворянства объединилась во враждебном ей кальвинистском лагере; возможность разжиться богатыми церковными землями вскружила головы властолюбивым мятежникам. Наконец-то представился им случай выступить против своей монархини в тоге добродетели, на положении «лордов конгрегации», защитников веры, тем более что содействие Англии им обеспечено. Скуповатая Елизавета уже двести тысяч фунтов пожертвовала на то, чтобы с помощью смут и вооруженных походов вырвать Шотландию из-под власти католиков, и даже сейчас, после торжественно заключенного мира, большинство соседних подданных тайно состоит у нее на службе. Мария Стюарт может одним ударом восстановить равновесие, стоит ей перейти в протестантскую веру, и часть ее советников усиленно на этом настаивает. Но недаром Мария Стюарт из дома Гизов. По матери она в кровном родстве с самыми горячими поборниками католицизма, да и сама она, хоть и чужда

фарисейскому благочестию, все же горячо и убежденно привержена вере отцов и предков. Никогда не откажется она от своих убеждений и даже в минуты величайшей опасности, по обычаю смелой натуры, предпочтет неугасимую борьбу хотя бы одному трусливому шагу, неуместному ее совести и чести. Но тем самым непроходимая пропасть залегла между ней и ее дворянством; когда властителя и его подданных разделяют религиозные верования, это к добру не приводит; весы не могут вечно колебаться, та или другая чаша должна перевесить. В сущности, у Марии Стюарт один только выбор — возглавить в стране реформацию или пасть ее жертвой. Неудержимый раскол между Лютером, Кальвином и Римом неисповедимой волею судеб именно в ее участи получает свое драматическое разрешение; личный конфликт между Марией Стюарт и Елизаветой, между Англией и Шотландией призван решить — и в этом его огромное значение — также и конфликт между Англией и Испанией, между реформацией и контрреформацией.

Эта ситуация, и сама по себе пагубная, отягчена тем, что религиозный разлад проник в семью королевы, в ее замок, в ее совещательную палату. Влиятельнейший шотландский вельможа, ее сводный брат, которому она вынуждена доверить все дела правления, — сам убежденный протестант, оберегатель той «кирки», которую она, верующая католичка, считает погрязшей в ереси. Уже четыре года, как он первым поставил свою подпись под присягою заступников веры, так называемых «лордов конгрегации», присягою, коей они отрекались от сатанинской веры и обязывались открыто противиться ее суеверству и идолопоклонству. Сатанинская же вера («congregation of satan»), от которой они отрекаются, и есть католическая, та самая, которую исповедует Мария Стюарт. Между королевой и ее регентом с первой же минуты разверста непроходимая пропасть в наиболее важном, наиболее существенном вопросе их мировоззрения, а это не обещает мира. Ибо в глубине души королева лелеет одно заветное желание — искоренить реформацию в Шотландии, а у ее регента и брата одна цель — провозгласить протестантизм единственной господствующей религией в Шотландии. Такое резкое идейное расхождение неминуемо должно привести к открытому конфликту.

Означенный Джеймс Стюарт призван стать в драме «Мария Стюарт» одним из ведущих персонажей; судьба уготовила ему не последнюю роль в этой драме, и он мастерски ее проводит. Сын того же отца, но рожденный им в многолетнем сожителстве с Маргаритою Эрскин из родовитейшей шотландской фамилии, он и по крови и по своей железной энергии как бы самой природою предназначен стать достойнейшим наследником престола. Однако политическая слабость вынудила Иакова V в свое время отказаться от мысли узаконить свою связь с горячо любимой леди Эрскин; ради укрепления своей власти и своих финансов он женится на французской принцессе, ставшей впоследствии матерью Марии Стюарт. Над честолюбивым старшим сыном тяготеет проклятье незаконного рождения, навсегда преграждающее ему дорогу к престолу. Хоть папа, по просьбе Иакова V, и признал за старшим сыном, равно как и за другими его внебрачными детьми, все права королевского происхождения, все же Меррей остается бастардом, без всяких прав на отцовский престол.

История и ее величайший подражатель Шекспир дали миру немало примеров душевной трагедии бастарда, этого и сына и несына, у которого закон государственный, церковный и человеческий безжалостно отнял те права, что сама природа запечатлела в его крови и лице. Осужденные трибуналом предрассудков, самым страшным и непреклонным из судов человеческих, эти внебрачные дети, зачатые не на королевском ложе, обойдены в пользу других наследников, порою слабейших, так как их произвела на свет не любовь, а политический расчет; вечно гонимые и изгоняемые, они обречены кланчить там, где им надлежало бы владеть и властвовать. Но если человека открыто клеймить как неполноценного, то вечно преследующее его чувство неполноценности должно либо совсем его согнуть, либо чудесным образом укрепить. Трусливые и вялые души становятся под ярмом унижения еще меньше, еще ничтожнее; попрошайки и лизоблюды, они кланчат подачек и милостей у тех, кто благоденствует под сенью закона. Когда же обделен человек волею, это высвобождает в нем связанные темные силы, если его добром не подпустить к власти, он постарается сам стать властью.

Меррей — волевая натура. Неистовая решимость Стюартов, его царственных предков, их гордость и властность неукротимо бродят в его крови, как человек, как личность он незаурядным умом и твердой волею на голову выше,

чем разбойничье племя других графов и баронов. Его честолюбие метит высоко, его планы политически обоснованы; умный, как и его сестра, этот тридцатилетний искатель власти неизмеримо превосходит ее практической сметкой и мужским опытом. Словно на играющее дитя, смотрит он на нее сверху вниз и не мешает ей развиваться, доколе ее игра не путает его планов. Зрелый муж, он не подвержен, как она, страстным, нервическим, романтическим порывам; как правитель он лишен ореола героизма, но зато умеет терпеливо ждать и, следовательно, владеет подлинной тайной успеха, более надежным его залогом, чем внезапный жаркий порыв.

Мудрого политика всегда отличает умение заранее отказать от несбыточных мечтаний. Для незаконнорожденного такой мечтой является царская корона. Никогда Меррею — и он это прекрасно знает — не именоваться Иаковом Шестым. Трезвый политик, он наперед отказывается от притязаний на престол Шотландии, чтобы с тем самым основанием стать ее правителем — регентом (regent), поскольку ему нельзя быть королем (rex). Он отказывается от королевских регалий и внешнего блеска, но лишь для того, чтобы крепче удерживать в руках власть. С ранней молодости рвется он к богатству, как наиболее осязаемому воплощению могущества, выговаривает себе у отца огромное наследство, не пренебрегает и богатыми дарами, использует в своих интересах секуляризацию церковных владений и войну — словом, при каждом лове первым наполняет свою сеть. Без зазрения совести принимает он от Елизаветы щедрые субсидии, и вернувшись в Шотландию законной королевой Мария Стюарт находит в нем самого богатого и влиятельного вельможу, которого уже не столкнешь с дороги. Скорее по необходимости, чем из внутренней склонности, ищет она его дружбы и, ради собственной выгоды, отдает сводному брату в его ненасытные руки все, что он ни попросит, всячески утоляя его жажду богатства и власти. По счастью для Марии Стюарт, руки у Меррея и впрямь надежные, они умеют натягивать вожжи, умеют и отпускать. Прирожденный государственный деятель, он держится золотой середины: он — протестант, но не буйный иконоборец; шотландский патриот, но отлично ладит с Елизаветой; свой брат с лордами, но, когда нужно, умеет им пригрозить, — короче говоря, этот холодный, расчетливый человек с железными нервами не

гонится за престижем власти, так как удовлетворить его может только подлинная власть.

Такой выдающийся политик — незаменимая опора для Марии Стюарт, когда он ее союзник. И — величайшая опасность, когда он держит руку ее врагов. Как брат, связанный с ней узами крови, он и сам не прочь поддержать ее, ведь никакой Гордон или Гамильтон на ее месте не предоставит ему такую неограниченную и бесконтрольную власть; охотно позволяет он ей парадировать и блистать, без тени зависти наблюдая, как она выступает на торжествах в предшествии скипетра и короны, — лишь бы никто не вмешивался в дела правления. Но, как только она попытается взять власть в свои руки и тем умалить его авторитет, гордость Стюартов неизбежно столкнется с гордостью Стюартов. Ибо нет вражды страшнее, чем та, когда сходное борется со сходным, движимое одинаковыми стремлениями и с одинаковой силой.

И Мэйтленд Летингтонский, второй по значению придворный вельможа и статс-секретарь Марии Стюарт, тоже протестант. Но и он поначалу держит ее сторону. Мэйтленд, человек незаурядного ума, образованный, просвещенных взглядов, «the flower of wits»¹, как называет его Елизавета, не отличается гордостью и честолюбием Меррея. Дипломат, он чувствует себя как рыба в воде в атмосфере политических происков и комбинаций; такие незыблемые принципы, как религия и отечество, королевская власть и государство, — не его забота, его увлекает виртуозное искусство одновременно ставить на всех игорных столах, завязывать и развязывать по своей воле узелки интриг. На удивление преданный Марии Стюарт лично (одна из четырех Марий, Мэри Флеминг, становится его женой), он непоследователен как в верности, так и в неверности. Он будет служить ей, пока ей сопутствует успех, и покинет ее в минуту опасности; как флюгер, он показывает ей, попутный или противный дует ветер. Как истинный политик, он служит не ей — королеве и другу, а единственно ее счастью.

Итак, нигде, ни в городе, ни дома — плохое предзнаменование! — не находит Мария Стюарт по приезде ни одного надежного друга. И тем не менее с помощью Меррея

¹ Великий остроумец (англ.).

и Мэйтленда можно править, с ними можно как-то поговорить — зато непримиримо, неумолимо, обуянный беспощадной, кровожадной ненавистью, противостоит ей с первой же минуты могущественный выходец из низов Джон Нокс, популярнейший проповедник Эдинбурга, основоположник и глава шотландской «кирки», мастер религиозной демагогии. Между ним и Марией Стюарт завязывается смертельный поединок, борьба не на жизнь, а на смерть.

Ибо кальвинизм Джона Нокса представляет собой уже не просто реформатское обновление церкви, это закосмеленная государственно-религиозная система, в известной мере *pes plus ultra*¹ протестантизма. Повелительно и с апломбом повелителя выступает он, фанатически требуя и от монархов рабского подчинения своим теократическим заповедям. С англиканской церковью, с лютеранством, с любой менее суровой разновидностью реформатского учения Мария Стюарт, при своей мягкой, уступчивой натуре, быть может, и сталкивалась бы. Но самовластные повадки кальвинизма исключают всякую возможность соглашения с истинным монархом, и даже Елизавета, охотно прибегающая к услугам Нокса, чтобы елико возможно пакостить Марии Стюарт, терпеть его не может за несносную спесь. Тем более это фанатическое рвение должно претить гуманной и гуманистически настроенной Марии Стюарт! Ей, жизнерадостной эпикурейке, наперснице муз, чужда и непонятна прозаическая суровость пресловутого женеваского учения, его враждебность всем радостям жизни, его иконоборствующая ненависть к искусству, ей чуждо и непонятно надменное упрямство, казнящее смех, осуждающее красоту, нацеленное на разрушение всего, что ей мило, всех праздничных сторон человеческого общежития — музыки, поэзии, танцев, вносящее в сумрачный и без того уклад страны дополнительную сумрачную ноту.

Именно такой угрюмый ветхозаветный отпечаток накладывает на эдинбургскую церковь Джон Нокс, самый чугуноголовый, самый фанатично безжалостный из всех основателей церкви, неумолимостью и нетерпимостью превзошедший даже своего учителя Кальвина. В прошлом захудалый католический священник, он с неукротимой яростью истого фарисея ринулся в волны реформации, оказавшись последователем того самого Джорджа Уишарта, который, как еретик, терпел гонения и был заживо сожжен

¹ Высшая степень (лат.).

на костре матерью Марии Стюарт. Пламя, пожравшее учителя, продолжает неугасимо гореть в душе ученика. Как один из вожаков восстания против правящей регентши, он попадает в плен к вспомогательным французским войскам и во Франции его сажают на галеры. Хоть он и закован в цепи, воля его мужает, и вскоре она уже тверже его железных оков. Отпущенный на свободу, он бежит к Кальвину; там постигает он силу проповедуемого слова, заражается непоколебимой ненавистью пуританина к светлomu эллинскому началу и по возвращении в Шотландию, взяв за горло со свойственной ему гениальной напористостью престо­на­ро­дье и дворянство, в течение нескольких лет насаждает в стране реформацию.

Джон Нокс, быть может, самый законченный образец религиозного фанатика, какого знает история, он тверже Лютера, у которого были свои минуты душевного роздыха, суровее Савонаролы, ибо лишен блеска и мистических воспарений его красноречия. Безусловно честный в своей догматической прямолинейности, он вследствие надетых на себя шор, стесняющих мысль, становится одним из тех ограниченных, суровых умов, кои признают только истину собственной марки, добродетель, христианство собственной марки, все же прочее почитают не истиной, не добродетелью, не христианством. Всякий инакомыслящий представляется ему злодеем; всякий, хоть на йоту отступающий от буквы его требований, обречен сатане. Ноксу свойственна слепая неустрашимость маниака, страстность исступленного фанатика и омерзительная гордость фарисея: в его жестокости сквозит опасное любованье своим жестокосердием, в его нетерпимости — мрачное упоение своей непогрешимостью. Шотландский Иегова с развевающейся бородой, он каждое воскресенье с амвона в Сент-Джайлском соборе низвергает громы и молнии на тех, кто не пришел его послушать; «убийца Радости» (kill joy), он нещадно поносит «сатанинское отродье», беспечных, беззаботных людей, служащих богу не по его указке. Ибо этот старый фанатик не знает иной радости, как торжество собственной правоты, иной справедливости, как победа его дела. С наивностью дикаря предается он ликованию, узнав, что какой-то католик или иной его враг претерпел кару или поношение; если рукою убийц сражен враг его «кирки», то, разумеется, убийство совершилось попушением или соизволением Божиим. Он затягивает на своем амвоне

благодарственный гимн, когда у малолетнего супруга Марии Стюарт, бедняжки Франциска II, гной прорвался в ухо, «не желавшее слышать слово господне», когда же умирает Мария де Гиз, мать Марии Стюарт, с увлечением проповедует: «Да избавит нас бог в своей великой милости и от других порождений той же крови, от всех потомков Валуа! Аминь! Аминь!» Не ищите ни кротости, ни евангельской доброты в его проповедях, коими он пытается действовать, как дубинкою; его бог — это бог мести, ревнивый, неумолимый, его библия — кровожаждающий, бесчеловечно жестокий Ветхий завет. О Моаве, Амалеке и других символических врагах Израиля, коих должно предать огню и мечу, неумолчно твердит он в остережение врагам истинной, иначе говоря, *его* веры. А когда он непотребными словами поносит библейскую королеву Иезавель, слушатели ни минуты не сомневаются в том, кто эта королева. Подобно тому как темные, величественные грозовые облака заволакивают небо и повергают душу в трепет неумолчными громами и зигзагами молний, так и кальвинизм навис над Шотландией, готовый ежеминутно разразиться опустошительной грозой.

С таким непреклонным, неподкупным фанатиком, который только повелевает и требует беспрекословного подчинения, невозможно столковаться; любая попытка его разумить или улестить лишь усиливает в нем жестокость, желчную насмешку и надменность. О каменную стену такого самодовольного упрямства разбивается всякая попытка взаимопонимания. И всегда эти квазивонтели господни — самые беспокойные люди на свете; уши их отверсты для божественного глагола, поэтому они глухи к голосу человечности.

Мария Стюарт и недели не пробыла дома, а темное присутствие этого фанатика уже дает себя знать. Еще до того, как принять бразды правления, она не только даровала своим подданным свободу вероисповедания — что при толерантности ее натуры не представляло для нее большой жертвы, — но и приняла к сведению закон, запрещающий открыто служить мессе в Шотландии, — мучительная уступка приверженцам Джона Нокса, которому, по его словам, «легче было бы услышать, что в Шотландии высадилось десяти тысячное вражеское войско, чем знать, что

где-то служилась хотя бы одна-единственная месса». Но набожная католичка, племянница Гизов, разумеется, выговорила себе право совершать в своей домашней часовне все обряды и службы, предписываемые ее религией, и парламент охотно внял этому справедливому требованию. Тем не менее в первое же воскресенье, когда у нее дома, в Холирудской часовне, шли приготовления к службе, разъяренная толпа проникла чуть ли не в самый дворец; у ризничего вырывают из рук освященные свечи, которые он нес для алтаря, и ломают на куски. Толпа все громче ропщет, раздаются требования изгнать «попа-идолопоклонника» и даже предать его смерти, все явственнее слышны проклятия «сатанинской мессы», еще минута — и дворцовая часовня будет разнесена в щепы. К счастью, лорд Меррей, хоть он и приверженец «кирки», бросается навстречу толпе и задерживает ее у входа. По окончании службы, прошедшей в великом страхе, он уводит испуганного священника в его комнату целым и невредимым: скандал предотвращен, авторитет королевы кое-как удалось спасти. Но веселые празднества в честь ее возвращения, «joyousities», как иронически называет их Джон Нокс, к величайшему его удовольствию, сразу же обрываются: впервые чувствует романтическая королева сопротивление действительности в своей стране.

Мария Стюарт не на шутку разгневана. В слезах и яростных выкриках дает она волю своему возмущению. И тут на ее все еще неясный характер снова проливается более яркий свет. Такая юная, с ранних лет избалованная счастьем, она, в сущности, нежная и ласковая натура, покладистая и обходительная: окружающие, от первых вельмож двора до камеристок и служанок, не могут нахвалиться ее простотой и сердечностью. Своей доступной манерой обращения, без тени надменности, она покоряет всех, каждого заставляя забыть о своем высоком положении. Но за этой сердечностью и приветливостью скрыто горделивое сознание собственного избранничества, незаметное до тех пор, пока никто ее не задевает, но вырывающееся наружу со всей страстностью, едва кто-либо осмелится оскорбить ее ослушанием или прекословием. Эта замечательная женщина порой умела забывать личные обиды, но никогда не прощала она ни малейшего посягательства на свои королевские права.

Ни минуты не станет она терпеть это первое оскорбление. Такую дерзость должно пресечь сразу же, задавить в корне. И она знает, к кому адресоваться, знает, что бородач из церкви еретиков натравливает народ на ее веру, это он прислал шайку богохульников к ней в дом. Отчитать его как следует — и сию же минуту! Ибо Мария Стюарт, вскормленная французскими традициями неограниченного абсолютизма, с детства привыкшая к беспрекословному повиновению, выросшая в понятиях неотъемлемой божественной благодати, и представить себе не может ослушания со стороны одного из своих подданных, какого-то простого горожанина. Она чего угодно ждет, но только не того, что кто-либо осмелится открыто, а тем более грубо ей перечить. А Джону Ноксу только этого и нужно, он рвется в бой: «Мне ли убояться смазливой личика высокогородной аристократки, мне, который и перед многими гневными мужами не опускал глаз и постыдно не робел!» С воодушевлением спешит он во дворец, ибо спорить — во имя божие, как он считает, — самое милое дело для фанатика. Если господь дает королям корону, то своим пастырям и посланцам он дарует слово огненное. Для Джона Нокса священнослужитель «кирки» выше короля, ибо он заступник господних прав. Его дело — защищать царство божие на земле; без колебаний избивает он непокорных увесистой дубинкой гнева своего, как во времена оны Самуил и судьи библейские. Так разыгрывается сцена совсем в духе Ветхого завета, сцена, где королевская гордыня и поповское высокомерие сшибаются лбами; не женщина борется здесь с мужчиной за верховенство, нет, две древние идеи уже который раз встречаются в смертном поединке. Мария Стюарт приступает к беседе со всей мягкостью. Она ищет взаимопонимания и подавляет в себе раздражение, так как хочет мира в стране; учтиво начинает она переговоры. Однако Джон Нокс заранее настроился на неучтивость, желая доказать этой «*idolatress*»¹, что он не клонит головы перед сильными мира. Угрюмо и молчаливо, не как обвиняемый, но как обвинитель, выслушивает он королеву, которая обращается к нему с упреком по поводу его книги «*The first blast of trumpet against the monstrous regiment of women*»², отрицающей королевские права у

¹ Идолопоклонница (англ.).

² «Первый трубный сигнал в осуждение чудовищного правления женщин» (англ.).

женщины. Но тот же самый Нокс, который по поводу той же самой книги будет униженно вымаливать прощения у протестантки Елизаветы, здесь, перед своей государыней «паписткой», упрямо стоит на своем, приводя весьма двусмысленные доводы. Разгорается перепалка. Мария Стюарт в упор спрашивает Нокса: обязаны подданные повиноваться своему властелину или нет? Но вместо того, чтобы сказать: да, обязаны, на что и рассчитывает Мария Стюарт, сей искусный тактик ограничивает необходимость повиновения некоей притчей: когда отец, утратив разум, хочет убить своих детей, то дети вправе, связав ему руки, вырвать у него меч. Когда князья преследуют детей божиих, те вправе воспротивиться гонениям. Королева сразу же чувствует за этой оговоркой восстание теократа против ее державных прав.

— Стало быть, мои подданные, — допытывается она, — должны повиноваться вам, а не мне? Стало быть, я подвластна вам, а не вы мне?

Собственно, таково именно мнение Джона Нокса. Но он остерегается в присутствии Меррея высказать его ясно.

— Нет, — отвечает он уклончиво, — обе стороны — и князь и его подданные — должны повиноваться господу. Королям надлежит быть кормильцами церкви, а королевам — ее мамками.

— Но я не вашу церковь хочу кормить, — возражает королева, возмущенная двусмысленностью его ответов. — Я хочу лелеять римско-католическую церковь, для меня она единственная церковь божия.

Итак, противники схватились грудь с грудью. Спор зашел в тупик, ибо не может быть понимания между верующей католичкой и фанатичным протестантом. Нокс идет еще дальше в своей неучтивости, он называет римско-католическую церковь блудницей, недостойной быть невестой божией. Когда же королева запрещает ему подобные выражения, как оскорбительные для ее совести, он отвечает с вызовом: «Совести потребно познание», — ему же кажется, что королеве как раз не хватает познания. Так вместо примирения эта первая беседа только обострила взаимную вражду. Нокс знает теперь, что «сатана силен» и что юная властительница никогда ему не покорится. «При этом объяснении я натолкнулся на решимость, какой еще не встречал в возрасте, столь незрелом. С того дня у меня со двором все покончено, равно как и у них со мной», — пишет он в раздражении. Но и молодая жен-

щина почувствовала предел своей королевской власти. С гордо поднятой головой покидает Нокс дворец, довольный, что оказал сопротивление королеве; в растерянности смотрит ему вслед Мария Стюарт и, чувствуя свое бессилие, раздражается горькими слезами. И это не последние слезы. Вскоре она узнает, что власть не наследуют с кровью, а непрестанно завоевывают вновь и вновь в борьбе и унижениях.

ГЛАВА V

Камень покотился

1561—1563

Первые три года в Шотландии, проведенные Марией Стюарт на положении вдовствующей королевы, проходят при полном безветрии, без сколько-нибудь заметных потрясений: такова уж особенность этой судьбы (недаром привлекающей драматургов), что все великие события как бы стягиваются в короткие эпизоды стихийной силы. В эти годы правят Меррей и Мэйтленд, а Мария Стюарт только представляет — с точки зрения государственной, самое мудрое разделение власти. Ибо как Меррей, так и Мэйтленд правят разумно и осмотрительно, а Мария Стюарт отлично справляется со своими обязанностями по части репрезентации. От природы красивая и обаятельная, искушенная во всех рыцарских забавах, мастерски играющая в мяч, не по-женски смелая наездница, страстная охотница, она уже внешними своими данными завоевывает сердца: с гордостью глядят эдинбуржцы, как эта дочь Стюартов поутру, с соколом на высоко поднятом кулачке выезжает во главе празднично пестреющей кавалькады, с ласковой готовностью отвечая на каждое приветствие. Что-то светлое и радостное, что-то трогательное и романтическое озарило суровую, темную страну с появлением этой королевы, словно солнце юности и красоты, а ведь всегда красота и юность правителя таинственно пленяют сердца подданных. Лордам в свою очередь внушает уважение ее мужественная отвага. Целыми днями способна эта молодая женщина в бешеной скачке мчаться неутомимо впереди своей свиты. Как душа ее под чарующей приветливостью таит еще не раскрывшуюся железную гордость, так и гибкое, словно

лоза, нежное, легкое, женственно-мягкое тело скрывает необычайную силу. Никакие трудности не страшны ее жаркой отваге; однажды, наслаждаясь быстрой скачкой, она сказала своему спутнику, что хотела б быть мужчиной, изведать, каково это — все ночи проводить в поле на коне. Когда регент Меррей выезжает в поход против возмущившегося клана Хантлей, она бесстрашно скачет с ним рядом с мечом на боку, с пистолетами за поясом: пылкие приключения неотразимо манят ее неведомым очарованием чего-то дикого и опасного, ибо отдаваться чему-либо всеми силами своего существа, всем пылом своей любви, всей своей необузданной страстью — сокровеннейшее призвание этой энергичной натуры. Но неприхотливая и выносливая, точно воин, точно охотник, во всех этих скачках и похождениях, она умеет быть совсем другой в своем замке, повелительница во всеоружии искусства и культуры своего времени, самая задорная, самая очаровательная женщина в своем маленьком мирке; поистине в этой короткой юности воплотился идеал века — мужество и нежность, сила и смирение, явленные нам рыцарской романтикой. Последним, предзакатным сиянием куртуазной *chevalerie*, воспетой трубадурами, светится это прекрасное видение в тумане холодного северного края, уже омраченного тенями реформации.

Но никогда романтический образ этой женщины-отроковицы, этой девочки-вдовы не сверкал так лучезарно, как на двадцатом, двадцать первом ее году, — и здесь торжество приходит к ней слишком рано, непонятное и ненужное. Ибо все еще не пробудилась вполне ее внутренняя жизнь, еще женщина в ней не знает велений крови, еще не развилась, не сложилась ее личность. Только в минуты волнений и опасностей раскрывается истинная Мария Стюарт, а эти первые годы в Шотландии для нее лишь время безразличного ожидания, и она коротает его в праздных играх, как бы пребывая в постоянной готовности еще неизвестно к чему и для чего. Это словно разгон перед решающим усилием, бледный, мертвый интервал. Марию Стюарт, уже полуробенком владевшую всей Францией, не удовлетворяет убогое владычество в Шотландии. Не для того, чтобы править этой бедной, тесной, заштатной страной, возвратилась она на родину; с первых же шагов смотрит она на эту корону лишь как на ставку во всемирной игре, рассчитывая выиграть более блестящую, и сильно

заблуждается кто думает или заявляет, будто Мария Стюарт не желала ничего лучшего, как тихо и мирно управлять наследием своего отца в качестве примерной девочки, преемницы шотландской короны. Тот, кто приписывает ей столь утлое честолюбие, умаляет ее величие, ибо в этой женщине живет неукротимая, неудержимая воля к большой власти; никогда та, что пятнадцати лет венчалась в Нотр-Дам с французским наследным принцем, та, кого в Лувре чествовали среди величайшей пышности как повелительницу миллионов, никогда она не удовлетворится участью госпожи над двумя десятками непокорных мужланов, именуемых графами и баронами, — королевы как-то двухсот тысяч пастухов и рыбарей. Искусственная, фальшивая натяжка — приписывать ей задним числом некое национально-патриотическое чувство, открытое веками позже. Князьям пятнадцатого, шестнадцатого веков — всем, исключая ее великой антагонистки Елизаветы, — дела нет до их народов, а лишь до своей личной власти. Империи перекраиваются, как платья, государства создаются войнами и браками, а не пробуждением национального самосознания. Не надо впадать в сентиментальную ошибку: Мария Стюарт той поры готова променять Шотландию на испанский, французский, английский да в сущности на любой другой престол; вероятно, ни слезинки не проронила бы она, расставаясь с лесами, озерами и романтическими замками своей отчины; ее неумное честолюбие рассматривает это маленькое государство всего лишь как трамплин для более высокой цели. Она знает, что по своему рождению призвана к власти, знает, что красота и блестящее воспитание делают ее достойной любой европейской короны, и с той беспредметной мечтательностью, с какой ее сверстницы грезят о безграничной любви, грезит ее честолюбие лишь о безграничной власти.

Потому-то она вначале и бросает на Меррея и Мэйтленда все государственные дела — без малейшей ревности, без участия и интереса ни капли не завидуя — что ей так рано венчанной так избалованной властью, эта бедная тесная страна! — позволяет она им править и владеть по-своему. Никогда управление, приумножение своего достоинства — это высшее политическое искусство — не было сильной стороной Марии Стюарт. Она может только защищать, но не сохранять. Лишь когда ущемляется ее право, когда задета ее гордость, когда чужая воля угрожает ее

притязаниям, в ней пробуждается дикая, порывистая энергия; только в решительные мгновения становится эта женщина великой и деятельной; обыкновенные времена находят ее обыкновенной и равнодушной.

В эту пору затишья стихают и козни ее великой противницы; ибо всегда, когда мятежное сердце Марии Стюарт осеняют мир и покой, успокаивается и Елизавета. Одним из величайших достоинств этой великой реалистки было умение считаться с фактами, умение не восставать против неизбежного. Всеми доступными ей средствами пыталась она помешать возвращению Марии Стюарт в Шотландию, а потом делала все возможное, чтобы его отодвинуть; но теперь, когда оно стало непреложным фактом, Елизавета больше не борется, наоборот, она не жалеет стараний, чтобы вступить с соперницей, которую устранить бессильна, в дружественные отношения. Елизавета — и это одно из самых положительных качеств ее причудливого, своевольного нрава, — как и всякая умная женщина, не любит войны, всегда, чуть дело доходит до пролития крови, она теряется и робеет; расчетливая натура, она предпочитает искать прибýtка в переговорах и договорах, добиваясь победы в искусном поединке умов. Едва лишь достоверно выяснилось, что Мария Стюарт приезжает, лорд Меррей обратился к Елизавете с проникновенными словами увещания, призывая ее заключить с шотландской королевой честную дружбу: «Обе вы молодые, славные королевы, и уже ваш пол возбраняет вам умножать ваше величие войной и кровопролитием. Каждая из вас знает, что послужило поводом для возникшей меж вами распри. Как перед богом клянусь, больше всего я желал бы, чтобы моя державная госпожа никогда не заявляла претензий ни на государство Вашего Величества, ни на титул. И все же вам должно пребыть и остаться друзьями. Однако, поскольку с ее стороны было изъявлено такое притязание, боюсь, как бы это недоразумение не стало меж вами, доколе причина его не устранена. Ваше Величество не можете пойти на уступки в этом вопросе, но и ей трудно стерпеть, что на нее, столь близкую Англии по крови, смотрят там, как на чужую. Нет ли здесь какого-то среднего пути?» Елизавета готова внять этому совету; в качестве всего лишь королевы Шотландской, да еще под контролем английского нахлеб-

ника Меррея, Мария Стюарт не так уж ей страшна — прошли те времена, когда она носила двойную корону, монархини Французской и Шотландской. Так почему бы не выказать приязнь, хотя бы и чуждую ее сердцу? Вскоре между Елизаветой и Марией Стюарт завязывается переписка, обе dear sisters¹ доверяют многотерпеливой бумаге свои нежнейшие чувства. Мария Стюарт посылает Елизавете в дар любви бриллиантовое кольцо, а та шлет ей взамен перстень еще более драгоценный; обе они успешно разыгрывают перед публикой и собой утешительное зрелище родственной привязанности. Мария Стюарт заверяет, что «самое заветное ее желание в этом мире — повидать свою добрую сестрицу», она готова разорвать союз с Францией, так как ценит благосклонность Елизаветы «more than all uncles of the world»², тогда как Елизавета затейливым крупным почерком, к которому она обращается лишь в самых торжественных случаях, выводит велеречивые изъявления в преданности и дружбе. Но едва лишь дело доходит до того, чтобы договориться о личной встрече, как обе осторожно увиливают. Их старые переговоры так и завязли на мертвой точке: Мария Стюарт согласна подписать Эдинбургский договор о признании Елизаветы лишь при условии, что та подтвердит ее права преемства; для Елизаветы же это все равно, что подписать собственный смертный приговор. Ни одна из сторон ни на йоту не отступает от своих притязаний, пышные фразы в конечном счете прикрывают непроходимую пропасть. Завоеватель мира Чингис-хан сказал: «Не бывать двум солнцам в небе и двум ханам на земле». Одна из них должна уступить — Елизавета или Мария Стюарт. Обе в глубине души знают это, и каждая ждет своего часа. Но пока решительный миг не настал, почему не воспользоваться короткой передышкой? Там, где недоверие неистребимо живет в душе, всегда отыщется повод раздуть подспудное пламя во всепожирающий огонь.

Нередко в эти годы юную королеву удручают мелочные заботы, утомляют докучные государственные дела, все чаще и чаще чувствует она себя чужой среди забияк-дворян, ей

¹ Милые сестрицы (англ.).

² Превыше всех дядюшек на свете (англ.).

не по себе от брани и лая воинствующих попов и от их тайных козней — в такие минуты бежит она во Францию, свою отчизну сердца. Разумеется, Шотландии ей не покинуть,¹ но в своем Холирудском замке она создала себе маленькую Францию, крошечный мирок, где свободно и невозбранно отдается самым заветным своим влечениям, — ее собственный Трианон. В круглой Холирудской башне держит она романтический двор во французском вкусе; она привезла из Парижа гобелены и турецкие ковры, затейливые кровати, дорогую мебель и картины, а также любимые книги в роскошных переплетах, своего Эразма и Рабле, своего Ариосто и Ронсара. Здесь говорят и живут по-французски, здесь вечерами в трепетном сиянии свечей музицируют, затевают светские игры, читают стихи, поют мадригалы. При этом миниатюрном дворе впервые по сю сторону Ламанша разыгрываются «маски», маленькие классические пьесы «на случай», впоследствии, уже на английских подмостках, узнавшие свой пышный расцвет. До глубокой ночи танцуют переодетые дамы и кавалеры, и во время одного из таких танцев в масках, «The purpose»¹, королева появляется даже в мужском костюме, в черных облегающих шелковых панталонах, а ее партнер, поэт Шателяр, переодет дамой — зрелище, которое ввергло бы Джона Нокса в неопишутый ужас.

Но пуритане, фанатики и им подобные ворчуны на выстрел не подлускаются к этим изящным увеселениям, и тщетно кипятится Джон Нокс, изобличая примерзостные «*souparis*» и «*dansaris*», и мечет громы с высоты амвона в Сент-Джайлсе, так что борода его мотается, что твой маятник. «Князьям сподручнее слушать музыку и ублажать мамону, чем внимать священному слову божию или читать его. Музыканты и льстецы, погубители младости, угодней им, чем зрелые, умудренные мужи, — кого же имеет в виду сей самонадеянный муж? — те, что целительными увещаниями тшатся хоть отчасти выбить из них первородный грех гордыни». Но юный веселый кружок не ищет «целительных увещаний» этого «*kill-joy*», убийцы радости; четыре Марии и два-три кавалера, преданных всему французскому, счастливы забыть здесь, в ярко освещенном уютном зале — приюте дружбы, о сумраке неприветной трагической страны, а Мария Стюарт прежде всего счаст-

¹ «Тайное намерение» (англ.).

лива сбросить холодную личину величия и быть просто веселой молодой женщиной в кругу сверстников и единомышленников.

Такое желание естественно, но поддаваться беспечности всегда было опасно для Марии Стюарт. Притворство душит ее, осторожность скоро утомляет, однако похвальное в сущности качество, — неумение скрывать свои чувства — «*Je ne sais point déguiser mes sentiments*», как она кому-то пишет, — приносит ей политически больше неприятностей, нежели другим самая бесчеловечная жестокость, самый злонамеренный обман. Известная непринужденность, которую королева разрешает себе в обществе молодых людей, с улыбкою принимая их поклонение и даже порой бессознательно вызывая его, располагает сумасбродных юнцов к неподобающей фамильярности, а более пылким и вовсе кружит голову. Было, очевидно, в этой женщине, чье очарование так и не сумели отразить писанные с нее портреты, нечто, воспалявшее чувства; быть может, по каким-то неясным признакам иные мужчины уже тогда улавливали за мягкими, благосклонными и, казалось бы, очень уверенными манерами женщины-девушки неудержимую страстность, — так иной раз вулкан прячется среди мягкого ландшафта; быть может, задолго до того, как Мария Стюарт сама узнала свою тайну, угадывали они мужским чутьем ее неукротимый темперамент, ибо от нее исходили чары, склонявшие скорее к чувственному влечению, нежели к романтической любви. Вполне вероятно, что в слепоте еще не пробудившихся инстинктов она легче допускала чувственные вольности — ласковое прикосновение, поцелуй, манящий взгляд, — нежели это сделала бы умудренная опытом женщина, понимающая, сколько опасного соблазна в таких невинных шалостях; иной раз она позволяет окружающим молодым людям забывать, что женщина в ней, как королеве, должна оставаться недоступной для чересчур игривых мыслей. Был такой случай: молодой шотландец, капитан Хепберн, позволил себе по отношению к ней какую-то неподобающую выходку, и только бегство спасло его от грозной кары. Но как-то уж слишком легко проходит Мария Стюарт мимо этого досадного недоразумения, легкомысленно расценивая дерзкую фривольность как мальчишество, и тем придает храбрости другому дворянину из тесного кружка своих друзей.

Это приключение носит уж и вовсе романтический характер; как почти все, что случается на шотландской земле, становится оно зловещей, кровавой балладой. Первый почитатель Марии Стюарт при французском дворе, господин Данвилль, сделал своего юного спутника и друга, поэта Шателяра, наперсником своих восторженных чувств. Но вот господину Данвиллю, вместе с другими французскими дворянами сопровождавшему Марию Стюарт в ее путешествии, пора вернуться домой, к жене, к своим обязанностям; и трубадур Шательар остается в Шотландии своего рода заместителем чужого поклонения. Однако не столь уж безопасно сочинять все новые и новые нежные стихи — игра легко превращается в действительность. Мария Стюарт бездумно принимает поэтические излияния юного гугенота, в совершенстве владеющего всеми рыцарскими искусствами, и даже отвечает на его мадригалы стихами своего сочинения; да и какой молодой, знающей с музами женщине, заброшенной в грубую, отсталую страну, не было бы лестно слышать такие прославляющие ее строфы:

Oh Déesse immortelle
 Escoute donc ma voix
 Toy qui tiens en tutelle
 Mon pouvoir sous tes loix
 Afin que si ma vie
 Se voie en bref ravie,
 Ta cruauté
 La confesse périe
 Par ta seule beauté.

К тебе, моей богине,
 К тебе моя мольба,
 К тебе, чья воля ныне —
 Закон мой и судьба.
 Верь, если в дни расцвета
 Пресекала путь мой Лета,
 Виновна только ты,
 Сразившая поэта
 Оружьем красоты!

Тем более, что она не знает за собой никакой вины? Ибо разделенным чувством Шательар похвалиться не может — его страсть остается безответной. Уныло вынужден он признать:

Et néansmôins la flâme
 Qui me brûle et enflâme
 De passion

серьезной каре за столь чудовищное нарушение всякого благоприличия вскоре уже никто и не помышляет. Однако потворство не пошло на пользу безумцу. То ли он усмотрел поощрение в снисходительности молодых женщины, то ли страсть превозмогла доводы рассудка, но вскоре он отваживается на новую дерзость. Во время поездки Марии Стюарт в Файф он следует за ней тайно от придворных, и снова его обнаруживают в спальне королевы, раздевающейся перед отходом ко сну. В испуге оскорбленная женщина поднимает крик, переполюшив весь дом; из смежного покоя выскакивает ее сводный брат Меррей, и теперь уже ни о прощении, ни об умолчании не может быть и речи. По официальной версии, Мария Стюарт даже потребовала (хоть это и сомнительно), чтобы Меррей заколол дерзкого кинжалом. Однако Меррей, в противоположность сестре умеющий рассчитывать каждый свой шаг, взвешивая его последствия, слишком хорошо знает, что, убив молодого человека в спальне государыни, он рискует запятнать кровью не только ковер, но и ее честь. Нет, такое преступление должно быть оглашено всенародно, и воздастся за него тоже всенародно — на городской площади; только этим и можно доказать невинность властительницы — как ее подданным, так и всему миру.

Несколько дней спустя Шателюра ведут на плаху. В его дерзновенной отваге судьи усмотрели преступление, в его легкомыслии — черную злонамеренность. Единогласно присуждают они его к самой суровой каре — к смерти под топором палача. Мария Стюарт, даже пожелай она, не могла бы уже помиловать безрассудного: послы донесли об этом случае своим дворам, в Лондоне и Париже с любопытством следят за поведением шотландской королевы. Малейшее ее слово в защиту виновного было бы равносильно признанию в соучастии. И наперсника, делившего с ней немало приятных, радостных часов, оставляет она в самый тяжкий его час без малейшей надежды и утешения.

Шателяр умирает безупречной смертью, как и подобает рыцарю романтической королевы. Он отказывается от духовного напутствия, единственно в поэзии ищет он утешения, а также в сознании, что

Mon malheur déplorabile
Soit sur moy immortel.

Я жалок, но мое
Страдание бессмертно.

С высоко поднятой головой восходит мужественный трубадур на эшафот, вместо псалмов и молитв громко декламируя знаменитое «Послание к смерти» своего друга Ронсара:

Je te salue, heureuse et profitable Mort
Des extrêmes douleurs médecin et confort.

О смерть, я жду тебя, прекрасный, добрый друг,
Освобождающий от непосильных мук.

Перед плахой он снова поднимает голову, чтобы воскликнуть — и это скорее вздох, чем жалоба, — «O cruelle dame!»¹, а затем с полным самообладанием склоняется под смертоносное лезвие. Романтик, он и умирает в духе баллады, в духе романтической поэмы.

Но злополучный Шателяр — лишь случайно выхваченный образ в смутной веренице теней, он лишь первым умирает за Марию Стюарт, лишь предшествует другим. С него начинается призрачная пляска, хоровод всех тех, кто за эту женщину взошел на эшафот, вовлеченный в темную пучину рока, увлекая и ее за собой. Из всех стран стекаются они, словно на гравюре Гольбейна, безвольно влачась за черным костяным барабаном — шаг за шагом, год за годом, князья и правители, графы и бароны, священники и солдаты, юноши и старцы, жертвуя собой во имя ее, принесенные в жертву во имя ее — той, что безвинно виновата в их темном шествии и во искупление своей вины сама завершает его. Не часто бывает, чтобы судьба воплотила в женщине столько смертной магии: словно таинственный магнит, вовлекает она мужчин в сферу своих пагубных чар. Кто бы ни оказался на ее пути, все равно, в милости или немилости, обречен несчастью и насильственной смерти. Никому не принесла счастья ненависть к Марии Стюарт. Но еще горше платились за свою смелость державшие ее любить.

А потому гибель Шателяра неверно представлять себе лишь эпизодом, ничего не говорящей случайностью: впервые раскрывается здесь еще темный для нее закон судьбы, гласящий, что никогда не будет ей дано безнаказанно предаваться беспечности, жить легко и доверчиво. Так сложилась ее жизнь, что с первого часа должна изображать она величие, быть королевой, всегда и только королевой, официальным лицом, игрушкой в мировой игре, и то, что

¹ О жестокая дама! (франц.)

поверхностному взгляду казалось милостью, благословением неба, — раннее коронование, высокое рождение — обернулось на деле проклятием. Всякий раз, как она пытается принадлежать себе, своим настроениям, своему чувству, своим истинным склонностям, судьба жестоко наказывает ее за нерадивость. Шателяр — лишь первое предостережение. После детства, лишенного всего детского, она, пользуясь короткой передышкой до того, как во второй, и третий раз ее тело, ее жизнь отдадут чужому мужчине, выменяют на какую-нибудь корону, пытается хотя бы несколько месяцев быть только молодой и беспечной, только дышать, только жить и радоваться жизни; и тотчас жестокие руки отрывают ее от беспечных игр. Встревоженные этим происшествием, торопят регент, парламент и лорды с заключением нового брака. Пусть Мария Стюарт изберет себе супруга; разумеется, не того, кто придется ей по вкусу, но такого, кто умножит могущество и безопасность страны. Давно уже ведутся переговоры, но теперь их возобновляют с новой энергией, дядьки и опекуны трепещут, как бы эта ветреница какой-нибудь новой глупостью не загубила свою честь и свой престиж. Снова на брачном аукционе закипел торг: опять Мария Стюарт оттесняется в заклтый круг политики, который с первого до последнего часа держит ее в своей власти. И каждый раз, как она стремится теплым живым телом прорвать ледяное кольцо ради глотка воздуха, неизменно губит она чужую и свою участь.

ГЛАВА VI

Оживление на аукционе царственных невест

1563—1565

Две молодые женщины об эту пору — самые желанные невесты в мире: Елизавета Английская и Мария Шотландская. Во всей Европе едва ли сыщется обладатель королевских прав, еще не обладающий супругою, который не засылал бы к ним сватов — будь то Габсбург или Бурбон, Филипп II Испанский или сын его дон Карлос; эрцгерцог Австрийский, короли Шведский и Датский, почтенные старцы и совсем еще мальчики, юноши и зрелые мужи; давно на аукционе царственных невест не было такого оживления. И не удивительно, ведь женитьба на госуда-

рые по-прежнему незаменимое средство для расширения монаршей власти. Не войнами, а матримониальными союзами создавались во времена абсолютизма обширные наследственные права; так возникла объединенная Франция, Испанская мировая держава и могущество дома Габсбургов. А тут неожиданно засверкали и последние драгоценности европейской короны. Елизавета или Мария Стюарт, Англия или Шотландия — тому, кто женитьбой приберет к рукам ту или другую страну, будет принадлежать мировое первенство; но здесь идет не только состязание наций, но и война духовная, война за человеческие души. Ибо, случись, что британские острова вместе с одной из владычиц достались бы соправителю-католику, это означало бы, что стрелка весов в борьбе католицизма и протестантизма склонилась бы в сторону Рима и *ecclesia universalis*¹ вновь восторжествовала бы в мире. А потому азартная погоня за невестами означает здесь нечто большее, нежели простое семейное событие: в ней воплощен мировой конфликт.

Мировой конфликт — но для обеих женщин, для обеих королев здесь решается спор всей их жизни. Нерасторжимо переплелись их судьбы. Если одна из соперниц возвысится благодаря браку, то неудержимо зашатается престол другой; если одна чаша весов поднимется, неминуемо упадет другая. Равновесие лжедружбы между Елизаветой и Марией Стюарт может сохраняться, пока обе не замужем и одна — лишь королева Английская, а другая — лишь королева Шотландская. Стоит одной чаше перевесить, и кто-то из них станет сильнее — победит. Но неустрашимо противостоит гордость гордости, ни одна не хочет уступать и не уступит. Только борьба не на жизнь, а на смерть может разрешить этот безысходный спор.

Для блистательного многопланового зрелища этого поединка сестер история избрала двух артисток величайшего масштаба. Обе, и Мария Стюарт и Елизавета, — редкостные, несравненные дарования. Рядом с их колоритными фигурами остальные монархи того времени — аскетически закаменелый Филипп II Испанский, по-мальчишески непостоянный Карл IX Французский, незначительный Фердинанд Австрийский — кажутся актерами на вторые роли;

¹ Всемирная церковь (лат.)

ни один из них и отдаленно не достигает того духовного уровня, на котором противостоят друг другу обе женщины. Обе они умны, но при всем своем уме подвержены чисто женским страстям и причудам, обе бешено честолюбивы, обе с юного возраста готовились к своей высокой роли. Обе держатся с подобающим их сану царственным величием, обе блистают утонченной культурой, делающей честь гуманистическому веку. Каждая наряду с родным языком свободно изъясняется по-латыни, по-французски и итальянски — Елизавета знает и по-гречески, а письма обеих образным и метким слогом выгодно отличаются от бесцветных писаний их первых министров, письма Елизаветы несравненно красочнее и живее деловых записок ее умного статс-секретаря Сесила, а слог Марии Стюарт, отточенный и своеобразный, нисколько не похож на гладкие дипломатические послания Мэйтленда и Меррея. Незаурядный ум обеих женщин, их понимание искусства, все их царственная повадка способны удовлетворить самых придирчивых судей, и если Елизавета внушает уважение Шекспиру и Бену Джонсону, то Марией Стюарт восхищаются Ронсар и Дю Белле. Но на этой утонченной личной культуре сходство между обеими женщинами и кончается: тем ярче выступает их внутренняя противоположность, которую писатели с давних времен воспринимали и изображали как типично драматическую. Противоположность эта такая полная, что даже линии их жизни выражают ее с геометрической наглядностью. Основное различие: Елизавета терпит трудности в начале пути, Мария Стюарт — в конце. Счастье и могущество Марии Стюарт возносится легко, светло и мгновенно, как встает в небе утренняя звезда; рожденная королевой, она еще ребенком принимает второе помазание. Но так же круто и внезапно совершается ее падение. Ее судьба как бы сгустилась в три-четыре катастрофы и, следовательно, сложилась как драма — недаром Марию Стюарт столь охотно избирали героиней трагедии, — в то время как восхождение Елизаветы свершалось медленно, но верно (почему здесь и более уместно плавное повествование). Ей ничто не давалось даром и не падало в руки с неба. Объявленная в детстве бастардом и заточенная родной сестрой в Тауэр в ожидании смертного приговора, эта рано созревшая дипломатка вынуждена поначалу хитростью отстаивать свое право на самое существование, на жизнь из милости. У Марии Стюарт, прямой

наследницы королей, на роду написано величие; Елизавета добилась его своими силами, своим горбом.

Две столь различные линии жизни, естественно, расходятся в разные стороны. Если порой они скрещиваются и пересекаются, то, переплестись не могут. Глубоко, в каждой извилине, в каждом оттенке характера неминуемо скажется изначальное различие, заключающееся в том, что одна родилась в короне, как иные дети рождаются с густыми волосами, тогда как другая с трудом добилась, хитростью достигла своего положения; одна с первой же минуты — законная королева, вторая — королева под вопросом. У каждой из этих женщин в силу особенностей ее судьбы развились свои, только ей присущие качества. У Марии Стюарт незаслуженная легкость, с какою — увы, слишком рано! — ей все доставалось, порождает необычайную беспечность, самоуверенность и, как высший дар, ту дерзновенную отвагу, которая и возвеличила ее и погубила. Всякая власть от бога и лишь богу ответ дает. Ее дело повелевать, а других — повиноваться, и если бы даже весь мир усомнился в ее царственном призвании, она чувствует его в себе, в жарком кипении своей крови. Легко и не рассуждая одушевляется она; бездумно, сторяча, словно хватаясь за рукоять шпаги, принимает решения; отчаянная наездница, одним рывком повода, смаху берущая любой барьер, любую изгородь, она и в политике надеется единственно на крыльях мужества перемахнуть через любое препятствие, любую преграду. Если для Елизаветы искусство правления — это партия в шахматы, головоломная задача, то для Марии Стюарт это одна из самых острых услад, повышенная радость бытия, рыцарское ристание. У нее, как однажды сказал папа, «сердце мужа в теле женщины», и именно эта бездумная смелость, этот державный эгоизм, которые так привлекают к ней стихотворцев, балладников и трагиков, послужили причиной ее безвременной гибели.

Елизавета, натура насквозь реалистическая с близким к гениальности чувством действительности, добивается победы исключительно тем, что использует промахи и безумства своей по-рыцарски отважной противницы. Зоркими, пронизательными, птичьими глазами она — взгляните на ее портрет! — недоверчиво взирает на мир, опасности которого так рано узнала. Уже ребенком постигла она, как

изменчива Фортуна: всего лишь шаг отделяет престол от эшафота и опять-таки только шаг отделяет Тауэр, это преддверие смерти, от Вестминстера. Всегда поэтому будет она воспринимать власть как нечто текучее, повсюду будет ей чудиться угроза; осторожно и боязливо, словно они из стекла и ежеминутно могут выскользнуть из рук, держит Елизавета корону и скипетр; вся ее жизнь, в сущности, сплошные тревоги и колебания. Портреты убедительно дополняют известные нам описания ее характера: ни на одном не глядит она ясно, независимо и гордо, истинной повелительницей, но на каждом в ее нервных чертах сквозит испуг и настороженность, словно она к чему-то прислушивается, словно ждет чего-то, и никогда улыбка уверенности не оживляет ее губ. Бледная, она держится очень прямо — неуверенно и вместе с тем тщеславно вознося голову над помпезной роскошью осыпанной камнями робы и словно коченея под ее грузным великолепием. Чувствуется: стоит ей остаться одной, сбросить парадную одежду с костлявых плеч, стереть румяна с узких щек — и все ее величие спадет и останется бедная, растерянная, рано постаревшая женщина, одинокая душа, не способная справиться с собственными трудностями — где уж ей править миром! Такая робость в королеве, конечно, далека от героики, а ее вечная медлительность, неуверенность и нерешительность не способствует впечатлению королевского могущества; но величие Елизаветы как правительницы лежит в иной, неромантической области. Не в смелых планах и решениях проявлялась ее сила, а в упорной, неустанной заботе об умножении и сохранении, о сбережении и стяжании, иначе говоря, в чисто бюргерских, чисто хозяйственных добродетелях: как раз ее недостатки — боязливость, осторожность — оказались особенно плодотворны на ниве государственной деятельности. Если Мария Стюарт живет для себя, то Елизавета живет для своей страны; реалистка с сильно развитым чувством ответственности, она видит во власти призвание, тогда как Мария Стюарт воспринимает свой сан как ни к чему не обязывающее звание. У каждой свои отличительные достоинства и свои недостатки. И если безрасудно-геройская отвага Марии Стюарт становится ее роком, то медлительность и неуверенность Елизаветы в конечном счете идут ей на пользу. Всегда в политике неторопливое упорство

берет верх над неукротимой силой, тщательно разработанный план торжествует над импровизированным порывом, реализм — над романтикой.

Но в этом споре сестер различие идет гораздо глубже. Не только как королевы, но и как женщины Елизавета и Мария Стюарт — полярные противоположности, как будто природе заблагорассудилось воплотить в этих великих образах всемирно-историческую антитезу, проводя ее во всем с контрапунктической последовательностью.

Как женщина Мария Стюарт — женщина до конца, женщина в полном смысле слова; наиболее ответственные ее решения всегда диктовались импульсами, исходившими из глубочайших родников ее женского естества. И не то чтобы она была ненасытно страстной натурой, послушной велениям инстинкта, напротив, что особенно ее характеризует, — это чрезвычайно затянущаяся женская сдержанность. Проходят годы, прежде чем ее чувства наконец дают о себе знать. Долго видим мы в ней (и такова она на портретах) милую, мягкую, кроткую, ко всему безучастную женщину с чуть грустным взглядом, с почти детской улыбкой на устах, нерешительное, пассивное создание, женщину-ребенка. Как и всякая истинно женственная натура, она очень возбудима и подвержена вспышкам волнения, она краснеет и бледнеет по любому поводу, глаза ее легко увлажняются. Но это мгновенное, поверхностное волнение крови долгие годы не тревожит глубин ее существа, и как раз потому, что она нормальная, настоящая, подлинная женщина. Мария Стюарт находит себя как сильный характер именно в страстной любви — единственной на всю жизнь. Только тогда чувствуется, как неукротимо в ней женское начало, как она подвластна инстинктам и страстям, как скована цепями пола. В великий миг экстаза исчезает, словно сорванная бурей, ее наружная культурная оснастка; в этой до сих пор спокойной и сдержанной натуре рушатся плотины воспитания, морали, достоинства, и, поставленная перед выбором между честью и страстью, Мария Стюарт, как истинная женщина, избирает не королевское, а женское свое призвание. Царственная мантия падает к ее ногам, и в своей наготе, пылая, она чувствует себя сестрой бесчисленных женщин, что томятся желанием давать и брать любовь; и больше всего возвышает ее в наших глазах то, что ради отдельных,

сполна пережитых мгновений она с презрением отшвырнула от себя власть, достоинство и сан.

Елизавета, напротив, не была способна так беззаветно отдаваться любви — и это по причине особого, интимного свойства. Как выражается Мария Стюарт в своем знаменитом обличительном письме, она физически «не такая, как все женщины». Елизавете было отказано не только в материнстве; очевидно, и тот естественный акт любви, в котором женщина отдается на волю мужчины, был ей недоступен. Не так уж добровольно, как ей хочется показать, осталась она вековой virgin Queen, королевой-девственницей, и хотя некоторые сообщения современников (вроде приписываемого Бену Джонсону) относительно физического уродства Елизаветы и вызывают сомнения, все же известно, что какое-то физическое или душевное торможение нарушало ее интимную женскую жизнь. Подобная незадача должна весьма серьезно сказаться на всем существе женщины; и в самом деле, в этой тайне заключены, как в зерне, и другие тайны ее души. Все нервно неустойчивое, переливчатое, изменчивое в ее натуре, вся эта мигающая истерическая светотень, какая-то неуравновешенность и безотчетность в поступках, внезапное переключение с холода на жар, с «да» на «нет», все комедиантское, утонченное, затаенно хитрое, а также в немалой степени кокетство, не раз подводившее ее королевское достоинство, порождалось внутренней неуверенностью. Просто и естественно чувствовать, мыслить и действовать было недоступно этой женщине с глубокой трещиной в душе; никто не мог ни в чем на нее рассчитывать, и меньше всего она сама. Но, будучи даже калекой в самой интимной области, игрушкой собственных издерганных нервов, будучи опасной интриганкой, Елизавета все же никогда не была жестокой, бесчеловечной, холодной и черствой. Ничто не может быть лживее, поверхностнее и банальнее, чем получившее широкое хождение понятие о ней (воспринятое Шиллером в его трагедии), будто бы коварная Елизавета играла с кроткой, безоружной Марией Стюарт в кошки-мышки. Кто глядит глубже, тот в этой одинокой женщине, зябнувшей под броней своего могущества и только изводящей себя своими псевдолюбовниками, ибо ни одному из них она не способна отдаться, видит скрытую, лукавую теплоту, а за ее капризными и грубыми выходками видит честное желание быть доброй и великодушной. Ее

робкой натуре претило насилие, и она предпочитала ему пряную дипломатическую игру «по маленькой» и безответственность закулисных махинаций; каждое объявление войны повергало ее в дрожь и трепет, каждый смертный приговор камнем ложился на совесть, всеми силами старалась она сохранить в стране мир. Если она боролась с Марией Стюарт, то лишь потому, что чувствовала (и не без основания) с ее стороны угрозу, да и то она охотнее уклонилась бы от открытой борьбы, ибо была по натуре игроком и шулером, но только не борцом. Обе — Мария Стюарт по своей беспечности и Елизавета по робости характера — предпочли бы жить в мире, пусть даже это был бы худой, ложный мир. Но положение звезд на небе в тот исторический момент не допускало половинчатости, неопределенности. Равнодушная к заветным желаниям отдельной личности, сильнейшая воля истории часто втрагивает людей и стоящие за ними силы в свою смертоносную игру

Ибо за внутренними различиями индивидов повелительно, исполинскими тенями встают великие противоречия эпохи. И не случайность, что Мария Стюарт была поборницей старой, католической, а Елизавета — защитницей новой, реформатской церкви; в том, что каждая из них берет сторону одной из борющихся партий, как бы символически отражен тот факт, что обе королевы воплощают различные мировоззрения: Мария Стюарт — умирающий мир рыцарского средневековья, Елизавета — мир новый, нарождающийся. В их борьбе как бы изживает себя эпоха перелома.

Мария Стюарт, как последний отважный палладин, борется и жертвует собой за то, что кануло без возврата, — за обреченное, гиблое дело, и это придает ее фигуре такое романтическое очарование. Она лишь повинуется творящей воле истории, когда, обращенная в прошлое, политически связывает свою судьбу с силами, уже перешагнувшими через зенит, с Испанией и Ватиканом, — тогда как Елизавета прозорливо шлет посольство в самые отдаленные страны, Россию и Персию, и с безошибочным чутьем обращает энергию своего народа к океанам, как бы в предвидении того, что столбы, поддерживающие будущую мировую империю, должны быть воздвигнуты на новых

континентах. Мария Стюарт косо привержена традиции, она не выходит за пределы чисто династического понимания королевской власти. По ее мнению, страна прилежит властителю, а не властитель стране; все эти годы Мария Стюарт была лишь королевой Шотландской, и никогда не была она королевой шотландского народа. Сотни написанных ею писем трактуют об утверждении, расширении ее личных прав, и нет ни одного, где шла бы речь о народном благе, о развитии торговли, мореплавании или военной мощи. Как языком ее в поэтических опытах и обычном обиходе всегда оставался французский язык, так и в помыслах ее и чувствах нет ничего национального, шотландского; не ради Шотландии жила она и приняла смерть, а единственно ради того, чтобы оставаться королевою Шотландской. В итоге Мария Стюарт не дала своей стране ничего творчески вдохновляющего, кроме легенды о своей жизни.

Но, поставив себя над всеми, Мария Стюарт неминуемо должна была оказаться в одиночестве. Пусть мужеством и решимостью она неизмеримо превосходила Елизавету, зато Елизавета не в одиночестве боролась против нее. Чувство неуверенности рано заставило ее укрепить свои позиции, и она сумела окружить себя помощниками — надежными людьми с ясным, трезвым разумом; в этой войне она опиралась на целый генеральный штаб, обучавший ее тактике и практике и в решительные минуты защищавший ее от порывов и срывов ее нервного темперамента. Елизавета умудрилась создать вокруг себя такую превосходную организацию, что и поныне, спустя столетия, ее личные заслуги почти неотделимы от коллективных заслуг Елизаветинской эпохи в целом, так что озаряющая ее имя бессмертная слава обнимает и достижения ее выдающихся советников. В то время как Мария Стюарт — это Мария Стюарт и только, Елизавета — это всегда Елизавета плюс Сесил, плюс Лестер, плюс Уолсингем, плюс энергия всего народа; не разберешь, кто же, собственно, был гением того шекспировского века — Англия или Елизавета, настолько они слились в некое замечательное единство. Своим выдающимся положением среди монархов своего времени Елизавета обязана как раз тому, что она не стремилась быть госпожой Англии, а лишь исполнительницей воли англичан, свершительницей национальной миссии. Она угадала веяние времени, от автократии устремленное к конститу-

ционному строю. Добровольно признает она новые силы, возникающие из преобразования сословий, из расширения мирового пространства благодаря выдающимся открытиям века; она поощряет все новое — гильдии купцов, денежных людей и даже пиратов, ибо Англии, ее Англии, они прокладывают путь к преобладанию на море. Тысячи раз жертвует она (чего Мария Стюарт никогда не делает) своими личными желаниями общенациональному благу. Наилучший выход из душевных затруднений — выход в деятельную жизнь; потерпев крах как женщина, Елизавета ищет счастья в счастье своего народа. Весь свой эгоизм, всю жажду власти эта бездетная, безмужняя женщина переключила на общенациональные интересы: быть великой величию Англии в глазах потомства было самым благородным из ее тщеславных помыслов, и жила она во имя будущего величия Англии. Никакая другая корона не могла бы ее прельстить (тогда как Мария Стюарт с восторгом сменяла бы свою на любую лучшую), и, в то время как та сгорела в свой час, вспыхнув ослепительным метеором, скупая, дальновидная Елизавета отдала все силы будущему своей нации.

А потому не случайность, что борьба между Марией Стюарт и Елизаветой решилась в пользу той, что олицетворяла прогрессивное, жизнеспособное начало, а не той, что была обращена назад, в рыцарское прошлое; с Елизаветой победила воля истории, которая торопится вперед, отбрасывая прочь отжившие формы, как пустую шелуху, творчески испытывая себя на все новых путях. В ее жизни воплощена энергия нации, которая хочет завоевать свое место в мире; в смерти же Марии Стюарт героически и эффектно отмирает рыцарское прошлое. И все же каждая из них выполняет в этой борьбе свое назначение: Елизавета, как трезвая реалистка, побеждает в истории, романтическая Мария Стюарт — в поэзии и предании.

Блистательна эта борьба, предстоящая нам сквозь призму времени и пространства и в столь эффектном исполнении; жаль только, что презренны и мелки те средства, какими она ведется. Ибо хоть фигуры и незаурядные, обе женщины остаются женщинами, они бессильны превозмочь собственную их полу слабость — враждовать не в открытую, а изводя противника лукавыми происками, бу-

лавочными уколами. Будь на месте Марии Стюарт и Елизаветы двое мужчин, не миновать бы им кровавого столкновения, войны. Тут притязание непримиримо встало бы против притязания, мужество против мужества. Конфликт между Марией Стюарт и Елизаветой лишен честной мужской ясности; это драка двух кошек, которые, спрятав когти, бродят вокруг да около и сторожат друг друга, — коварная и во всех отношениях нечестная игра. В течение четверти века эти женщины только и делали, что лгали друг другу (причем ни одна ни на секунду не давала себя обмануть). Ни разу не поглядят они друг другу в глаза, ни разу их ненависть не выступит с поднятым забралом; льстиво и лицемерно улыбаясь, приветствуют они, и поздравляют, и улещают, и одаривают одна другую, и каждая держит за спиной отточенный кинжал. Нет, хроника войны между Елизаветой и Марией Стюарт не знает ни битв, ни прославленных эпизодов в духе Илиады, это не героическая эпопея, а скорее глава из Макиавелли, пусть и увлекательная для психолога, но отталкивающая для моралиста, ибо это всего лишь затянувшаяся на двадцатилетие интрига, но только не открытый, бряцающий бой.

Бесчестная игра начинается со сватовства Марии Стюарт и появления на сцене августейших женихов. Мария Стюарт согласна на любого из них, женщина в ней еще дремлет и не участвует в выборе. Она охотно пошла бы за пятнадцатилетнего дона Карлоса, хотя молва рисует его злобным мальчишкой, страдающим припадками ярости, но так же легко согласилась бы и на малолетнего Карла IX. Молод или стар, красив или уродлив — безразлично ее честолюбию, лишь бы этот союз возвысил ее над ненавистной соперницей. Не проявляя большого интереса, она поручает все переговоры своему сводному брату Меррею, и тот ведет их с корыстным рвением, ибо стоит его сестре заполучить корону в Париже, Вене или Мадриде, как он избавится от нее и снова станет некоронованным королем Шотландии. Елизавета мигом узнает — ведь ее шпионы не дремлют — об этих чужеземных сватовствах, и она тотчас же накладывает на них свое грозное вето. Без околичностей заявляет она шотландскому посланнику, что коль скоро Мария Стюарт примет королевское предложение из Австрии, Франции или Испании, она, Елизавета, сочтет это враждебным актом, но это не мешает ей в то же самое время обратиться к своей дорогой кузине с

нежным увещанием, умоляя довериться ей одной, «как бы горы блаженства и земного великолепия ей ни сулили другие». О, она нисколько не возражала бы против принца протестантской веры, против короля Датского или герцога Феррары — понимай: против недостойных, безопасных претендентов, — но больше всего она желала бы, чтобы Мария Стюарт нашла себе супруга «дома» — какого-нибудь шотландского или английского дворянина. В этом случае ей навеки обеспечена ее сестринская любовь и помощь.

Позиция Елизаветы — это, конечно, беззащитная *foul play*¹, и ее скрытое намерение очевидно: королева-девушка поневоле, она старается лишить соперницу ее крупного шанса. Столь же искусным приемом отражает Мария Стюарт брошенный ей мяч. Она, разумеется, ни минуты не думает о том, чтобы признать за Елизаветой *overlordship* — право решающего голоса в ее матримониальных проектах. Но великая сделка еще висит в воздухе, главный кандидат, дон Карлос, медлит с решением. И Мария Стюарт лицемерно благодарит Елизавету за ее материнскую заботу. «For all uncles of the world»² не стала бы она рисковать драгоценной дружбой английской королевы, оскорбив ее самовольным решением этого вопроса — о нет, боже сохрани! — она готова следовать любому ее совету, пусть только Елизавета вразумит ее, которые женихи годятся («allowed»), а которые нет. Поистине трогательная покорность, но словно между строк вставляет Мария Стюарт невинный вопрос: каким образом намерена Елизавета вознаградить ее покорность? Она как бы говорит ей: «Изволь, я исполню твое желание и не выйду за человека, знатностью и могуществом превосходящего тебя, о возлюбленная сестра. Но и ты соблаговоли дать мне гарантию и, кстати, не откажи разъяснить: как обстоит дело с моими правами преемства?»

Тем самым конфликт по-прежнему благополучно застрял на мертвой точке. Как только Елизавете надо сказать что-то членораздельное на тему о преемстве, она прячется в свою скорлупу и никакими клещами не вырвешь у нее ясного слова. Кружа и петляя, она лепечет что-то сугубо косноязычное: «она-де сердечно предана интересам своей сестрицы» и намерена позаботиться о ней, как о родной дочери;

¹ Нечестная игра, надувательство (*англ.*).

² «Ни за какие блага мира» (*англ.*).

потоком сладчайших слов исписываются целые страницы, но нет среди них искомого, решительного, обязывающего слова: точно два левантинских купца, хотят они сварганить дельце, так сказать, из рук в руки — ни одна не рискует первой разжать горсть. Избери того, кого я тебе прикажу, говорит Елизавета, и я объявлю тебя своей преемницей Назови меня своей преемницей, и я выберу, кого ты мне велишь, отвечает ей Мария Стюарт И ни одна не верит другой, потому что каждая намерена другую обмануть

Целых два года тянутся эти переговоры о замужестве, женихах и преемстве. Но как ни странно, оба шулера, сами того не желая, подыгрывают друг другу. Елизавете только и нужно, что водить Марию Стюарт за нос, Марии же Стюарт, к ее несчастью, приходится иметь дело с самым медлительным из монархов, известным кунктатором Филиппом II И лишь когда переговоры с Испанией окончательно садятся на мель и надо уже думать о других предложениях, Мария Стюарт решает покончить с намеками и эquivoками и безоговорочно приставляет своей милой сестрице к груди пистолет. Она приказывает ясно и недвусмысленно спросить, кого же предлагает Елизавета как достойного претендента.

Елизавете очень уж неповадно отвечать на вопросы, заданные в столь категорической форме, а тем более на этот вопрос. Ибо давно уже обвиняками дала она понять, кого имеет в виду для Марии Стюарт В одном из писем она многозначительно проямлила: она-де «намерена предложить ей такого жениха, что никто и не подумал бы, что она может на это решиться». Однако шотландский двор делает вид, будто не понимает намеков, и требует позитивного предложения — назовите имя! Припертая к стене, Елизавета уже не может ограничиться намеками. С усилием выдавливая она из себя имя избранника: Роберт Дадлей.

И тут дипломатическая комедия рискует на минуту превратиться в фарс. Предложение Елизаветы можно понять либо как чудовищное надругательство, либо как чудовищный блеф. Уже одно предположение, что королева Шотландская, вдовствующая королева Французская, может удостоить своей руки какого-то ничтожного подданного,

subject, своей сестры — королевы, захудалого дворянчика без единой капли королевской крови, по понятиям того времени, близко к оскорблению. Однако наглость предложения усугубляется особым обстоятельством: всей Европе известно, что Роберт Дадлей уже многие годы состоит у Елизаветы в потешных любовниках, в партнерах ее эротических игр, и, стало быть, королева Английская, словно свой обносок, дарит королеве Шотландской как раз того человека, с которым сама она погнушалась вступить в брак. Впрочем, всего лишь несколько лет назад тяжелодушная Елизавета играла этой мыслью (именно играла — для нее это всегда игра). И только когда Эйми Робсарт, жена Дадлея, была найдена убитой при загадочных обстоятельствах, она поспешила отказаться от этого плана, дабы не навлечь на себя подозрения в соучастии. Предложить дважды скомпрометированного человека — во-первых, той темной историей, а также некими интимными отношениями с ней, Елизаветой, предложить его в мужа Марии Стюарт было из многих грубых и бестактных выходов, ознаменовавших ее правление, пожалуй, наиболее бестактной.

Чего Елизавета, собственно, добивалась этим непонятым предложением — вряд ли когда-либо станет ясно: ибо кто возьмется перевести на язык логики взбалмошную прихоть истерической натуры? Мечтала ли она как преданная любовница наградить любовника, которого не осмеливалась взять в мужа, отписав ему по духовной, вместе с правами преемства, самое ценное, чем она располагала, — свое королевство? Хотела ли просто избавиться от прискучившего ей *cicisbeo*¹? Надеялась ли через преданного человека вернее держать соперницу в узде? А может быть, она лишь испытывала любовь Дадлея? Мечтала ли она о *partie a trois*² — объединенном любовном хозяйстве? Или же это просто фортель, рассчитанный на то, что Мария Стюарт своим отказом проявит себя неблагодарной? Каждое из этих предположений закономерно, но, вернее всего, причудница и сама не знала, чего она, собственно, хочет: по-видимому, то была опять лишь игра воображения, ведь ей так свойственно играть решеньями и людьми. Трудно представить себе, что произошло бы, если бы Мария Стю-

¹ Любовник (англ.).

² Любовь втроем (франц.).

арт серьезно отнеслась к предложению выйти замуж за отставного любовника английской королевы. Быть может, Елизавета, внезапно одумавшись, запретила бы Дадлею этот брак и, унизив соперницу оскорбительным сватовством, осрамила бы ее вдобавок позорным отказом.

Для Марии Стюарт предложение выйти замуж за претендента некоролевской крови — это нечто вроде дерзостного богохульства. Неужто его госпожа серьезно думает, что она, помазанница божия, позарится на какого-то «лорда Роберта», спрашивает она посланца под впечатлением свежей обиды. Но она тут же подавляет недовольство и мило улыбается ему: такую опасную противницу, как Елизавета, не стоит преждевременно гневить столь резким отказом. Надо сперва выйти за испанского или французского престолонаследника, а там она сполна рассчитается за оскорбление. В этом поединке сестер один нечестный поступок неизменно вызывает такой же ответный — на коварное предложение Елизаветы следует лживое заверение Марии Стюарт в дружбе и признательности. Итак, Дадлея не отвергают в Эдинбурге как претендента, боже сохрани, королева делает вид, будто клюнула на эту удочку, что позволяет ей разыграть презабавный второй акт. Сэр Джеймс Мелвил откомандировывается с официальным поручением в Лондон, якобы для того, чтобы начать переговоры о кандидатуре Дадлея, а на самом деле — чтобы еще больше запутать этот клубок лжи и притворства.

Мелвил, самый верный из дворян Марии Стюарт, — искусный дипломат, но еще более искусное перо: он умеет не просто писать, но и живописать, за что мы ему особенно благодарны. Его поездка к английскому двору подарила миру самое живое и яркое изображение Елизаветы как личности, а также одну из самых блестящих исторических комедий. Елизавете хорошо известно, что этот светский человек провел долгие годы при французском и германском дворах; и она пускается во все тяжкие, чтобы блеснуть перед ним именно своими женскими достоинствами, не подозревая, что его беспощадная память удержит и увековечит для истории все ее кокетливые благоглупости и ужимки. Женское тщеславие уже не раз подводило Елизавету; так и сейчас эта неисправимая кокетка, вместо того чтобы убеждать посланца доводами политической мудрости, старается прежде всего очаровать мужчину своими личными совершенствами. Она показывается ему во всем своем блеске. В необъятном своем гардеробе — три тысячи плать-

ев насчитали после ее смерти — она выбирает самые дорогие туалеты и появляется одетая то по английской, то по французской, то по итальянской моде, в щедром декольте, открывающем достаточно обширные перспективы, щеголяет своей латынью, своим французским и итальянским и с ненасытной жадностью вбирает в себя безграничное, по-видимому, восхищение посла. И все же его комплименты, хоть и выраженные в превосходной степени, — она-де чудо как хороша и умна и образованна — ее не удовлетворяют, ей непременно хочется — «Скажи, зеркальце на стене, кто красивее во всей стране» — именно от посла шотландской королевы услышать, что он восхищен ею как женщиной больше, чем своей госпожой. Пусть скажет ей, что она либо красивее, либо умнее, либо образованнее, нежели Мария Стюарт. И она распускает перед ним свои необычайно густые волнистые волосы, рыжие с красноватым отливом, и спрашивает, лучше ли волосы у Марии Стюарт, — каверзный вопрос для посланца королевы. Мелвил с честью выходит из затруднения, ответствуя с соломоновой мудростью, что в Англии ни одна женщина не сравнится с Елизаветой, а в Шотландии ни одна не превосходит красотой Марию Стюарт. Но такое «и нашим и вашим» не удовлетворяет тщеславную кокетку: снова и снова демонстрирует она ему свои чары — садится за клавиши и даже поет под лютю. Волей-неволей Мелвил, памятуя поручение обвести Елизавету вокруг пальца, снисходит до признания, что лицо у нее блее, что она искуснее играет на клавишине и в танцах держится лучше, чем Мария Стюарт. Увлеченная самовосхвалением, Елизавета забывает о настоящей цели их свидания, когда же Мелвил сворачивает на эту щекотливую тему, Елизавета уже опять играет роль: прежде всего она достает из ящика миниатюрный портрет Марии Стюарт и нежно его целует. Со слезой в голосе принимается она рассказывать, как мечтает лично встретиться с Марией Стюарт, своей возлюбленной сестрицей (на самом деле она всю свою жизнь не жалела усилий, чтобы так или иначе расстроить все предстоящие им свидания); если верить словам этой отпетой актрисы, то дороже всего для нее знать, что ее соседка королева счастлива. Но у Мелвила трезвая голова и ясный взгляд. Его разученной декламацией не обманешь; подытоживая все виденное и слышанное, он сообщит в Эдинбург, что Елизавета всеми своими словами и поступками лишь увильвала от правды, проявляя великое притворство, смятение

и страх. Когда же Елизавета отважилась на вопрос, что думает Мария Стюарт о браке с Дадлеем, опытный дипломат воздержался как от решительного «нет», так и от ясного «да». Уклончиво заявляет он, что Мария Стюарт еще недостаточно обдумала это предложение. Но чем больше он уклоняется, тем резче настаивает Елизавета. «Лорд Роберт, — говорит она, — мой лучший друг. Я люблю его как брата и никогда бы не искала себе другого мужа, если бы решилась выйти замуж. Но так как я не чувствую к сему склонности и бессильна себя побороть, то я желала бы, чтобы по крайней мере сестра моя избрала его, ибо я не знаю никого более достойного делить с ней мое наследие. А для того, чтобы моя сестра не ценила его слишком низко, я намереваюсь через несколько дней возвести его в сан графа Лестерского и барона Денбийского».

И действительно, по прошествии нескольких дней — третий акт комедии — совершается со всей пышностью и блеском означенная церемония. Лорд Роберт Дадлей преклоняет колена перед своей государыней и возлюбленной, чтобы встать с колен уже графом Лестером. Но даже в эту патетическую минуту женщина в Елизавете сыграла с королевою недобрую шутку. Ибо, возлагая на верного слугу графскую корону, любовница не может удержаться, чтобы не потрепать по головке своего милого дружка; так торжественная церемония оборачивается фарсом, и Мелвил лукаво усмехается в бороду: он уже предвидит, какой забавный доклад пошлет своей госпоже в Эдинбург.

Но Мелвил прибыл в Лондон не только для того, чтобы как летописец наслаждаться комедией, разыгрываемой коронованными особами: у него тоже своя роль в этом *qui pro quo*¹. В его дипломатическом портфеле есть потайные карманы, которых он ни за что не откроет Елизавете; придворная болтовня о графе Лестере — лишь дымовая завеса, скрывающая поручение, с которым он, собственно, и приехал в Лондон. Прежде всего ему надлежит энергично постучаться к испанскому послу и выяснить, каковы наконец намерения дон Карлоса, — Мария Стюарт не согласна больше ждать. Кроме того, ему поручено со всей осторожностью позондировать почву насчет возможных переговоров с еще одним второсортным кандидатом — Генри Дарнлеем.

¹ Недоразумении (лат.).

Означенный Генри Дарнлей пока еще стоит на запасном пути, Мария Стюарт придерживает его в резерве на тот случай, если провалятся все ее многообещающие планы. Ибо Генри Дарнлей никакой не король и даже не князь, отец его, граф Ленокс, как исконный враг Стюартов, был изгнан из Шотландии и лишен всех поместий. Зато с материнской стороны в жилах восемнадцатилетнего юноши течет истинно королевская кровь, кровь Тюдоров; правнук Генриха VII, он — первый prince of blood¹ при английском королевском дворе и потому вполне приемлемая партия для любой государыни; кроме того, у него еще то преимущество, что он католик. В качестве третьего, четвертого или пятого претендента Дарнлей вполне возможен, и Мелвил ведет туманные и ни к чему не обязывающие разговоры с Маргаритой Ленокс, честолюбивой матушкой этого кандидата-на-всякий-случай.

Но таково условие любой удачной комедии: хотя все ее персонажи благополучно обманывают друг друга, а все же кое-кому случается и запустить глаза в карты соседа. Елизавета не так уж глупа, чтобы думать, будто Мелвил лишь с тем приехал в Лондон, чтобы отпустить ей комплименты насчет ее волос и искусной игры на клавесине. Она знает, что предложение сдать с рук на руки Марии Стюарт ее, Елизаветы, отставленного дружка не слишком восхищает шотландскую королеву; ей также хорошо известны честолюбие и практическая сноровка леди Ленокс. Кое-что, надо думать, пронюхали и ее шпионы. И как-то, во время обряда посвящения в рыцари, когда Генри Дарнлей в качестве первого принца двора несет перед ней королевский меч, Елизавета в приливе искренности обращается к Мелвилу и говорит ему, не сморгнув: «Мне очень хорошо известно, что вам больше приглянулся сей молодой повеса». Однако Мелвил при такой попытке нагло залезть к нему в потайной карман не теряет обычного хладнокровия. Плох тот дипломат, который не способен в трудную минуту соврать, не краснея. Сморщив умное лицо в презрительную гримасу и с пренебрежением глядя на того самого Дарнлея, ради которого он еще только вчера хлопотал, Мелвил замечает спокойно: «Ни одна умная женщина не изберет в мужа повесу с такой стройной талией и таким пригожим безбородым лицом, более подобающим женщине, чем зрелому мужу»

¹ Принц крови (англ.).

Сдалась ли Елизавета на искусный маневр опытного дипломата? Поверила ли его притворному пренебрежению? Или же она ведет в этой комедии еще более непроницаемую двойную игру? Но только вот что удивительно: сначала лорду Леноксу, отцу Дарнлея, разрешается вернуться в Шотландию, а в январе 1565 года дозволение получает и сам Дарнлей. Елизавета не то из каприза, не то из коварства посылает как раз самого опасного кандидата ко двору противницы. Забавно, что ходатаем по этому делу выступает не кто иной, как граф Лестер — он тоже ведет двойную игру, чтобы незаметно выскользнуть из брачных силков, расставленных его госпожой. Четвертый акт этого фарса тем самым переносится в Шотландию, но тут искусно нарастающая путаница обрывается и комедия сватовства приходит к внезапному концу, неожиданному для всех участников.

Ибо политика, эта земная, человеческая сила, сталкивается в тот зимний день с некоей извечной и изначальной силой: жених, явившийся к Марии Стюарт с визитом, неожиданно находит в королеве женщину. После долгих лет терпеливого, безучастного ожидания она наконец пробудилась к жизни. До сей поры она была лишь королевской дочерью, королевской невестой, просто королевой и вдовствующей королевой — игрушка чужой воли, послушный объект дипломатических торгов. Теперь впервые в ней прорывается чувство, одним рывком сбрасывает она с себя коросту честолюбия, словно тяготящее ее платье, чтобы свободно распорядиться своим юным телом, своей жизнью. Впервые слушается она не чужих советов, а лишь голоса крови — требований и подсказки своих чувств. Так начинается история ее внутренней жизни.

ГЛАВА VII

Второе замужество

1565

То неожиданное, что произошло, в сущности самая обыкновенная вещь на свете: молодая женщина влюбляется в молодого человека. Нельзя надолго подавить природу: Мария Стюарт, женщина с нормальными чувствами и горячей кровью, в этот поворотный миг стоит на пороге

своей двадцать третьей весны. Четыре года ее вдовства протекли в строгом воздержании, без единого сколько-нибудь серьезного любовного эпизода. Но страсти можно лишь до поры до времени держать в узде: даже в королеве женщина в конце концов предъявляет свои права — любить и быть любимой.

Предметом первого увлечения Марии Стюарт стал — редкий в мировой истории случай — не кто иной, как политический искатель на ярмарке царственных невест, Дарнлей, в 1565 году, по поручению своей матушки, объявившийся в Шотландии. Мария Стюарт не впервые встречает этого юношу; четыре года назад, пятнадцатилетним подростком; он прибыл во Францию, чтобы принести в затененный покой вдовы de deuil blanc соболезнования своей матушки. И как же вытянулся с тех пор этот долговязый, но широкоплечий юнец с соломенно-желтыми волосами, с по-женски гладким, безбородым, но и по-женски красивым лицом, на котором большие круглые мальчишеские глаза с каким-то недоумением смотрят на мир. «Il n'est possible de voir un plus beau prince»¹, — сообщает о нем Мовисьер, да и на взгляд юной королевы Дарнлей «на редкость пригожий и статный верзила» — «the lustiest and bestproportioned long man». Марии Стюарт, с ее пылкой нетерпеливой душой, свойственно обольщаться иллюзиями. Романтические натуры ее склада редко видят людей и жизнь в истинном свете, мир обычно представляется им таким, каким они хотят его видеть. Непрестанно бросаемые от чрезмерного увлечения к разочарованию, эти неисправимые мечтатели никогда не отрезвляются полностью. Страхнув одно наваждение, они тут же поддаются другому, ибо в наваждении, а не в тусклой действительности настоящая жизнь. Так и Мария Стюарт в своем скороспелом увлечении этим гладким юношей не замечает вначале, что его красная внешность не скрывает большой глубины, что тугие мускулы не говорят о силе, а придворный лоск не знаменует душевной утонченности. Мало избалованная своим пуританским окружением, она видит лишь, что этот юный принц мастерски сидит в седле, что он грациозно танцует, любит музыку и прочие тонкие развлечения и при случае может даже накропать премилый мадригал. Малейший намек на артистичность в человеке всегда много

¹ «Трудно вообразить себе более красивого принца» (франц.).

для нее значил; она от души радуется, что нашла в молодом принце доброго товарища по танцам и охоте, по всевозможным играм и упражнениям в искусствах, которыми увлекаются при дворе. Его присутствие вносит разнообразие и свежее дыхание юности в затхлость и скуку придворной жизни. Но не только королеву пленил Дарнлей — недаром, следуя наставлениям сметливой матушки, он ведет себя с примерной скромностью: повсюду в Эдинбурге он вскоре желанный гость, «well liked for his personage»¹, как доносит Елизавете ее недалёковидный соглядатай Рандольф. С поразительной ловкостью добивается он успеха не только у Марии Стюарт, но и у всех вокруг.

Так, он завязывает дружбу с Давидом Риччо, новым доверенным секретарем королевы и агентом контрреформации: днем они вместе играют в мяч, ночью делят одно ложе. Но, заискивая у католической партии, он в то же время ластится и к протестантам. По воскресеньям сопровождает в реформатскую «кирку» регента Меррея, где с хорошо разыгранным волнением слушает проповедь Джона Нокса; днем, для отвода глаз, обедает с английским посланником и славит доброе сердце Елизаветы, а вечером танцует с четырьмя Мариями. Короче говоря, долговязый, недалёкий, но хорошо вышколенный юноша отлично справляется со своей задачей, тем более что, будучи круглым ничтожеством, он ни в ком не возбуждает преждевременных подозрений.

Но вот искра перекинулась, и занялся пожар — Мария Стюарт, чьей благосклонности ищут государи и князья, сама теперь ищет любви глупого девятнадцатилетнего мальчика. Долго сдерживаемая нетерпеливая страсть пробивается с вулканической силой, как это бывает с цельными характерами, не растратившими и не промотавшими своих чувств в пустых интрижках и легкомысленных увлечениях; благодаря Дарнлею впервые в Марии Стюарт заговорило женское естество — ведь ее супружество с Франциском II так и осталось ничем не разрешившейся детской дружбой, и все эти годы женщина в королеве прозябала в каких-то сумерках чувств. Наконец-то перед ней человек, мужчина, на которого оттаявший и запруженный преизбыток ее страстности может излиться кипящей стремниной. Не размышляя, не рассуждая, она, как это часто бывает с жен-

¹ «Ценимый за свои приятные качества» (англ.).

щинами, видит в первом попавшемся шалопае единственного возлюбленного, посланного ей судьбой. Конечно, умнее было бы повременить, проверить человека, узнать ему настоящую цену. Но требовать логики от чувств страстно влюбленной молодой женщины — все равно, что искать солнца в глухую полночь. Тем-то и отличается истинная страсть, что к ней неприменим скальпель анализа и рассудка. Ее не вычислишь наперед, не сбалансируешь задним числом. Выбор, сделанный Марией Стюарт, лежит, без сомнения, за гранью ее обычно столь трезвого разума. Ничто в этом незрелом, тщеславном и разве что красивом мальчишке не объясняет такого бурного разлива чувств. Как и у многих мужчин, которых не по заслугам любят превосходящие их духовно женщины, единственная заслуга Дарнлея, его приворотный корень в том, что ему посчастливилось в критическую минуту, исполненную величайшего напряжения, подвернуться этой женщине, в которой еще только дремала воля к любви.

Итак, понадобилось немало времени, чтобы кровь гордой дочери Стюартов не на шутку взыграла. Зато теперь она бурлит и клокочет в нетерпении. Уж если Мария Стюарт что задумала, долго тянуть и откладывать она не станет. Что ей Англия, что Франция, что Испания, что все ее будущее по сравнению с счастьем этой минуты! Нет, довольно с нее скучной игры в дурачки с Елизаветой, довольно полусонного сватовства из Мадрида, хотя бы и сулящего ей корону двух миров: ведь рядом он, этот светлый, юный и такой податливый, сластолюбивый мальчик с алым чувственным ртом, глупыми ребячьими глазами и еще только пробующей себя нежностью. Поскорее связать себя, принадлежать ему — вот единственная мысль, владеющая королевой в этом блаженно-чувственном ослеплении. Из придворных знает на первых порах о ее склонности, о ее сладостных тревогах лишь новый доверенный ее секретарь Давид Риччо, не жалеющий сил, чтобы искусно направить ладью влюбленных в гавань Цитеры. Тайный агент папы видит в супружестве королевы с католиком верный залог владычества вселенской церкви в Шотландии и с усердием сводника хлопочет не столько о счастье юной пары, сколько о политических интересах контрреформации. В то время как оба хранителя печати, Меррей и Мэйтленд, и не подозревают о намерениях королевы, он сносится с папой, испрашивая разрешения на брак, поскольку Мария

Стюарт состоит с Дарнлеем в четвертой степени родства. В предвидении неизбежных осложнений он зондирует почву в Мадриде, может ли королева рассчитывать на помощь Филиппа II, если Елизавета захочет помешать этому браку, — словом, исполнительный агент трудится не покладая рук в надежде, что успех послужит к его собственной славе и к славе католического дела. Но как он ни трудится, как ни роет землю, расчищая дорогу к заветной цели, королеве не терпится — ей противна эта медлительность, эта осторожность и оглядка. Ведь пройдут бесконечные недели, пока письма со скоростью улитки доползут туда и обратно через моря и океаны. Она более чем уверена в разрешении святого отца, так стоит ли ждать, чтобы клочок пергамента подтвердил то, что ей необходимо сейчас, сию минуту. В решениях Марии Стюарт всегда чувствуется эта слепая безоглядность, этот великолепный безрассудный задор. Но и эту волю королевы, как и всякую другую, сумеет выполнить расторопный Риччо; он призывает к себе католического священника, и хотя у нас нет доказательств того, что был совершен какой-то предварительный обряд — в истории Марии Стюарт нельзя полагаться на свидетельства отдельных лиц, — обручение состоялось, союз между влюбленными был как-то скреплен. «Laudato sia Dio, — восклицает их бравый приспешник Риччо, — теперь уже никому не удастся disturbare le pozze»¹. При дворе и не догадываются о матримониальных планах Дарнлея, а он уже поистине стал владыкой ее жизни, а может быть, и тела.

Matrimonio segreto² хранится в строгой тайне; не считая священника, обязанного молчать, посвящены в нее только эти трое. Но как дымок выдает невидимое пламя, так нежность обличает скрытые чувства; прошло немного времени, а весь двор уже глаз не сводит с влюбленной пары. Каждому бросилось в глаза, с каким рвением и какой тревогой ухаживала Мария Стюарт за своим родичем, когда бедный юноша — как ни смешно это звучит для жениха — заболел корью. Все дни она просиживает у постели больного, и он, поправившись, ни на шаг от нее не отходит. Первым насупил брови Меррей. До сего времени он от души поощрял (радея главным образом о себе) все матри-

¹ Хвала богу... расстроить этот брак (итал.).

² Тайный брак (итал.).

мониальные проекты своей сестрицы; будучи правоверным протестантом, он даже не возражал против того, чтобы породниться с испанским отпрыском Габсбургов, этим оплотом и щитом католицизма, не видя себе в том большой помехи, — от Холируда не ближний свет до Мадрида. Но кандидатура Дарнлея для него полнейший зарез. Проницательному Меррею не надо объяснять, что едва лишь этот тщеславный слабохарактерный юнец станет принцем-консортом, как он захочет самовластия, будто настоящий король, Меррей к тому же достаточно политик, чтобы чутя, куда ведут тайные происки секретаря итальянца, агента папы: к восстановлению католического суверенитета, к искоренению реформации в Шотландии. В этой непреклонной душе властолюбивые планы перемешаны с религиозными верованиями, жажда власти — с тревогой о судьбах отечества; Меррей ясно видит, что с Дарнлеем в Шотландии установится чужеземная власть, а его собственная придет к концу. И он обращается к сестре со словами увещания, предостерегая ее против брака, который вовлечет еще не замиренную страну в неисчислимые конфликты. И когда убеждается, что предостережениям его не внемлют, в гневе покидает двор.

Да и Мэйтленд, второй испытанный советник королевы, сдается не сразу. И он понимает, что его высокое положение и мир в Шотландии под угрозой, и он, как министр-протестант, восстает против принца-консорта католика; постепенно вокруг обоих вельмож собирается вся протестантская знать. Открываются глаза и у английского посла Рандольфа. В смущении, оттого что он оплошал и время упущено, ссылается он в своих донесениях на witchcraft — красивый юноша якобы колдовством обошел королеву — и бьет в набат, прося о помощи. Но что значат недовольство и ропот каких-то мелких людишек по сравнению с неистовым, яростным и бессильным гневом Елизаветы, когда она узнает о выборе, сделанном противницей! Дорого же она поплатилась за свою двойную игру; во всей этой комедии сватовства ее попросту оплели, сделали общим посмешищем. Под видом переговоров о Лестере выманили у нее истинного претендента и контрабандой увезли в Шотландию. Она же со всей своей архидипломатией села в лужу и может теперь пенять только на себя. В приступе ярости она велит заточить в Тауэр леди Ленокс, мать Дарнлея, зачинщицу сватовства, она грозно приказывает своему

«подданному» Дарнлею не медля вернуться в Англию, она страшает его отца конфискацией всех поместий, она созывает коронный совет, и он, по ее требованию, объявляет этот брак опасным для дружбы между обоими государствами, иначе говоря, угрожает войной. Но обманутая обманщица так растерялась в душе и так напугана, что тут же начинает клянчить и торговаться; спасаясь от позора, она торопится бросить на стол свой последний козырь, заветную карту, которую до сих пор прятала в рукаве. Впервые в открытой и обязывающей форме предлагает она Марии Стюарт (теперь, раз уж игра все равно проиграна) подтвердить ее право на английский престол, она даже отрягает в Эдинбург (так ей не терпится) нарочного с торжественным обещанием: «if the Queen of Scots would accept Leicester, she would be accounted and allowed next heir to the crown as though she were her own born daughter»¹ Это ли не образчик извечной бессмыслицы всяких дипломатических торгов и ухищрений: то, чего Мария Стюарт долгие годы добивалась от своего недруга всеми силами ума, всей настойчивостью и хитростью, а именно — признания своих наследственных прав, она может теперь достигнуть шутя и как раз благодаря величайшей глупости, какую сотворила в своей жизни.

Но такова судьба всех политических уступок — они всегда запаздывают. Не далее как вчера Мария Стюарт была политиком, сегодня она только женщина, только возлюбленная. Стать признанной наследницей английского престола было лишь недавно ее заветной мечтой; сегодня это честолюбивое стремление оттеснено куда более легковесным, но и более пламенным желанием женщины — поскорее завладеть этим статным красавцем, этим мальчиком. Запоздали угрозы и прельстительные посулы Елизаветы, запоздали и увещания честных друзей, таких, как герцог Лотарингский, ее дядя, который советует ей отказаться от этого «joli hutaudeau» — «смазливой шалопая». Ни доводам разума, ни соображениям государственной важности уже не совладать с ее пылким нетерпеньем. Иронически звучит ее ответ разъяренной Елизавете, запу-

¹ «Если королева Шотландии согласится на брак с Лестером, она будет признана и провозглашена ближайшей наследницей короны, как будто она ее, Елизаветы, родная дочь» (англ.).

тавшейся в собственных сетях: «Мне поистине странно, что я не угодила моей доброй сестрице: ведь выбор, который она порицает, ни в чем не расходится с ее волей. Разве не отвергла я всех чужеземных искателей и не предпочла им англичанина, в жилах которого течет кровь обоих наших правящих домов, — первого принца Англии?» Против этого Елизавете трудно возразить, ведь Мария Стюарт чуть не буквально — но только по-своему — выполнила ее волю. Она остановила свой выбор на английском дворянине, том самом, которого Елизавета прислала к ней с двусмысленными намерениями. Но, так как соперница, не владея собой, засыпает ее все новыми предложениями и угрозами, Мария Стюарт высказывается уже грубо и откровенно. Слишком долго ее кормили обещаниями и обманывали в лучших надеждах: наскучив этим, она, с одобрения всей страны, сама сделала выбор. Незвирая на то, что из Англии шлют то кислые, то сладкие письма, в Эдинбурге на всех парах готовятся к свадьбе, Дарнлею жалуют еще титул герцога Росского; английский посланник, который в последнюю минуту прискакал из Англии с кипой протестов и нот, еще не вылезая из кареты, слышит, что Генри Дарнлею отныне надлежит именоваться и титуловаться (*namit and stylith*) не иначе, как королем.

Двадцать девятого июля колокола возвещают о венчании. В маленькой домашней капелле Холируда священник благословляет молодых. Мария Стюарт, неистощимо изобретательная в устройстве торжественных церемоний, приводит всех в изумление, появившись в траурном одеянии, том самом, в котором она провожала гроб своего усопшего супруга, короля Франции, — этим она как бы подчеркивает, что не по легкомыслию идет вторично к алтарю, не потому, что забыла первого супруга, а единственно выполняя волю своего народа. И только прослушав мессу и вернувшись к себе в опочивальню, она — вся эта сцена мастерски задумана, и пышные уборы лежат наготове, — уступая нежным мольбам Дарнлея, соглашается снять траур и сменить его на цвета радости и веселья. Внизу осаждают замок ликующая толпа, в которую щедрыми горстями кидают деньги, и с легким сердцем королева и ее народ спешат упиться праздничным весельем. К великой досаде Джона Нокса, кстати лишь недавно, на пятьдесят седьмом году жизни, вступившего во второй брак и взявшего девицу восемнадцати лет — но радости он признает только для себя, — четыре дня и четыре ночи кипит

веселье, пиршества сменяют друг друга пестрой чередой, как будто все темное, гнетущее отошло навек и отныне начинается блаженное царство юности.

Отчаянию Елизаветы нет границ, когда она, незамужняя и вовек неспособная к замужеству, слышит, что Мария Стюарт снова взошла на брачное ложе. Сама же она своими хитроумными маневрами только осрамила себя на весь мир: сватала королеве Шотландской своего сердечного дружка, а его оконфузили всенародно; возражала против кандидатуры Дарнлея, а ее советами пренебрегли; послала нарочного с последним предупреждением, а ее посланца продержали у запертых дверей, пока не кончился обряд. Необходимо было что-то предпринять для спасения своего престижа. Порвать дипломатические отношения и объявить войну? Но под каким предлогом? Ведь Мария Стюарт абсолютно и неоспоримо права, она достаточно посчиталась с волею Елизаветы, не отдав своей руки чужеземцу, к тому же Дарнлей и безупречная партия: ближайший кандидат на английский престол, правнук Генриха VII — чем не достойный супруг? Нет, всякая попытка протестовать ввиду полного своего бессилия только изобличит перед миром личную досаду Елизаветы.

Однако двойная игра всегда была и пребудет душой всех поступков Елизаветы. Только что потерпев жестокую неудачу, она все же верна себе. Она, конечно, воздержится от объявления войны, не отзовет и своего посланника, но втихомолку постарается елико возможно пакостить счастливой паре. Слишком нерешительная и осторожная, чтобы открыто выступить против своих лютых врагов, Дарнлея и Марии Стюарт, она действует интригами и подкопами. В Шотландии всегда найдутся недовольные, восстающие против наследственной власти, а на сей раз с ними заодно человек, головой выше прочей мелюзги, выделяющийся своей незаурядной энергией и открыто заявивший протест. Меррей демонстративно не явился на свадьбу сестры, и все посвященные сочли это недобрым знаком. Ибо Меррею — что немало способствует притягательности и загадочности этой фигуры — в удивительной мере присуще умение предугадывать внезапные изменения политической погоды; какой-то верный инстинкт предупреждает его о назревшей опасности, и в этих случаях он делает самое умное, что может сделать умудренный политик, — исче-

зает. Он выпускает из рук кормило власти и становится невидим и неуловим. Подобно тому как внезапное высыхание рек и иссякание источников предвещает в природе стихийные бедствия, так исчезновение Меррея неизменно предрекает — история Марии Стюарт тому наглядное доказательство — политическую непогоду. На первых порах Меррей ведет себя скорее пассивно. Он запирается в своей замке, он упрямо избегает двора, показывая, что, как регент и оберегатель протестантизма, решительно осуждает возведение Дарнлея на шотландский престол. Но Елизавете мало одного протеста. Ей нужен бунт; и в Меррее и в столь же, как и он, недовольных Гамильтонах ищет она союзников и помощников. Со строжайшим наказом ни в коем случае ее не скомпрометировать, «in the most secret way» поручает она своему агенту поддержать лордов деньгами и людьми «as if from himself», якобы от его имени, ей же, Елизавете, будто ничего о том не известно. Деньги, как благодатная роса на жухнувшие луга, падают в жадные руки лордов, сердца их снова загораются мужеством, и обещанная военная помощь способствует назреванию мятежа, которого с таким нетерпением ждут в Англии

Пожалуй, единственная ошибка Меррея, этого умного и дальновидного политика, в том, что он и в самом деле понадеялся на ненадежнейшую из правительниц и стал во главе мятежа. Разумеется, осторожный заговорщик не спешит ударить и лишь тайно вербует сообщников, он не прочь повременить, пусть Елизавета открыто выскажется за дело возмущившихся лордов, и тогда не как мятежник, но как оберегатель веры станет он против сестры. Однако Мария Стюарт, встревоженная подозрительным поведением брата и по праву не желая терпеть его враждебной безучастности, торжественно призывает его к ответу, требуя, чтоб он оправдался перед парламентом. Меррей, в гордости не уступающий сестре, не признает себя обвиняемым и надменно отказывается покориться; и тогда на него и его приверженцев налагается опала (put to the horn), глашатай возвещает об этом на рыночной площади. Так снова призвано решать оружие, а не разум.

И тут, как всегда в минуты ответственных решений, проявляется с неотразимой ясностью различие обоих темпераментов — Марии Стюарт и Елизаветы. Мария Стюарт не знает колебаний, ее мужество нетерпеливо, у него

жаркое дыхание и быстрая поступь. Елизавета же, скованная робостью, медлит и тянет с решением; она еще только размышляет, не вмешаться ли открыто, не повелеть ли государственному казначею снарядить войско в помощь бунтовщикам, как Мария Стюарт ударила. Она всенародно оглашает грамоту, в которой начисто разделяется с бунтовщиками: «Мало того, что они захватили без счета почестей и богатств, они бы и Нас, и все Наше Королевство рады прибрать к рукам, чтобы владеть им по своей воле, а Нам бы слушаться во всем их указки, — словом, они не прочь завладеть престолом, а Нам разве что оставить титул, исправлять же все дела в государстве предерзостно берутся сами»

Не теряя ни минуты, вскакивает отважная амазонка в седло. Сунув пистолеты за пояс, в сопровождении закованного в золоченые латы молодого супруга и верных присяге дворян, торопится она во главе наспех собранного войска навстречу бунтовщикам. Не успели веселые гости отрезвиться, как свадебный поезд превратился в военный поход. И эта безоглядная решимость приносит свои плоды. Коекого из восставших баронов оторопь берет перед этой новоявленной энергией, тем более что подкреплений из Англии не видно и Елизавета вместо обещанной помощи отделяется смущенными отговорками. Один за другим возвращаются они с повинной к своей законной государыне, и только Меррей не хочет покориться; всеми отринутый, он не успевает сколотить мало-мальски годное войско, как уже разбит наголову и вынужден скрыться. До самой границы преследует его в безумной, бешеной скачке победоносная королевская чета. Меррей едва уносит ноги и в середине октября находит убежище на английской земле.

Полная победа — все бароны и лорды ее владений тесно сомкнулись вокруг Марии Стюарт, впервые за долгое время Шотландия вновь припала к ногам своего государя и государыни. На какой-то миг уверенность в своих силах так захлестывает Марию Стюарт, что она подумывает, не перейти ли в наступление, не вторгнуться ли в Англию, где, как она знает, католическое меньшинство с ликованием встретит освободительницу; трезвые советчики с трудом сдерживают ее разгулявшуюся удачу. Зато учтивостям конец — с тех пор как она выбила из рук противницы все ее карты, в том числе и ту, что Елизавета прятала в рукаве. Брак по собственному выбору был первой победой Марии

Стюарт, разгром мятежников — второй; открыто, уверенно может она теперь смотреть в глаза своей «доброй сестрице» за кордоном.

Если положение Елизаветы и раньше было незавидным, то после провала ею выпестованных и обнадеженных бунтовщиков ей приходится и вовсе круто. Разумеется, всегда существовало и существует международное правило — в случае поражения тайно на вербованных в соседней стране повстанцев открыто их дезавуировать, предоставив собственной участи. Но уж если кому не повезет, так не везет до конца. Надо же случиться, чтобы какие-то деньги Елизаветы, предназначенные для лордов, — явная против нее улика — благодаря смелому нападению попали в руки Босуэлу, заклятому недругу Меррея. А тут еще и вторая неприятность: спасаясь от преследования, Меррей, естественно, бежал в страну, где его открыто и тайно ласкали, — в Англию. Мало того, у побежденного хватило смелости пожаловаться в Лондон. Какой конфуз — попасться в двойной игре, когда до сих пор ей все сходило с рук! Ведь допустить ко двору опального Меррея значит задним числом благословить мятеж. Если же она отвернется от тайного союзника и тем нанесет ему открытую обиду, чего только оскорбленный не способен наговорить на свою милостивицу, о чем при иностранных дворах и знать не должно. Никогда еще Елизавета не попадала в такую ловушку из-за своей двойной игры. Но недаром это век прославленных комедий, и не случайно Елизавета дышит тем же крепким, пьянящим воздухом, что Шекспир и Бен Джонсон. Природная актриса, она, как ни одна королева, знает толк в театре и эффектных сценах, Хэмптон-корт и Вестминстер того времени по части эффектных сцен могли смело поспорить с «Глобусом» и «Фортуной». Едва лишь становится известно о прибытии неудобного союзника, как его в тот же вечер призывает к себе Сесил, чтобы прорепетировать с ним роль, которую тому завтра предстоит исполнить — к вящей славе Елизаветы и для реабилитации ее поколебленной чести.

Трудно выдумать что-либо более наглое, чем эта разыгранная наутро комедия. У королевы сидит французский посланник, разговор идет — ведь ему и невдомек, что он зван на веселый фарс, — о политических делах. Вошедший слуга докладывает о прибытии графа Меррея. Королева

высоко вздергивает брови. Что такое? Не ослышалась ли она? Неужто и вправду лорд Меррей? Да как же он осмелился, презренный мятежник, обманувший ее «добрую сестрицу», явиться в Лондон? И что за неслыханная наглость показаться на глаза ей, которая — весь мир это знает — телом и душой предана своей милой кухне Бедная Елизавета! Она не может опомниться от удивления и негодования. И лишь после долгих колебаний решается принять этого «наглеца», но только не с глазу на глаз. Нет, боже упаси! И она не отпускает французского посланника, чтобы заручиться свидетелем своего «искреннего» возмущения

Выход Меррея. Серьезно и добросовестно ведет он свою роль. Уже самое его появление говорит о том, что человек пришел с повинной головой. Смиренно и нерешительно, отнюдь не обычной своей горделивой и смелой походкой, облаченный во все черное, приближается он, склоняет колено, как проситель, и обращается к королеве на родном шотландском языке Елизавета тотчас же обрывает его и приказывает говорить по-французски, дабы посланник мог следить за их беседой, — пусть никто не посмеет сказать, что у королевы какие-то секреты с уличенным бунтовщиком. Меррей что-то смущенно бормочет, но у Елизаветы сразу меняется тон: она-де не понимает, как он, беглец и бунтовщик, восставший против ее лучшего друга, отважился без зова явиться во дворец. Правда, у нее с Марией Стюарт бывали разногласия, но ничего серьезного. Она всегда видела в шотландской королеве родную сестру и надеется, что так будет и впредь. И если Меррей не докажет, что лишь по неразумию или защищая свою жизнь восстал он против своей госпожи, она повелит бросить его в тюрьму и будет судить как изменника. Пусть же Меррей оправдается перед ней

Натасканный Сесилом, Меррей прекрасно понимает что волен говорить решительно все, кроме правды. Он знает всю вину ему должно принять на себя, чтобы обелить Елизавету в глазах посланника, доказать ее полную непричастность к ею же инспирированному заговору. Он должен обеспечить ей алиби. И вместо того, чтобы жаловаться на сводную сестру, он превозносит ее до небес. Она свыше меры наградила его землями, осыпала почестями и щедрыми дарами, да и он служил ей не за страх, а за совесть, и только опасение, что против него злоумышляют, боязн

за свою жизнь затуманили его разум. К Елизавете же он явился лишь за тем, чтобы она, по милости своей, помогла ему исхлопотать прощение у его повелительницы, королевы Шотландской.

Уже эти слова ласкают слух истинной подстрекательницы. Но Елизавете все еще мало. Не для того она инсценировала комедию, чтобы Меррей в присутствии посланника принял на себя всю вину, а для того, чтобы, как главный свидетель, он удостоверил, что Елизавета знать ничего не знала о заговоре. Прожженный политик солжет — недорого возьмет, и Меррей клятвенно заверяет посланника, что Елизавета «ни сном, ни духом не ведала о заговоре, никогда она не наущала ни его, Меррея, ни его друзей нарушить свой верноподданнический долг и возмутиться против Ее Величества королевы».

Елизавета добилась своего алиби. Она полностью обелена. С чисто актерским пафосом напускается она на своего сценического партнера: «Вот когда ты сказал правду! Потому что ни я, ни кто другой от моего имени не подстрекал вас против вашей королевы. Такое предательство могло бы дурно кончиться и для меня. Ведь, наученные дурным примером, и мои подданные могли бы восстать против меня. А теперь с глаз моих долой, бунтовщик!»

Меррей низко склонил голову — уж не для того ли, чтобы скрыть мелькнувшую на губах улыбку? Он хорошо помнит, сколько десятков тысяч фунтов были всучены ему и другим лордам через их жен от имени королевы Английской, помнит письма и заверения Рандольфа и обещания государственной канцелярии. Но он знает: если он возьмет на себя роль козла отпущения, Елизавета не изгонит его в пустыню. Да и французский посол с выражением почтительности на лице хранит учтивое молчание; человек светский и образованный, он умеет ценить хорошую комедию. Лишь дома, у себя в кабинете, восседая за конторкой и строча донесение в Париж, позволит он себе лукавую усмешку. Не совсем легко на душе в эту минуту, пожалуй, только у Елизаветы; должно быть, ей не верится, что кто-нибудь ей поверит. Но по крайней мере ни одна душа не решится открыто высказать сомнение — видимость соблюдена, а кому нужна правда! Исполненная величия, шуриша пышными юбками, покидает она в молчании зал.

То, что Елизавета вынуждена прибегать к таким жалким уверткам, чтобы, потерпев поражение, обеспечить себе хотя

бы моральное отступление, — вернейшее свидетельство сегодняшнего могущества Марии Стюарт. Горделиво поднимает она голову — все устроилось по желанию ее сердца. Ее избранник носит корону. Восставшие бароны либо вернулись, либо преданы опале и блуждают где-то на чужбине. Звезды благоприятствуют ей, а если от нового союза родится наследник, сбудется ее заветная, великая мечта: Стюарт станет преемником объединенного престола Шотландии и Англии.

Звезды благоприятствуют ей, благословенная тишина наконец воцарилась в стране. Мария Стюарт могла бы теперь вздохнуть, вкусить завоеванное счастье. Но жить в вечной тревоге и порождать тревогу — закон ее неукротимой натуры. Тот, у кого своенравное сердце, не знает счастья и мира, идущих извне. Ибо в своем буйстве оно неустанно порождает все новые беды и неотвратимые опасности.

ГЛАВА VIII Роковая ночь в Холируде

9 марта 1566 года

Если чувство в самой поре, то такова уж его природа, что оно не рассчитывает и не скаредничает, не мешкает и не спрашивает; когда любит царственно щедрая натура, это полное самоотречение и саморасточение. Первые недели замужества у Марии Стюарт только и заботы, как излить свое благоволение на молодого супруга. Каждый день приносит Дарнлею новую нечаянную радость, то лошадь, то богатый наряд — сотни маленьких нежных даров любви, после того как она отдала ему самый большой — королевский титул и свое неумное сердце. «Чем только может женщина возвеличить мужчину, — сообщает английский посол в Лондон, — он взыскан в полной мере... Вся хвала, все награды и почести, какими она располагает, — все сложено к его ногам. На каждого она смотрит его глазами, да что говорить — даже волю свою она отдала ему». Верная своей неистойвой натуре, Мария Стюарт ничего не умеет делать наполовину, во все она вкладывает себя безоговорочно, целиком. Когда она дарит свою любовь, то уж без робости, без оглядки, очертя голову, в неудержимом порыве — дарить и дарить без

конца и меры. «Она во всем покорна его воле, — пишет дальше Рандольф, — он, вертит ею, как хочет». Страстная любовница, она вся растворяется в послушании, в смирении, переходящем в экстаз. Только безграничная гордость может в душе любящей женщины обратиться в столь безграничное смирение.

Однако великие дары лишь тому во благо, кто их достоин, для недостойного они опасны. Сильные характеры крепнут благодаря возросшей власти (поскольку власть — их естественная стихия), слабые же гибнут под бременем незаслуженного счастья. Успех пробуждает в них не скромность, а заносчивость, в каждом свалившемся с неба подарке видят они по детской наивности собственную заслугу. Как вскоре выясняется, опрометчивая и безудержная щедрость Марии Стюарт фатально растрачена на ограниченного, тщеславного мальчишку, которому приличнее бы иметь гувернера, чем повелевать королевой с большой душой и большим сердцем. Ибо стоило Дарнлею заметить, какую силу он приобрел, и он становится нагл и заносчив. Он принимает милости Марии Стюарт словно причитающуюся ему дань, а великий дар ее царственной любви — как неотъемлемую привилегию мужчины. Став ее господином, он считает, что вправе третировать ее. Ничтожная душонка, «heart of wax»¹, как позднее с презрением скажет о нем сама Мария Стюарт, избалованный мальчишка, ни в чем не знающий удержу, он напускает на себя важность и бесцеремонно вмешивается в государственные дела. По боку стишки и приятные манеры, они ему больше не нужны, он пытается командовать в коронном совете, кричит и говорит грубости, он бражничает в компании забулдыг, а когда королева как-то захотела увести его из этого недостойного общества, он грубо выругался, и, оскорбленная публично, она не могла сдержать слезы. Мария Стюарт даровала ему королевский титул — только титул, а он и вправду возомнил себя королем и настойчиво требует равной с ней власти — the matrimonial crown; безбородый девятнадцатилетний мальчишка притязает на то, чтобы править Шотландией, точно своей вотчиной. При этом каждому ясно: за вызывающей грубостью не кроется и тени мужества, за похвальбой — ни намек на твердую волю. Марии Стюарт не уйти от постыдного сознания, что

¹ Сердце из воска (англ.)

свое первое, прекраснейшее чувство она растратила зря, на неблагодарного балбеса. Слишком поздно, как это часто бывает, пожалела она, что не послушалась добрых советов.

А между тем нет для женщины большего унижения, нежели сознание, что она чересчур поспешно отдалась человеку, не стоящему ее любви; никогда настоящая женщина не простит этой вины ни себе, ни виновному. Но столь великая страсть двух любовников не может сразу смениться простой холодностью и бездушной учтивостью: раз воспламенившись, огонь продолжает тлеть и только меняет окраску; вместо того чтобы пылать любовью и страстью, он распространяет чад ненависти и презрения. Едва осознав ничтожество этого человека, Мария Стюарт, всегда неукротимая в своих порывах, сразу же лишает его своих милостей, делая это, быть может, резче и внезапнее, чем позволила бы себе женщина, более осмотрительная и расчетливая. Из одной крайности она впадает в другую. Одну за другой отнимает она у Дарнлея все привилегии, какие в первом увлечении страсти, не размышляя, без счета дарила ему. О подлинном совместном правлении, о matrimonial crown, которую она когда-то принесла шестнадцатилетнему Франциску II, теперь уже и речи нет. Дарнлей вскоре с гневом замечает, что его больше не зовут на заседания государственного совета; ему запрещают включить в свой герб королевские регалии. Низведенный на ампула принца-консорта, он уже играет при дворе не первую роль, о которой мечтал, а в лучшем случае роль оскорбленного резонера. Вскоре пренебрежительное отношение сообщается и придворным: его друг Давид Риччо больше не показывает ему важных государственных бумаг и, не спросив его, скрепляет письма железной печатью (iron stamp) с росчерком королевы; английский посол уже не титулует его «Величеством» и не далее как в сочельник, всего лишь полгода спустя после медового месяца, сообщает о «strange alterations»¹ при шотландском дворе. «Еще недавно здесь только и слышно было, что „король и королева“, а теперь его именуют „супругом королевы“. Дарнлей уже привык к тому, что в королевских рескриптах его имя стояло первым, а теперь ему приходится удовлетворяться вторым местом. Были уже вычеканены монеты с двойным изображением: „Henricus et Maria“, но их тут же изъяли

¹ Удивительных перемен (англ.).

из обращения и заменили новыми. Между супругами чувствуется какое-то охлаждение, но поколе это лишь *amantium irae*¹ или, как говорят в народе, *household words*², этому не надо придавать значения, лишь бы дело не пошло дальше».

Но оно пошло дальше! К тем горьким обидам, какие картонный король вынужден терпеть при собственном дворе, присоединяется тайная и наиболее чувствительная — обида оскорбленного мужа. Что в политике не обойдешься без лжи, к этому Мария Стюарт притерпелась за долгие годы. Не то в сфере чувства: ее глубоко честной натуре несвойственно притворство. Едва лишь ей становится ясно, как она продешевила свое чувство, свою страсть, едва лишь из-за вымышленного Дарнлея поры жениховства выступает недалекий, тщеславный, наглый и неблагодарный юнец, как физическое тяготение сменяется гадливостью. Охладев к этому человеку, она не выносит больше его физической близости.

Как только королева замечает, что беременна, она под всевозможными предлогами уклоняется от супружеских объятий. То она больна, то устала, вечно у нее находятся отговорки, чтобы отделаться от него. И если в первые месяцы их супружества (разгневанный Дарнлей сам разоблачает эти интимные подробности) именно она была требовательна в своей страсти, то теперь она оскорбляет его частыми отказами. Так что и в самой интимной сфере, в которой ему сперва удалось завоевать эту женщину, Дарнлей чувствует себя — и это наиболее глубокая, потому что наиболее болезненная обида, — обездоленным и отвергнутым.

У Дарнлея не хватает душевной выдержки, чтобы скрыть свое поражение. Глупо и тупо плачется он всем и каждому на свою отставку, он ропщет и вопит, бьет себя в грудь и клянется, что месть его будет ужасна. Но чем громогласнее трубит он о своей обиде, тем нелепее звучат его угрозы; проходит несколько месяцев, и, невзирая на королевский титул, недавний кумир низведен в глазах придворных на роль скучного, озлобленного приживальщика, от которого каждый норовит отвернуться. Никто уже не гнет перед ним спину — какое там, все смеются, когда

¹ Ссоры влюбленных (*лат.*).

² Семейные дрязги (*англ.*).

этот *Henricus, Rex Scotiae*¹ чего-нибудь желает, или просит, или требует. Но даже ненависть не так страшна для властителя, как всеобщее презрение.

Жестокое разочарование, постигшее Марию Стюарт в ее втором браке, помимо чисто человеческой, имеет еще и политическую сторону. Она надеялась, опираясь на молодого, преданного ей душой и телом супруга, избавиться наконец от опеки Меррея, Мэйтленда и баронов. Но вместе с медовым месяцем миновали и эти иллюзии. Ради Дарнлея оттолкнула она Меррея и Мэйтленда и теперь более чем когда-либо чувствует себя одинокой. Как бы ни было велико постигшее ее разочарование, Мария Стюарт с ее открытой душой должна кому-нибудь верить; неустанно ищет она помощника не за страх, а за совесть, на которого можно было бы целиком положиться. Лучше уж приблизить к себе человека низкого происхождения, пусть у него не будет представительности Меррея или Мэйтленда, лишь бы он обладал достоинствами, куда более драгоценными при шотландском дворе, неотъемлемыми достоинствами всякого доброго слуги — безусловной преданностью и надежностью.

Случай привел к ней такого человека. Маркиз Моретта, Савойский посол, привез в Шотландию среди своей многочисленной свиты молодого смуглого пьемонтца (*in visage wery black*) Давида Риччо, лет двадцати восьми, черноглазого, с румяными губами, весьма искусного певца (*particolarmente era buon musico*). Как известно, поэты и музыканты — самые желанные гости при романтическом дворе Марии Стюарт. От матери и отца унаследовала она горячую любовь к изящным искусствам, и ничто так не утешает и не радует молодую королеву в ее сумрачном окружении, как возможность послушать прекрасное пение, насладиться звуками скрипки или лютни. В то время придворной капелле как раз требовался бас, и, поскольку синьор Дейви (как именовали итальянца в кругу друзей) не только хорошо пел, но и умел перекладывать стихи на музыку, королева попросила посла отдать ей своего «*buon musico*» в личное услужение. Моретта не возражал, да и

¹ Генрих, король Шотландский (*лат.*).

Риччо улыбалось место, обещавшее шестьдесят пять фунтов в год. То, что его провели по книгам как «Dawid le chantre»¹ и зачислили камердинером по штату придворной челяди, нисколько не принижает его — вплоть до самых времен Бетховена музыканты, будь то даже полубоги, занимают при княжеских дворах положение челядинцев. Еще Вольфганг Амадей Моцарт и седовласый Гайдн, хоть слава их гремит по всей Европе, едят не за княжым столом вместе с дворянством и высшей знатью, а на голых досках, с конюшими и камеристками.

Однако у Риччо не только сладкозвучный голос, но и прекрасная голова, ясный, живой ум и тонкий вкус. Латынь он знает не хуже, чем английский и французский, к тому же у него пребойкое перо — один из сохранившихся его сонетов свидетельствует о подлинном поэтическом даровании и чувстве формы. Вскоре Риччо представляется случай покинуть лакейскую. Доверенный секретарь королевы Роле не проявил должной стойкости в отношении свирепствующей при шотландском дворе эпидемии — английского подкупа. Пришлось весьма поспешно с ним расстаться. И вот на опустевшее место в кабинете королевы пролезает расторопный Риччо, с этой минуты он быстро поднимается по чиновной лестнице. Из обыкновенного писца он становится доверенным лицом королевы. Мария Стюарт уже не диктует пьемонтду-секретарю свои письма, он набрасывает их сам, по своему усмотрению. Спустя несколько недель его влияние дает себя знать в шотландских делах. Скоропалительный союз с католиком Дарнлему — в значительной мере его детище, а ту необычайную твердость, с какой королева отказывается помиловать Меррея и других бунтовщиков, опальные вельможи не зря относят за счет его интриг. Был ли Риччо агентом папы при шотландском дворе, сказать трудно. Возможно, это только подозрение, но, горячий приверженец католичества и папы, он все же с большей преданностью служит Марии Стюарт, чем ей когда-либо служили в Шотландии. А настоящую преданность Мария Стюарт умеет ценить. Тот на чью верность она может рассчитывать, вправе рассчитывать на ее милости. Открыто, слишком открыто поощряет она Риччо, дарит ему дорогое платье, доверяет королевскую печать и государственные тайны. Прошло так мало време-

¹ Певца Давида (франц.)

ни, а Давид Риччо уже один из первых вельмож; нимало не смущаясь, садится он за стол вместе с королевой и ее подругами; как в свое время Шателляр (зловещее родство судеб!), в качестве доброхотного *maître de plaisir*, министра пиров и увеселений, он помогает устраивать при дворе концерты и другие изящные развлечения, все больше из слуги превращаясь в друга. На зависть придворной челяди, низкорощенный иноземец засиживается в покоях королевы до глубокой ночи, беседуя с нею с глазу на глаз; одетый по-княжески, недоступно надменный, он поставлен очень высоко, а давно ли нищим проходимцем в потертой лакейской ливрее явился ко двору — только что песни петь горазд! Теперь же ни одно дело в Шотландии не делается без его ведома и спроса. Но и вознесенный над всеми, Риччо остается преданнейшим слугою своей госпожи.

Есть у нее и второй надежный столп ее самостоятельности — не только политическая, но и военная власть отдана ею в верные руки. Опорой ей и на этот раз становится новое лицо — лорд Босуэл; протестант, он уже в юности отстаивал интересы ее матери, Марии де Гиз, против протестантской конгрегации и от гнева Меррея бежал из Шотландии. После падения своего смертельного врага он вернулся и отдал себя и своих приверженцев в распоряжение королевы, а это нешуточная сила. Безоглядно смелый, готовый на любое приключение рубака, железный воин, равно горячий в ненависти и любви, Босуэл ведет за собою своих *dorderers* — пограничников. Да он и сам по себе представляет несокрушимую армию. Благодарная Мария Стюарт дает ему звание генерал-адмирала, зная, что он схватится с любым врагом, чтобы защитить ее и ее право на престол.

Опираясь на этих верных паладинов, двадцатитрехлетняя Мария Стюарт может крепко натянуть поводья власти — политической и военной. Наконец-то она рискует править одна против всех — нет такого риска, на который не отважилась бы эта безрассудная душа.

Но всякий раз, как монарх в Шотландии захочет править единовластно, лорды встают на дыбы. Ничто так не ненавистно этим строптивым послушникам, как королева, которая не заискивает и не трепещет перед ними. Из Англии рвутся домой Меррей и другие опальные вельможи. Они роют подкопы и подкладывают мины, в том числе серебряные и золотые, но Мария Стюарт проявляет неожидан-

ную твердость, и гнев дворян обрушивается на временщика Риччо: тайный ропот и возмущение распространяются по замкам. С негодованием чувят протестанты, что в Холируде плетется тончайшая сеть дипломатических интриг макиавеллиевской чеканки. Они не столько знают, сколько догадываются, что Шотландия включилась в обширный тайный заговор контрреформации; быть может, Мария Стюарт уже заодно с католическим союзом и связала себя какими-то обязательствами. Первым в ответе за это чужак Риччо, проходимец, которого так жалует королева, а между тем у него при дворе не найдется ни одного доброжелателя. Поистине удивительно, как умных людей всегда подводит собственное неразумие. Вместо того чтобы скрывать свою силу, Риччо — вечная ошибка царских любимцев — тщеславно выставляет ее напоказ. Но едва ли не больше всего страдает самолюбие у гордых вельмож, когда они видят, как прощельга лакей, приبلудный шарманщик без роду и племени, проводит долгие часы в покоях государыни рядом с ее опочивальней, улаживая сердце задушевной беседой. Все больше терзает их подозрение, что эти тайные беседы клонятся к тому, чтобы с корнем вырвать реформацию и утвердить в стране католицизм. И дабы своевременно расстроить эти гнусные замыслы, несколько протестантских лордов вступают в тайный сговор.

Веками повелось, что шотландское дворянство знает одно только средство для расправы с неугодным противником — убийство. Лишь когда паук, ткущий невидимую паутину, будет раздавлен, когда увертливый, неуязвимый итальянский искатель приключений будет убран с дороги, только тогда удастся им вновь захватить дубинку и Мария Стюарт станет сговорчивей. План извести Риччо, видимо довольно рано засел в голове у шотландской знати за много месяцев до убийства английский посол сообщает в Лондон «Либо господь приберет его до времени, либо им уготовит ад на земле». Но заговорщики долго не решаются выступить открыто. У них еще поджилки дрожат при мысли, как быстро и решительно пресекла Мария Стюарт их недавний бунт, им вовсе не улыбается разделить участь Меррея и прочих эмигрантов. Не меньше страшатся они железной руки Босуэда, зная, как он скор на расправу, и понимая, что надменный временщик не унижится до того, чтобы вступить с ними в тайный сговор. Поэтому они только ворчат да стискивают кулаки в кармане, пока у

кого-то не возникает план — поистине дьявольская выдумка — изобразить убийство Риччо не актом крамолы, а, наоборот, вполне законным и истинно патриотическим деянием, для чего воспользоваться Дарнлеем как прикрытием, поставив его во главе заговора. На первый взгляд нелепая затея! Властитель королевства в заговоре против собственной супруги, король против королевы! Но психологически она вполне оправдана, ибо сильнейшим стимулом у Дарнлея, как у всякого слабого человека, является неудовлетворенное тщеславие. Да и Риччо слишком вознесся, чтобы отвергнутый Дарнлей не кипел злобой и ненавистью на своего бывшего приятеля. Приблудный бродяга ведет дипломатические переговоры, о которых он, *Henricus, Rex Scotiae*, даже не ставится в известность; до часу, до двух ночи просиживает у королевы, отнимая у супруга его законные часы, и власть фаворита прибывает со дня на день, в то время как его собственная власть на глазах у всего двора с каждым днем идет на убыль. Нежелание Марии Стюарт сделать его своим соправителем, передать ему *matrimonial crown*, Дарнлей, быть может, и справедливо, приписывает влиянию Риччо, а ведь одного этого достаточно, чтобы разжечь ненависть в обиженном человеке, не отличающемся особым душевным благородством. Но бароны подливают еще злейшего яду в отверстие раны его тщеславия, они растравливают в Дарнлее самое чувствительное место — его мужскую честь. Они пробуждают в нем ревность, всячески давая понять, что Риччо делит с королевой не только трапезы, но и ложе. И хотя доказательств у них нет, Дарнлей тем легче клюет на эту наживку, что Мария Стюарт последнее время то и дело уклоняется от выполнения супружеского долга. Неужто — жестокая мысль! — она предпочла ему этого чумазого музыканта? Оскорбленное честолюбие, у которого не хватает мужества для открытых, членораздельных обвинений, легко склонить к подозрительности: человек, который себе не верит, не станет верить и другим. Лордам не приходится долго подзуживать Дарнлея, чтобы довести его до исступления и безумия. Вскоре Дарнлей уже не сомневается, что «ему причинена злейшая обида, какую можно нанести мужчине». Так невозможное становится фактом: король соглашается возглавить заговор, обращенный против королевы, его супруги.

Был ли черномазый музыкант Риччо действительно любовником королевы, так и осталось и навсегда останется загадкой. Но то открытое благоволение, которым Мария Стюарт дарит своего доверенного писца на глазах у всего двора, скорее красноречиво опровергает это подозрение. Если даже допустить, что духовная близость женщины и мужчины отделена от физической лишь незаметной чертой, которую иная взволнованная минута или неосторожное движение могут легко стереть, то все же Мария Стюарт, уже носящая под сердцем ребенка, так уверенно и беззаботно отдается дружбе с Риччо, что трудно счесть это искусной личиной неверной жены. Находясь она со своим секретарем в предосудительной связи, для нее было бы естественно избегать всего, что наводит на подозрение: не засиживаться с итальянцем до утра за музыкой или за картами, не запирается с ним в своем рабочем кабинете для составления дипломатических депеш. Но и здесь, как в случае с Шателяром, Марию Стюарт подводят как раз наиболее располагающие ее черты — презрение к пересудам, поистине царственное нежелание считаться с наговорами и сплетнями, искренняя непосредственность. Опрометчивость и мужество обычно соединены в одном характере, подобно добродетели и наивности, являя две стороны одной медали; только трусы и сомневающиеся в себе трепещут даже подобия вины и поступают осторожно и расчетливо.

Но стоит кому-нибудь пустить молву о женщине, хотя бы самую нелепую и вздорную, как ее уже не удержишь. Переносясь из уст в уста, она ширится и растет, раздуваемая ветром любопытства. Целых полвека спустя клевету эту подхватит Генрих IV в насмешку над Иаковом VI, сыном Марии Стюарт, которого она тогда носила во чреве, он скажет: «Правильнее бы ему называться Соломоном, ведь он тоже „Давидов сын“». Так репутация Марии Стюарт вторично терпит тяжкий ущерб, и опять не по вине ее, а исключительно по опрометчивости.

Заговорщики, натравливавшие Дарнлея, сами не верили в свою выдумку — это явствует уже из того, что два года спустя они торжественно провозгласят мнимого бастарда королем. Вряд ли стали бы надменные лорды присягать на верность незаконному отпрыску заезжего музыканта. Ослепленные ненавистью обманщики и тогда уже знали правду, и клеветают они лишь затем, чтобы пуше растравить

в Дарнлее обиду. А он уже и без того не владеет собой; у него уже и без того какой-то ералаш в голове из-за вечно грызущего чувства неполноценности — и вспыхнувшее подозрение его ослепляет: огненной волной накатила ярость, как бык, устремился он на красный лоскут, которым размахивали у него перед носом, и, унося его на себе, ринулся в расставленную западню. Не задумываясь, дает он себя вовлечь в заговор против собственной жены. Проходит день-другой, и Дарнлей больше всех жаждет крови Риччо, своего бывшего друга, с которым он делил хлеб и постель, да и короной он в немалой степени обязан приبلудному итальянскому музыкантишке.

Политическое убийство у шотландской знати готовится обстоятельно, как некое долгожданное торжество. Никакой спешки и горячности под впечатлением минуты: партнеры заранее обмениваются письменными обязательствами — на честь и совесть здесь надежды плохи, для этого они слишком хорошо знают друг друга, — скрепляя их по всей форме подписью и печатью, словно это не рыцарское дело, а нотариальный акт. При всех таких злодейских начинаниях, словно при торговой сделке, пишется на пергаменте контракт, так называемый «*cowepant*» или «*bond*», в котором вельможные бандиты клянутся в верности друг другу на горе и на радость, ибо только скопом, только как банда или клан дерзают они подняться на своих властителей. На сей раз, впервые в истории Шотландии, заговорщики удостоились невиданной чести на их «бондах» стоит подпись короля. Между Дарнлеем и лордами заключены два честных, добропорядочных контракта, в коих отставленный король и обойденные бароны обязуются отнять у Марии Стюарт власть. В первом «бонде» Дарнлей, при любом исходе, гарантирует заговорщикам полную безнаказанность (*shaitless*), обещая лично ходатайствовать за них и защищать их перед самой королевой. Далее, он изъявляет согласие на возвращение изгнанных лордов и на отпущение им всех повинностей (*faults*), как только он получит королевскую власть, ту самую *matrimonial crown*, в которой Мария Стюарт так упорно ему отказывала; кроме того, он обязуется оберегать «кирку» от малейших посягательств. В свою очередь заговорщики обещают во втором «бонде», или, как выража-

ются коммерсанты, во взаимном обязательстве, признать за Дарнлеем всю полноту власти — более того, в случае смерти королевы (из дальнейшего видно, что не наобум предусмотрели они эту возможность) сохранить за ним власть. Но за ясными, казалось бы, словами сквозит нечто, что не доходит до ушей Дарнлея — а вот английский посол слышит то, что в тексте, и то, что за текстом, — намерение вообще избавиться от Марии Стюарт и с помощью «несчастливого случая» обезвредить королеву заодно с ее итальянцем.

Еще не просохли все подписи под позорной сделкой, а в Англию уже скачут гонцы оповестить Меррея, чтоб готовился к воавращению. Да и английский посол, играющий в заговоре не последнюю роль, торопится предупредить Елизавету о кровавом сюрпризе, ожидающем соседнюю королеву «Мне доподлинно известно, — писал он уже тринадцатого февраля, а значит, задолго до убийства, — что королева сожалеет о своем замужестве и ненавидит как *ego*, так и все их племя. Известно мне также, что он подозревает, будто кто-то охотится в его владениях (*partaker in play and game*), и у них с отцом состряпан некий комплот — они намерены захватить власть против ее воли. Известно мне, что, ежели все у них сойдет успешно, Давиду не далее как на той неделе перережут глотку». Но соглядатай Елизаветы, по всему видно, посвящен и в более сокровенные помыслы заговорщиков. «Дошли до меня слухи и о делах более страшных, будто покушение готовится и против нее самой». Письмо показывает со всей достоверностью, что заговор ставил себе куда более обширные цели, чем сочли нужным рассказать дурачку Дарнлею его сообщники, что меч, занесенный якобы над одним только Риччо, метит и в Марию Стюарт и жизни ее угрожает, пожалуй, не меньшая опасность, чем жизни ее секретаря. Бесноватый Дарнлей — ибо никто не превзойдет лютостью труса, почувствовавшего за собой какую-то силу, — жаждет особенно изощренной мести человеку, похитившему у него государственную печать и доверие его супруги. Для посрамления непокорной он требует, чтобы казнь свершилась у нее на глазах — бредовая идея труса, который надеется «примерным наказанием» сломить строптивый дух послушницы и зрелищем зверского насилия усмирить женщину, его презирающую. По личному желанию короля решено и в самом деле

произвести расправу в покоях беременной женщины, назначив 9 марта, как наиболее подходящий день: гнусность исполнения должна превзойти даже низость замысла.

В то время как Елизавета и ее министры посвящены во все подробности заговора (она, однако, забывает остеречь «сестрицу»), в то время как Меррей держит на границе оседланных лошадей, а Джон Нокс готовит проповедь, где прославляет свершившееся убийство как деяние, «заслуживающее всяческой хвалы» («most worthy of all praise»), всеми преданная Мария Стюарт и не подозревает о готовящемся покушении. Как раз за последние дни Дарнлей (предательство вдвойне презренно своим притворством) на удивление кроток, и ничто не предвещает ей ночи ужасов и роковых предопределений на долгие, долгие годы, — ночи, которая наступит вслед за гаснущим вечером девятого марта. Риччо, правда, получил остережение, писанное незнакомой рукой, но не обратил на него внимания, так как, желая усыпить его недоверие, Дарнлей после обеда предложил ему партию в мяч; весело и беспечно откликается итальянец на зов своего бывшего доброго друга.

Тем временем спустился вечер. Мария Стюарт, как всегда, распорядилась сервировать ужин в малой башенной комнате, смежной с ее опочивальней, во втором этаже, это небольшое помещение, где собираются только самые близкие. Вот они расположились в тесной привычной компании несколько дворян и сводная сестра Марии Стюарт, окружая тяжелый дубовый стол, освещенный свечами в серебряных жирандолях. Против королевы, богато разодетый, словно знатный вельможа, сидит Давид Риччо в шляпе à la mode de France¹ в узорчатом кафтане с меховой опушкой, он острит и развлекает общество, а после ужина они немного помузицируют или еще как-нибудь с приятностью проведут время. Поначалу никого не удивляет, что занавес, скрывающий вход в королевскую опочивальню, отдергивается и входит Дарнлей, король и муж, все встают, редкому гостю освобождают место за тесным столом, рядом с его супругой, он осторожно обнимает ее и запечатлевает на ее губах иудин поцелуй. Оживленная

¹ По французской моде (франц.).

беседа не смолкла, ласково, радушно бренчат тарелки, позванивают стаканы.

И тут снова поднимается занавес. Но теперь все вскакивают в удивлении, в досаде, испуге: на пороге, в полном вооружении, застыв, словно черный ангел, стоит с обнаженным мечом в руке один из заговорщиков, лорд Патрик Рутвен, которого все боятся и считают чернокнижником. Сегодня его бледное лицо кажется восковым; хворый, в горячке, встал он с одра болезни, чтобы не упустить столь славного дела. Неумолимо оглядывают всех его налитые кровью глаза. Охваченная недобрым предчувствием, королева — ибо никому, кроме ее мужа, не разрешено пользоваться потайной витой лесенкой, что ведет в опочивальню, — грозно спрашивает, кто позволил ему войти без доклада. Хладнокровно и сдержанно возражает Рутвен, что ни ей, ни кому другому нечего опасаться. Он явился сюда только ради «yonder poltroon David»¹.

Риччо бледнеет под своей роскошной шляпой и конвульсивно хватается за стол. Он понял, что его ждет. Только его госпожа, только Мария Стюарт может его спасти, король не делает и попытки указать наглицу на дверь, а сидит, безучастный и смущенный, как будто это его не касается. И Мария Стюарт действительно заступает за него. Она спрашивает, в чем обвиняют Риччо, какое он совершил преступление.

Рутвен только презрительно пожимает плечами.

— Спросите у вашего мужа. Ask your husband.

Мария Стюарт невольно поворачивается к Дарнлею. Но в решительную минуту это ничтожество, которое уже неделями только и делает, что призывает к убийству, сразу съеживается. Он не решается открыто и прямо присоединиться к своим сотоварищам.

— Ничего я не знаю, — мямлит он смущенно и прячет глаза.

Но из-за занавеса снова доносятся гулкие шаги и бряцание оружия. Заговорщики гуськом поднялись по тесной лестнице, и теперь их латы железной стеной преграждают Риччо выход. Бежать невозможно. И Мария Стюарт пускается в переговоры, чтобы выручить верного слугу. Если Давид в чем виноват, она сама призовет его на суд и он ответит перед дворянами в парламенте, а сейчас, приказы-

¹ Того труса — Давида (англ.).

вает она, пусть Рутвен и прочие очистят ее покои. Но бунтовщики не внемлют. Рутвен двинулся к помертвевшему Риччо, чтобы схватить его, но тут кто-то накинул на итальянца петлю и потащил его к выходу. В начавшейся суматохе повалился стол и угасли свечи. Слабосильный, безоружный Риччо, никакой не герой и не воин, вцепился в платье королевы, пронзительно звучит в общей суматохе его истошный, дикий вопль.

— *Madonna, io sono morto, giustizia, giustizia!*¹

Кто-то из заговорщиков поднимает пистолет и наводит на королеву, и он, конечно, спустил бы курок, как предусматривалось заранее, если бы его не толкнул под руку сосед, а Дарнлей, обхватив руками отяжелевшее тело беременной женщины, держит ее, пока остальные тащат из комнаты дико визжащую и отчаянно сопротивляющуюся жертву. Последний раз, когда его тащат волоком через спальню королевы, делает Риччо попытку схватиться за ножку кровати, и Мария Стюарт издали слышит его крики о помощи; но тут ему безжалостно обрубают пальцы и тащат в соседнюю парадную палату. Там они, озверев наваливаются на него. Предполагалось будто бы только взять секретаря под стражу и на следующий день всенародно повесить на рыночной площади. Но заговорщики обезумели от возбуждения. Взапуски набрасываются они на беззащитное тело, снова и снова колют его кинжалами, пролитая кровь ударила им в голову, не помня себя от ярости, они и друг другу наносят раны. Весь пол в ручьях крови, а они все не унимаются. И только когда судорожно бьющееся, истекающее кровью из пятидесяти с лишним ран тело совсем затихает и последнее дыхание жизни уходит из него, они отваливаются от своей жертвы. Истерзанной жуткой грудой мяса выбрасывают они из окна во двор труп того, кто был верным другом Марии Стюарт.

В неистовстве ловит Мария Стюарт каждый предсмертный вопль преданного слуги. Она не в состоянии оторвать неповоротливое тело от ненавистного мужа, который держит ее в железных тисках, но всеми силами неукротимой души восстает она против неслыханного унижения, которое собственные же подданные нанесли ей в ее доме

¹ Мадонна, умираю, справедливости, справедливости! (*итал.*).

Дарнлей может стиснуть ей руки, но не зажать рот. Задыхаясь в безрассудной ярости, она выплевывает ему в лицо всю свою смертельную ненависть. Изменником называет она его и сыном изменника и казнит себя за то, что такое ничтожество возвела на трон: если до сих пор в этой женской душе жила только смутная антипатия к мужу, то теперь это чувство крепнет и кристаллизуется в непреходящее, неугасимое презрение. Тщетно старается Дарнлей перед ней оправдаться. Он осыпает ее упреками: сколько раз за эти месяцы она не подпускала его к себе, да она этому чужаку Риччо уделяла куда больше времени, чем ему, своему супругу. Но в Рутвена, который входит в комнату и, обессиленный кровавой работой, в изнеможении падает на стул, не шадит Мария Стюарт, она угрожает ему великими опалами! Будь Дарнлей способен читать в ее взоре, он ужаснулся бы убийственной ненависти, которая неприкрыто в нем пылает. Да, будь он хоть немного прозорливее и умнее, он должен был бы почуять всю опасность ее клятвы, что она не считает его больше своим мужем и не даст себе ни сна, ни покоя, пока он не узнает таких же страданий, какие рвут ее сердце на части. Но нет, Дарнлей способен лишь на мизерные, плоские чувства и побуждения, он не в силах понять, как смертельно ранена ее гордость, он и не подозревает, что она в этот миг произнесла ему приговор. Дряблая душонка, мелкий изменник, позволяющий каждому водить себя за нос, он воображает, что теперь, когда эта обессиленная женщина умолкла и как будто безвольно дает увести себя в опочивальню, ее гордый дух окончательно сломлен и она снова ему покорится. Но скоро он узнает, что ненависть, умеющая молчать, во сто крат опаснее, чем самые неистовые речи, и что тот, кто смертельно оскорбит эту неукротимую женщину, сам себя обречет смерти.

Крики итальянца о помощи, звон оружия в королевских покоях всполошили весь замок: с обнаженными мечами выскакивают из своих спален верные слуги королевы — Босуэл и Хантлей. Но заговорщики и это предусмотрели: Холируд со всех сторон окружили их вооруженные слуги, они сторожат подступы к замку, чтобы никто из города не подоспел на выручку королевы. Босуэлу и Хантлею не остается ничего другого — столько же для спасения своей жизни, сколько и для того, чтобы вызвать подмогу, — как выскочить в окно. Когда они прискакали с тревожной

вестью, что жизнь королевы в опасности, городской профос приказал бить набат и встревоженные горожане поспешили за городские ворота, стремясь увидеть свою королеву и говорить с ней. Но вместо королевы к ним выходит Дарнлей и ложно заверяет их, будто ничего не случилось. просто в замке пойман шпион, намеревавшийся ввести в страну испанские войска, но с ним удалось расправиться. Профос, конечно, не смеет усомниться в королевском слове; притихнув, расходятся честные горожане по домам, а между тем Мария Стюарт, которая тщетно рвалась передать весточку своим верным, надежно заперта у себя в опочивальне. Ни придворным дамам, ни горничным и камеристкам нет доступа к королеве, у всех дверей и ворот замка выставлен тройной караул: впервые в жизни в эту ночь Мария Стюарт из королевы превращается в пленницу. Заговор удался. Во дворе замка валяется в луже крови истерзанный труп ее лучшего слуги, камарилью ее врагов возглавляет король Шотландии в чаянии завладеть обещанной короной, тогда как сама она не вправе переступить порог своей опочивальни. В мгновение ока сброшена она с головокружительной высоты, бессильная, всеми покинутая, без помощников и друзей, окруженная ненавистью и насмешкой. Казалось, все рухнуло для нее в эту страшную ночь. Но под молотом судьбы только крепнет и закаляется пламенное сердце. Всегда и неизменно, когда на карту поставлена ее свобода, ее честь и корона, Мария Стюарт в себе обретает больше сил, чем нашлось бы у всех ее помощников и слуг вместе взятых.

ГЛАВА IX

Преданные предатели

С марта по июнь 1566 года

Опасность всегда благотворна для Марии Стюарт как личности. Лишь в самые трудные минуты, требующие величайшей внутренней собранности, становится ясно, какие незаурядные дарования кроются в этой женщине: нерассуждающая железная решимость, быстрый живой ум, схватывающий все налету, неукротимая, можно сказать, геройская отвага. Но для того, чтобы эти силы выиграли, должны быть потревожены глубинные залежи, таящиеся в этой богатой натуре. Только тогда ее способности, рассу-

панье с детской беспечностью, сгустятся в несокрушимую энергию. Кто хочет согнуть эту женщину, лишь помогает ей выпрямиться во весь рост. Любой удар судьбы, если смотреть вглубь, ей на пользу, как нечаянное богатство, как бесценный подарок.

Эта ночь ее первого унижения меняет в корне характер Марии Стюарт, меняет навсегда. В горниле жестоких испытаний, когда ее слишком беспечная доверчивость была обманута одновременно мужем, братом, друзьями и подданными, эта женственная, мягкая натура приобретает твердость стали и вместе с тем упругую податливость хорошо откованного на огне металла. Но как добрый меч двуостр, так и душа ее двулика со страшной ночи, положившей начало всем невздам. Великая кровавая трагедия началась.

Только мысль о возмездии владеет королевой, когда, запертая в своей спальне, узница вероломных подданных, она мечется из угла в угол, перебирая и взвешивая в уме все одно и то же: как ей прорвать кольцо своих врагов, как отомстить за кровь верного слуги, которая еще теплыми каплями стекает в щели пола, как обуздать, поставить на колени или перед плахой тех, кто святотатственно поднял руку на нее, помазанницу божью. Рыцарственная воительница, жестоко потерпев от людской неправды, она теперь считает, что против врагов все средства дозволены и хороши. С ней происходит превращение: неосторожная, она становится осторожной, скрытной; слишком честная по натуре, чтобы сказать неправду, она учится притворяться и хитрить, всегда справедливая и прямая с людьми, она теперь приложит все свои незаурядные способности, чтобы обратить против врагов их собственные козни. Бывает, что за день человек выучится тому, чему его не научили месяцы и годы; именно такой суровый урок преподан ей сегодня на всю жизнь; кинжалы заговорщиков прикончили на ее глазах не только верного слугу Риччо, они убили беззаботную доверчивость и непосредственность ее души. Какая ошибка — довериться предателям, быть честной с лжецами, какая непростительная глупость — открыть свое сердце тем, кто вовсе лишен сердца! Нет, притворяться, скрывать свои чувства, хоронить злобу, уверять в любви тех, кого возненавидел на век, и, затаив ненависть, ждать часа, когда удастся отомстить за убитого друга, — часа возмездия! Все силы приложить к тому, чтобы скрыть

собственные помыслы и усыпить подозрения врагов, пока еще опьяненных победой; лучше на день, на два притворно смириться перед негодяями, чтобы потом окончательно их усмирить! За такое чудовищное предательство можно отплатить лишь предательством, но только еще более смелым, дерзостным, циничным.

Во внезапном озарении, какое ввиду смертельной опасности подчас нисходит даже на беззаботные и вялые души, составляет Мария Стюарт свой план. Доколе Дарнлей держит руку заговорщиков, ее положение безвыходно, это ясно ей с первого взгляда. Только одно может ее спасти: пока еще не поздно, расколоть блок заговорщиков, вбить в него клин. Если цепь, стягивающую ей шею, нельзя разорвать махом, значит надо исхитриться перепилить ее в самом слабом звене: пусть один из предателей предаст остальных. А кто среди жестковейных мятежников самый малодушный, ей слишком хорошо известно: конечно же, Дарнлей, *heart of wax*, восковое сердце, которое любая сильная рука лепит по своему произволу.

Первый же ход Марии Стюарт мастерски задуман и психологически верен. Она объявляет, что чувствует приближение схваток Волнения прошедшей ночи, зверское убийство, совершенное на глазах у женщины на пятом месяце беременности, с полным основанием подсказывали возможность преждевременных родов. Мария Стюарт делает вид, будто ей очень плохо, и ложится в постель — никто не посмеет с риском навлечь на себя обвинение в чудовищном бессердечии отказать страждущей в уходе ее камеристок и врача. А это, собственно, все, что ей покамест нужно, ее строгое заключение теперь нарушено. Наконец-то у нее появляется возможность послать с надежной служанкой весточку Босуэлу и Хантлею и все подготовить к задуманному побегу. Более того, угроза преждевременных родов поставила как заговорщиков, так и в особенности Дарнлея в крайне затруднительное положение. Ведь дитя, которое она носит под сердцем, — наследный принц Шотландии, наследный принц Англии; какая ответственность падет на голову отца-садиста, который для удовлетворения своей личной мести повелел убийству совершиться на глазах у беременной женщины, тем самым убив и младенца в ее чреве. Теряя голову от страха, спешит Дарнлей в опочивальню королевы

И тут разыгрывается совершенно шекспировская по масштабам сцена, своей блистательной смелостью идущая в сравнение разве лишь с той, где Ричард III перед гробом убитого им супруга домогается любви его вдовы — и в том преуспевает. И здесь непогребенное тело все еще лежит на земле, и здесь убийца и соучастник убийц стоит перед жертвой, которую он подло, бесчеловечно предал, и здесь искусное притворство извергает каскады дьявольского красноречия. Никто не присутствовал при этой сцене; известны лишь ее начало и исход. Дарнлей направляется к жене, которую он вчера нещадно унизил и которая в первом неподдельном возмущении поклялась ему в такой же беспощадной мести. Как Кримгильда над трупом Зигфрида, она еще вчера потрясала стиснутыми кулаками, грозя врагам расправой, но, так же как Кримгильда, научилась за одну эту ночь скрывать свой гнев. Сегодня Дарнлей не находит вчерашней Марии Стюарт, этой гордо восстающей противницы и мстительницы, перед ним лишь бедная, сломленная женщина, смертельно усталая, больная, с робкой нежностью взирающая на него, своего неумолимого тирана мужа, который показал ей, чего он стоит. Тщеславный глупец уже мнит себя победителем, ведь он достиг всего, о чем только смел мечтать: наконец-то Мария Стюарт снова у его ног. Едва почувствовав его железную руку, она, гордая, надменная, покорилась. Стоило ему убрать этого итальянского проходимца, как она вновь готова служить своему истинному господину и повелителю.

Человека умного и рассудительного такое внезапное превращение, верно, заставило б насторожиться. У него бы не отзвучал еще в ушах пронзительный крик этой женщины, которая только вчера, сверкая глазами, как смертоносной сталью, называла его предателем и сыном предателя. Он вспомнил бы, что гордая дочь Стюартов не прощает оскорблений и не забывает обид. Но, как все тщеславные люди, упивающиеся лестью, Дарнлей легковверен, и, как у всякого глупца, у него короткая память. К тому же — о, каверзная судьба! — из всех мужчин, когда-либо любивших Марию Стюарт, он особенно жадно к ней вожделеет; с какой-то собачьей преданностью льнет чувственный юноша к ее телу, ибо ничто так не раздражало и не оскорбляло его все это время, как пренебрежение, с каким она столь явно уклонялась от его объятий.

И вдруг — о, неслыханное чудо! — желанная любовница снова в его власти. Пусть он не уходит, пусть останется с ней этой ночью, молит строптивница, — и миг он растаял, он снова нежен и покорен, ее слуга, ее верный холоп. Никто не знает, какой прельстительной ложью свершила Мария Стюарт это чудесное превращение. Не прошло и двадцати четырех часов после убийства, а Дарнлей, обманувший ее вместе с лордами, смиренно готов на все и будет из кожи лезть, стремясь обмануть вчерашних сообщников; с еще большей легкостью, чем те сманили его на свою сторону, возвращает королева его к себе. Он выдает ей имена всех участников, он готов содействовать ее побегу, малодушно идет он и на то, чтобы стать орудием мести, которая прежде всего сразит его самого, архипредавателя и коновода. Послушным орудием покидает эту спальню тот, кто вошел в нее, казалось, господином и повелителем. Одним усилием разорвала Мария Стюарт душившую ее цепь — и это спустя лишь несколько часов после жестокого унижения: глава заговора, неведомо для заговорщиков, стал их заклятым врагом, гениальное притворство победило притворство низменное.

Итак, поддела сделано для освобождения Марии Стюарт, а между тем в Эдинбург прискакали Меррей и другие опальные лорды; великий тактик и дипломат, Меррей не был здесь во время убийства — попробуй, докажи, что он к нему причастен; этот пройдоха всегда выйдет сухим из воды. Но как только с грязной работой покончено, он тут как тут, спокойный, величавый, самонадеянный, руки у него чисты, и он готов пожать плоды чужих усилий. Как раз на этот день — одиннадцатое марта назначено в парламенте по высочайшей воле всенародное оглашение его изменником, и — о, чудо! — его плененная сестра вдруг позабыла старые счеты. Талантливая актриса — актриса поневоле, — она бросается к нему на шею с таким же нудным лобзанием, с каким не далее как вчера приветствовал ее муж. Нежно и проникновенно спрашивает она у опального бунтовщика братского совета и помощи.

Меррей, и сам неплохой знаток человеческого сердца, правильно оценивает положение. Он, без сомнения, призывал и благословлял убийство Риччо в надежде расстроить

тайные шашни Марии Стюарт с папизмом; для него черномазый интриган был врагом протестантских, шотландских интересов и к тому же помехой для его собственных властолюбивых планов. Но теперь, когда с Риччо благополучно покончено, Меррей готов зачеркнуть былое, пойти на мировую: пусть послушники-лорды сейчас же снимут стражу, оскорбительную для королевского достоинства Марии Стюарт, и вернут ей все prerogatives неограниченной королевской власти. Она же должна забыть прошлые обиды и отнестись патриотическим убийцам все их вины.

Мария Стюарт, у которой, при пособничестве изменника мужа, готов и разработан в мельчайших подробностях план побега, и не думает прощать убийц. Но, чтобы усыпить бдительность бунтовщиков, она готова на великодушные уступки. Спустя сорок восемь часов после убийства весь эпизод, вместе с изрубленным телом Риччо, по-видимому, погребен и предан забвению: все притворяются, будто ничего не случилось. Прикончили какого-то музыкантишку — велика важность! Скоро ни одна душа не вспомнит о безвестном бродяге и в Шотландии водворится мир.

Устный пакт заключен. И все же заговорщики не решаются снять караул перед покоями королевы. Какое-то смутное беспокойство гложет их. Наиболее догадливым из них слишком знакома гордость Стюартов, чтобы поддаться на заманчивые уверения, будто Мария Стюарт от чистого сердца готова простить и забыть подлое убийство своего слуги. Им кажется, что куда вернее держать неукротимую женщину под замком, отнять у нее всякую возможность мести, на свободе, чувствуют они, она станет для них постоянной угрозой. Им также не нравится, что Дарнлей то и дело поднимается на ее половину и о чем-то подолгу шушукается с мнимобольной. Они по опыту знают, как мало нужно, чтобы вертеть этим мозгляком, как вздумается. Открыто говорят они, что Мария Стюарт хочет перетянуть его на свою сторону. Они убеждают Дарнлея не верить ни одному ее слову и заклинают его не предавать их, в противном случае — справедливое пророчество! — и ему и ей придется худо. И хотя лгунишка клянется, что все прощено и забыто, они отказываются снять охрану, прежде чем королева письменно не гарантирует им полной

безнаказанности. Как для убийства, так и для отпущения убийства домогаются эти оригинальные законники писаной грамоты «бонда».

Очевидно, многоопытным, заматерелым клятвопреступникам мало сказанного слова — им ли не знать, сколь оно эфемерно и легковесно, — подавайте им отпускную грамоту! Однако Мария Стюарт слишком осторожна и самолюбива. Никто из этих негодяев не сможет похвалиться «бондом» за ее подписью! Но, решив не давать заговорщикам отпускной, она с тем большей готовностью изъявляет свое согласие: ведь все, что ей нужно, — это как-нибудь дотянуть до вечера. Дарнлею — он опять, как воск, в ее руках — дается сомнительное поручение удерживать в узде своих вчерашних сообщников мнимой приятностью и обещаниями высочайшей подписи. Словно преданный опекун, вертится он среди мятежников и вместе с ними вырабатывает текст отпущения; единственное, за чем остановка, это подпись Марии Стюарт. К сожалению, время позднее, заверяет их Дарнлей: королева утомилась и почивает. Но он клянется — что стоит лжецу солгать лишний раз! — завтра же утром вручить им грамоту за высочайшей подписью. Раз король дает такое обещание, не верить ему и дальше — значит оскорбить его. В доказательство своей доброй воли заговорщики снимают стражу у покоев королевы. Марии Стюарт только того и нужно. Путь к побегу ей открыт.

Как только караульные ушли, Мария Стюарт вскакивает с мнимого одра болезни и энергично готовится к отъезду. Босуэл, Хантлей и прочие друзья за стенами замка давно предупреждены; в полночь оседланные лошади будут ждать у погоста, в тени ограды. Все дело в том, чтобы обмануть бдительность заговорщиков, — и унижительное поручение оглушить и одурачить их вином и знаками своей милости снова, подобно другим неблагоприятным делишкам, выпадает на долю Дарнлея. По приказу королевы он зовет своих вчерашних сообщников на веселый пир, гости бражничают, и праздник примирения затягивается до глубокой ночи; когда же собутыльники, нагрузившись, отправляются на боковую, Дарнлей из осторожности даже не осмеливается вернуться в покои королевы. Но лорды слишком уверены в своем триумфе, чтоб быть начеку. Королева обещала их помиловать, сам король им в том порукой, Риччо покоится в земле, а Меррей вернулся в Шотландию — зачем же

раздумывать и оглядываться? Опьяненные вином и победой, заваливаются лорды на отдых, чтобы проспаться хмель и отоспаться после тревожного дня.

Полночь, тишина стоит в коридорах спящего замка, как вдруг где-то наверху осторожно приотворяется дверь. Ощупью крадется Мария Стюарт через помещения для слуг и по лестнице — вниз, в подвал, откуда подземный ход ведет в кладбищенские катакомбы. Ледяным холодом веет в мрачном подземелье, вечная сырость каплет со сводов и стропил. Зажженный факел отбрасывает пляшущие тени на черные, как ночь, стены, на прогнившие гробы и сваленные в кучи человеческие кости. Но вот повеяло свежим, чистым воздухом, они у выхода! А теперь только пересечь кладбище и добежать до ограды, за которой ждут друзья с оседланными конями. Но тут Дарнлей обо что-то спотыкается и чуть не падает. королева подбегает, и оба с содроганием видят, что стоят перед свеженасыпанным холмом — могилой Давида Риччо.

Последний удар молота — он еще больше закалит броню, в которую одето ее сердце, сердце оскорбленной женщины. Она знает — перед ней теперь две задачи: восстановить побегом свою королевскую честь и даровать миру сына, наследника престола. А там — отмщение всем, кто так ее унизил! Отмщение и тому, кто сейчас по глупости старается ей услужить! Ни минуты не колеблясь, вскакивает беременная на пятом месяце женщина в мужское седло за спиной у Артура Эрскина, верного начальника ее лейб-гвардии, под защитой чужого она чувствует себя в большей безопасности, чем с мужем, кстати, тот не дожидаясь шпорит коня торопясь унести ноги. Так Эрскин и обхватившая его за плечи Мария Стюарт мчатся галопом на одном коне все двадцать с лишним миль до замка лорда Сетона. Там ей наконец дают коня и стражу в две сотни всадников. Новый день беглянка встречает уже повелительницей. К обеду она доскакала до своего замка Данбар. Но вместо того чтобы отдохнуть, дать себе покой, сразу же берется за дела: мало называться королевой, в такие минуты должно бороться, чтобы и в самом деле ею быть. Она диктует и пишет письма во все концы, надскакивает клич верным присяге дворянам, надо собрать войско против бунтовщиков, засевших в Холируде. Жизнь

спасена, но дело идет о короне, о чести! Неизменно, когда настает час мщения, когда страсти огнем бушуют в ее крови, эта женщина не знает ни слабости, ни усталости; только в такие великие, решающие минуты видно, какие силы таятся в этом сердце.

Недоброе пробуждение ждет наутро холирудских заговорщиков: замок опустел, королева бежала, их побратим и покровитель Дарнлей исчез вместе с ней. Но не сразу доходит до них вся полнота поражения, слишком велика их надежда на королевское слово Дарнлея, на то, что генеральное отпущение грехов, составленное накануне при его участии, остается в силе. Да и в самом деле, трудно представить себе подобное гнусное предательство. Они все еще не верят обману. Смиренно шлют они в Данбар своего посланца, лорда Семпила, просить у государыни обещанную грамоту. Три дня заставляя Мария Стюарт вестника мира томиться у запертых ворот, словно перед новой Каноссой, нет, она не унижится до переговоров с бунтовщиками, тем более что Босуэл уже собрал войска.

Только теперь страх ледяной струей обжигает спины заговорщиков, быстро редеют их ряды. Один за другим пробираются они к ней потихоньку вымаливать прощение. коноводы, как Рутвен, первым схвативший итальянца, или Фодонсайд, дерзнувший навести на королеву пистолет, понимают, разумеется, что не дождутся милости. Второпях покидают они Шотландию, а вместе с ними бежит на сей раз и Джон Нокс, слишком рано и слишком громко восславивший убийство итальянца как богоугодное дело.

Если бы королева вольна была слушаться обуревающей ее жажды мести, она бы примерно покарала бунтовщиков, внушила бы неугомонной банде знатных смутьянов, что нельзя безнаказанно бунтовать против нее. Но опасность была слишком велика, и в будущем придется ей действовать с большим умом и коварством. Меррей, ее сводный брат, конечно, был осведомлен о заговоре — то-то он подоспел так вовремя, — но сам в измене не участвовал; и Мария Стюарт понимает, что этого сильного человека лучше не трогать. Для того чтобы не слишком многих восстановить против себя, она предпочитает кое на что закрыть глаза. Ибо вздумай она всерьез судить мятежников, разве не пришлось бы ей в первую очередь призвать к

ответу Дарнлея, собственного супруга, — ведь это он ввел к ней заговорщиков, а во время убийства держал ее за руки. Но, памятуя о скандале с Шателеяром, так невыгодно сказавшемся на ее репутации, она не может допустить, чтобы муж ее выступил в роли рогоносца, защищающего свою честь. *Semper aliquid haeret*¹. Лучше представить дело так, будто он, главный подстрекатель и зачинщик, не имел к убийству отношения. Правда, трудно выгородить того, кто собственноручно подписал два «бонда», кто заключил по всей форме контракт, где наперед гарантировал заговорщикам полную безнаказанность, кто свой собственный кинжал — его нашли потом торчащим в истерзанном трупe итальянца — сунул кому-то из убийц. Но не ищите у марионетки ни воли, ни чести: стоило Марии Стюарт прибрать его к рукам, как Дарнлей послушно пляшет под ее дудку. Торжественно возглашает герольд на главной площади Эдинбурга самую беззастенчивую ложь века, скрепленную «словом и честью принца», о том, что он непричастен к «изменническому заговору», «*treasonable conspiracy*», и что сущая ложь и клевета, будто заговорщики действовали «с его ведома, совета, приказа и согласия», — тогда как король не только «*counseled, commanded, consented, assisted*», что известно каждому встречному и поперечному, но и официально «*approved*» — благословил бунтовщиков на измену. Кажется, трудно вообразить себе более жалкую роль, чем та, какую этот слабовольный человек играл во время убийства, но на сей раз Дарнлей превосходит самого себя: лжеприсягой, данной на эдинбургской площади перед лицом всей страны и народа, он сам себе подписал приговор. Из всех, кому Мария Стюарт поклялась отомстить, никого она не покарала так жестоко, как Дарнлея, выставив своего втайне презираемого супруга на открытое поругание всего света.

Итак, на убийство наброшен белоснежный саван лжи. С громко возвещаемым торжеством, под звуки фанфар возвращается в Эдинбург королевская чета во вновь обретенном согласии. Все как будто улажено и умиротворено. Чтобы соблюсти некую видимость правосудия и вместе с тем никого не испугать, вешают каких-то случайных горемык, ничего не ведающих солдат и холопов: пока господа, повелители кланов, орудовали наверху кинжалами, слуги.

¹ Всегда что-нибудь мешает (*лат.*).

выполняя приказ, стояли на часах у ворот. Знатным же господам все благополучно сходит с рук. Итальянцу — слабое утешение для мертвеца — отводят почетное место упокоения на королевском кладбище, а должность усопшего занимает его родной брат; на этом трагический эпизод исчерпан и предан забвению

После всех этих волнений и передраг королеве остается еще одно немаловажное дело, которое больше чем что-либо может укрепить ее сильно пошатнувшееся положение: благополучно произвести на свет здорового престолонаследника. Только как мать короля будет она неприкосновенна, не как супруга этого ничтожества, этого короля-марионетки. С тревогой ждет она своего трудного часа. Странное уныние и подавленность овладевают ею, особенно в последние недели. Гнетет ли ее неотвязной тенью воспоминание о смерти Риччо? Предвидит ли она обостренными чувствами наступление неминуемых бед? Во всяком случае, она пишет свою последнюю волю. Дарнлею она завещает кольцо, то самое, что он надел ей на палец в день их свадьбы, но и Джузеппе Риччо, Босуэл и четыре Марии не забыты; впервые беспечная, отважная женщина трепещет смерти или какой-то еще неведомой угрозы. Она покидает Холируд, где после той трагической ночи больше не чувствует себя в безопасности, и переезжает в куда менее удобный, но высоко расположенный и хорошо укрепленный Эдинбургский замок, чтобы там, ценою жизни, если придется, даровать жизнь наследнику шотландской и английской короны.

Утром 9 июня грохот пушек в замке возвещает городу счастливую весть. Родился наследник, отпрыск Стюартов, король Шотландский; отныне пагубному женскому правлению конец. Заветная мечта матери, единодушное желание всей страны, ждущей мужского потомства Стюартов, наконец-то сбылась. Но едва даровав сыну жизнь, Мария Стюарт уже чувствует себя обязанной утвердить его положение. Ей, вероятно, слишком хорошо известно, что ядовитые сплетни, которые заговорщики нашептали Дарнлею, слушки, будто она нарушила супружеский долг с Риччо, просочились и за стены замка. Она знает, с какой радостью в Лондоне ухватятся за любой повод подвергнуть сомнению законное происхождение ее наследника, а там, возможно,

и его право на престол. И она хочет заранее, перед всем миром, раз навсегда пресечь эту наглую ложь. Она зовет Дарнлея к себе в спальню и при всех показывает ему ребенка со словами:

— Бог даровал нам с тобой сына, зачатого тобой и только тобой.

Дарнлей смущен, ведь никто как он сам, обуреваемый болтливостью ревнивца, помог распространить позорную клевету. Что может он ответить на такое торжественное заявление? Скрывая замешательство, он наклоняется к новорожденному и целует его.

Но Мария Стюарт, взяв младенца на руки, снова громко повторяет:

— Перед богом свидетельствую, как на страшном суде, что это твой сын и нет у него другого отца, кроме тебя. И всех присутствующих здесь мужчин и женщин призываю в свидетели, что это в такой мере твое дитя, что я боюсь, как бы ему когда-нибудь не пожалеть об этом.

Великая клятва — и более чем странное опасение: даже в столь торжественную минуту оскорбленная мать не в силах скрыть свое недоверие к Дарнлею; даже сейчас не может она забыть, как жестоко этот человек обманул и ранил ее. После этих достаточно знаменательных слов она протянула ребенка одному из лордов, сэру Уильяму Стандону.

— Вот принц, который, я надеюсь, впервые объединит оба королевства — Шотландию и Англию.

— Но почему же, Madame? — слегка оторопев, спрашивает Стандон. — Как может он опередить ваше величество и своего отца?

И снова с упреком отвечает Мария Стюарт:

— Потому что его отец расстроил наш союз.

Пристыженный Дарнлей старается урезонить разгневанную супругу.

— Разве это не противно твоему обещанию все забыть и простить? — спрашивает он в огорчении.

— Простить я все прощу, — отозвалась королева. — Но забыть не в силах. Если бы Фодонсайд тогда спустил курок, что случилось бы с ним и со мной? Один бог ведает, что бы они с тобой сделали.

— Madame, — останавливает ее Дарнлей, — не будем вспоминать прошлое.

— Хорошо, — ответила королева, — не будем вспоминать

На том и кончился разговор, насыщенный громами и предвещавший грозу. Однако Мария Стюарт, даже в свой трудный час, сказала полуправду, заявив, что ничего не забыла, но все готова простить. ибо никогда ни в этом замке, ни в этой стране не будет больше мира, пока кровь не прольется за кровь и насилием не воздастся за насилие.

Не успела мать разрешиться от бремени, а ребенок увидеть свет. как ровно в полдень сэр Джеймс Мелвил, испытанный и надежный посланец, садится на коня. Вечером он уже на границе, ночью отдыхает в Берике, а наутро снова мчит во весь опор. Двенадцатого июня вечером — блестящий спортивный рекорд — въезжает он на взмыленном коне в Лондон. Там ему сообщают, что Елизавета дает бал в своем Гринвичском дворце; презрев усталость, пересаживается гонец на свежего коня и летит дальше, чтобы еще этой ночью передать свою весть.

Елизавета соизволила даже протанцевать на этом пышном празднестве — после продолжительной и тяжелой болезни она радуется вновь обретенной жизни. Веселая, оживленная, густо наруганная и напудренная, в своей помпезной пышной робе напоминая экзотический тюльпан, она, как всегда, окружена верными палачинами. Но тут к ней, раздвигая ряды танцующих, протискивается ее государственный секретарь Сесил, за которым следует Джеймс Мелвил. Сесил подходит и шепотом сообщает королеве, что у Марии Стюарт родился наследник, сын.

Елизавета как правительница — великая дипломатка, в совершенстве владеющая собой и понаторевшая в искусстве скрывать свои истинные чувства. Но эта весть поражает в ней женщину. кинжал вонзился в живое тело. А как женщина Елизавета болезненно чувствительна и не всегда владеет своими нервами. Она так ошеломлена, что ее гневные взгляды, ее стиснутые губы забывают лгать. Лицо ее застыло, кровь отлила от щек, судорожно сжаты руки. Она приказывает музыке замолчать, танец внезапно обрывается, и королева поспешно покидает зал, чувствуя, что нервы ее не выдержат. И только добравшись до своей опочивальни, среди обступивших ее в испуге прислужниц,

дает она себе волю. Со стоном, под тяжестью горя, рухнула она на стул и разразилась рыданиями:

— У королевы Шотландской родился сын, а я, я — иссохший, мертвый сук!

Ни разу за семьдесят лет жизни глубокая трагедия этой обреченной девственницы не раскрывалась с такой очевидностью, как в ту секунду; ни разу так отчетливо не промелькнула ревниво оберегаемая тайна — сколь тяжко этой женщине, зачахшей от неспособности любить и от сознания своего бесплодия, нести свой крест, — как именно в этом возгласе, вырвавшемся из самых женских, самых сокровенных, самых незамутненных родников ее существа, подобно внезапно хлынувшему потоку крови. Чувствуется, что все царства мира отдала бы она за обычное, ясное, естественное счастье — быть просто женщиной, просто возлюбленной, просто матерью. Любое другое преимущество, любую удачу, она, при всей своей ревности, быть может, и простила бы Марии Стюарт. Но эта будит в ней смертельную зависть, ибо в ней возмущено самое заветное чувство и желание: быть матерью.

Но уже на следующее утро Елизавета опять только королева, только женщина-политик, только женщина-дипломат. В совершенстве владеет она своим испытанным искусством скрывать злобу, недовольство, а порой и жгучее страдание под завесою холодных величавых слов. Наведя на лицо милостивую улыбку, принимает она Мелвила с положенными почестями: если верить ее словам, более приятной вести ей еще не приходилось слышать. Она велит посланцу передать Марии Стюарт самые сердечные пожелания, она повторяет свое обещание быть восприимчивой новорожденного и даже готова, если представится возможность, приехать на крестины. Именно потому, что она завидует счастью данной ей роком сестры, она — вечная лицедейка собственного величия — хочет выступить перед миром в роли доброй феи.

Итак, снова мужественной сопернице выпала счастливая карта, все опасности как будто миновали, все трудности, словно чудом, преодолены. Еще раз отступили тучи, с первой же минуты трагически нависшие над судьбой Марии Стюарт: но того, кто отважен духом, ничему не научат минувшие опасности, а разве лишь развядорят Мария Стюарт родилась не для спокойствия и счастья, какие-то необоримые силы управляют ею изнутри. Никогда

события и случайности внешней жизни не придают судьбе ее окончательного смысла и формы. Только врожденные, только изначально присущие законы формируют жизнь — или разрушают ее.

ГЛАВА X В непроходимых дебрях

С июля по рождество 1566 года

Рождение ребенка знаменует в трагедии Марии Стюарт как бы завершение первого, вступительного акта. Ситуация внезапно драматически заостряется, все трепещет, все до предела напряжено внутренними неразрешимыми конфликтами. Новые характеры и персонажи вступают в строй, меняется место действия, трагедия из политической становится личной. До сего времени Мария Стюарт боролась с мятежниками в собственной стране и с враждебными силами за рубежом, теперь же на нее обрушивается новый враг, беспощаднее всех ее графов и баронов: ее собственные чувства поднимают мятеж, женщина в Марии Стюарт объявляет войну королеве. Властолюбие впервые отступает перед властью крови. Одержимая страстью, легкомысленно разрушает пробудившаяся женщина то, что рачительная монархиня с трудом сберегала. Как в омут, бросается она с поистине великолепной безоглядностью в еще невиданную мировой историей экзальтацию страсти, все забывая, все увлекая в своем падении — честь, закон и мораль, свою корону, свою страну, — новоявленная трагическая героиня, которую трудно было предвидеть в прилежной добронравной принцессе или в бездумно чего-то ждущей кокетливой вдовствующей королеве. За один-единственный год преобразила Мария Стюарт всю свою жизнь, тысячекратно повысив ее драматизм, и за этот единственный год она разрушила свою жизнь.

В начале этого второго акта опять на сцену выходит Дарнлей, но и в нем чувствуется перемена, какая-то новая, трагическая, нотка. Он выходит один, никто не дарит отступника ни своим доверием, ни даже сказанным от сердца словом. Глубокое озлобление, бессильная ярость терзают душу честолюбивого юноши. Он сделал больше,

чем может сделать для женщины мужчина, и ждал хоть немного благодарности, покорности, сочувствия, а может быть, и любви! И что же, едва он стал не нужен, Дарнлей встречает в Марии Стюарт одно лишь усилившееся отвращение. Королева неумолима. Бежавшие лорды, чтобы поквитаться с предателем, подбрасывают ей через тайных агентов подписанную Дарнлеем грамоту, которою им отпущалось убийство Риччо, — пусть знает, что муж ее был с ними заодно. Подметное письмо не открывает Марии Стюарт ничего нового, но чем больше презирует она этого предателя, эту тряпку, тем меньше гордая женщина прощает себе, что полюбила такое смазливое ничтожество. В Дарнлее ей претит ко всему прочему и собственное заблуждение; как мужчина, как муж он ей отвратителен, точно что-то скользкое, липкое, точно змея или слизняк, до чего боишься дотронуться пальцем, а тем более коснуться живым, теплым телом. Его присутствие, самое его существование гнетет ее кошмаром. И одна лишь мысль владеет ею днем и ночью: как отделаться от него, как освободиться?

В этих мыслях нет еще и намека на предстоящее убийство, ни тени намека, даже в виде туманных мечтаний. То, что случилось с Марией Стюарт, не такая уж редкость. Как тысячи других женщин, она вскоре после замужества испытывает разочарование, столь острое, что объятия и близость человека, ставшего ей чужим, ей просто нестерпимы. Наиболее разумный и естественный выход в таких случаях — развод, и Мария Стюарт обсуждает эту возможность с Мерреем и Мэйтлендом. Но развестись чуть ли не назавтра после рождения ребенка — значит дать пищу опасным сплетням насчет ее якобы предосудительных отношений с Риччо: ребенка немедленно ославят бастардом. И чтобы не нанести ущерба имени Иакова VI, который может притязать на корону лишь как отпрыск безупречного брака, королеве приходится — страшная жертва! — отказаться от этого естественного решения.

Казалось бы, существует и другой выход: келейная договоренность между супругами о том, чтобы сохранить для виду брачный союз, а на деле вернуть друг другу свободу. Это избавило бы Марию Стюарт от любовных притязаний мужа, а в глазах света сохранило бы видимость брака. Что Мария Стюарт искала этой возможности, свидетельствует дошедший до нас разговор ее с Дарнлеем: она

намекнула, что нехудо бы ему завести любовницу, и даже подсказала кого — супругу Меррея, его заклятого врага; так, под видом шутки, она дает ему понять, что нисколько не огорчилась бы, вздумай он искать утешения в другом месте. Но вот незадача: для Дарнлея не существует другой женщины, он хочет ее и никого другого. С какой-то непонятной рабской преданностью и жадностью льнет несчастный юноша к этой сильной, гордой женщине. Он и мысли не допускает о другой любовнице, он не прикоснется ни к одной, ему нужна единственно эта, которая знает его не хочет. Только это тело будит в нем желание, сводит его с ума, и он неотступно клянчит и требует, чтобы его супружеские права уважались; но чем жарче и настойчивее домогается он ее, тем нетерпеливее она ему отказывает. И — такова насмешка судьбы! — чем нетерпеливее она его отталкивает, тем коварнее и злее его желание и тем смиреннее он возвращается вновь и вновь, чтобы вымолить подачку; страшным разочарованием расплачивается бедная женщина за свою злополучную опрометчивость, за то, что мальчишке без сердца и ума предоставила она супружескую власть, ибо как ни противится она всем существом, а все же они связаны безысходно.

В этом трудном душевном положении Мария Стюарт делает то, что обычно делают люди, попавшие в тупик. Она уходит от решения, она уклоняется от открытой борьбы, обращаясь в бегство. Как ни странно, биографы все как один в недоумении от того, что Мария Стюарт после родов не дает себе естественного роздыха и, никого не предупредив, уже месяц спустя покидает замок и ребенка, чтобы отправиться в увеселительную прогулку — в Аллоа, поместье графа Марского. Вполне понятное бегство: прошел месяц и, стало быть, исчезли уважительные причины, позволявшие ей без особых уверток держать на расстоянии постылого мужа; но теперь он снова станет предприимчив, ежедневно, еженощно будет он ее преследовать, а между тем тело ее отказывается, а душа не в силах выносить любовника, которого она больше не любит. Вполне естественно, что Мария Стюарт бежит от него, что она ставит преградой между ним и собою разлуку и даль, что она хотя бы внешне от него освобождается, чтобы внутренне расправить крылья. И так все последующие

недели, месяцы, все лето до глубокой осени спасается она бегством, кочуя из замка в замок, с одной охоты на другую. А что при этом она ищет развлечений, что и в Аллоа и в других местах еще даже не двадцатичетырехлетняя Мария Стюарт веселится до упаду, что излюбленные ею маски, танцы и пестрая череда празднеств снова помогают неисправимой ветренице убить время, как во времена Шателера и Риччо, — все это лишь показывает, как легко эта беззаботная головка забывает прошлые испытания. Только однажды пытается Дарнлей робко предъявить свои супружеские права. Он отправляется верхом в Аллоа, но его очень быстро выпроваживают и даже не просят переночевать в замке. Мария Стюарт внутренне с ним покончила. Пламя ее любви взвилось вверх мимолетной вспышкой и так же быстро сникло. Ошибка, о которой стараешься не думать, досадное воспоминание, которое хочется изгнать из памяти, — вот чем стал для нее Генри Дарнлей, тот, кого безрассудство влюбленной сделало повелителем Шотландии и господином ее тела.

Дарнлей больше для нее не существует, но и Меррею, невзирая на добрый мир между ними, она не слишком доверяет; к прощенному после долгих колебаний Мэйтленду она уже всегда будет относиться с холодком, а между тем ей нужен человек, которому можно было бы довериться всецело, так как всякая осторожность и половинчатость, всякие оглядки и колебания чужды и противны этой горячей натуре. Она безоговорочно любит и безоговорочно ненавидит; безоговорочно верит и безоговорочно не верит. Как королева и как женщина, Мария Стюарт всю свою жизнь сознательно или бессознательно ищет некую полярную противоположность своей беспокойной душе в лице сильного, сурового, преданного и стойкого мужчины.

И вот после Риччо у нее остается только Босуэл, единственный, на кого она может положиться. Судьба нещадно преследовала этого неустрашимого человека. Свора лордов изгоняет его совсем еще юнцом из страны за то, что он отказался с ней спеться; верный до последней минуты, защищал он Марию де Гиз, мать Марии Стюарт против «лордов конгрегации» и не сложил оружия и тогда, когда дело католицизма в Шотландии, которое отстаивали Стюарты, было окончательно проиграно. Сила была не на

его стороне, и Босуэлу пришлось бежать. Во Франции изгнанник сразу же становится начальником шотландской лейб-гвардии, и это почетное положение при дворе выгодно сказалось на его обхождении, внешне обтесав его, однако не смягчило первозданной грубости и неумемной силы его натуры. Но Босуэл слишком солдат, чтобы удовлетвориться теплым местечком, и, как только его заклятый враг Меррей восстает против королевы, он под парусом переплывает Ламанш, чтобы вступить за дочь Стюартов. Когда бы Марии Стюарт ни понадобилась помощь против ее злокозненных подданных, он с готовностью протягивает ей свою закованную в железо руку. В ночь убийства Риччо он бесстрашно выскочил из окна второго этажа, чтобы прийти ей на выручку; это его дальновидность благословила отважный побег королевы, а его воинственная энергия внушает заговорщикам такой страх, что они даже не берутся за оружие. Никто в Шотландии еще не служил Марии Стюарт так преданно, как этот тридцатилетний беззаветно храбрый солдат.

Босуэл — фигура, словно высеченная из черной мраморной глыбы. Подобно своему итальянскому собрату кондотьеру Коллеоне, стоит он в горделиво вызывающей позе, и смелый взор его устремлен в века, — мужчина в расцвете лет и сил, во всей суровости и жестокости повышенной мужественности. Он носит имя Хепбернов, древнего шотландского рода, но невольно думается, что в жилах его течет еще неукрошенная кровь древних викингов и норманнских завоевателей, суровых воинов и разбойников. Несмотря на благоприобретенную культуру (он безукоризненно говорит по-французски, любит и собирает книги), в Босуэле еще живет дикарский задор прирожденного бунтаря против благонамеренной обывательщины, необузданная жажда приключений тех *hors la loi*¹ романтических корсаров, которыми так восхищался Байрон. Высокий, широкоплечий, необычайно сильный и выносливый, он орудует двуручным мечом, как легкой шпагой, управляет парусом в шторм и бурю, и эта уверенность в своих силах порождает у него бесподобную моральную, вернее аморальную, бесшабашность. Этот забияка ничего не боится, для него существует только мораль сильных: без зазрения совести хватать, не выпускать и отстаивать захваченное

¹ Отщепенцев, стоящих вне закона (франц.).

Но в этой природной забиячливости нет ничего общего с низменной жадностью и расчетливым интриганством других баронов, которых он, отчаянный храбрец, презирает, так как они вечно сбиваются в кучу для своих грабительских походов и обстрипывают свои трусливые делишки под покровом ночи. Босуэл не заключает союзов, всякие сделки ему глубоко противны: надменный, одинокий, с гордо поднятой головой, идет он своим путем мимо морали и закона. Стань только у него на дороге — и он расшибет тебе физиономию бронированным кулаком. Беззаботно делает он все, что захочет, дозволенное и недозволенное, не скрываясь, среди бела дня. Но, хищник и насильник самого худшего разбора, закованный в латы циник, Босуэл все же выгодно отличается от окружения прямоот характера. Рядом с двоедушными и двуличными лордами и баронами он напоминает кровожадного, но благородного зверя, леопарда или льва среди вороватых волков и гиен — отнюдь не высоко нравственная, не обаятельная по-человечески фигура и все же доподлинный мужчина, цельный характер, востель стародавних времен.

Потому-то так боятся и ненавидят Босуэла его собратья мужчины, но зато неприкрытая, ясная, жестокая сила его магически действует на женщин. Не известно, был ли этот похититель сердец хорош собой, не сохранилось ни одного сколько-нибудь удачного его портрета (неволью представляешь себе полотно Франца Хальса, одного из его удалых воинов с заливатски нахлобученной на лоб шляпой, с вызывающе и смело устремленным вперед взглядом) По некоторым отзывам, он был отталкивающе некрасив. Но, чтобы пользоваться успехом у женщин, и не нужно быть красавцем: уже терпкое дыхание мужественности, исходящее от таких сильных натур, какое-то неистовое своеобразие, безоглядая жестокость, самая атмосфера войны и победы дурманит их чувства. Ничто так не будит в женщине страсть, как трепет страха и восхищения; легкое сладостное чувство жути и опасности только усиливает наслаждение, придает ему неизъяснимую остроту. Если мужчина при этом не просто male, неукротимый быкоподобный самец, если у него, как мы это видим у Босуэла, все грубо-плотоядное завуалировано кое-какой личной и придворной культурой, если он к тому же умен и находчив, обаянию его невозможно противостоять. И действительно, весь путь этого искателя приключений усеян любовными

историями, по-видимому не стоившими ему большого труда. При французском дворе о его победах рассказывали легенды, да и в кругу Марии Стюарт перед ним не устояли несколько придворных дам; поговаривали, что в Дании некая красавица принесла ему в жертву мужа, деньги и достоинство. Но, несмотря на эти лавры, Босуэла не назовешь обольстителем, донжуаном, юбочником, женщины у него всегда на втором плане. Такие победы слишком легки и безопасны для его воинственной натуры. Босуэл берет женщин лишь как случайную добычу, подобно разбойникам-викингам; он берет их походя, как пьет вино, играет в кости или скачет верхом, для него это та же проба сил, повышающая жизненную энергию, — наиболее мужская из мужских забав; он берет женщин, но сам им не отдается, не теряет себя в них. Он берет их потому, что брать, а особенно брать насильно, — естественное проявление его властолюбия.

Этого мужчину в Босуэле сперва и не замечает Мария Стюарт в преданном своем вассале. Да и Босуэл не видит в королеве юной желанной женщины; когда-то он с обычной беспечностью позволил себе дерзко отозваться о ее особе: «Им с Елизаветой даже и вдвоем не составить одной настоящей бабы». Ему и в голову не приходит помыслить о королеве как о возможной любовнице, да и она не проявляет к нему ни малейшей склонности. Она даже собиралась запретить ему въезд в Шотландию, так как во Франции он не очень-то стеснялся в разговорах о ней, но стоило ей узнать ему цену как солдату, и она уже не может без него обойтись. Она не скупится на благодарность, одно отличие следует за другим: Босуэл назначается командующим Северных графств, потом верховным адмиралом Шотландии и главнокомандующим вооруженных сил на случай войны или мятежа. Мария Стюарт жалует Босуэлу поместья опальных баронов и, в знак дружеского попечения, сама подыскивает ему — это ли не доказательство того, как нейтральны поначалу их отношения, — молодую супругу из богатого рода Хантлеев.

Но такого прирожденного повелителя стоит лишь подпустить к власти, как он захватывает ее целиком. Вскоре Босуэл уже первый советчик королевы по всем вопросам, он, собственно, правит страной как наместник; английский посол с раздражением доносит, что «королева отличает Босуэла больше, нежели других». Но на этот раз Мария

Стюарт сделала верный выбор, наконец-то нашла она правителя по сердцу, человека с чувством собственного достоинства — он не польстится на подарки и посулы Елизаветы, не стакнется с лордами ради пустяковой корысти. Опираясь на этого бесстрашного солдата, она впервые получает перевес в собственной стране. Ее неурядливые лорды скоро восчувствовали, какую королева забрала силу благодаря военной диктатуре Босуэла. Они жалуются, что Босуэл «слишком занесся, что даже Риччо не так ненавидели, как его», и мечтают от него избавиться. Но Босуэл не Риччо, он не даст себя покорно прирезать, да и в угол его не задвинешь, как Дарнлея. Он слишком хорошо знает повадки своих знатных собратьев и никуда не выезжает без сильной охраны, а его *borderers* по первому знаку готовы взяться за оружие. Ему безразлично любят или ненавидят его придворные интриганы, достаточно того, что они его трепещут и что доколе меч не выпадет из его рук, эта буйная банда грабителей пусть и со скрежетом зубовым, будет повиноваться королеве. По настоятельной просьбе Марии Стюарт между ним и его заядлым врагом Мерреем заключен мир, таким образом круг власти замкнулся, все силы строго уравновешены. Мария Стюарт под надежным заслоном Босуэла ни во что не вмешивается и ограничивается представительством, Меррей как и раньше, ведает внутренними делами. Мэйтленд — дипломатической службой, а преданный Босуэл у нее *all in all*¹. Благодаря его железной руке в Шотландии восстановлен порядок, и это чудо сотворил один-единственный человек — настоящий мужчина.

Но чем больше власти забирает Босуэл в свои могучие руки, тем меньше ее остается на долю того кому она принадлежит по праву, — на долю короля. А постепенно усыхает и это немногое и остается одно только воспоминание, звук пустой. Прошел всего лишь год, а как далеко то время, когда юная властительница по страстному влечению избрала Дарнлея, когда герольды всенародно возглашали его королем и, закованный в золоченые доспехи, он скакал в погоне за мятежниками! Теперь после рождения ребенка, после того, как выполнено его прямое назначение,

¹ Все и вся (англ.)

несчастливого все больше оттесняют на задний план. Все поворачиваются к нему спиной; пусть себе что-то болтает — никто не слушает его, пусть идет, куда вздумает, — никто его знать не хочет. Дарнлея больше не зовут на заседания совета, не приглашают на торжества и увеселения; вечно бродит он в одиночестве, и холодная пустота одиночества провожает его по пятам. Где бы он ни находился, повсюду его со спины прохватывает сквозняком насмешки и презрения. Чужой, враг, он чувствует себя среди врагов в своей отчизне, в своем доме.

Это полное пренебрежение, это внезапное переключение с горячего на холодное, очевидно, объясняется родившимся в женской душе отвращением. Но, как он ни опостылел ей, афишировать свое презрение было государственно-политическим просчетом королевы. Тщеславного честолюбца нельзя было так безжалостно выставлять на поругание лордов, разум повелевал сохранить ему хотя бы видимость почета. Всегда оскорбление приводит к обратным результатам, оно и у слабейшего выжимает каплю твердости: даже бесхарактерный Дарнлей постепенно становится злобным и опасным. И он дает волю своему ожесточению. Когда, окружив себя вооруженной стражей — убийство Риччо и ему послужило уроком, — он целые дни пропадает на охоте, спутники нередко слышат от него угрозы по адресу Меррея и других лордов. Он сам себя уполномочивает писать письма к иностранным дворам, обвиняя Марию Стюарт в том, что она «не стойка в вере», и предлагая себя Филиппу II в «истинные оберегатели» католицизма. Правнук Генриха VII, он домогается власти и права голоса; как ни мягка, как ни мелка душа этого мальчика, где-то на дне ее теплится неугасимое чувство чести. Дарнлея можно назвать безвольным, но уж никак не беспечным; даже наиболее сомнительные свои поступки он совершает, по-видимому, из ложного честолюбия, из повышенной тяги к самоутверждению. И вот, наконец, — должно быть, палку перегнули — отверженный принимает отчаянное решение. В последних числах сентября он уезжает в Глазго, не скрывая своего намерения вскоре оставить Шотландию и отправиться в чужие края. Я с вами больше не играю, как бы заявляет Дарнлей. Раз вы отказываете мне в королевских полномочиях, на что он мне сдался, ваш титул! Раз не даете подобающего положения ни в государстве, ни у домашнего очага, на что мне ваш

дворец, да и вся Шотландия! По его приказу в гавани ждет оснащенный, готовый к отплытию корабль

Чего же добивается Дарнлей этой внезапной угрозой? Получил ли он предостережение? Дошла ли до него молва о готовящемся заговоре и хочет ли он, зная, что не в силах противостоять этой своре, бежать заблаговременно туда, где никакой яд и кинжал его не достанут? Гложет ли его подозрение, гонит ли страх? Или же вся эта похвальба — пустая фанаберия, чистейшая дипломатия, чтобы запугать Марию Стюарт? Каждое из этих предположений заключает в себе долю истины, а тем более все они вместе взятые — ведь в одном решении всегда соединяется много чувств и ни одно не должно быть предпочтено или отринуто в ущерб другим Там, где тропа спускается в сумеречные катакомбы сердца, огни истории горят уже неясно в этом лабиринте можно только осторожно, наугад нащупывать путь

Однако Мария Стюарт серьезно напугана предполагаемым отъездом Дарнлея Умышленное бегство отца из страны чуть ли не накануне торжественных крестин — каким бы это было ударом для ее репутации! И особенно теперь, когда у всех еще свежа в памяти расправа с Риччо! Что если этот недалекий мальчик с досады начнет трезвонить при дворе Екатерины Медичи или Елизаветы о том, что не служит ей к чести! Как будут торжествовать обе ее соперницы, как станет издеваться весь мир над тем, что возлюбленный супруг так быстро сбежал из ее дома и постели. Мария Стюарт спешно сзывает государственный совет, и впопыхах, чтобы предупредить Дарнлея, лорды строчат большое дипломатическое послание Екатерине Медичи, где все беззакония валят на Дарнлея, как на козла отпущения.

Переполох, однако, оказался преждевременным Никуда Дарнлей не уехал. Этот слабый мальчик находит в себе силы разве лишь для мужественных жестов — не для мужественных поступков Двадцать девятого сентября — лорды только что отправили в Париж свой навет — Дарнлей вдруг появляется в Эдинбурге, под окнами дворца, правда, войти он отказывается, пока не разошлись лорды снова странное и необъяснимое поведение! Подозревает ли Дарнлей, что ему готовят участь Риччо, опасается ли он войти во дворец, зная, что там засели его смертельные враги? Или, оскорбленный супруг, он хочет, чтобы Мария Стюарт низко поклонилась ему, моля о возвращении? А

может быть, он явился проверить, какое действие произвела его угроза? Снова загадка, как и многие другие загадки, которыми овеян образ Дарнлея!

Мария Стюарт не долго думает. У нее выработалось безошибочное умение справляться со своим мозгляком-мужем, когда он вздумает разыгрывать из себя бунтаря или господина. Она знает, нужно возможно скорее, как в ночь после убийства Риччо, лишить его последнего остатка воли, пока он в своем детском упрямстве не натворил худших бед. Итак, нечего с ним церемониться и стесняться! Снова изображает она послушную овечку и, чтобы сломить его непокорство, идет на крайние меры: тотчас же отпускает лордов, а сама спешит к упрямцу, ждущему в воротах, и с великими почестями уводит — не только во дворец, но, надо полагать, и на остров Цирцеи — в свою опочивальню. И средство действует безотказно, такова ее власть над этим юношей, прикованным к ней всеми чувственными помыслами: наутро он уже кроток, как ребенок, и Мария Стюарт водит его на помочах.

Но нет пощады: беднягу снова ждет расплата, как и за ночь, подаренную ему после убийства Риччо. Дарнлей, опять вообразивший себя господином и повелителем, вдруг наталкивается в аудиенц-зале на французского посланника и на лордов. Как Елизавета в комедии с Мерреем, Мария Стюарт запаслась свидетелями. И в их присутствии она громко и настойчиво допрашивает Дарнлея, пусть скажет «for god's sake»¹, почему он задумал уехать из Шотландии, не дала ли она ему повод для такого бегства. Какое убийственное разочарование! Дарнлей еще мнит себя счастливым мужем и любовником — и вдруг предстать перед посланником и лордами в роли обвиняемого! Сумрачно стоит он среди зала, долговязый малый с бледным безбородым, мальчишеским лицом. Будь он настоящим мужчиной, вытесанным из более крепкого материала, ему бы самое время выступить со всей твердостью, властно изложить свои претензии и не обвиняемым, а судьей предстать перед этой женщиной и своими подданными. Но где уж восковому сердцу оказать сопротивление! Словно пойманный шалун, словно школьник, боящийся, как бы у него не брызнули

¹ Ради создателя (англ.).

слезы бессильной ярости, стоит Дарнлей один среди большого зала, стиснул зубы и молчит — молчит. Он попросту не отвечает на вопросы. Он не обвиняет, но и не извиняется. Встревоженные этим молчанием, лорды почтительно его уговаривают: как мог он помыслить оставить «so beautiful a queen and so noble a realm»¹ Но тщетно Дарнлей не достаивает их ответа. Это молчание, исполненное упорства и тайной угрозы, все больше гнетет собравшихся, каждый чувствует, что несчастный лишь с трудом владеет собой — вот-вот случится непоправимое; для Марии Стюарт было бы величайшим поражением, если бы у Дарнлея достало силы выдержать это убийственное, красноречивое молчание. Но Дарнлей сдается. По мере того как посланник и лорды все снова и снова нажимают на него «avec beaucoup de propos»² он уступает и чуть слышным голосом, угрюмо подтверждает то, что от него хотя и услышать: нет, его супруга не давала ему повода к отъезду. Марии Стюарт только того и нужно: ведь этим заявлением несчастный осудил себя самого. Ее добрая репутация восстановлена в присутствии французского посланника. Она облегченно вздыхает и заключительным движением руки дает понять, что вполне удовлетворена ответом Дарнлея.

Но Дарнлей недоволен, Дарнлея душит стыд: снова покорился он этой Далиле, дал себя выманить из твердыни своего молчания. Невыразимые муки, должно быть, терпел обманутый и одураченный юнец, когда королева величественным жестом как бы «простила» его, хотя ему больше пристало выступить здесь в роли обвинителя. Слишком поздно обретает он утерянное достоинство. Не отдав учтивого поклона лордам, не обняв супруги, холодный, как герольд, вручающий объявление войны, выходит он из зала. Его прощальные слова обращены к королеве: «Madame, вы теперь не скоро меня увидите». Но лорды и Мария Стюарт обмениваются довольной улыбкой; какое облегчение: пусть этот фанфарониска, «that proud fool», явившийся сюда с наглыми претензиями, теперь, поджав хвост, уползает в свою нору, его угрозы уже никому не страшны: Чем дальше он уберется, тем лучше для него и для всех.

¹ Такую прекрасную королеву и благородную страну (англ.).

² Убедительно (франц.).

Однако уж на что никудышный, а ведь вот же понадобился! Казалось бы, только помеха в доме, и вдруг его настоятельно требуют обратно Шестнадцатого декабря, с большим запозданием. в замке Стирлинг назначено торжество крестин малютки принца Идут великие приготовления Елизавета, восприемница младенца, разумеется, не явилась собственной персоной — всю жизнь уклонялась она от встреч с Марией Стюарт, — но зато, преодолев, в виде исключения, свою пресловутую скарედность, она шлет с графом Бедфордским бесценный дар — тяжелую, чистого золота купель тончайшей работы, изукрашенную по краям драгоценными камнями Послы Франции, Испании, Савойи явились ко двору, приглашена вся знать, всякий, кто претендует на громкое имя или звание, присутствует на торжестве По случаю столь пышной церемонии нельзя при всем желании исключить из списка гостей такое, пусть само по себе и незначительное, лицо, как Генри Дарнлей, отец наследника, правящий государь. Но Дарнлей понимает, что это последний раз вспомнили о нем, и он начеку Хватит с него всенародного сраму, он знает, что английскому послу велено не титуловать его «Ваше Величество», французский же посол, которого он хочет навестить в его покое, с предрозостной надменностью велит передать Дарнлею, что, как только тот войдет к нему в одну дверь, он тут же выйдет в другую Наконец-то в растоптанном юнце вскипает гордость — правда, его хватает лишь на детский каприз, на злобную выходку Но на сей раз выходка достигает цели. Дарнлей хоть и не покидает замок Стирлинг, но и не показывает гостям. Он угрожает своим отсутствием. Демонстративно заперся он в своей комнате, не участвует ни в крестинах сына, ни тем более в балах, празднествах и масках; вместо него — ропот возмущения проходит по рядам приглашенных — гостей принимает Босуэл, все тот же ненавистный фаворит в новом богатом наряде, и Мария Стюарт из себя выходит, изображая веселую и приветливую хозяйку, чтобы никто не думал о покойнике в доме, о государе, отце и супруге, который замкнулся в своей спальне выше этажом и которому удалось-таки испортить жене и ее друзьям радостный праздник. Еще раз доказал он им, что он здесь, все еще здесь: именно своим отсутствием напоминает Дарнлей в последний раз о своем существовании.

Но, чтобы наказать ослушного мальчишку, тотчас же срезается розга. Уже через несколько дней, в сочельник, она с зловещим свистом рассекает воздух. Кто бы мог ожидать: Мария Стюарт, обычно такая несговорчивая, решается, по совету Меррея и Босуэда, помиловать убийц Риччо Тем самым лютые враги Дарнлей, которых он в свое время обманул и предал, снова призываются на родину Дарнлей, сколь он ни прост, сразу же смекает, какая ему грозит опасность. Стоит всей своре — Меррею, Мэйтленду, Босуэду, Мортону — собраться, как начнется облава и его затравят насмерть. Недаром его супруга стакнулась с самыми лютыми его врагами; есть в этом немалый смысл и немалый расчет, который ему дорого обойдется.

Дарнлей чует опасность. Он знает — на карту поставлена его жизнь. Точно дичь, выслеженная легавыми, бежит он из замка, торопясь укрыться у отца в Глазго. И года не прошло, как Риччо зарыли в землю, а убийцы уже снова собрались в братский кружок, все ближе и ближе надвигается что-то жуткое, неведомое. Мертвецам скучно лежать одиноко в сырой земле, вот они и требуют к себе тех, кто их туда толкнул, засылая вперед, как своих герольдов, страх и смятение.

И в самом деле, что-то темное, тяжелое, словно туча в дни, когда задувает фен, что-то давящее и знобкое уж два месяца как нависло над Холирудским замком. В вечер королевских крестин в залитом огнями замке Стирлинг, ибо надо было удивить приезжих великолепием двора, а друзей — дружбой, Мария Стюарт, всегда умеющая на короткий срок взять себя в руки, призвала на помощь все свои силы. Глаза ее излучали притворное счастье, она очаровывала гостей беспечной веселостью и подкупающей приветливостью; но едва погасли огни, гаснет и ее наигранное веселье, тишина воцаряется в Холируде, жуткая, странная тишина закрадывается и в душу королевы; какая-то загадочная печаль, какая-то непонятная растерянность владеют ею. Впервые глубокая меланхолия угрюмой тенью омрачает ее лицо, и кажется, будто неизъяснимая тревога гложет ее душу. Она больше не танцует, не требует музыки, да и здоровье ее после знаменитой скачки в Дждборо, когда ее замертво сняли с седла, как будто сильно расстроилось. Она жалуется на боли в боку, целыми днями лежит в постели, избегает увеселений. Ей не си-

дится в Холируде, на долгие недели забирается она в отдаленные усадьбы и уединенные замки, нигде, впрочем, не задерживаясь, так как неотвязная тревога гонит ее все дальше и дальше. Можно подумать, что в ней действует какая-то разрушительная сила с мучительным, напряженным любопытством прислушивается Мария Стюарт к боли, что гложет ее изнутри — что-то новое, чуждое происходит в ней, что-то враждебное и злое овладело ее доселе такой светлой душою. Как-то французский посол застал ее врасплох: она лежала в постели и рыдала. Умудренный годами старик не поверил королеве, когда она в смущении что-то залепетала о болях в левом боку, терзающих ее до слез. Он тотчас же замечает, что здесь терпит муки не тело, а душа, что несчастлива не королева, а женщина «Королева занемогла. — отписывает он в Париж, — но, думается мне, истинная причина ее болезни в глубоком горе, для которого нет забвения. То и дело она твердит „Хоть бы мне умереть!“»

От Меррея, Мэйтленда и прочих лордов тоже не укрывается тяжелое состояние духа их госпожи. Но, опытные в вождении полков, они неопытны в разгадывании сердца, им ясна лишь грубая, очевидная причина, лежащая на поверхности, а именно — ее неудачный брак «Ей невыносимо сознавать, что он ее супруг. — пишет Мэйтленд, — и что нет никакой возможности от него избавиться». Однако умудренный годами Дю Крок увидел больше, когда говорил о «глубоком горе, для которого нет забвения». Иная, скрытая и невидимая рана изнуряет несчастную женщину. Горе, для которого нет забвения, заключается в том, что королева забылась, что великая страсть внезапно, подобно хищному зверю, набросилась на нее из темноты, истерзала ей тело когтями, разворотила его до самых внутренностей — безмерная, неутолимая, неугасимая страсть начавшаяся с преступления и требующая все новых и новых преступлений. И теперь она борется, сама себя пугаясь, сама себя стыдясь, мучается, стараясь скрыть эту страшную тайну и в то же время зная и чувствуя, что ее не скроешь, не замолчишь. Ею владеет воля сильнее ее разумной воли; она уже не принадлежит себе: беспомощная и потерянная, она чувствует себя в когтях этой всемогущей безрассудной страсти.

ГЛАВА XI

Трагедия одной страсти

1566, 1567

Любовь Марии Стюарт к Босуэлу — одна из самых памятных в мировой истории; даже грандиозные страсти пресловутых античных любовников едва ли превосходят ее в силе и неистовстве. Ярким полымем вспыхивает она, до пурпурных вершин экстаза, до сумеречных зон преступления взлизывая огненными языками. Но, когда чувства достигают такой чрезмерности, было бы неумно мерить их меркою логики и разума, ибо самое существо подобных необузданных аффектов в том и состоит, что они проявляются неразумно. Страсти, как и болезни, нельзя осуждать или оправдывать; можно лишь описывать их со все новым изумлением, содрогаясь перед извечной мощью стихий, которые как в природе, так и в человеке раздражаются порой внезапными вспышками грозы. И неизбежно страсти этого высшего напряжения неподвластны воле человека, которого они поражают: всеми своими проявлениями и последствиями они выходят за пределы его сознательной жизни и бушуют словно над его головой, по ту сторону его чувства ответственности. Подходить с моральной меркой к человеку, снедаемому страстью, так же нелепо, как если бы мы вздумали привлечь к ответу вулкан или наложить взыскание на грозу. И точно так же и Марии Стюарт в пору ее душевно-чувственной одержимости нельзя вменять в вину ее поступки, ибо безрассудные деяния той поры несколько не вяжутся с ее обычным нормальным и скорее уравновешенным поведением: все, что она ни делает, происходит словно в каком-то дурмане чувств и даже против ее воли. С закрытыми глазами, ко всему глухая, бредет она, как сомнамбула, влекомая какой-то магнетической силой по предначертанному ей пути гибели и преступления. Недоступная совету, недосыгаемая зову, она очнется лишь тогда, когда пламя, сжигающее ей кровь, пожрет само себя, — очнется вся выгоревшая, опустошенная. Кто раз прошел через это горнило, в том испепелено все живое.

Ибо никогда страсть столь чрезмерная не повторяется у одного человека. Как взрыв уничтожает весь запас пороха, так подобное извержение страсти всегда и навсегда сжигает весь наличный запас чувств. У Марии Стюарт

белый накал экстаза длится не более полугода. Но за этот короткий срок ее душа в своем неустанном порывании и напряжении проходит через такие огненные бури, что потом становится лишь тенью этого безмерного сияния. Как иные поэты (Рембо), иные музыканты (Масканыи) полностью исчерпывают себя в одном гениальном творении и бессильные, опустошенные понижают, так есть женщины, которые в одном взрыве страсти расточают весь свой любовный потенциал вместо того чтобы, как это свойственно более степенным, более обывательским натурам, растянуть его на годы и годы. Словно в вытяжке, в виде экстракта, вкушают они любовь всей своей жизни; безоглядно бросаются такие женщины, гении саморасточительства, в те бездонные пучины страсти откуда нет спасения нет возврата. Для такой любви — а ее поистине можно назвать героической поскольку она презирает страх и смерть. — Мария Стюарт может послужить истинным образцом ибо она извела одну только страсть правда исчерпав ее до конца — до саморастворения и саморазрушения.

С первого взгляда кажется странным, что стихийная страсть, внушенная Марии Стюарт Босуэлом, следует так недолго за ее увлечением Генри Дарнлеем. А между тем ничего не может быть естественнее и закономернее. Как и всякое великое искусство, любовь требует изучения, испытания и проверки на практике. Всегда или почти всегда, как мы это видим и в искусстве, первый опыт далек от совершенства: непреходящий закон науки о душе гласит что большая страсть почти всегда предполагает предшествующую ей малую в качестве первой ступеньки. Гениальный сердцевед Шекспир блистательно раскрыл это в своих творениях. Быть может, самый мастерский мотив его бессмертной трагедии любви состоит в том, что начинается она не внезапным пробуждением любви у Ромео к Джульетте (как начал бы менее талантливый художник и психолог), а с его будто бы не идущей к делу влюбленности в некую Розалинду. Здесь заблуждение сердца нарочито предпослано пламенной правде как некое предстояние, как полусознательное ученичество, предшествующее высокому мастерству; Шекспир на этом ярком примере показывает, что нет познания без его предвосхищения, нет страсти без предвкушения страсти и что прежде, чем вознести свое

пламя в бесконечность, чувство должно было уже однажды вспыхнуть и воспламениться. Только потому, что все в душе Ромео напряжено до крайности, что его сильная и страстная душа настроена на страсть, дремлющая в нем воля к любви — сначала беспомощно и слепо — хватается за первый попавшийся предлог, за случайно подвернувшуюся Розалинду, чтобы потом, когда он прозреет глазами и душой, сменить полулюбовь на полную любовь, Розалинду на Джульетту. Так и Мария Стюарт еще незрячею душой устремлена к Дарнлею, потому что, молодой и красивый, он попался ей в нужную минуту. Но его вялое дыхание бессильно раздуть жар в ее крови. Эти скрытые искорки не могут ни вымахнуть в небо пламенем экстаза, ни выгореть, ни вспыхнуть обманывая душу, — мучительное состояние подспудного горения при заглушенном огне. Когда же появился настоящий герой, тот, кому предстояло избавить ее от этой пытки, кто дал воздух и пищу полузадушенному пламени, огненный снап взвился вверх так, что небу стало жарко. Как сердечная склонность к Розалинде бесследно растворяется в подлинной страсти Ромео к Джульетте, так и Мария Стюарт забывает свое чувственное увлечение Дарнлеем в пламенной, всесокрушающей любви к Босуэлу. Ибо смысл и назначение каждой последующей страсти в том, что она питается и усиливается своими предшественницами. Все то, что человек угадывал и предвкушал в отношении любви, становится правдой лишь в настоящей страсти.

Историю любви Марии Стюарт к Босуэлу раскрывают нам источники двоякого рода: во-первых, записки современников, хроники и официальные документы; во-вторых, серия дошедших до нас писем и стихов, по преданию, написанных самой королевой; и то и другое, как проекция фактов на внешний мир, так и исповедь души, сходится точь-в-точь. И все же те, кто считает, будто память Марии Стюарт во имя последующих соображений морали надо всячески защищать от обвинений в страсти, от которой сама она, кстати, никогда не отпиралась, отказываются признать подлинность писем и стихов. Они начисто переуверкивают их, как якобы подложные, отрицая за ними всякое историческое значение. С точки зрения процессуального права у них есть для этого основание. Дело в том,

что письма и сонеты Марии Стюарт дошли до нас только в переводах, с возможными искажениями. Подлинники исчезли, и нет никакой надежды когда-нибудь их найти, так как автографы Марии Стюарт, иначе говоря, конечное, неопровержимое доказательство, были в свое время уничтожены, и даже известно кем. Едва взойдя на престол, Иаков I предал огню все бумаги, порочащие с обывательской точки зрения женскую честь его матери. С той поры насчет подлинности так называемых «писем из ларца» идет ожесточенный спор, в полной мере отражающий ту предвзятость суждений, которою, как из религиозных, так и из национальных побуждений, пропитана вся известная нам литература о Марии Стюарт; непредвзятому биографу тем более важно взвесить все доводы и контрдоводы в этом споре. Однако и его заключения осуждены оставаться личными, субъективными, так как единственное научно и юридически правомочное доказательство, заключающееся в предъявлении автографов, отсутствует и о подлинности писем, как в положительном, так и в отрицательном смысле, можно говорить лишь на основании логических и психологических домыслов.

И все же тот, кто захочет составить себе верное представление как о внешней, так и о внутренней стороне жизни Марии Стюарт, должен решить для себя, считает он эти стихи, эти письма подлинными или не считает. Он не может с равнодушным «forse che si, foese che no», с трусливым «либо да, либо нет», пройти мимо, ибо здесь — основной узел, определяющий всю линию душевного развития; с полной ответственностью должен он взвесить все «за» и «против» и уж если решит в пользу подлинности стихов и станет опираться на их свидетельство, то свое убеждение он обязан открыто и ясно обосновать.

«Письмами из ларца» называются эти письма и сонеты потому, что после поспешного бегства Босуэла они были найдены в запертом серебряном ларце. Что ларец этот, полученный в дар от Франциска II, своего первого мужа, Мария Стюарт отдала Босуэлу, как и многое другое, — факт установленный, равно как и то, что Босуэл прятал в этом надежно запирающемся сейфе свою секретную корреспонденцию, в первую очередь, разумеется, письма Марии Стюарт. Точно так же несомненно, что послания Марии Стюарт к возлюбленному были неосторожного и компрометирующего свойства, ибо, во-первых, Мария Стю-

арт была всю свою жизнь отважной женщиной, склонной к безоглядным и опрометчивым поступкам, и никогда не умела скрывать свои чувства. Во-вторых, противники ее не радовались бы так безмерно своей находке, если бы письма в известной мере не порочили и не позорили королеву. Но сторонники гипотезы о фальсификации уже всерьез и не оспаривают факта существования писем и только утверждают, будто в короткий срок между их проверкой лордами и предъявлением парламенту оригиналы были похищены и заменены злонамеренными подделками и что, следовательно, опубликованные письма не имеют ничего общего с теми, что были найдены в запечатом ларце.

Но тут возникает вопрос: кто из современников Марии Стюарт выдвигал это обвинение? Ответ звучит не в пользу обвинения: да, собственно, никто. Как только ларец попал в руки к Мортону, его на другой же день вскрыли лорды и клятвенно засвидетельствовали, что письма подлинные, после чего тексты снова рассматривались членами собравшегося парламента (в том числе и ближайшими друзьями Марии Стюарт) и также не вызвали сомнений; в третий и четвертый раз они были предъявлены в Йоркском и Хэмптонском судах, сравнены с другими автографами Марии Стюарт и опять признаны подлинными. Однако самым веским аргументом служит здесь то, что Елизавета разослала отпечатанные оттиски всем иностранным дворам — как ни мало она стеснялась в средствах для достижения своих целей, а все же не стала бы английская королева покрывать заведомую и наглую подделку, которую любой участник подлога мог бы в любую минуту разоблачить; Елизавета была чересчур осторожным политиком, чтобы дать себя поймать на мелком мошенничестве. Единственное же лицо, которое, спасая свою честь, должно было воззвать ко всему миру, прося защиты ввиду столь явного обмана, — сама Мария Стюарт, лицо, наиболее заинтересованное и якобы невинно страдающее, если и протестовала, то очень, очень робко и на удивление неубедительно. Сначала она окольными путями хлопочет, чтобы письма не были предъявлены в Йорке — хотя, кажется, почему бы и нет, ведь доказательство их подделки только укрепило бы ее позиции, а когда она в конце концов поручает своим представителям в суде отрицать *en bloc*¹ все предъявленные

¹ Огулом (франц.).

ей обвинения, то это мало о чем говорит: в вопросах политики Мария Стюарт не придерживалась правды, требуя, чтобы с ее *parol de prince*¹ считались больше, чем с любыми доказательствами. Но, даже когда письма были обнародованы в пасквиле Бьюкенена и хула была рассеяна по свету, когда ею упивались при всех королевских дворах. Мария Стюарт протестует весьма умеренно; она не жалуется, что письма подделаны, и только весьма общо отзывается о Бьюкенене как об «окаянном безбожнике». Ни единым словом в посланиях к папе, французскому королю и даже к ближайшим родным не обмолвилась она о подлоге — да и французский двор, чуть ли не с первой минуты располагавший оттисками писем и стихов, ни разу по поводу этого сенсационного дела не высказался в пользу Марии Стюарт. Итак, никто из современников ни на миг не усомнился в подлинности писем, никто из друзей королевы того времени не поднял голоса против такой возмутительной несправедливости, как заведомый подлог. И лишь сто, лишь двести лет спустя после того, как подлинники были уничтожены сыном, прокладывает себе дорогу гипотеза о фальсификации как результат стараний представить смелую и неукротимую женщину невинной и непорочной жертвой подлого заговора.

Итак, отношение современников, иначе говоря, довод исторический, безусловно говорит за подлинность писем, но о том же и столь же ясно, на мой взгляд, свидетельствуют доводы филологический и психологический. Обращаясь сначала к стихам, — кто в тогдашней Шотландии мог бы в столь короткий срок настроичить целый цикл французских сонетов, предполагающих интимнейшее знание сугубо частных событий из жизни Марии Стюарт? Правда, истории известно немало случаев подделки документов и писем, да и в литературе от времени до времени появлялись загадочные апокрифические сочинения, но в таких случаях, как Макферсоновы «Песни Оссиана» или «Краледворская рукопись», мы неизменно встречаемся с филологическими подделками памятников далекой старины. Никто еще не пытался приписать живому современнику целый цикл стихотворений. Да и трудно себе представить, чтобы шотландские сельские дворяне, и слыхом не слыхавшие ни о какой поэзии, с целью злонамеренно

Слово государя (франц.)

оклеветать свою королеву накропали наспех одиннадцать сонетов, да еще на французском языке. Так кто же был тот неведомый волшебник — кстати, ни один из паладинов Марии Стюарт еще не ответил на этот вопрос, — который на чуждом ему языке с непогрешимым изяществом формы сочинил за королеву цикл сонетов, где каждое слово и каждое чувство созвучны тому, что происходило в ее святая святых? Никакой Ронсар, никакой Дю Бейлле не могли бы сделать этого так быстро и с такой человеческой правдивостью, не говоря уж о Мортонгах, Аргайлах, Гамильтонах и Гордонах, неплохо владевших мечом, но вряд ли достаточно владевших французским, чтобы кое-как поддерживать на нем застольную беседу!

Но если подлинность стихов бесспорна (а сегодня этого уже никто не отрицает), то бесспорна и подлинность писем. Вполне вероятно, что при обратном переводе на латинский и шотландский (только два письма сохранились на языке оригинала) отдельные места и подверглись искажению, не исключена возможность и кое-каких последующих вставок. Но в целом те же доводы говорят о подлинности писем, а особенно последний аргумент — психологический. Ибо если бы некий «синдикат злодеев» захотел из мести сфабриковать пасквильные письма, то он бы наверняка изготовил прямолинейные признания, рисующие Марию Стюарт в самом неприглядном виде, как похотливую, коварную, злобную фурию. Было бы совершеннейшим абсурдом, ставя себе злопыхательские цели, приписать Марии Стюарт дошедшие до нас письма, которые скорее оправдывают, чем обвиняют ее, ибо в них с потрясающей искренностью говорится о том, как ужасно для нее сознание своей роли укрывательницы и пособницы преступления. Эти письма говорят не о вожделениях страсти, это крик исстрадавшейся души, полузадушенные стоны человека, заживо горящего и сторающего на костре. И то, что они звучат так безыскусно, набросаны в таком смятении мыслей и чувств, с такой лихорадочной поспешностью — рукой, трясущейся — вы это чувствуете — от еле сдерживаемого волнения, как раз это и свидетельствует о душевной взвинченности, столь характерной для всех ее поступков этих дней; только гениальный сердцевед мог бы с таким совершенством сочинить психологическую подмалевку к общеизвестным обстоятельствам и фактам. Но Меррей, Мэйтленд и Бьюкенен, которым попеременно и наудачу присяжные защитники Марии Стюарт приписыва-

ют этот подлог, не были ни Шекспирами, ни Бальзаками, ни Достоевскими, а всего лишь плуговатыми душонками, правда, горадыми на любое мелкое мошенничество, но, уж конечно, неспособными создавать в стенах своих канцелярий такие психологические шедевры, какими письма Марии Стюарт предстают всем векам и народам; тот гений, что будто бы изобрел эти письма, еще ждет своего изобретателя. А потому каждый непредубежденный судья может с чистой совестью считать Марию Стюарт, которую лишь безысходное горе и глубокое душевное смятение побуждали к стихотворству, единственно возможным автором пресловутых писем и стихов и достовернейшим свидетелем ее собственных тяжких испытаний.

Одно из стихотворений выдает ее с головой: только оно и приоткрывает нам начало злополучной страсти. Только благодаря этим пламенным строкам известно, что, не постепенно нарастая и кристаллизуясь, созрела эта любовь — нет, она рывком накинулась на беспечную женщину и навсегда ее поработила. Непосредственным поводом послужил грубый физиологический акт, внезапное нападение Босуэла, насилие или почти насилие. Подобно молнии, озаряют эти строчки сонета непроницаемую тьму:

Pour luy aussi j'ay jette mainte larme,
Premier qu'il fust de ce corps possesseur.
Duquel alors il n'avoit pas le coeur.

...я столько слез лила из-за него!

Он первый мной владел, но взял он только тело,
А сердце перед ним раскрыться не хотело.

И сразу же перед вами вырисовывается вся ситуация. Мария Стюарт эти последние недели все чаще бывала в обществе Босуэла: как первый ее советник и командующий вооруженными силами, он сопровождал королеву во время ее увеселительных прогулок из замка в замок. Но ни на минуту королева, сама устроившая счастье этого человека, выбравшая ему красавицу жену в высшем обществе и танцевавшая на его свадьбе, не подозревает в молодожене каких-либо поползновений на свой счет; благодаря этому браку она чувствует себя вдвойне неприкосновенной, вдвойне застрахованной от всяких посягательств со стороны верного вассала. Она без опасений с ним путешествует, проводит в его обществе много времени. И, как всегда, эта

опрометчивая доверчивость, эта уверенность в себе — драгоценная, в сущности, черта — становится для нее роковой. Должно быть — это словно видишь воочию, — она иной раз позволяет себе с ним некоторую вольность обращения ту кокетливую короткость, которая уже сыграла пагубную роль в судьбе Шателяра и Риччо Она, возможно, подолгу сидит с ним с глазу на глаз в четырех стенах, болтает доверчивее, чем позволяет осторожность шутит, играет, забавляется. Но Босуэл — не Шателяр романтический трубадур, аккомпанирующий себе на лютне, и не льстивый выскочка Риччо Босуэл — мужчина человек грубых страстей и железной мускулатуры, властных инстинктов и внезапных побуждений. его смелость не знает границ. Такого человека нельзя легкомысленно дразнить и вызывать на фамильярность Он, не задумываясь, переходит к действиям, с налету хватая женщину уже давно находящуюся в неуравновешенном возбужденном состоянии женщину, чьи чувства были разбужены первой наивной влюбленностью, но так и остались неудовлетворенными «Il se fait de ce corps possesseur», он нападает на нее врасплох или овладевает ею силою (как определить разницу в минуты, когда попытка самозащиты и желание мешаются в каком-то опьянении чувств?) Похоже, что и для Босуэла это нападение не было чем-то предумышленным, не увенчанием давно сдерживаемой страсти, а импульсивным удовлетворением похоти, в которой нет ничего душевного, — чисто плотским, чисто физическим актом насилия

Однако на Марию Стюарт это нападение производит молниеносное, ошеломляющее действие Что-то новое, неизведанное бурей врывается в ее спокойную жизнь не только телом ее овладел Босуэл, но и чувствами. В обоих своих супругах, пятнадцатилетнем отроке Франциске II и безбородом Дарнлее, она встретилась с еще не созревшей мужественностью — то были неженки маменькины сынки. Ей уже казалось, что иначе и быть не может всегда она должна дарить, великодушно расточать счастье, оставаясь госпожой и повелительницей даже в самой интимной сфере, никогда она еще не бывала в положении более слабого существа, которое увлекают, похищают, берут силою. Но в этих насильственных объятиях она внезапно — и все ее существо оглушено этой неожиданностью — встретила настоящего мужчину, наконец-то такого мужчи-

ну, который смёл, развеял по ветру все ее женские доблести, стыд, гордость, уверенность в себе, — человека, который в ней самой открыл ей новый, еще неведомый, вулканический мир страсти и наслаждения. Она еще не учуяла опасности, она еще не успела дать отпор, как уже покорена, целомудренный сосуд разбит, и всепожирающий палящий вихрь страстей вырвался наружу. Должно быть, первым ее чувством был только гнев, только возмущение, только яростная, смертельная ненависть к любострастному убийце ее женской гордости. Но таков неисповедимый закон природы, что полярные ощущения где-то на высшем пределе сходятся. Как кожа не отличает сильного жара от сильного холода, как мороз обжигает щеки огнем, так и противоречивые чувства иногда сливаются воедино. В одну секунду ненависть в душе женщины может скачком перейти в любовь, а оскорбленная гордость — в безудержное смирение, и тело ее способно с неистовой алчностью призывать того, кого оно еще за секунду с неистовым отвращением отвергало и отталкивало. С этого часа разумная, в сущности, женщина объята пламенем, она горит и сгорает на невидимом огне. Все устои, на которых до сих пор зиждилась ее жизнь, — честь, достоинство, порядочность, гордость, уверенность в себе и разум — рушатся: сбитая однажды с ног и грубо поваленная, она хочет падать все ниже и ниже, хочет низвергнуться в бездну, затеряться в ней. Новое, внезапно налетевшее сладострастие заполнило ее, и она залпом пьет его, пьет жадно, в каком-то опьянении чувств; смиренно целует она руку человека, растоптавшего венец ее женственности, но зато научившего ее новому восторгу — саморастворения в другом существе.

Эта новая, беспредельная страсть несоизмерима с ее прежней влюбленностью в Дарнлея. Тогда она впервые открыла для себя чувство самозабвенной жертвенности и только испробовала его — теперь она полностью живет им; с Дарнлеем ей хотелось всем поделиться — короной, могуществом, жизнью. Но для Босуэла она не может ограничиться отдельными дарами — все, все жаждет она ему отдать, чем только владеет на земле, самой стать нищей, чтобы сделать его богатым, с упоением принизить себя, чтобы его возвысить. В каком-то непонятном экстазе отбрасывает она все, что стесняет и связывает ее, лишь бы удержать и не отпускать его, единственного. Она знает, друзья от нее отвернутся, весь мир ее покинет и станет

презирать. но именно это наполняет ее новой гордостью
взамен старой, растоптанной, вдохновенно возвещает она

Pour luy depuis j'ay mesprise l'honneur
Ce qui nous peust seul pourvoir de honneur
Pour luy j'ay hazarde grandeur & conscience
Pour luy tous mes parens j'ay quitte & amis
Et tous autres respectz sont a part mis

Pour luy tous mes amis, j'estime moins que rien
Et de mes ennemis je veux esperer bien
J'ay hazardé pour luy nom & conscience,
Je veux pour luy au monde renonser
Je veux mourir pour le faire avancer

Я для него забыла честь мою —
Единственное счастье нашей жизни.
Ему я власть и совесть отдаю.
Я для него отринула семью,
Презренной стала в собственной отчизне

Я для него отвергла всех друзей,
Прошу поддержки вражеского стана,
Пожертвовала совестью своей,
Презреда гордость имени и сана,
И, чтобы он возвысился, умру -

Отныне ничего больше для себя, все только для него,
кому она впервые отдала себя без остатка

Pour luy je veux rechercher la grandeur
Et feray tant que de vray congnoistra
Que je n'ay bien, heur, ne contentement,
Qu'a l'obeir & servir loyaument

Pour luy j'attendz toute bonne fortune,
Pour luy je veux garder sante & vie,
Pour luy tout vertu de suivre j'ay envie,
Et sans changer me trouvera tout' une.

Лишь для него и трон мой, и венец!
И, может быть, поймет он наконец,
Что я одно преследую упорно:
Жить для него, служить ему покорно

Лишь для него все блага обрести,
Стремиться к долголетию, к здоровью
И для него, с незывлемой любовью,
К вершинам добродетели идти!

Все, чем она владеет, всю себя — свою корону, свое
достоинство, свое тело, свою душу — швыряет она в бездну
страсти и в глубине своего падения еще наслаждается
преизбытком своей любви

Такое бешеное напряжение и перенапряжение всех чувств в корне преображает душу Неведомые и невиданные силы исторгает безмерная страсть у беспечной и дотоле сдержанной женщины. Удесятеренной жизнью живет в эти недели ее тело, ее душа, наружу пробиваются способности и дарования, которых она не знала раньше и не будет знать потом. В эти недели Мария Стюарт способна, восемнадцать часов проскакав на коне, потом всю ночь бодрствовать и неустойчиво писать письма. Она, до сих пор сочинявшая разве лишь короткие эпиграммы да незначительные стишки на случай, в порыве пламенного вдохновения пишет те одиннадцать сонетов, где изливает свои страдания и свою страсть с неведомым ей дотоле — да и потом — даром слова и силою красноречия. Всегда беспечная и неосторожная, она так мастерски притворяется, что в течение долгих месяцев никто не замечает ее изменившихся отношений с Босуэлом. В присутствии других она находит в себе силы повелительно и холодно, как с подчиненным, разговаривать с человеком, от чьего прикосновения ее бросает в дрожь, или же казаться веселой и беспечной, в то время как нервы ее напряжены до крайности, а душа исходит слезами и отчаянием. В ней вдруг как бы пробудилось некое демоническое «сверх-я», и оно увлекает ее за собой, заставляя превзойти себя, превысить свои возможности и силы.

Однако за эти порывы чувства, насильно исторгнутые у воли, приходится платить периодами душевного упадка. И тогда она целыми днями в изнеможении валяется в постели, часами блуждает по комнате в каком-то бесчувственном забытьи, рыдая, взывает, простертая на своем ложе «Хоть бы мне умереть!» — требуя, чтобы ей дали кинжал: она хочет лишиться себя жизни. И как таинственно эта сила снизошла на нее, так временами она бесследно ее покидает. Ибо плоть не в состоянии долго переносить это яростное перенапряжение всех своих ресурсов, это иступленное стремление подняться над собой, она бунтует, восстает: каждый нерв горит огнем и трепещет. Как отчаянно организм ее потрясен безмерной экзальтацией страсти, ярко показывает знаменитый джедборосский эпизод. Седьмого октября Босуэл был тяжело ранен в схватке с контрабандистом. Эта весть застает Марию Стюарт в Джедборо, где она присутствует на сессии суда. Чтобы не привлекать внимания, она не позволяет себе в ту же минуту вскоинить

в седло и вихрем нестись в замок Эрмитаж, за двадцать пять миль от Джедборо. Но, видимо, недобрая весть совершенно перевернула ее; находившийся при ней сторонний наблюдатель, посланник Дю Крок, в то время и не подозревавший о ее близких отношениях с Босуэлом, сообщает в Париж. «Ce ne luy eust esté peu de perte de le perdre»¹ Да и от Мэйтленда не укрылась необычайная рассеянность и озабоченность королевы, и, не зная настоящей причины, он высказывает предположение, что «эти мрачные настроения, эти тяжелые мысли у нее из-за неладов с королем» Лишь два-три дня спустя королева, в сопровождении Меррея и других приближенных, скачет во весь опор проведать Босуэла Два часа проводит она у постели раненого, а потом так же бешено мчится назад, словно желая этой яростной скачкой подавить мучительную тревогу Но подорванный жгучей страстью организм внезапно сдает. Едва ее снимают с седла, она падает замертво и два часа лежит в беспамятстве. Вечером у нее открылась горячка, типичная нервная горячка, она мечется в бреду. И вдруг члены ее цепенеют, она ничего не чувствует, никого не узнает; в растерянности окружили приближенные во главе с врачом свою королеву, заболевшую столь загадочной болезнью. Во все концы мчатся нарочные за королем, а также за епископом, чтобы королева не отошла без соборования. Восемь дней была она между жизнью и смертью. Можно подумать, что скрытое желание уйти из жизни, налетевшее ураганом, истощило ее нервы, исчерпало силы. А все же — и это с клинической достоверностью показывает, что болезнь была скорее душевная, что это был типичный случай истерии, — как только на крестьянском возу привезли выздоравливающего Босуэла, королева ожила, и — новое чудо! — спустя две недели восставшая покойница уже опять сидит в седле. Ибо опасность возникла в ней самой, и она справилась с ней собственными силами.

Но и окрепнув физически, Мария Стюарт никак не придет в себя, все ближайшие недели она подавлена, угнетена. Даже посторонние замечают, что королева «на себя не похожа». Что-то в ее чертах, во всем ее существовании сникло, привычной беспечности и уверенности как не бывало. Она ходит, живет, действует, как человек, на которого свалились тяжкие невзгоды. Она запирается у себя,

¹ «Для нее, видно, немалая потеря потерять его» (франц.).

и прислужницы слышат за дверью, как она стонет и рыдает. Всегда откровенная и общительная, она никому не доверяет своего горя. Уста ее скованы молчанием, и никто не подозревает страшной тайны, которая преследует ее днем и ночью и гнетет душу.

Ибо есть нечто грозное в этой страсти, от чего веет одновременно жутью и величием, нечто невыразимо грозное: королева с первой же минуты знает, что любовь ее преступна и обречена на безысходность. Ужасным было, верно, уже пробуждение после первого объятия — поистине Тристановское мгновение, — когда отравленная любовным питьем королева приходит в себя и оба вспоминают, что они не одни в беспредельности своего счастья, что их держит в плену этот мир, долг и закон. Ужасное пробуждение, когда она наконец очнулась, и громом ошеломяет ее мысль о том, в какое безумие они впали. Ибо она, отдавшая ему себя, принадлежит другому и он, отдавший ей себя, принадлежит другой. Прелюбодеяние, двойное прелюбодеяние — вот куда увлекло их неистовство чувств, а ведь совсем недавно, две-три недели или месяц назад, Мария Стюарт как шотландская королева торжественно подписала и издала указ о том, что нарушение супружеской верности, как и всякое другое оскорбление нравственности, карается смертью. С первой же минуты эта страсть заклеямена в ее сознании как преступная, и продолжаться, утверждать себя и развиваться она может лишь за счет все новых и новых преступлений. Чтобы соединиться навеки, оба они должны сперва насильственно избавиться — она от мужа, он от жены. Только ядовитые плоды может принести эта греховная страсть, и Мария Стюарт с первого же часа с непреложной ясностью отдает себе отчет в том, что отныне ей нет покоя и спасения. Но именно в такие трудные минуты просыпается у Марии Стюарт мужество отчаяния, и она готова бросить вызов судьбе — вопреки всякой надежде и смыслу готова спасти то, что непоправимо обречено. Не станет она трусливо отступать, прятаться и укрываться, нет, с гордо поднятой головой пройдет она до конца путь, ведущий в бездну. Пусть все потеряно — среди тягчайших испытаний находит она счастье в том, что ради него принесла все эти жертвы.

Entre ses mains, & en son plain pouvoir,
Je mets mon fils, mon honneur, & ma vie,
Mon pais, mes subjects, mon ame assubjettie
Est tout à luy, & n'ay autre vouloit
Pour mon objet, que sans le decevoir
Suivre je veux, malgré toute l'envie
Qu'issir en peut.

Ему во власть я сына отдаю,
И честь, и совесть, и страну мою.
И подданных, и трон, и жизнь, и душу.
Все для него! И мысли нет иной,
Как быть его женой, его рабой,
Я верности до гроба не нарушу!
С ним каждое мгновенье, каждый час,
А там — пусть зависть осуждает нас!

Что бы потом ни было, она отважится на этот путь в безнадежность. После того как она всем — телом, душой, всей своей жизнью пожертвовала ради него, несказанно любимого, эта иступленная любовница боится лишь одного на свете — потерять его.

Но самое ужасное в этом ужасе, самое мучительное в этой муке ей еще предстоит. При всем своем ослеплении Мария Стюарт достаточно проницательна — она скоро увидит, что и на этот раз расточает себя попусту: человек, к которому устремлены ее чувства, в сущности, ее не любит. Босуэл овладел ею, как это не раз с ним бывало, страстно, необдуманно, жестоко. И так же равнодушно готов он ее покинуть, едва чувства его остыли. Для него это лишь трепетный миг обладания, мимолетное приключение, и несчастной скоро приходится сказать себе, что господин ее мыслей и чувств не очень-то ее почитает:

Vous m'estimez legiere, que je voy,
Et si n'avez en moy nulle assurance,
Et soupconnez mon coeur sans apparence,
Vous meffiant atrop grand tort de moy.
Vous ignorez l'amour que je vous porte.
Vous soupconnez qu'autre amour me transporte.
Vous despeignez de cire mon las coeur.
Vous me pensez femme sans jugement;
Et tout cela augmente mon ardeur

Вы верите наветам злой молвы,
Вам кажется, что я пуста и лжива,
Мою любовь — о, как несправедливо! —
Готовы счесть игрой нечестной вы.

И, моего не уважая слова,
Решили вы, что я люблю другого,
Что я коварство низкое таю,
Что нравственных устоев не имею, —
Но и самой враждебностью своею
Вы жажду распяляете мою.

Но вместо того, чтобы гордо отвернуться от неблагодарного, вместо того, чтобы взять себя в руки, обуздать, опьяненная страстью женщина бросается на колени перед равнодушным любовником, стараясь удержать его. Ее былая гордость словно каким-то чудом превращается в неистовое самоуничижение. Она молит, кланяется и тут же превозносит себя, выхваляет, как товар, наскучившему ею любовнику. Утратив чувство собственного достоинства, готовая на последнее унижение, она, гордая царица, словно торговка на рынке, высчитывает ему, чем только она для него не пожертвовала, и настойчиво, чуть ли не назойливо, упрямая его в своем рабском смирении.

Car c'est le seul desir de vostre chere amie,
De vous servir, & loyaument aimer,
Et tous malheurs moins que rien estimer,
Et vostre volonte de la mienne suivre
Vous cognoistrez aveques obeissance,
De mon loyal devoir n'obmettant la science,
A quoy j'estudiray pour tousjours vous complaire.
Sans aimer rien que vous, sous la subjection
De qui je veux san nulle fiction,
Vivre & mourir.

Единственная цель подружки вашей —
Служить вам, угождать и подчиняться,
Вас обожать, пред вами преклоняться
И, презирая все несчастья впредь,
Свой видеть высший долг в повиновенье,
Чтобы отдать вам каждое мгновенье,
Под вашей властью жить и умереть.

С трепетом ужаса и сострадания наблюдаем мы, как эта прямая и смелая женщина, никогда не отступавшая ни перед какой земной опасностью, ни перед каким земным властителем, утратив бывшее достоинство, унижается до постыдных уловок завистливой и злобной ревности. По каким-то признакам Мария Стюарт, верно, заметила, что Босуэл куда более предан молодой жене, которую королева сама для него избрала, и что он отнюдь не собирается покинуть ее ради новой возлюбленной. И она силится —

не правда ли, ужасно, что именно большое чувство способно так умалить женщину, — очернить его супругу, не останавливаясь перед самой низкой и бесчестной, перед самой черной клеветой. Играя на его мужском тщеславии, она напоминает ему (очевидно, исходя из его интимных признаний), что жена недостаточно отзывается на его ласки, что, вместо того чтобы отвечать со всем пылом страсти, она лишь нехотя ему уступает. В прошлом сама сдержанность и высокомерие, она с жалким самохвальством перечисляет, на какие жертвы, на какое самозаклание во имя любви приходится идти ей, нарушительнице супружеской верности, тогда как его жена пользуется всеми благами и преимуществами его высокого положения. Так нет же, пусть останется с ней, пусть принадлежит ей одной и не поддается на обманчивые письма, слезы и заверения этой «лжесупруги»!

Et maintenant elle commence à voir,
Qu'elle est bien de mauvais jugement,
De n'estimer l'amour d'un tel amant,
Et voudroit bien mon amy decevoir.
Par les escrits tous fardez de scavoir...
Et toutes fois ses paroles fardeez,
Ses pleurs, ses plaincts remplis de fictions.
Et ses hautz cris & lamentations
On tant gaigné, que par vous sont gardeez
Ses lettres, escrites, ausquels vous donnez foy,
Et si l'aimez, & croiez plus que moy.

Она лишь поняла (даю вам слово!),
Что надо быть бездушной и слепой,
Чтоб не ценить любовника такого,
И хочет лицемерною мольбой
Вас обмануть, мой друг, опутать снова...
Но ложью слез, наитранной тоски
Упреков, просьб, рассчитанных умело,
Она вас так заморозить сумела,
Что мертвые фальшивые листки
Чтываете вы, бережно храните,
А мне, живой, и верить не хотите!

Все большим отчаянием звучат ее вопли. Неужели он ее, единственно достойную, может сменять на недостойную? Пусть прогонит ту и соединится с ней, ведь она готова бороться за него не на жизнь, а на смерть. Пусть требует от нее, молит она на коленях, всего, что только хочет, любого доказательства ее верности и нерушимой преданности, она все ради него кинет — дом, семью,

корону, все свое достояние, свою честь и даже сына. Пусть все отнимет, лишь бы не отталкивал ее, все отдавшую ему, единственно любимому.

И тут впервые приоткрывается глубина этого трагического ландшафта. Благодаря чрезмерности признаний Марии Стюарт на сцену проливается яркий свет. Босуэл лишь случайно увлекся ею, как и многими другими женщинами, и этим, собственно, для него эпизод исчерпан. Однако Мария Стюарт, предавшаяся ему всей душой и всеми чувствами, вся огонь и экстаз, стремится удержать его, удержать навсегда. Но сама по себе любовная связь несколько не привлекает счастливого в семейной жизни, честолюбивого человека. В лучшем случае ради тех преимуществ и выгод, какие дает ему любовь женщины, держащей в своих руках все почести и милости шотландской короны, Босуэл тянул бы еще какое-то время, он терпел бы Марию Стюарт в качестве наложницы рядом с женой. Но этого недостаточно королеве с душою королевы, недостаточно женщине, которая не хочет делиться, которая в своей неистовой страсти хочет одного — удержать его для себя. Но как удержать? Как привязать навек своевольного, необузданного искателя приключений? Клятвы в безграничной верности и покорности лишь наскучат такому мужчине, он немало слышал их от других женщин. Нет, одна только приманка может увлечь ненасытного честолюбца, единственный приз, ради которого грешили и блудили столь многие, — корона. Как бы мало Босуэл ни стремился сохранить отношения с женщиной, к которой он в сущности равнодушен, великий соблазн исходит от мысли, что эта женщина — королева и что она может сделать его королем Шотландии.

Правда, мысль эта на первый взгляд кажется безрассудной. Ведь жив законный супруг Марии Стюарт — Генри Дарнлей, и ни о каком другом короле не может быть и речи. А все же эта безрассудная мысль, и только она, отныне приковывает Босуэла к Марии Стюарт нерасторжимой цепью, ибо нет у несчастной другой приманки, которая могла бы удержать этого неукротимого человека. Ничто иное не заставит вольного, независимого кондотьера продаться своей рабыне и терпеть ее любовь, как только корона. И нет такой цены, какой эта опьяненная женщина,

давно забывшая честь, порядочность, достоинство, закон, не была бы готова уплатить за его любовь. И если Марии Стюарт придется добыть корону для Босуэла ценой преступления, она, ослепленная страстью, не отступит и перед преступлением.

Ибо так же, как Макбет, выполняя демоническое предсказание ведьм, не может стать королем иначе, как ценою крови, ценою полного уничтожения всего королевского рода, так и Босуэлу прегражден честный, законный путь к шотландскому престолу. Дорога к нему ведет через труп Дарнлея. Для того чтобы кровь соединилась с кровью, должна неминуемо пролиться кровь.

В том, что со стороны Марии Стюарт он не встретит серьезных препятствий, когда, освободив ее от Дарнлея, потребует у нее руки и короны, Босуэл, разумеется, ни минуты не сомневался. И если бы даже ясно сформулированное письменное обязательство, якобы найденное в пресловутом серебряном ларце, обязательство, в котором она клялась, «невзирая на любые препятствия, какие стали бы ей чинить ее родичи, а равно и другие лица, сочетаться с ним браком», если бы даже оно было чистейшим мифом или фальшивкой, он и без обещания, скрепленного подписью и печатью, был уверен в ее покорности. Как часто жаловалась она ему — да и не только ему, — до чего тяжела ей мысль, что Дарнлей связан с ней нерасторжимыми узами, как пылко уверяла в своих сонетах, а тем более, надо думать, с глазу на глаз, в часы любовных свиданий, сколь страстно она мечтает навек соединиться с ним, Босуэлом. Да, с этой стороны ему ничто не угрожало, он мог пойти на любую крайность, отважиться на любое безрассудство.

Но Босуэл, конечно, заручился и одобрением лордов, хотя бы молчаливым. Он знает, все они единодушны в своей ненависти к назойливому, несносному мальчишке, их предавшему, и нельзя оказать им большей услуги, как любыми средствами и по возможности скорее убрать его из Шотландии. Босуэл был участником того примечательного сборища в замке Крэгмиллер, на котором в присутствии Марии Стюарт разговор, пусть и в скрытой форме, шел о голове Дарнлея. Первые сановники страны — Меррей, Мэйтленд, Аргайл, Хантлей и Босуэл — сговорились

предложить королеве своеобразную сделку: пусть вернет на родину опальных вельмож, убийц Риччо, — Мортону, Линдсея и Рутвена, а они берутся избавить ее от Дарнлея. В присутствии королевы речь идет сначала о законном освобождении — под словами «to make her quit of him»¹ разумеется официальный развод. Однако Мария Стюарт ставит условием, чтобы расторжение брака было вполне законным и в то же время не угрожало правам ее сына, на что Мэйтленд весьма загадочно ей отвечает: насчет того, что и как, пусть королева положится на них, они это дело поведут так тонко, что сын ее не потерпит никакого ущерба и даже Меррей, уж на что придира (scrupulous), а на многое «закроет глаза», ведь, как протестант, он проще смотрит на эти вещи. Странное заявление, и именно таким оно кажется Марии Стюарт. Не надо делать ничего такого, возражает она Мэйтленду, что «легло бы бременем на ее честь и совесть». За этими темными речами сквозит — и уж от Босуэла это, во всяком случае, не укрылось — некий темный смысл. Ясно лишь одно, что уже тогда все они, Мария Стюарт, Меррей, Мэйтленд, Босуэл — главные актеры этой трагедии, согласились в том, что Дарнлея надо устранить; неясным осталось только, как это сделать — добром, хитростью или силой.

Босуэл, самый нетерпеливый и отчаянный, стоит за силу. Он не хочет и не может ждать, как другие, — ведь для него речь идет не только о том, чтоб убрать с глаз долой ненавистного мальчишку, а о том, чтобы унаследовать после него корону и власть. Пока другие только готовятся и выжидают, он вынужден действовать, и действовать решительно; по-видимому, он давно уже нащупывал почву среди лордов, подыскивая себе помощников и пособников. Но здесь огни истории снова горят приглушенно, ведь преступление всегда готовится в темноте или в неверном, сумеречном свете. Никогда уже не станет известным, кого из лордов и скольких посвятил в свои планы Босуэл, а также чьей помощью или молчаливым согласием он и в самом деле заручился. Меррей, должно быть, знал, но от участия воздержался; Мэйтленд как будто отважился на большее. Положиться можно лишь на признание Мортону, сделанное им на смертном одре. Он только что вернулся из изгнания, затаив смертельную

¹ Избавить от него (англ.).

ненависть к предателю Дарнлею, когда Босуэл, поскакавший ему навстречу, открыто, без околичностей, предложил ему вместе с ним, Босуэлом, убить Дарнлея. Но Мортон с некоторых пор стал осторожен, у него еще свежо в памяти недавнее предприятие, когда соучастники оставили его одного и умыли руки. Он медлит с ответом и спрашивает, требуя гарантий, согласна ли королева на убийство. Да, она согласна, не задумываясь, отвечает Босуэл, которому важно заручиться его поддержкой. Но наученный горьким опытом Мортон знает, как быстро *post festum*¹ забываются устные договоры, и прежде чем связать себя обещанием, требует письменного согласия королевы, черным по белому. По доброму шотландскому обычаю он хочет запастись «бондом», дабы в случае возможных неприятностей ему было на что сослаться. Босуэл и это ему обещает. На самом деле ни о каком «бонде» не может быть и речи, вождеденная свадьба состоится лишь при условии, что королева полностью останется в стороне и в критическую минуту события «застигнут ее врасплох».

Итак, Босуэлу не на кого опереться, это дело падает на него, самого нетерпеливого, самого отчаянного, и у него, конечно, достанет решимости выполнить все самому. Но уже та двусмысленная уклончивость, с какой выслушали его Мортон, Меррей и Мэйтленд, показала, что открыто противиться лорды не будут. Если они и не благословили его намерения официально, то поддержали сочувственным молчанием и дружеским невмешательством. И с того дня, как выясняется, что Мария Стюарт, Босуэл и лорды — все в этом вопросе мыслят одинаково, можно сказать, что дни Дарнлея сочтены.

Собственно, все уже готово. Босуэл призвал на помощь своих головорезов. О том, где и как произойдет убийство, договорились на секретных совещаниях. Но для жертвенного заклятия не хватает главного — самой жертвы. Как Дарнлей ни наивен, а все же он учуял опасность. Уже за много недель он отказался переступить порог Холируда, зная, что еще не разошлись собравшиеся там вооруженные лорды; но и в замке Стирлинг он больше не чувствует себя в безопасности, с тех пор как преданные им убийцы Риччо

¹ После праздника (*лат.*).

по многозначительной амнистии королевы снова вернулись в Шотландию. Непокоримо, не поддаваясь ни на какие приманки и посулы, засел он в Глазго. Там живет граф Ленокс, его отец, там все их друзья, это крепкий, надежный дом, а на случай, если бы враг вторгся силой, в порту день и ночь стоит судно, в любую минуту готовое принять его на борт. А тут еще, словно чтобы охранить его в опасную минуту, судьба посылает ему в первых числах января оспу — удобный предлог, чтобы еще много недель безвыездно просидеть в Глазго, в надежном убежище у самого моря.

Болезнь Дарнлея путает созревшие планы Босуэла, с нетерпением поджидающего свою жертву в Эдинбурге. По каким-то причинам, о которых мы можем только гадать, Босуэл, видимо, торопился: то ли ему не терпелось поскорей добраться до престола; то ли он вполне основательно боялся опасных проволочек, так как слишком много ненадежных людей знало о заговоре; то ли его интимные отношения с Марией Стюарт не остались без последствий — трудно сказать, во всяком случае, ждать он больше не намеревался. Но как заманить больного, заподозрившего недоброе юношу под топор? Как вытащить его из постели, из твердыни родительского дома? Официальное приглашение заставило бы Дарнлея насторожиться, а ведь ни Меррей, ни Мэйтленд, ни кто другой при дворе не настолько близок всем ненавистному, всеми презираемому экс-королю, чтобы убедить его вернуться по доброй воле. И только одна-единственная сохранила над ним власть. Уже дважды заставляла она несчастного юношу, преданного ей раба покориться. Только Мария Стюарт, она одна, надев личину любви к тому, кто жаждет ее любви, может заманить притаившуюся жертву в расставленную ловушку. Из всех людей на свете ей одной дано совершить этот чудовищный обман. А так как и сама она больше себе не госпожа, а лишь послушная марионетка в руках тирана, то достаточно Босуэлу повелеть, и невероятное или, лучше сказать, то, чему наше чувство отказывается верить, свершилось: двадцать второго января Мария Стюарт, уже много недель избегавшая встречи с Дарнлеем, отправляется верхом в Глазго, будто бы для того, чтобы навестить больного супруга, на самом же деле — чтобы, по приказанию Босуэла, заманить его домой, в город Эдинбург, где его ждет не дождется смерть с отточенным кинжалом.

ГЛАВА XII

Дорога к убийству

С 22 января по 9 февраля 1567 года

И вот начинается самая темная строфа баллады о Марии Стюарт. Поездка в Глазго, из которой она привезла своего еще больного супруга прямо в логово заговорщиков, — это один из наиболее сомнительных ее поступков. Снова и снова напрашивается вопрос: была ли Мария Стюарт и вправду подстать древним Атридам — Клитемнестре, с лицемерной заботливостью готовящей вернувшемуся домой супругу Агамемнону теплую ванну, меж тем как убийца и возлюбленный Эгисф затаился в тени с отточенным топором? Или же она сродни леди Макбет, кроткими и льстивыми словами провожающей ко сну короля Дункана, которого Макбет потом зарежет во сне, одна из тех демонических преступниц, какими великая страсть порой делает самых смелых и любящих женщин? А может быть, правильнее мыслить ее безвольной рабой жестокого сутенера Босуэла, движущейся в каком-то трансе исполнительницей чужой непререкаемой воли, наивнопопослушной марионеткой, и не подозревающей о страшных приготовлениях за ее спиной? Чувства отказываются верить такому злодейству, обвинить в сокрытии и соучастии женщину, которая до сих пор была преисполнена человечности. Вновь и вновь ищешь другого, более гуманного и незлобивого истолкования этой поездки в Глазго. Опять и опять откладываешь в сторону, как пристрастные, показания и документы обличающие Марию Стюарт, и с чистосердечной готовностью и желанием дать себя убедить проверяешь те оправдательные доводы, которые ее защитникам удалось найти или изобрести. Увы, при всем желании отнестись к ним с доверием эти адвокатские доводы никого убедить не могут, звено совершенного злодеяния без швов включается в цепь событий, в то время как домыслы защитников при ближайшем рассмотрении рассыпаются в руках трухой.

Ибо как предположить, что нежная забота погнала Марию Стюарт к постели больного Дарнлея и что она забрала его из безопасного убежища в надежде создать ему дома лучший уход? Ведь уже несколько месяцев супруги живут врозь, как чужие. Она не терпит Дарилея в своем присутствии, и, как слезно ни молит он, чтобы Мария Стюарт делила с ним супружеское ложе, его законные

права попираются. Испанский, английский и французский послы в своих донесениях давно говорят о наступившем охлаждении как о чем-то бесспорном и само собой разумеющемся. Лорды официально начали дело о разводе, а про себя помышляют и о менее безобидной развязке. Недавние любовники так равнодушны друг к другу, что, даже услышав, что Мария Стюарт заболела в Джедборо и находится при смерти, преданный супруг отнюдь не спешит проститься с той, которую уже готовят к принятию святых даров. С помощью самой сильной лупы не обнаружите вы в этом союзе и ниточки любви и атома нежности; а значит, предположение, будто горячая забота подвинула Марию Стюарт на эту поездку, отпадает как несостоятельное.

Однако — и это последний довод ее защитников-во-что-бы-то-ни-стало — быть может, Мария Стюарт, отправляясь в Глазго, хотела покончить с злополучной ссорой? Разве не могла она ехать к больному искать примирения? К сожалению, и этот наипоследнейший благоприятный довод опровергается документом за собственноручной ее подписью. Всего за день до отъезда в Глазго в своем письме к архиепископу Битону — неосторожная и не думала, когда писала письма, что они будут свидетельствовать против нее, — Мария Стюарт дала волю своему гневу и раздражению против Дарнлея. «Что до короля, нашего супруга, то одному богу известно, как мы всегда к нему относились, но и богу и всему свету известны его происки и козни против нашей особы; все наши подданные были тому свидетелями, и я нисколько не сомневаюсь, что в душе они осуждают его». Слышен ли здесь кроткий голос миролюбия? Это ли настроение преданной жены, которая в смятении и тревоге спешит к больному мужу? И второе неопровержимое обстоятельство, явно не говорящее в ее пользу, — Мария Стюарт предпринимает эту поездку не просто с тем, чтобы проведать Дарнлея и вернуться домой, а с твердым намерением тут же увезти его в Эдинбург: опять чрезмерная забота, которой, пожалуй, не веришь. Ибо не противно ли всем законам медицины и здравого смысла вытащить оспенного больного, в горячке, с еще не опавшим лицом, из постели и везти зимой, в январе, по лютому морозу, в открытой телеге куда-то за два дня пути? А ведь Мария Стюарт даже телегу прихватила с собой, чтобы Дарнлею некуда было податься, так не терпелось ей

со всею поспешностью отвезти его в Эдинбург, где заговор против него был уже на полном ходу.

А может быть, Мария Стюарт не знала — уж лучше лишний раз прислушаться к доводам ее защитников, шутка ли: несправедливо обвинить человека в убийстве! — может быть, она не знала о готовящемся покушении? Волею судьбы и это сомнение отпадает благодаря дошедшему до нас адресованному Марии Стюарт письму Арчибалда Дугласа. Один из главных заговорщиков Арчибалд Дуглас лично посетил королеву во время ее поездки в Глазго, чтобы добиться от нее открытого одобрения готовящегося заговору убийц. И хоть он и не вырвал у нее ни согласия, ни каких-либо гарантий или обещаний, как могла супруга, узнав, что за крамола тут куется, утаить этот разговор от короля? Как было не предупредить Дарнлея? Более того, как можно было, убедившись в полной мере, что против него что-то затевается, настаивать на его возвращении в это осиное гнездо? В подобных случаях умолчание — больше, чем укрывательство, это — пассивное, скрытое пособничество, ибо тому, кто знает о готовящемся преступлении и не стремится его предотвратить, зачтется в вину самое его равнодушие. В лучшем случае о Марии Стюарт можно сказать, что она не знала о готовящемся преступлении потому, что не хотела знать, что она отворачивалась и закрывала глаза, дабы иметь возможность заявить под присягой: мое дело сторона.

Итак, чувство, что Мария Стюарт в какой-то мере виновна в устранении своего мужа, не покидает непредвзятого исследователя; известным оправданием ей могла бы послужить разве что больная воля, но никак не полное неведение. Ибо не с легкой душой выполняет свою миссию эта раба, не дерзко, не в трезвом рассудке и по собственной воле, а повинуюсь чужой воле, чужому приказу. Не с холодным, коварным, циничным расчетом отправилась Мария Стюарт в Глазго, чтобы выманить Дарнлея из его убежища, — в решительную минуту, как свидетельствуют письма из ларца, ею овладели ужас и отвращение перед навязанной ей ролью. Разумеется, они с Босуэлом заранее обсудили, как забрать Дарнлея домой, но письмо с непреклонной ясностью показывает, что стоило Марии Стюарт очутиться на расстоянии дня пути от ее господина и в

какой-то мере избавиться от гипноза его присутствия, как в этой magna ressatrux¹ внезапно заговорила усыпленная совесть. Всегда бывает так, что человека, которого толкает на преступление таинственная сила, сразу же отличишь от подлинного преступника — преступника из внутренних побуждений, преступление по злему и преднамеренному умыслу — от crime passionel², и деяние Марии Стюарт, быть может, один из самых ярких случаев преступления, совершенного не по личному почину, а под давлением чужой, более сильной воли. В ту минуту, когда Мария Стюарт должна уже привести в исполнение обреченный и принятый план, когда она оказывается лицом к лицу с жертвою, которую ей велено завлечь на бойню, в ней вдруг умолкает чувство ненависти и мести и в душе ее исконно человеческое вступает в борьбу с бесчеловечностью поручения. Запоздалая и тщетная борьба! Ведь Мария Стюарт в этом злодеянии не только коварно подкрадывающийся охотник, но и затравленная дичь. Все время чувствует она за спиной бич, который безжалостно гонит ее вперед. Она трепещет перед неизбежным гневом своего возлюбленного, этого неумолимого сутенера, если не приведет ему назначенной жертвы, но и трепещет потерять своим ослушанием его любовь. И только то, что безвольная тяготится в душе своим злодеянием, что безоружная восстает против навязанного ей поручения, — только это позволяет если не простить ее поступок в свете справедливости, то хотя бы понять его в свете человечности.

В этом более мягком свете злодеяние предстает нам в знаменитом письме, которое она пишет любовнику из дома больного Дарнлея; защитники Марии Стюарт лишь по недалекновидности чураются этого письма, тогда как только оно проливает на ее омерзительный поступок умиротворяющий отблеск человечности. Письмо, словно брешь в стене, приоткрывает нам страшные часы Глазговской трагедии. Время за полночь, Мария Стюарт в ночном одеянии сидит в чужой комнате у столика. Ярко пылает огонь в камине, причудливые тени пляшут по высоким холодным стенам. Но пламя не согревает пустынной комнаты, не дает оно тепла и зябнувшей душе. Снова и снова морозная дрожь пробегает по спине полуодетой женщины: так холодно, и

¹ Великая грешница (лат.).

² Преступление, совершенное в состоянии аффекта (франц.).

она устала, уснуть бы, но она слишком взволнована и возбуждена, и сон бежит ее глаз. Столько страшного и тяжелого пережито за последние недели, за последние часы, все нервы горят и трепещут до болезненно чувствительных кончиков. Содрогаясь от ужаса перед тем, что ей предстоит, но безропотно послушная господину своей воли, духовная пленница Босуэла предприняла эту недобрую поездку, чтобы выманить своего супруга из верного убежища на еще более верную смерть. Немало трудностей встретилось ей. Уже перед городскими воротами остановил ее гонец Ленокса, отца Дарнлея. Старику подозрительно, что женщина, уже многие месяцы с лютой ненавистью избегающая его сына, вдруг заботливо спешит к ложу больного. Старые люди чувствуют приход несчастья, а может быть, Ленокс вспомнил, что всякий раз, как Мария Стюарт искала расположения его сына, она таила в душе какую-то своекорыстную цель. С трудом отразив испытующие вопросы посланца, она счастливо добирается до постели больного, чтобы и здесь — неизбежное следствие ее двойной игры — наткнуться на недоверие. Зачем она привезла с собой телегу, первым делом допытывается Дарнлей, и в глазах его метутся искорки тревоги. И ей приходится крепко зажать сердце в кулаке, чтобы под градом его вопросов не выдать себя ни единой запинкой, не побледнеть и не покраснеть. Но страх перед Босуэлом научил ее притворству. Ласковыми руками и лъстивыми речами убаюкивает она недоверие Дарнлея, постепенно, по ниточке выматывает у него последнюю волю и всучает взамен свою, сильнейшую. Уже к вечеру первого дня половина дела сделана.

И вот она сидит ночью одна, в полутемной комнате, пустой и холодной, свечи проливают призрачный свет, а кругом такая немая тишина, что слышно бормотание самых сокровенных ее мыслей и вздохи растоптанной совести. Ей нет ни сна, ни покоя, безмерно томит ее желание разделить с кем-нибудь тяжесть, что гнетет ей душу, перемолвиться словом в этот час неизбывной тоски и муки. И так как нет его рядом, единственного на земле, с кем она может говорить о несказанном, чего никто знать не должен, кроме него, его одного, — о том страшном злодействе, в котором она боится признаться себе самой, то она берет подвернувшиеся ей листки бумаги и садится писать. Письмо бесконечное. Она не закончит его ни в эту ночь,

ни на следующий день, а только на вторую ночь: здесь человек, совершая преступление, единоборствует со своей совестью. В глубокой усталости, в страшном смятении написаны эти строки, где все путается и мешается в каком-то оцепенении и изнеможении чувств — глупость и глубокомыслие, вопль души, пустая болтовня и стон отчаяния, а черные мысли, как летучие мыши, шныряют вокруг, вычерчивая сумасшедшие зигзаги. То это лепет о незначущих мелочах, то страшным воплем прорывается стон истерзанной совести, вспыхивает ненависть, но страдание заглушает ее, и неизменно поверх всего, широко разливаясь и пламенея, катится бурлящий поток ее любви к тому единственному, чья воля тяготеет над ней, чья рука столкнула ее в эту бездну. Внезапно она замечает, что иссякла бумага. Тогда она продолжает писать на каком-то начатом счете, лишь бы дальше, дальше, все дальше, только бы этот ужас не задушил ее, не удавила тишина, цепляться за него хотя бы словами, за того, к кому она неразрывно прикована — кандалник к кандалнику, кровь к крови. Но в то время, как перо в ее трясущейся руке, словно своей волею, летит по бумаге, она замечает, что все в письме сказано не так, как надо было сказать, что нет у нее сил укротить свои мысли, привести их в порядок. Она улавливает это будто другой половиной сознания и заклинает Босуэла — пусть дважды прочтет ее письмо. Но именно потому, что в письме, насчитывающем три тысячи слов, отсутствует путеводная нить дневного сознания и разума, что мысли в нем путаются и кружат в каком-то смутном мелькании, — именно поэтому оно становится своеобразным, единственным в своем роде документом человеческой души. Ибо здесь говорит не разумное существо — нет, здесь в трансе усталости и лихорадки приоткрывается обычно недоступное взору подсознание, нагое чувство, сбросившее последний покров скромности и стыда. Явственные голоса и смутные подголоски, трезвые мысли и такие, которые она не отважилась бы высказать в полном разуме, сменяют друг друга в этой сумятице чувств. То она повторяется, то противоречит себе, все хаотически волнуется и клокочет в кипении и бурлении страсти. Ни разу или, быть может, только считанные разы доходило до нас признание, в котором духовное и душевное перевозбуждение в момент совершаемого преступления было бы раскрыто с такой полнотой, — нет, никакой Бьюкенен,

никакой Мэйтленд, никто из этих архиумников не мог бы с таким знанием дела, с такой проникательностью, с такой магической точностью измыслить горячечный монолог смятенного сердца, ужасающее положение женщины, которая, совершая тяжкое преступление, не знает иного средства спастись от терзаний совести, как писать и писать своему возлюбленному, стараясь потеряться, забыться, оправдаться и все объяснить, которая убегает в это письмо, чтобы в окружающей тишине не слышать, как бешено колотится в груди ее сердце. И снова невольно вспоминается леди Макбет: так же в развевающихся ночных одеждах блуждает та по темному замку, преследуемая и теснимая страшными мыслями, и, подобно сомнамбуле, выдает свое преступление в потрясающем монологе. Только Шекспиры, только Достоевские способны создавать такие образы, а также их величайшая наставница — Действительность.

Как великолепно уже самое вступление, трогательное сердце до глубины, уже этот начальный затакт: «Я устала, меня клонит в сон, но я не могу не писать, пока есть бумага... Прости мне эти каракули, если чего не разберешь, пусть сердце тебе подскажет... И все же я счастлива, что могу писать тебе, пока все кругом спит, мне же все равно не уснуть, так рвется все мое существо к тебе, в твои объятия, жизнь моя, мой ненаглядный». С неотразимым проникновением рассказывает она, как бедняга Дарнлей обрадовался ее неожиданному приезду: кажется, видишь его перед собой, этого бедного юношу с еще воспаленным от сильного жара, не очистившимся от струпьев лицом. Все эти ночи и дни он лежал один-одинешенек и терзался мыслью, что она, которой он предался душой и телом, так жестоко оттолкнула его и прогнала от себя. И вот она здесь, его прекрасная, юная возлюбленная, эта ласковая женщина снова у его ложа. Бедный глупец так счастлив, что не верит себе — «а вдруг это сон», он так рад ее видеть, «что боится умереть от счастья». Минутами в нем, правда, вскипает старое недоверие, свербят незажившие раны. Все произошло так внезапно, что кажется просто невозможным, — и все же это мелкотравчатое сердце, как часто ни бывало оно обмануто, бессильно заподозрить столь грандиозный обман. Слабому человеку сладко надеяться и верить, тщеславному — легко вообразить, что он любим.

Понадобилась самая малость, чтобы Дарнлей растрогался и размяк; он снова ее раб и снова просит, как в ночь после убийства Риччо, прощения за все обиды, что он ей причинил. «Мало ли твоих подданных против тебя согрешило, и ты всех простила, а ведь я еще так молод. Ты скажешь, что не раз меня прощала, а я снова впадаю все в те же ошибки. Но разве не бывает так, что человек в мои годы, послушавшись дурного совета, и второй и третий раз впадает все в те же ошибки, нарушает данное слово, но зато уж потом, наученный горьким опытом, окончательно берется за ум?» Если ты теперь простишь меня, клянусь, я не заставлю тебя жалеть об этом. И мне ничего от тебя не нужно, только чтобы мы, как верные супруги, делили кров и ложе, а если ты не захочешь меня простить, лучше мне никогда не встать с этой постели... Бог видит, как жестоко я наказан за то, что сотворил себе кумира и ни о чем не могу думать, кроме тебя одной...»

И снова письмо приоткрывает нам далекую комнату, погруженную в полумрак. Мария Стюарт сидит у изголовья больного и внемлет этому взрыву признаний, этим смиренным клятвам. Пришло ее время торжествовать, план удался на славу, опять она обвела вокруг пальца этого недалекого мальчика. Но ей слишком стыдно своего обмана, чтобы радоваться, в самый разгар хлопот душит ее отвращение к совершаемой низости. Помрачневшая, пряча глаза, со смятенной душой, сидит она у постели больного, и даже Дарнлей замечает, что его милую гнетет какая-то неведомая тайна. Бедный околпаченный дурачок старается — не правда ли, гениальная ситуация! — утешить обманщицу, предательницу, он хочет вселить в нее бодрость, веселье, надежду. Он молит ее остаться с ним эту ночь; злосчастный глупец, он снова бредит любовью и нежностью. Страшно чувствовать через письмо, как слабый мальчик опять доверчиво льнет к ней, как он уже в ней уверен. Нет, он не может не глядеть на нее, безгранично наслаждается он возобновленной близостью, которой так долго был лишен. Он просит ее своими руками нарезать ему мясо, и говорит, говорит и выбалтывает по наивности все свои секреты, называет поименно своих дружков и соглядатаев и, ничего не ведая об ее отношениях с Босуэлом, признается в лютой ненависти к Мэйтленду и Босуэлу. И — да это и вполне естественно — чем доверчивее, чем самозабвеннее он выдает себя, тем больше затрудняет он этой женщине ее

задачу предать его, беспомощного, наивного несмышлениша. Против желания, она растрогана, смущена легковерием, бессилцем жертвы. Лишь величайшим напряжением воли продолжает она презренную комедию. «Никогда я от него не слыхала более разумных и кротких речей, и кабы я не знала, что сердце у него из воска, а мое не было бы тверже алмаза, ничей приказ, исключая полученного из твоих рук, не приневолил бы меня побороть сострадание». По всему видно, она уже не чувствует ненависти к бедняге, который тянется к ней воспаленным лицом, пожирает ее голодными, нежными глазами; начисто забыла она все зло, которое глупый лгунишка ей причинил, ей от души хотелось бы спасти его. И в порыве возмущения она всю вину возлагает на Босуэла: «Никогда бы я не пошла на это, чтобы отомстить за себя». Только во имя любви и ничего другого совершит она столь мерзостный обман, употребив во зло это детское доверие. Великолепно звучит вырвавшийся у нее вопль протеста: «Ты вынуждаешь меня к притворству, которое внушает мне ужас и отвращение, ты навязываешь мне роль предательницы. Но помни, если бы не то, что я хочу слушаться тебя во всем, я предпочла бы умереть. Сердце у меня обливается кровью».

Однако раб не может бороться. Он может только стонать, когда свирепый бич гонит его вперед. И с покорной жалобой клонит она голову перед своим господином: «Горе мне! Никогда и никого я не обманывала, а теперь во всем покорна твоей воле. Намекни хоть словом, чего ты хочешь от меня, и, что бы со мной ни стряслось, я покорюсь. Подумай только, не надежнее ли было бы прибегнуть к какому-либо снадобью, он собирается в Крэгмиллер, на тамошние воды и купания». Очевидно, ей хотелось бы измыслить для несчастного более легкую кончину, избежать грубого, грязного насилия; если бы она хоть в какой-то мере принадлежала себе и не была так всецело предана Босуэлу, осталась в ней хоть капля душевных сил, хоть искра моральной самостоятельности, она бы непременно — это чувствуется — спасла Дарнлея. Но она не отваживается на послушание, так как страшится потерять Босуэла и вместе с тем — гениальный психологический штрих, какого не придумать ни одному писателю, — страшится, как бы Босуэл не стал ее презирать за то, что она согласилась на такую низость. С мольбой простирает она руки, умоляя, чтобы он за это «не стал меньше уважать

ее, так как он всему причина». На коленях взывает она, пусть вознаградит любовью все ее нынешние муки. «Всем жертвую я — честью, совестью, счастьем и величием, помни же это и не поддавайся на уговоры своего лживого шурина, ополчающего тебя против самой верной возлюбленной, какая у тебя когда-либо была или будет. И не гляди, что она (жена Босуэла) обливается лживым слезами, а воззри на меня и на то деяние, на которое я иду против воли, единственно чтобы заслужить ее место, и ради которого я готова попрасть собственную природу. И да простит мне бог и да ниспошлет он тебе, бесценный друг, всякого счастья и без счета милостей, каких тебе желает твоя всеподданнейшая и преданнейшая возлюбленная, та, что надеется вскоре стать для тебя чем-то большим в награду за свои муки». Тот, кто непредвзятой душой слышит в этих словах голос измученного, исстрадавшегося сердца, не назовет несчастную убийцей, хотя все, что она делает в эти ночи и дни, ведет к убийству. Ибо чувствуется: в тысячу раз сильнее ее воли ее неволя, ее отвращение и протест. Быть может, в иные часы эта женщина ближе к самоубийству, чем к убийству. Но такова судьба того, кто отдал себя в кабалу: раз отказавшись от своей воли, он уже не волен сам избрать свой путь. Он может лишь служить и повиноваться. И так, спотыкаясь, оступаясь, бредет она все вперед, служанка своей страсти, бессознательная и в то же время до ужаса сознательная сомнамбула своего чувства, увлекаемая в бездну злодеяния.

Уже на следующий день Мария Стюарт выполнила целиком и полностью все, что ей надлежало сделать; наиболее деликатная, наиболее рискованная часть задачи счастливо ей удалась. Королева усыпила подозрения Дарнлея — бедного недалекого малого не узнать, он заметно повеселел, приободрился, у него уверенный и даже счастливый вид. Еще не оправившийся, ослабевший, с изрытым оспинами лицом, он даже пытается нежничать с ней. Ему бы только обниматься и целоваться, и Марии Стюарт стоит величайших усилий, поборов гадливость, сдерживать его нетерпение. Послушный ее желаниям — так же как она послушна желаниям Босуэла, — невольник невольницы, он объявляет, что согласен вернуться с ней в Эдинбург.

Еще больной, закрыв лицо тонким суконным покрывалом, чтобы никто не видел, как оно обезображено, он доверчиво разрешает перенести себя из надежного родительского замка в ожидающую его телегу. И вот наконец жертва на пути к мяснику. Грубой, кровавой частью работы займется Босуэл, и этому отъявленному цинику она дастся неизмеримо легче, чем далось Марии Стюарт ее предательство.

Медленно тянется телега под эскортом верховых по зимней морозной дороге: во вновь обретенном согласии после долгих месяцев непримиримой вражды возвращается в Эдинбург супружеская чета. В Эдинбург — но куда же именно? Разумеется, в Холирудский замок, скажете вы, в королевскую резиденцию, в уютные княжеские палаты. Но нет, Босуэл, всемогущий, распорядился иначе. Король не вернется к себе в замок — потому якобы, что не прошла еще опасность заразы. Ну, тогда, значит, в Стирлинг или в Эдинбургский замок, эту гордую, неприступную крепость? В крайнем случае он заедет на положенни гостя в какой-нибудь другой княжеский дом, хотя бы во дворец епископа. Опять-таки нет! В силу каких-то сугубо подозрительных обстоятельств выбор падает на весьма невзрачный, одиноко стоящий дом, о котором до сей поры не могло быть и речи; — отнюдь не господские хоромы, — к тому же и расположенный в подозрительной местности, за городскими стенами, среди садов и пустырей, — дом, полуразрушенный и годами пустовавший, дом, который трудно охранять и защищать, — странный и многозначительный выбор! Поневоле спросишь, кому взбрело в голову отвести для короля это подозрительно уединенное жилище в Керк о'Филде, по соседству с пользующейся дурной славой Воровской слободой (Thieves Row). И опять-таки здесь замешан Босуэл, ведь он нынче все и вся в Шотландии (all in all). Повсюду и везде натываемся мы в таинственном лабиринте на все ту же красную нить. Повсюду и везде — в письмах, документах, дознаниях — неизменно к нему одному ведет кровавый след.

Этот невзрачный, недостойный короля, затерянный среди пустырей домик, к которому прилегает только одна усадьба, принадлежащая какому-то из приспешников Босуэла, состоит всего лишь из прихожей и четырех комнат. Внизу помещается импровизированная спальня королевы, которой вдруг пришла охота ходить за больным супругом,

хотя еще недавно она и слышать о нем не хотела; вторая комната отведена ее ближним женщинам. Комната побольше наверху предназначена королю, а рядом помещение для его челядинцев. Для этих приземистых комнаток в подозрительном домике не жалеют убранства, из Холируда доставлены ковры и богатые шпалеры, специально для короля переправляется одна из великолепных кроватей, вывезенных Марией де Гиз из Франции, вторая ставится внизу для королевы. А уж Мария Стюарт прямо на все готова — всемерно подчеркивает она свою нежную заботу о Дарнлее. По нескольку раз на дню навещает она его со всей свитой, не давая ему скучать, это она-то, которая — не мешает лишний раз напомнить — уже много месяцев как бежит от него, точно от зачумленного. Три ночи — с четвертого по седьмое февраля — она, покинув свой удобный дворец, ночует в этом уединенном доме. Пусть каждый в Эдинбурге убедится, что король и королева снова живут душа в душу, демонстративно и даже навязчиво афишируется это благоденствие, это задушевное согласие перед всем городом; легко себе представить, как неожиданный поворот в расположении королевы был воспринят всеми, а особенно лордами, с которыми Мария Стюарт еще недавно обсуждала, как бы ей вернее отделаться от мужа. И вдруг эта внезапная, бурная и чересчур уж выставляемая на показ супружеская любовь! Самый догадливый из лордов, Меррей, по-видимому, делает свои выводы — об этом явствует его дальнейшее поведение: он ни на секунду не сомневается, что в этом на диво уединенном домике ведется сомнительная игра, и, как истый дипломат, принимает меры.

И, может быть, только один человек во всем городе, во всей стране свято верит в изменившееся расположение королевы: Дарнлей, незадачливый супруг. Его тщеславию льстит забота, которой она его окружает; с гордостью видит он, что лорды, еще недавно с презрением от него отворачивавшиеся, спешат к его постели с поклонами, с участливыми минами. Преисполненный признательности, докладывает он седьмого февраля отцу в письме, как поправилось его здоровье благодаря тщательному уходу королевы, которая выказала себя на этот раз истинной, любящей женой. Врачи предвещают ему скорое выздоровление, лицо его почти очистилось, ему разрешено переехать во дворец — на понедельник утром заказаны лошади. Еще один день,

и он вернется в Холируд, где снова будет делить с королевой «bed and board»¹, и наконец-то опять воцарится в своем государстве и в ее сердце.

Но понедельнику — десятому февраля — предшествует воскресенье — девятое февраля, — на вечер которого в Холирудском замке назначено веселое празднество. Двое самых верных слуг Марии Стюарт справляют свадьбу: по этому случаю должен состояться пышный ужин и бал, на котором обещала быть сама королева. Но в программе дня не только это общеизвестное событие — есть и другое, все значение которого выяснится только впоследствии. Девятого утром Меррей внезапно спрашивает у сестры дозволения отлучиться ненадолго, он уезжает денька на два, на три в один из своих замков навестить заболевшую жену. А это недобрый знак. Ибо, когда Меррей исчезает с политической арены, всегда у него имеются на то серьезные основания. Что бы здесь ни случилось — переворот или какое-либо трагическое происшествие, — всегда он может потом сказать, что его при этом не было. Тот, кто чувствителен к приближению грозы, должен был бы забеспокоиться, увидев, как этот расчетливый, дальновидный человек спешит ретироваться, пока не ударил гром. И года не прошло, как он вот с таким же невинным видом въехал в Эдинбург наутро после убийства Риччо; и вот он уже снова как ни в чем не бывало уезжает — в утро того самого дня, когда должно свершиться злодеяние, представляя другим расхлебывать кашу, а всю честь и корысть приберегая для себя.

И еще один наводящий на размышления симптом. Повидимому, королева уже сейчас приказывает переправить свое пышное ложе с меховыми одеялами из Керк о'Филда в Холируд. Само по себе это распоряжение вполне уместно, поскольку ближайшую ночь, ночь долгожданного бала, она все равно проведет в замке, а не в Керк о'Филде, а там — и конец разлуке. Но это нетерпеливое желание скорее прибрать на место драгоценное ложе в дальнейшем, по ходу разбирательства, послужит пищей для всяких толков и кривотолков. Правда, и после обеда и вечером ничто не предвещает трагических событий, да и поведение Марии

¹ Постель и стол (англ.).

Стюарт ни капли не отличается от обычного. Днем она в обществе друзей посещает выздоравливающего супруга, вечером, вместе с Босуэлом, Хантлеем и Аргайлом, весело пирует на свадьбе своих челядинцев. А главное, ну до чего трогательно: опять — в самом деле, до чего же трогательно, — опять спешит она, хоть Дарнлей уже вот-вот вернется в Холируд, спешит морозной зимней ночью туда, в уединенный домик Керк о'Филда. Без всяких прерывает оживленную застольную беседу, чтобы еще полчаса посидеть у постели Дарнлея и поболтать с ним. До одиннадцати вечера — не мешает поточнее заметить время — засиживается Мария Стюарт в Керк о'Филде, и только тогда возвращается к себе, в Холируд; в темноте ночи далеко заметна сверкающая шумливая кавалькада, полыхают факелы, мелькают фонари, доносятся взрывы веселого смеха. Раскрываются ворота — весь Эдинбург сможет потом засвидетельствовать, что королева, как нежная жена, наведав больного мужа, вернулась в Холируд, где под пение скрипок и наигрыш волюнок вихрем кружатся танцующие пары. Еще раз смешивается веселая, словоохотливая королева с толпою свадебных гостей и только за полночь удаляется в свои покои, чтобы отойти ко сну.

В два часа ночи от грома содрогнулась земля. Страшный взрыв, «будто выпалили из двадцати пяти пушек», сотряс воздух. И сразу же стало видно, как со стороны Керк о'Филда сломя голову побежали какие-то подозрительные фигуры: что-то ужасное, должно быть, стряслось у короля в уединенном домике. Весь город, объятый страхом и волнением, проснулся и уже на ногах. Распахиваются городские ворота, и в Холируд устремляются гонцы с ужасной вестью, что одинокий домик в Керк о'Филде вместе с королем и его челядью взлетел на воздух. Босуэла, пировавшего на свадьбе — очевидно, чтобы обеспечить себе алиби, меж тем как его молодцы готовили взрыв, — сонного поднимают с постели, вернее он делает вид, будто крепко спал. Он второпях одевается и вместе с вооруженной стражей спешит на место преступления. Трупы Дарнлея и слуги, спавшего в его комнате, находят в саду, в одних рубашках. Дом полностью разрушен порохом взрывом. Установлением этого, весьма для него, по-видимому, неожиданного и прискорбного факта

Босуэл и ограничивается. Так как существо дела известно ему лучше, чем кому-либо другому, он не дает себе труда расследовать, что здесь произошло. Он приказывает подобрать трупы и уже через каких-нибудь полчаса возвращается в замок. И здесь он может доложить ничего не подозревающей королеве, так же, как и он, разбуженной среди крепкого сна, один только голый факт: ее супруг, Генрих, король Шотландский, убит неведомыми злодеями, скрывшимися неведомо куда.

ГЛАВА XIII

Quos deus perdere vult...

С февраля по апрель 1567 года

Страсть способна на многое. Она может пробудить в человеке небывалую, сверхчеловеческую энергию. Она может своим неослабным давлением выжать даже из самой уравновешенной души титанические силы и, ломая все нормы и формы узаконенной нравственности, отважиться и на преступление. Но так же неотъемлемо для нее другое: после стихийного взрыва пароксизм страсти, как бы истощив себя, никнет, спадает. И этим по существу отличается преступник по страсти, действующий в состоянии аффекта, от подлинного, прирожденного, закоренелого преступника. У случайного преступника, преступника по страсти, обычно хватает сил лишь на самое деяние, очень редко на его последствия. Действуя по первому побуждению, слепо устремленный на задуманное дело, он все свои душевные силы отдает одной-единственной цели; и едва она достигнута, едва деяние совершено, как вся его энергия словно отливает, уходит решимость, изменяет разум, отказывается мудрость, и это в то самое время, как холодный, расчетливый преступник с необычайной изворотливостью вступает с следователями и судьями в трудный поединок. Не для самого деяния, как мы видим у преступника по страсти, а для последующей самозащиты прибегает он максимум своих душевных сил.

Марии Стюарт — и это не умаляет, а возвышает ее — не хватило мужества для той преступной ситуации, в которую поставила ее зависимость от Босуэла, ибо если она и сделалась преступницей, то лишь по безрассудству страсти, не своей, а чужой волею. В свое время у нее

недостало сил предотвратить катастрофу, а теперь, когда дело сделано, она и вовсе растерялась. Ей остается одно из двух: или решительно, с чувством омерзения порвать с Босуэлом, который, в сущности, зашел дальше, чем она внутренне допускала, отмежеваться от его деяния, или же, наоборот, помочь ему замести следы, а следовательно, лицемерить, надеть личину страдания, чтобы отвести подозрение и от себя и от него. Но вместо этого Мария Стюарт делает самое безрассудное, самое нелепое, что только можно сделать в ее положении, — то есть ровно ничего. Она остается нема и недвижима и этой полной растерянностью выдает себя с головой. Как заводная игрушка, автоматически выполняющая несколько предписанных движений, она в каком-то трансе покорности подчинилась всем приказаниям Босуэла: поехала в Глазго, успокоила Дарнлея и завлекла его обратно домой. Но завод кончился, механизм бездействует. Именно сейчас, когда ей надо разыграть безутешную скорбь и потрясти своей патетической игрой весь мир, чтобы он безоговорочно поверил в ее невиновность, именно сейчас она устало роняет маску; какое-то окаменение чувств, жестокий душевный столбняк, какое-то необъяснимое безучастие находит на нее; безвольная, она и не пытается защищаться, когда над ней дамкловым мечом нависает подозрение.

Этот странный душевный столбняк, поражающий человека в минуты опасности и словно замораживающий его, обрекая на полное бездействие и безучастие в минуты, когда ему особенно необходимы притворство, самозащита и внутренняя собранность, сам по себе не представляет ничего необычного. Подобное окаменение души — лишь необходимая реакция на чрезмерное напряжение, коварная месть природы тому, кто нарушает ее границы. У Наполеона в вечер Ватерлоо исчезает вся его дьявольская сила воли; молча, как истукан сидит он и не отдает распоряжений, хотя именно сейчас, в минуту катастрофы, они особенно необходимы; куда-то внезапно утекли его силы, как утекает вино из продырявленной бочки. Подобное же оцепенение находит на Оскара Уайльда перед арестом; друзья вовремя предупредили его, у него довольно времени и денег, он может сесть в поезд и бежать через Ламанш. Но и на него нашел столбняк, он сидит у себя в номере и ждет — ждет неизвестно чего, то ли чуда, то ли гибели. Только подобные аналогии — а история знает их тысячи —

помогают нам уяснить себе поведение Марни Стюарт, ее нелепое, бессмысленное, предательски пассивное поведение тех недель, которое, собственно, и навлекло на нее подозрение. До самой катастрофы ничто не указывало на ее договоренность с Босуэлом, ее поездка к Дарнлею могла и вправду означать попытку помириться с ним. Но после смерти Дарнлея его вдова сразу же оказывается в фокусе общего внимания, и теперь либо ее невиновность должна со всей очевидностью открыться миру, либо притворство должно поистине стать гениальным. Но судорожное отвращение к притворству и лжи, видимо, владеет несчастной. Вместо того чтобы рассеять законное подозрение, она полным безучастием еще усугубляет свою вину в глазах мира, представляясь более виновной, чем даже, возможно, была. Подобно самоубийце, бросающемуся в бездну, закрывает она глаза, чтобы ничего не видеть и ничего не чувствовать, она словно жаждет погрузиться в небытие, где не будет места мучительному раздумью и сомнению, а только конец, гибель. Вряд ли история криминалистики когда-либо являла миру другой такой патологически законченный образец преступника по страсти, который в своем деянии истощает все силы и гибнет. *Quos deus perdere vult...* Кого боги замыслили погубить, у того они отнимают разум.

Ибо как повела бы себя невинная, честная, любящая жена-королева, когда бы посланный принес ей среди ночи ужасную весть, что супруг ее только что убит неведомыми злодеями? Она вскочила бы, как ужаленная, как если бы крыша пылала у нее над головой. Она кричала бы, бесновалась, требовала бы, чтобы виновных тотчас схватили. Она бросила бы в тюрьму всякого, на кого пала хоть тень подозрения. Она воззвала бы к сочувствию народа, она просила бы чужеземных государей задерживать на своих рубежах всех беглых из ее страны. Так же как после кончины Франциска II, заперлась бы она в своей опочивальне, и, не выходя ни днем, ни ночью, изгнала бы на долгие недели и месяцы всякое помышление о мирских радостях, развлечениях и веселье в кругу друзей, а главное, не знала бы ни отдыха, ни покоя, пока не был бы схвачен и казнен каждый соучастник злодеяния, каждый виновный в преступном укрывательстве.

Вот как, казалось бы, должна была проявить себя истинно любящая жена, на которую неожиданно-негаданно обрушилось такое известие. И каким это ни звучит парадоксом, примерно эти же чувства, по законам логики, должна была бы симулировать соучастница преступления, ибо ничто так не страшит преступника от подозрений, как вовремя надетая личина невинности и неведения. А между тем Мария Стюарт выказывает после катастрофы такую безучастность, что это бросилось бы в глаза и самому простодушному человеку. Ни следа того возмущения, той мрачной ярости, в которую повергло ее убийство Риччо, или той меланхолической отрешенности, которая овладела ею после смерти Франциска II. Она не посвящает памяти Дарнлея прочувствованной элегии, вроде той, какую написала на смерть первого мужа, но с полным самообладанием, спустя лишь несколько часов после получения страшной вести, подписывает увертливые послания ко всем иноземным дворам, чтобы хоть как-то объяснить убийство, а главное, выгородить себя. В этой более чем странной реляции все поставлено на голову, дело рисуется так, будто убийцы покушались не столько на жизнь Дарнлея, сколько самой Марии Стюарт. По этой, официальной, версии заговорщики якобы находились в заблуждении, полагая, что королевская чета ночует в Керк о'Филде, и только чистая случайность, а именно то, что королева вернулась на свадебное пиршество, помешала ей погибнуть вместе с королем. Недрогнувшей рукой подписывает Мария Стюарт заведомую ложь: «Королеве пока еще неизвестно, кто истинные виновники злодеяния, но она полагается на рвение и усердие своего коронного совета, которому поручено учинить розыск, она же намерена так покарать злодеев, чтобы это стало острасткой и примером на все времена».

Такая подтасовка фактов слишком бросается в глаза, чтобы обмануть кого-либо. Весь Эдинбург видел, как королева в одиннадцатом часу вечера во главе большой кавалькады, далеко озарившей ночь факелами, возвращалась в Холируд из уединенной усадьбы Керк о'Филда. Весь город знал, что она не ночует у мужа, и, значит, сторожившие в темноте убийцы заведомо не покушались на ее жизнь, когда три часа спустя взорвали дом. Да и взрыв был произведен лишь для отвода глаз, скорее всего Дарнлея придушили злодеи, заранее проникшие в дом, — очевид-

ная несуразность официального сообщения лишь усиливает чувство, что дело не чисто.

Но, как ни странно, Шотландия молчит; не только безучастность Марии Стюарт в эти дни настораживает мир, настораживает и безучастность страны. Вы подумайте: случилось нечто невероятное — неслыханное даже в анналах этой кровью писанной истории. Король Шотландский убит в своей столице, мало того, он пал жертвою взрыва. И что же происходит? Содрогнулся ли весь город от ужаса и негодования? Стекаются ли из своих замков дворяне и бароны, чтобы защитить королеву, чья жизнь будто бы в опасности? Вывают ли проповедники со своих кафедр о возмездии? Предпринимают ли власти необходимые меры для разоблачения убийц? Запирают ли городские ворота, берут ли сотнями под стражу подозрительных лиц и пытаются ли их на дыбе? Закрывают ли границы, проносят ли тело убиенного по улицам в траурном шествии всей шотландской знати? Воздвигают ли катафалк на площади, освещая его свечами и факелами? Созывают ли парламент, чтобы заслушать донесение о неслыханном злодеянии и вынести приговор? Собираются ли лорды, защитники трона, на крестное целование, чтобы клятвенно подтвердить свою готовность преследовать убийц? Нет, ничего этого нет и в помине. Странная, зловещая тишина следует за ударом грома. Королева, вместо того чтобы сказать свое слово, заперлась во дворце. Хранят молчание лорды. Ни Меррей, ни Мэйтленд не подают признаков жизни, притаились все те, кто преклонял перед королем колени. Они не порицают убийства и не славят его, настороженно затаились они в тени и ждут, как развернутся события; чувствуется, что гласное обсуждение цареубийства им пока не по нутру, ведь так или иначе, а они были во все посвящены. Да и горожане запираются в четырех стенах и только с глазу на глаз шепчутся о своих догадках. Они знают: маленькому человеку лучше не соваться в дела больших господ, того гляди притянут за чужие грехи. Словом, на первых порах все идет так, как и рассчитывали убийцы: будто произошло пусть и досадное, но не слишком значительное происшествие. В истории Европы, пожалуй, не было случая, чтобы весь королевский двор, вся знать, весь город с такой постыдной трусостью старались прошмыгнуть мимо цареубийства; на удивление каждому, забывают о самых элементарных мерах для прояснения обстоятельств убийства.

Ни полицейские власти, ни судебные не осматривают места преступления, не снимают показания, нет ни сколько-нибудь вразумительного сообщения о происшедшем, ни обращения к народу, проливающего свет на загадочное происшествие, — словом, дело всячески заминают. Труп убитого так и не подвергается медицинскому и судебному освидетельствованию; и поныне не известно, был ли Дарнлей задушен, заколот или (труп был найден в саду, с почерневшим лицом) отравлен еще до того, как убийцы взорвали дом, поистине не пожалев для этого пороху. А чтобы не было лишних разговоров и чтобы не слишком много людей видело труп, Босуэл самым непристойным образом торопит с похоронами. Лишь бы скорее упрятать в землю Генри Дарнлея, похоронить всю эту грязную историю, чтобы не била в нос!

И что каждому бросается в глаза, каждому показывает, какие высокие лица тайно руководили убийством, — Генри Дарнлея, короля Шотландии, даже не удосужились похоронить как подобает. Тело не только не выставляют на катафалке для торжественного прощания, не только не провозят по городу в пышном погребальном кортеже в сопровождении безутешной вдовы, всех лордов и баронов. Никто не палит из пушек, никто не звонит в колокола; тайком, в ночи, выносят гроб в часовню. Без всякой помпы, без почестей, в трусливой спешке тело Генри Дарнлея, короля Шотландии, опускают в склеп, как будто он был убийцей, а не жертвой чужой ненависти и неукротимой алчности. А там — отслужили мессу и по домам. Пусть бесталанная душа не тревожит больше мира в Шотландии! *Quos deus perdere vult...*

Мария Стюарт, Босуэл и лорды рады бы вместе с трупом прихлопнуть гробовой крышкой всю эту темную аферу. Но во избежание лишних вопросов, а также дабы Елизавета не вздумала жаловаться, что ничего не предпринято для раскрытия преступления, решено сделать вид, будто что-то все же делается. Спасаясь от настоящего следствия, Босуэл снаряжает следствие мнимое; этой маленькой уступкой он хочет откупиться от общественного мнения, пусть думают, что «неведомых убийц» усердно ищут. Правда, всему городу известны их имена: слишком много понадобилось соучастников, чтобы следить за усадьбой, закупить всю эту уйму

пороху и перетаскать его мешками в дом. Немудрено, что кого-то и заприметили, да и караульные у городских ворот прекрасно помнят, кого они ночью вскоре после взрыва пускали в город. Но поскольку коронный совет Марии Стюарт, в сущности, состоит теперь из одного только Босуэла да Мэйтленда — из соучастника и укрывателя, — а им довольно поглядеться в зеркало, чтобы увидеть истинных виновников, то версия о «неведомых злодеях» остается в силе и даже обнаружится грамота: две тысячи шотландских фунтов обещано тому, кто назовет имена преступников. Две тысячи шотландских фунтов — заманчивая сумма для бедняка горожанина, но каждый понимает, что стоит сказать лишнее слово, и вместо двух тысяч фунтов заработаешь преждевременные поминки. Босуэл же учреждает нечто вроде военной диктатуры, и его верные приспешники, *borderers*, грозно шныряют по городу. Их оружие, которым они нарочито щеголяют, достаточно внушительно, чтобы у всякого пропала охота молоть языком.

Но когда правду хотят подавить силой, она хитростью выйдет наружу. Закройте ей рот днем, и она заговорит ночью. Уже наутро после оглашения грамоты о награде на рыночной площади находят расклеенные афишки с именами убийц, а одну такую афишку кто-то даже умудрился прибить к воротам Холируда, королевского замка. В листках открыто называются Босуэл и Джеймс Балфур, его пособник, а также слуги королевы — Бастьен и Джузеппе Риччо; на других афишках стоят и другие имена. Но в каждой неизменно повторяются все те же два имени: Босуэл и Балфур, Балфур и Босуэл.

Если бы чувствами Марии Стюарт не владел демон, если бы ее разум и способность рассуждать не были смыты грозовой страстью, если бы воля ее не была в подчинении, ей, раз уж голос народа прозвучал так явственно, оставалось одно — отречься от Босуэла. Ей надо было, сохранись в ее сумрачной душе хоть искра благоразумия, окончательно с ним порвать. Надо было всемерно избегать его, доколе с помощью искусных маневров его невинность не была удостоверена «официально», после чего под благовидным предлогом удалить от двора. И только одного ей не следовало делать: допускать, чтобы человек, которого каждый встречный и открыто и про себя называл убийцею короля,

ее супруга, чтобы этот человек по-прежнему заправлял в доме шотландского короля, и уж во всяком случае не следовало допускать, чтобы именно тот, кого общественное мнение единодушно заклеяло как коновода преступной шайки, возглавил следствие против «неведомых злодеев». Но что того хуже и нелепее: на афишках рядом с именами Босуэла и Балфура в качестве их пособников назывались двое слуг Марии Стюарт — Бастьен и Джузеппе Риччо, брат Давида. Что же должна была сделать Мария Стюарт в первую очередь? Разумеется, предать людей, обвиняемых народной молвой, суду. А вместо этого — и тут недалеко-видность граничит с безумием и самозакланием — она тайно отпускает обоих со своей службы, снабжает паспортами и срочно, контрабандою переправляет за границу. Словом, она поступает не так, как диктует честь, а наоборот: чем выдать суду заподозренных, она помогает им бежать и, как укрывательница, сама себя сажает на скамью подсудимых. Но этим не исчерпывается ее самоубийственное поведение. Достаточно сказать, что ни один человек в эти дни не видел на ее глазах ни слезинки; не уединяется она и в свою опочивальню — на сорок дней в одежде скорби (*deuil blanc*), хотя на этот раз у нее во сто крат больше оснований облечься в траур, а едва выждав неделю, покидает Холируд и отправляется гостить в замок Сетон. Даже простую видимость придворного траура не может соблюсти эта вдова, а главное, верх провокации — это ли не вызов, брошенный в лицо всему свету! — в Сетоне она принимает посетителя — и кого же? Да все того же Джеймса Босуэла, чье изображение с надписью «цареубийца» раздают в эти дни на улицах Эдинбурга.

Но Шотландия — не весь мир, и если лорды, у которых тоже совесть нечиста, и если запуганные обыватели с опаской помалкивают, делая вид, будто вместе с прахом короля погребен и всякий интерес к его убийству, то при дворах Лондона, Парижа и Мадрида не так стоически взирают на ужасное злодеяние. Для Шотландии Дарнлей был чужаком, и, когда он всем опостылел, его привычным способом убрали с дороги; иначе смотрят на Дарнлея при европейских дворах: для них он король, помазанник божий, один из их августейшей семьи, одного с ними неприкосновенного сана, а потому его дело — кровное дело всех

европейских королей. Разумеется, никто здесь не верит фальшивому сообщению, вся Европа с первой же минуты считает Босуэла зачинщиком убийства, а Марию Стюарт его наперсницей; даже папа и его легат в гневе говорят о ввергнутой в ослепление женщине. Но не самый факт убийства занимает и волнует иноземных государей. В тот век не очень-то считались с моралью и не так уж шепетильно оберегали человеческую жизнь. Со времен Макиавелли на политическое убийство в любом европейском государстве смотрели сквозь пальцы, подобные примеры найдутся в анналах чуть ли не каждой правящей европейской династии. Генрих VIII не стеснялся в средствах, когда ему надо было избавиться от своих жен; Филиппу II было бы крайне неприятно подробно рассказать о смерти своего сына дон Карлоса; семейство Борджиа не в последнюю очередь обязано своей темной славой знаменитым своим ядам. Вся разница в том, что князья, где и кто бы это ни был, страшатся навлечь на себя хотя бы малейшее подозрение в вине или даже соучастии: преступления совершают другие, их руки всегда чисты. Единственное, чего ждут от Марии Стюарт, — это хотя бы попытки к самооправданию, и что пуще всего досаждало всем — это ее нелепая безучастность. С удивлением, а затем и досадою взирают иноземные князья на свою неумную, ослепленную сестру, которая и пальцем не шевельнет для того, чтобы снять с себя подозрение: чем, как это обычно делается, распорядиться повесить или четвертовать одного-другого мелкого человечка, она забавляется игрой в мяч, избирая товарищем своих развлечений все того же архипреступника Босуэла. С искренним волнением докладывает Марии Стюарт ее верный посланник в Париже о неблагоприятном впечатлении, какое производит ее пассивность: «Здесь на Вас клеветают, изображая Вас первопричиною преступления; говорят даже, будто оно совершено по Вашему приказу». И с прямою, которая на все времена делает ему честь, отважный служитель церкви заявляет своей королеве, что если она решительно и бесповоротно не отринет свой грех и не искупит его, «то лучше было бы для Вас лишиться жизни и всего, чем Вы владеете».

Таковы ясные слова друга. Когда бы эта потерянная душа сохранила хоть крупицу разума, хоть искру воли, она воспрянула бы и взяла себя в руки. Еще настоятельнее звучит соблезнувшее письмо Елизаветы. Удивительное

стечение обстоятельств: ни одна женщина, ни один человек на земле не могли бы так понять Марию Стюарт в этот страшный час, после ужаснейшего свершения всей ее жизни, как та, что искони была ей злейшей противницей. Елизавета, должно быть, видела себя в этом деянии, как в зеркале; ведь и она была когда-то в таком положении, и на нее пало ужасное и, по-видимому, столь же оправданное подозрение в пору самого пламенного увлечения ее Дадлеем Лестером. Как здесь — супруг, так там на пути влюбленных стояла супруга, которую нужно было устранить, чтобы открыть им дорогу к венцу; с ведома Елизаветы или нет свершилось ужасное — мир никогда не узнает, но только однажды утром Эйми Робсарт, жену Роберта Дадлея, нашли убитой, так же как в случае Дарнлея, «неведомыми убийцами». И тотчас же все взгляды, обвиняя, обратились на Елизавету, как теперь на Марию Стюарт; да и сама Мария Стюарт, в то время еще королева Французская, легкомысленно иронизировала над своей кухней, говоря, что та намерена «выйти за своего шталмейстера (master of the horses), который к этому и женоубийца». Так же как сейчас в Босуэле, весь мир видел тогда в Лестере убийцу, а в королеве его пособницу. Воспоминания о пережитых потрясениях и сделали Елизавету в этом случае лучшей и подлинно искренней советчицей данной ей роком сестры. Ибо мудро и мужественно поступила тогда Елизавета, спасая свою честь: она назначила расследование, безуспешное, конечно, но все же расследование. А главное, она обрезала крылья молве, отказавшись от заветного своего желания — брака с Лестером, который так очевидно для всех запутался. Убийство, таким образом, потеряло всякую связь с ее особой; и этой же тактики Елизавета советует придерживаться Марии Стюарт.

Письмо от 24 февраля 1567 года тем еще замечательно, что это поистине письмо Елизаветы, письмо женщины, письмо человека. «Madame, — восклицает она в своем действительно прочувствованном послании, — я так встревожена, подавлена, так ошеломлена ужасным сообщением о гнусном убийстве Вашего покойного супруга, а моего безвременно погибшего кузена, что не в силах писать; но как ни побуждают меня мои чувства оплакать смерть столь близкого родича, скажу по совести, больше, чем о нем, скорблю я о Вас. О Madame, я не выполнила б долга Вашей верной кухни и истинного друга, когда бы постаралась

сказать Вам нечто приятное, вместо того чтобы стать на стражу Вашей чести; а потому не стану таить слухов, какие повсюду о Вас распространяют, будто Вы расследование дела намерены вести спустя рукава и остерегаетесь взять под стражу тех, кому обязаны этой услугой, давая повод думать, что убийцы действовали с Вашего согласия. Поверьте, ни за какие богатства мира не вскормила бы я в своем сердце мысли столь чудовищной. Никогда бы я не приютила в нем гостя столь зловещего, никогда бы не решилась так дурно помыслить о государыне, особенно же о той, которой желаю всего наилучшего, что только может подсказать мне сердце или чего сами Вы себе желаете. А потому призываю Вас, заклинаю и молю: послушайтесь моего совета, не бойтесь задеть и того, кто Вам всех ближе, раз он виновен, и пусть никакие уговоры не воспрепятствуют Вам показать всему миру, что Вы такая же благородная государыня, как и добропорядочная женщина».

Более честного и человеческого письма эта лицемерка, пожалуй, никогда не писала; выстрелом из пистолета должно было оно прозвучать в ушах оглушенной женщины и наконец пробудить ее к действительности. Снова ей перстом указуют на Босуэла, снова неопровержимо доказывают, что малейшее снисхождение к нему обличит ее самое как соучастницу. Но состояние Марии Стюарт в эти недели — приходится еще и еще раз подчеркнуть это — состояние полной порабощенности. Она так «shamefully enamoured», так постыдно влюблена в Босуэла, что, как доносит в Лондон один из согладатаев Елизаветы, «по ее же словам, готова все бросить и в одной сорочке последовать за ним на край света». Она глуха к увещаниям, ее разум уже не влечен над бурлением крови. И поскольку сама она себя забывает, ей кажется, что и мир забудет ее и ее деяние.

Некоторое время — весь март месяц — пассивность Марии Стюарт как будто бы себя оправдывает. Вся Шотландия молчит, ее вершители суда как бы ослепли и оглохли, а Босуэл — поистине беспримерный случай — при всем своем желании бессилен найти «неведомых злодеев», хотя в каждом доме и на каждом перекрестке горожане шепотом сообщают друг другу их имена. Все знают и называют их, и никто не рискует добиваться

обещанной награды ценою собственной жизни. Но вот поднимается голос. Отцу убитого, графу Леноксу, одному из влиятельнейших вельмож в стране, нельзя же отказать в ответе, когда он справедливо ропщет, что по истечении стольких дней ничего не предпринято для поимки и наказания убийц его сына. Мария Стюарт, которая делит ложе с убийцей и чьей рукой водит укрыватель Мэйтленд, отвечает, разумеется, уклончиво: она, конечно, сделает все от нее зависящее и поручит расследование парламенту. Но Ленокс прекрасно знает, к чему ведет эта проволочка, и повторяет свое требование. Пусть для начала, заявляет он, арестуют тех, чьи имена были названы в афишках, расклеенных по всему Эдинбургу. На требование, так ясно сформулированное, ответить уже труднее. Мария Стюарт снова увиливает: она охотно бы так и сделала, но в афишках указывались столь многие и столь различные имена, ни в какой связи друг с другом не стоящие, — пусть Ленокс лучше сам скажет, на кого он держит подозрение. Очевидно, она надеется, что в страхе перед всемогущим диктатором, учредившим в стране террор, Ленокс не решится произнести страшное имя Босуэла. Но Ленокс заручился поддержкой и укрепился духом: тем временем он снесся с Елизаветой и поставил себя под ее защиту. Ясно и недвусмысленно, недрогнувшей рукой выписывает он, к всеобщему замешательству, имена всех тех, против кого требует учредить следствие. Первым в списке стоит Босуэл, за ним Балфур, Дэйвид Чармерс и кое-кто помельче из людей Марии Стюарт и Босуэла — господа давно постарались сплавить их за границу, чтобы они на дыбе не сболтнули лишнего. И тут обескураженная Мария Стюарт вынуждена признать, что разыгрывать комедию, вести следствие «спустя рукава» ей больше не удастся. За упорством Ленокса она угадывает Елизавету со всей присущей той энергией и авторитетом. Тем временем и Екатерина Медичи в весьма резком тоне дает Марии Стюарт понять, что отныне она считает ее обесчещенной (*dishonoured*) и что Шотландии нечего рассчитывать на дружбу Франции, доколе убийство не будет искуплено добросовестным и беспристрастным судебным следствием. Единственное, что остается Марии Стюарт, это круто повернуть и заменить комедию «тщетных» розысков другой комедией — гласного судопроизводства. Она вынуждена дать согласие на то, чтобы Джеймс Босуэл — мелкими людьмишканн можно будет заняться

позднее — предстал перед судом дворян. Двадцать восьмого марта графа Ленокса официально вызывают в Эдинбург, с тем чтобы двенадцатого апреля он предъявил Босуэлу свои обвинения.

Однако Босуэл не из тех, кто в покаянной одежде, смиренно и робко спешит предстать перед судьями. И если он не отказывается явиться на вызов, то лишь потому, что намерен всеми средствами добиться не осуждения, а оправдательного приговора — *cleansing*. Энергично берется он за приготовления. В первую очередь он побуждает королеву передать под его команду все крепости страны. Все наличное оружие и боевые припасы теперь в его непосредственном ведении. Он знает: сильный всегда прав; к тому же он созвал в Эдинбург всю банду своих *borderers* и снарядил их словно для битвы. Не ведая стыда и сраму, с присущей ему бесцеремонностью и беззастенчивостью, этот повадливый на все дурное человек устанавливает в Эдинбурге самый настоящий режим террора. «Дайте мне только дознаться, — заявляет он во всеуслышание, — кто расклеивал по городу крамольные афишки, и я омою свои руки их кровью», — серьезнейшее предупреждение Леноксу. Он так и ходит, держа руку на кинжале, и точно так же, с кинжалом в руке, шатаются по городу его люди, недвусмысленно заявляя, что они не позволяют, чтобы предводителя их клана, словно преступника, таскали по судам. Пусть только Ленокс посмеет сюда сунуться и оговорить его! Пусть только судьи попробуют осудить его, диктатора Шотландии!

Эти приготовления так афишируются, что у Ленокса не остается сомнений насчет того, что его ждет. Никто не возбраняет ему приехать в Эдинбург и предъявить Босуэлу свои обвинения, но уж после этого Босуэл не выпустит его из города живым. И снова обращается он к своей благодетельнице Елизавете, и та без колебаний шлет Марии Стюарт весьма энергичное письмо, предупреждая ее, пока не поздно, не мирволить столь явному беззаконию, дабы не навлечь на себя подозрения в пособничестве.

«Madame, я не позволила б себе беспокоить Вас этим письмом, — пишет она в крайнем раздражении, — когда б меня не привело к тому заповедь, предписывающая нам возлюбить ближнего, не привели слезные мольбы несчастных. Мне известно, Madame, Ваше распоряжение, коим разбирательство по делу лиц, подозреваемых в убий-

стве Вашего супруга, а моего почившего кузена, назначено на 12-е сего месяца. Чрезвычайно важно, чтобы событию этому не помешали тайные козни и коварные происки, что, судя по всему, вполне возможно. Отец и друзья покойного смиренно молят меня воззвать к Вам, чтобы Вы отложили судебное заседание, так как известно стало, что эти бессовестные люди стараются силою добыть себе то, чего им не удастся достичь честным путем. Поэтому я и вынуждена вмешаться, как из любви к Вам, которой это касается ближе всего, так и для успокоения тех, кто неповинен в столь неслыханных злодеяниях. Ибо даже если б Вы не ведали за собой вины, то одного такого попустительства было бы достаточно, чтобы Вас лишили королевского сана и отдали на поругание черни. Но чем быть подвергнутой такому бесчестию, я бы лучше пожелала Вам честно умереть».

Такой повторный выстрел в упор по нечистой совести должен был бы пробудить к жизни даже онемевшие, окаменелые чувства. Но нет никакой уверенности в том, что это предостережение, сделанное буквально в последнюю минуту, было своевременно получено Марией Стюарт. Ведь Босуэл начеку, этому сумасбродно смелому, неукротимому малому не страшны ни бог, ни черт, а уж на английскую королеву ему и вовсе наплевать. Чрезвычайного посланца Елизаветы, прибывшего с ее письмом, задерживают у ворот клеветы Босуэла и не пропускают во дворец: королева-де почивает, будить ее не велено. В полном недоумении бродит посланец, привезший одной королеве письмо от другой, по улицам города, не зная как быть. Наконец он попадает к Босуэлу и вручает ему письмо, и временщик тут же нагло вскрывает его, прочитывает на глазах у посланца и равнодушно сует в карман. Передал ли он письмо Марии Стюарт, не известно, а впрочем, это и не важно. Порабощенная женщина давно уже ни в чем не перечит своему господину. Она даже, как потом говорили, позволила себе помахать Босуэлу из окна, когда тот в сопровождении своих конных головорезов отправился в Толбут, словно хотела пожелать заведомому убийце успеха в предстоящей комедии правосудия.

Но даже если Марию Стюарт миновало последнее предостережение Елизаветы, то отсюда не следует, что никто

другой ее не предостерег. За три дня до суда к ней наведалься ее сводный брат Меррей; уезжая в длительное путешествие, он пришел проститься. У Меррея явилось внезапное желание проехаться во Францию и Италию, «to see Venise and Milan»¹. Мария Стюарт должна бы знать по неоднократному опыту, что столь внезапное исчезновение Меррея с политической арены предвещает перемену погоды, что он хочет своим демонстративным отсутствием заранее опротестовать позорную пародию на суд. Впрочем, Меррей и не скрывает истинной причины своего отъезда. Он направо и налево рассказывает, что пытался задержать Джеймса Балфура, как одного из главных участников убийства, но ему помешал Босуэл, всячески выгораживающий своих сообщников. А неделю спустя он открыто заявит испанскому послу де Сильва, что «считал оскорбительным для своей чести дальнейшее пребывание в стране, где подобные чудовищные злодеяния остаются безнаказанными». Кто говорит об этом так широко, тот, верно, не станет скрываться от сестры. И действительно, когда Мария Стюарт прощалась с братом, многие видели на ее глазах слезы. Однако она не находит в себе сил удержать Меррея. Она больше ни на что не находит в себе сил, с тех пор как телом и душой предалась Босуэлу. Она может только плыть по течению, безвольная игрушка в его руках, ибо королева в ней отдалась во власть пылающей и покоренной женщины.

Наглым вызовом начинается двенадцатого апреля судебная комедия, и таким же наглым вызовом кончается она. Босуэл отправляется в Толбут, в здание суда, словно на приступ — с мечом на боку, с кинжалом за поясом, окруженный своими присными — около четырех тысяч числом, по явно преувеличенному, впрочем, подсчету; Леноксу же на основании указа, давно сданного в архив, разрешено взять с собой при въезде в город не более шести провожатых. Уже в этом сказалась пристрастность королевы. Однако явиться в суд и сразу же наткнуться на ошетилившиеся клинки Ленокс не решается; зная, что Елизавета послала Марии Стюарт письмо с требованием отложить процесс, и чувствуя за собой такую опору, он

¹ Повидать Венецию и Милан (англ.).

ограничивается тем, что посылает в Толбут одного из своих ленников для зачтения протеста. Отчасти запуганные, отчасти подкупленные землями, золотом и почестями, судьи с великим облегчением усматривают в неявке жалобщика удобный повод избавиться от неудобного судебного разбирательства. После якобы обстоятельного совещания (на самом деле все предрешиено заранее) Босуэлу единодушно выносятся оправдательный приговор — он-де непричастен «in any art and part of the said slaughter of the king»¹ — с трусливой, впрочем, ссылкой на «неявку истца». И этот шаткий приговор, которым ни один честный человек не удовлетворился бы, Босуэл превращает в свой триумф. Бряцая оружием, то и дело выхватывая меч из ножен и потрясая им в воздухе, разезжает он по городу, громко вызывая на поединок всякого, кто и теперь осмелится бросить ему обвинение в убийстве короля или хотя бы в пособничестве убийству.

И вот уже колесо с головокружительной быстротой мчится под уклон — в бездну. Смущенные обыватели потихоньку ропшут и сетуют на беспремерное попрание правосудия, а друзья Марии Стюарт только переглядываются в сердечном сокрушении (with sore hearts) и бессильно разводят руками. Эту безумную и остеречь нельзя. «Больно было видеть, — пишет ее лучший друг Мелвил, — как эта добрая государыня очертя голову стремится навстречу своей гибели, и никто не может ни предупредить ее об опасности, ни удержать». Нет, Мария Стюарт никого не хочет слушать, ей не нужны никакие предостережения; охваченная темным соблазном, подмывающим на любое безрассудство, стремится она все вперед и вперед; не оглядываясь, не спрашивая, не слушая, мчится все дальше и дальше навстречу гибели эта одержимая страстью менада. Вскоре после того достопамятного дня, когда Босуэл бросил вызов городу, она оскорбляет всю страну, предоставив этому закоренелому злодею высшую почесть, какую располагает Шотландия, — совершая свой торжественный выход в день открытия парламентской сессии, она поручает Босуэлу нести впереди нее национальные святыни — корону и скипетр. Теперь уже никто не сомневается, что тот самый Босуэл, который сегодня держит корону в своих руках,

¹ Ни делом, ни помышлением к указанному убийству короля (англ.).

завтра возложит ее себе на голову. И в самом деле, Босуэл — и это каждый раз особенно восхищает нас в этом неукротимом человеке — не из тех, кто долго таится. Нагло, напористо и открыто добивается он заветной награды. Бесцеремонно заставляет он парламент преподнести ему «за выдающиеся заслуги», «for his great and manifold good service», самый укрепленный замок страны — Данбар, и, благо лорды собрались все вместе и послушны его воле, он, взяв их за горло, вырывает у них и последнее: согласие на его брак с Марией Стюарт. Вечером, по окончании парламентских занятий, Босуэл, как великий вельможа и военный диктатор, приглашает всю братию отужинать в таверне Эйнслея. После дружных возлияний, когда большинство перепилось — вспоминается знаменитая сцена из «Валленштейна», — он предлагает лордам подписать бонд, по которому те обязуются не только защищать Босуэла от любого клеветника, но также рекомендовать одного благородного могущественного лорда, «noble puissant lord», в супруги королеве. «Поскольку Босуэл признан невиновным всеми пэрами страны, а рука ее величества свободна, — говорится в пресловутой грамоте, — то ей, ревнуя об общем благе, следовало бы снизойти до брака с одним из ее подданных, а именно с вышеназванным лордом». Они же «как перед богом клянутся» поддержать указанного лорда и защищать его против всех, кто захочет помешать или воспрепятствовать этому браку, не щадя для этого ни крови своей, ни достояния.

Один-единственный человек пользуется наступившим после чтения замешательством, чтобы незаметно покинуть зал; другие, потому ли, что дом окружен вооруженными криспешниками Босуэла, или потому, что в душе они решили при первом же удобном случае отступить от подневольной присяги, подмахнули грамоту. Они знают, что написано пером, прекрасно смывается кровью. А потому никто особенно не задумывается — что значит для этой братии какой-то росчерк пера! — все подписываются и продолжают шировать, пить, болтать, а пуще всех веселится Босуэл. Наконец-то желанный приз у него в руках и он у цели. Еще несколько недель — и то, что кажется нам в «Гамлете» небывальщицей, поэтической гиперболой, здесь становится действительностью: королева, «еще и башмаков не износив, в которых прах сопровождала мужа», идет к алтарю с его убийцей. Quos deus perdere vult...

ГЛАВА XIV

Путь безысходный

С апреля по июнь 1567 года

Невольнo, по мере того как трагедия «Босуэл», нарастая, стремится к своей высшей точке, нам, словно по какому-то внутреннему принуждению, все снова и снова вспоминается Шекспир. Уже внешнее, сюжетное, сходство этой трагедии с «Гамлетом» неоспоримо. И тут и там — король, вероломно убранный с дороги любовником жены, и тут и там — вдова, с бесстыдной поспешностью устремляющаяся к венцу с убийцею мужа, и тут и там — неугасающее действие сил, рожденных убийством, которое труднее скрыть и от которого труднее скрыться, чем было совершить его. Уже одно это сходство поражает. Однако еще сильнее, еще неодолимее воздействует на чувства поразительная аналогия многих сцен шекспировской шотландской трагедии с исторической. Шекспировский «Макбет», сознательно или бессознательно, сотворен из атмосферы драмы «Мария Стюарт»; то, что волею поэта произошло в Дунсианском замке, на самом деле недавно происходило в Холируде. То же одиночество и тут и там после содеянного, тот же тяжкий душевный мрак, те же овеянные жутью пиршества, на которых гости не смеют отдаться веселью и откуда они втихомолку бегут один за другим, между тем как черные вороны несчастья, зловеще каркая, кружат над домом. Иногда не скажешь — Мария ли Стюарт ночами блуждает по дому, не ведая сна, в помрачении разума, смертельно терзаемая совестью, или же то леди Макбет, пытаящаяся смыть невидимые пятна с обгаренных кровью рук? То ли Босуэл перед нами, то ли Макбет, все решительнее и непримиримее, все дерзновеннее и отважнее противостоящий ненависти всей страны и в то же время знающий, что всякое мужество бесплодно и что смертному не одолеть бессмертных духов. И здесь и там — страсть женщины как движущее начало и мужчина как исполнитель, но особенно и здесь и там схожа атмосфера, эта гнетущая тяжесть, что нависла над заблудшими, замученными душами, мужчиной и женщиной, прикованными друг к другу одним и тем же преступлением и увлекающими один другого в пагубную бездну. Никогда в мировой истории и мировой литературе психология преступления и таинственно тяготеющая над убийцей власть убиенного

не проявлялись так блистательно, как в обеих шотландских трагедиях, из коих одна была сочинена, а другая реально пережита.

Это сходство, эта поразительная аналогия только ли случайны? Или же должно признать, что в шекспировском творении реально пережитая трагедия Марии Стюарт нашла свое поэтическое и философское истолкование? Впечатления детства неугасимо властвуют над поэтической душой, и таинственно преображает гений ранние впечатления в вечную, непреходящую действительность. Одно несомненно: Шекспиру были известны события, происшедшие в Холирудском замке. Все его детство в английском захолустье было овеяно рассказами и легендами о романтической королеве, которой безрассудная страсть стоила страны и престола, и теперь, в наказание, ее постоянно перевозят из одного английского замка в другой. Он, верно, совсем недавно прибыл в Лондон, этот юноша — лишь наполовину мужчина, но уже вполне поэт, — когда по всему городу трезвонили колокола, ликуя оттого, что великая противница Елизаветы наконец-то сложила голову на плахе и что Дарнлей увлек за собой в могилу неверную жену. Когда же впоследствии в Голиншедовой хронике он натолкнулся на повесть о сумрачном короле Шотландском, быть может, вспыхнувшее воспоминание о трагической гибели Марии Стюарт таинственным образом связало обе эти темы в творческой лаборатории поэта? Никто не может утверждать с уверенностью, но никто не может и отрицать, что трагедия Шекспира была заранее предопределена той, реально пережитой трагедией. Но лишь тот, кто прочитал и прочувствовал «Макбета», сможет полностью понять Марию Стюарт тех, холирудских дней, невыразимые муки сильной души, которой самое драгоценное ее деяние оказалось не под силу.

Но, что особенно поражает нас в обеих трагедиях, как вымышленной, так и реально пережитой, это полная аналогия в том, как меняются под влиянием содеянного обе героини — Мария Стюарт и леди Макбет. Леди Макбет вначале — преданная, пылкая, энергичная натура, с сильной волей и пламенным честолюбием. Она грезит о величии своего супруга, и эта строка из памятного совета

Марии Стюарт могла быть написана ее рукой: «Pour luy je veux rechercher la grandeur...»

В ее честолюбии — основной стимул преступления, и она действует хитро и решительно, пока дело лишь тень ее желания, лишь замысел и план, пока алая горячая кровь не обагрила ей руки и душу. Льстивыми речами, как и Мария Стюарт, завлекшая Дарнлея в Керк о'Филд, зазывает она Дункана в опочивальню, где его ждет отточенный клинок. Но сразу же после содеянного она уже другая, ее силы исчерпаны, мужество сломлено. Огнем сжигает совесть ее живую плоть, с остановившимся взором, безумная, бродит она по замку, внушая ужас друзьям и отвращение самой себе. Неутолимая жажда разъедает ядом ее измученный мозг — жажда все забыть, ни о чем не думать, ничего не знать, жажда небытия. Но такова же и Мария Стюарт после убийства Дарнлея. С ней происходит перемена, внезапное превращение, даже черты ее лица так несхожи с прежними, что Друри, соглядатай Елизаветы, доносит в Лондон: «Никогда еще не было видно, чтобы за такой короткий срок и не будучи больной женщина так изменилась внешне, как изменилась королева». Ничто больше не напоминает в ней ту жизнерадостную, разумную, общительную, уверенную в себе женщину, какой все знали ее лишь за несколько недель. Она уединяется, прячется, замыкается в себе. Быть может, подобно Макбету и леди Макбет, она все еще надеется, что мир промолчит, если молчать будет она, и что черная волна милосердно пронесется над ее головой. Но по мере того, как все настойчивее звучат голоса и требуют ответа; по мере того, как ночами на улицах Эдинбурга, под самыми ее окнами все громче выкликают имена убийц; по мере того, как Ленокс, отец убитого, ее недруг Елизавета, ее друг Битон, как весь мир восстает против нее, требуя суда и справедливости, рассудок в ней мутится. Она знает — что-то нужно сделать, чтобы скрыть содеянное, оправдаться. Но не находит сил для убедительного ответа, не находит умного обманного слова. Точно в глубоком гипнотическом сне, слышит она голоса из Лондона, Парижа, Мадрида, Рима, они обращаются к ней, увещают, остерегают, но она не в силах воспрянуть, она слышит эти зовы, лишь как заживо погребенный слышит шаги идущих по земле, — бессильно, беспомощно, из глубины отчаяния. Она знает: надо разыграть безутешную вдову, отчаявшуюся супругу, надо ис-

тупленно рыдать и вопить, чтобы мир поверил ее невинности. Но в горле у нее пересохло, она не в силах заговорить, не в силах больше притворяться. Неделя тянется за неделей, пока она не чувствует: дольше она этого не вынесет. Подобно тому, как загнанная лань с мужеством отчаяния поворачивается и бросается на преследователей, подобно тому, как Макбет, стремясь защитить себя, громоздит все новые убийства на убийства, вызывающие о мщении, так и Мария Стюарт вырывается из сковавшего ее оцепенения. Ей уже все равно, что подумает мир, все равно — разумно или безрассудно она поступает. Лишь бы не эта онемелость, лишь бы что-то делать, двигаться все вперед и вперед, все быстрее и быстрее, бежать от этих голосов, убеждающих и угрожающих. Лишь бы вперед и вперед, не задерживаться на месте и не думать, а то как бы не пришлось сознаться себе самой, что никакая мудрость уже не спасет ее. Одна из тайн нашей души в том, что на короткий срок быстрое движение заглушает в нас страх; словно возница, который слыша, что мост под ним гнется и трещит, все шибче нахлестывает лошадей, ибо знает, что одна лишь сумасшедшая езда может его спасти, так и Мария Стюарт во всю мочь гонит вороного коня своей судьбы, чтобы раздавить последние сомнения, растоптать любое прекословье. Только бы не думать, только бы не знать, не видеть — все дальше и дальше в дебри безумия! Лучше страшный конец, чем бесконечный страх! Таков непреложный закон: как камень падает все быстрее, чем глубже скатывается в бездну, так и заблудшая душа без памяти торопится вперед, зная, что кругом безысходность.

Ни один из поступков Марии Стюарт в недели, следующие за убийством, не поддается объяснению доводами разума, а единственно лишь душевным затмением на почве безмерного страха. Даже в своем неистовстве не могла она не понимать, что честь ее навеки загублена и утрачена, что вся Шотландия, вся Европа увидит в браке, заключенном спустя лишь несколько недель после убийства, да еще с убийцею ее супруга, надругательство над законом и добрыми нравами. Достаточно было бы любовникам затаиться и выждать год-другой, и все эти обстоятельства, возможно, позабылись бы. При искусной дипломатической подготовке можно было бы тысячу объяснений придумать, почему именно Босуэла избрала она в супруги. И только

одно неизбежно грозило столкнуть Марию Стюарт в бездну гибели — если она, кощунственно нарушив траур и бросив вызов всему миру, поспешит возложить корону убитого на голову убийцы. Но именно к этой преступной цели и стремится Мария Стюарт в своей постыдной торопливости.

Для столь необъяснимого поведения обычно разумной и тактичной женщины существует лишь одно объяснение: у Марии Стюарт нет иного выхода. По-видимому, ей нельзя ждать, что-то мешает ей ждать, так как всякое ожидание, всякая проволочка грозит разоблачить перед миром то, чего ни одна душа еще не подозревает. И нет иного объяснения для такого безоглядного бегства в брак с Босуэлом, как то — последующие события подтвердят эту догадку, — что несчастная уже знала о своей беременности. Но ведь не сына Генри Дарнлея, не королевского отпрыска носит она под сердцем, а плод запретной, преступной любви. Однако королеве Шотландской неуместно произвести на свет внебрачного младенца, да еще при обстоятельствах, что огненными письменами вещают на всех стенах о ее вине или соучастии. Ибо с непреложной ясностью вышло бы наружу, каким забавам предавалась она со своим возлюбленным в дни траура; ведь каждый может сосчитать, вступила ли Мария Стюарт — и то и другое одинаково зазорно! — в предосудительную связь с Босуэлом до убийства Дарнлея или сразу же после него. Только поторопившись узаконить рождение ребенка, может она спасти его честь, а отчасти и собственную. Ведь если его появление на свет застанет ее супругой Босуэла, то слишком ранние роды не так бросятся в глаза, да и рядом будет человек, который даст ребенку свое имя и отстоит его права. А потому каждый месяц, каждая неделя проволочки — непоправимо упущенное время. Быть может, ей кажется — ужасная альтернатива! — что чудовищное решение взять в мужья убийцу своего мужа все же менее позорно, чем родить внебрачного ребенка и этим открыто признать свой грех. Только допустив как некую вероятность такое неумолимое вмешательство природы, ее элементарных законов, можно как-то понять противоестественное поведение Марии Стюарт в течение этих недель — все прочие домыслы искусственны и лишь затемняют картину ее душевного состояния. Только приняв в соображение этот страх, — страх, который миллионы женщин всех времен познали на собственном опыте и который даже самых чистых и смелых не раз приводил

к превратным и преступным решениям, — мучительный страх перед тем, как бы непрошенная беременность не раскрыла тайны, можно уяснить себе, что заставляло потрясенную женщину так торопиться. Только это, единственно это соображение придает какой-то смысл бессмысленной спешке, одновременно открывая взгляду всю глубину трагедии этой несчастной.

Страшная, убийственная ситуация, сам дьявол не выдумал бы более ужасной. Время не ждет, время, поскольку королева знает, что беременна, вынуждает ее торопиться, а с другой стороны, именно торопливость навлекает на нее подозрение. Как королева Шотландии, как вдова, как женщина, дорожающая своей честью и доброй славой и знающая, что вся страна, весь европейский мир глаз с нее не спускают, Мария Стюарт и думать не должна о супруге с такой сомнительной, ужасной репутацией, как у Босуэля. Но, беспомощная женщина, попавшая в безвыходное положение, она в нем одном видит спасителя. Она и не должна выходить за него замуж и должна непременно. И чтобы мир не угадал истинной причины ее поступка, надо было изобрести другую, от нее не зависящую причину в объяснение этой безумной горячки. Надо было изобрести такой предлог, который сообщил бы смысл немислимому с точки зрения морали и закона поступку, — предлог, который сделал бы брак Марии Стюарт печальной необходимостью.

Однако что может заставить королеву заключить столь неравный брак, снизить до человека столь скромного ранга? Кодекс чести того времени лишь в одном случае, допускал такую уступку: если женщина насильственно обесчещена, виновник обязан был женитьбою восстановить ее честь. Только как оскорбленная женщина могла бы Мария Стюарт с некоторым правом отважиться на этот союз, только тогда можно было бы внушить народу, что она подчинилась неизбежности.

Естественно лишь безысходность отчаяния могла породить такой фантастический план. Только полнейший сумбур в голове мог привести к такому сумбурному решению. Даже неустрашимая Мария Стюарт отступает в ужасе, когда Босуэль предлагает ей разыграть этот трагический фарс. «Зачем я не умерла, я вижу, все кончится так ужасно», — пишет эта мученица. Но что бы ни говорили

о Босуэле моралисты, он верен себе в своей великолепной отваге отчаянного сорвиголовы. То, что ему предстоит разыграть перед всей Европой роль отпетого негодяя, насильника, посягнувшего на честь своей королевы, разбойника с большой дороги, цинично презирающего добропорядочность и закон, нимало его не смущает. Да хоть бы перед ним распахнулись врата ада, не такой он человек, чтобы остановиться на полдороге, когда на карту поставлена корона! Нет опасности, перед которой он отступил бы, — невольно вспомнишь моцартова Дон-Жуана, его дерзновенную выходку, когда он приглашает каменного командора откусать с ним. Рядом с Босуэлом трясется Лепорелло — его шурин Хантлей, согласившийся за взятку в виде кое-каких церковных владений благословить развод Босуэла со своей сестрой. При мысли о столь рискованной комедии душа у трусоватого рыцаря уходит в пятки, и он бросается к королеве, пытаясь ее отговорить. Но Босуэла не тревожит отпадение еще одного союзника, после того как он бросил вызов всему миру; не пугает его и то, что план увоза, по-видимому, кем-то выдан — соглядатай Елизаветы доносит о нем в Лондон накануне назначенного срока; ему безразлично, будет похищение принято за чистую монету или нет, лишь бы оно привело его к цели — стать королем. Он делает все, что вздумает, не боится ничего на свете, и у него еще хватает силы увлечь за собой свою противящуюся жертву

Ибо, как опять-таки показывают письма из ларца, судорожно восстает чувство Марии Стюарт против воли ее господина. Явственно говорит ей предчувствие, что напрасен и этот новый обман, что им не удастся никого обмануть, кроме самих себя. Но, послушная раба, она и на этот раз безропотно подчиняется воле своего господина. Так же покорно, как недавно она помогла ему увезти Дарилея из Глазго, так теперь с тяжелым сердцем помогает «увезти» саму себя, и вся комедия согласованного «похищения» разыгрывается, как по нотам.

Двадцать первого апреля, спустя несколько дней после вынужденного оправдания Босуэла на суде дворян и «награждения» его парламентом, — двадцать первого апреля, еще и двух суток не прошло, как Босуэл в харчевне Эйнслея выманил у лордов согласие на свой брак с коро-

левой, и ровно девять лет минуло, как она полурезбенком была обвенчана с французским дофином, — Мария Стюарт, доселе не слишком заботливая мамаша, вдруг изъясляет горячее желание проведать своего сыночка в замке Стирлинг. Недоверчиво встречает ее граф Мар, официальный опекун наследника, — до него, видимо, дошли слухи. Только в присутствии других женщин разрешено Марии Стюарт встретиться с сыном — верно, лорды страшатся, как бы она не завладела младенцем и не выдала его Босуэлу: всем уже ясно, что эта женщина готова выполнить любое, хотя бы и преступное, приказание своего тирана. В сопровождении нескольких всадников, в том числе и посвященных, конечно, во все Мэйтленда и Хантлея, возвращается королева в Эдинбург. Но в шести милях от города из засады вылетает большой конный отряд во главе с Босуэлом и «нападает» на королевский кортеж. Дело, разумеется, обходится миром; «во избежание кровопролития» Мария Стюарт запрещает своим спутникам оказывать сопротивление. Достаточно Босуэлу схватить за повод ее коня, как королева добровольно «сдается в плен» — позволяет увезти себя в сладостное заточение в замке Данбар. Какому-то переусердствовавшему капитану, который, собрав подмогу, разлетелся было освободить ее, дают понять, что в его услугах не нуждаются, а взятых в плен Мэйтленда и Хантлея наилучшим образом отпускают по домам. Никто не пострадал, все с миром отправляются восвояси, и только королева остается в плену у возлюбленного «насилыника». Больше недели «жертва» делит ложе похитителя, а между тем в Эдинбурге с величайшей поспешностью и не щадя затрат обстригивают дело о разводе Босуэла с его законной супругой — сначала в протестантском суде под тем весьма шатким предлогом, что Босуэл нарушил супружескую верность, согрешив со служанкою, а затем и в католическом — судьи с запозданием спохватились, что Босуэл состоит со своей женой Джейн Гордон в каком-то отдаленном родстве. Но вот благополучно завершена и эта темная сделка. Пришло время объявить миру, что Босуэл, как дерзкий разбойник с большой дороги, напал на бедную королеву и в своей необузданной похоти надругался над ней, и теперь только брак с человеком, овладевшим ею против воли, может восстановить поруганную честь королевы Шотландской.

Однако «похищение» сработано чересчур уж топорно: никто всерьез не верит, что над королевой Шотландии «учинено насилие», и даже испанский посланник, наиболее из всех благожелательный, доносит в Мадрид, что все это чистейшая уловка.

Но как ни странно, именно те, кому обман особенно ясен, притворяются, будто они убеждены в факте насилия: лорды, тем временем подписавшие новый «бонд» на предмет полного свержения Босуэла, отваживаются почти на остроумную каверзу — они принимают версию о похищении королевы со всей подобающей случаю серьезностью. Внезапно преисполняясь трогательной верности, они заявляют с великим возмущением, что «государыня этой страны насильственно содержится в заточении, сие же есть величайшее надругательство над честью Шотландии». С необычным единомыслием договариваются они вырвать беззащитную овечку из пасти злого волка Босуэла. Наконец-то они обрели желанный повод напасть на грозного диктатора из-за угла под флагом ультрапатриотизма. Наспех сговариваются они «избавить» Марию Стюарт от Босуэла и этим помешать свадьбе, которую сами еще неделю назад поощряли.

Разумеется, для Марии Стюарт не может быть худшей услуги, чем это внезапное и назойливое попечение лордов, вознамерившихся вырвать ее из когтей «совратителя». Тем самым у нее выбиты из рук карты, которые она смешала с таким хитрым расчетом. И так как она отнюдь не хочет быть «избавленной» от Босуэла, а, наоборот, хочет навек с ним соединиться, то ей приходится по возможности свести на нет выдумку, будто он ее обесчестил. Если еще вчера она усиленно чернила Босуэла, то сегодня не знает, как обелить его. Разыгранный фарс теряет, таким образом, весь свой смысл. Чтобы уберечь обольстителя от суда и преследований, она выгораживает его со всеми увертками заправского адвоката. «Поначалу с ней, правда, обошлись несколько странно, зато уж потом — как нельзя лучше, и у нее нет оснований жаловаться». А так как не было рядом никого, чтобы прийти ей на помощь, то она «была вынуждена смягчить свое первоначальное неудовольствие и здраво поразмыслить над сделанным предложением». Все постыднее становится положение женщины, запутавшейся в дебрях страсти. Последняя прикрывавшая ее пелена разо-

драна в клочья, и, вырвавшись из чащи, стоит она обнаженная перед насмешниками всего мира.

Глубокое замешательство охватывает друзей Марии Стюарт, когда в первых числах мая они встречают свою высокочтимую королеву по ее возвращении из Эдинбурга: Босуэл ведет ее коня под уздцы, а его солдаты в знак того, что она следует за ним по доброй воле, бросают свои копья наземь. Напрасно пытаются истинные доброжелатели Марии Стюарт и Шотландии предостеречь ослепленную. Французский посланник Дю Крок заявляет ей, что брак с Босуэлом — это конец дружбы с Францией; один из ее верных, лорд Херрис, бросается к ее ногам, а испытанному Мелвилу, который еще в последнюю минуту старается помешать этому браку, приходится бежать от гнева Босуэла. С сокрушенным сердцем взирают они на то, как эта отважная, независимая женщина отдается на волю оголтелого авантюриста, и с тревогой предвидят, что в сумасбродном нетерпении соединиться с убийцей своего мужа она неминуемо утратит престол и честь. Зато враги ее торжествуют. Сбылись во всем своем страшном значении мрачные пророчества Джона Нокса. Его преемник Джои Крэг отказывается вывесить в храме греховное оглашение; не обвиняясь, называет он этот брак «*odious and slanderous before the world*»¹ и только тогда вступает в переговоры, когда Босуэл грозитя отправить его на виселицу. Марии Стюарт приходится все ниже и ниже клонить голову. Теперь, когда все знают, как она спешит со свадьбой, каждый бесстыдный вымогатель старается сорвать с нее побольше за согласие и помощь. Хантлей за хлопоты о разводе Босуэла получает доставшиеся короне церковные земли, католического епископа умавливают высокими титулами и назначениями; но самую тяжкую мзду требует протестантское духовенство. Суровым судьей, а не подданным выступает перед королевою и Босуэлом пастор, требующий от нее публичного самоуничижения: пусть она, католическая государыня, племянница Гизов, обвенчается и по-реформатскому, еретическому, чину. Решившись на эту позорную уступку Мария Стюарт теряет последнюю опору, единственный козырь, какой у нее оставался, — лишается поддержки католической Европы, утрачивает благоволение папы, симпатии Испании и Франции. Теперь

¹ «Презренным и позорным перед всем миром» (англ.).

она — одна против всех. Сбылись слова одного из ее сонетов:

Pour luy depuis j'ay mesprise l'honneur.
Ce qui nous peust seul pourvoir de bonheur.
Pour luy j'ay hazardé grandeur & conscience.
Pour luy tous mes parens j'ay quitte & amis.

Я для него забыла честь мою —
Единственное счастье нашей жизни,
Ему я власть и совесть отдаю,
Я для него покинула семью.
Презренной стала в собственной отчизне.

Но нет средства помочь тому, кто сам отдал себя на закляние; бессмысленных жертв не приемлют боги.

История не припомнит за многие столетия такой трагической свадьбы, как та, что имела место 15 мая 1567 года: все унижение Марии Стюарт, как в зеркале, отразилось в этой мрачной картине. Первый ее брак с французским дофином был заключен среди бела дня; то был день блистательного торжества. Десятки тысяч зрителей приветствовали юную королеву, вся знать стеклась из городов и весей; прибыли послы всех государств полюбоваться на то, как окруженная королевской фамилией и цветом рыцарства дофина торжественно шествует в Нотр-Дам. Мимо ликующих трибун, мимо восторженно машущих окон проходила она в пышной процессии, и весь народ благоговейно и радостно взирал на нее. Уже вторая свадьба была куда скромнее. Не среди бела дня, а в сумерках рассвета, в шесть часов утра, соединил ее священник с правнуком Генриха VII. Однако же на торжество явилась вся знать, присутствовали послы, дни напролет шло пирование, Эдинбург веселился напропалую. Эта же, третья свадьба — с Босуэлом (его еще второпях жалуют титулом герцога Оркнейского) — совершается тайком, словно преступление. В четыре часа утра — город еще спит, ночь нависла над крышами — несколько робких фигур незаметно прокрадываются в замковую часовню, ту самую — не прошло еще и трех месяцев, и королева еще не сняла свой траурный наряд, — где отпевали ее убитого супруга. Пусто на сей раз в часовне. Приглашено много гостей, но явилось оскорбительно мало, никому не хочется быть свидетелем того, как королева Шотландии наденет кольцо на руку, злодейски прикончившую Генри Дарнлея. Почти никто из

лордов королевства не счит нужным прийти и даже не удосужился извиниться, Меррей и Ленокс покинули страну. Мэйтленд и Хантлей — даже эти полуверные — держатся поодаль, а единственный человек, которому она, истовая католичка, поверяла до сих пор свои тайные мысли, ее духовник, навсегда ее покинул: печально возвещает страж ее совести, что отныне считает ее своей утерянной овечкой. Ни один человек, дорожащий своей честью, не хочет видеть, как убийца Дарнлея берет в супружество его жену и как служитель божий благословляет кощунственный союз. Напрасно умоляет Мария Стюарт французского посланника быть на свадьбе, чтобы придать торжеству хотя бы видимость блеска. Всегда столь обязательный друг, он наотрез отказывается прийти. Ведь его присутствие могут истолковать как благопритстование Франции. «Еще подумают, — возражает он в свое оправдание, — что мой король как-то в этом замешан»; к тому же он не хочет признавать в Босуэле супруга Марии Стюарт. Священник не служит обедни, молчит орган, обряд совершается с неприличной поспешностью. Вечеру слуги не осветили свечами зал, готовя его к танцам, не снарядили пиршественных столов. Никто с криками «*Largesse, largesse!*»¹ не швырял денег в народ, как это было на свадьбе с Дарнлеем; холодная, пустая и сумрачная часовня напоминает гроб; угрюмо, словно плакальщики на похоронах, выстроились свидетели странного праздника. Свадебный кортеж не шествует по всему городу улицами сплошного ликования: издрогнув в пустынной часовне, удаляются новобрачные во внутренние покои и прячутся за крепкие затворы.

Именно теперь, когда она у цели, к которой неслась, бросив поводья, не разбирая дороги, именно теперь в душе у Марии Стюарт совершился какой-то надлом. Исступленная ее мечта — завладеть Босуэлом и удержать его — сбылась; лихорадочно ждала она, вперив глаза в одну точку, желанного часа соединения в обманчивой надежде, что его близость, его любовь победит страх. Но теперь, когда ее воспаленный взор не устремлен к одной цели, глаза ее прозревают; она оглядывается и видит вокруг себя пустоту, ничто. Даже между ним, безрассудно любимым, и ею сразу же после женитьбы пошли нелады — всегда,

¹ Щедрость, щедрость! (франц.).

когда двое вовлекают друг друга в гибель, один потом упрекает другого. Уже к вечеру трагического дня свадьбы французский посол находит королеву, обезумевшую, убитую горем. Еще не спустился вечер, а между супругами уже пролегла холодная тень. «Началось похмелье, — сообщает Дю Крок в Париж. — Когда в четверг Ее Величество прислала за мной, я сразу почувствовал, что между ними не все ладно. Чтобы отвести мне глаза, она сказала: если я нахожу ее печальной, то это лишь потому, что она ничего уже не ждет от жизни и жаждет одной лишь смерти. Вчера из-за запертой двери, где они были одни с графом Босуэлом, вдруг раздались ее крики: пусть ей дадут нож, она хочет покончить с собой. Люди, слышавшие эти вопли в соседней комнате, выражали опасение, как бы она чего над собой не сотворила, — один только бог может ей помочь». Ходят все новые слухи о раздорах между супругами, Босуэл, очевидно, смотрит на развод со своей юной красавицей женой как на пустую формальность и все ночи проводит у нее, а не у Марии Стюарт. «Со дня злополучной свадьбы, — сообщает посол в Париж несколько позднее, — Мария Стюарт не перестает стелать и лить слезы» Итак, не успела ослепленная женщина достигнуть того, чего так пламенно добивалась, как она уже знает, что все для нее потеряно и что даже смерть была бы для нее избавлением от той пытки, на которую она сама себя обрекла.

Три недели длится этот горький медовый месяц — три недели неизбывного страха и агонии. Все старания новобрачных как-нибудь удержаться, спастись идут прахом. Босуэл на людях сугубо почтителен и нежен с королевой, он — сама преданность и уважение, но никакие слова и позы уже ничего не могут изменить; в сумрачном молчании взирает город на преступную чету. Тщетно старается диктатор снискать любовь народа: он разыгрывает простодушного, доброго, благочестивого правителя; он посещает проповеди реформатских священников, однако протестантское духовенство держится так же холодно, как и католическое. Он пишет смиренные письма Елизавете — она не внемлет. Он обращается в Париж — его не замечают. Мария Стюарт зовет своих лордов — те шагу не делают из Стирлинга. Она требует, чтобы ей вернули сына, — никакого ответа. Все затаилось, все зловеще безмолвствует вокруг обречен-

ной пары. Босуэл для поднятия духа еще устраивает напоследок маскарад и водные игрища; он сам участвует в них, и королева с трибуны улыбается ему бледной улыбкой. В зеваках, как всегда, недостатка нет, но ликований не слышно. Какое-то оцепенение страха, какая-то мертвая неподвижность объяла страну, одно неосторожное движение — и грянет буря возмущения и гнева.

Однако Босуэл не из тех, кто обольщается сентиментальными иллюзиями. Опытный моряк, он чувствует в грозовой тишине предвестие бури. Как всегда решительный, он берется за приготовления. Он знает: в закладе его голова, и последнее слово в близком споре скажет оружие. Лихорадочно набирает он отовсюду конных и пеших ратников, чтобы достойно встретить нападение. С готовностью жертвует Мария Стюарт для его наемников всем, чем она еще может пожертвовать: продает драгоценности, занимает где только можно и даже — позор для шотландской, оскорбление для английской королевы — отдает перелить недавно привезенную золотую купель — дар Елизаветы крестнику, — чтобы получить лишний десяток золотых монет и хоть немного продлить агонию. Но от молчания лордов все больше веет грозой, свинцовые тучи обложили королевский замок, с минуты на минуту ударит молния. Босуэлу слишком знакомо коварство его сотоварищей, чтобы доверять этому спокойствию, он знает — на него готовится вероломное нападение. И чем ждать приступа в незащищенном Холируде, он седьмого июня, без малого три недели спустя после бракосочетания, бежит в неприступную Бортуикскую крепость, поближе к своим верным. Туда же сзывает Мария Стюарт на двенадцатое июня, очевидно в последней попытке обратиться к народу, своих «subjects, noblemen, knights, esquires, gentlemen and yeomen»¹, предлагая им явиться в полном вооружении, с шестидневным запасом довольствия; видимо, Босуэл замыслил молниеносным ударом разбить всю шайку своих врагов, прежде чем они соберутся с силами.

Но как раз это бегство из Холируда и придает лордам храбрости. С великой поспешностью подступают они к Эдинбургу и захватывают его, не встречая сопротивления. Подручный Босуэла, убийца Джеймс Балфур, торопится

¹ «Подданных, дворян, рыцарей, эсквайров, джентльменов и йоменов» (англ.).

отречься от своего сообщника и сдает врагу неприступную цитадель. Обеспечив себе таким образом тыл, две-три тысячи всадников могут спокойно ударить на Бортуик, чтобы захватить Босуэла еще до того, как он приведет войско в боевую готовность. Но Босуэл не дает взять себя голыми руками, будто испуганный заяц. Не долго думая, выскакивает он в окно и очертя голову мчится прочь, оставив королеву одну в Бортуикском замке. Лорды все еще не отваживаются обнажить оружие против своей монархини и только уговаривают ее порвать с ее погубителем Босуэлом. Однако злосчастная женщина по-прежнему телом и душой предана своему тирану; ночью, переодетая в мужское платье, она смело садится с седло и одна, без провожатых, кинув все на произвол судьбы, скачет в Данбар, чтобы с ним жить или умереть.

Некий многозначительный сигнал должен был бы подсказать королеве, что дело ее безнадежно потеряно. В день бегства в Бортуикский замок внезапно исчезает *without leave-taking*¹ ее последний советник Мэйтленд Летингтонский, единственный, кто и в дни ослепления Марии Стюарт относился к ней с известной благожелательностью. Сравнительно большой отрезок рокового пути пройден Мэйтлендом вместе с его госпожой; быть может, никто так усердно, как он, не помогал сплести удавку для Дарнлея. Но теперь и он учуял задувший противный ветер и, как истый дипломат, всегда поворачивающий свой парус в сторону сильнейшего, а не бессильного, не хочет больше отстаивать явно безнадежное дело. Воспользовавшись суетой при переезде в Бортуик, он поворачивает коня и, незаметно отстав от королевского поезда, направляется в стан лордов. Последняя крыса бежит с тонущего корабля.

Но ничто уже не может испугать или остеречь неукротимую Марию Стюарт. Опасность, как всегда, лишь разжигает в этой изумительной женщине неукротимую отвагу, которая и самым сумасбродным ее выходкам сообщает какое-то романтическое очарование. Прискакав в Данбар в мужском платье, она не находит здесь ни королевского убора, ни лат, ни оружия. Неважно! Что ей теперь жеманство и придворный этикет! На войне как на войне! И Мария Стюарт, не задумываясь, одалживает у бедной

¹ Не простясь (англ.).

женщины одежду, какую носит простонародье: короткую клетчатую юбочку — kilt, красную блузу и бархатную шляпу; пусть у нее в этом одеянии неподобающий, не королевский вид — только бы скакать бок о бок с тем, кто для нее весь мир, с тех пор как она всего лишилась. Босуэл второпях строит свое разношерстное войско. Никто из рыцарей, дворян и лордов не явился на зов, страна уже не повинуетя своей королеве, и только двести наемных аркебузирова в качестве ударного отряда движется на Эдинбург, а за ними тянется плохо вооруженная орда пограничных крестьян, в общем человек тысяча с небольшим. Только непоколебимая воля Босуэла, стремящегося опередить лордов, гонит их вперед. Босуэл знает: лишь безрассудная храбрость способна иной раз спасти то, что кажется разуму полной безысходностью.

У Карберри-хилла, в шести милях от Эдинбурга, сходятся оба полчища (полками их не назовешь). Численное превосходство на стороне королевского войска. Но ни один из лордов, ни один из этих великолепно снаряженных благородных всадников не становится под вызывающе развернутое знамя с королевским львом; кроме наемных аркебузирова, за Босуэлом следуют лишь кое-как вооруженные и не слишком воинственно настроенные люди его клана. А напротив, на расстоянии не более полумили, так близко, что Мария Стюарт различает знакомые лица противников, сверкающими шеренгами на чудо-конях выстроились воинственные лорды, радуясь предстоящему делу. Под странным они собрались знаменем, водрузив его как раз напротив королевского штандарта. На белом поле, распростертое под деревом, лежит тело убитого. Рядом с ним на коленях дитя, плача, простирает ручки к небу со словами «Господи, к тебе взываю о суде и мести!» Тем самым лорды, еще недавно наушавшие Босуэла расправиться с Дарилеем, хотят представить себя благородными мстителами, а также дать понять, что только против убийцы Дарилея выступили они вооружась, а отнюдь не возмущились против своей королевы.

Ярмо и многоцветно полощутся на ветру оба знамени. Но ни там, ни здесь не чувствуется настоящего подъема. Ни одно из полчищ не делает попыток перейти в наступление через разделяющий их ручей; и те и другие будто

чего-то ждут и только издали наблюдают друг за другом. Собранные впопыхах мужичье Босуэла не выказывает большого желанья лечь костыми за дело ему чуждое и темное. Лорды же все еще скованы нерешительностью. Не так это просто — с копьем или мечом в руке, открыто и прямо ударить на свою законную государыню. Одно дело — составить добрый заговор и убрать неугодного короля, ибо всегда найдется один-другой бедняк, которого можно будет потом вздернуть, а самим торжественно умыть руки; подобные темные махинации никогда не тревожили совести лордов; но с поднятым забралом, среди бела дня ринуться на свою монархиню — слишком это противоречило идее феодальной верности, все еще нерушимо владевшей умами.

От французского посланника Дю Крока — он появляется на поле брани в качестве нейтрального наблюдателя — не укрылось настроение обоих станов; не теряя времени, предлагает он повести переговоры. В лагере лордов выкидывают парламентарский флаг, и, радуясь лучезарному летнему дню, оба полчища располагаются бивуаком, каждое по свою сторону ручья. Всадники спешиваются, ратники сбрасывают с себя тяжелые доспехи, и все с удовольствием закусывают, а между тем Дю Крок с небольшим конным эскортом переправляется через ручей и поднимается на холм — в ставку королевы.

Поистине невиданная аудиенция! Королева, никогда не принимавшая французского посла иначе, как в дорогой робе, под тронным балдахинном, сидит на камне в пестром «кильте», короткая юбчонка не прикрывает колен, но достоинство и неумротимая гордость у нее все те же, что и в придворном наряде. Возбужденная, бледная, невыспавшаяся, она дает волю своему гневу. Словно чувствуя себя по-прежнему повелительницей страны, госпожой положения, она требует, чтобы лорды беспрекословно ей покорились. Сами же они вынесли Босуэлу оправдательный приговор, зачем же теперь обвиняют его в убийстве? Сами настаивали на этом браке, а ныне объявляют его преступным! Негодование Марии Стюарт законно, но не время ссылаться на закон, когда поднят меч войны. Пока посол ведет переговоры, подъезжает Босуэл. Посол приветствует его, однако руки не подает. Слово берет Босуэл. Он говорит ясно, без колебаний, в его смелом, открытом взоре ни тени страха; даже Дю Крок вынужден отдать должное безупречной выдержке этого головореза. «Признаться, — пишет он

в своем сообщении, — он показался мне настоящим полководцем, так как говорил со мной с полным сознанием своего достоинства, как искусный и смелый воевода, умеющий вести полки в бой. Я не мог не восхищаться им, ибо он видел, что его противники настроены решительно, сам же едва ли мог рассчитывать и на половину своих людей. И все же он непоколебим». Босуэл предлагает решить дело поединком с любым из лордов, равным ему по рангу. Его дело правое, бог, конечно, не оставит его. Даже в столь отчаянном положении сохраняет он свою веселость, предлагая Дю Кроку наблюдать поединок с одного из холмов — увлекательное будет зрелище! Но королева и слышать не хочет о поединке. Она все еще надеется, что лорды придут к ней с повинной, — неисправимый романтик, она, как всегда, лишена чувства действительности. Вскоре Дю Кроку становится ясной бесполезность его миссии; старый вельможа видит слезы на глазах у Марии Стюарт, он и рад бы помочь ей, но, пока она не откажется от Босуэла, ей нет спасения, а она не желает от него отказаться. Итак, до свидания! Откланявшись с отменной любезностью, он неспешно возвращается в стан лордов.

Время слов миновало, пора дать бой. Но солдаты мудрее своих полководцев. Они видят, что господа чинно беседуют, зачем же им, бедным горемыкам, убивать друг друга в такой погожий летний день? Все разбрелись кто куда; напрасно Мария Стюарт командует в атаку, видя в том единственное спасение, — люди больше не повинуются ей. Вся эта орда с бору да с сосенки, уже шесть-семь часов пребывающая в праздности, постепенно рассыпается, и, как только лорды это замечают, они посылают двести человек всадников отрезать Босуэлу и королеве отступление. Только теперь понимает Мария Стюарт, что им грозит, и, как истинно любящая женщина, думает не о себе, а только о своем возлюбленном Босуэле. Она знает, ни у одного из ее подданных не поднимется рука на нее, зато его они не пощадят, хотя бы уж затем, чтобы он не рассказал чего лишнего, что им, запоздалым мстителям за смерть Дарнлея, может прийтись не по вкусу. Впервые за эти годы ломает она свою гордость. Она посылает в лагерь лордов парламентаря с белым флагом просить начальника конного от-

ряда Керколди Грейнджского прибыть к ней в единственном числе.

Священный приказ королевского величества еще исполнен магической, чудодейственной силы. Керколди Грейнджский останавливает своих всадников. Один, он переправляется на ту сторону к Марии Стюарт и, прежде чем сказать что-либо, верноподданнически преклоняет колено. Он ставит последнее условие: пусть королева откажется от Босуэла и вместе с ними вернется в Эдинбург. Тогда Босуэла не станут преследовать — пусть едет куда захочет.

Босуэл — изумительная сцена, изумительный актер! — стоит в молчании. Ни словом не обращается он к Керколди, ни словом к королеве, чтобы не воздействовать на ее решение. Чувствуется, что он готов и один скакать навстречу двумстам всадникам, которые, стоя у подошвы холма и не выпуская поводьев из рук, только и ждут сигнала Керколди, его поднятого меча, чтобы ринуться на неприятельские линии. И лишь услышав, что королева дала согласие на предложение Керколди, Босуэл подходит и обнимает ее — в последний раз, но они еще этого не знают. Затем он садится на коня и стремительно скачет прочь, сопровождаемый двумя слугами. Горячий сон кончился. Наступает окончательное, жестокое пробуждение.

Страшное, беспощадное пробуждение! Лорды обещали Марии Стюарт отвезти ее в Эдинбург с подобающими почестями, и таково было, по-видимому, их первоначальное намерение. Но едва униженная женщина в своей жалкой, запыленной одежде приближается к обозу наемников, как огненной змейкой вспыхивает насмешка. Пока железный кулак Босуэла защищал королеву, народная ненависть не смела ее коснуться. Но теперь она беззащитна, и ненависть дерзко и бесцеремонно поднимает голову. Королева, сдавшаяся на капитуляцию, не внушает уважения мятежным солдатам. Все сильнее напирают они, сначала движимые любопытством, а затем и возмущением. «На костер шлюху!» «В огонь мужеубийцу!..» — раздаются иступленные крики. Тщетно Керколди колошматит их мечом: едва рассеявшись, озлобленные толпы собираются с новым ожесточением, и вот уж они, будто в триумфальном шествии, выступают впереди своей пленницы, неся в руках знамя с изображением убитого супруга и молящего о мести дитяти. Так с шести до десяти вечера, от Лангсайда до Эдинбурга,

гонят они ее сквозь строй. Из каждого дома, из окружающих деревень прибывают все новые охотники посмотреть небывалое зрелище — плененную королеву, и порой натиск любопытствующих так велик, что они прорывают цепи охраны и солдаты вынуждены прокладывать себе дорогу в толпе; ни разу не извела Мария Стюарт такого унижения, как в тот памятный день.

Но эту гордую женщину можно унижить, но согнуть нельзя. Как рана начинает гореть лишь тогда, когда ее загрязнят, так Мария Стюарт чувствует свое унижение, лишь когда оно сдобрено насмешкой. Ее горячая кровь — кровь Стюартов, кровь Гизов — вскипает, и, вместо того чтобы мудро притвориться равнодушной, она вымещает свою обиду на лордах, призывая их к ответу за народную хулу. Словно разъяренная львица, набрасывается она на них, грозя, что прикажет их вздернуть, распять; схватив за руку лорда Линдсея, едущего рядом, она грозит: «Клянусь этой рукой, не сносить тебе головы!» Как всегда в минуты опасности, ее раздраженная отвага переходит в безумие. Открыто изливает она на лордов свою ненависть, свое презрение, вместо того чтобы мудро промолчать или трусливо заискивать в них.

Быть может, именно ее озлобление вызывает ответное озлобление лордов, быть может, их первоначальные намерения и не заходили так далеко. Ибо теперь, увидев, что им нечего надеяться на прощение, они делают все, чтобы эта строптивница почувствовала свою беззащитность. Вместо того чтобы доставить королеву в Холирудский замок за стенами города, ее везут — и путь ее лежит мимо Керк о'Филда, достопамятного места злодеяния — по главной городской улице, наводненной толпами зевак. Здесь, на Хай-стрит, ее доставляют в дом профоса, словно за тем, чтобы выставить к позорному столбу. Доступ туда запрещен, ни одна из ее дам или служанок не может к ней проникнуть. И вот начинается ночь безысходного отчаяния. Королева уже много дней не раздевалась, с самого утра у нее маковой росинки во рту не было, то, что эта женщина перенесла с восхода до захода солнца, не поддается описанию: она потеряла королевство и возлюбленного. Под ее окнами, словно перед клеткой в зверинце, собирается гнусный городской сброд, непристойные выкрики и площадная ругань доносятся из толпы. И только теперь, когда, по мнению лордов, она достаточно укрощена, с ней всту-

пают в переговоры. В сущности, от нее хотят немногого: лорды требуют, чтобы Мария Стюарт окончательно порвала с Босуэлом. Но за безнадежное дело эта своенравная женщина всегда борется ожесточеннее, чем за то, что сулило бы ей самые радужные надежды. С презрением отвергает она условие своих противников, и один из них вынужден потом признать: «Никогда не приходилось мне видеть женщины более мужественной и неустрашимой, чем королева в эти минуты».

Но угрозы не помогают, и самый умный из лордов пытается действовать хитростью. Мэйтленд, ее испытанный и доселе преданный советник, пускается на более изощренные средства. Играя на ее женской ревности и гордости, он рассказывает Марии Стюарт — кто знает, где тут правда, а где ложь, разве поймешь у дипломата! — что Босуэл ее обманывает: он даже в дни их бракосочетания поддерживал нежные отношения с отставной женой и будто бы клялся ей, что она — его настоящая супруга, а королева только наложница. Но Мария Стюарт давно уже не верит никому из этих обманщиков. Наветы Мэйтленда лишь усиливают ее раздражение, и Эдинбург становится свидетелем жестокого зрелища; он видит свою королеву за оконной решеткой: в изодранном платье, с обнаженной грудью и распущенными по плечам волосами, она, как безумная, вскочила на подоконник и, истерически рыдая, призывает народ спасти ее, так как вельможи заточили ее в тюрьму; и, невзирая на свою ненависть, народ тронут ее страданиями.

Положение час от часу становится невыносимее. Лорды готовы бить отбой. Но они понимают, что чересчур далеко зашли и что обратный путь им закрыт. Отвезти Марию Стюарт в Холируд на правах королевы им уже кажется невозможным; но и оставить ее в доме профоса, среди возбужденной толпы, значило бы рисковать слишком многим — навлечь на себя гнев Елизаветы и чужеземных монархов. Единственного человека, у которого достало бы мужества и авторитета, чтобы принять какое-то решение, — Меррея — нет в стране, а без него лорды не в силах на что-либо отважиться. И потому решено на первых порах отвезти королеву в безопасное место, и в качестве такового избран замок Лохливен. Этот замок стоит посреди озера и со всех сторон отрезан от суши, а владеет им Маргарита Дуглас, мать Меррея, — вряд ли станет она

мирволить дочери Марии де Гиз, женщины, отнявшей у нее Иакова V. Осторожности ради лорды избегают в выданной ими грамоте слова «заточение»; королеву, гласит текст, подвергли домашнему аресту, чтобы помешать ей снестись с помянутым графом Босуэлом или же стакнуться с людьми, кои желали бы защитить его от справедливого возмездия. Это лишь полумера, паллиатив, рожденный страхом и нечистой совестью: восстание еще не решается объявить себя смутой, всю вину лорды валят на бежавшего Босуэла и свое тайное намерение — свергнуть Марию Стюарт с престола — прячут под общими рассуждениями и уклончивыми фразами. Чтобы обмануть народ, с нетерпением ждущий суда над «девкой» (whore) и казни, Марию Стюарт семнадцатого июня вечером увозят в Холируд; триста человек стражи охраняют королеву. Но едва лишь обыватели улеглись спать, как во дворе замка строится небольшой отряд, которому поручается отвести ее в Лохливен, — и до утренней зари длится печальная, одинокая скачка. В первом мерцании рассвета видит Мария Стюарт сверкающую гладь озера, а посреди него — сильно укрепленный, одинокий, неприступный замок, ее место заточения — кто знает, на сколько долгих лет! В лодке перевозят ее на остров, и обитые железом ворота с лязгом захлопываются. Исполненная страсти и мрака баллада о Дарнлее и Босуэле приходит к концу: начинается скорбная и унылая песня причитальная о вечном заточении.

ГЛАВА XV

Низложение

Лето 1567 года

С этого дня, с поворотного в ее судьбе семнадцатого июня, когда лорды засадили свою королеву в замок Лохливен, за крепкие засовы и затворы, Мария Стюарт становится причиной непрекращающейся смуты и смятения в Европе. Ведь в ее лице встал перед веком новый, можно сказать, революционный вопрос неоглядного значения — о том, какие меры следует принять в отношении монарха, впавшего в непримиримый конфликт со своим народом и оказавшегося недостойным королевского венца. Вина здесь неоспоримо лежит на повелительнице: отдавшись на произвол легкомысленной страсти, Мария Стюарт создала

невозможное, нетерпимое положение. Вопреки воле своего дворянства, народа и духовенства она избрала супругом человека, который не только был связан брачными узами, но и единодушно заклеймен общественным мнением как убийца шотландского короля. Презрев закон и добрые нравы, она и теперь отказывается признать этот безрассудный союз недействительным. Даже самые преданные ее друзья согласны между собой в том, что рядом с этим убийцею она не может дальше оставаться правительницей Шотландии.

Но какие существуют средства принудить королеву либо расстаться с Босуэлом, либо отречься от престола в пользу сына? Ответ звучит ошеломляюще: да никаких. Государственные полномочия в то время по отношению к монарху равны нулю; народу еще не дозволено подвергать сомнению или порицанию действия своих властителей, всякая юрисдикция кончается у ступеней трона. Гражданское право не простирается на особу короля, он — за пределами и выше этого права. Как и священник, он рукоположен самим господом богом и ни передать, ни подарить свой сан никому не властен. Никто не вправе лишить помазанника божия его высокого достоинства. С точки зрения абсолютизма позволительнее отнять у монарха жизнь, нежели корону. Можно умертвить венценосца, но не свести его с престола, ибо применить к нему какие-то меры принуждения значило бы посягнуть на иерархический строй мироздания в целом. Мария Стюарт своим преступным браком поставила мир перед совершенно новой задачей. От того, как решится ее судьба, зависел не только единичный конфликт, но и умозрительный принцип, основа целого мировоззрения.

Потому-то лорды так судорожно — в меру доступной им учтивости и обходительности, конечно, — ищут путей уладить дело полюбовно. Даже сейчас, из далей столетий, ясно чувствуется тот трепет, какой внушало им собственное деяние, — шутка ли, посадить свою повелительницу под замок! — и на первых порах для Марии Стюарт не отрезана возможность возвращения, стоит ей лишь объявить свой брак с Босуэлом незаконным и тем признать свою ошибку. Правда, ее популярность и авторитет изрядно пошатнулись, а все же она могла бы на более или менее почетных условиях вернуться в Холируд и со временем избрать себе более достойного супруга. Но у Марии Стюарт

еще не открылись глаза. По-прежнему слепо веря в свою непогрешимость, она не хочет понять, что все эти непрерывные скандалы — Шателляр, Риччо, Дарнлей, Босуэл — навлекли на нее обвинение в преступном легкомыслии. Даже самую ничтожную уступку отвергает она, как недостойную ее. Против всего государства, против всего света защищает она Босуэла, заявляя, что не может от него отказаться, так как иначе дитя, которое она носит, родится бастардом. Она все еще парит в облаках — неисправимый романтик, она не хочет считаться с действительностью. Но это своеволие, которое можно при желании назвать и нелепым и великолепным, с необходимостью вызывает к жизни насильственные меры, какие и были к ней применены, вплоть до той, значение которой еще скажется в веках: ибо не только она, а и кровный ее внук Карл I головой заплатят за свое притязание на неограниченный княжеский произвол.

Но на первых порах, во всяком случае, она еще может рассчитывать на некоторую помощь. Ведь такой конфликт между государыней и народом виден издалека, и ее братьям и единомышленникам, европейским монархам, он не безразличен; особенно решительно на сторону своей давней противницы становится Елизавета. Многие усматривают непоследовательность и недобросовестность в том, что Елизавета вдруг так энергично вступает за соперницу. А между тем поведение Елизаветы и последовательно, и логично, и ясно. Став на сторону Марии Стюарт, она отнюдь не хочет выгородить — и эту разницу нужно всячески подчеркнуть — ни лично Марию Стюарт, ни женщину, ни все ее неблагоприятное и более чем сомнительное поведение. Лишь за королеву вступается она как королева, за чисто умозрительную идею неприкосновенности царственных прав, тем самым отстаивая и собственное дело. Елизавета далеко не уверена в лояльности своего дворянства и потому не может потерпеть, чтобы в соседней стране был безнаказанно подан пример крамолы, когда мятежные подданные поднимают оружие против законной государыни, хватают ее и сажают в затвор. В противном случае ложность Сесилу, который охотно по давнишнему притязательству выручил бы протестантских лордов, она полна решимости вновь привести к послушанию этих мятежников, посягнувших на королевский суверенитет, — в лице Марии Стюарт она защищает собственные позиции. И мы,

в порядке исключения, склонны ей верить, когда она заявляет, что преисполнена глубокого участия к ней. Нимало не медля, обещает она свергнутой королеве поддержать ее по-родственному, хоть и не отказывает себе в удовольствии язвительно поставить на вид оступившейся женщине ее вину. С нарочитой ясностью отделяет она свою личную точку зрения от государственной. «Madame, — пишет она, — относительно дружбы всегда существовало мнение, что счастье приносит друзей, а несчастье их проверяет; и так как пришло время на деле доказать нашу дружбу, мы, исходя из наших всегдашних правил, а также из участия к Вам, сочли за должное в этих кратких словах засвидетельствовать Вам нашу дружбу... Madame, скажу, не обвиняясь, Вы немало огорчили нас, выказав Вашим замужеством столь прискорбный недостаток сдержанности, и нам пришлось убедиться, что никто из Ваших друзей в мире не одобряет Ваших поступков; утаить это от Вас значило бы просто солгать Вам. Вы не могли бы ужаснее замарать свою честь, чем выйдя с такой поспешностью за человека, не только известного всем с самой худшей стороны, но к тому же обвиняемого молвой в убийстве Вашего супруга; не мудрено, что Вы навлекли на себя обвинение в соучастии, хотя мы всемерно уповаем, что оно не соответствует истине. И каким же опасностям Вы подвергли себя, сочетавшись с ним при живой жене, — ведь ни по божеским, ни по человеческим законам Вы не можете считаться его настоящей женой, и дети Ваше не будут считаться рожденными в законе. Отсюда Вы ясно видите, как мы мыслим о Вашем браке и, к великому сожалению, иначе мыслить не можем, какие бы убедительные доводы ни приводил Ваш посланец, склоняя нас на Вашу сторону. Мы предпочли бы, чтобы после смерти мужа Вашей первой заботой было схватить и казнить убийц. Если б это было сделано — что в случае столь ясном не представляло никакой трудности, — мы на многие стороны Вашего брака закрыли бы глаза. Но, поскольку этого не произошло, мы можем лишь, во имя дружбы к Вам и из крови, связывающих нас как с Вами, так и с Вашим почившим супругом, заверить Вас, что мы готовы приложить все наши силы и старания, чтобы достойно воздать за убийство, кто бы из Ваших подданных ни совершил его и сколь бы он ни был Вам близок».

Это ясные слова, острые и отточенные, как бритва, тут не приходится ни мудрить, ни гадать. Слова эти показывают, что Елизавета, через своих соглядатаев, а также по устным донесениям Меррея лучше осведомленная о происшествии в Керк о'Филде, нежели пламенные апологеты Марии Стюарт много веков спустя, не пытается никаких иллюзий насчет соучастия Марии Стюарт. Обвиняющим перстом указывает она на Босуэла как на убийцу. Характерно, что в этом своем дипломатическом послании она пользуется намеренно церемонным оборотом: она-де «всемерно упова-ет», а не глубоко убеждена, что Мария Стюарт не замешана в убийстве. «Всемерно уповаю» — чересчур осторожное выражение, когда речь идет о столь страшном злодеянии, и при достаточно изошренном слухе вы улавливаете, что Елизавета ни в коем случае не поручилась бы за то, что Мария Стюарт невиновна, и только из солидарности хочет она как можно скорее потушить скандал. Однако чем сильнее порицает Елизавета поведение Марии Стюарт, тем упрямее отстаивает она — *sua res agitur*¹ — ее достоинство властительницы. «Но чтобы утешить Вас в Вашем несчастье, о котором мы наслышаны, — продолжает она в том же многозначительном письме, — мы спешим заверить Вас, что сделаем все, что в наших силах и что почтем нужным для того, чтобы защитить Вашу честь и безопасность».

И Елизавета сдержала обещание. Она поручает своему посланнику самым энергичным образом опротестовать все меры, предпринятые бунтовщиками против Марии Стюарт; ясно дает она понять лордам, что, если они прибегнут к насилию, она не остановится и перед объявлением войны. В чрезвычайно резком по тону письме она предупреждает, чтобы они не осмелились призвать к суду помазанницу божию. «Найдите мне в Священном писании, — пишет она, — место, позволяющее подданным свести с престола своего государя. Где, в какой христианской монархии сыщется писанный закон, разрешающий подданным прикасаться к особе своего государя, лишать его свободы или вершить над ним суд?.. Мы не меньше лордов осуждаем убийство нашего августейшего кузена, а брак нашей сестры с Босуэлом несравненно больше огорчил нас, нежели любого из вас. Но вашего последующего обращения с

¹ Заботясь о своей выгоде (*lat.*).

королевой Шотландской мы не можем ни одобрить, ни потерпеть. Велением Божиим вы — подданные, а она — ваша госпожа, и вы не вправе приневолить ее к ответу на ваши обвинения, ибо противно законам естества, чтобы ноги начальствовали над головой».

Однако Елизавета впервые наталкивается на открытое сопротивление лордов, как ни трудно было его ждать от тех, кто в большинстве своем уже годами состоит у нее на тайном жаловании. Убийство Риччо научило их, чего им можно ждать, если Мария Стюарт снова вернется к власти, — никакие угрозы, никакие посулы не побудили ее до сих пор отказаться от Босуэла, а ее истошные проклятья во время обратной скачки в Эдинбург, когда в своем унижении она грозила им великими опалами, все еще звенят у них в ушах, предвещая недоброе. Не для того убрали они со своей дороги сначала Риччо, потом Дарнлея, потом Босуэла, чтобы снова отдаться на милость безрассудной женщины: для них было бы куда удобнее возвести на престол ее сына — годовалое дитя; ребенок не станет ими помыкать, и на два десятилетия, пока несовершеннолетний король не войдет в возраст, они были бы неоспоримыми господами страны.

И все же лорды вряд ли нашли бы в себе мужество открыто восстать против своей благодетельницы Елизаветы, если бы случай не дал им в руки поистине страшное, смертоносное оружие против Марии Стюарт. Спустя шесть дней после битвы при Карберри-хилле низкое предательство спешит преподнести им чрезвычайно радостную для них весть. Джеймс Балфур, правая рука Босуэла в убийстве Дарнлея, чувствует себя не по себе с тех пор, как задул противный ветер, и он видит одну лишь возможность спасти собственную шкуру — совершить новую подлость. Стремясь заручиться дружбой всемогущих лордов, он предает опального друга. Тайно приносит он лордам важную весть о том, что бежавший Босуэл прислал в Эдинбург слугу с поручением незаметно выкрасть из замка оставленный им ларец с важными бумагами. Слугу, по имени Далглиш, тут же хватают, и на дыбе, под страшными пытками несчастный в смертном страхе выдает, где тайник. По его указаниям в замке, под одной из кроватей, находят драгоценный серебряный ларец — Франциск II во время

оно подарил его своей супруге Марии Стюарт, а она, ничего не жалеющая для своего возлюбленного Босуэла, отдала ему вместе со всем остальным и заветный ларец. В этом накрепко запирающемся хитроумными замками сундучке Босуэл хранил свои личные бумаги, в том числе, очевидно, и обещание королевы выйти за него замуж, а также ее письма наряду с другими документами, в частности и теми, что компрометировали лордов. Естественно, Босуэл побоялся захватить с собой столь важные бумаги, отправляясь в Бортуик, на бой с лордами. Он предпочел спрятать их в надежном месте, рассчитывая при удобном случае послать за ними верного слугу. Ведь и «бонд», которым он обменялся с лордами, и обещание Марии Стюарт стать его женой, и ее конфиденциальные письма могли в трудную минуту очень и очень ему пригодиться как для шантажа, так и для самозащиты: заручившись писанными показаниями, он мог крепко держать в руках королеву, если бы эта ветреница пожелала от него отпасть, а также и лордов, если бы они захотели обвинить его в убийстве. Едва почувствовав себя в безопасности, опальный временщик прежде всего подумал о том, как бы снова завладеть драгоценными уликами. Лордам, таким образом, вдвойне повезло с их счастливой находкой: теперь они могли шито-крыто уничтожить все письменные доказательства собственной виновности и в то же время без всякого снисхождения использовать документы, свидетельствующие против королевы.

Одну лишь ночь главарь шайки граф Мортон хранит запертый ларец у себя, а уже на следующий день он сзывает остальных лордов, среди них — факт, заслуживающий особого упоминания, — также и католиков и друзей Марии Стюарт, и в их присутствии шкатулка вскрывается. Тут-то и обнаруживают знаменитые письма и сонеты, писанные ее рукой. Оставив даже в стороне вопрос о том, насколько отличались эти найденные оригиналы от напечатанных потом текстов, мы можем утверждать с уверенностью, что содержание писем оказалось крайне неблагоприятным для Марии Стюарт; с этого часа поведение лордов меняется, они становятся увереннее, смелее, настойчивее. В минуту первого ликования, даже не дав себе времени снять копии с писем, не говоря уже о том, чтобы их подделать, они спешат растрюбить на весь мир радостную весть — шлют гонца к Меррею

во Францию сообщить ему хотя бы общее содержание особенно компрометирующего королеву письма. Они сносятся с французским послом, пытаются с пристрастием слуг Босуэла, попавших к ним в руки, и записывают их показания; такое напористое, целеустремленное поведение было бы невозможным, если бы найденные ими бумаги не содержали достаточно убедительных улик преступного соучастия Марии Стюарт в убийстве. Положение королевы сразу резко ухудшается.

Дело в том, что найденные в столь критическую минуту письма неимоверно усилили позиции мятежников. Наконец-то они обрели своему ослушанию моральное оправдание, которого им так не доставало. До сих пор они царевубийство валили на Босуэла, но в то же время остерегались слишком допекать беглеца из опасения, как бы он в ответ не разоблачил их как соучастников. Марии Стюарт вменялось в вину лишь то, что она вышла замуж за убийцу. Теперь же, благодаря найденным письмам, невинные агнцы внезапно открывают для себя, что королева и сама замешана в убийстве — ее неосторожные письменные признания дают этим завзятым циничным вымогателям могущественное средство привести ее к повиновению. Наконец-то в руках у них орудие, с помощью которого они вынудят ее «добровольно» отдать корону сыну, а станет отпираться, — что ж, можно будет выдвинуть против нее гласное обвинение в прелюбодеянии и соучастии в убийстве. Именно выдвинуть из-за чужого плеча, а не открыто с ним выступить. Ибо лорды прекрасно знают, что Елизавета не позволит им судить свою королеву. А потому они благоразумно ретируются на задний план и требуют открытого процесса предоставляют третьим лицам. Эту миссию — натравить против Марии Стюарт общественное мнение — с великой охотой берет на себя обуянный жестоким злорадством Джон Нокс. После убийства Риччо фанатический проповедник из осторожности покинул страну. Теперь же, когда все его мрачные пророчества насчет «кровавой Иезавели» и того, каких бед она натворит своим легкомыслием, не только сбылись, но даже превзошли все ожидания, он, облаченный в ризы пророка, возвращается в Эдинбург. И вот с амвона громгласно и отчетливо зазвучали призывы возбудить дело против грешной папистки; библический проповедник требует суда над королевой-прелюбодейкой. От воскресенья

к воскресенью тои реформатских проповедников становится все откровеннее. Королеве так же мало простительно нарушение супружеской верности и убийство, кричат они ликующим толпам, как и какой-нибудь простолюдинке. Ясно и недвусмысленно добиваются они казни Марии Стюарт, и это неустанное натравливание делает свое дело. Ненависть, брызжущая с церковных кафедр, вскоре заливаает всю страну. Увлекаемое надеждой увидеть, как женщину, на которую оно взирало с робостью, волокут в одежде кающейся на эшафот, то самое простонародье, которое никогда еще в Шотландии не получало ни прав, ни голоса, теперь требует гласного процесса, и особенно беснуются женщины, распаленные яростью против своей королевы. «The women were most furious and impudent against her, yet the men were bad enough»¹. Каждая нищенка в Шотландии знала, что позорный столб и костер были бы ее уделом, если бы она так же безбоязненно отдалась своей преступной похоти, — так неужто позволить этой женщине, только потому, что она королева, безнаказанно блудить и убивать и к тому же уйти от огненной смерти! Все неистовее звучит в стране клич «На костер шлюху!» — «Burn the whore!» И порядком струсив, докладывает английский посланник в Лондон: «Как бы эта трагедия не кончилась для королевы тем, чем она началась для итальянца Давида и для супруга королевы»

А лордам только того и нужно. Тяжелое орудие подкатили, и оно стоит наготове, чтобы вдребезги разнести дальнейшее сопротивление Марии Стюарт против «добровольного» отречения. Во исполнение требования Джона Нокса уже готов обвинительный акт для публичного процесса, причем Марии Стюарт вменяется в вину «нарушение законов», а также — и тут с осторожностью подбирают слова — «невоздержное поведение с Босуэлом и другими» («incontinence with Bothwell and others»). Если королева и сейчас не отречется от престола, можно будет огласить на суде найденные в ларце письма, прямо говорящие о сокрытии убийства, и тем довершить ее позор. Это вполне оправдало бы смуту перед всем миром. Изобличенную

¹ «Особенно ярятся и бесчинствовали женщины, хотя и мужчины от них не отставали» (англ.).

своей собственной рукой соучастницу убийства и распутницу не поддержит ни Елизавета, ни другие монархи.

Вооружась угрозой гласного трибунала, Мелвил и Линдсей двадцать пятого июля едут в Лохливен. Они везут с собой три изготовленных на пергаменте акта, кои Марии Стюарт надлежит подписать, если она хочет уклониться от позора публичного обвинения. Первый акт гласит, что, наскучив властью, она «рада» избавиться от тягот правления и что у нее нет ни склонности, ни силы их больше нести. Во втором она изъявляет согласие на коронование сына; в третьем не возражает против того, чтобы возложить регентство на ее сводного брата Меррея или другое достойное лицо.

Переговоры ведет Мелвил, из всех лордов по-человечески самый ей близкий. Он уже дважды приезжал в надежде кончить эту свару миром — уговорить ее расстаться с Босуэлом; но она отказалась внять ему под тем предлогом, что дитя, которое она носит во чреве, не должно родиться на свет бастардом. Однако сейчас, когда найдены письма, борьба идет не на жизнь, а на смерть. Сначала королева горячо противится. Она раздражается слезами, она клянется, что с жизнью простится скорее, чем с короной, — и этой своей клятве она пребудет верна до последнего вздоха. Но Мелвил беспощаден, в самых черных красках живописует он то, что ей предстоит: оглашение писем, очная ставка с изловленными слугами Босуэла и, наконец, гласный суд — допрос и приговор. С содроганием видит Мария Стюарт, в какую трясиину позора завела ее опрометчивость. Постепенно страх перед публичным унижением парализует ее сопротивление. После долгих колебаний, после неистовых взрывов гнева и отчаяния она сдается и подписывает все три документа.

Итак, полная договоренность. Но, как и всегда бывало с шотландскими бондами, ни одна из сторон не считает себя связанной данным словом и присягой. Невзирая на свое обещание, лорды не преминут огласить в парламенте письма Марии Стюарт и растрезвонят о ее причастности к убийству по всему миру, чтобы отрезать ей возможность отступления. Со своей стороны и Мария Стюарт отнюдь не считает себя низложенной каким-то росчерком пера на клочке мертвого пергамена. Все, что придает нашему существованию смысл и цену, — честь, верность, долг — никогда не шло для нее в счет по сравнению с ее держав-

ными правами, неотъемлемыми, как жизнь, как кровь, горячо струящаяся в ее жилах.

Несколькими днями позже совершилась коронация малолетнего короля; народу пришлось удовольствоваться более скромным зрелищем, чем оживленное аутодафе на городской площади. Церемония состоялась в Стирлинге, лорд Этол нес корону, Мортон — скипетр, Гленкерт — меч, а за ними выступал Мар, держа на руках младенца, который отныне будет именоваться Иаковом VI Шотландским. И то, что обряд помазания совершает Джон Нокс, свидетельствует перед всем миром, что это дитя, этот вновь венчаемый король навсегда избавлен от тенет римского лжеисповедания. За воротами замка ликует народ, празднично звонят колокола, по всей стране зажигают костры. На какое-то мгновение — увы! всегда лишь на мгновение — в Шотландии вновь воцаряются радость и мир.

А теперь, когда с трудной и неприятной работой покончено, ничто не мешает Меррею, этому актеру на выигрышные роли, вернуться триумфатором домой. Снова блестяще оправдала себя его коварная тактика — в минуту опасных поворотов отступать в тень. Он отсутствовал при убийстве Риччо, отсутствовал при убийстве Дарнлея, не замешан он и в мятеже против сестры; его верность не запятнана, на его руках нет крови. Все для мудро исчезнувшего со сцены сделало время. Так как он сумел расчетливо выждать, то теперь ему с почетом и без малейшего труда само падает в руки то, чего он втайне алкал. Единогласно предлагают ему, как самому разумному из лордов, взять на себя регентство.

Но Меррей, рожденный властвовать, поскольку он умеет властвовать собой, отнюдь не хватается за предложенную честь. Он слишком умен, чтобы принять ее как милость от людей, которыми ему должно повелевать. К тому же да никто не подумает, будто он, любящий и покорный брат, притязает на право, насильственно отнятое у его сестры. Нет, пусть она сама — психологически мастерский штрих — навяжет ему регентство: он жаждет полномочий и просьб от обеих сторон — как от восставших лордов, так и от низложенной королевы.

Сцена его приезда в Лохливен достойна пера великого драматурга. При виде сводного брата страдальца неужели бросается в его объятия. Наконец-то она обретет утешение, поддержку, дружбу, а главное — недостающий ей добрый совет. Но Меррей с намеренным равнодушием смотрит на ее волнение. Он уводит ее в спальню и сурово отчитывает за все, что она натворила, ни единым словом не подавая надежды на снисхождение. Ошеломленная его холодностью, королева раздражается слезами, оправдывается, защищается. Но прокурор Меррей молчит, молчит и молчит с насупленным челом. Чтобы поддержать в отчаявшейся женщине страх, он делает вид, будто в его молчании скрыта еще неведомая угроза.

На всю ночь оставляет Меррей сестру в этом чистилище страха; пагубный яд неуверенности, который он по капле влил в нее, должен сперва глубоко просочиться ей в душу. Беременная женщина, оторванная от мира — иноземным послам доступ к ней закрыт, — не знает, что ее ждет: гласное обвинение или суд, позор или смерть. Всю ночь не смыкает она глаз, и к утру силы ее сломлены. И тут Меррей начинает понемногу применять снисхождение. Осторожно намекает он, что, если она откажется от попыток к бегству и всяких сношений с иностранными дворами, а главное — порвет с Босуэлом, быть может, еще удастся — он говорит это неуверенным тоном — спасти в глазах мира ее честь. Даже это мерцание надежды вливает жизнь в несчастную, отчаявшуюся женщину. Она бросается в объятия брата, просит, молит, пусть он возьмет на себя тяготы регентства. Тогда ее сын будет в полной сохранности, государство — в руках мудрого правителя, а сама она — в безопасности. Она молит и молит, и Меррей заставляет себя долго просить при свидетелях, пока великодушно не соглашается принять из ее рук то, за чем он, собственно, и явился. Он уходит довольный, оставляя успокоенную Марию Стюарт; теперь, когда она знает, что власть в руках ее брата, она тешит себя надеждой, что пресловутые письма останутся тайной и честь ее спасена.

Но нет милости для бессильного. Как только Меррей берет бразды в свои жесткие руки, он прежде всего старается сделать возвращение сестры невозможным: как регент, он хочет морально прикончить неудобную конкурентку. Уже и речи нет о ее освобождении, напротив, все

делается для того, чтобы задержать пленницу в ее узилище. Несмотря на данное Мерреем Елизавете, а также и сестре обещание защитить ее честь, с его ведома и попушения пятнадцатого декабря в шотландском парламенте позорящие Марию Стюарт письма и сонеты извлекаются из серебряного ларца, зачитываются вслух, сравниваются и признаются подлинными. Четыре епископа, четырнадцать аббатов, двадцать графов, пятнадцать лордов и более тридцати мелкопоместных дворян, среди них немало близких друзей королевы, удостоверяют честью и присягой подлинность писем и сонетов, и ни один голос, даже из лагеря друзей — немаловажный факт, — не выражает ни малейшего сомнения. Так парламентское заседание превращается в трибунал, незримо стоит королева перед судом своих подданных. Все беззакония последних месяцев — смута, заточение, — едва лишь письма прочтены, узакониваются, и со всей ясностью заявляется, что королева заслужила свою кару, так как убийство ее супруга произошло с ее ведома и соизволения (*art and part*), «что доказано письмами, писанными ее рукой как до, так и после убийства и обращенными к Босуэлу, главному зачинщику и коноводу, а также позорным браком, в который она вступила тотчас же после убийства». А чтобы весь мир узнал вину Марии Стюарт и дабы всем стало ведомо, что честные, добропорядочные лорды лишь из чисто моральных побуждений восстали против нее, иностранным дворам рассылаются копии писем; так Марию Стюарт объявляют отверженной перед всем миром и выжигают у нее на лбу клеймо позора. С этим алым знаком поношения на челе она уже не осмелится — так полагают Меррей и лорды — требовать себе короны.

Но Мария Стюарт столь прочно замурована в сознание своего королевского величия, что ни поношение, ни поругание не в силах ее смирить. Нет клейма, чувствует она, которое изуродовало бы лоб, носивший царственный обруч и помазанный елеем избранничества. Ни перед чьим приговором или приказом не склонит она головы, и чем больше заталкивают ее под ярем бесславного прозябания, тем решительнее она противится. Таковую волю не удержишь взаперти; она взрывает самые крепкие стены, сносит плиты. А если заковать ее в цепи, она будет потрясать ими так, что содрогнутся стены и сердца.

ГЛАВА XVI

Прощание со свободой

С лета 1567 года по лето 1568 года

Если сумрачные сцены трагедии о Босуэле потребовали бы для своего художественного воплощения гениальности Шекспира, то более мягкие, романтически взволнованные сцены эпилога, разыгравшегося в замке Лохливен, выпало воссоздать писателю куда менее значительному — Вальтеру Скотту. И все же душе того, кто прочел эту книгу в детстве, мальчиком, она говорит несравненно больше, нежели любая историческая правда, — ведь в иных редких, избранных случаях прекрасная легенда одерживает верх над действительностью. Как все мы юными, пылкими подростками любили эти сцены, как живо эти образы запали нам в душу, как трогали наши сердца! Уже в сюжете заключены все элементы волнующей романтики; тут и суровые стражи, стерегущие невинную принцессу, и подлые клеветники, ее бесчестящие, и сама она, юная, добрая, прекрасная, чудесно обращающая суровость врагов в добрые чувства, вдохновляя мужские сердца на рыцарское служение. Но не только сюжет, романтично и сценическое оформление — угрюмый замок посреди прелестного озера. Принцесса может затуманенным взором любоваться с башни своей прекрасной Шотландией, нежным очарованием этого чудесного края с его лесами и горами, — а где-то там, вдали, бушует Северное море. Все поэтические силы, скрытые в сердцах шотландцев, как бы кристаллизовались вокруг этого романтического эпизода из жизни их возлюбленной королевы — а когда такая легенда находит себе еще и совершенное воплощение, она глубоко и неотъемлемо проникает в кровь народа. В каждом поколении ее вновь пересказывают и вновь утверждают; точно неувядающее дерево, дает она что ни год все новые ростки; рядом с этой высокой истиной лежит в небрежении бумажная труха исторических фактов, ибо то, что однажды нашло себе прекрасное воплощение, живет и сохраняется в веках по праву всего прекрасного. И когда с годами к нам вместе с зрелостью приходит недоверие и мы пытаемся за трогательной легендой нащупать истину, она представляется нам кощунственно трезвой, как стихотворение, пересказанное холодной, черствой прозой.

Но опасность легенды в том, что истинно трагическое она скрывает в угоду трогательному. Так, романтическая баллада о лохливленском заточении Марии Стюарт замалчивает истинное, сокровенное, подлинно человеческое ее горе. Вальтер Скотт упорно забывает рассказать, что его романтическая принцесса была в ту пору в тягости от убийцы своего мужа, а ведь в этом, в сущности, и заключалась величайшая ее душевная драма в те страшные месяцы унижения. Ведь если ребенок, которого она носит во чреве, как и следует ожидать, родится до срока, любой хулигатель сможет безжалостно вычислить по непреложному календарю природы, когда она стала физически принадлежать Босуэлу. Пусть день и час нам неизвестны, но произошло это в непозволительное с точки зрения права и морали время, когда любовь была равносильна супружеской измене или распутству — быть может, в дни траура по умершем супруге, — в Сетоне или во время ее прихотливых кочевий из замка в замок, а может быть, и даже вернее, еще до этого, при жизни мужа, — и то и другое равно зазорно. Мы лишь в том случае до конца постигнем душевные терзания отчаявшейся женщины, когда вспомним, что предстоявшее ей рождение ребенка открыло бы миру с календарной точностью начало ее преступной страсти.

Однако покров так и не был снят с этой тайны. Мы не знаем, как далеко зашла беременность Марии Стюарт к моменту ее появления в Лохливене, не знаем, когда она избавилась от снедавших ее страхов, ни того, родился ребенок живым или мертвым, ни сколько недель или месяцев было детищу недозволенной любви, когда его забрали у нее. Здесь все темно и зыбко, все свидетельства противоречат друг другу, ясно лишь что у Марии Стюарт были достаточно веские основания, чтобы скрыть даты своего материнства. Ни в одном письме, ни единым словом — уже это подозрительно — не обмолвилась она никому о ребенке Босуэла. По официальному сообщению, составленному ее секретарем Нау при ее личном участии, она преждевременно произвела на свет нежизнеспособных близнецов, — преждевременно: остается лишь предположить, что в этой преждевременности не было ничего случайного, недаром она привезла с собой в заточение своего аптекаря. По другой, столь же мало достоверной версии, ребенок — девочка — родилась живой, была тай-

но увезена во Францию и там умерла в женском монастыре, не зная о своем королевском происхождении. Но всякие догадки и предположения бессильны в этой недоступной исследованию области, действительные события скрыты непроницаемой тенью. Ключ последней тайны Марии Стюарт заброшен на дно Лохливленского озера.

Уже то обстоятельство, что стражи Марии Стюарт помогли ей скрыть опасную тайну рождения или преждевременных родов — незаконного ребенка, доказывает, что они отнюдь не были теми извергами, какими их — черным по черному — рисует романтическая легенда. Госпожа Лохливена, леди Дуглас, которой лорды доверили надзор за Марией Стюарт, тридцать лет назад была возлюбленной ее отца; шестерых детей родила она Иакову V — старшим был граф Меррей, — прежде чем вышла замуж за Дугласа Лохливленского, которому также родила семерых. Женщина, тринадцать раз познавшая муки деторождения и сама терзавшаяся тем, что первые ее дети рождены бастардами, могла больше чем кто-либо понять тревогу Марии Стюарт. Жестокость, в которой ее упрекают, по-видимому, ложь и напраслина; узницу, надо думать, приняли в Лохлиvene, как почетную гостью. В ее распоряжении была целая анфилада комнат, привезенные из Холируда повар и аптекарь, а также четыре или пять приближенных женщин. В замке она пользовалась полной свободой и как будто выезжала даже на охоту. Если смотреть на вещи здраво, без романтического пристрастия, обращение с ней надо прямо назвать снисходительным. В самом деле — романтика заставляет нас забывать об этом, — женщина, решившаяся выйти замуж за убийцу своего мужа спустя три месяца после убийства, виновата по меньшей мере в преступном легкомыслии, и даже в наши дни суд помиловал бы соучастницу, разве лишь приняв во внимание такие смягчающие вину обстоятельства, как временное душевное расстройство или подчинение чужой воле. Словом, если королеву, своим скандальным поведением нарушившую мир в стране и восстановившую против себя всю Европу, на некоторое время принудили уйти на покой, то это было благом не только для страны, но и для самой королевы. В эти недели

затворничества она наконец-то получает возможность успокоить взбудораженные, взвинченные нервы, восстановить нарушенное равновесие, укрепить подорванную Босуэлом волю; лохливенское заточение, в сущности, хотя бы на несколько месяцев избавило эту безрассудную женщину от самой большой опасности — от снедающей ее тревоги и нетерпения.

Поистине снисходительной карой за столько содеянных безумств должно назвать это романтическое заточение по сравнению с тем, что выпало на долю ее соучастника и возлюбленного. Не так мягко обошлась судьба с Босуэлом! На море и на суше, невзирая на свое обещание, преследует изгнанника разъяренная свора, голова его оценена в тысячу шотландских крон, и Босуэл знает — самый надежный друг выдаст и продаст его за эту награду. Но не так-то легко захватить удальца: он пытается собрать своих верных для последнего сопротивления, а потом бежит на Оркнейские острова, чтобы оттуда объявить войну лордам. Меррей на четырех кораблях предпринимает высадку, и лишь с трудом ускользает гонимый от своих преследователей, отважившись в утлой скорлупке выйти в открытое море. Он попадает в шторм. С изодранными парусами держит курс суденышко, предназначенное для каботажного плавания, к берегам Норвегии, где его захватывает датский военный корабль. Опасаясь выдачи, Босуэл хочет остаться неизвестным. Он одалживает у матроса платье — уж лучше сойти за пирата, чем за разыскиваемого короля Шотландии. Однако вскоре дознаются, кто он, Босуэла пересылают с места на место и в Дании даже отпускают на свободу, и он уже радуется счастливому избавлению. Но тут лихого сердцеда настигает Немезида: положение его резко ухудшается, оттого что какая-то датчанка, которую он в свое время обольстил, обещая на ней жениться, подала на него жалобу. Между тем и в Копенгагене дознались, какие ему вменяются преступления, и с этой минуты над его головой занесен топор. Дипломатические курьеры мечутся туда и сюда. Меррей требует его выдачи, а особенно неистовствует Елизавета, которой важно заручиться свидетелем против Марии Стюарт. В свою очередь французские родичи Марии Стюарт тайно хлопчут, чтобы датский король не выдал опасного свидетеля. Заточение Босуэла становится

все более строгим, хотя, с другой стороны, только тюрьма и защищает его от возмездия. Человек, который на поле брани не дрогнул бы и перед сотнею врагов, должен каждый день со страхом ждать, что его в цепях пошлют на родину и после страшных пыток и мучений казнят как цареубийцу. Одна темница сменяется другой, все суровее и теснее его заключение, точно опасного зверя, держат узника за стенами и решетками, и вскоре он уже знает, что только смерть освободит его от оков. В ужасающем одиночестве и бездействии проводит неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом этот сильный, брызжущий энергией человек, гроза врагов, кумир женщин; живьем гниет и разлагается исполинский ступок жизненной энергии. Хуже пытки, хуже смерти для бесшабашного удальца, который только в избытке сил и в безбрежности свободы дышал полной грудью, который вихрем носился по полям во главе охоты, вел своих верных навстречу врагу, дарил любовь женщинам всех стран и познал все радости духа, — хуже пытки и смерти для него это жуткое праздное одиночество среди холодных, немых, угрюмых стен — эта пустота времени, сокрушающая жизненную энергию. По рассказам, которым охотно веришь, он, как бесноватый, бился о железные прутья своей клетки и жалким безумцем кончил жизнь. Из всех многочисленных спутников, претерпевших ради Марии Стюарт пытку и смерть, на долю этого, горячо любимого, досталось самое долгое и страшное покаяние.

Но помнит ли еще Мария Стюарт о Босуэле? Действует ли и на расстоянии заклятие его воли или медленно и постепенно расступается огненный круг? Никто не знает. Как и многое другое в ее жизни, это осталось тайной. И только одному удивляешься. Едва встав после родов, едва сбросив с себя иго материнства, она уже вновь исполнена женского очарования, опять источает соблазн и тревогу. Опять — в третий раз — увлекает она юное существо в орбиту своей судьбы.

Приходится все снова с прискорбием повторять это: дошедшие до нас портреты Марии Стюарт, написанные большей частью посредственными мазилами, не позволяют нам заглянуть в ее душу. Со всех полотен глядит на нас с будничным безразличием милое, спокойное, приветливое

лицо, но ни одно из них не передает того чувственного очарования, которое, несомненно, исходило от этой замечательной женщины. Надо полагать, она излучала какое-то особое обаяние женственности, ибо всюду, и даже среди врагов, приобретает она друзей. И невестою, и вдовой, на каждом троне и в каждом узилище умела она создать вокруг себя эту атмосферу сочувствия, так что самый воздух вокруг нее как бы пронизан теплом и ласкою. Едва появившись в Лохлиvene, она сразу покорила молодого лорда Рутвена, одного из своих стражей; лорды вынуждены были убрать его. Но не успел Рутвен покинуть замок, как ею покорен другой юный лорд, Джордж Дуглас Лохливенский. Понадобилось лишь несколько недель, и сын ее тюремщицы готов на любые жертвы — во время ее побега он самый ревностный и преданный ее помощник.

Был ли он только помощником? Не был ли юный Дуглас для нее чем-то большим в эти месяцы заточения? Осталась ли эта склонность рыцарственной и платонической? *Ignorabimus*¹. Во всяком случае, Мария Стюарт, не стесняясь, использует чувства молодого человека и не скупится на хитрость и обман. Кроме личного очарования, у королевы имеется еще и другая приманка: соблазн добиться вместе с ее рукой также и власти магнетически действует на всех, кого она встречает на своем пути. Похоже, что Мария Стюарт — но тут можно отважиться лишь на догадку — поманила польщенную мать юного Дугласа возможностью брака, чтобы купить ее снисходительность, ибо постепенно охрана становится все более нерадивой и Мария Стюарт может наконец приступить к делу, которому принадлежат все ее помыслы: к своему освобождению.

Первая попытка (25 марта), хоть и искусно подготовлена, терпит неудачу. Каждую неделю одна из прачек замка вместе с другими служанками переправляется в лодке на берег и обратно. Дуглас взялся уломать прачку, и она согласилась обменяться с королевой платнем. В грубой одежде служанки, под густым покрывалом, скрывающим ее черты, Мария Стюарт благополучно минует охрану у замковых ворот. Она садится в лодку, отплывающую к берегу, где ее поджидает с лошадьми Джордж Дуглас. Но

¹ Мы никогда не узнаем (лат.).

тут одному из гребцов вздумалось пошутить со стройной прачкой, накинувшей на голову вуаль. Под предлогом, что он хочет поглядеть, какова она лицом, он пытается сорвать с нее покрывало, и Мария Стюарт в страхе хватается за нее своими узкими белыми изящными руками. И эта нежная аристократическая рука с холеными пальчиками, какие трудно предположить у прачки, выдает ее. Гребцы всполошились и, хоть разгневанная королева приказывает им грести к противоположному берегу, поворачивают и отвозят ее обратно в тюрьму.

О случае этом немедленно донесли властям, и охрану узницы усиливают. Джорджу Дугласу запрещено появляться в замке. Но это не мешает ему поселиться поблизости и держать с королевой постоянную связь; как преданный гонец, он связывает ее с ее сторонниками. Ибо, сколь это ни странно, у королевы-узницы, объявленной вне закона и уличенной в убийстве, после года правления Меррея опять появились сторонники. Кое-кто из лордов, Сетоны и Хантлеи в первую голову, отчасти из ненависти к Меррею, все время хранили верность Марии Стюарт. Но что особенно удивительно, самых рьяных приверженцев находит она в Гамильтонах, своих заглятых врагах. Дома Гамильтонов и Стюартов искони враждовали между собой. Гамильтоны — самый могущественный род после Стюартов — ревниво оспаривали у Стюартов корону для своего клана; теперь им представляется удобный случай, женив одного из своих сынов на Марии Стюарт, возвести его на шотландский престол. Эти соображения заставляют их — ибо что политике до морали! — стать на сторону женщины, чьей казни за мужеубийство они домогались всего лишь несколько месяцев назад. Трудно предположить, что Мария Стюарт серьезно (или Босуэл забыл?) думала выйти замуж за одного из Гамильтонов. Очевидно, она изъявила согласие из расчета, надеясь этим купить себе свободу. Джордж Дуглас, которому она тоже обещала свою руку — двойная игра отчаявшейся женщины, — служит ей посредником в этих переговорах, кроме того, он руководит всей операцией в целом. Второго мая приготовления закончены; и, как всегда в тех случаях, когда отвага призвана заменить осмотрительность, Мария Стюарт бестрепетно встречает неизвестность.

Побег этот необычайно романтичен, как и подобает романтической королеве. Мария Стюарт или Джордж Дуглас заручились в замке помощью мальчика Уильяма Дугласа, который служит здесь пажом, и сметливый проворный подросток с честью выполнил свою задачу. По заведенному строгому порядку все ключи от Лохливенских ворот на время общего ужина кладутся для верности рядом с прибором коменданта, а после ужина он уносит их с собой и прячет под свое изголовье. Даже за трапезой хочет он их иметь перед глазами. Так и сейчас тяжелая связка лежит перед ним, поблескивая металлом. Разнося блюда, смысленный пострел неприметно бросает на ключи салфетку, и, пользуясь тем, что общество за столом, изрядно приложившись к бутылкам, беззаботно беседует, он, убирая со стола, прихватывает с салфеткой и ключи. А потом все идет как по-писаному. Мария Стюарт переодевается в платье одной из служанок, мальчик спешит вперед и, открывая дверь за дверью, тщательно запирает их снаружи, чтобы затруднить преследователям выход, а потом всю связку бросает в озеро. Он уже заранее сцепил друг с другом все имеющиеся на острове лодки и теперь выводит их за своей на середину озера; этим он отрезает дорогу погоне. После того ему остается только в сумерках теплого майского вечера быстрыми ударами весел править к берегу, где их уже ждут Джордж Дуглас и лорд Сетон с пятьюдесятью всадниками. Королева немедля садится в седло и скачет всю ночь напролет к замку Гамильтонов. Едва она почувствовала себя на свободе, в ней снова пробудилась ее обычная отвага.

Такова знаменитая баллада о побеге Марии Стюарт из омываемого волнами замка, побеге, который стал возможен благодаря преданности любящего юноши и самопожертвованию отрока; обо всем этом при случае можно прочитать у Вальтера Скотта, запечатлевшего этот эпизод во всей его романтичности. Летописцы смотрят на дело трезвее. По их мнению, суровая тюремщица леди Дуглас якобы больше была осведомлена о побеге, чем считала нужным показать и чем это вообще показывают, и всю эту прекрасную повесть она сочинила потом, чтобы объяснить, почему стража так кстати ослепла и проявила такую нерадивость. Но не стоит разрушать легенду, когда она так прекрасна. К чему гасить эту последнюю романтическую зорю в жизнь Марии Стюарт? Ибо на горизонте

уже сгущаются тени. Пора приключений приходит к концу. В последний раз эта молодая смелая женщина пробудила любовь и познала любовь.

Спустя неделю у Марии Стюарт уже шеститысячное войско. Еще раз как будто готовы рассеяться тучи, на какое-то мгновение снова воссияли благосклонные звезды над ее головой. Не только Сетоны и Хантли — вернулись все старые ее сподвижники, не только клан Гамльтонов перешел под ее знамена, но и, как это ни удивительно, большая часть шотландской знати, восемь графов, девять епископов, восемнадцать дворян и более сотни баронов. Поистине странно — а впрочем, ничуть не странно, если вспомнить, что никто в Шотландии не может править самовластно, не восстановив против себя всю знать. Жесткая рука Меррея пришлась лордам не по нраву. Лучше присмирившая, хоть и стократ виновная королева, нежели этот суровый регент. Да и за границей спешат поддержать освобожденную королеву. Французский посол явился к Марии Стюарт, чтобы засвидетельствовать ей, правомерной властительнице, свою лояльность. Елизавета послала нарочного выразить радость по поводу «счастливого избавления». За год плена положение Марии Стюарт значительно окрепло и прояснилось, опять ей выпала счастливая карта. Но, словно охваченная недобрым предчувствием, уклоняется шотландская королева, доселе такая мужественная и воинственная, от вооруженной схватки — она предпочитает кончить дело миром; когда бы брат оставил ей хоть стыдливый глянец королевского величия, она, так много пережившая, охотно отдала б ему всю власть. Какая-то часть той энергии, которую крепила в ней железная воля Босуэла, надломилась — ближайшие дни это покажут; после пережитых тревог, забот и треволнений, после всей этой неистовой вражды, она мечтает лишь об одном — о свободе, умиротворенности и покое. Но Меррей и не думает хотя бы частично поступиться властью. Его честолюбие и честолюбие Марии Стюарт — дети одного отца, а тут нашлись и советчики, старающиеся закалить его решимость. В то время как Елизавета посылает Марии Стюарт поздравления, английский государственный канцлер Сесил всячески нажимает на Меррея, требуя, чтобы он разделался наконец с Марией Стюарт и католической

партией в Шотландии. И Меррей не долго раздумывает. Он знает: пока Мария Стюарт на свободе, в Шотландии не быть миру. У него великий соблазн раз навсегда поквитаться с лордами-смутьянами и преподать им памятный урок. С обычной своей энергией он быстро собирает войско, уступающее, правда, по численности противнику, но зато лучше управляемое и более дисциплинированное. Не выжидая подмоги, выступает он в направлении Глазго. И тринадцатого мая под Лангсайдом настает час окончательного расчета между королевой и регентом, между братом и сестрой, между одним Стюартом и другим.

Битва при Лангсайде была короткой, но решающей. Ни долгих колебаний, ни переговоров, как это было в битве при Карберри; в стремительной атаке налетает конница Марии Стюарт на неприятельские линии. Но Меррей хорошо выбрал позицию; еще до того, как вражеской кавалерии удастся штурмовать холм, она рассеяна жарким огнем, а потом смята и разгромлена в контратаке. Все кончено в каких-нибудь три четверти часа. Бросив все орудия и триста человек убитыми, последняя армия королевы обращается в беспорядочное бегство.

Мария Стюарт наблюдала сражение с высоты холма; увидев, что все потеряно, она сбегает вниз, садится на коня и с небольшим отрядом провожатых гонит во весь опор. Она больше не думает о сопротивлении, панический ужас охватил ее. Сломая голову, не разбирая дороги, несетя она через пастбища и болота, по полям и лесам — и так без отдыха весь этот первый день, с одной мыслью: только бы спастись! «Я извела все, — напишет она позднее кардиналу Лотарингскому, — хулу и поношение, плен, голод, холод и палящий зной, бежала неведомо куда, проскакав девяносто две мили по бездорожью без отдыха и пищи. Спала на голой земле, пила прокисшее молоко, утоляла голод овсянкой, не видя куска хлеба. Три ночи провела я в глуши, одна, как сова, без женской помощи». Такой, в освещении этих последних дней, отважной амазонкой, романтической героиней и осталась она в памяти народа. В Шотландии ныне забыты все ее слабости и безрассудства, прощены и оправданы все преступления ее страсти. Живет лишь эта картина — кроткая пленница в уединенном замке и вторая — отважная всадница, кото-

рая, спасая свою свободу, скачет ночью на взмыленном коне, предпочитая тысячу раз умереть, чем трусливо и бесславно сдаться врагам. Она уже трижды бежала под покровом ночи — первый раз с Дарнлеем из Холируда, второй раз в мужской одежде к Босуэлу из замка Бортуик, в третий раз с Дугласом из Лохдивена. Трижды в отчаянной, бешеной скачке спасала она свою корону и свободу. Теперь она спасает только свою жизнь.

На третий день после битвы при Лангсайде достигает Мария Стюарт Дандреннанского аббатства у самого моря. Здесь граница ее государства. До последнего рубежа своих владений бежала она, как затравленная лань. Для вчерашней королевы не найдется сегодня надежного прибежища во всей Шотландии; все пути назад ей отрезаны; в Эдинбурге ее ждет неумолимый Джон Нокс и снова — поношение черни, снова — ненависть духовенства, а возможно, позорный столб и костер. Ее последняя армия разбита, прахом пошли ее последние надежды. Настал трудный час выбора. Позади лежит утраченная страна, куда не ведет ни одна дорога, впереди — безбрежное море, ведущее во все страны мира. Она может податься во Францию, может податься в Англию, в Испанию. Во Франции она выросла, там у нее друзья и родичи и много еще тех, кто ей предан, — поэты, посвящавшие ей стихи, дворяне, провожавшие ее к французским берегам; эта страна уже однажды дарила ей гостеприимство, венчала ее пышностью и великолепием. Но именно потому, что ее знали там королевой во всем блеске земной славы, взнесенную превыше всякого величия, ей претит вернуться туда нищенкой, просительницей в жалких лохмотьях, с замаранной честью. Она не хочет видеть язвительную усмешку Екатерины Медичи, не хочет жить подачками или быть запертой в монастыре. Но и бежать к замороженному Филиппу в Испанию кажется ей слишком унижительным; никогда этот ханжеский двор не простит ей, что с Босуэлом соединил ее протестантский пастор, что она стала под благословение еретика. Итак, остается один лишь выбор, вернее, не выбор, а неизбежность: податься в Англию. Разве в самые беспросветные дни ее пленения не дошел до нее подбадривающий голос Елизаветы, заверяя, что она «в любое время найдет в английской королеве верную подругу»?

Разве Елизавета не дала торжественную клятву восстановить ее на престоле? Разве не послала ей перстень — верный залог, которым она в любой час может воззвать к ее сестринским чувствам?

Но тот, чьей руки коснулось несчастье, всегда делает неверный выбор. Впопыхах, как обычно при ответственных решениях, принимает Мария Стюарт это самое ответственное; не требуя никаких гарантий, еще из Дандреннанского монастыря пишет она Елизавете: «Разумеется, дорогая сестра, тебе известна большая часть моих злоключений. Но то, что сегодня заставляет меня тебе писать, произошло так недавно, что вряд ли успело коснуться твоего слуха. А потому я должна со всей краткостью сообщить тебе, что те мои подданные, которым я особенно доверяла и которых облекла высшими почестями, подняли против меня оружие и недостойно со мной поступили. Всемогущему вершителю судеб угодно было освободить меня из жестокого заточения, в кое я была ввергнута. С тех пор, однако, я проиграла сражение и все мои верные погибли на моих глазах. Ныне я изгнана из своего королевства и обретаюсь в столь тяжких бедствиях, что, кроме вседержителя, уповаю лишь на твое милосердие. А потому прошу тебя, милая сестрица, позволь мне предстать перед тобой, чтобы я могла рассказать тебе о моих злополучных обстоятельствах.

Я также молю бога, да ниспошлет тебе благословение неба, а мне — кротость и утешение, которое я больше всего надеюсь и молю получить из твоих рук. А в напоминание того, что позволяет мне уповать на помощь Англии, я посылаю ее королеве этот перстень, знак обещанной дружбы и помощи. Твоя любящая сестра Maria R¹.»

Второпях, словно не давая себе опомниться, набрасывает Мария Стюарт эти строки, от которых зависит все ее будущее. Потом она запечатывает в письмо перстень и передает то и другое верховому. Однако в письме не только перстень, но и все ее будущее.

Итак, жребий брошен. Шестнадцатого мая Мария Стюарт садится в рыбацкий челн, пересекает Солуэйский залив и выходит на английский берег возле небольшого портового городка Карлайла. В этот решающий день ей нет еще

¹ Maria Regina (лат.) — королева Мария.

двадцати пяти, а между тем жизнь для нее, в сущности, кончена. Все, чем судьба может в преизбытке одарить человека, она пережила и перестрадала, все вершины земные ею достигнуты, все глубины измерены. В столь ничтожный отрезок времени ценой величайшего душевного напряжения познала она все крайности жизни: двух мужей схоронила и утратила два королевства, побывала в тюрьме, заплуталась на черных путях преступления и все вновь всходила на ступени трона, на ступени алтаря, обуянная новой гордыней. Все эти недели, все эти годы она жила в огне, в таком ярком, полыхающем, всепожирающем пламени, что отблеск его светит нам и через столетия. И вот уже рассыпается и гаснет костер, все, что было в ней лучшего, в нем перегорело; от некогда ослепительного сияния остался лишь пепел и шлак. Тенью былой Марии Стюарт переходит она в сумерки своего существования.

ГЛАВА XVII

Беглянке свивают петлю

С 16 мая по 28 июня 1568 года

Известие, что Мария Стюарт высадилась в Англии, конечно, не на шутку встревожило Елизавету. Нечего и говорить, что непрощеная гостья ставила ее в крайне трудное положение. Правда, весь последний год она, как монархиня монархиню, из солидарности защищала Марию Стюарт от ее мятежных подданных. В прочувствованных посланиях — ведь бумага недорога, а чернильные изъяснения в дружбе легко стекают с дипломатического пера — заверяла она ее в своем участии, в своей преданности, своей любви. С пламенным — увы, чересчур пламенным — красноречием убеждала она шотландскую королеву рассчитывать на нее при любых обстоятельствах, как на преданную сестру. Но ни разу Елизавета не позвала Марию Стюарт приехать в Англию, напротив, все эти годы она парировала всякую возможность личной встречи. И вдруг, как снег на голову, эта назойливая особа объявилась в Англии, в той самой Англии, на которую она еще недавно притязала в качестве единственной законной престолонаследницы. Прибыла самовольно, непрощеная и незваная, и с первого же слова напоминает ей о том самом обещании поддержки и дружбы, которое, как всякому ясно, имело

чисто метафорический смысл. Во втором письме Мария Стюарт, даже не спрашивая, хочет того Елизавета или нет, требует свидания, как своего неоспоримого права: «Прошу Вас возможно скорее вызволить меня отсюда, ибо я обретаюсь в состоянии, недостойном не только королевы, но даже простой дворянки. Единственное, что я сохранила, это жизнь — ведь первый день мне пришлось шестьдесят миль скакать напрямик через поля. Вы сами увидите, что со мной случилось, когда, как я твердо верю, проникнетесь участием к моим безмерным невзгодам».

И участие, действительно, первое чувство Елизаветы. Разумеется, ее гордость находит величайшее удовлетворение в том, что женщина, замышлявшая свергнуть ее с престола, сама себя свергла — ей, Елизавете, и пальцем шевельнуть не пришлось. Пусть весь мир видит, как она поднимает гордычку с колен и с высоты своего величия раскрывает ей объятия! Поэтому первое, правильное ее побуждение — великодушно призвать к себе беглянку. «Мне донесли, — пишет французский посланник, — что королева в коронном совете горячо заступилась за королеву Шотландскую и дала ясно понять всем, что намерена принять и почтить ее сообразно ее былому достоинству и величию, а не нынешнему положению». Со свойственным ей чувством ответственности перед историей Елизавета хочет остаться верна своему слову. Послушайся она этого непосредственного побуждения, не только жизнь Марии Стюарт, но и ее собственная честь была бы спасена.

Но Елизавета не одна. Рядом с ней стоит Сесил, человек с холодными, отливающими сталью глазами, политик, бесстрастно делающий ход за ходом на шахматной доске. Нервическая натура, болезненно отзывающаяся на малейшее дуновение ветра, Елизавета недаром избрала себе в советчики этого жесткого, трезвого, расчетливого дельца; недоступный поэзии и романтике, пуританин по характеру и темпераменту, он презирает в Марии Стюарт ее порывистость и страстность, убежденный протестант, ненавидит католичку; а кроме того, судя по его личным записям, он с полным убеждением смотрит на нее как на соучастницу и пособницу в убийстве Дарнлея. Не успела Елизавета расчувствоваться, как он останавливает ее. Дальновидный политик, он понимает, в какие трудности вовлечет английское правительство возня с этой неугомонной особой, с этой интриганкой, которая уже много лет сеет смятение

повсюду, где ни появится. Принять Марию Стюарт в Лондоне, оказав ей королевские почести, значит признать ее права на Шотландию, а это наложит на Англию обязанность с оружием в руках и с полным кошельком выступить против лордов и Меррея. Но к этому у Сесила нет ни малейшей склонности, ведь сам же он подстрекал лордов к смуте. Для него Мария Стюарт смертельный враг протестантизма, главная опасность, угрожающая Англии, и ему нетрудно убедить в этом Елизавету; с неудовольствием слышит английская королева о том, как почтительно ее дворяне встретили шотландскую королеву на своей земле. Нортумберленд, наиболее могущественный из католических лордов, пригласил беглянку в свой замок; самый влиятельный из протестантских лордов, Норфолк, явился к ней с визитом. Все они явно очарованы пленницей, и недоверчивая и до глупости тщеславная как женщина Елизавета вскоре оставляет великодушную мысль призвать ко двору государыню, которая затмит ее своими личными качествами и будет для недовольных желанной претенденткой.

Итак, прошло всего несколько дней, а Елизавета уже избавилась от своих человеколюбивых побуждений и твердо решила не допускать Марию Стюарт ко двору, но в то же время не выпускать ее из страны. Елизавета, однако, не была бы Елизаветой, если бы она хоть в каком-нибудь вопросе выражалась ясно и действовала прямо. А между тем как в человеческих отношениях, так и в политике двуличие — величайшее зло, ибо оно морочит людей и вносит в мир смятение. Но тут-то и берет свое начало великая и бесспорная вина Елизаветы перед Марией Стюарт. Сама судьба даровала ей победу, о которой она мечтала годами: ее соперница, слывшая зеркалом рыцарских доблестей, совершенно независимо от ее, Елизаветы, стараний выставлена к позорному столбу; королева, притязавшая на ее венец, потеряла свой собственный; женщина, в горделивом сознании своих наследных прав надменно ей противостоящая, униженно просит у нее помощи. Когда б Елизавета хотела поступить как должно, у нее было бы две возможности. Она могла бы предоставить Марии Стюарт, как просительнице, право убежища, в котором Англия великодушно не отказывает изгнанникам, и этим морально поставила бы ее на колени. Или она могла бы из политических соображений запретить ей пребывание в своей

стране. И то и другое было бы равно освящено законом. Просящего можно пожалеть, а можно и отказать ему. И только одно противоречит всем законам земли и неба: привлечь к себе просящего, а потом против его воли насильственно задержать. Нет оправдания, нет снисхождения бессердечному коварству Елизаветы, тому, что, несмотря на ясно выраженное желание своей жертвы, она не позволила ей покинуть Англию, но всячески ее удерживала — хитростью и обманом, вероломными обещаниями и тайным насилием — и этим подлым лишением свободы загнала униженную, побежденную женщину гораздо дальше, чем сама намеревалась, — в гибельные дебри отчаяния и вины.

Это заведомое попрание права, и притом в самой подлой, ибо прикрытой, форме, навсегда останется темным пятном в личной биографии Елизаветы, даже более непростительным, чем последующий приговор и казнь. Ведь для насильственного лишения свободы еще нет ни малейшего повода или основания. В самом деле, когда Наполеон — к этому доказательству от противного не раз обращались — бежал на борт «Беллерофонта» и там апеллировал к английскому праву убежища, Англия с полным основанием отвергла это притязание, как патетический фарс. Оба государства, Франция и Англия, находились в состоянии открытой войны, и сам Наполеон командовал вражеской армией, не говоря уже о том, что он в течение четверти века только и ждал, как бы вцепиться Англии в горло. Но Шотландия отнюдь не воюет с Англией, у них самые добрососедские отношения, Елизавета и Мария Стюарт искони именуют себя задушевыми подругами и сестрами, и когда Мария Стюарт бежит к Елизавете, она может предъявить ей перстень, пресловутый «token» знак ее дружеского расположения, может сослаться на заявление Елизаветы, что «ни один человек на свете не выслушает ее с таким сочувственным вниманием». Она может также сослаться на то, что Елизавета предоставляла право убежища всем шотландским беглецам, что Меррей и Мортон, убийцы Риччо и убийцы Дарнлея, несмотря на свои преступления, находили в Англии приют. И, наконец, Мария Стюарт явилась не с притязаниями на английский трон, а лишь со скромной просьбой дозволить ей тихо и мирно жить на английской земле, если же Елизавете это не угодно, не препятствовать ей отправиться дальше, во Фран-

цию. И Елизавета, разумеется, прекрасно знает, что она не вправе задержать Марию Стюарт, знает это и Сесил, о чем свидетельствует его собственноручная запись на памятном листке (*Pro Regina Scotorum*¹). «Придется помочь ей, — пишет он, — ведь она явилась в Англию по доброй воле и доверясь королеве». Оба в глубине души отлично сознают, что нет у них и ниточки права, из которой они могли бы свить эту грубую веревку беззакония. Но зачем же существуют политики, если не для того, чтобы находить увертки и лазейки в самых трудных положениях, превращать «ничто» в «нечто» и «нечто» в «ничто»? Если нет оснований задержать беглянку, значит надо их выдумать: если Мария Стюарт ничем не провинилась перед Елизаветой, значит надо взвести на нее напраслину. Но все должно быть сделано шито-крыто, ведь мир не дремлет, и он следит. Надо втихомолку, крадучись набросить на птичку сеть и затягивать все туже и туже, пока жертва не успела опомниться. Когда же она наконец (слишком поздно) начнет рваться на свободу, каждое резкое движение послужит ей к гибели.

Это запутывание и оплетание начинается со сплошных ухватистостей. Двое самых видных вельмож Елизаветы — лорд Скруп и лорд Ноллис — со всей поспешностью (какое нежное внимание!) откомандировываются в Карлайл к Марии Стюарт в качестве почетных кавалеров. Однако подлинная их миссия столь же темна, сколь многообразна. Им доверено от лица Елизаветы приветствовать знатную гостью, изъявить свергнутой государыне сочувствие в ее невзгодах; им также поручено успокоить и утихомирить взволнованную женщину, чтобы она не слишком рано встревожилась и не воззвала о помощи к иностранным дворам. Но самое главное и существенное поручение дано им тайно, а оно предписывает им строго охранять ту, что, по сути говоря, уже пленница, прекратить всякие посещения, конфисковать письма — недаром в тот же день в Карлайл направлены полсотни алебардиров. Кроме того, оным Скроупу и Ноллису велено записывать каждое слово Марии Стюарт для немедленного сообщения в Лондон. Там только и ждут малейшей ее оплошности, чтобы задним

¹ Касательно королевы Шотландской (*лат.*).

числом сфабриковать благовидный повод для уже состоявшегося пленения.

Лорд Ноллис образцово справился со своей миссией тайного соглядатая, его искусному перу обязаны мы, пожалуй, самыми выразительными и живыми зарисовками характера Марии Стюарт. Знакомись с ними, и убеждаешься, что эта женщина в те редкие минуты, когда все ее душевные силы мобилизованы, вызывает поклонение и восхищение даже у очень умных мужчин. Сэр Фрэнсис Ноллис пишет Сесилу: «Что и говорить, это выдающаяся женщина, она не поддается на лесть, с ней можно обо всем говорить прямо, без уверток, и она нимало не рассердится, лишь бы она была уверена в вашей порядочности». Он восхищается ее разумом и красноречием, отдает должное ее «редкому мужеству», ее «liberal heart» — сердечному обхождению. Не укрылась от него и ее неистовая гордость: «Более всего жаждет она победы, и по сравнению с этим высшим благом богатство и другие земные приманки кажутся ей презренными и мелкими». Нетрудно себе представить, с какими чувствами подозрительная Елизавета читала эти описания своей соперницы и как быстро отвердевали ее рука и сердце.

Но и у Марии Стюарт тонкий слух. Очень скоро она замечает, что ласковость и учтивость служат обоим эмиссарам для тумана и они потому рассыпаются перед ней мелким бесом, что хотят что-то скрыть. Исподволь, словно подавая ей горькую микстуру в приторном сиропе комплиментов, сообщают ей, что Елизавета не склонна ее принять, пока она не очистится от всех обвинений. Эту пустую отговорку изобрели тем временем в Лондоне, чтобы прикрыть бессердечное, наглое намерение держать Марию Стюарт как можно дольше и взаперти благопристойным фиговым листом. Но либо Мария Стюарт не замечает, либо притворяется, что не замечает, сколь вероломна эта проволочка. С горячностью заявляет она, что готова оправдаться — «но, разумеется, лишь перед одной особой, которую я считаю равной себе по рождению, лишь перед королевой Английской». Чем скорее, тем лучше, нет, сию же минуту хочет она видеть Елизавету, «доверчиво броситься в ее объятия». Настоятельно просит она, «не теряя времени, отвезти ее без околичностей в Лондон, дабы она могла

принести жалобу и защитить свою честь от наветов клеветы». С радостью готова она предстать на суд Елизаветы, но, разумеется, только на ее суд.

Это как раз те слова, которые Елизавете так хотелось услышать. Принципиальное согласие Марии Стюарт оправдаться перед нею дает Елизавете в руки первую зацепку для того, чтобы постепенно втянуть беглянку, ищущую в ее стране гостеприимства, в судебное разбирательство. Конечно, необходима осторожность, этого нельзя сделать внезапным наскоком, чтобы и без того встревоженная жертва не переполошила весь мир; перед решительной операцией по лишению Марии Стюарт чести надо сперва усыпить ее обещаниями, чтобы спокойно, не сопротивляясь, легла она под нож. Итак, Елизавета пишет письмо, которое могло бы обмануть нас своим взволнованным тоном, если б мы не знали, что советом министров давно принято решение о задержании беглянки. Отказ ее повидаться с Марией Стюарт словно обернут в вату. «Madame, — пишет она со змеиным лукавством, — лорд Херрис сообщил мне о Вашем желании оправдаться лично передо мной в тяготеющих на Вас обвинениях. О Madame, нет на земле человека, который радовался бы Вашему оправданию больше, чем я. Никто охотнее меня не преклонит ухо к каждому ответу, помогающему восстановить Вашу честь. Но я не могу ради Вашего дела рисковать собственным престижем. Не стану скрывать от Вас, меня и так упрекают, будто я более склонна отстоять Вашу невиновность, нежели раскрыть глаза на те деяния, в которых Ваши подданные Вас обвиняют». За этим коварным отказом следует, однако, еще более изощренная приманка. Торжественно ручается Елизавета «своим королевским словом» — надо особенно подчеркнуть эти строки — в том, что «ни Ваши подданные, ни увещания моих советников не заставят меня требовать от Вас того, что могло бы причинить Вам зло или бесчестие». Все настойчивее, все красноречивее звучит письмо. «Вам кажется странным, что я избегаю встречи с Вами, но прошу Вас, поставьте себя на мое место. Если Вы очиститесь от всех обвинений, я приму Вас с подобающим почетом, до тех же пор это невозможно. Зато потом, клянусь создателем, Вы не найдете человека, более к Вам расположенного, встреча с Вами — самая большая радость, доступная мне на земле»

Утешительные, теплые, мягкие, расслабляющие душу слова, но они прикрывают сухую, жесткую правду. Ибо посланцу, привезшему письмо, поручено наконец разъяснить Марии Стюарт, что ни о каком оправдании перед Елизаветой не может быть и речи, что имеется в виду настоящее судебное расследование шотландских событий, пусть пока еще под стыдливым названием «конференция».

От таких слов, как дознание, судебное расследование, приговор, гордость Марии Стюарт взвивается на дыбы, как от прикосновения раскалённым железом. «Нет у меня иного судьи, кроме предвечного, — вырывается у нее с гневными рыданиями, — и никто не вправе меня судить. Я знаю, кто я, и знаю все преимущества, принадлежащие моему сану. Я и в самом деле по собственному почину и со всем доверием предложила королеве, моей сестре, выступить судьей в моих делах. Однако как же это возможно, раз она отказывается меня принять?» С угрозой предрекает она (и дальнейшее подтвердит ее слова), что Елизавете не будет проку от того, что она задержала ее в своей стране. И тут она берется за перо. «*Helas Madame!*! — восклицает она в волнении. — Где же это слыхано, чтобы кто-нибудь укорил государя за то, что он преклонил свой слух к словам жалобщика, сетующего на бесчестное обвинение... Оставьте мысль, будто я явилась в эту страну, спасая свою жизнь. Ни Шотландия, ни весь прочий мир от меня не отвернулись, а прибыла я сюда, чтобы отстоять свою честь и найти управу на ложных обвинителей моих, а не для того, чтобы отвечать им, как равным. Среди всех друзей избрала я Вас, ближайшую родственницу и лучшего друга (*perfaicte Amie*), чтоб бить Вам челом на моих хулителей, в надежде, что Вы честию для себя почтете восстановить добрую славу королевы». Не чаяла она, убегая из одной тюрьмы, быть задержанной *quasi en un autre*² И запальчиво требует она того, чего ни один человек не мог еще добиться от Елизаветы, а именно — ясных, недвусмысленных поступков, помощи или свободы. Она готова *de bonne voglia*³ оправдаться перед Елизаветой, но только не перед своими

¹ Увы, Мадам! (франц.)

² В некоем подобии другой (франц.).

³ По доброй воле (итал.).

подданными на процессе, разве что их приведут к ней со связанными руками. С полным сознанием неотъемлемой благодати отказывается она быть поставленной на одну доску со своими подданными, предпочитая умереть.

Юридически под точку зрения Марии Стюарт не подкапывается. У королевы Английской нет сюзеренных прав по отношению к королеве Шотландской; не ее дело расследовать убийство, происшедшее в другой стране, вмешиваться в тяжбу чужеземной государыни с ее подданными. И Елизавета это прекрасно знает, потому-то она и удваивает лстивые старания выманить Марию Стюарт из ее укрепленных, неприступных позиций на зыбкую почву процесса. Нет, не как судья, а как сестра и подруга хочет она разобраться в злополучной тяжбе — ведь это единственное препятствие на пути ее заветного желания наконец-то встретиться со своей кузиной и вернуть ей престол. Чтобы оттеснить Марию Стюарт с ее безопасной позиции, Елизавета не жалеет обещаний, делая вид, будто ни на минуту не сомневается в безгрешности той, кого так злобно оклеветали; разбирательству якобы подлежат не поступки Марии Стюарт, а крамола Меррея и прочих смутьянов. Ложь ложью погоняет. Елизавета клянется, что на дознании и речи не будет о том, что может коснуться чести Марии Стюарт («against her honour»), — дальнейшее покажет, как было выполнено это обещание. А главное, она заверяет посредников, что, чем бы дело ни кончилось, Мария Стюарт так или иначе останется королевой Шотландии. Но пока Елизавета дает клятвенные обещания Марии Стюарт, ее канцлер Сесил гнет свою линию. Желая успокоить Меррея и расположить его в пользу процесса, он клянется, что ни о каком восстановлении на троне его сводной сестры не может быть и речи, из чего следует, что чемодан с двойным дном не является политическим изобретением нашего века.

От Марии Стюарт не укрылись все эти закулисные плутни и проделки. Если Елизавета ей не верит, то и у Марии Стюарт не осталось никаких иллюзий насчет истинных намерений ее любимой кузины. Она обороняется и противится, пишет то лстивые, то возмущенные письма, но в Лондоне уже не отпускают захлестнутую петлю, наоборот, ее стягивают все туже и туже. Для усиления психического воздействия принимаются меры, долженству-

ющие показать, что в случае сопротивления, спора или отказа в Лондоне не остановятся и перед насилием. Мало-помалу ее лишают привычных удобств, не допускают к ней посетителей из Шотландии, разрешают выезжать не иначе, как под эскортом из сотни всадников, пока однажды не сваливается на нее приказ оставить Карлайл, стоящий у открытого моря, где хотя бы взор ее свободно теряется вдаль и откуда однажды ее может увезти спасительное судно, и переехать в Йоркширское графство, в укрепленный Болтонский замок — «a very strong, very fair and very stately house»¹. Разумеется, и эту горькую пилюлю густо обмазывают патокой, острые когти все еще трусливо прячутся в бархатных рукавичках: Марию Стюарт уверяют, что лишь из нежного попечения, из желания иметь ее поближе и ускорить обмен письмами распорядилась Елизавета о ее переезде. В Болтоне у нее будет «больше радостей и свободы, там ее не достигнут происки врагов». Мария Стюарт не так наивна, чтобы поверить в эту горячую любовь, она все еще барахтается и сопротивляется, хоть и знает, что игра проиграна. Но что ей остается делать? В Шотландию нет возврата, во Францию путь ей заказан, а между тем положение ее день ото дня становится все более постыдным: она ест чужой хлеб, и даже платье Елизавета дарит ей со своего плеча. Совсем одна, оторванная от истинных друзей, окруженная только подданными противницы, Мария Стюарт не в силах устоять: сопротивление ее становится все неувереннее.

И наконец, как правильно рассчитал Сесил, она совершает величайшую ошибку, которой с таким нетерпением ждала Елизавета: в минуту душевной слабости она соглашается на судебное расследование. Изменив своей исходной точке зрения, заключающейся в том, что Елизавета не вправе ни судить ее, ни лишать свободы, что, как королева и гостья, она неподсудна чужеземному третейскому суду, Мария Стюарт совершает самую грубую, самую непростительную ошибку всей своей жизни. Но Мария Стюарт способна лишь на короткие бурные вспышки мужества, вечно ей не хватает стойкости и выдержки, необходимых государыне. Чувствуя, что теряет почву под ногами, она все еще силится что-то спасти, ставит задним числом какие-то условия и, позволив выманить у себя согласие,

¹ Надежный, красивый, величественный дом (англ.).

все еще хватается за руку, сталкивающую ее в бездну. «Нет ничего такого, — пишет она двадцать восьмого июня, — чего бы я не сделала по одному слову Вашему, так твердо уповаю я на Вашу честь и Вашу королевскую справедливость».

Но кто отдался на милость противника, тому не помогут ни просьбы, ни уговоры. У победителя свои права, и всегда они оборачиваются бесправием для побежденного. *Vae victis!*¹

ГЛАВА XVIII Петля затягивается

С июля 1568 по январь 1569 года

Как только Мария Стюарт неосмотрительно дала исторгнуть у себя согласие на «нелицеприятное дознание», английское правительство пустило в ход все доступные ему средства, чтобы сделать дознание лицеприятным. Если лордам разрешено явиться лично, во всеоружии обвинительного материала, то Марии Стюарт дозволено лишь прислать двух доверенных представителей; только на расстоянии и через посредников может она предъявить лордам свои обвинения, тогда как тем не возбраняется вопить во всеуслышание и тайно сговариваться — этим подвохом ее сразу же вынуждают от нападения перейти к обороне. Все обещания одно за другим летят под стол. Та самая Елизавета, которой совесть не позволяла встретиться с Марией Стюарт до окончания процесса, без колебаний принимает у себя мятежника Меррея. Никто и не думает о том, чтобы щадить «честь» шотландской королевы. Правда, намерение посадить ее на скамью подсудимых пока хранится в секрете — что скажут за границей! — и официально поддерживается версия, будто лордам надлежит «оправдаться» в поднятой смуте. Но лицемерно призывая к ответу лордов, английская королева, в сущности, ждет от них одного объяснения — почему они подняли оружие против своей королевы. А это значит, что им придется перевернуть всю историю убийства и тем самым обратить острие процесса против Марии Стюарт. Если обвинения будут веские, в Лондоне не замедлят подвести под арест Марии Стюарт

¹ Горе побежденным! (*лат.*)

юридическую базу и необоснованное лишение свободы предстанет перед миром как обоснованное.

Но шулерская игра, именуемая конференцией — только с риском оскорбить правосудие можно назвать это судом, — превращается в комедию совсем иного сорта, чем желали бы Сесил и Елизавета. Хотя противников посадили за круглый стол, чтобы они предъявили друг другу свои обвинения, ни та, ни другая сторона не обнаруживает большого желания побивать друг друга актами и фактами, и это, конечно, неспроста. Ибо обвинители и обвиняемые здесь — такова курьезная особенность этого процесса — по сути дела соучастники одного преступления: и тем и другим было бы приятнее молчаливо обойти неприглядные обстоятельства убийства Дарнлея, в котором равно замешана и та и другая сторона. Если Мортон, Мэйтленд и Меррей могут предъявить ларец с письмами и с полным правом обвинить Марию Стюарт в пособничестве или по меньшей мере в укрывательстве, то и Мария Стюарт может с таким же правом изобличить лордов — ведь они были во все посвящены и своим молчанием потакали убийству. Вздумай лорды положить на стол неблагоприятные письма, как бы это не заставило Марию Стюарт, конечно же знающую от Босуэла, кто из лордов обменялся с ним бондом, а может быть, имеющую в руках и самый бонд, сорвать маску с этих запоздалых воителей за своего короля. Отсюда естественное опасение наступить противнику на горло, отсюда и общий интерес — покончить грязное дело миром и не тревожить прах бедняги Дарнлея в его гробу. «Requiescat in pace!»¹ — благочестивый клич обеих сторон.

Так становится возможным нечто странное и весьма для Елизаветы неожиданное: при открытии судебного разбирательства Меррей ограничился обвинением Босуэла — он знает: опасный человек где-то за тридевять земель и не назовет своих сообщников; но с редким тактом щадит он сестру. У шотландских баронов точно выскочило из памяти, что всего лишь год назад сами они на открытой парламентской сессии обвинили ее в пособничестве убийству. В общем благородные рыцари не выезжают на арену с тем лихим молодечеством, на какое рассчитывал Сесил, не швыряют на судейский стол предосудительные письма, и — вторая, но не последняя особенность этой изобрета-

¹ Да почует в мире! (лат.)

тельной комедии — английские комиссары тоже на редкость молчаливы и предпочитают меньше спрашивать. Лорду Нортумберленду, как католику, Мария Стюарт; пожалуй, ближе, чем его королева, Елизавета, что же касается лорда Норфолка, то по личным мотивам, о которых мы еще услышим, он тоже клонит к мировой; вырисовываются уже и контуры намечаемого соглашения: Марии Стюарт будет возвращен титул и свобода, зато Меррей сохранит единственно для него важное — подлинную власть. Итак, вместо громов и молний, должных, по расчетам Елизаветы, морально уничтожить Марию Стюарт, здесь сплошное благорастворение воздушных масс. Идет задушевный разговор при закрытых дверях; там, где предполагалось бурное обсуждение всяких актов и фактов, царит теплое, дружественное настроение. Проходит несколько дней, и — поистине странное разбирательство! — обвинители и обвиняемые, забыв о полученных предписаниях, комиссары и судьи, неожиданно найдя общий язык, готовы уже похоронить по первому разряду процесс, задуманный Елизаветой в качестве важнейшей государственной акции против Марии Стюарт.

Незаменимым посредником, идеальной свахой, которая, не жалея ног, носится взад-вперед и улаживает дело, служит все тот же шотландский статс-секретарь Мэйтленд Летингтонский. В темной заварухе с Дарнлеем он выполнял самую темную роль, притом, как и подобает прирожденному дипломату, роль двуличную. Когда в Крэгмиллере к Марии Стюарт явились лорды и стали предлагать, чтобы она развелась с Дарнлеем либо еще как-нибудь развязалась с ним, от общего их имени выступил Мэйтленд, и это он уронил темное замечание о том, что Меррей «не станет придирается». С другой стороны, это он налаживал ее брачный союз с Босуэлом, это он «случайно» оказался свидетелем пресловутого похищения и только в последнюю минуту перебежал к лордам. Если бы сейчас дошло до перестрелки между Марией Стюарт и лордами, не миновать бы ему попасть в самое пекло. Потому-то он и готов идти напролом и не остановится и перед самыми недозволенными средствами, лишь бы добиться подлюбовного соглашения.

Для начала он страшит Марию Стюарт, внушая ей, что, если она заартачится, лорды на все пойдут для своей защиты, а тогда не избыть ей сраму. И чтобы доказать ей, каким убийственным для ее чести орудием располагают лорды, он потихоньку поручает своей жене Мэри Флеминг снять копию с главной улики обвинения — с любовных писем и сонетов из ларца — и передает эту копию Марии Стюарт.

Тайная выдача Марии Стюарт еще неизвестного ей обвинительного материала — конечно же, шахматный ход Мэйтленда против его коллег, не говоря уже о грубом нарушении им процессуального права. Но и лорды не остаются в долгу и так же противно всем правилам передают «письма из ларца», так сказать под судейским столом, Норфолку и другим английским комиссарам. Для Марии Стюарт это тяжелый афронт, ведь судьи, еще только что склонявшиеся к примирению сторон, теперь будут против нее восстановлены. В особенности Норфолк сражен удручившей вонью, которой неожиданно понесло из этого ящика Пандоры. Тотчас же сообщает он в Лондон — опять-таки в нарушение правил, но в этой удивительной тяжбе все идет шиворот-навыворот, — что «необузданная и грязная страсть, привязывавшая королеву к Босуэлу, ее отвращение к убитому супругу и участие в заговоре против его жизни так очевидны, что всякий порядочный и благонравный человек содрогнется и с отвращением отпрянет от этого ужаса».

Недобрая весть для Марии Стюарт, зато чрезвычайно радостная для Елизаветы. Теперь она знает, какая грязная улика может в любую минуту быть положена на стол, и не успокоится до тех пор, пока она не станет общим достоянием. Чем больше Мария Стюарт склоняется к мировой, тем решительнее Елизавета требует публичного шельмования. Враждебная позиция Норфолка, непритворное возмущение, вызванное в нем письмами из пресловутого ларца, по-видимому, обрекают игру Марии Стюарт на полную безнадежность.

Но как за игорным столом, так и в политике партия не считается безнадежной, пока на руках у противников сохранилась хоть одна карта. В критическую минуту Мэйтленд выкидывает совсем уж головоломный номер. Он

направляется к Норфолку, продолжительно беседует с ним один на один и — о, диво! — вы ошеломлены, вы глазам своим не верите, читая источники: совершилось чудо, Савл обратился в Павла, возмущенный, негодующий Норфолк, судья, заранее восстановленный против подсудимой, стал ревностным ее защитником и доброжелателем. Наперекор своей королеве, требующей открытого разбирательства, он вдруг перекидывается на сторону шотландской королевы: он уговаривает ее не отказываться ни от своей короны, ни от наследственных прав на английский престол, он крепит ее волю, поддерживает в ней дух. С другой стороны, он отговаривает Меррея предъявлять письма и — о, диво! — у Меррея после беседы с Норфолком тоже меняется настроение. Откуда что берется — он стал кроток и покладист, в полном единодушии с Норфолком готов он валить все на Босуэла и всячески выгораживать Марию Стюарт; похоже, что за одну ночь погода изменилась, подул живительный теплый ветерок, лед тронулся: еще денек-другой, и над этим странным судилищем воссияют весна и дружба.

Естественно возникает вопрос: что же заставило Норфолка повернуть на сто восемьдесят градусов, что вынудило комиссара Елизаветы презреть ее волю и из противника Марии Стюарт сделаться ей лучшим другом? Первое, что приходит в голову, — это что Мэйтленд подкупил Норфолка. Но стоит взглянуться поближе, и это предположение отпадает: Норфолк — самый богатый вельможа Англии, его род лишь немногим уступает могущественным Тюдорам. Денег, потребных на его подкуп, нет не только у Мэйтленда, их не наскresti во всей нищей Шотландии. И все же, как обычно, первая догадка — самая правильная, Мэйтленду действительно удалось подкупить Норфолка. Он посулил молодому вдовцу то, чем можно прельстить и самого могущественного человека, а именно — еще большее могущество. Мэйтленд предложил герцогу руку королевы и, стало быть, наследственные права на английскую корону. От королевского же венца по-прежнему исходит магическая сила, которая и в труса вливает мужество и самого равнодушного делает честолюбцем, а самого рассудительного — глупцом. Теперь понятно, почему Норфолк, только вчера убеждавший Марию Стюарт отречься от своих королевских прав, сегодня так настойчиво советует ей не отказываться. Он не прочь жениться на Марии Стюарт — единственно ради притязания, которое сразу ставит его на

место тех самых Тюдоров, что расправились с его отцом и дедом, приговорив их, как предателей, к казни. И можно ли вменить в вину сыну и внуку его измену королевской фамилии, которая расправилась с его собственной фамилией топором палача!

Разумеется, нам, людям с современными чувствами, кажется чудовищным, что тот самый человек, который только вчера приходил в ужас от Марии Стюарт, убийцы и прелюбодейки, и возмущался ее «грязными» любовными похождениями, вдруг вознамерился взять ее в супруги. И, конечно же, апологеты Марии Стюарт сюда-то и толкаются со своей гипотезой: Мэйтленд будто бы в том разговоре с глазу на глаз убедил Норфолка в невинности королевы, доказав ему, что письма поддельные. Однако источники об этом умалчивают, да и Норфолк, защищаясь перед Елизаветой спустя несколько недель, опять назовет Марию Стюарт убийцей. Было бы крайне ошибочно переносить наши моральные взгляды назад, в эпоху четырехсотлетней давности: ведь стоимость человеческой жизни на протяжении различных времен и широт — понятие далеко не абсолютное; каждая эпоха оценивает ее по-разному; мораль всегда относительна. Наш век гораздо терпимее к политическому убийству, чем, скажем, девятнадцатый, но и шестнадцатый был не слишком щепетилен в этом вопросе. Угрызения совести и вообще-то были чужды эпохе, которая черпала свою мораль не в священном писании, а в учении Макиавелли: тот, кто в те времена рвался к трону, не слишком затруднял себя сентиментальными оглядками и не старался рассмотреть сквозь лупу, обогрены ли ступени трона пролитой кровью. В конце концов сцена в «Ричарде III», где королева отдает свою руку заведомому убийце ее мужа, написана современником, и зрители не находили ее маловероятной. Чтобы стать королем, убивали отца, изводили ядом брата, тысячи безвинных жертв ввергали в войну, людей устранили, убрали с дороги, не задумываясь, в Европе того времени вряд ли нашелся бы царствующий дом, который не знал бы за собой подобных преступлений. Ради королевского венца четырнадцатилетние мальчишки женились на пятидесятилетних матронах, а незрелые отроковицы выходили за дряхлых дедушек; никто не спрашивал добродетели, красоты, достоинства и благонравия — женились на слабоумных, увечных и параличных, на сифилитиках, калеках и преступниках, — зачем же ждать

какой-то особой щепетильности от тщеславного честолюбца Норфолка, когда молодая, красивая, пылкая государыня не прочь назвать его своим супругом? Ослепленный честолюбием, Норфолк не оглядывается на то, что сделала Мария Стюарт в прошлом, он больше занят тем, что она может для него сделать в будущем; этот болезненный, недалекий человек мысленно уже видит себя в Вестминстере, на месте Елизаветы. Итак, дело внезапно приняло новый оборот: ловкие руки Мэйтленда ослабили петлю, в которой запуталась Мария Стюарт, и вместо ожидаемого сурового судьи она вдруг находит жениха и помощника.

Но недаром у Елизаветы проворные наушники и неусыпный, склонный к подозрительности ум. «Les princes ont des oreilles grandes, qui oyent loin et près»¹, — похвалилась она как-то французскому послу. По сотне незаметных признаков чувствует она, что в Йорке варятся какие-то подозрительные снадобья — не будет ей от них проку. Первым делом призывает она к себе Норфолка и спрашивает его с усмешкой, уж не затеял ли он жениться. Норфолк никакой не герой. Громко и отчетливо пропел евангельский петух: растерявшись, как уличенный в шалости мальчишка, новоявленный Петр — Норфолк тут же отрекается от Марии Стюарт, чьей руки он лишь вчера домогался. Все это ложь и клевета: никогда бы он не женился на распутнице и убийце. «Ложась спать, — говорит он с наигранным пафосом, — я хочу быть уверен, что под моей подушкой не ждет отравленный кинжал».

Елизавета себе на уме — что она знает, то знает; с гордостью скажет она потом: «Ils m'ont cru si sotté, que je n'en sentirais rien»². Когда эта женщина в неудержимом гневе хватается за шиворот кого-либо из своих лизоблюдов, тот сразу же вытряхивает из рукавов все свои секреты. Теперь она сама наведет порядок. По ее приказу сессия переносится двадцать пятого ноября из Йорка в Вестминстер, в Camera Depicta³. Здесь, в двух шагах от ее двери, под ее сверлящим взглядом, Мэйтленду труднее извернуть-

¹ У государей большие уши, они слышат все и вблизи и вдали (франц.).

² Они меня душой считали, думали, я ни о чем не догадаюсь (франц.).

³ Картинная палата (лат.).

ся, чем в Йоркшире, в двух днях езды от Лондона, вдали от ее стражи и шпионов. К тому же Елизавета назначает в подкрепление комиссарам, не оправдавшим ее надежд, других, более верных, в первую очередь своего любимца Лестера. Теперь, когда вожжи прибраны к ее крепким рукам, процесс идет в быстром темпе, не отклоняясь от намеченной цели. Старому ее нахлебнику Меррею дан ясный и недвусмысленный наказ «защищаться» и к этому опасное напутствие — не отступать и перед «*extremity of odious accusation*»¹, иначе говоря, не стесняясь, предъявить «письма из ларца» в доказательство того, что Мария Стюарт находилась с Босуэлом в предосудительных отношениях. О торжественной клятве своей милой кузине, что на процессе не будет произнесено ничего «*against her honour*», Елизавета и думать забыла. Лордам, однако, все еще не по себе. Они медлят и колеблются и вместо того, чтобы прямо предъявить письма, ограничиваются общими намеками. И так как открыто приказать им Елизавета не может, не рискуя выдать свою пристрастность, она пускается на еще большее лицемерие. Притворяясь, будто она свято уверена в невинности Марии Стюарт и видит одну лишь возможность восстановить ее честь — выяснить все до конца, она с нетерпением любящей сестры требует, чтобы ей были предъявлены все улики, дающие основание для «клеветы». Она домогается, чтобы письма и любовные сонеты были положены на судейский стол.

Под таким давлением лорды наконец уступают. Меррей еще в последнюю минуту разыгрывает комедию; симулируя сопротивление, он не сам кладет письма на стол, а, помахав ими, поспешно прячет, предоставляя секретарю «насильно» вырвать у него всю пачку. И вот, к вящему торжеству Елизаветы, письма на столе, их зачитывают вслух — сначала один раз, а назавтра, перед расширенной комиссией, и другой. Лорды, правда, в свое время клятвенно засвидетельствовали их подлинность, но Елизавете этого мало. Словно предвидя возражения защитников Марии Стюарт, которые провозгласят спустя столетия, что письма подложные, она приказывает в присутствии всей комиссии сравнить их самым тщательным образом с теми, которые шотландская королева писала ей своей рукой. Во время этого расследования представители Марии Стюарт покидают

¹ Самыми крайними и щекотливыми обвинениями (англ.).

зал — еще один важный аргумент в пользу подлинности писем, — вполне резонно заявляя, что Елизавета не сдержала своего обещания, что не будет допущено ничего порочащего Марию Стюарт — «against her honour».

Но какая может быть речь о законности в этом самом незаконном из судебных разбирательств, на котором не позволено быть главной обвиняемой, тогда как обвинителям, таким, как Ленокс, никто не завязывает рта. Не успели представители Марии Стюарт хлопнуть дверью, как комиссары выносят «предварительное постановление» о том, что Елизавете невместно допускать к себе Марию Стюарт, пока та не очистится от всех обвинений. Елизавета добилась своего. Наконец-то сфабрикован предлог, который ей был до смерти нужен, чтобы с полным правом отвернуться от своей сестрицы; теперь уже не составит труда измыслить основание, которое позволило бы и впредь содержать узницу «in honourable custody»¹ — более благоприличный, иносказательный оборот для одиозного слова «заточение». С торжеством воскликнет один из ее верных, архиепископ Паркер: «Наконец-то наша добрая королева держит волка за уши!»

«Предварительное» ошельмование сделало свое дело: опозоренной Марии Стюарт остается только, склонив голову и заголив шею ждать приговора, словно удара топором. Теперь можно официально заклеить ее именем убийцы и выдать Шотландии, а там Джон Нокс не знает пощады. Но в этот миг Елизавета подымлет руку, предупреждая смертельный удар. Неизменно, когда нужно принять окончательное решение, доброе или злое, этой непостижимой женщине изменяет мужество. Великодушный ли это порыв человечности, отнюдь ей не чуждой, или же запоздалое раскаяние в том, что она нарушила свое королевское обещание пощадить честь Марии Стюарт, дипломатический ли расчет или нередкое у этой загадочной натуры хаотическое смешение самых противоречивых чувств — трудно сказать, но Елизавета снова отступает перед возможностью окончательно расправиться со своей противницей. Вместо того чтобы дать суду вынести суровый приговор, она откладывает решение и вступает с Марией

¹ В почетном затворе (англ.).

Стюарт в переговоры. В душе Елизавета жаждет одного — чтобы эта упрямая, строптивая, неугомонная женщина оставила ее в покое, она хочет только принизить ее и усмирить, поэтому она подает Марии Стюарт мысль — еще до произнесения приговора опротестовать подлинность документов, кроме того, подсудимой через третьих лиц сообщают что в случае ее добровольного отречения ей будет вынесен оправдательный приговор и дозволено свободно проживать в Англии, где ей назначат государственный пенсион. В то же самое время ее страшат публичной казнью — все те же методы кнута и пряника, — и Ноллис, доверенный английского двора, доносит, что сделал все от него зависящее, дабы до смерти запугать узницу. Итак, опять угрозы и приманки — излюбленный прием Елизаветы.

Но ни угрозы, ни приманки уже не действуют на Марию Стюарт. Как всегда, обжигающее дыхание опасности только подстегивает ее мужество, а вместе с ним растет и ее величие. Она не хочет требовать пересмотра документов. Пусть с запозданием, она поняла, в какую попалась ловушку и теперь, возвращаясь к своей исходной позиции, отказывается вступать со своими подданными в отношения равных. Довольно ее королевского слова, оно одно должно перевесить все измышления и наветы врагов. Наотрез отказывается Мария Стюарт от предложенной сделки — ценой отречения купить себе милость судей, чьих правомочий она не признает. И полная решимости бросает она посредникам слова, верность которых докажет своей жизнью и смертью. «Ни слова о том, чтобы мне отказаться от моей короны! Чем согласиться, я предпочту умереть, но и последние слова мои будут словами королевы Шотландской»

Итак, запугивание не подействовало: половинчатым решением Елизаветы противопоставила Мария Стюарт свое непреклонное решение. Опять Елизавета колеблется, и, невзирая на непримиримую позицию, занятую подсудимой, суд не отваживается на гласный приговор. Елизавета, как всегда и как мы не раз еще увидим, отступает перед последствиями своих желаний. В результате приговор звучит не так сокрушительно, как предполагалось вначале, но со всей предательской двусмысленностью и низостью, свойственной процессу в целом. Десятого января торжественно

выносится хромающее на обе ноги определение, гласящее, что в действиях Меррея и его сторонников не усмотрено ничего противного чести и долгу. Это — полное оправдание мятежа, поднятого лордами. Куда двусмысленнее звучит приговор по делу Марии Стюарт: лордам якобы не удалось привести достаточно убедительных улик, чтобы изменить доброе мнение королевы о ее сестре. На первый взгляд это можно принять за реабилитацию подсудимой и за признание обвинения несостоятельным. Но отравленный наконечник стрелы засел в словах «bene sufficiently». Этим как бы намекается, что улики были тяжкие и многообразные, но им не хватило той «полноты», какая единственно могла бы убедить столь добросердечную королеву, как Елизавета. А больше Сесилу для его планов ничего и не нужно: над Марией Стюарт по-прежнему висит подозрение, найден достаточный предлог, чтобы держать беззащитную женщину под замком. На данный миг Елизавета победила.

Но это пиррова победа. Ибо, пока Елизавета держит Марию Стюарт в заточении, в Англии существуют как бы две королевы, и доколе одна не умрет, в стране не будет мира. Из беззакония рождается тревога, и нет проку в том, что добыто хитростью. В тот день, когда Елизавета отняла у Марии Стюарт свободу, она и себя лишила свободы. Обращаясь с ней, как с врагом, она и ей открывает дорогу для враждебных действий, преступив клятву, и ее благословляет на любое клятвopреступление, своей ложью оправдывает ее ложь. Годами будет Елизавета расплачиваться за то, что ослушалась первого, естественного своего побуждения. Слишком поздно придет к ней познание, что великодушие в этом случае было бы и мудростью. Незаметно заглохла бы в песках жизнь Марии Стюарт, если бы Елизавета после дешевой церемонии прохладного приема отпустила ее из Англии! В самом деле, куда девалась бы та, что с презрением отпущена на все четыре стороны? Ни один судья, ни один поэт никогда бы уж за нее не заступился; с печатью зачумленной на лбу после всех происшедших с ней скандалов, униженная великодушием Елизаветы, она бесцельно кочевала бы от двора к двору; путь в Шотландию ей преграждал Меррей, во Франции и Испании не слишком обрадовались бы приезду беспокойной гостьи. Быть может, по пылкости нрава она запуталась бы в новых любовных приключениях, быть может, после-

довала бы за Босуэлом в Данию. Но тогда имя ее затерялось бы в веках или, в лучшем случае, называлось бы без большого уважения, как имя королевы, сочетавшейся браком с убийцею своего мужа. И от этой-то безвестной, жалкой доли спасла ее историческая несправедливость Елизаветы. Это Елизавета позаботилась о том, чтобы звезда Марии Стюарт воссияла в прежней своей славе, и, стараясь ее унижить, лишь возвысила и украсила низвергнутую мученическим венцом... Ни одно из собственных дел не превратило Марию Стюарт в такую легендарную фигуру, как причиненная ей несправедливость, и ничто не умалило в такой мере моральный престиж английской королевы, как то, что в решающую минуту она упустила случай проявить истинное великодушие.

ГЛАВА XIX

Годы в тени

1569—1584

Безнадежное занятие — рисовать пустоту, безуспешный труд — живописать однообразие. Заточение Марии Стюарт — это именно такое прозябанье, унылая, беззвездная ночь. После того как ей вынесли приговор, горячий, размашистый ритм ее жизни надломился. Год за годом уходит, как в море волна за волной. То они всплещут чуть оживленнее, то снова ползут медлительно и вяло, но никогда уже не вскипит заветная глубина — ни полное счастье, ни страдание не даны одинокой. Лишенная событий и потому вдвойне бессмысленная, дремлет в полузабытии эта когда-то столь жаркая судьба, мертвенным, медленным шагом проходят, уходят двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый год жадной до жизни женщины. А там потянулся и новый десяток, такой же унылый и пустой: тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый год — устаешь выписывать числа одно за другим. Между тем их надо называть — год за годом, чтобы восчувствовать всю томительность, всю изнуряющую, разъедающую томительность этой душевной агонии, ибо каждый год — сотни дней, а каждый день — энное количество часов, и ни один не оживлен подлинным волнением и радостью. А потом

ей минуло сорок, и та, для которой наступил этот поворотный год, уже не молодая, а усталая и больная женщина: медленно подкрался сорок первый, сорок второй и сорок третий, и наконец если не люди, то смерть сжалилась и увела усталую душу из плена. Кое-что меняется за эти годы, но лишь по мелочам, по пустякам. То Мария Стюарт здорова, то больна, иногда ее посетит надежда — одна на сотню разочарований, то с ней обращаются хуже, то лучше, от Елизаветы приходят то гневные, то ласковые письма, но в целом это все то же томительно корректное однообразие, все те же стертые четки бесцветных часов, попусту скользящие меж пальцев. Внешне меняются только тюрьмы, королеву содержат под стражей то в Болтоне, то в Четсуорте, в Шеффилде, Татбери, Уингфилде, Фотерингее, однако разнятся лишь названия, камни и стены, все эти замки для нее как один, ибо все они скрывают от нее свободу. С злобным постоянством вращаются вокруг этого незаметного кружка по широким и причудливым своим орбитам звезды, солнце и луна: ночь сменяется днем, тянутся месяцы и годы; рушатся империи и восстают из праха, короли приходят и уходят, женщины созревают, рождают детей и отцветают, за морями, за горами непрерывно меняется мир. И только эта жизнь безнадежно глохнет в тени; отрезанная от корней и стебля, она больше не цветет и не плодоносит. Медленно, иссушаемая ядом бессильной тоски, увядает молодость Марии Стюарт, проходит жизнь.

Однако, как ни странно это звучит, самым тяжелым в ее нескончаемом плену было то, что никогда он внешне не был особенно тяжелым. Ибо грубому насилию противостоит гордый разум, из унижения он высекает ожесточение, душа растет в яростном протесте. И только перед пустотой она отступает, перед ее обескровливающим, разрушительным действием. Резиновую камеру, в стены которой нельзя барабанить кулаками, труднее вынести, чем каменное подземелье. Никакой бич, никакая брань так не жгут благородное сердце, как попрание свободы под низкие поклоны и подобострастное титулование. Нет насмешки, которая жалила бы сильнее, чем насмешка официальной учтивости. Но именно такое лживое уважение, не к страдающему человеку, а к его сану, становится мучительным уделом Марии Стюарт, именно эта подобострастная опека,

прикрытый надзор, почетная стража (honourable custody), которая с шляпой в руке и раболепно опущенным взором следует за нею по пятам. Все эти годы тюремщики ни на минуту не забывают, что Мария Стюарт — королева, ей предоставляется всевозможный комфорт, всевозможные маленькие свободы, только не одно, священное, наиболее важное жизненное благо — Свобода. Елизавета, ревниво оберегающая свой престиж гуманной властительницы, достаточно умна, чтобы не вымещать на сопернице прошлые обиды. О, она заботится о милой сестрице! Стоит Марии Стюарт заболеть, как из Лондона не перестают осведомляться о ее здоровье, Елизавета предлагает своего врача, она требует, чтобы пищу готовил кто-нибудь из личного штата Марии Стюарт: пусть хулители не ропщут под сурдинку, будто Елизавета пытается извести соперницу ядом, пусть не скулят, что она держит в заточении помазанницу божию: она только настойчиво — с неотразимой настойчивостью — упростила шотландскую сестрицу погостить подольше в чудесных английских поместьях! Разумеется, и проще и куда вернее было бы для Елизаветы запереть упрямыцу в Тауэр, чем устраивать ей роскошную и расточительную жизнь по замкам. Но, более искушенная в тонкой политике, чем ее министры, которые снова и снова рекомендуют ей эту грубую меру, Елизавета боится снискать одиозную славу ненавистницы. Она настаивает на своем: надо содержать Марию Стюарт, как королеву, но опутав ее шлейфом почтительности, сковав золотыми цепями. Крепя сердце, фанатически скаредная Елизавета в этом единственном случае готова пойти на расходы: со скрежетом зубным выбрасывает она пятьдесят два фунта в неделю на непрошеное гостеприимство — и так все двадцать лет. А поскольку Мария Стюарт вдобавок получает из Франции весьма изрядный пенсioen в тысячу двести фунтов ежегодно, то ей поистине голодать не приходится. Она может жить в английских замках вполне на княжескую ногу. Ей не возбраняется водрузить в своем приемном зале балдахин с королевской короной: каждый посетитель видит с первого взгляда, что здесь живет королева, пусть и пленная. Ест она только на серебре, во всех покоях горят дорогие восковые свечи в серебряных канделябрах, полы устланы турецкими коврами — по тому времени большая редкость. У нее такая богатая утварь, что каждый раз, чтобы перевезти ее добро из одного замка в другой, тре-

буются десятки возов четвернями. Для личных услуг к Марии Стюарт приставлен целый рой статс-дам, горничных и камеристок: в лучшие времена ее окружает не менее пятидесяти человек, целый придворный штат в миниатюре — гофмейстеры, священники, врачи, секретари, казначей, камердинеры, гардеробмейстеры, портные, обойщики, повара — штат, который бережливая хозяйка страны с отчаянной настойчивостью стремится сократить и за который ее пленница держится зубами.

Что никто не собирался томить свергнутую монархиню в сумрачно-романтическом подземелье, доказывает уже выбор человека, который должен был стать ее постоянным стражем. Джордж Толбот, граф Шрусбери, мог по праву называться дворянином и джентльменом. А до июня 1569 года, когда Елизавета остановила на нем свой выбор, его можно было считать и благополучным человеком. У него обширные угодья в северных и средних графствах и девять собственных замков; как владетельный князь, пребывает он в своих поместьях, вдали от шума истории, вдали от чинов и отличий. Чуждый политического честолюбия, этот богатый вельможа живет своими интересами, довольный миром и собой. Борода его тронута серебром, он уже считает, что пора и на покой, как вдруг Елизавета взваливает на него пренеприятное поручение — охранять ее честолюбивую и озлобленную многими неправдами соперницу. Его предшественник Ноллис вздохнул с облегченным сердцем, узнав, что Шрусбери должен сменить его на этом щекотливом посту: «Как бог свят, лучше любое наказание, чем возиться с таким каверзным делом». Ибо почетный затвор, пресловутая «honourable custody» представляет крайне неблагоприятную задачу с весьма неясно обозначенными границами и правами; неизбежная двойственность такого поручения обязывает к исключительному такту. С одной стороны, Мария Стюарт как будто королева, с другой стороны, как будто и нет; формально она гостя, а по сути — узница. А отсюда следует, что Шрусбери, как внимательный и учтивый хозяин дома, должен всячески ей угождать и в то же время, в качестве доверенного лица Елизаветы, во всем ее ограничивать. Он поставлен над королевой, но разговаривать с ней может, лишь преклонив колени; он должен быть суров, но, под личиной покорности, должен ублажать свою гостью и в то же время неусыпно ее сторожить. Трудность этой задачи еще усу-

губляется его женой, которая свела в могилу трех мужей и теперь досаждаёт четвертому вечными сплетнями и наговорами — ибо она интригует то за, то против Елизаветы, то за, то против Марии Стюарт. Нелегко этому славному человеку лавировать между тремя разъяренными фуриями, из которых одной он подвластен, с другой связан узами брака, а к третьей прикован незримыми, но нерасторжимыми цепями: в сущности, бедняга Шрусбери все эти пятнадцать лет не столько тюремщик Марии Стюарт, сколько собрат по несчастью, такой же пленник, как она, и над ним так же тяготеет таинственное проклятие, заключающееся в том, что эта женщина приносит зло каждому, кого встречает на своем трагическом пути.

Как же проводит Мария Стюарт эти пустые, бессмысленные годы? Очень тихо и уютно на первый взгляд. Со стороны глядя, круг ее дневных занятий ничем не отличается от обихода других знатных дам, годами безвыездно просиживающих в своих феодальных поместьях. Когда она здорова, она часто выезжает на свою любимую охоту, разумеется в сопровождении все той же зловещей «почетной стражи», или старается игрою в мяч и другими физическими упражнениями восстановить бодрость и свежесть своего уже несколько утомленного тела. У нее нет недостатка в обществе, то и дело наезжают соседи из окрестных замков почтить интересную узницу, ибо — нельзя ни на минуту упускать это из виду — эта женщина, хоть и лишённая власти, все же по праву ближайшая наследница престола и, буде с Елизаветой — все мы в руке божией — завтра что-нибудь случится, ее преемницей может оказаться Мария Стюарт. А потому все, кто поумней и подальновидней, и прежде всего ее постоянный страж Шрусбери, всячески стараются с ней ладить. Даже сердечные дружки Елизаветы, фавориты Хэтон и Лестер, предпочитают не сжигать кораблей и за спиной у своей покровительницы шлют письма и приветы ее яркой ненавистнице и сопернице. Кто знает, не придется ли уже завтра, преклонив колени, выпрашивать у нее королевских милостей. Хоть и запертая в своем сельском захолустье, Мария Стюарт знает все, что происходит как при дворе, так и во всем большом мире. А уж леди Шрусбери рассказывает ей и то, о чем бы ей лучше не знать, о многих интимных

сторонах жизни Елизаветы. И отовсюду подземными путями приходят к узнице слова участия и одобрения. Словом, не как тесную, темную тюремную камеру надо себе представлять заточение Марии Стюарт, не как полное одиночество и оторванность от мира. Зимними вечерами в замке музицируют: правда, юные поэты не слагают ей больше нежных мадригалов, как во времена Шателера, забыты и галантные «маски», которыми когда-то увлекались в Холируде; это нетерпеливое сердце уже не вмещает любви и страсти — вместе с юностью отходит пора увлечений. Из всех экзальтированных друзей она сохранила только маленького пажа Уильяма Дугласа, своего лохливенского спасителя, из всех приближенных мужчин — увы, среди них нет больше Босуэлов и Риччо — ей приходится чаще всего видаться с врачом. Мария Стюарт теперь то и дело болеет, у нее ревматизм и какие-то странные боли в боку. Ноги у нее иногда так распухают, что это надолго пригвозждает ее к креслу и она ищет исцеления на горячих водах; а из-за недостатка живительных прогулок ее когда-то такое нежное, стройное тело постепенно становится debilem и дряблым. Очень редко находит она в себе силы для смелых эскапад в привычном ей когда-то духе; безвозвратно миновали времена бешеной скачки по шотландским полям и лугам; времена увеселительных поездок из замка в замок. Чем дольше длится ее заточение, тем охотнее ищет узница утешенья в домашних занятиях. Часами сидит она за пальцами, одетая в черное, как монахиня, и своими точеными, все еще красивыми белыми руками вышивает те чудесные златотканые узоры, образцами которых мы еще и сегодня любуемся, или же углубляется в свои любимые книги. Не сохранилось преданий ни об одном ее увлечении за без малого двадцать лет. С тех пор как скрытый жар ее души не может излиться на любимого человека — на Босуэла, он ищет выхода в более умеренной и ровной привязанности к существам, никогда не обманывающим, — к животным. По просьбе Марии Стюарт ей доставляют из Франции самых умных и ласковых собак — спаниелей и легавых; она держит в комнатах певчих птиц и возится с голубями, ходит за цветами в саду и заботится о приближенных женщинах. Тот, кто знает ее лишь поверхностно, видит ее лишь наездами и не вникает глубоко, может и в самом деле вообразить, будто ее неукротимое честолюбие, когда-то сотрясавшее мир, угасло, будто в ней

утихли земные желания. Ибо часто — и с каждым годом все чаще — ходит эта понемногу стареющая женщина, окутанная реющим вдовьим покрывалом, к обедне, все чаще склоняется перед налоем в своей часовне, и только очень редко заносит стихи в свой молитвенник или на чистый листок бумаги. И это уже не пламенные сонеты, а слова благочестивого смирения и меланхолической отрешенности:

Que suisie helas et quoy sert ma vie
Ien suis fors qun corps priue de cueur
Un ombre vayn un obiect de malheur
Qui na plus rien que de mourir en uie...

Чем стала я, зачем еще дышу?
Я тело без души, я тень былого.
Носимая по воле вихря злого,
У жизни только смерти я прошу.

Все больше укрепляется в таком наблюдателе впечатление, что это многострадальная душа оставила попечение о мирской власти, что благочестиво и бестревожно ждет она теперь одного — всепримиряющей смерти.

Но не будем обманываться: все это лишь притворство и маска. На самом деле это гордое сердце, эта пламенная царица живет одной лишь мечтой — вновь вернуть себе свободу и власть. Ни на минуту не склоняется она к тому, чтобы покорно принять свой жребий. Все это посиживание за пальцами, за книгами, мирные беседы и ленивые грезы наяву лишь ширма для каждодневной кипучей деятельности — заговорщицкой. Неустанно, с первого дня своего заточения до последнего, плетет она заговоры и интриги, повсюду ее кабинет превращается в тайную политическую канцелярию, здесь днем и ночью кипит работа. За закрытыми дверьми, в обществе двух своих секретарей, Мария Стюарт собственноручно набрасывает секретные обращения к послам — французскому, испанскому, папскому, а также к своим приверженцам в Шотландии и Нидерландах, в то же время, осторожности ради, забрасывая Елизавету умоляющими, успокаивающими, кроткими и возмущенными письмами, на которые та уже давно не отвечает. Неустанно, под сотнею личин, спешат ее посланцы в Париж, Мадрид и обратно, постоянно придумываются пароли, изобретаются шифровальные коды — ежемесячно

новые, — регулярно работает настоящая международная почта, связывая ее с врагами Елизаветы. Все ее домохозяева — о чем Сесил прекрасно осведомлен, почему он и тщится сократить число ее оруженосцев, — представляют собой генеральный штаб, неустанно разрабатывающий все ту же операцию ее освобождения; все пять десятков ее слуг постоянно сносятся с окружающими деревнями, сами ходят в гости и принимают гостей, чтобы передавать и получать известия; все окружающее население под видом благостыни регулярно подкупается, и благодаря этой изощренной организации дипломатическая эстафетная почта безотказно работает до самого Парижа и Рима. Письма провозятся контрабандой в белье, книгах, выдолбленных тростях, в крышках футляров с драгоценностями и даже за амальгамою зеркал. Для того чтобы перехитрить Шрусберн, изобретаются все новые уловки, расширяются подошвы и в них закладываются послания, писанные симпатическими чернилами, или же изготавливаются парики и в букли заворачиваются бумажные папильотки. В книгах, которые Мария Стюарт выписывает из Парижа, подчеркиваются по известной системе буквы, так что в целом получается связный текст, а бумаги первостепенного значения проносит в подоле сутаны ее духовник. Мария Стюарт, с юности возившаяся с тайнописью, искусно шифровавшая и расшифровывавшая письма, руководит всеми операциями, и эта увлекательная, азартная игра, путающая Елизавету карты, напрягает все душевные силы узницы, возмещая недостаток физических упражнений и других утех. Со свойственным ей пылким безрассудством отдается она заговорам и дипломатическим интригам, и в иные часы, когда новые посулы и предложения из Мадрида, Парижа или Рима все новыми окольными путями достигают ее кельи, эта униженная монархиня может и вправду вообразить себя силой, чуть ли не средоточием всеевропейских интересов. И то, что Елизавета знает об этой угрозе и бессильна против такого упорства, то, что она, ее пленница, через головы надзирателей и стражей может руководить этой кампанией в тиши своей кельи и участвовать в решении судеб мира, пожалуй, единственная отрада, чудесно поддерживающая дух Марии Стюарт все эти долгие беспросветные годы.

Удивления достойна эта непоколебимая энергия, эта скованная сила, и в то же время она потрясает нас своей тщетностью, ибо все, что бы Мария Стюарт ни придумала и ни предприняла, обречено на неудачу. Все бесчисленные заговоры и комплоты, которые она плетет неустанно, заранее осуждены на поражение. Слишком неравны силы противников. Всегда слабее тот, кто борется в одиночку против целой организации. Мария Стюарт действует одна, в то время как за Елизаветой стоит все государство — канцлеры, советники, полицмейстеры, солдаты и шпионы, — не говоря уже о том, что из государственной канцелярии легче бороться, чем из тюремной камеры. У Сесила сколько угодно золота, сколько угодно средств обороны, он ничем не ограничен в своих действиях, тысячи глаз его тайных соглядатаев следят за одинокой неопытной женщиной. Полиция в те времена знала до мелочей чуть ли не все о каждом из трех миллионов граждан, составлявших население Англии; каждый чужеземец, высаживавшийся на английской земле, брался в проверку и под наблюдение; в харчевни, тюрьмы, на прибывающие суда направлялись лазутчики, ко всем подозрительным лицам подсылались шпионы, а там, где эти полумеры оказывались недействительными, применялась самая действенная мера — пытка. И превосходство коллективной силы немедленно дает себя знать. Самоотверженные друзья Марии Стюарт один за другим попадают в темные казематы Тауэра, а там на дыбе у них исторгаются полное признание и имена соучастников — и так, клещами палачей в порошок размалывается заговор за заговором. А если Мария Стюарт порой удастся переслать свои письма и предложения через одно из иностранных посольств, то сколько нужно бесконечных недель, чтобы письмо доползло до Рима или Мадрида, сколько недель, чтобы в государственных канцеляриях собрались ответить, и опять-таки сколько недель, чтобы ответ дошел по назначению! И как ничтожна в результате эта помощь, как оскорбительно холодна для горячего, нетерпеливого сердца, которое ждет армад и армий, спешащих на выручку! Да и разве не естественно одинокому пленнику, все дни и ночи занятому мыслями о своей судьбе, воображать, что и все его друзья в далеком деятельном мире только и заняты его особой? Но тщетно старается Мария Стюарт представить свое освобождение неотложным делом всей контрреформации, первой и важ-

нейшей спасательной акцией католической церкви: ее друзья только подсчитывают и жмутся и никак не могут между собой договориться. Армада не снаряжается в поход. Филипп II, главная опора Марии Стюарт, щедр на молитвы, но скуп на решения. Ему не улыбается из-за этой пленницы вступить в войну с неверным исходом, и он и папа отделиваются тем, что посылают немного денег, чтобы было на что подкупить двух-трех искателей приключений для организации покушения или мятежа. Но как жалки эти попытки заговорщиков и как легко берут их на мушку неусыпные шпионы Уолсингема! Только несколько изувеченных, истерзанных трупов на лобном месте Тауэрхилла время от времени напоминают народу, что в уединенном замке все еще томится в заточении женщина, упрямо притязаящая на то, что она единственная правомочная королева Англии, и все еще находятся глупцы или герои, готовые за нее пострадать.

Что все эти заговоры и интриги в конце концов приведут Марию Стюарт к гибели, что она, как всегда опрометчивая, затеяла безнадежную игру, одна, из стен узилища, объявив войну могущественнейшей властительнице мира, — давно ясно каждому современнику. Уже в 1572 году, после крушения заговора Ридольфи, ее шурин Карл IX заявил с досадой: «Несчастливая дура до тех пор не успокоится, пока не свихнет себе шею. Она дождется, что ее казнят. А все по собственной глупости, я просто не вижу, чем тут помочь». Таково жестокое суждение человека, который в Варфоломеевскую ночь отважился лишь на то, чтобы из защищенного окна подстреливать безоружных беглецов, человека, который понятия не имел ни о каком героизме. И конечно же, с точки зрения расчетливой осторожности Мария Стюарт поступила неразумно, избрав не более удобный, хоть и трусливый путь капитуляции, а очевидную безнадежность. Быть может, своевременно отказавшись от своих династических прав, она этим купила бы себе свободу, быть может, все эти годы ключ от тюрьмы находился у нее в руках. Надо было лишь покориться, лишь торжественно и добровольно отказаться от всяких притязаний на шотландский, на английский престол, и Англия, облегченно вздохнув, отпустила бы ее на свободу. Не раз пыталась Елизавета. — не из великодушия, разуме-

ется, а из страха, так как обличающее присутствие опасной узницы кошмаром тяготило ее совесть, — перебросить ей мостик для отступления; переговоры то и дело возобновлялись и на достаточно справедливых условиях. Но Мария Стюарт считает, что лучше быть коронованной узницей, чем отставной королевой, и в первые же дни заточения Ноллис правильно оценил ее, сказав, что у нее достаточно мужества, чтобы бороться, пока еще есть хоть капля надежды. Чувство истинного величия подсказывало ей, как презренна была бы эта куца свобода отставной королевы где-нибудь в захолустье и что только унижение возвеличит ее в истории. В тысячу раз сильнее, чем неволя, связывает ее данное слово, что никогда она не отречется и что самые последние ее слова будут словами королевы Шотландской.

Нелегко установить границу, отделяющую безрассудную храбрость от безрассудства, ведь в героизме всегда есть безумие. Санчо Пансо своей житейской мудростью превосходит Дон-Кихота, а Терсит с точки зрения *ratio*¹ головой выше Ахилла; но слова Гамлета о том, что стоит бороться и за былинку, когда задета честь, на все времена останутся мерилom истинно героической природы. Конечно, сопротивление Марии Стюарт при неизмеримом превосходстве противника вряд ли к чему-либо могло привести, а все же неверно называть его бессмысленным только потому, что оно оказалось безуспешным. Ибо все эти годы — и даже что ни год, то больше — эта, по-видимому, бессильная одинокая женщина именно благодаря своему неукротимому задору представляет огромную силу, и только потому, что она потрясает своими цепями, порой сотрясается вся Англия и сердце у Елизаветы уходит в пятки. Мы искажаем историческую перспективу, когда с удобной позиции потомков оцениваем события, учитывая и результаты. Легче легкого задним числом осуждать побежденного, отважившегося на бессмысленную борьбу. На самом деле окончательное решение в единоборстве обеих женщин все эти двадцать лет колеблется на чаше весов. Некоторые из заговоров, ставивших себе целью вернуть Марии Стюарт корону, при известной удаче могли бы стоять Елизавете жизни, а два-три раза меч просвистел над самой ее головой. Сначала ударяет Нортумберленд, собравший вокруг себя католическое дворянство; весь Север в огне, и только с

¹ Рассудок (*лат.*).

трудом удается Елизавете овладеть положением. Затем следует еще более опасная интрига Норфолка. Лучшие представители английской знати, среди них ближайшие друзья Елизаветы, такие, как Лестер, поддерживают проект женитьбы Норфолка на шотландской королеве, которая, чтобы придать ему мужества — чего только не сделает она для победы! — пишет ему нежнейшие письма. Благодаря посредничеству флорентийца Ридольфи готовится высадка испанских и французских войск, и если бы Норфолк, уже раньше своим трусливым отречением показавший, чего он стоит, не был тряпкой и если бы к тому же не помешали случайности фортуны — ветер, непогода, море и предательство, — дело приняло бы другой оборот, роли переменялись бы и в Вестминстере восседала бы Мария Стюарт, а Елизавета томилась бы в подземелье Тауэра или лежала бы в гробу. Но и кровь Норфолка и жребий Нортумберленда, равно как и многих других, кто в эти годы сложил голову на плахе, не отпугивают последнего претендента; это дон Хуан Австрийский, внебрачный сын Карла V, сводный брат Филиппа II, победитель при Лепанто, идеальный рыцарь, первый воин христианского мира. Рожденный вне брака, он не может притязать на испанскую корону и стремится создать себе королевство в Тунисе, как вдруг ему представляется случай завладеть другой короной, шотландской, а вместе с ней и рукой державной узницы. Он вербует армию в Нидерландах, и освобождение спасение уже близко как вдруг не везет Марии Стюарт ее помощниками! — коварная болезнь настигает его и уносит в безвременную могилу. Никому из тех, кто домогался руки Марии Стюарт или бескорыстно служил ей, никогда не сопутствовало счастье.

Ибо, говоря непредвзято и честно, к этому в конце концов и сводился спор между Елизаветой и Марией Стюарт. Елизавете все эти годы не изменяло счастье, а Марии Стюарт — несчастье. Если мерить их силы с силою, характер с характером, то они почти равны. Но у каждой своя звезда. Что бы Мария Стюарт, как потерпевшая поражение, как преданная счастьем, ни предпринимала из своего заточения, терпит крах. Флотилии, посылаемые против Англии, разносит в щепки буря, ее посланцы теряются в пути, искатели ее руки умирают, друзьям в решительную минуту изменяет мужество, и каждый, кто стремится ей помочь, сам роет себе могилу.

Поражают справедливостью слова Норфолка, сказанные им на эшафоте: «Что бы она ни затеяла и что бы для нее ни затевали другие, заранее осуждено на неудачу». С самой встречи с Босуэлом ей изменило счастье. Тот, кто ее любит, обречен смерти, тот, кого любит она, пожнет одну горечь. Кто желает ей добра, приносит ей зло, кто ей служит, служит собственной гибели. Как черная магнитная гора в сказке притягивает корабли, так и ее судьба на пагубу людям притягивает чужие судьбы; вокруг Марии Стюарт постепенно складывается зловещая легенда — от нее будто бы исходит магия смерти. Но чем безнадежнее ее дело, тем неукротимее дух. Вместо того чтобы сломить, долгое сумрачное заточение лишь закалило ее сердце. И сама, по собственному почину, хоть и зная, что все напрасно, призывает она на свою голову неизбежную развязку.

ГЛАВА XX Последний круг

1584—1585

А годы идут и идут. Недели, месяцы, годы, как облака, проносятся над этой неприкаянной головой, словно и не затрагивая ее. Но как ни незаметно, а время меняет человека и окружающий мир. Марии Стюарт пошел сороковой год — критический возраст для женщины, а она все еще узница, все еще томится в неволе. Незаметно подкрадывается старость, кое-где уже мелькает серебро в волосах, стройное тело расплывается, тяжелеет, черты успокоились, в них сквозит зрелость матроны, на всем существе лежит печать уныния, которое охотно ищет выхода в религии. Скоро — женщина глубоко чувствует это — время любви, время жизни уйдет без возврата; что не сбылось до сих пор, вовек не сбудется, наступил вечер, близится темная ночь. Давно не появлялось новых искателей ее руки, должно быть, никто уже и не явится: еще немного — и жизнь навсегда миновала. Так стоит ли ждать и ждать чуда освобождения, помощи равнодушного, колеблющегося мира? Все сильнее и сильнее в эти закатные годы чувствуем мы, что ее многострадальная душа пресытилась борьбой и склоняется к отречению и примирению. Все чаще выпадают минуты, когда она спрашивает себя: а не глупо ли зачахнуть без пользы и любви, как выросший в тени

цветок, не лучше ль дорогой ценой купить себе свободу, добровольно сняв корону с седеющей головы? На сороковом году все больше утомляет Марию Стюарт эта гнетущая, беспросветная жизнь, неукротимое властолюбие постепенно отпускает ее, уступая место кроткой, мистической воле к смерти. Должно быть, в один из таких часов она пишет на листке бумаги эти прочувствованные латинские строки — полужалобу, полумолитву:

O Domine Deus! speravi in Te
O care mi Jesu! nunc libera me.
In dura catena, in misera poena, desidero Te;
Languendo, gemendo et genu flectendo
Adoro, imploro, ut liberes me.

Мое упование, господь всеблагой!
Даруй мне свободу, будь кроток со мной.
Терзаясь в неволе, слабея от боли,
Я в мыслях с тобой.
Упав на колени, сквозь слезы и пени
Тебя о свободе молю, всеблагой.¹

Поскольку избавители мешкают и колеблются, взор ее обращается к спасителю. Лучше умереть — лишь бы не эта пустота, эта неопределенность, это вечное ожидание, и надежда, и тоска, и неизбежное разочарование! Лишь бы конец — на радость или на горе, с победой или поражением! Борьба неудержимо близится к концу — потому что Мария Стюарт всем жаром своей души этот конец призывает.

Чем дольше тянется эта отчаянная, коварная и жестокая, величественная и упорная борьба, тем непримиримее стоят друг против друга обе застарелые противницы — Мария Стюарт и Елизавета. Политика Елизаветы приносит ей успех за успехом. С Францией у нее заключен мир, Испания все еще не отваживается на войну; над всеми недовольными одержала она верх. И только один враг, смертельно опасный враг, все еще живет безнаказанно у нее в стране, одна эта побежденная и все же непобедимая женщина. Лишь устранив последнего недруга, может она чувствовать себя подлинной победительницей. Да и у Марии Стюарт не осталось для ненависти иного объекта, нежели Елизавета. Снова в минуту предельного отчаяния обращается она к своей родственнице, к данной ей роком сестре, с неодолимой страстностью взывая к ее человечно-

¹ Перевод С. К. Апта.

сти. «У меня нет больше сил страдать, Madame, — воплем вырывается у нее в этом благородном послании, — и, умирая, я не могу не назвать тех, кто замыслил меня извести. Самых закоренелых злодеев в Ваших тюрьмах выслушивают, им называют имена их наветников и клеветников. Так почему же в этом отказывают мне, королеве, Вашей кузине и законной наследнице престола? Мне думается, что именно последнее обстоятельство и было до сих пор причиной лютой вражды моих врагов. Но увы! У них больше нет необходимости меня мучить, ибо, честью клянусь, не нужно мне теперь иного царства, кроме царства небесного, в кое чувствую я себя готовою войти, ибо лишь в нем обрету конец тяготам моим и мучениям». В последний раз со всем жаром неподдельной искренности заклинает она Елизавету все же даровать ей свободу: «Честью и смертными муками спасителя и избавителя нашего заклинаю, умилосердитесь, дозвоьте мне оставить это государство и удалиться на покой куда-нибудь в уединенное место; там усталое тело, изнуренное нескончаемой печалью, обретет отдых, и ничто не помешает мне спокойно готовиться предстать всевышнему каждодневно призывающему меня к себе... Окажите мне эту милость до моей кончины, и душа моя, раз что эта распря меж нами улажена, не будет вынуждена, освободившись от земных уз, принести свой жалобный творцу, обвинив Вас за зло, причиненное мне здесь, на земле». Но душераздирающий зов не тронул сердце Елизаветы: она остается нема, ни одного подбадривающего слова не находит у нее для страдальицы. И тогда Мария Стюарт стискивает зубы и кулаки. Отныне она знает одно только чувство — ледяную и пламенную, упорную и испепеляющую ненависть к этой женщине, и эта ненависть тем зорче и непримиримее нацелена именно на нее, единственную, что все ее другие враги и противники покончили земное существование, сами порешив друг друга. Как будто для того, чтобы таинственная магия смерти, исходящая от Марии Стюарт и поражающая всех, кто ее ненавидел или любил, проявилась со всей очевидностью, каждый, кто служил ей или враждовал с ней, кто боролся за или против нее, опередил ее в смерти. Все те, кто свидетельствовал против нее в Йорке — Меррей и Мэйтленд, — умерли насильственной смертью: все кто должен был судить ее — Нортумберленд и Норфолк, — сложили за нее голову на плахе; все, кто сначала умышлял против Дарнлея, а потом против Босуэла,

убрали друг друга с дороги, предатели Керк о'Филда, Карбери и Лангсайда предали сами себя. Все эти своенравные шотландские бароны и графы — неистовая, опасная, честолюбивая свора — истребили друг друга. Поле битвы опустело. Не осталось никого на земле, кого бы ей еще нужно было ненавидеть, кроме нее, Елизаветы. Великая борьба народов, ознаменовавшая два десятилетия, ныне свелась к единоборству. И в этом поединке женщины с женщиной не остается места ни для каких переговоров. Это бой не на жизнь, а насмерть.

Для этого последнего боя, боя насмерть, Марии Стюарт нужно сделать последнее напряжение. Еще одной, последней надежды должна она лишиться. Еще один удар должна принять в самое больное место, чтобы потом собраться с силами для последнего рывка. Ибо всегда к Марии Стюарт ее великолепное мужество, ее неукротимая решимость приходит в ту минуту, когда все потеряно или кажется потерянным. Всегда безысходность пробуждает в ней героизм.

Последняя надежда, которую ей предстоит утратить, это надежда договориться с сыном. Ибо за эти гнетущие пустые годы, когда решительно ничего не происходило, когда она только и делала, что ждала и слушала, как безостановочно бегут часы, словно песок, осыпающийся с полуразрушенной башни, за это нескончаемое время, которое так измотало и состарило ее, подросло дитя, ее кровное дитя. Младенцем оставила она Иакова VI, когда уезжала из Стирлинга и Босуэл со своими всадниками захватил ее перед Эдинбургскими воротами и увлек навстречу гибели; за эти десять, пятнадцать, семнадцать лет бессознательное существо успело стать ребенком, мальчиком, юношей и наконец почти мужчиной. Иаков VI унаследовал немало черт своих родителей, хотя и в смешанной, стертой форме. Этот странно-ватый мальчик с неловким, неповоротливым языком, неуклюжим, тяжеловесным телом и нерешительной, робкой душой на первый взгляд производит впечатление не вполне нормального. Он избегает общества, трепещет при виде ножа, боится собак, груб и неловок в обращении с людьми. В нем не заметно ни изысканной грации, ни природного обаяния его матери, не выказывает он и артистических склонностей, ни музыка, ни танцы его не увлекают, не заметно в нем и таланта к легкой непринужденной беседе. Зато у него способности к языкам и превосходная память, а там, где дело касается его личных интересов, он обна-

руживает и ум и упорство. Роковым образом сказалась на его характере мелочная, низменная натура отца. Он унаследовал от Дарнлея его нетвердую волю, его нечестность и ненадежность. «Чего ждать от такого двуречивого мало-го!» — как-то в сердцах сказала о нем Елизавета; подобно Дарнлею, он поддается любому влиянию. Сердцу этого черствого эгоиста неведомо благородство, все его поступки диктуются чисто внешним честолюбием, а его бесчувственное отношение к матери можно понять, только если отвлечься от представлений о сыновнем долге, сыновней преданности. Воспитанный заядлыми врагами Марии Стюарт, имея преподавателем латыни Джорджа Бьюкенена, человека, написавшего на нее пресловутый пасквиль «Dedectio»¹, он, должно быть, только и слышал о пленнице, томящейся в заточении в соседней стране, что она помогла лишить жизни его отца, а теперь оспаривает право на престол у него самого, коронованного монарха. С раннего детства вдалбливают мальчику, что мать, в сущности, чужая ему женщина, досадная помеха на пути его честолюбивых стремлений. И если в душе ребенка когда-либо жила мечта увидеть женщину, даровавшую ему жизнь, то английские и шотландские тюремщики зорко следили за тем, чтобы помешать малейшему сближению обоих пленников — Марии Стюарт, пленницы Елизаветы, и Иакова VI, пленника лордов и власть предержащего регента. Время от времени, когда несколько раз за много-много лет, обмениваются они письмами: Мария Стюарт посылает подарки, игрушки, а как-то раз даже забавную обезьянку, но и дары и письма обычно отвергаются, так как она упорно не желает признать за сыном права на королевский титул, а лорды возвращают, как оскорбительные, письма, где Иаков именуется просто принцем. Мать и сын так и не выходят за пределы чисто официальных, холодных отношений, у обоих властолюбие заглушает голос крови, ибо она хочет быть единодержавной королевой Шотландии, а он — единодержавным королем.

Какое-то сближение становится возможным, когда Мария Стюарт отказывается от своего непримиримого отношения к факту коронования ее сына лордами и выражает готовность признать за ним некоторые права на корону. Разумеется, она и сейчас не намерена отречься ни от

¹ Обличение (*лат.*).

титула, ни от престола — и жить и умереть она хочет миропомазанницей с королевским венцом на челе, но, чтобы купить себе свободу, готова делить его с сыном. Впервые мелькает у нее мысль о компромиссе. Пусть он правит и называется королем, лишь бы и ей позволили именоваться королевой, лишь бы на ее отречение был наведен стыдливый глянец сусальной позолоты! Постепенно завязываются тайные переговоры. Однако Иаков VI, на которого давят лорды, ведет их как холодный интересант. Без зазрения совести торгуется он одновременно с обеими сторонами, ходит Марией Стюарт под Елизавету, а Елизаветой под Марию Стюарт и точно так же ставит попеременно на обе религии, готовый отдать предпочтение тому, кто дороже заплатит, ибо для него это не вопрос чести: ему важно остаться королем Шотландии, но в то же время обеспечить себе права на английский престол; он хочет наследовать не одной, а обеим женщинам. Он не прочь остаться протестантом, поскольку это кажется ему выгоднее, но склоняется и к католицизму, буде там лучше заплатят; мало того, семнадцатилетний юноша, чтобы не откладывать дела с английской короной в долгий ящик, не отступает и перед вовсе уж неблагоприятной сделкой: он готов жениться на изрядно побитой молью Елизавете, даром что та на десять лет старше его матери и к тому же ее испытанная противница и соперница. Для Дарнлея младшего эти переговоры — вопрос простого расчета, тогда как Мария Стюарт, все еще живущая иллюзиями и чуждая реальной жизни, пылает и трепещет, воодушевленная последней надеждой — путем соглашения с сыном вырваться на свободу и в то же время сохранить свои царственные права.

Но Елизавета сразу же бьет тревогу. Она боится, как бы мать с сыном не договорились. Не теряя ни минуты, вторгается она в еще не окрепшую пряжу переговоров. Циническое знание людей подсказывает ей, чем взять неустойчивого юношу: игрой на его человеческих слабостях. Она посылает молодому королю, помешанному на охоте, отборных лошадей и собак. Она подкупает его советников и предлагает ему самому ежегодный пенсioen в пять тысяч фунтов, что при вечных недостатках у шотландского двора само по себе является решающим доводом; кроме того, она пускает в ход испытанную приманку — английское престолонаследие. Как и обычно, дело решают

деньги. В то время как ничего не подозревающая Мария Стюарт продолжает дипломатическую игру на пустом месте и вкупе с папою и испанским королем строит воздушные замки насчет католической Шотландии, Иаков VI тишком подписывает договор с Елизаветой, где подробно изложено, что эта сделка принесет ему как в деньгах, так и в других благах, но где ни словом не упомянут, казалось бы, более чем уместный здесь пункт об освобождении матери. Ни единой строчки о пленнице, совершенно ему безразличной, раз с нее больше ничего не возьмешь. Через голову матери, как будто ее и нет на свете, договаривается сын со злейшим ее врагом. Пусть женщина, подарившая ему жизнь, теперь, когда от нее больше нечего ждать, оставит его в покое. Как только договор подписан и милый сынок раздобылся деньгами и собаками, он сразу же обрывает переговоры с матерью. Стоит ли церемониться с бессильной женщиной! По поручению его величества короля составляется строжайший рескрипт, где в грубо канцелярском тоне сообщается, что Мария Стюарт навсегда лишена титула и всех прав королевы Шотландской. Отняв у противницы державу, корону, власть и свободу, бездетная соперница отнимает у нее еще и последнее — сына. Наконец-то она окончательно отмщена.

Победа Елизаветы означает полный крах последних иллюзий Марии Стюарт. Вслед за мужем, вслед за братом, вслед за подданными от нее отвернулся сын, ее кровное дитя, и теперь она одна в целом мире. Ее разочарование, ее возмущение не имеют границ. Отныне ей ни до кого нет дела! Ни с кем она больше считаться не будет! Раз сын от нее отрекся, что ж, и она отречется от сына. Раз он продал ее права на престол, она продаст его права. И она называет Иакова VI выродком, ослушником, неблагодарным, испорченным мальчишкой, она проклинает его и грозит, что по завещательному распоряжению лишит его не только шотландской короны, но и английских преемственных прав. Чем такому изменнику и еретнику, пусть лучше престол Стюартов достанется чужому государю! С этим твердым решением она предлагает Филиппу II шотландские и английские преемственные права, если тот обещает бороться за ее освобождение и смирить Елизавету, убийцу всех ее надежд. Что ей теперь ее страна, ее сын! Лишь бы жить подольше, лишь бы вырваться на свободу и победить! Отныне она ничего не боится, и самые страш-

ные решения ей не страшны. Кто все потерял, тому больше нечего терять.

Годами в измученной, униженной женщине накапливались гнев и озлобление. Годами надеялась она, торговалась, интриговала, злоумышляла и искала возможностей договориться. Ныне мера ее терпения исполнилась. Точно вырвавшееся на волю пламя, вспыхнула подавленная ненависть к мучительнице, узурпаторше, палачихе. Уже не только как королева на королеву — как женщина на женщину бросается Мария Стюарт на Елизавету, словно норовя выцарапать ей глаза. Поводом служит ничтожный инцидент: графиня Шрусбери, злобная истеричка и интриганка, под горячую руку обвинила Марию Стюарт в том, что у той амуры с ее супругом. Глупая бабья сплетня, разумеется, и сама графиня ей не верила, но Елизавета, не пропускавшая случая повредить доброй славе своей соперницы, постаралась, чтобы эта скандальная история дошла до иностранных дворов, так же как в свое время она разослала всем иностранным государям пасквиль Бьюкенена вместе с «письмами из ларца». И тут Мария Стюарт взвилась на дыбы. Значит, мало того, что у нее отняли власть, свободу, последнюю надежду и сына, надо еще коварно запятнать ее честь! Ее, которая живет в затворничестве монахиней, не зная ни радости, ни утех любви, хотят выставить на поругание как блудодейку, покушающуюся на святость семейного очага! Ее раненая гордость восстает и требует удовлетворения, и графиня Шрусбери на коленях отрекается от своей бесчестной лжи. Однако Марии Стюарт совершенно точно известно, кто воспользовался этой ложью, чтобы смешать ее с грязью, она почуяла предательскую руку противницы и на удар, нанесенный ее чести из темноты, отвечает открытым ударом. Давно уже грызет ее злобное нетерпение, давно уже хочется ей как женщине женщине высказать этой якобы девственной королеве, которая тщится слыть зеркалом добродетели, всю неприкрытую правду. И она пишет Елизавете письмо, будто бы затем, чтобы уведомить ее по дружбе, какую клевету и небывальщину распространяет графиня Шрусбери насчет ее частной жизни, на самом же деле чтобы бросить своей «милой сестрице» в лицо, что уж ей-то никак не пристало разыгрывать непорочную и порочить других. В письме,

дышащем лютой ненавистью, удары сыплются один за другим. Все слова жестокой правды, какие одна женщина может высказать другой, здесь высказываются вслух, все дурные черты Елизаветы высмеиваются ей в лицо, все ее женские секреты безжалостно выволакиваются на свет. Мария Стюарт сообщает Елизавете якобы «по дружбе», а на самом деле чтобы смертельно ее уязвить, что графиня Шрусбери говорит про нее, будто она так тщеславна и так высоко мнит о своей красоте, словно она сама царица небесная. Она, мол, ненасытно жадна до лести и требует от своих потакателей, чтобы те постоянно ей кадили и превозносили ее до небес, сама же в припадке раздражения истязает своих придворных дам и горничных. Одной она будто бы сломала палец, другую, которая ей не угодила, прислуживая за столом, полоснула ножом по руке. Но все это лишь скромные нападки по сравнению с ужасными разоблачениями из интимной жизни Елизаветы. Графиня Шрусбери, по словам Марии Стюарт, уверяет, будто на ляжке у Елизаветы гнойная язва — намек на сифилитическое наследие ее отца; она, мол, уже старуха и кончает носить крови, а все еще падка до мужчин. И не то чтобы она довольствовалась одним (графом Лестером), с которым спала несчетное число раз — «infinies foys», — она не пропускает ни одного случая потешить свою плоть и ни за что не откажется от своей свободы забавляться и получать удовольствие со все новыми и новыми любовниками — «jamais perdre la liberté de vous fayre l'amour et avoir vostre plésir toujours aveques nouveaulx amoureurx». Среди ночи пробирается она в комнаты мужчин в одной рубашке и накидке, и эти приключения обходятся ей недешево. Мария Стюарт называет имена и приводит подробности. И не щадя ненавистную, наносит ей жестокий удар в самое больное место. С насмешкой ставит она ей на вид (кстати, и Бен Джонсон открыто рассказывал об этом собутыльникам), что она, несомненно, не похожа на всех женщин, а потому глупости болтают все те, что притворно ждут ее предполагаемой свадьбы с герцогом Анжуйским, потому что этого никак не может быть. «Undubitablement vous n'eties pas comme les autres femmes, et pour ce respect c'estoit follie à tous ceulx qu' affectoient vostre mariage avec le duc d'Anjou, d'aultant qu'il ne se pourroit accomplir» Да, пусть Елизавета знает, что ее

ревниво оберегаемая тайна стала общим достоянием — тайна ее женского убожества, позволяющего ей любострастие, но не подлинную страсть, извращенную игру, но не полное обладание, тайна, навсегда лишаящая ее радостей королевского союза и материнства. Ни одна женщина на свете не говорила этой всесветной властительнице всю неприкрытую правду в лицо, как сказала эта узница из своего заточения: замороженная на двадцать лет ненависть, удушенный гнев и скованные силы вдруг берут свое — они вздыбливаются в яростном порыве, и удар разъяренной тигрицы метит в самое сердце мучительницы.

После такого неистового, дерзкого письма нечего и думать о примирении. Женщина, написавшая это письмо, и женщина, это письмо получившая, не могут больше дышать одним воздухом, жить в одной стране. *Nasta al cuchillo*, как говорят испанцы, война не на жизнь, а на смерть, бой на ножах — единственное, что им остается. После двадцатилетних неустанных, упорных козней и вражды всемирно-историческая борьба Марии Стюарт и Елизаветы наконец достигла высшего накала, поистине можно сказать, что дело дошло до ножей. Контрреформация исчерпала все свои дипломатические средства, а до военных еще не добралась. В Испании по-прежнему кропотливо и прилежно строят Армаду — несмотря на сокровища Индии, у этого злополучного двора всегда не хватает денег, не хватает решимости. Почему бы, думает Филипп Благочестивый — как и Джон Нокс, он видит в физическом уничтожении противника дело, угодное небесам, — почему бы не избрать более дешевый путь — подкупить двух-трех убийц, которые без всяких околичностей уберут с дороги Елизавету, опору еретиков? Век Макиавелли и его последователей не страдает излишней щепетильностью, когда дело идет о власти, а ведь здесь противостоят решения неоглядной важности — вера против веры, Юг против Севера: один-единственный удар, нацеленный в сердце Елизаветы, может освободить мир от ереси.

Стоит политическим страстям накалиться добела, как рушатся все моральные и правовые препоны, исчезает последняя оглядка на порядочность и честь и даже убийство из-за угла выдается за жертвенное деяние. После отлучения Елизаветы в 1570 году, а в 1580 — Вильгельма

Оранского оба архисупостата католического мира объявляются вне закона, а с тех пор, как папа одобрил избиение шести тысяч человек, восславив Варфоломеевскую ночь как некое благородное деяние, каждому католику известно, что, устранив одного из этих заклятых врагов истинной веры, он совершит благородный подвиг. Достаточно смелого, верного удара кинжалом или меткого выстрела из пистолета, как, выйдя из своей тюрьмы, Мария Стюарт поднимется по ступенькам трона и Англия с Шотландией объединятся в правой вере. Когда так многое поставлено на карту, недопустимо медлить и колебаться: испанское правительство ничтоже сумняся ставит на повестку дня в качестве важнейшей своей политической задачи вероломное убийство Елизаветы; Мендоса, испанский посол, называет в депешах убийство королевы (killing the Queen) весьма желательной мерой; наместник Нидерландов, герцог Альба, полностью присоединяется к этому мнению, а властитель обоих миров, Филипп II, на докладной записке о предполагаемом убийстве Елизаветы пишет: «С нами благословение господне». Уже не на дипломатические комбинации и военные действия возлагаются все надежды, а на клинок убийцы. И тут и там единодушны насчет метода: в Мадриде убийство Елизаветы одобрено Тайным советом и на него получено согласие короля; в Лондоне Сесил, Уолсингем и Лестер тоже единомысленны в том, что с Марией Стюарт надо покончить насильственным образом. Никакие обходы и лазейки больше невозможны, давно просроченный срок можно погасить только кровью. Вопрос лишь в том, кто поспеет первым — реформация или контрреформация, Лондон или Мадрид. Мария ли Стюарт устранил Елизавету, Елизавета ли Марию Стюарт.

ГЛАВА XXI

Дело идет к концу

С сентября 1585 по август 1586 года

«Пора кончать!» — «The matter must come to an end!» — этой железной формулой, вырвавшейся в горячую минуту, министр Елизаветы выразил чувства всей страны. Ничто так не тяготит народ или человека, как долгая неуверенность. Убийство изувером-католиком второго вождя рефор-

мации, принца Оранского (в июне 1584 года), ясно показало Англии, кому предназначен следующий удар; заговор следует за заговором — пора наконец взяться за узницу, за эту опасную поджигательницу, которая сеет смуту и беспокойство. Пора «вырвать зло с корнем». В сентябре 1584 года протестантские лорды и чиновная знать собираются чуть ли не все до единого и на торжественной «ассоциации» (association) «честью и присягой обязуются перед всевечным богом предавать смерти каждого, кто примет участие в заговоре против Елизаветы», причем в ответе будет и «любой претендент, в пользу которого измена замышлялась». После чего парламент в «Акте о личной безопасности королевы» — «Act for the secueity of the Queens Royall Person» — облакает это соборное определение в форму закона. Над всяким, кто примет участие в покушении на королеву или же — сугубо важный пункт — хотя бы в принципе с ним согласится, отныне занесен топор палача. Кроме того, постановлено, что «лица, обвиняемые в соучастии в заговоре против королевы, подлежат суду двадцати четырех заседателей по назначению короны».

Итак, Марии Стюарт сделано двойное предупреждение. Во-первых, в том, что на будущее королевский сан уже не помешает привлечь ее к публичному суду; во-вторых, что даже в случае успеха покушение на Елизавету ничего ей не даст, а только неминуемо приведет ее на плаху. Это звучит как последний сигнал фанфары, призывающий непокорную крепость к сдаче. В случае дальнейших колебаний пощады не будет. Отныне всякой недоговоренности и лицемерию между Елизаветой и Марией Стюарт конец, повеяло резким, суровым ветром. Наступила полная ясность.

О том, что время льстивых писем и льстивого притворства миновало и что борьба, растянувшаяся на десятилетия, вступает — *hasta al cuchilo* — в свой последний круг, когда никакие поблажки уже невозможны, Мария Стюарт и сама может судить по крутым мерам, которые против нее принимаются. Настороженный участвовавшими покушениями, английский двор решил прибрать Марию Стюарт к рукам и окончательно лишить ее возможности интриговать и крамольничать. Шрусбери, который в своем качестве джентльмена и большого вельможи был слишком снисходитель-

ным тюремщиком, «освобождается от должности»; слово «освобождается» — «released» — звучит здесь в прямом смысле, он и в самом деле на коленях благодарит Елизавету за то, что она после пятнадцатилетних мытарств дала ему вольную. Место его заступает фанатик-протестант Эмиас Паулет. Только теперь Мария Стюарт может с полным основанием говорить о «servitude» — рабской неволе, ибо вместо прежнего доброго стража ей назначили жестокого тюремщика.

Эмиас Паулет, твердокаменный пуританин, один из тех праведников, которых взывает библия, но бог не приемлет, отнюдь не скрывает своих намерений превратить жизнь Марии Стюарт в сущий ад. С полным сознанием своего долга и даже с горделивой радостью берется он содержать свою узницу в строгости, лишит ее малейших послаблений. «Я не стану испрашивать снисхождения, — пишет он Елизавете, — если она тайными кознями исхитрится вырваться из моих рук, ибо сие может произойти лишь при моем преступном попустительстве». С холодной и трезвой методичностью, как человек долга, берется он охранять и полностью обезвредить свою узницу, как будто это дело его жизни, завещанное ему господом богом. Отныне в его непреклонной душе живет одно честолюбивое стремление — стать тюремщиком не за страх, а за совесть: никакой соблазн не смутит этого Катона, ни разу у него не дрогнет сердце и набежавшая волна теплой человечности ни на миг не растопит эту ледяную постную мину. Для него бедная усталая женщина не государыня, чьи несчастья внушают уважение, но единственно черный враг его королевы, за которым нужен глаз да глаз, ибо от него, как от антихриста правой веры, всегда можно ожидать. В том, что здоровье ее расшатано и разбитые ревматизмом ноги делают ее тяжелой на подъем, он цинически усматривает «преимущество для стражей, ибо им нечего бояться, что она от них сбежит». Методически, пункт за пунктом, сам не нарадуясь на свою добросовестность, выполняет он обязанности надзирателя и с аккуратностью чиновника ежевечерне вписывает свои наблюдения в особую книгу. И если всемирной истории и знакомы более жестокие, более злобные и несправедливые тюремщики, чем этот архиправедник, то вряд ли найдется среди них другой, который умел бы с таким сладострастием превращать свои обязанности в источник чиновничьего

восторга. Первым делом неукоснительно засыпаются подземные каналы, которые все еще время от времени связывали узницу с внешним миром. Пятьдесят солдат денно и нощно караулят подходы к замку; люди из ее свиты, до сих пор невозбранно навещавшие соседние деревушки и передававшие по линии письменные и устные весточки, теперь тоже лишены свободы передвижения. Только с особого разрешения и под конвоем дозволено им оставлять замок; раздача милостыни окрестным беднякам, которой регулярно занималась сама Мария Стюарт, объявлена под запретом: проникательный Паулет с полным основанием заподозрил в этой благостыне средство склонить бедных людей к выполнению крамольных поручений. Одна суровая мера следует за другой. Белье, книги, любые посылки пристально просматриваются, все усиливающийся досмотр удушает всякую переписку. Оба секретаря Марии Стюарт, Нау и Керль, вынуждены сидеть по своим комнатам сложа руки. Им больше не приходится ни писать, ни расшифровывать письма; ни из Лондона, ни из Шотландии, ни из Мадрида или Рима не просачивается ни одна весточка, ни одна капля надежды не проникает в затворничество всеми покинутой женщины. А вскоре Паулет отнимает у нее и последнюю радость: ее шестнадцать лошадей оставлены в Шеффилде — прошло время выездов на охоту и прогулок верхом! Ее жизненное пространство совсем сузилось в этот последний год; при Эмиасе Паулете заточение Марии Стюарт все больше напоминает (темное предчувствие!) одиночную камеру, гроб.

Радея о чести Елизаветы, мы должны были бы пожелать ей более снисходительного стража для ее сестры-королевы. Но, заботясь о своей безопасности — как нам ни досадно признать это, — она не могла сыскать более надежного стража, чем этот холодный кальвинист. Образцово выполняет Паулет возложенную на него задачу отрезать Марию Стюарт от всего мира. Проходит месяц, и она герметически закупорена, живет словно под стеклянным колпаком — ни одна весть, ни одно слово снаружи не проникает под своды ее тюрьмы. Елизавета может быть спокойна и радоваться на своего доброго служаку, и она в самом деле прочувственно благодарит Эмиаса Паулета за его рвение. «Если бы вы знали, мой добрый Эмиас, с каким чувством призна-

тельности я одобряю и приветствую Ваше неослабное усердие и безошибочные действия, Ваши разумные распоряжения и надежные меры при выполнении столь опасной и трудной задачи, это, наверно, облегчило бы Ваши заботы и порадовало Ваше сердце».

Однако, как ни странно, Сесил и Уолсингем, министры Елизаветы, не слишком благодарны дотошному Эмиасу Паулету («precise fellow») за его чрезмерное усердие. Полная изоляция пленницы, вопреки всем ожиданиям, путает их тайные планы. Много ли проку в том, что Мария Стюарт лишена возможности заниматься конспирацией? Паулет своим строгим режимом, в сущности, оберегает ее от ее собственной опрометчивости. Сесилу же и Уолсингему нужна не праведная Мария Стюарт, а неправедная. Им нужно, чтобы узница, в которой они склонны видеть источник постоянных волнений и заговоров в Англии, продолжала свою тайную игру и окончательно запуталась в пагубных сетях. Они считают, что «пора кончать», им нужен гласный суд над Марией Стюарт, нужен смертный приговор, нужна казнь. Им уже мало заточения. Для них не существует иной меры безопасности, как физическое уничтожение королевы Шотландской, а чтобы добиться этого, им нужно приложить не меньше усилий, стараясь заманить ее в инсценированный заговор, чем те, какие предлагает Паулет, стараясь изолировать ее от всякой крамолы. Что им для этой цели требуется, так это комплот против Елизаветы и явное, доказанное содействие Марии Стюарт преступному заговору.

Такой заговор против жизни Елизаветы сам по себе уже существует. Можно сказать, что он работает постоянно. Стараниями Филиппа II организован на континенте самый настоящий антианглийский заговорщицкий центр. В Париже сидит Морган, главный тайный агент и доверенный Марии Стюарт, и на испанские деньги неустанно интригует, затевая всякие рискованные махинации против Англии и Елизаветы. Здесь постоянно вербуются молодежь и через посредство французских и испанских послов завязываются тайные сношения между недовольным католическим дворянством в Англии и государственными канцеляриями контрреформации. Одного только Морган не знает, что Уолсингем, один из самых способных и ничем не брезгающих министров полиции всех времен, подослал к нему под видом фанатичных католиков нескольких своих

шпионов и что как раз те курьеры, которые у Моргана на особо хорошем счету, подкуплены Уолсингемом и состоят у него на жаловании. Что бы ни предпринималось для Марии Стюарт, — все неукоснительно становится известным в Англии еще до того, как задуманные планы приводятся в исполнение. Так и в конце 1585 года английскому государственному кабинету становится известным — кровь последних заговорщиков еще обагрят эшафот, — что на жизнь Елизаветы снова готовится покушение. Уолсингем знает наперечет, знает поименно всех католических дворян в Англии, с которыми Морган ведет переговоры и кого он завербовал на сторону Марии Стюарт. Стоит ему взяться, и с помощью дыбы и пытки огнем он может своевременно раскрыть готовящийся заговор.

Однако методы этого рафинированного министра полиции куда изощреннее и глядит он куда дальше. Разумеется, он мог бы уже сейчас задушить заговор манием руки. Но четвертовать нескольких зарвавшихся дворян или случайных авантюристов — какое это имеет политическое значение! Стоит ли срубить у гидры незатихающей крамолы пять-шесть голов, чтобы на завтра их выросло вдвое больше? *Carthaginem esse delendam*¹ — вот девиз Сесила и Уолсингема, они хотят «покончить» с самой Марией Стюарт, а поводом для этого должна послужить не наивная попытка освободить узницу, а разветвленный заговор в ее пользу, ставящий себе явно преступные цели. А потому, чем преждевременно, еще в зародыше раздавить так называемый заговор Бабингтона, Уолсингем прилагает все усилия, чтобы искусственно его укрепить: он удобряет его своей благосклонностью, подкармливает деньгами, поощряет мнимым небрежением. И только благодаря его искусству провокатора дилетантский комплот, составленный кучкой захолустных дворян против Елизаветы, превращается в знаменитый заговор Уолсингема, ставящий себе целью устранение Марии Стюарт.

Но для законного убийства Марии Стюарт с помощью парламентского параграфа надо было соблюсти три условия. Во-первых, добиться от заговорщиков, чтобы они решили убить Елизавету и чтобы это их решение было вполне доказуемо. Во-вторых, подвигнуть их на то, чтобы они прямо и недвусмысленно сообщили об этом Марии

¹ Карфаген должен быть разрушен (лат.).

Стюарт. В-третьих — и это самое трудное, — выманить у Марии Стюарт прямое и недвусмысленное одобрение преступного плана, и притом в письменной форме. Зачем убивать невинную без достаточных улик? Это было бы не к чести Елизаветы. Лучше сделать ее виновной, лучше коварно сунуть ей в руку кинжал, которым она сама пронзит себе сердце.

Комплот английской государственной полиции против Марии Стюарт начинается с подлости: неожиданно меняется к лучшему ее тюремный режим. Уолсингему, конечно, не стоило труда убедить благочестивого пуританна Эмиаса Паулета, что куда целесообразнее вовлечь Марию Стюарт в заговор, чем оберегать ее от возможных соблазнов. Ибо Паулет внезапно меняет тактику в духе плана, придуманного главным штабом английской полиции. В один прекрасный день сей дотоле непреклонный цербер является к Марии Стюарт и самым обязательным образом докладывает ей, что из Татбери ее решено перевести в Чартли. Мария Стюарт, неспособная проникнуть в интриги своих врагов, не в силах скрыть свою искреннюю радость. Татбери — мрачная крепость, более напоминающая тюрьму, чем замок. Чартли же лежит не только в более открытой и живописной местности, но и в ближайшем соседстве — и сердце у Марии Стюарт бьется жарче при этой мысли — с поместьями дворян-католиков, с которыми она дружила и от которых может ждать помощи. Там ей вольнее будет выезжать на охоту и совершать прогулки верхом, там, может быть, удастся ей получить весточку из-за моря и с помощью мужества и хитрости завоевать то, в чем теперь единственная ее цель, — свободу.

А как-то утром Марию Стюарт ждет необычайный сюрприз. Она глазам своим не верит. Словно по мановению волшебной палочки, распалась темная власть Эмиаса Паулета. Пришло письмо, секретное, шифрованное письмо, первое после всех этих месяцев блокады. Какие же молодцы ее друзья, какие они сообразительные, расторопные, нашли-таки возможность обойти ее неусыпного стража! Она уже и не чаяла такой радости: не быть отрезанной от мира, снова чувствовать дружеский интерес, поддержку и участие, снова узнавать о планах и приготовлениях, которые предпринимаются для ее освобождения! Какой-то тайный

инстинкт все же заставляет ее остерегаться, и она отвечает на письмо своего агента Моргана настойчивым предупреждением: «Смотрите не впутайтесь во что-нибудь такое, что Вам потом могут поставить в вину, Вы и без того на подозрении, не усугубляйте же его». Но ее настороженность рассеивается, когда она узнает, какой ее друзья — на самом деле ее убийцы — изобрели гениальный способ беспрепятственно переправлять ей письма. Еженедельно из окрестной пивоварни доставляется на кухню королевы бочонок пива для слуг; по-видимому, ее друзьям удалось договориться с возницей, чтобы он опускал в наполненный бочонок закупоренную деревянную фляжку. В этот выдолбленный сосуд и прячут тайные письма, предназначенные королеве. Связь работает безукоризненно, письма приходят и уходят с регулярностью почтовых отправок. Отныне «славный Малый» («the honest man»), как явствует из писем, еженедельно доставляет в замок бочонок с драгоценным содержимым, дворецкий Марии Стюарт выуживает флягу, а потом с новым вложением опять опускает в бочку. Бравый возница смеется в кулак, ему эта контрабанда приносит двойной барыш: там его щедро награждают иноземные друзья Марии Стюарт, а здесь дворецкий платит ему за пиво вдвое против обычной цены.

Одного только Мария Стюарт не подозревает — что бравый возница за свои темные услуги предьявляет счет еще и в третьем месте. Ибо ему, помимо прочих его работодателей, платит и английская полиция и Эмиас Паулет, разумеется, посвящен во все махинации. Дело в том, что пивную почту изобрели не друзья Марии Стюарт, а некий Гиффорд, шпион Уолсингема, выдавший себя Моргану и французскому посланнику за доверенное лицо Марии Стюарт; у министра полиции таким образом огромное преимущество: регулярная крамольная переписка Марии Стюарт осуществляется под наблюдением ее политических врагов. Каждое письмо, адресованное Марии Стюарт или написанное ею, перехватывается на ходу Гиффордом, которого Морган считает своим надежнейшим агентом; Томас Фелиппес, секретарь Уолсингема, сразу же расшифровывает его, снимает копию и, даже не дав ей просохнуть, тут же запечатывает и отправляет в Лондон. И только после этого письмо со всей поспешностью доставляется Марии Стюарт или во французское посольство, так

что ни у кого из адресатов не возникает подозрения и они продолжают переписываться.

Поистине чудовищная ситуация. Обе стороны радуются, что противник обманут. Мария Стюарт вздыхает всей грудью. Наконец-то она взяла верх над этим холодным неприступным пуританином, который позволяет себе рыться в ее белье, кромсать подошвы ее башмаков, который опекает каждый ее шаг и держит ее на привязи, как преступницу. Знал бы он, думает она с торжеством, что, невзирая на часовых, на все его крепкие затворы и хитрые выдумки, к ней еженедельно из Рима и Мадрида приходят важные письма, что ее агенты трудятся не покладая рук, что ей на выручку готовятся войска, флотилии, кинжалы! Порой она даже не дает себе труда скрыть радость, которая так и брызжет из ее глаз, — Эмиас Паулет иронически отмечает в своих записях, что здоровье и настроение его пленницы заметно улучшилось, с тех пор как душа ее вновь вкусила яд надежды. Да, смеяться пристало больше честному Эмиасу, и нетрудно представить себе саркастическую улыбку на его холодных устах, когда он еженедельно наблюдает прибытие бравого возницы со свежей партией пива и следит, с каким проворством хлопотун дворецкий скатывает бечонок в темный подвал, чтобы там, вдали от посторонних глаз, выловить драгоценную флягу. Ибо то, что сейчас будет читать Мария Стюарт, давно уже прочитано английскими полицейскими. В Лондоне Уолсингем и Сесил, посиживая в служебных креслах, изучают корреспонденцию Марии Стюарт, которая лежит перед ними в точных списках. Они убеждаются из этих писем, что Мария Стюарт предлагает завещать Филиппу II Испанскому свои царственные права на шотландскую корону и на английское престолонаследие, если он будет бороться за ее освобождение, — такое письмо, думают они с довольной ухмылкой, не худо будет показать Иакову VI, чтобы не слишком горячился, когда за его матушку возьмутся. Они видят, что Мария Стюарт в письме, адресованном в Париж и писанном ее собственной нетерпеливой рукой, добивается высадки испанских войск. Что ж, и этот документик пригодится на процессе! Но самого важного, самого необходимого, чего они ждут и без чего никакой суд невозможен, они, увы, в письмах не находят, а именно — что Мария Стюарт изъявляет согласие на готовящееся покушение на жизнь Елизаветы. Вождеден-

ного параграфа она еще не нарушила — для того, чтобы смертоносная машина процесса заработала, все еще не хватает крошечного винтика, каким явился бы «consent» — ясно выраженное согласие Марии Стюарт на убийство Елизаветы. И чтобы добыть этот необходимый винтик, несравненный мастер своего дела Уолсингем, засучив рукава, берется за работу. Так возникает одна из самых невероятных, пусть и документально удостоверенных провокаций в мировой истории — мошеннический трюк Уолсингема, инсценировка, рассчитанная на то, чтобы запутать Марию Стюарт в сфабрикованное полицией преступление, так называемый заговор Бабингтона, на деле — заговор Уолсингема.

План Уолсингема был, по-видимому, мастерский план, за это говорит его успех. Но что в нем крайне омерзительно и от чего даже сейчас, столетия спустя, нас пробирает дрожь гадливости, это что Уолсингем для своих интриганских целей воспользовался самым святым человеческим чувством — доверчивостью юных романтических душ. Энтонн Бабингтон, которого в Лондоне избрали орудием для расправы с Марией Стюарт, вполне достоин нашего восхищения и сочувствия, ибо лишь из самых благородных побуждений пожертвовал он жизнью и честью. Мелкопоместный дворянин, из хорошей семьи, человек с достатком, он счастливо жил с женой и ребенком в своем поместье Личфилд близ Чартли — теперь мы понимаем, что заставило Уолсингема избрать замок Чартли в качестве нового местожительства Марии Стюарт. Осведомители давно уже донесли своему шефу, что ревностный католик, самоотверженный сторонник Марии Стюарт, Бабингтон, не однажды помогал тайно переправлять ее письма, — ибо разве не священное право благородной юности проникаться жалостью и участием к трагической судьбе ближнего. Такой чистый сердцем идеалист, блаженный дурачок куда больше устраивает Уолсингема, нежели наемный шпион, — ведь королева скорее такому поверит. Она знает: не из корысти этот честный, хоть и слегка чудаковатый дворянин готов служить ей и не по сердечной склонности. Предание, будто Бабингтон еще юным пажом увидел Марию Стюарт в доме графа Шрусбери и в нее влюбился, надо отнести за счет романтического воображения биографов; очевидно, он ни-

когда с Марией Стюарт не встречался и служил ей как бескорыстный рыцарь, как набожный католик, как энтузиаст, восхищенный опасными приключениями женщины, в которой он видит законную английскую королеву. Беззаботно, безрассудно и многословно, как это свойственно экспансивной юности, вербует он союзников среди друзей, и несколько дворян-католиков присоединяются к нему. В этом пестром кругу лиц, собирающихся для пылких бесед, выделяются фанатически настроенный священник Боллард и некий Сэведж, бесстрашный головорез; в остальном это безобидные желторотые дворянчики, начитавшиеся Плуларха и смутно грезящие о героических подвигах. Однако вскоре в кругу этих честных мечтателей появляются другие фигуры, куда более решительные, чем Бабингтон и его друзья, по крайней мере они кажутся такими; в первую голову это тот самый Гиффорд, которого Елизавета за его услуги наградит впоследствии ежегодным пенсионом в сто фунтов. Этим молодцам представляется недостаточным освободить королеву. С необыкновенной горячностью настаивают они на куда более опасном деянии — на убийстве Елизаветы, на устранении «узурпаторши».

Эти мужественные и безоглядно решительные друзья, конечно же, не кто иные, как полицейские наемники, шпики Уолсингема: бессовестный министр вкрапил их в кружок молодых идеалистов не только для того, чтобы своевременно разузнать их планы, но прежде всего затем, чтобы побудить фантазера Бабингтона зайти гораздо дальше, чем тот, в сущности, предполагал. Сам Бабингтон (все показания сходятся на этом) вначале замышлял только смелую вылазку — вместе с друзьями решительным ударом, нанесенным из Личфилда, освободить Марию Стюарт из плена, воспользовавшись ее выездом на охоту или на прогулку; меньше всего эти экзальтированные политики, но гуманные по натуре люди помышляли о таком бесчеловечном поступке, как убийство.

Уолсингему, однако, мало похищения Марии Стюарт, оно еще не дает ему основания для приведения в действие нового параграфа. Ему нужно для его темных целей нечто большее — нужен заговор, настоящий заговор царубийц. И он заставляет своих ловкачей, своих *agents provocateurs*¹

¹ Провокаторов (франц.).

бить и бить в одну точку, пока Бабингтон с друзьями не сдаются на их науськивания: они готовы подумать и об убийстве. Испанский посол, тесно связанный с заговорщиками, двенадцатого мая докладывает Филиппу II радостную весть: четыре дворянина-католика из лучших семейств, имеющих доступ ко двору, поклялись на распятии извести государыню ядом или кинжалом. Из чего можно заключить, что *agents provocateurs* поработали на славу. Наконец-то инсценированный Уолсингемом заговор полностью пущен в ход.

Но этим решена лишь первая часть задачи, которую поставил себе Уолсингем. Удавка укреплена только с одного конца, надо закрепить ее и с другого. Заговор против жизни Елизаветы составлен, но на очереди еще более сложная задача — втянуть в него Марию Стюарт, выманить у пленницы, ничего не знающей о зароившейся вокруг нее интриге, согласие по всей форме, «*consent*». И Уолсингем снова свистит своих ищеек. Он отправляет нарочных в Париж к Моргану, генеральному уполномоченному Филиппа II и Марии Стюарт, в постоянно действующий католический конспиративный центр — жаловаться на Бабингтона и компанию, будто бы те недостаточно рьяно берутся за дело. Они-де не спешат с убийством, таких ротозеев и слюнтяев свет не видывал. Не мешало бы пришпорить этих нерадивых и малодушных на выполнение их священной задачи. Сделать это могла бы, однако, только Мария Стюарт, обратившись к ним с воодушевляющим словом. Достаточно Бабингтону увериться, что его высококочтимая королева одобряет убийство, как он, несомненно, от слов перейдет к делу. Для успешного выполнения великого замысла, по уверениям ищеек, нужно, чтобы Морган склонил Марию Стюарт написать Бабингтону несколько воспламеняющих слов.

Морган колеблется. Можно подумать, что в минуту внезапного просветления он разгадал игру Уолсингема. Однако ищейки твердят свое — речь будто бы идет о ничего не значащем обращении. Наконец Морган уступает, но, чтобы обезопасить себя от случайностей, он сам составляет для Марии Стюарт текст ее письма Бабингтону. И королева, всецело доверяющая своему агенту, слово в слово переписывает этот текст.

Итак, необходимая Уолсингему связь между Марией Стюарт и заговорщиками установлена. Некоторое время еще соблюдается осторожность, к которой призывал Морган, — первое письмо Марии Стюарт к юным прозелитам написано с большой теплотой, однако в самой общей и ни к чему не обязывающей форме. Уолсингему, однако, нужна неосторожность, нужны ясные признания и неприкрытое согласие, «consent», на задуманное убийство. И по его знаку агенты опять берутся за заговорщиков. Гиффорд внушает злосчастному Бабингтону, что теперь, поскольку Мария Стюарт так великодушно им доверилась, его прямой долг с таким же доверием посвятить ее в свои планы. В столь опасном начинании, как покушение на Елизавету, нельзя действовать без согласия Марии Стюарт. Тем более что у них есть полная возможность без всякого риска снести с узницей через того же бравого возницу, договориться с ней во всех подробностях и получить указания. Блаженный дурачок Бабингтон, более отважный, чем рассудительный, сразу же очертя голову, ринулся в эту ловушку. Он отправляет своей *très chère souveraine*¹ пространное послание, где во всех подробностях рассказывает о своих планах. Пусть бедняжка порадуется, пусть узнает наперед, что час ее освобождения близок. С таким доверием, как будто ангелы незримиными путями перенесут его слова прямехонько Марии Стюарт, не подозревая, что сыщики и шпионы кровожадно сторожат каждое его слово, излагает несчастный глупец в пространном письме весь оперативный план готовящегося заговора. Он сообщает, что сам он с десятком молодых дворян и сотней подручных предпримет смелый набег на Чартли и увезет ее, а в то же время шестеро дворян, все надежные и верные друзья, преданные делу католицизма, совершат в Лондоне покушение на «узурпаторшу». Написанное с безрассудной прямо-той послание говорит о пламенной решимости и полном понимании угрожающей заговорщикам опасности — его нельзя читать без глубокого волнения. Только холодное сердце, только зачерствелая душа могла бы оставить такое признание без ответа и одобрения во имя трусливой осторожности. Но именно на горячности сердца, на испытанной не раз опрометчивости Марии Стюарт и строит свои расчеты Уолсингем. Если кровавый замысел Бабинг-

¹ Дорогой государыне (франц.).

тона не вызовет у нее возражений, значит желанная цель близка. И, стало быть, Мария Стюарт избавит его от лишних хлопот — не придется подсылать к ней тайных убийц. Она сама себе наденет петлю на шею.

Роковое письмо отослано, шпион Гиффорд срочно доставил его в государственную канцелярию, где его тщательно расшифровали и сняли копию. По-видимому, никем не тронутое, оно затем проделывает свой обычный путь в пивной бочке. Десятого июля оно уже в руках у Марии Стюарт — и с не меньшим, чем она, волнением, два человека в Лондоне ждут, ответит ли она и что ответит, — Сесил и Уолсингем, вдохновители и коноводы этого комплота тайных убийц. Наступил момент наивысшего напряжения, та трепетная секунда, когда рыбка уже дергает за наживку. Проглотит она ее? Или ускользнет? Минута и в самом деле жестокая, но все же: мы можем порицать или, наоборот, хвалить политические методы Сесила и Уолсингема — неважно. Сколь ни гнусны средства, к которым прибегает Сесил, чтобы погубить Марию Стюарт, он — государственный деятель и, так или иначе, служит идее: для него устранение заклятого врага протестантизма — насущная политическая необходимость. Что касается Уолсингема, то трудно требовать от министра полиции, чтобы он отказался от шпионажа и придерживался исключительно добропорядочных методов.

Ну а Елизавета? Знает ли та, которая всю жизнь при любом своем решении со страхом оглядывалась на суд потомства, что здесь, за кулисами, сооружена такая адская машина, которая во сто крат коварнее и опаснее всякого эшафота? Совершают ли ее ближайшие советники свои подлые махинации с ее ведома и одобрения? Какую роль — неизбежный вопрос — играла английская королева в низком заговоре против своей соперницы?

Ответ напрашивается сам собой: двойную роль. У нас, правда, имеются все доказательства того, что Елизавета была в курсе происков Уолсингема, что с первой же минуты и до самого конца она шаг за шагом, пункт за пунктом терпела, одобряла, а возможно, и поощряла провокаторские махинации Сесила и Уолсингема; никогда суд истории не простит ей того, что она видела все это и даже помогала коварно завлечь в ловушку доверенную ей узни-

цу. И все же — приходится все снова и снова повторять это — Елизавета не была бы Елизаветой, если бы ее поступки всегда были прямолинейны. Способная на любую ложь, на любое предательство, эта самая примечательная из женщин отнюдь не была лишена совести, и никогда она не была прямолинейно аморальна и невеликодушна. Всегда в критические минуты на нее вдруг находит благородный стих. Вот и на сей раз ее мучит совесть, что она прибегает к таким грязным методам, и в то самое время, как ее помощники оплетают Марию Стюарт своими сетями, она вдруг делает неожиданный ход в пользу обреченной жертвы. Она призывает к себе французского посланника, который руководит пересылкой писем из Чартли и обратно и не подозревает, что пользуется при этом услугами платных клеветов Уолсингема. «Господин посланник, — заявляет она ему без всяких экивоков. — Вы очень часто сносите с королевой Шотландской. Но, поверьте, я знаю все, что происходит в моем государстве. Я сама была узницей в то время, когда моя сестра уже сидела на троне, и мне хорошо известно, на какие хитрости пускаются узники, чтобы подкупать слуг и входить в тайные сношения с внешним миром». Этими словами Елизавета как бы успокоила свою совесть. Ясно и вразумительно предупредила она французского посла и Марию Стюарт. Она сказала столько, сколько могла сказать, не выдавая своих слуг. И если Мария Стюарт и теперь не прекратит своих тайных сношений, то она, во всяком случае, может спокойно умыть руки: я предупреждала ее еще и в последнюю минуту.

Однако и Мария Стюарт не была бы Марией Стюарт, если бы она слушалась добрых советов, если бы она хоть когда-либо действовала осторожно и расчетливо. Правда, получение письма Бабингтона она поначалу подтверждает всего одной строчкой; по словам глубоко разочарованного посланца Сесила, она еще не открыла своего истинного отношения, «her very heart», к плану убийства. Она медлит, колеблется, не смея довериться незнакомым людям, а тут еще ее секретарь Нау настойчиво советует ей воздержаться от письменных сообщений на столь опасную тему. Но этот план так много обещает, этот зов так соблазнителен, что Мария Стюарт не в силах отказаться от своей

роковой страсти к дипломатической игре и интригам. «Elle s'est laissée aller à l'accepter»¹, — пишет Нау в тревоге. Три дня подряд сидит она, запершись с обоими секретарями, Нау и Керлем, в своем кабинете и подробно, по пунктам отвечает на каждое предложение. Семнадцатого июня, вскоре по получении письма Бабингтона, ее ответ готов и отсылается, как всегда, в пивном бочонке.

Но на сей раз злосчастное письмо особенно далеко не уходит. Оно даже не следует обычным путем в Лондон, в государственную канцелярию, где расшифровывается тайная переписка Марии Стюарт. В своем нетерпении узнать результаты Сесил и Уолсингем откомандировали своего шифровальщика Фелиппеса прямехонько в Чартли, чтобы он тут же на месте, так сказать по горячим следам, познакомился с ответом. Волею судеб Мария Стюарт, выехав на прогулку в своей коляске, неожиданно встречает этого вестника смерти. Ей сразу же бросается в глаза незнакомец. Но, поскольку этот безобразный, конопатый малый (таким она описывает его в одном письме) с тихой улыбкой ей поклонился — ему, как видно, не удастся скрыть свое злорадство, — отуманенной надеждами Марии Стюарт приходит в голову, что человек этот пробрался сюда, чтобы по поручению ее друзей произвести рекогносцировку местности для предстоящего побега. На самом деле Фелиппес здесь для более страшной рекогносцировки. Как только письмо вынуто из бочонка, он жадно на него набрасывается. Рыбка поймана, надо поскорее ее выпотрошить. Усердно разбирает он слово за словом. Сначала идут вступительные общие фразы. Мария Стюарт благодарит Бабингтона и, касаясь предполагаемого набега на Чартли, выдвигает три встречных предложения. Собственно, неплохая пожива для шпиона, но не это главное, решающее. И тут сердце Фелиппеса замирает от злобной радости: он дошел до места, где черным по белому стоит «consent» — то самое согласие, за которым Уолсингем охотится и которого домогается уже много месяцев, — согласие Марии Стюарт на убийство Елизаветы. Ибо на сообщение Бабингтона, что шесть молодых дворян берутся заколоть Елизавету в ее дворце, Мария Стюарт спокойно и деловито отвечает следующим указанием: «Пусть тех шестерых дворян пошлют на это дело и позаботятся о том, чтобы, как

¹ «Она готова дать согласие» (франц.).

только оно будет сделано, меня отсюда вызволили... еще до того, как весть о случившемся дойдет до моего стража». Больше ничего и не требовалось. Этим Мария Стюарт выдала «her very heart», свое истинное отношение, она одобрила цареубийство, и, таким образом, полицейский заговор Уолсингема достиг своей цели. Главари и их клеветы, господа и слуги в восторге жмут друг другу грязные руки, которые недолге обогрятся кровью. «Теперь у Вас довольно ее бумаг», — с торжеством пишет хозяину Уолсингему его креатура Фелиппес. Да и Эмиас Паулет в предвидении, что казнь жертвы вскоре освободит его от должности тюремщика, молитвенно воздевает руки. «Бог благословил мои труды, — пишет он, — я радуюсь, что он так наградил мою верную службу».

Теперь, когда райскую птицу загнали в силос, Уолсингему, казалось бы, нечего мешкать. Его план удался, свое подлое дельце он обстряпал, но он так уверен в победе, что может себе позволить гнусную радость денек-другой поиграть своими жертвами. Он не препятствует Бабингтону получить письмо Марии Стюарт (кстати, копию с него сняли); не вредно бы, думает Уолсингем, перехватить и ответ, это пополнит мое досье. А между тем Бабингтон догадался по какому-то признаку, что чей-то недобрый глаз проник в его тайну. Внезапно отчаянный страх овладевает храбрецом, ибо даже у самого мужественного человека сдают нервы, когда он чувствует себя во власти темной, непостижимой силы. Точно затравленная крыса, мечется он туда-сюда. Нанимает лошадь и уезжает в провинцию, намереваясь бежать. Потом вдруг возвращается в Лондон и появляется — невольно вспомнишь Достоевского — как раз у того человека, который играет его судьбой, у Уолсингема, — необъяснимое и все же вполне объяснимое бегство обезумевшего человека в объятия злейшего врага. Очевидно, он хочет выведать, имеются ли на его счет какие-нибудь подозрения. Но холодный, равнодушный министр полиции ничем себя не выдает, спокойно отпускает он беглеца: пусть дурак еще в чем-нибудь попадетсЯ. Однако Бабингтон уже чувствует протянутые к нему в темноте руки. Второпях пишет он другу записку и находит, чтобы придать себе мужества, подлинно героические, подлинно римские слова: «Уже готова огненная пещь, где нашу веру подвергнут испытанию». Одновременно в прощальном письме он успокаивает Марию Стюарт, просит ее

не терять мужества. Но у Уолсингема уже довольно улик, и он решительно захлопывает ловушку. Схватив один из заговорщиков; и Бабингтон, узнав это, понимает, что все потеряно. Он предлагает своему другу Сэведжу последний, безумный шаг — не медля идти во дворец и заколоть Елизавету. Но уже поздно, сыщики Уолсингема преследуют их по пятам, и только благодаря отчаянной решимости беглецам удастся ускользнуть в ту самую минуту, когда их пришли арестовать. Бежать, но куда? На всех дорогах стоят заставы, во всех портах усиленный дозор, а у них ни денег, ни еды. Десять дней прячутся они в роще Сент-Джона — теперь она в сердце Лондона, а в то время была его окраиной, — десять дней ужаса и безысходного отчаяния. Немилосердно терзает их голод; наконец полное изнеможение гонит их к дому друга, и здесь им не отказывают в хлебе — последнем причастии, — но подоспевшие полицейские забирают их и в оковах ведут через весь город. В темном каземате Тауэра дожидаются отважные юные энтузиасты пыток и приговора, а над их головами по всему Лондону трезвонят колокола, торжествуя победу. Потешными огнями, пальбой и шумными процессиями ознаменовывают лондонцы спасение Елизаветы, раскрытие заговора и гибель Марии Стюарт.

А между тем ничего не подозревающая узница замка Чартли после многих лет неизбывной тоски снова познает часы радостного возбуждения. Каждый нерв у нее напряжен. В любую минуту может примчаться всадник с вестью, что тот «desseing effectué»¹ — не нынче-завтра ее, узницу, повезут в Лондон, в величественный замок; ей уже представляется в мечтах, как вся знать и горожане в пышных одеждах ждут ее у городских ворот, как ликующе звонят колокола. (Несчастной и невдомек, что на лондонских колокольнях и в самом деле звонят и гудят колокола, славя спасение Елизаветы.) Еще день-другой — и все будет завершено. Англия и Шотландия объединятся под ее скипетром, и католическая вера будет возвращена всему миру.

Ни один врач не знает такого живительного снадобья для усталого тела, для поникшей души, как надежда. С

¹ План приведен в исполнение (франц.).

тех пор как Мария Стюарт, по-прежнему увлекающаяся, по-прежнему легковверная, мнит себя на пороге победы, она совершенно преобразилась. Какая-то новая бодрость, какая-то вторая молодость вдруг вселилась в нее, и та, что последние годы постоянно изнывала от слабости, та, что после получасовой прогулки жаловалась на колотье в боку, на утомление и ревматические боли, теперь снова с легкостью вскакивает в седло. Сама дивясь этому неожиданному обновлению, она пишет Моргану (в то время как над заговором уже занесена коса): «Благодарение богу, он еще не слишком меня обездолил, я и сейчас достаточно владею арбалетом, чтобы сразить оленя, и поспеваю на коне за гончими».

Поэтому как радостную неожиданность воспринимает она приглашение всегда такого неприветливого Эмиаса Паулета — этот олух-пуританин и не подозревает, думает она, как близок конец его палаческой карьеры, — восьмого августа отправиться на охоту в соседний замок, Тиксолл. Выезжают целой кавалькадой: ее гофмаршал, оба секретаря, ее врач — все сели на коней, а тут и Эмиас Паулет с несколькими офицерами стражи (сегодня он не в пример обычному доступен и общителен) присоединяется к веселой компании. Утро чудесное, теплое и сияющее, поля зеленеют ранними сочными всходами. Мария Стюарт шпорит коня, эта скачка и свист ветра в ушах рождают у нее благодатное ощущение жизни и свободы. Уже много недель, много месяцев не была она так молода, ни разу за все утрюмые годы не чувствовала себя такой веселой и бодрой, как в это чудесное утро. Все кажется ей прекрасным и легким: блажен тот, чье сердце окрылено надеждой.

Перед воротами Тиксоллского парка бешеный аллюр меняется, лошади переходят на размеренную рысь. И вдруг у Марии Стюарт горячо забилося сердце. Перед калиткой замка ждет большая группа всадников. Неужели — о, благодатное утро! — это и в самом деле Бабингтон с товарищами? Неужто тайные обетования письма сбудутся до срока? Но странно: только один из ожидающих всадников отделяется от остальных, медленно и с необычайной торжественностью подъезжает он, снимает шляпу и кланяется: сэр Томас Джордж. И в следующую секунду Мария Стюарт чувствует, как сердце, только что бившееся у самого ее горла, проваливается куда-то в пустоту. Ибо сэр Томас Джордж сообщает ей в немногих словах, что заговор

Бабингтона открыт и ему поручено арестовать обоих ее секретарей.

Мария Стюарт не в силах ничего ответить. Любое «да», любое «нет», любой вопрос, любая жалоба могут ее выдать. Она еще, пожалуй, не угадывает всей опасности, но страшное подозрение охватывает ее, когда она видит, что Эмиас Паулет отнюдь не собирается увезти ее обратно в Чартли. Только теперь понимает она, что означало это приглашение на охоту: ее решили выманить из дому, чтобы беспрепятственно произвести у нее обыск. Конечно же, у нее перерыли и пересмотрели все ее бумаги, конфисковали всю ее дипломатическую канцелярию, которой она руководила так открыто, с таким чувством суверенной безопасности, как если бы она все еще была властительницей, а не узницей в чужой стране. А впрочем, у нее будет достаточно, сверхдостаточно времени продумать все свои ошибки и упущения, ибо на семнадцать дней ее задерживают в Тиксолле, где она не может ни написать, ни получить ни единой строчки. Все ее тайны, она это знает, выданы, все надежды растоптаны. Опять она спустилась на ступеньку ниже — она уже не в плену, а на скамье подсудимых.

Мария Стюарт неузнаваема, когда семнадцать дней спустя возвращается в Чартли. Это уже не та женщина, которая с дротиком в руке во главе своих верных мчалась во весь опор на взмыленном коне; медленно, в молчании, окруженная суровой стражей и врагами, въезжает она в ворота замка, усталая, обескураженная, постаревшая, отринув всякую надежду. Действительно ли она встревожилась, увидев, что все ее сундуки и шкафы вскрыты, а бумаги и письма исчезли без следа? Удивлена ли, что поредевшая кучка слуг встречает ее слезами отчаяния? Нет, она знает: все миновало, все прошло. И вдруг маленький эпизод скрашивает ей первые часы тупой безнадежности. Внизу, в людской, стонет женщина в родовых муках: это супруга Керля, ее преданного секретаря, которого уволокли в Лондон для того, чтобы он свидетельствовал против своей госпожи на ее погибель. Бедная женщина лежит одна, без помощи врача и священника. И королева из братского сочувствия женщине и несчастной спешит вниз, чтобы оказать помощь лежащей в муках, и, за отсутствием священника, сама совершает над ребенком обряд крещения,

даруя ему первое христианское напутствие при вступлении в мир.

Еще несколько дней проводит Мария Стюарт в ненавистном ей замке, а там приходит распоряжение перевезти ее в другой, где ее ждет еще более надежное, еще более глухое затворничество. Фотерингей зовется тот замок. Из многих замков, где Мария Стюарт побывала как гостя и как узница, в королевском величии и в рабском унижении, этот замок — последний. Странствие ее приходит к концу, скоро беспокойная узнает покой.

А между тем эта безысходная трагедия кажется нам лишь благостным страданием по сравнению с жестокими муками, на которые обречены в те дни злосчастные молодые дворяне, положившие жизнь за Марию Стюарт. Но так уж повелось, что мировая история пишется с несправедливых и асоциальных позиций, ибо почти всегда она показывает горести властителей, торжество и падение сильных мира. Равнодушно проходит она мимо тех, кто прозябает во мраке, как будто пытки и мучительства не так же терзают одно живое тело, как и другое. Бабингтон и его девять товарищей — кто вспомнит, кто назовет сегодня их имена, меж тем как судьба королевы Шотландской увековечена на бесчисленных подмостках, в книгах и картинах! — испытывают в течение трех часов страшной пытки больше физических страданий, чем Мария Стюарт извела за все двадцать лет своих несчастий. По закону им, правда, полагалась лишь смерть на виселице, но зачинщики заговора считают это недостаточным для тех, кто поддался их науськиваниям. Вкупе с Сесилом и Уолсингемом сама Елизавета решает — еще одно темное пятно на ее совести, — что казнь Бабингтона и его товарищей должна с помощью особенно изощренной пытки превратиться в тысячекратную смерть. Шестерых из этих юных, глубоко верующих энтузиастов — и среди них двух подростков, виноватых лишь в том, что они вынесли своему другу Бабингтону два-три ломтя хлеба, когда он, находясь в бегах, постучался, точно нищий, у их ворот, — сперва для вящей законности вешают на минутку и тут же вынимают из петли еще живых, чтобы вся дьявольская жестокость этого варварского века могла излиться на их трепетную, несказанно страждущую плоть. С чудовищной методичностью

приступают палачи к своей омерзительной работе. И так неспешно, так жестоко кромсают эти мясники живьем тела своих жертв, что даже у подонков лондонской черни сдают нервы, и власти на другой день вынуждены сократить программу мучительств для остальных. Еще раз волны ужаса и крови захлестывают эшафот — и все ради этой женщины, которой дана была магическая, роковая власть, погибая, вовлекать в свою гибель все новые молодые жизни. Еще раз — но уже в последний! Великая пляска смерти, начавшаяся с Шателера, приходит к концу. Никто больше не явится, чтобы положить жизнь за ее мечту о власти и величии. Теперь она сама падет жертвой

ГЛАВА XXII

Елизавета против Елизаветы

С августа 1586 по февраль 1587 года

Итак, цель достигнута: Марию Стюарт загнали в ловушку, она дала «согласие», она преступила закон. Елизавете, в сущности, не о чем больше хлопотать — за нее решает, за нее действует правосудие. Борьба, растянувшаяся на четверть столетия, пришла к концу. Елизавета победила, она могла бы торжествовать вместе с народом, который с радостными кликами валит по улицам, празднуя избавление своей монархини от смертельной опасности и победу протестантизма. Но неизменно к чаше ликования примешивается таинственная горечь. Именно теперь, когда Елизавете остается довершить начатое, у нее дрожит рука. В тысячу раз легче было заманивать неосторожную жертву в западню, чем теперь убить ее, вконец запутавшуюся, беспомощную. Пожелай Елизавета насильственно избавиться от неудобной пленницы, ей сотни раз представлялся случай сделать это незаметно. Вот уже пятнадцать лет, как парламент потребовал, чтобы Марии Стюарт топором было сделано последнее внушение, а Джон Нокс на смертном одре заклинал Елизавету: «Если не срубить дерево под самый корень, оно опять пустит ростки, и притом скорее, чем можно предположить». И неизменно она отвечала, что «не может убить птицу, прилетевшую к ней искать защиты от коршуна». Но теперь у нее нет иного выбора, как между помилованием и смертью; постоянно отодвигаемое, но неизбежное решение встало перед ней вплотную. Елизавете

страшно, она знает, какими неизмеримо важными последствиями чреват произнесенный ею смертный приговор. Нам сегодня почти невозможно представить себе революционную значимость этого решения, которое должно было потрясти до основания все еще незыблемую для того времени иерархию мира. Отправить на эшафот помазанницу божию значило показать по-прежнему покорствующим народам Европы, что и монарх подлежит суду и казни, рассеять миф о неприкосновенности его особы. От решения Елизаветы зависела не только судьба смертного, но и судьба идеи. На сотни лет вперед создан здесь прецедент — остережение всем земным царям о том, что венчанная на царство голова однажды уже скатилась с плеч на эшафоте. Казнь Карла I, правнука Стюартов, была бы невозможна без ссылки на этот пример, как невозможна была бы участь Людовика XVI и Марии Антуанетты без казни Карла I. Своим ясным взглядом, своим глубоким чувством ответственности в делах человеческих Елизавета угадывает всю бесповоротность своего решения, она колеблется, она трепещет, она уклоняется, она медлит и откладывает со дня на день. Снова — и куда ожесточеннее, чем раньше, — спорят в ней разум и чувство, Елизавета спорит с Елизаветой. А зрелище человека, борющегося со своей совестью, всегда особенно нас потрясает.

Угнетенная этой дилеммой, в разладе с собой, Елизавета пытается в последний раз уклониться от неизбежности. Она уже не раз отталкивала от себя решение, а оно все вновь возвращалось к ней в руки. И в этот последний час она опять пытается снять с себя ответственность и взвалить ее на плечи противницы. Она пишет узнице письмо (до нас не дошедшее), где предлагает ей принести чистосердечную повинную, как королева королеве, открыто сознаться в своем участии в заговоре, отдаться на ее личную волю, а не на приговор гласного суда.

Предложение Елизаветы и в самом деле единственный возможный выход. Только оно могло бы еще избавить Марию Стюарт от унижительного публичного допроса, от судебного приговора и казни. Для Елизаветы же это вернейшая гарантия, какую она могла бы пожелать; получив в свои руки признание противницы, написанное ею самой, она могла бы держать неудобную претендентку в своего

рода моральном плену. Марии Стюарт оставалось бы только мирно доживать где-нибудь в безвестности, обезоруженной своим признанием, меж тем как Елизавета могла бы пребывать на вершине и в сиянии нерушимой славы. Роли были бы тем самым окончательно распределены, Елизавета и Мария Стюарт стояли бы в истории не рядом и не одна против другой — нет, виновная лежала бы во прахе перед своей милостивицей, спасенная от смерти — перед своей избавительницей.

Но Марии Стюарт уже не нужно спасение. Гордость всегда была ее вернейшей опорой, скорее она преклонит колени перед плахой, чем перед благодетельницей, лучше будет лгать, чем повинится, лучше погибнет, чем унижится. И Мария Стюарт гордо молчит на это предложение, которым ее хотят одновременно спасти и унижить. Она знает, что как повелительница она проиграла; только одно на земле еще в ее власти — доказать неправоту своей противницы Елизаветы. И так как при жизни она уже бессильна ей чем-нибудь досадить, то она хватается за последнее оружие — представить Елизавету перед всем миром жестокосердной тиранкой, посрамить ее своей славной кончиной.

Мария Стюарт оттолкнула протянутую руку; Елизавета, на которую насаждают Сесил и Уолсингем, вынуждена стать на путь, который, в сущности, ей ненавистен. Чтобы придать предстоящему суду видимость законности, сначала созываются юристы короны, а юристы короны почти всегда выносят решение, угодное предержавшему венценосцу. Усердно ищут они в истории прецедентов — бывали ли когда случаи, чтобы королей судили обычным судом, дабы обвинительный акт не слишком явно противоречил традиции, не представлял собой некоего новшества. С трудом удается наскрести несколько жалких примеров: тут и Кайетан, незначительный тетрарх времен Цезаря, и столь же мало кому известный Лициний, деверь Константина, и, наконец, Конрадин фон Гогенштауфен, а также Иоанна Неаполитанская — вот и весь перечень князей, которых, по сохранившимся сведениям, когда-либо казнили по приговору суда. В своем низкопоклонническом угодничестве юристы идут еще дальше: не к чему, говорят они, беспокоить для Марии Стюарт высший суд страны; поскольку

«преступление» шотландской королевы совершено в Стаффордшире, по их авторитетному суждению достаточно, чтобы подсудимая предстала перед обычным гражданским жюри графства. Но судопроизводство на столь демократической основе отнюдь не устраивает Елизавету. Ей важна проформа, она хочет, чтобы внучка Тюдоров и дочь Стюартов была казнена согласно требованиям высшего этикета, как и подобает особе королевского ранга, со всеми регалиями и почестями, с надлежащею пышностью и помпой, со всем благолепием и благоговением, положенным государыне, а не по приговору каких-то мужланов и лавочников. В гневе напускается она на перестаравшихся судейских: «Поистине хорош был бы суд для принцессы! Нет, чтобы пресечь подобные нелепые разговоры (как вынесение вердикта королеве двенадцатью горожанами), я считаю нужным передать столь важное дело на рассмотрение большого числа знатнейших дворян и судей нашего королевства. Ибо мы, государыни, подвигаемся на подмостках мира, на виду у всего мира». Она требует для Марии Стюарт королевского суда, королевской казни и королевского погребения и потому сзывает высокий суд из самых прославленных и знатных мужей нации.

Но Мария Стюарт не выказывает ни малейшей склонности явиться на допрос или на суд подданных своей сестры-королевы, хотя бы в их жилах и текла самая голубая кровь Англии. «Что такое? — набрасывается она на эмиссара, которого допустила в свою комнату, не сделав, однако, ни шага к нему навстречу. — Или ваша госпожа не знает, что я рождена королевой? Неужто она думает, что я посрамлю свой сан, свое государство, славный род, от коего происхожу, сына, который мне наследует, всех королей и иноземных властителей, чьи права будут унижены в моем лице, согласившись на такое предложение? Нет! Никогда! Пусть горе согнуло меня — сердце у меня не гнется, оно не потерпит унижения».

Но таков закон: ни в счастье, ни в несчастье не меняется существенно характер человека. Мария Стюарт, как всегда, верна своим достоинствам, верна и своим ошибкам. Неизменно в критические минуты она проявляет душевное величие, но слишком беспечна, чтобы сохранить первоначальную твердость и не поддаться упорному нажиму. Как и в Йоркском процессе, она в конце концов, под давлением, отступает от позиций державного суверенитета и выпускает

из рук единственное оружие, которого страшится ее противница. После долгой, упорной борьбы она соглашается дать объяснения посланцам Елизаветы.

Четырнадцатого августа парадный зал в замке Фотерингей являет торжественное зрелище. В глубине зала возвышается тронный балдахин над пышным креслом, которое в течение всех этих трагических часов должно оставаться пустым. Пустое кресло, немой свидетель, как бы символизирует, что здесь, на этом суде, невидимо председательствует Елизавета, королева Английская, и что приговор будет вынесен сообразно с ее желанием и от ее имени. Направо и налево от возвышения выстроились соответственно своему рангу все многочисленные члены суда; посреди помещения стоит стол для генерального прокурора, следственного судьи, судейских чиновников и писцов.

В зал, опираясь на руку гофмейстера, входит Мария Стюарт, как и всегда в эти годы, одетая во все черное. Войдя, она окидывает собрание взглядом и бросает презрительно: «Столько сведущих законников, и ни одного для меня!» После чего направляется к указанному ей креслу, стоящему в нескольких шагах от балдахина, но на несколько ступенек ниже пустого кресла. Этой тактической деталью намеренно подчеркнута так называемое *overlordship*, сюзеренное превосходство Англии, неизменно оспариваемое Шотландией. Но и на краю могилы не допускает Мария Стюарт подобного умаления своих прав. «Я королева, — заявляет она так, чтобы все слышали и восчувствовали, — я была супругой французского короля, и мне надлежит сидеть выше».

Начинается суд. Так же как в Йорке и Вестминстере, это инсценировка процесса, при которой попираются самые элементарные понятия законности. Снова главных свидетелей — тогда это были слуги Босуэла, теперь Бабингтон с товарищами — с более чем странной поспешностью казнят еще до процесса, и только их письменные показания, исторгнутые под пыткой, лежат на судейском столе. И опять-таки, в нарушение процессуального права, даже те документальные улики, которые должны послужить основанием для обвинения, почему-то представлены не в оригиналах, а в списках. С полным правом набрасывается Мария Стюарт на Уолсингема: «Как могу я быть уверена, что мои письма не подделаны для того, чтобы было осно-

вание меня казнить?» Юридически здесь слабое место обвинения, и будь у Марии Стюарт защитник, ему ничего бы не стоило опротестовать столь явное поправление ее прав. Но Мария Стюарт борется в одиночку и, не зная английских законов, незнакомая с материалами обвинения, она роковым образом совершает ту же ошибку, которую в свое время совершила в Йорке и Вестминстере. Она не довольствуется тем, что оспаривает отдельные и вправду сомнительные пункты, нет, она отрицает все *en bloc*, оспаривает даже самое бесспорное. Сначала она заявляет, будто и не слыхала ни о каком Бабингтоне, но уже на следующий день вынуждена под тяжестью улик признать то, что раньше оспаривала. Этим она подрывает свой моральный престиж, и когда в последнюю минуту она возвращается к своему исходному положению, заявляя, что как королева вправе требовать, чтобы верили ее королевскому слову, это уже никого не убеждает. Напрасно она взывает: «Я прибыла в эту страну, доверившись дружбе и слову королевы Английской, и вот, милорды, — сняв с руки перстень, она показывает его судьям, — вот знак благоволения и защиты, полученный мной от вашей королевы». Эти судьи и не тщатся отстаивать вечное и безусловное право, а лишь свою повелительницу; они хотят мира в своей стране. Приговор давно предreshен, и когда двадцать восьмого октября судьи собираются в вестминстерской Звездной палате, только у одного из них — лорда Зуча — хватает мужества заявить, что его отнюдь не убедили в том, будто Мария Стюарт злоумышляла против королевы Английской. Этим он лишает приговор его лучшего украшения — единодушия, но зато все остальные покорно признают вину подсудимой. И тогда садится писец и старательной вязью выводит на клочке пергамента, что «названная Мария Стюарт, притязавшая на корону сего, английского государства, неоднократно измышляла сама и одобряла измышленные другими планы, ставящие себе целью извести или убить священную особу нашей владычицы, королевы Английской». Карой же за такое преступление — парламент заранее позаботился об этом — является смерть.

Правосудие и вынесение приговора было делом собравшихся дворян. Они признали вину и потребовали смерти. Но Елизавете, как королеве, присвоено еще и другое право,

возвышающееся над земным, — высокое и священное, человеческое и великодушное право помилования, невзирая на признанную вину. Единственно от ее воли зависит превратить смертный приговор в действительность; итак, ненавистное решение снова возвращается к ней, к ней одной. От него не скроешься, не убежишь. Снова Елизавета противостоит Елизавете. И подобно тому, как в античной трагедии справа и слева от терзаемого совестью человека хоры сменяют друг друга в строфе и антистрофе, так в ушах ее звучат голоса, доносящиеся извне и изнутри, призывая одни — к жестокости, другие — к милосердию. Над ними же стоит судья наших земных деяний — история, неизменно хранящая молчание о живых и только по завершении их земного пути взвешивающая перед потомками дела умерших.

Голоса справа, безжалостные и явственные, неизменно твердят: смерть, смерть, смерть. Государственный канцлер, коронный совет, близкие друзья, лорды и горожане, народ — все видят одну только возможность добиться мира в стране и спокойствия для королевы: обезглавить Марию Стюарт. Парламент подает торжественную петицию: «Во имя религии, нами исповедуемой, во имя безопасности священной особы королевы и блага государства мы всеподданнейше просим скорейшего распоряжения Вашего Величества о том, чтобы огласили приговор, вынесенный королеве Шотландской, а также требуем, поелику это единственное известное нам средство обеспечить безопасность Вашего Величества, справедливой и неотложной казни названной королевы».

Елизавете только на руку эти домогательства. Ведь она рвется доказать миру, что не она преследует Марию Стюарт, а что английский народ настаивает на исполнении смертного приговора. И чем громче, чем слышнее на расстоянии, чем нагляднее поднявшийся гомон, тем для нее лучше. Ей представляется возможность исполнить «на подмостках мира» выигрышную арию добра и человечности, и, как опытная и умелая актриса, она использует эту возможность до отказа. С волнением выслушала она красноречивое увещание парламента; смиренно благодарит она бога, ниспославшего ей спасение; после чего она возвышает голос и, словно обращаясь куда-то в пространство, ко всему миру и к истории, снимает с себя всякую вину в участи, постигшей Марию Стюарт. «Хоть жизнь моя и подверглась

жестокой опасности, больше всего, признаюсь, меня огорчило, что особа моего пола, равная мне по сану и рождению, находящаяся к тому же в близком со мной родстве, виновна в столь тяжких преступлениях. И так далека от меня была всякая злоба, что я сразу же, как раскрылись преступные против меня замыслы, тайно ей написала, что, если она доверится мне в письме и принесет чистосердечную повинную, все будет улажено келейно, без шума. Я писала это отнюдь не с тем, чтобы заманить ее в ловушку, — в то время мне было уже известно все, в чем она могла бы мне открыться. Но даже и теперь, когда дело зашло так далеко, я охотно простила бы ее, если б она принесла полную повинную и никто бы от ее имени не стал больше предъявлять ко мне никаких претензий; от этого зависит не только моя жизнь, но и безопасность и благополучие моего государства. Ибо только ради вас и ради моего народа дорожу я еще жизнью». Открыто признается она, что немало колебаний вселяет в нее страх перед судом истории. «Ведь мы, государи, стоим как бы на подмостках, не защищенные от взглядов и любопытства всего мира. Малейшее пятнышко на нашей одежде бросается в глаза, малейший изъян в наших делах сразу же заметен, и нам должно особенно пристально следить за тем, чтобы наши поступки всегда были честны и справедливы». Поэтому она просит парламент запастись терпением, если она еще помедлит с ответом, «ибо таков уж мой нрав — долго обдумывать дела даже куда менее важные, прежде чем прийти наконец к окончательному решению».

Честное это заявление или нет? И то и другое вместе; в Елизавете борются два желания: она и рада бы избавиться от своей противницы и в то же время хотела бы предстать перед миром в ореоле великодушия и всепрощения. Спустя двенадцать дней она снова обращается к лорду-канцлеру с запросом, нет ли возможности сохранить жизнь Марии Стюарт и вместе с тем гарантировать ее, Елизаветы, личную безопасность. И снова заверяет коронный совет, заверяет парламент, что иного выхода нет, по-прежнему стоят они на своем. И тогда слово опять берет Елизавета. Какая-то нотка правдивости и внутренней убежденности звучит на этот раз в ее признаниях. Чем-то настоящим, проникновенным веет от ее слов: «Я сегодня

в большем затруднении, чем когда-либо, так как не знаю, говорить или молчать. Говорить и жаловаться было бы с моей стороны лицемерием, молчать — значило бы не отдать должного вашему рвению. Вас, разумеется, удивит мое недовольство, но, признаться, я лелеяла надежду, что будет найден какой-то иной выход для того, чтобы обеспечить вашу безопасность и мое благополучие... Поскольку же установлено, что мою безопасность нельзя обеспечить иначе, как ценой ее жизни, мне бесконечно грустно, ибо я, оказавшая милость стольким мятежникам, молчаливо прошедшая мимо стольких предательств, должна выказать жесткость в отношении столь высокой государыни...» Чувствуется, что она уже склонна дать себя уговорить, если на нее будут насаждать и дальше. Но с присущим ей умом и двоедушием она не связывает себя никаким «да» или «нет», а заключает свою речь следующими словами: «Прошу вас, удовольствуйтесь на сей раз этим ответом без ответа. Я не оспариваю вашего мнения, мне понятны ваши доводы, я только прошу вас: примите мою благодарность, простите мне мои тайные сомнения и не обижайтесь на этот мой ответ без ответа».

Голоса справа прозвучали. Громко и явственно произнесли они — смерть, смерть, смерть. Но и голоса слева, голоса с той стороны, где сердце, становятся все красноречивее. Французский король шлет за море чрезвычайное посольство с увещанием помнить об общем интересе всех королей. Он напоминает Елизавете, что, оберегая неприкосновенность Марии Стюарт, она ограждает и свою неприкосновенность, что высший завет мудрого и благополучного правления состоит в том, чтобы не проливать крови. Он взывает к священному для каждого народа долгу гостеприимства — пусть же Елизавета не погрешит против господя, подняв руку на его помазанницу. И так как Елизавета с обычным лукавством отделяется полуобещаниями и туманными отговорками, тон иноземных послов становится все резче. То, что раньше было просьбой, перебивает во властное предостережение, в открытую угрозу. Но умудренная знанием света, понаторевшая за двадцать пять лет правления во всех уловках политики, Елизавета обладает безошибочным слухом. Во всей этой словесной патетике она старается уловить одно: принесли ли послы в складках своей тоги полномочия прервать

дипломатические отношения и объявить войну? И очень скоро убеждается, что за громогласными, крикливыми речами не слышно звона железа и что ни Генрих III, ни Филипп II серьезно не намерены обнажить меч, если топор палача снесет голову Марии Стюарт.

Поэтому она равнодушным пожатием плеч отвечает на дипломатические громы Франции и Испании. Куда больше искусства, разумеется, нужно, чтобы отвести другие упреки — упреки Шотландии. Кто-кто, а Иаков VI должен бы воспрепятствовать казни королевы Шотландской в чужой стране, это его священная обязанность: ведь кровь, которая прольется, — его собственная кровь, а женщина, которая будет предана смерти, — мать, даровавшая ему жизнь. Однако сыновняя привязанность занимает не слишком много места в сердце Иакова VI. С тех пор как он стал нахлебником и союзником Елизаветы, мать, отказавшая ему в королевском титуле, торжественно от него отрекшаяся и даже пытавшаяся передать его наследные права чужеземным королям, эта мать только стоит у него на дороге. Едва услышав о раскрытии Бабингтонова заговора, он спешит поздравить Елизавету, а французскому послу, который докучает ему на его любимой охоте с требованиями пустить в ход всё свое влияние в пользу матери, говорит с досадою: «Заварила кашу, так пусть сама теперь расхлебывает» (*qu'il fallait qu'elle but la boisson qu'elle avait brassé*). Со всей прямотой заявляет он, что ему совершенно безразлично — «куда б ее ни засадили и сколько бы ни перевешали ее подлых слуг», ей «давно пора на покой, замаливать грехи». Нет, все это нисколько его не касается; поначалу чуждый сентиментов сынок отказывается даже отправить посольство в Англию. И только по вынесении приговора, оскорбившего национальные чувства шотландцев, когда по всей стране прокатилась волна возмущения, оттого что чужеземка осмелилась посягнуть на жизнь шотландской королевы, Иаков спохватывается, что роль, которую он играет, слишком уж неблагоприятна, что дальше отмалчиваться неприлично и надо хотя бы для проформы что-то предпринять. Разумеется, он не заходит так далеко, как его парламент, требующий в случае казни немедленного денонсирования договора о союзе и даже объявления войны. Но все же он садится за конторку, пишет резкие, возмущенные и угрожающие письма Уолсингему и снаряжает в Лондон посольство.

Елизавета, конечно, предвидела этот взрыв. Но она и тут прислушивается больше к полутонам. Депутация Иакова VI делится на две части. Одна, официальная, громко и внятно требует отмены смертного приговора. Она угрожает расторжением союза, она бряцает оружием, и шотландской знати, произносящей эти суровые речи в Лондоне, нельзя отказать в пафосе искренней убежденности. Но им и невдогад, что, пока они громко и грозно разговаривают в приемном зале, другой агент, личный представитель Иакова VI, прокравшись в приватные апартаменты Елизаветы с черного хода, ставит там втихомолку другое требование, куда более близкое сердцу шотландского короля, нежели жизнь его матери, а именно требование признать его преемственные права на английский престол. По словам хорошо информированного французского посланника, этому тайному посреднику поручено заверить Елизавету, что если Иаков VI так неистово ей угрожает, то это делается лишь для поддержания его чести, а также приличия ради («for his honour and reputation»), и он просит ее не принимать эту демонстрацию в обиду («in ill part»), не рассматривать как недружественную акцию. Для Елизаветы это лишь подтверждение того, что она, разумеется, и раньше знала, а именно что Иаков VI готов молча проглотить («to digest») казнь своей матери за одно лишь обещание — или полуобещание — английской короны. Так за кулисами начинается гнусный торг. Сын Марии Стюарт и ее противница, подсев друг к другу, доверительно шепчутся, впервые найдя общий язык, объединенные общими темными интересами — в душе оба хотят одного и того же, и оба прячут это от всего света. Мария Стюарт у обоих стоит на дороге, но обоим приходится делать вид, будто самая важная, самая священная, кровная их задача — спасти и оградить бедную узницу. Елизавета отнюдь не борется за жизнь данной ей роком сестры, а Иаков VI не борется за жизнь родившей его; обоим важно лишь «на подмостках мира» соблюсти благопристойность. Иаков VI de facto¹ давно уже прозрачно намекнул, что даже в самом неблагоприятном случае никаких претензий с его стороны не будет, и этим заранее отпустил Елизавете казнь своей матери. Еще до того, как чужеземка, противница, пошлет узницу на смерть, сын узницы отдал ее на заклатие.

1 Физически (лат.)

Ни Франция, ни Испания, ни Шотландия — Елизавета окончательно в этом уверилась — не станут хватать ее за руки, когда она решит подвести черту. И только один человек мог бы, пожалуй, еще спасти Марию Стюарт: сама Мария Стюарт. Попроси она о помиловании, Елизавета, возможно, этим бы удовлетворилась. В душе она только и ждет такого обращения, которое избавило бы ее от упреков совести. Все меры принимаются в эти дни для того, чтобы сломить гордость Марии Стюарт. Как только приговор вынесен, Елизавета посылает узнице полный текст, а черствый, рассудительный и особенно внушающий омерзение своей въедливой добропорядочностью Эмиас Паулет пользуется этим для того, чтобы оскорбить осужденную на смерть, — для него она уже «бесславы́й труп» — «une femme morte sans nulle dignité». Впервые в ее присутствии забывает он снять шляпу — низкая, подленькая выходка лакея, в котором зрелище чужого несчастья рождает заносчивость, а не смирение; он велит ее челядинцам вынести тронный балдахин с шотландским гербом. Но верные слуги не повинуются тюремщику, а когда Паулет велит своим подчиненным сорвать балдахин, Мария Стюарт вешает распятие на том месте, где был укреплен шотландский герб, чтобы показать, что ее охраняет сила более могущественная, нежели Шотландия. На каждое мелкое оскорбление врагов у нее находится величественный жест. «Они угрозами хотят вырвать у меня мольбу о пощаде, — пишет она друзьям, — но я говорю им, что, уж если она обрекла меня смерти, пусть будет верна своей неправде до конца». Если Елизавета убьет ее, тем хуже для Елизаветы! Лучше своей смертью унижить противницу перед судом истории, чем позволить ей надеть маску кротости, увенчаться лаврами великодушия. Вместо того чтобы протестовать против приговора или просить о помиловании, Мария Стюарт с христианским смирением благодарит творца за его промысл, Елизавете же отвечает с надменностью королевы:

«Madame, я от всего сердца благодарю Создателя за то, что он, с помощью Ваших происков, соблаговолил избавить меня от тягот томительного странствия, каким стала для меня жизнь. А потому я и не молю Вас продлить ее, достаточно я вкусила ее горечь. Я только прошу (Вас, а не кого иного, так как знаю, что от Ваших министров, людей, занимающих самые высокие посты в Англии, мне нечего ждать милости) исполнить следующие мои просьбы: прежде

всёго я прошу, чтобы это тело, когда враги вдосталь ульются моей невинной кровью, было доставлено преданными слугами куда-нибудь на клочок освященной земли и там погребено — лучше всего во Францию, где покоятся останки возлюбленной моей матери, королевы; там этот бедный прах, нигде не знавший покоя, доколе нерасторжимые узы связывали его с душой, освободившись, найдет наконец успокоение. Далее, я прошу Ваше Величество ввиду опасений, какие внушает мне неистовство тех, на чей произвол Вы меня отдали, назначить казнь не где-нибудь в укромном месте, но на глазах у моих слуг и других очевидцев, дабы они могли потом свидетельствовать, что я осталась верна истинной церкви, и тем защитить мою кончину, мой последний вздох от лживых наветов, какие стали бы распространять мои недруги. И, наконец, прошу, чтобы слугам, верой и правдой служившим мне среди стольких испытаний и невзгод, было дозволено удалиться куда им вздумается и там беспрепятственно существовать на те крохи, какими сможет вознаградить их моя бедность.

Заклинаю Вас, Madame, памятью Генриха VII, нашего общего предка, а также королевским титулом, который я сохраняю и в смерти, не оставить втуне эти справедливые пожелания и поручиться мне в том Вашим собственноручно написанным словом. Ваша неизменно расположенная к Вам сестра и пленница Мария, королева».

Мы видим: сколь это ни странно и невероятно, в последние дни затянувшейся на десятилетия борьбы роли переменились: с тех пор как Марии Стюарт вручен смертный приговор, в ней чувствуется новая уверенность и сила. Сердце ее не так трепещет, когда она читает свой смертный приговор, как трепещет рука у Елизаветы, когда ей предлагают этот приговор подписать. Мария Стюарт не так страшится умереть, как Елизавета — убить ее.

Быть может, она уверена в душе, что у Елизаветы не хватит мужества приказать палачу поднять руку на венчанную королеву, а быть может, это спокойствие — лишь маска; но даже такой пронырливый наблюдатель, как Эмиас Паулет, не улавливает в ней ни тени тревоги. Она ни о чем не спрашивает, ни на что не жалуется, не просит у стражей ни малейших поблажек. Не пытается она и вступить в тайные сношения с чужеземными друзьями; ее

сопротивление, ее самозащита и самоутверждение кончились; сознательно возвращает она свою волю судьбе, творцу: пусть он решает.

Теперь она занята серьезными приготовлениями. Она составляет духовную и все свое земное достояние заранее раздает слугам; пишет королям и князьям мира, но уже не с тем, чтобы подвигнуть их на посылку армий и снаряжение войн, а дабы уверить, что она готова неколебимо принять смерть, умереть в католической вере и за католическую веру. Наконец-то на это неугомонное сердце снизошел великий покой: страх и надежда, эти, по словам Гете, «злейшие враги рода человеческого», уже не властны над окрепшей душой. Так же как ее сестра по несчастью Мария Антуанетта, лишь перед лицом смерти осознает она свою истинную задачу. Понимание своей ответственности перед историей блистательно перевешивает в ней обычную беспечность; не мысль о помиловании поддерживает ее, а некое окрыляющее ее стремление, надежда, что последняя минута станет ее торжеством. Она знает, что только драматизм героической кончины может искупить в глазах мира ее трагическую вину и что в этой жизни у нее осталась одна только возможная победа — достойная смерть.

И в противовес уверенному, возвышенному спокойствию осужденной узницы замка Фотерингей — неуверенность, бешеная нервозность и гневная растерянность Елизаветы в Лондоне. Мария Стюарт уже решила, а Елизавета еще только борется за решение. Никогда еще соперница не причиняла ей таких страданий, как теперь, когда она всецело у нее в руках. В эти недели Елизавета теряет сон, целыми днями хранит она угрюмое молчание; чувствуется, что ее гвоздит неотступная, ненавистная мысль — подписать ли смертный приговор, приказать ли, чтобы его привели в исполнение. Она бьется над этим вопросом, как Сизиф над своим камнем, а он снова всей тяжестью скатывается ей на грудь. Напрасно уговаривают ее министры — голос совести сильнее. Она отвергает все их предложения и требует новых. Сесил находит, что она «изменчива, как погода»: то хочет казни, то помилования, постоянно добивается от своих советников «какого-нибудь другого выхода», хоть и знает, что другого быть не может. Ах, если бы все совершилось помимо нее, само собой, без ее ведома, без ее ясно отданного приказа — не *ею*, а *для нее*. Все неудержимее гнетет ее страх перед ответственностью, неустанно взвешивает она плюсы и минусы столь

неслыханного деяния и, к огорчению своих министров, откладывает решение со дня на день, прячась за двусмысленными, злобными, раздраженными и неясными отговорками, отодвигая его куда-то в неопределенность. «With weariness to talk, her Majesty left off all till a time I know not when»¹, — жалуется Сесил, чей холодный расчетливый ум не в силах понять эту потрясенную душу. Ибо, хоть Елизавета и приставила к Марии Стюарт жестокого тюремщика, сама она день и ночь во власти еще более неподкупного и жестокого стража — своей совести.

Три месяца, четыре месяца, пять месяцев, чуть ли не полгода тянется негласный спор Елизаветы с Елизаветой о том, чего слушаться — голоса разума или голоса человечности. При таком перенапряжении нервов естественно, что разрядка приходит внезапно, с неожиданностью взрыва.

В среду 1 февраля 1587 года писца государственной канцелярии Девисона (Уолсингем то ли заболел, то ли сказался больным) отыскивает в Гринвичском парке адмирал Хоуард и приказывает ему немедленно идти к королеве, отнести ей на подпись смертный приговор Марии Стюарт. Девисон достает собственноручно заготовленную Сесилом бумагу и вместе с другими бумагами несет на подпись королеве. Но странно, великой актрисе Елизавете, видимо, уже опять не к спеху. Она притворяется безразличной, она болтает с Девисоном о посторонних предметах, она выглядывает в окно, любуясь ослепительным зимним пейзажем. И только потом, будто невзначай, спрашивает Девисона — неужто она уже не помнит, что велела ему принести смертный приговор, — с чем он, собственно, к ней явился. Девисон говорит, что принес на подпись бумаги, между прочим и ту, про которую ему особо наказывал лорд Хоуард. Елизавета берет бумаги, но, боже упаси, в них не заглядывает. Быстро подписывает она одну за другой — разумеется, и приговор Марии Стюарт. Должно быть, она намеревалась сделать вид, будто среди прочих бумаг невзначай подмахнула и ту, смертоносную. Но тут настроение у этой непостоянной, как погода, женщины меняется, и уже в следующую минуту видно, что все предыдущее было чистейшим кривлянием, игрой: без всяких околичностей

¹ «Не желая продолжать этот разговор, Ее Величество отложил вопрос на неопределенное время» (англ.).

признается она Девисону, что лишь для того так долго оттягивала решение, чтобы все видели, с каким трудом оно ей дается. Ну а теперь пусть снесет подписанный приговор канцлеру и там скрепит большой государственной печатью — но только ни с кем ни слова лишнего, — после чего пусть вручит приказ лицу, назначенному для его исполнения. Поручение настолько ясное, что у Девисона нет ни малейшего основания усомниться в твердых намерениях его королевы. Видно, что Елизавета уже свыклась с неприятной мыслью, так обстоятельно и хладнокровно входит она во все детали. Казнь лучше назначить в большом зале Фотерингейского замка. Ни парадный двор, ни внутренний дворик для этого не подойдут. Она все снова напоминает Девисону, что приказ надо держать в секрете. Когда после долгих колебаний человек наконец принимает решение, у него становится легче на душе. Так и у Елизаветы обретенная уверенность заметно поднимает настроение. Она явно повеселела и даже изволит шутить, говоря, что боится, как бы эта грустная весть не прикончила беднягу Уолсингема.

Девисон считает — да и всякий счел бы на его месте, — что вопрос исчерпан. Он откланивается и ретируется к двери. Но Елизавета ни на что не способна решиться и ничего не может довести до конца. Только Девисон дошел до порога, как она зовет его обратно; от ее веселого настроения, от настоящей или наигранной решимости не осталось и следа. Беспokoйно мерит она шагами комнату. Нет ли все же какого-нибудь другого выхода? Ведь члены Ассоциации (*members of the Association*) поклялись предать смерти всякого, кто так или иначе примет участие в готовящемся на нее покушении. О чем же думает в Фотерингее этот болван Эмиас Паулет и его помощник, ведь они тоже члены Ассоциации, так разве не прямая их обязанность взять все на себя и тем избавить ее, королеву, от марающей ее публичной казни? Пусть Уолсингем на всякий случай напишет этой паре и вразумит ее.

Бедняге Девисону становится не по себе. Безошибочное чутье подсказывает ему, что королева, едва сделав дело, торопится от него отмежеваться. Он уже, конечно, сожалеет, что такой важный разговор происходил без свидетелей. Но поделать ничего не может. Ему дано ясное поручение. Поэтому он прежде всего идет в государственную канцелярию и просит скрепить приговор печатью, а затем

направляется к Уолсингему, который тут же составляет Эмиасу Паулету письмо в духе высказанных Елизаветой пожеланий. Королева, пишет Уолсингем, к сожалению, усматривает в усердной службе своего испытанного слуги существенный изъян: ввиду угрожающей ее величеству опасности со стороны Марии Стюарт следовало бы ему давно подумать, как бы «самому и без нарочитых поручений», своими средствами устранить Марию Стюарт. Он может с чистой совестью взять это на себя, ведь он дал клятву Ассоциации, а этим он снимет с королевы тяжелое бремя, ведь всем известно, как ей неприятно проливать кровь.

Письмо вряд ли успело добраться по назначению и, уж конечно, на него еще не поступало ответа, как в Гринвиче снова переменился ветер. На следующее утро, в четверг, посланец королевы принес Девисону записку: если он еще не передал приговор канцлеру для скрепления печатью, пусть покамест воздержится до личной с ней беседы. Девисон со всех ног бросается к королеве и поясняет, что вчера тут же выполнил ее поручение и что смертный приговор скреплен печатью. Елизавета, по-видимому, недовольна. Но она молчит и не упрекает Девисона. А главное, двоедушная, ни словом не заикается о том, что хотела бы вернуть злосчастный документ с печатью. Она только жалуется Девисону, что это бремя снова и снова валится ей на плечи. Беспokoйно шагает она из угла в угол. Девисон ждет и ждет какого-то решения, приказа, ясного и недвусмысленного пожелания. Но Елизавета внезапно покидает комнату, так ни о чем и не распорядившись.

И снова перед нами сцена шекспировского звучания, только Елизавета разыгрывает ее на глазах у одного-единственного зрителя; снова вспоминаем мы Ричарда III, как он жалуется Букингему, что противник еще жив, и вместе с тем не приказывает членораздельно убить его. Тот же обиженный взгляд, что и у Ричарда III, недовольного, зачем его вассал и понимает и не хочет его понять, испепеляет злосчастного Девисона. Бедный писец чувствует, что почва под ним колеблется, и судорожно хватается за других: только бы ему одному не отвечать в этом деле всемирно-исторической важности. Он бросается к Хэтону, фавориту королевы, и рисует ему свое отчаянное положение: Елизавета повелела дать приговору законный ход, но по всему

видно, что она потом отречется от своего двусмысленно отданного распоряжения. Хэтон слишком хорошо знает Елизавету, чтобы не разгадать ее двойную игру, но и он не склонен ответить Девисону явным «да» или «нет». Все они, словно перебрасывая друг другу мяч, стараются свалить с себя ответственность: Елизавета — на Девисона, Девисон — на Хэтона, Хэтон в свою очередь спешит информировать государственного канцлера Сесила. Но и тот не хочет взять все на себя и созывает на следующий день нечто вроде тайного государственного совета. Приглашены только ближайšie друзья и доверенные советники королевы — Лестер, Хэтон и семеро других дворян; каждый из них по личному опыту знает, что на Елизавету нельзя положиться. Впервые вопрос здесь ставится с полной ясностью: все они согласны в том, что Елизавета, спасая свой моральный престиж, намерена остаться в стороне, чтобы обеспечить себе «алиби»; она хочет представить дело так, будто сообщение о свершившейся казни «застало ее врасплох». И, стало быть, на обязанности ее верных — подыгрывать ей в этой комедии и словно бы против ее воли привести в исполнение то, чего она, в сущности, добивается. Само собой разумеется, такое кажущееся, а втайне призываемое ею превышение власти чревато величайшей ответственностью, а потому вся тяжесть подлинного или притворного гнева Елизаветы не должна пасть на кого-нибудь одного. Сесил и предлагает, чтобы все они сообща распорядились о казни и взяли на себя сообща всю ответственность. Лорду Кенту и лорду Шрусбери поручается проследить за исполнением приговора, а секретарь Бийл откомандировывается в Фотерингей с соответствующими полномочиями. Таким образом, мнимая вина раскладывается на десятерых участников государственного совета, который своим мнимым «превышением власти» наконец-то снимет «бремя» с плеч королевы.

Обычно Елизавета до крайности любопытна, это едва ли не основная ее черта. Вечно ей нужно знать — и притом немедленно — все, что происходит в орбите ее замка, да и во всем королевстве. Но не странно ли: на сей раз она ни у Девисона, ни у Сесила и ни у кого другого не спрашивает, как обстоит дело с подписанным ею смертным приговором. В течение трех дней она ни разу не

вспомнила об этом немаловажном обстоятельстве, оно как бы улетучилось из ее памяти, хотя уже многие месяцы она только им и занята. Кажется, будто она испила вод Леты, так бесследно ушло это дело из сферы ее внимания. И даже на другое утро, в воскресенье, когда ей передают ответ Эмиаса Паулета на письмо Уолсингема, она не вспоминает о подписанном ею приговоре.

Ответ Эмиаса Паулета не слишком радует королеву. Верный страж сразу же раскусил, что за неблагодарную роль ему готовят. Он почуял, какая награда его ждет, если он возьмется устранить Марию Стюарт: королева публично объявит его убийцей и предаст суду. Нет, Эмиас Паулет не полагается на благодарность дома Тюдоров и не хочет быть козлом отпущения. Но, не осмеливаясь прямо послушаться королевского приказа, умный пуританин предпочитает спрятаться за более высокую инстанцию — за бога. Свой отказ он облакает в тогу напыщенной морали. «Сердце мое преисполнено горечи, — отвечает он с пафосом, — ибо, к великому своему сокрушению, я увидел день, когда мне, по желанию моей доброй повелительницы, предлагают свершить деяние, противное богу и закону. Все мое земное достояние, моя служба и моя жизнь в руках Ее Величества, и я готов завтра же отказаться от них, если на то будет ее воля, так как обязан всем только ее доброте и снисхождению. Но сохрани меня бог пасть так низко, покрыть несмываемым позором весь мой род, согласившись пролить кровь без благословения закона и официального приказа. Надеюсь, что Ваше Величество в своей неизменной милости примете мой всеподданнейший ответ с дружеским расположением».

Но Елизавета отнюдь не склонна принять с дружеским расположением ответ своего Эмиаса, которого еще недавно превозносила за его «неослабное усердие и безошибочные действия»; в гневе меряет она шагами комнату и ругательно ругает этих «чистоплюев, этих брезгливых недотрог» («dainty and precise fellows»); все они много обещают и ничего не делают. Паулет, негодует она, нарушил присягу; он подписал «Act of Association», клялся послужить королеве хотя бы и ценою своей жизни. Да мало ли есть других людей, которые что угодно для нее сделают, некий Уингфилд, например. В подлинном или притворном гневе напускается она на беднягу Девисона — Уолсингем, хитрец этакий, сообразил сказаться больным, — а тот, чудак, еще

советует ей держаться законного пути. Люди поумнее его, отчитывают Девисона королева, думают иначе. С этим делом надо было давно покончить, позор для них для всех, что они тянут. Девисон молчит. Он мог бы похвалиться, что дело уже пущено на полный ход. Но он чувствует, что только досадит королеве, если честно ей расскажет то, что она, по-видимому, давно знает, но о чем бесчестно умалчивает, а именно что гонец со смертным приговором, скрепленным большой печатью, выехал в Фотерингей, а вместе с ним — некий приземистый, коренастый малый, которому предстоит обратиться в дело, приказ — в кровь: палач города Лондона.

ГЛАВА XXIII

«В моем конце мое начало»

8 февраля 1587 года

«En ma fin est mon commencement» — когда-то Мария Стюарт вышила это, еще не ясное ей в ту пору изречение, на парчовом покрывале. Теперь ее смутное предчувствие сбывается. Только трагическая смерть кладет истинное начало ее славе, только эта смерть в глазах будущих поколений искупит вину ее молодости, преобразит ее ошибки. Уже много недель, как твердо и обдуманно готовится осужденная к величайшему своему испытанию. Совсем еще юной королевой пришлось ей дважды видеть, как дворянин умирает под топором палача; рано поняла она, что ужас этого бесповоротного, бесчеловечного деяния может быть преодолен лишь стоическим самообладанием. Весь мир и последующие поколения — Мария Стюарт это знает — будут взыскательно судить ее выдержку и осанку, когда, первая из венчаных королей, она склонит голову на плаху; малейшая дрожь, малейшее колебание, предательская бледность были бы в эту критическую минуту изменой ее королевскому достоинству. Так в эти недели ожидания собирается она в тиши с душевными силами. Ни к чему в своей жизни эта горячая неукротимая женщина не готовилась так обдуманно, так спокойно, как к своему смертному часу.

Вот отчего никто не заметил бы в ней ни тени удивления или испуга, когда во вторник седьмого февраля слуги

докладывают ей о прибытии лордов Шрусбери и Кента вместе с несколькими членами магистрата. Предусмотрительно сзывает она ближних женщин, а также почти всех челядинцев. Только окружив себя верными слугами, принимает она это посольство. Теперь она поминутно хочет иметь их рядом — пусть когда-нибудь поведают миру, что дочь Иакова V, дочь Марии Лотарингской, та, в чьих жилах течет кровь Стюартов и Тюдоров, нашла в себе силы мужественно и непреклонно снести и самые тяжкие испытания. Шрусбери, человек, под чьей крышей она провела без малого двадцать лет, склоняет перед ней колени и седую голову. Голос его чуть дрожит, когда он объявляет, что Елизавете пришлось, невзирая ни на что, внять настойчивым требованиям своих подданных и повелеть привести в исполнение приговор. Мария Стюарт словно и не удивлена недоброй вестью; без всяких признаков волнения, зная, что каждый ее жест будет внесен в книгу истории, выслушивает она чтение приговора, потом спокойно осеняет себя крестным знаменем и говорит: «Хвала господу за это известие, что вы мне приносите. Для меня не может быть вести более утешительной, ибо она сулит мне конец земных страданий и милость господина, сподобившего меня умереть во славу его имени и его возлюбленной римско-католической церкви». Ни единым словом больше не оспаривает она приговор. Она уже не хочет как королева бороться с несправедливостью, причиненной ей другой королевой, а лишь как христианка — возложить на себя свой крест; быть может, в своем мученичестве она возлюбила последнее торжество, еще оставшееся ей в этой жизни. Только две просьбы есть у нее: чтобы ее духовник напутствовал ее своим благословением и чтобы казнь не пришлось уже на следующее утро: ей хочется как следует обдумать свои последние распоряжения. Обе просьбы отвергнуты. Ей не нужен пастырь ложной веры, отвечает граф Кент, фанатичный протестант, зато он охотно пришлет ей священника реформатской церкви, чтобы тот наставил ее в истинной религии. Конечно, Мария Стюарт отказывается в этот великий час, когда она перед всем католическим миром намерена смертью своей постоять за свое исповедание, выслушивать от священника-еретика его рации насчет истинной веры. Менее жестоко, чем это бестактное предложение обреченной жертве, звучит отказ отстрочить ее казнь. Поскольку ей дана только ночь для

всех приготовлений, немногие отпущенные ей часы так переполнены, что страху и тревоге не остается места. Всегда и в этом дар бога человеку — умирающему тесно с временем.

С рассудительностью и вдумчивостью, ей до сих пор — увы! — неизвестными, распределяет Мария Стюарт свои последние часы. Великая государыня, она хочет умереть с истинным величием. Призвав на помощь свой безошибочный вкус, свою наследственную артистичность, свое врожденное мужество, не изменяющее ей и в самые опасные минуты, готовит Мария Стюарт свой уход — словно праздник, словно торжество, словно величественную церемонию. Ничего не оставляет она на волю случая, минуты, настроения, все проверяется на эффект, все оформляется по-королевски пышно и импозантно. Каждая деталь точно и обдуманно вписана, подобно волнующей или благоговейной строфе, в героическую эпопею мученической кончины. Несколько раньше обычного, чтобы спокойно написать необходимые письма и собраться с мыслями, приказывает она подать ужин и символически придает ему форму последней вечери. Откушав, она собирает вокруг себя домочадцев и просит налить ей вина. С глубокой серьезностью, но с просветленным челом поднимает она полную чашу над слугами, павшими перед ней на колени. Она выпивает ее за их благополучие, а потом обращается к ним с речью, увещая хранить верность католической религии и жить в мире друг с другом. У каждого просит она — и это звучит как сцена из *vita sanctorum*¹ — прощения за все обиды, которые вольно или невольно ему причинила. И лишь после этого дарит каждому любовно выбранный для него подарок — кольца и драгоценные камни, золотые цепи и кружева, изысканные вещицы, когда-то красившие и разнообразившие ее уходящую жизнь. На коленях, кто молча, кто плача, принимают они эти дары, и королева тоже невольно растрогана горестной любовью своих слуг.

Наконец она поднимается и переходит в свою комнату, где на письменном столе уже горят восковые свечи. Ей еще много надо сделать с вечера до утра: перечитать духовную, распорядиться приготовлениями к завтрашнему трудному шествию и написать последние письма. В первом, наиболее проникновенном письме она просит своего ду-

¹ Житий святых (лат.).

ховника не спать эту ночь и молиться за нее; хоть он и находится за два-три покая в этом же замке, граф Кент — так безжалостен фанатизм — накрепко запретил утешителю оставлять свою комнату, чтобы не дал он осужденной последнего «папистского» причастия. Затем королева пишет своим родичам — Генриху III и герцогу де Гизу; в этот последний час на душе у нее лежит забота, особенно делающая ей честь: с прекращением ее вдовьей пенсии домохадцы ее останутся без средств к существованию. И она просит короля Французского взять на себя обязанность выплатить все по ее завещанию и приказать служить обедни «за всехристианнейшую королеву, что идет на смерть, верная католической церкви и лишенная всякого земного достояния». Филиппу II и папе она уже раньше написала. И лишь одной властительнице этого мира остается ей написать — Елизавете. Но ни единым словом не обратится к ней Мария Стюарт. Ей больше нечего у нее просить и не за что благодарить ее. Только гордым молчанием может она еще устыдить своего старинного недруга — а также величием своей смерти.

Поздно за полночь ложится Мария Стюарт. Все, что ей должно было сделать в жизни, она сделала. Всего лишь несколько часов дозволено еще душе погостить в истомленном теле. Служанки, на коленях, забились в угол и молятся недвижными губами: они не хотят беспокоить спящую. Но Мария Стюарт не спит. Широко открытыми глазами смотрит она в великую ночь; только усталым членам дает она покой, чтобы с бестрепетным сердцем и сильной душою предстать наутро пред всемогущей смертью.

На многие торжества одевалась Мария Стюарт, на коронации и крестины, на свадьбы и рыцарские игрища, на прогулки, на войну и охоту, на приемы, балы и турниры, повсюду являясь в роскошных одеждах, зная, какой властью обладает на земле красота. Но никогда еще, ни по какому поводу не одевалась она так обдуманно, как для величайшего часа своей судьбы — для смерти. Уже за много дней и недель продумала она, верно, достойный ритуал своей кончины, тщательно взвесив каждую деталь. Платье за платьем перебрала она, верно, весь свой гардероб в поисках наиболее достойного наряда для столь небывалого случая; можно подумать, что и как женщина, в

последней вспышке кокетства, хотела она оставить на все времена пример того, каким венцом совершенства должна быть королева, идущая навстречу казни. Два часа, с шести до восьми, одевают ее прислужницы. Не как бедная грешница в убогих лохмотьях хочет она взойти на плаху Великолепный, праздничный наряд выбирает она для своего последнего выхода, самое строгое и изысканное платье из темно-коричневого бархата, отделанное куньим мехом, со стоячим белым воротником и пышно ниспадающими рукавами. Черный шелковый плащ обрамляет это гордое великолепие, а тяжелый шлейф так длинен, что Мелвил, ее гофмейстер, должен почтительно его поддерживать. Снежно-белое вдовье покрывало овеивает ее с головы до ног Омофоры искусной работы и драгоценные четки заменяют ей светские украшения, белые сафьяновые башмачки ступают так неслышно, что звук ее шагов не нарушит бездыханную тишину в тот миг, когда она направится к эшафоту. Королева сама вынула из заветного ларя носовой платок, которым ей завяжут глаза, — прозрачное облачко тончайшего батиста, отделанное золотой каемкой, должно быть, ее собственной работы. Каждая пряжка на ее платье выбрана с величайшим смыслом, каждая мелочь настроена на общее музыкальное звучание; предусмотрено и то, что ей придется на глазах у чужих мужчин скинуть перед плахой это темное великолепие. В предвидении последней кровавой минуты Мария Стюарт надела исподнее платье пунцового шелка и приказала изготовить длинные, за локоть, огненного цвета перчатки, чтобы кровь, брызнувшая из-под топора, не так резко выделялась на ее платье. Никогда еще осужденная на смерть узница не готовилась к казни с таким изощренным вкусом и сознанием своего величия.

В восемь утра стучатся в дверь. Мария Стюарт не отвечает, она все еще стоит, преклонив колена, перед аналоем и читает заупокойные молитвы. Только кончив, поднимается она с колен, и на вторичный стук дверь открывают. Входит шериф с белым жезлом в руке — скоро его преломят — и говорит почтительно, с глубоким поклоном: «Madame, меня прислали лорды, вас ждут». «Пойдемте», — говорит Мария Стюарт и готовится к выходу.

И вот начинается последнее шествие. Поддерживаемая справа и слева слугами, идет она, с натугой переставляя

пораженные ревматизмом ноги. Втройне оградила она себя оружием веры от приступов внезапного страха: на шее у нее золотой крест, с пояса свисает связка отделанных дорогими камнями четок, в руке меч благочестивых — распятие слоновой кости: пусть увидит мир, как умирает королева в католической вере и за католическую веру. Да забудет он, сколько прегрешений и безрассудств отягчает ее юность и что как соучастница задуманного убийства предстанет она пред палачом. На все времена хочет она показать, что терпит муки за дело католицизма, обреченная жертва недругов-еретиков.

Не дальше чем до порога — как задумано и условлено — провожают и поддерживают ее преданные слуги. Ибо и виду не должно быть подано, будто они соучастники постыдного деяния, будто сами они ведут свою госпожу на эшафот. Лишь в ее покоях готовы они ей прислуживать, но не как подручные палача в час ее страшной смерти. От двери до подножия лестницы ее сопровождают двое подчиненных Эмиаса Паулета: только ее враги, только ее злейшие противники могут, как пособники величайшего преступления, повести венчанную королеву на эшафот. Внизу, у последней ступеньки, перед входом в большой зал, где состоится казнь, ждет коленопреклоненный Эндрю Мелвил, ее гофмейстер; шотландский дворянин, он должен будет сообщить Иакову VI о свершившейся казни. Королева подняла его с колен и обняла. И на слова Мелвила: «Мне выпала самая тяжкая в моей жизни обязанность сообщить о кончине моей августейшей госпожи» — она отвечает: «Напротив, радуйся, что конец моих испытаний близок. Только сообщи там, что я умерла верная своей религии, истинной католичкой, истинной дочерью Шотландии, истинной дочерью королей. Да простит бог тех, кто пожелал моей смерти. И передай моему сыну, что никогда я не сделала ничего, что могло бы повредить ему, никогда ни в чем не поступила с нашими державными правами».

Сказав это, она обратилась к графам Шрусбери и Кенту с просьбой разрешить также ее ближним женщинам присутствовать при казни. Граф Кент протестует: женщины воплями и плачем будут нарушать благочиние в зале и вызовут даже недовольство, ведь им непременно захочется омочить платки в крови королевы. Но Мария Стюарт твердо отстаивает свою последнюю волю: «Словом своим ручаюсь, — говорит она, — что они этого делать не станут. Я

не мыслю, чтобы ваша госпожа отказала равной себе в том, чтобы ее женщины прислуживали ей до последней минуты. Не верю, чтобы она отдала подобное жестокое приказание. Даже будь я не столь высокого сана, она исполнила бы мою просьбу, а ведь я к тому же ее ближайшая родственница, внучка Генриха VII, вдовствующая королева Франции и венчанная на царство королева Шотландии».

Оба графа совещаются: наконец ей разрешают взять с собой четырех слуг и двух женщин. Мария Стюарт удовлетворяется этим. Сопровождаемая своими избранными и верными, а также Эндру Мелвиллом, несущим за ней ее трон, в предшествии шерифа, Шрусбери и Кента входит она в парадный зал Фотерингейского замка.

Здесь всю ночь стучали топорами. Из помещения вынесены столы и стулья. В глубине его воздвигнут помост, покрытый черной холстиной, наподобие катафалка. Перед обитой черным колодой уже поставлена скамеечка с черной же подушкой, на нее королева преклонит колена, чтобы принять смертельный удар. Справа и слева почетные кресла дожидаются графов Шрусбери и Кента как уполномоченных Елизаветы, в то время как у стены, словно два бронзовых изваяния, застыли одетые в черный бархат и скрывшиеся под черными масками две безликие фигуры — палач и его подручный. На эту величественную в своей страшной простоте сцену могут взойти только жертва и ее палачи: зрители теснятся в глубине зала. Охраняемый Паулетом и его солдатами, там воздвигнут барьер, за которым сгрудилось человек двести дворян, сбежавшихся со всей округи, чтобы увидеть столь неслыханное, небывалое зрелище — казнь венценосной королевы. А перед запертыми дверями замка сотнями и сотнями голов чернеют толпы простого люда, привлеченного этой вестью: им вход запрещен. Только дворянской крови дозволено видеть, как проливают королевскую кровь.

Спокойно входит Мария Стюарт в зал. Королева с первого своего дыхания, она еще ребенком научилась держаться по-королевски, и это высокое искусство не изменяет ей и в самые трудные минуты. С гордо поднятой головой она всходит на обе ступеньки эшафота. Так пятнадцать лет всходила она на трон Франции, так всходила на алтарные ступени в Реймсе. Так взошла бы она и на английский трон, если бы ее судьбой управляли другие звезды. Так же смиренно и вместе с тем горделиво пре-

клоняла она колена бок о бок с французским королем, бок о бок с шотландским королем, чтобы принять благословение священника, как теперь склоняется под благословение смерти. Безучастно слушает она, как секретарь снова зачитывает приговор. Приветливо, почти радостно светится ее лицо — уж на что Уингфилд ее ненавидит, а и он в донесении Сесилу не может умолчать о том, что словам смертного приговора она внимала, будто благой вести.

Но ей еще предстоит жестокое испытание. Мария Стюарт стремится этот последний свой час облечь чистотой и величием; ярким факелом веры, великомученицей католических святцев хочет она воссиять миру. Протестантским же лордам важно не допустить, чтобы ее прощальный жест стал пламенным «верую» ревностной католички; еще и в последнюю минуту пытаются они мелкими злобными выходками умалить ее царственное достоинство. Не раз на коротком пути из внутренних покоев к месту казни она оглядывалась, ища среди присутствующих своего духовника, в надежде, что он хотя бы знаком отпустит ее согрешения и благословит ее. Но тщетно. Ее духовнику запрещено выходить из своей комнаты. И вот, когда она уже приготовилась претерпеть казнь без духовного напутствия, на эшафоте появляется реформатский священник, доктор Флетчер из Питерсбороу: до последнего дыхания преследует ее беспощадно жестокая борьба между обеими религиями, отравившая ее юность, сломавшая ей жизнь. Лордам, правда, хорошо известно трижды повторенное заявление верующей католички Марии Стюарт, что лучше ей умереть без духовного утешения, чем принять его от священника-еретика. Но так же как Мария Стюарт, стоя на эшафоте, хочет восславить свою религию, так и протестанты намерены почтить свою, они тоже взывают к господу богу. Под видом попечительной заботы о спасении ее души реформатский пастор заводит свою более чем посредственную *sermon*¹, которую Мария Стюарт в своем нетерпении умереть то и дело прерывает. Три-четыре раза просит она доктора Флетчера не утруждать себя, она твердо прилежит римско-католической вере, за которую, по милости господней, ей дано пострадать. Но попик одержим мелким тще-

¹ Проповедь (англ.)

славием; что ему воля умирающей! Он тщательно вылизал свою *segmon*. В кои-то веки он удостоился внимания такой избранной аудитории. Он, знай, бубнит свое, и тогда, не в силах прекратить это гнусное суесловие, Мария Стюарт прибегает к последнему средству: в одну руку, словно оружие, берет распятие, в другую — молитвенник и, пав на колени, громко молится по-латыни, чтобы священными словами заглушить елейное словоизвержение. Так, чем вместе обратиться к общему богу, вознося молитвы за душу обреченной жертвы, борются друг с другом обе религии в двух шагах от плахи: как всегда, ненависть сильнее, чем уважение к чужому несчастью. Шрусбери, Кент и с ними большая часть собрания молятся по-английски, а Мария Стюарт и ее домочадцы читают латинские молитвы. И только когда пастор умолкает и в зале водворяется тишина, Мария Стюарт уже по-английски произносит слово в защиту гонимой церкви христовой. Она благодарит бога за то, что страдания ее приходят к концу, громко возвещает, прижимая к груди распятие, что надеется на искупление кровью спасителя, чей крест она держит в руке и за кого с радостью готова отдать свою кровь. Снова одержимый фанатик лорд Кент прерывает ее молитву, требуя, чтобы она оставила эти «*popish trumpeteries*» — папистские фокусы. Но умирающая уже далека всем земным распрям. Ни единым взглядом, ни единым словом не удостоивает она его и только говорит во всеуслышание, что от всего сердца простила она врагов, давно домогающихся ее крови, и просит господя, чтобы он привел ее к истине.

Воцаряется тишина. Мария Стюарт знает, что теперь последует. Еще раз целует она распятие, осеняет себя крестным знамением и говорит: «О милосердный Иисус, руки твои, простертые здесь на кресте, обращены ко всему живому, осени же и меня своей любящей дланью и отпусти мне мои прегрешения. Аминь»

В Средневековье много жестокости и насилия, но бездушным его не назовешь. В иных его обычаях отразилось такое глубокое сознание собственной бесчеловечности, какое недоступно нашему времени. В каждой казни, сколь бы зверской она ни была, посреди всех ужасов нет-нет да и мелькнет проблеск человеческого величия; так, прежде чем коснуться жертвы, чтобы убить ее или подвергнуть

истязаниям, палач должен был просить у нее прощения за свое преступление против ее живой плоти. И сейчас палач и его подручный, скрытые под масками, склоняют колена перед Марией Стюарт и просят у нее прощения за то, что вынуждены уготовить ей смерть. И Мария Стюарт отвечает им: «Прощаю вас от всего сердца, ибо в смерти вижу я разрешение всех моих земных мук». И только тогда палач с подручным принимаются за свои приготовления.

Между тем обе женщины раздевают Марию Стюарт. Она сама помогает им снять с шеи цепь с «agnus dei»¹. При этом руки у нее не дрожат, и, по словам посланца ее злейшего врага Сесила, она «так спешит, точно ей не терпится покинуть этот мир». Едва лишь черный плащ и темные одеяния падают с ее плеч, как под ними жарко вспыхивает пунцовое исподнее платье, а когда прислужницы натягивают ей на руки огненные перчатки, перед зрителями словно всполыхнулось кроваво-красное пламя — великолепное, незабываемое зрелище. И вот начинается прощание. Королева обнимает прислужниц, просит их не причитать и не плакать навзрыд. И только тогда преклоняет она колена на подушку и громко, вслух читает псалом: «In te, domine, confido, ne confundar in aeternum»²

А теперь ей осталось немного: уронить голову на колоду, которую она обвивает руками, как возлюбленная своего загробного жениха. До последней минуты верна Мария Стюарт королевскому величию. Ни в одном движении, ни в одном ее слове не проглядывает страх. Дочь Тюдоров, Стюартов и Гизов достойно приготовилась умереть. Но что значит все человеческое достоинство и все наследованное и благоприобретенное самообладание перед лицом того чудовищного, что неотъемлемо от всякого убийства! Никогда — и в этом лгут все книги и реляции — казнь человеческого существа не может представлять собой чего-то романтически чистого и возвышенного. Смерть под секирой палача остается в любом случае страшным, омерзительным зрелищем, гнусной бойней. Сперва палач дает промах, его первый удар пришелся не по шее, а глухо стукнул по затылку — сдавленное хрипение, глухие стоны вырываются у страдальцы. Второй удар глубоко рассек

¹ Божественный агнец (*лат.*). Отлитое из воска изображение ягненка, символизирующее Христа.

² На тебя, господи, уповаю, да не постыжуся вовек (*лат.*). Псалом 71.

шею, фонтаном брызнула кровь. И только третий удар отделил голову от туловища. И еще одна страшная подробность: когда палач хватается голову за волосы, чтобы показать ее зрителям, рука его удерживает только парик. Голова вываливается и, вся в крови, с грохотом, точно кегельный шар, катится по деревянному настилу. Когда же палач вторично наклоняется и высоко ее поднимает, все глядят в оцепенении: перед ними призрачное видение — стриженная седая голова старой женщины. На минуту ужас скрывает зрителей, все затаили дыхание, никто не проронит ни слова. И только попик из Питерсбороу, наконец опомнившись, хрипло бормочет: «Да здравствует королева!»

Недвижным, мутным взором смотрит незнакомая восковая голова на дворян, которые, случись жребию вынуться иначе, были бы ей покорнейшими слугами и примерными подданными. Еще с четверть часа конвульсивно вздрагивают губы, нечеловеческим усилием подавившие страх земной твари; хрустят стиснутые зубы. Щадя чувства зрителей, на обезглавленное тело и на голову Медузы поспешно набрасывают черное сукно. Среди мертвого молчания слуги торопятся унести свою мрачную ношу, но тут неожиданное происшествие рассеивает охвативший всех суеверный ужас. Ибо в ту минуту, когда палачи поднимают окровавленный труп, чтобы отнести в соседнюю комнату, где его набальзамируют, — под складками одежды что-то шевелится. Никем не замеченная любимая собачка королевы увязалась за нею и, словно страшась за судьбу своей госпожи, тесно к ней прильнула. Теперь она выскочила, залитая еще не просохшей кровью. Собачка лает, кусается, визжит, огрызается и не хочет отойти от трупа. Тщетно пытаются палачи оторвать ее насильно. Она не дается им в руки, не сдается на уговоры, ожесточенно бросается на огромных черных извергов, которые так больно обожгли ее кровью возлюбленной госпожи. С большей страстью, чем родной сын, чем тысячи подданных, присягавших ей на верность, борется крошечное создание за свою госпожу.

ВОДЕВИЛЬ

1587—1603

На древнегреческом театре вслед сумрачной, торжественно развертывающейся трагедии ставилась короткая шутовская драма — своего рода водевиль, подобный эпилог имеется и в драме Марии Стюарт. В утро восьмого февраля скатилась ее голова, а на другое утро весь Лондон уже знал о свершившейся казни. Великое ликование охватило при этом известии все города и веси. И если бы обычно столь чуткую на ухо повелительницу не одолела внезапная глухота, Елизавета, разумеется, не преминула бы спросить, какое торжество, не предусмотренное в календаре, празднуют ее подданные столь ретиво. Но она мудро остерегается спрашивать. Все плотнее и плотнее закутывается она в волшебный плащ неведения. Она хочет быть официально известна о казни соперницы, хочет быть «поставлена перед свершившимся фактом».

Печальная обязанность нарушить мнимое неведение королевы сообщением о казни ее «дорогой сестрицы» выпадает Сесилу С нелегкой душой берется он за дело. За двадцать лет службы на голову испытанного советника немало обрушилось бурь, как непритворных, вызванных царским гневом, так и притворных, вызванных государственно-политическими соображениями, а потому серьезный, спокойный человек призывает все свое хладнокровие, вступая в приемный зал королевы, чтобы официально известить ее о свершившейся казни. Но такой сцены, какая за этим разыгрывается, даже он еще не видывал. Что такое? Кто-то осмелился без ее ведома, без ее прямого приказанья обезглавить Марию Стюарт? Невозможно! Немыслимо! Ни-

когда б она не решилась на столь ужасную меру — разве что в Англию вторгся бы неприятель. Ее советники обманули, предали ее, поступили с ней как заправские мошенники. Как, осрамить ее перед всем миром, запятнать непоправимо ее имя, ее достоинство вероломным, коварным злодейством? Бедная, несчастная сестрица — пасть жертвой такого постыдного недоразумения, такого низкого мошенничества! Елизавета вопит, рыдает, иступленно топает на седовласого министра. Целые ушаты сквернословия выливает она на него — да как он смел, он и другие члены Совета, без прямого ее указа привести в исполнение подписанный ею смертный приговор!

Сесил и его друзья ни минуты не сомневались, что Елизавета, стремясь свалить с себя ответственность за инспирированное ею самой «беззаконие», постарается истолковать его как «превышение власти» со стороны подчиненных. Они-то понимали, что от них только и ждут такого непослушания, а потому сговорились снять с королевы «бремя ответственности». Такая отговорка, рассчитывали они, нужна Елизавете лишь для отвода глаз, в малом же аудиенц-зале, *sub rosa*, их даже поблагодарят за проявленную расторопность. Однако Елизавета так настроила себя на эту сцену, что вопреки или, вернее, помимо ее воли наигранный гнев переходит в настоящий и те громы, что сейчас разражаются над низко склоненной головой Сесила, — это уже отнюдь не шумовые эффекты, а оглушительные раскаты неподдельной ярости, ураган оскорблений, проливной дождь поношений и издевательств. Дело доходит чуть не до рукоприкладства, Елизавета ругает старика площадными словами, прямо хоть в отставку подавай, и в самом деле Сесилу за мнимое самоуправство на неопределенное время не велено являться ко двору.

Только теперь видно, как умно, как предусмотрительно поступил истинный подстрекатель Уолсингем, предпочтя в эти критические дни заболеть или сказаться больным. Зато на его заместителя, беднягу Девисона, изливается вся громокипящая чаша высочайшего гнева. Он предназначен стать козлом отпущения, наглядным доказательством невинности Елизаветы. Никто не поручал ему, клянется Елизавета, передать Сесилу смертный приговор и скрепить

его государственной печатью. Он действовал своей волею, против ее желаний и намерений, и его дерзостное самоchinство привело к неисчислимым бедам. По ее приказу в Звездной палате возбуждено официальное дело против ослушного — на самом деле чересчур послушного — слуги; судебный приговор должен торжественно показать Европе, что Марии Стюарт отрубили голову единственно по вине этого негодяя и что Елизавете о том ничего известно не было. И, разумеется, те сановники, что клялись по-братски разделить с ним ответственность, покидают сотоварища, попавшего в беду, им бы только свои министерские местечки и доходы спасти от громов и молний разбушевавшегося августейшего гнева Девисон, который в свое оправдание мог бы сослаться лишь на немые стены, видевшие, как Елизавета давала ему поручение, приговорен к уплате десяти тысяч фунтов, каковых у него сроду не было, и посажен в тюрьму; потом ему втихомолку подбрасывают кое-какой пенсион, но при жизни Елизаветы ему и думать нечего о возвращении ко двору; карьера его рухнула, жизнь изломана. Царедворцу опасно не угадывать тайных желаний своего властителя. Но иной раз куда опаснее чересчур хорошо их угадать

Благочестивая легенда о невинности и полном неведении Елизаветы слишком грубо состряпана, чтобы импонировать современникам. И, может быть, один только человек задним числом уверовал в эту фантастическую версию: как ни странно, уверовала сама Елизавета. Ибо одним из самых примечательных свойств истеричных или склонных к истерии натур является способность не только к искусному обману, но и к самообману. Желаемое нередко принимается ими за действительное, и их свидетельские показания представляют порою самый добросовестный обман, а следовательно, и самый опасный. Елизавета, очевидно, верит в свою искренность, когда клянется направо и налево, что ни делом, ни помышлением не виновна в казни Марии Стюарт. Действительно, одной половиной души она не желала этой казни, и теперь память, опираясь на это, постепенно вытесняет у нее сознание соучастия в

казни, которой она все-таки желала исподтишка. Приступ гнева, овладевший ею при получении известия, которое она тайно призывала, но не хотела услышать, не только заранее отработан, как для сцены, но в то же время — все двойственно в этой женщине — это искренний, честный гнев прежде всего на самое себя, зачем она не осталась верна своим лучшим побуждениям, а также искренний гнев на Сесила, зачем он вовлек ее в это злодеяние, а вместе с тем не оградил от ответственности. Елизавета так истово внушила себе, что казнь произошла помимо ее воли, что в словах ее отныне слышится прямо-таки святая убежденность. Трудно не верить ей, когда в одежде скорби она, принимая французского посла, уверяет, что «не так смерть отца и не так смерть сестры глубоко ее огорчила», как сознание, что она, «бедная, слабая женщина, окружена врагами». Если бы члены государственного совета, сыгравшие с ней эту бесчестную шутку, не были ее долголетними слугами, всем бы им не миновать плахи. Сама она подписала приговор лишь для того, чтобы успокоить свой народ, но только высадка неприятельских войск на английских берегах могла бы заставить ее привести его в исполнение.

На этой же полуправде, полулжи, будто она не желала казни Марии Стюарт, стоит Елизавета и в собственном письме к Иакову VI. Снова заверяет она, что жестоко огорчена «трагической ошибкой», происшедшей без ее ведома и согласия («without her knowledge and consent»), хотя ее советники все уши ей этим прожужжали. И, предвосхищая естественное обвинение в том, что Девисон только служит ей прикрытием, она горделиво заявляет, что никакие силы на земле не принудили бы ее свалить свое собственное распоряжение на плечи исполнителя.

Но Иаков VI отнюдь не жаждет знать всю правду; ему важно одно: снять с себя подозрение в том, будто он спустил рукава защищал жизнь матери. Разумеется, как и Елизавете, ему невместно тут же возгласить «аминь» и «аллилуйя». Он должен соблюсти видимость удивления и возмущения. Он даже отваживается на внушительный жест — торжественно объявляет, что столь великое беззаконие не останется без отмщения. Посланцу Елизаветы воспрещено ступить ногой на шотландскую землю, и за ее

письмом в пограничный Берик послан верховой: пусть весь мир видит, что Иаков VI ощерил зубы на убийцу своей матери. Однако лондонский кабинет давно уже изготовил эликсир, с помощью которого сын молчаливо «проглотит» весть о казни матери. Одновременно с письмом Елизаветы, рассчитанным на «подмостки мира», в Эдинбург едет и другое дипломатическое послание, в коем Уолсингем сообщает шотландскому канцлеру, что Иакову VI обеспечено преемство английского престола и что, следовательно, по той, темной, сделке ему заплачено сполна. Это сладкое питье оказывает на безутешного страдальца поистине волшебное действие. Иаков VI больше ни словом не заикается о денонсировании союзного договора. Его не беспокоит даже, что тело его матери лежит непогребенным где-то в закоулках церкви. Не протестует он и против того, что ее последняя воля — упокоиться во французской земле — грубо нарушается. Слово по волшебству, уверился он в невинности Елизаветы и с готовностью клюет на приманку «трагической ошибки». «Тем самым вы очищаете себя от вины в этом злополучном происшествии» («*ye purge youre self of one unhappy fact*»), — пишет он Елизавете и в качестве смиренного нахлебника желает английской королеве, чтобы ее «душевное благородство стало на веки вечные известно миру». Магическое обетование Елизаветы льет елей на бушующие волны его неудовольствия. Отныне между ним и женщиной, подписавшей смертный приговор его матери, устанавливаются нерушимый мир и согласие.

У морали и у политики свои различные пути. Событие оценивается по-разному, смотря по тому, судим мы о нем с точки зрения человечности или с точки зрения политических преимуществ. Морально казнь Марии Стюарт нельзя простить и оправдать: противно всякому международному праву в мирное время держать в заточении королеву соседней страны, а потом тайно свить петлю и вероломно сунуть ей в руки... И все же нельзя отрицать, что с точки зрения государственно-политической устранение Марии Стюарт было для Англии благодетельной мерой. Ибо критерием в политике — увы! — служит не право, а успех.

В случае с Марией Стюарт последующий успех оправдывает убийство, так как оно принесло Англии и ее королеве не беспокойство, а спокойствие. Сесил и Уолсингем правильно расценили реальное положение вещей. Они знали, что другие государства побоятся возвысить голос против подлинно сильного правительства и станут трусливо смотреть сквозь пальцы на его насильнические действия и даже преступления. Они верно рассчитали, что мир не придет в волнение из-за этой казни; и в самом деле: фанфары мести во Франции и Шотландии внезапно умолкают. Генрих III отнюдь не рвет, как грозился, дипломатических отношений с Англией, еще меньше, чем когда надо было спасти живую Марию Стюарт, собирается он отправить за море хотя бы одного солдата. Он, правда, велит отслужить в Нотр-Дам пышную траурную мессу, и его поэты пишут несколько элегических строф в ее честь. И на этом вопрос о Марии Стюарт для Франции исчерпан и предан забвению. В шотландском парламенте слегка пошумели, Иаков VI облекся в траур; но проходит немного времени, и он уже снова выезжает на охоту на подаренных ему Елизаветой лошадях, с подаренными ему Елизаветой легавыми, по-прежнему он самый уживчивый сосед, какого когда-либо знавала Англия. И только тяжелодум Филипп Испанский спохватывается наконец и снаряжает свою Армаду. Но он одинок, а против него — счастье Елизаветы, неотъемлемое, как это всегда бывает с славными властителями, от ее величия. Еще до того, как доходит до боя, Армаду вдребезги разбивает шторм, и вместе с ней терпит крушение давно вынашиваемый план наступления контрреформации. Елизавета окончательно победила, да и Англия со смертью Марии Стюарт избавилась от величайшей угрозы. Времена обороны миновали, отныне ее флот будет бороздить океаны, направляясь к далеким землям и объединяя их в мировую империю. Множатся богатства Англии, последние годы царствования Елизаветы видят новый расцвет искусств. Никогда королевой так не восхищались, не любили ее и не поклонялись ей, как после этого позорнейшего ее деяния. Из гранита жестокости и несправедливости воздвигаются великие государственные сооружения, и неизменно фундаменты их скреплены кровью; в

политике неправы только побежденные, неумолимой поступью шагает история через их трупы.

Однако сыну Марии Стюарт предстоит еще нешуточное испытание: не одним прыжком, как мечтал, взберется он на английский престол, не так скоро, как рассчитывал, получит обещанную мзду за свою продажную снисходительность. Ему придется — величайшая казнь для честолюбца — ждать, ждать и ждать. Пятнадцать лет, почти столько же, сколько мать его томилась в плену у Елизаветы, вынужден он в бездействии дремать в Эдинбурге и ждать, ждать, пока скипетр не выпадет из охладелых старушечьих рук. Брюзжащий, недовольный, сидит он в своих шотландских замках, выезжает часто на охоту, пишет трактаты на религиозные и политические темы, но все его дела сводятся к одному — к бесконечному, бесплодному и злобному ожиданию некоего известия из Лондона. А его все нет и нет. Можно подумать, что кровь соперницы, пролившись, вдохнула в Елизавету новую жизнь. Все крепче становится она со смертью Марии Стюарт, все увереннее, все здоровее. Покончено с бессонными ночами, с укурами совести, которые так терзали ее все месяцы и годы нерешительности; все сглажено, смыто без следа спокойствием, дарованным ее стране, ее правлению. Ни один живущий не осмелится больше оспаривать ее корону, и даже смерти ревнивая женщина оказывает бешеное сопротивление, даже ей не отдает она короны. Семидесятилетняя старуха, цепкая и неподатливая, не хочет умирать, целыми днями блуждает она по дворцу, переходя из комнаты в комнату, нигде не находя покоя. Яростно и величественно сопротивляется она, не желая никому на свете уступить престол, за который так упорно и беспощадно боролась.

И все же час настает, наконец-то в жестоком единоборстве неподатливую одолевает смерть; но из легких еще вырывается хрипение, все еще бьется, хоть тише и тише, старое неукротимое сердце. Под окном, с оседланной лошадью на поводу, посланец нетерпеливого шотландского наследника ждет условного знака. Некая придворная дама обещала, как только жизнь королевы оборвется, бросить ему перстень из окна. Проходят долгие часы. Посланец

напрасно смотрит вверх; старая королева-девственница, отвергшая столько искателей, все еще не подпускает к себе загробного жениха. Наконец двадцать четвертого марта зазвенело окно, торопливо высовывается женская рука, сверху падает перстень. Гонец немедля садится на коня и два с половиной дня скачет без передышки в Эдинбург — эта скачка осталась памятной в веках. Так же как тридцать семь лет назад из Эдинбурга в Лондон гнал во весь опор лорд Мелвил, торопясь известить Елизавету, что Мария Стюарт родила сына, так теперь другой гонец спешит назад к сыну, чтобы сообщить, что смерть Елизаветы принесла ему вторую корону. Ибо Иаков VI Шотландский в этот час становится равно и королем Англии — наконец-то становится Иаковом I. В сыне Марии Стюарт обе короны соединились навсегда, злосчастная борьба многих поколений пришла к концу. Темные, извилистые пути избирает подчас история, но неизбежно исполняются ее разумные цели, неизменно историческая необходимость вступает в свои права.

Иаков I со вкусом располагает в Уайтхолле, которым так мечтала завладеть его мать. Наконец-то он избавился от вечного безденежья, наконец-то его честолюбие утолено, все его мысли теперь — о жизни в свое удовольствие, не о бессмертии. Он часто выезжает на охоту, он усердно посещает театр, где — единственная его заслуга — оказывает покровительство некоему Шекспиру и другим достойным стихотворцам. Тщедушный, бездарный, с ленцой, не обладающий ни душевными силами Елизаветы, ни мужеством и страстью своей романтической матери, управляет он объединенным наследием обеих враждовавших женщин; то, чего обе добивались со всем пламенным устремлением души и страсти, достается ему, умеющему терпеливо ждать, без борьбы, валится с неба. Но теперь, когда Англия и Шотландия объединены, должно предать забвению, что было время, когда королева Шотландская и королева Английская отравляли друг другу жизнь ненавистью и враждою. Теперь уже нечего называть одну правой, а другую виноватой, смерть уравнила обеих соперниц в их высоком сане. Те, что всю жизнь противостояли одна другой, могут

спокойно почивать рядом. Иаков I приказывает взять прах его матери с погоста в Питерсбороу, где она лежит одна, словно отверженная, и при торжественном свете факелов перенести в Вестминстерское аббатство, в усыпальницу английских королей. Высеченное в камне ставится над могилой изображение Марии Стюарт, а неподалеку высеченное в камне стоит изображение Елизаветы. Старая вражда улеглась навек, ныне одна у другой не оспаривает больше прав и владений. И те, что в жизни упорно избегали друг друга и ни разу не глядели в глаза друг другу, ныне, как сестры, покоятся рядом во всеуравняющем священном сне бессмертия.

СОДЕРЖАНИЕ

- Александр Дюма. МАРИЯ СТЮАРТ роман**
Перевод Л. М. Цыбьяна 5
- Стефан Цвейг. МАРИЯ СТЮАРТ роман**
Перевод Р. Гальпериней 193

Александр Дюма

Мария Стюарт

Стефан Цвейг

Мария Стюарт

Ответственный редактор *Марина Бережная*
Художник *Мария Ермолина*
Художественный редактор *Дмитрий Майстренко*
Технический редактор *Татьяна Харитонова*
Верстка *Елены Черновой*
Корректоры: *Нина Богачева,*
Галина Горянова, Елена Светозарова

Подписано к печати с оригинала-макета 19.03.93.
Формат 84×108 1/32. Гарнитура Академическая. Печать высокая.
Усл. печ. л. 28,6. Тираж 200 000 экз. Изд. № 163. Заказ 3-993.

Издательство «Северо-Запад»
191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 18

Отпечатано с оригинала-макета
на Головном предприятии республиканского
производственного объединения «Полиграфкнига»,
252057, Киев-57, ул. Довженко, 3.

М 26 **Мария Стюарт:** Романы. С. Цвейг. Мария Стюарт / Пер. с нем.; А. Дюма. Мария Стюарт / Пер. с франц. — СПб.: Северо-Запад, 1993. — 542 с.
ISBN 5 - 8352 - 0163 - X

История противостояния английской и шотландской королев оказалась притягательной для многих литераторов, вероятно, потому, что конфликт между ними был не только политическим и в основе его лежали не только интересы государства и трона. Это было противостояние двух великих женщин, одной из которых не хватило, возможно, лишь небольшого внешнего изъяна, чтобы другая оставила свою соперницу в живых.

По прошествии многих лет трудно установить историческую истину — нам остаются лишь толкования давних событий — да и вряд ли возможно докопаться до нее, когда балом правят любовь и ревность.

«ЖЕНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Это грандиозная издательская программа, которую составляют четыре серии книг, написанных женщинами, посвященных женщинам и адресованных им.



Серия «Автограф»

Уникальное собрание сочинений женщин-писательниц: романы готические XVII века, классические XVII—XIX веков, современные — Джейн Остен и Элизабет Гаскел, Уилла Кэсэр и Эдит Уортон, Дафна дю Морье и Айрис Мёрдок, Сигрид Унсет и Режин Андри — и многие имена, еще не известные русским читателям.



Серия «Романс»

Любовный роман — всегда увлекательная интрига, приключение или «роковая страсть», обворожительные герои и ... чаще судьба бывает благосклонна к влюбленным, но случаются и трагические развязки.



Серия «Портрет»

В нее вошли беллетризованные биографии знаменитых женщин. Леди Гамильтон и Жозефина Бонапарт, Клеопатра и Мэри Энн, Жанна д'Арк и Мария Стюарт — царицы и куртизанки, актрисы и художницы, незабываемые женские характеры, оставившие след в истории, искусстве, литературе.



Серия «Камея»

Представит галерею женских литературных образов, созданных мастерами художественной прозы. В числе авторов этой серии — Генри Джеймс, Жорж Сименон, Ромэн Гари, Анри де Ренье, Л. П. Хартли и др.

Борьба двух королей, противоположных во всех отношениях, легла в основу романа Стефана Цвейга. История легендарной Марии Стюарт неоднократно привлекала внимание писателей во все времена. Книга одного из лучших романистов XX века написана в жанре «романизированной биографии», повествование развивается стремительно; вы не найдете здесь назойливой и утомительной риторичности, присущей многим историческим романам.

Цвейг изображает в первую очередь психологическую борьбу двух высокопоставленных особ, где играют и сталкиваются человеческие страсти.

Дочь шотландского короля Якова V, Мария Стюарт росла и воспитывалась при роскошном французском дворе. После первого замужества за французским дофином, она стала женой шотландского графа Генри Даррлея, который был убит в результате заговора, о котором знала Мария и была его косвенной виновницей. Глава заговорщиков Босуэл стал третьим мужем королевы, что вызвало ужасное недовольство шотландской знати. Спасаясь от восстания дворян, Мария бежала в соседнюю Англию, где и была подвергнута заключению по приказу английской королевы Елизаветы I.

После многочисленных и безрезультатных попыток бегства королева Шотландии была казнена в замке Фоберингей.

Такова вкратце история жизни героини. В центре внимания автора остаются отношения двух соперниц — королевы по-старинному роскошной Шотландии и новой расчетливой Англии.

М. Стюарт — одаренная женщина, способная самозабвенно и безрассудно отдаться страсти, предпочитающая скучной попойке охоту, придворные развлечения и рыцарские забавы. Она питала в себя весь французский темперамент, она жива и непосредственна.

Елизавета I, холодная и расчетливая, пропитанная лицемерием; «королева-девственница», как, несмотря на обилие фаворитов, называли ее придворные льстецы, делала все, чтобы приобрести к титулу королевы Шотландии. Весь жизненный путь ее с самого начала был ниним: незаконная дочь английского короля Генриха VIII, все детство провела она заточенной в Тауэр.

Когда разбитая и преданная всеми Мария Стюарт просит помощи у «дорогой сестрицы», та отвечает ей пожизненным заточением. Романтическая натура, Мария остается прекрасна и горда вплоть до самой смерти, несмотря на измену даже родного сына.

Основные события романа разворачиваются в Шотландии, Англии и Франции. Читатель проникнет в придворную жизнь Европы XVI в., ярко и многогранно описанную автором.